
МАРИЭТТА
ШАГИНЯН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДАМЫ ИЗ ОБЩЕСТВА
(Роман)

«МЕСС-МЕНД», ИЛИ ЯНКИ В ПЕТРОГРАДЕ
(Роман)

КИК
(Роман)

ОЧЕРКИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956



М. С. ШАГИНЯН

Портрет работы художника Г. Верейского

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДАМЫ ИЗ ОБЩЕСТВА

Маленький роман



Глава первая

Говорят, тетя Лиза выпустила за границей мемуары о графе Коко. Это легче, наверное, чем писать о себе. Я не намереваюсь создавать мемуары, хотя жизнь моя за последние пять лет могла бы послужить материалом для одного из фантастических рассказов Бальзака из эпохи революции, в стиле его «Histoire des Treize»[1]. Но меня мучает мысль, что муж мой, Валентин Сергеевич, еще жив (или считает себя живым, как это принято среди современной эмиграции) и до известной степени рассчитывает также на мое существование. Я хотела бы доказать, что расчет этот ни на чем не основан. Изложу попросту цепь событий, как они происходили и были пережиты мною. Они убедят его в том, что он потерял меня — потерял полностью и навсегда.

Мы проводили с ним лето в имении одного австрийского дипломата, когда грянула война. Хозяева наши, да, кажется, и Валентин Сергеевич, уже заранее знали об этой войне. Во всяком случае недели за две до ее начала между ними происходили какие-то совещания о переводе куда-то денег, и мне тоже дали подписать какую-то бумажку, адресованную в «Лионский кредит», а за обедом шли разговоры о замечательной предусмотрительности Валентина. В ту минуту, когда нам принесли первый «Экстра-блятт» о «падении Бельгии перед натиском германских войск, совершивших свое

[1] Бальзак. История тринадцати.

победное шествие по Европе, достойное древнегерманского мужества», я впервые почувствовала недоумение. Мне было жалко Бельгию и короля Альберта, с которым мы еще прошлой весной познакомились в Остенде. Я представляла себе, сколько русских людей пойдут и уже пошли сейчас на войну из моей родной Измайловки, где я родилась и провела детство. И неожиданно у меня вспыхнуло что-то вроде тоски по Измайловке, ее полям и перелескам и спокойной тихой речушке в осоке и кувшинках. Мне было странно видеть понимающую, молчаливую улыбку, которой обменялись мой муж и австрийский дипломат, сказавший при этом непонятную фразу:

— Вам удивительно повезло, что вы провели эти две недели у меня!

А ведь этот австриец был врагом нашего отечества! Почему же нам повезло и почему Валентин молчаливо согласился с ним?

Тем не менее нужно было спешить с отъездом, и отъезд наш внешне походил на бегство. Пять моих чемоданов пришлось бросить в Австрии, и лишь с четырьмя нам удалось пробраться в Швейцарию. Муж пренебрежительно отзывался о Цюрихе, как о месте, где можно встретиться со всяким, как он выражался, «политическим сбродом». Но для меня в то время, после фальши и натянутости австрийского поместья, Цюрих показался довольно приятным местом. Наступал зимний сезон. Острая свежесть и прохлада замечательного воздуха так мало походили на обычный городской. В рыночный день Цюрих завален был итальянскими овощами и фруктами; отовсюду, из маленьких ресторанчиков и семейных «Alkogol-frei» [1], доносился запах вареной красной капусты. Почти все гостиницы были переполнены беглыми иностранцами. Даже частные комнаты и те шли нарасхват. Мы приехали поздно. Поэтому нам пришлось удовольствоваться довольно скромным пансионом, где жили разные русские, преимущественно из среднебуржуазных кругов. Валентин, разумеется, ни с кем не знакомился, а мне было скучно,

---

[1] Столовых без алкогольных напитков.

и я сошлась с тремя барышнями, путешествовавшими для изучения языков. Вместе мы бегали по Цюриху, и одна из них, самая неугомонная, научила меня любить бродяжничество по незнакомому городу.

— Посмотрите,— говорила она, когда мы попадали куда-нибудь на окраину,— разве у каждого города нет своего лица? Один кажется вам старым, другой юношеским, у того что-то женское, у другого стариковское. А наш Цюрих похож на интересного мужчину лет сорока, умеющего занимать общество и в то же время не болтающего о своих тайнах. У него масса скрытых внутренних переживаний,— ну разве это не переживание, о котором не подозревает ни один бедекер?

С этими словами она повела меня на высокую, идущую извилиной улицу, тенистую, необыкновенно живописную, так как вся она была почти сплошь из красного и серого камня массивной кладки, с коттеджами восхитительной английской архитектуры, пожалуй единственной сейчас в мире, которая имеет свой стиль. Эта улица была затеряна между другими на одном из возвышений холмистого города. С каждым шагом она казалась новой и открывала чудеснейшие уголки.

Так мы исследовали с моей подругой лицо этого города, всякий раз менявшего для нас свое выражение. Помимо всего, прогулки эти были для меня очень содержательны. Екатерина Васильевна знала и любила искусство, много читала, умела разговаривать с женщинами. Это последнее я считаю редким даром. Мы не умеем говорить между собой, совершенно так же, как не умеем для самих себя нарядно сервировать стол. Наша лучшая сервировка рассчитана на гостей. В жизни женщины, по крайней мере нашего круга, таким гостем является мужчина. Я знала много умных, прекрасно образованных женщин, никогда не выказывавших между собой ни ума, ни знаний. Но зато каждая из них в обществе мужчины становилась мадам де Сталь.

Так вот, большим достоинством моей подруги я считала умение говорить со мною всерьез. Недаром необычайные приключения мои я датирую днем нашего знакомства.

Как-то раз мы шли с ней по одной из широких улиц нового квартала. Был полдень. Несмотря на позднюю осень, солнце грело нестерпимо, и жаркий, безветренный день среди длинного ряда дождливых походил на муху, проснувшуюся в декабре. Мы так устали от ходьбы и от солнца, что зашли в открытое кафе и попросили себе холодной воды. Там по сезону уже не было ни мороженого, ни лимонаду.

Прямо против кафе находился мост над более низкой частью города, и у входа на мост, справа и слева, возвышались две полукруглые каменные ниши. Их осеняла тень большого сучковатого дерева. А внизу под мостом, теснясь красными черепичными крышами, горстью жались домики, похожие на изящные корзинки или кустарные игрушки. Моя спутница кивнула на них кудрявой головой:

— Говорят о смерти архитектуры, об отсутствии у нашего столетия своего архитектурного лица. Это правда, что наши патентованные архитекторы из академиков и вообще разные «имена» помешаны на старом. Казенные здания опошляют ренессанс, а общественные строятся под ампир — и множество дурных ремесленников стряпают из них окрошку, снабжая все это медальонами, рахитичным фасадом, банальным тылом, подвешивая к фасадным выступам что-нибудь совсем неподходящее и именуя такую подпертую безвкусицу стилем модерн. Но дело в том, что это вовсе не показательно для нашего времени. А показательны вот такие улицы. Обойдите пригороды больших городов, новые европейские кварталы, загляните в цветущие оазисы, которые стали появляться на земле под чудным именем Flowers City (города цветов), поездите, наконец, по провинциальной Англии, и вы увидите, в чем выражаются архитектурные идеи века. Мы идем к изяшеству, да.

— Но развитие машин, стремленье к монументализму,— попробовала я спорить, удивляясь на самое себя, как это мой ротик, из года в год приучаемый к одному и тому же запасу слов, стал выговаривать такие, посторонние.

— Обычное возражение. Вдумайтесь, и вы увидите, что оно вас бьет. Именно благодаря развитию машин

мы идем к изяществу. Что такое машина? Машина есть минимум. Да, она стремится к возрастающему минимализму, чтоб при посредстве наибольшей экономии соответствовать полноте своей цели. Разверните старые книги, посмотрите на гравюры, изображавшие прежние паровозы, лет пятьдесят — шестьдесят назад. Они вам кажутся страшно косолапыми. Они и были такими. В их конструкции масса громоздкого, лишнего. А сейчас посмотрите на хороший паровоз, какой он красавчик. Пройдет, может быть, двадцать лет, и он покажется громоздким по сравнению с новым, еще более легким и изящным. Так и наши человеческие жилища. Вымирают в России деревянные окраины, а из Европы идет новый синтез бетона и камня, очаровательный, легкий, как коробочка, усвоивший всю музыку деревянной архитектуры, домик-коттедж, идеальное жилище будущего человека, потому что оно похоже не только на дом, но и на яхту, на аэроплан, на почтовую коляску, на дачу, на... на что хотите. Будущий человек должен летать, плавать, ездить, а не сидеть на месте, копя добро. Это странно, что люди не чувствуют невыразимой прелести будущей архитектуры.

— А вот вам невыразимая прелесть человеческой позы,— прервала я ее, понизив голос.

Дело в том, что во время ее речи со стороны города по направлению к вокзалу появился молодой парень с ручной тележкой. Он был в рубашке с поясом, без шапки и не казался швейцарцем. Лицо его так раскраснелось от солнца, что было багрово. Белокурые локоны прилипли ко лбу, потемнев от пота. Он дотащил свою тележку, заваленную дорожными вещами, до каменной ниши, стал в тень и потянулся, откинув локти и голову назад, а грудь выпятив вперед. В этом жесте, как и в самом носильщике, было столько грации, что я не удержалась от восклицания.

Моя спутница тотчас же повернула голову в указанном мною направлении. Но до чего я изумилась, когда носильщик, окончивший свою богатырскую зевоту и снова взявшийся за тележку, улыбнулся моей подруге и приятельски ей кивнул. Она тоже улыбнулась, и ее

ответный поклон, как мне показалось, был гораздо почтительнее, чем его.

— Екатерина Васильевна,— возмутилась я,— вы поддерживаете знакомство с очаровательными носильщиками и ни слова об этом не рассказываете. Где наша дружба?

— Хотите, я вас познакомлю? — лукаво предложила она.

Я почувствовала, что не потеряла еще способности краснеть. В самом деле: вообразите себе моего Валентина Сергеевича, когда мы встречаем на улице носильщика, и я с ним раскланиваюсь!

— Нет, но посвятить меня в эту тайну вы должны.

Однако моя подруга, задумавшись, как будто и не услышала моей просьбы. Я не настаивала. Расплатившись за воду с вареньем, мы побрели назад в город, уже почти не разговаривая.

Образ белокурого носильщика почему-то запал мне в душу. У него было очень юное и в тоже время насмешливо-патетичное лицо, что редко встречается у юношей одновременно. Казалось, он не боится ни пафоса, ни зубоскальства. Короткий нос и очень красивая верхняя губа, тоже короткая, составляли особенность его лица. Но, несмотря на все его ребячество, на кошачью стройность и мягкость, было в нем что-то, внушавшее страх и осторожность. Сила, с какой ложились у рта краткие и выразительные линии, мощное развитие лба, упрямая переносица придавали ему вид слишком властный и самоуверенный, чтоб можно было захотеть погладить его по шерстке.

Я стала сдержанней с Екатериной Васильевной. Мне было обидно, что она не доверяет мне. И несколько дней мы никуда не ходили, к большому удовольствию Валентина Сергеевича, находившего, что лучшее дело для меня — вышивание гладью.

Как-то, не удержавшись, я заглянула к ней в комнату и застала ее за чтением местной русской газетки.

— Неужели вы читаете эту гадость? — вырвалось у меня.

— Почему гадость?

В вопросе была обидная ирония.

— Но... ведь даже краска типографская у них пачкает. Нельзя держать газету возле блузки. И потом они... это какие-то из подонков общества, большей частью, кажется, социалисты.

Екатерина Васильевна расхохоталась.

— Идите сюда, милая моя,— потянула она меня за руку ужасно фамильярно,— я очень рада, что мы договорились до этого. Потому что, не будь вы такая хорошенькая, я бы сейчас дала вам по носу и выставила за дверь. А так как у вас вот эта пара глазок и это одухотворенное личико, впрочем, может быть, от нездорового образа жизни или от корсета, и вот эти итальянские ручки, я с вами еще поговорю.

Я вырвала у нее руку и воскликнула со слезами:

— Вы скверная, черствая, невоспитанная женщина, не уважающая чужого мнения. Деспот!

— И вдобавок ко всему этому — социалистка и коммунистка,— добавила она как ни в чем не бывало.

Это было выше моих сил. Я уткнула лицо в носовой платок и бросилась к себе в комнату. Там я поплакала. Екатерина Васильевна — социалистка! Вот разочарование. Кто бы мог подумать — фамилия такая старая русская, и вся она такая... ни чуточки не похожая.

Когда мы сели обедать у себя в гостиной, я не удержалась и сказала мужу:

— Вилли, можешь себе представить, Екатерина Васильевна оказалась социалисткой.

Валентин Сергеевич пожал плечами:

— Я достаточно предупреждал вас, милая. Теперь сами изобретайте способы, как перестать с ней раскланиваться.

Я тотчас же почувствовала знакомый мне за два года брака прилив возмущения:

— Почему нам не раскланиваться?

Он отодвинул тарелку и посмотрел на меня. Пробор доходил ему чуть ли не до самой переносицы; волосы были справа и слева зачесаны на плешь. Глаза смотрели прищуренно и, надо сознаться, скорей по-птичьи, чем по-человечьи (я надеюсь, мой муж не обидится на эту характеристику). Он вытаращил их в совершенно искреннем изумлении.

— К-как,— пискнул он, поперхнувшись,— вы намерены продолжать с нею ваши тет-а-теты, прогулки и поцелуи, несмотря на то, что она социалистка?

Сказать по правде, я совсем не была намерена. Я ничего ровно не знала в этом вопросе и должна была решить его в полнейшем одиночестве. Но тут какой-то демон овладел мной, и я крикнула ему в лицо, совсем не по-светски:

— Да, да, да, да, да!

Он встал, молча сложил салфетку и вышел. Он пообедал в ресторане. Это была первая крупная ссора в нашей жизни.

Я осталась в своей комнате, не зная, что делать. Книги были скучны, вышиванье напоминало пробор моего мужа, письма к знакомым писать в таком состоянии не годилось. Я села на диван, сжав голову руками. В эту минуту раздался стук в дверь.

«Ни за что не отопру»,— подумала я и отперла.

В комнату вошла Екатерина Васильевна, серьезная, без улыбки, и посмотрела на меня пристально. Я отвернулась в глупейшем душевном состоянии. Мне хотелось или побить кого-нибудь, или заплакать.

— Дорогая Алина Николаевна,— сказала она прежним ласковым тоном,— я в самом деле перед вами виновата. Я не учла ни вашей среды, ни воспитания. Плохой я пропагандист. Давайте помиримся и разберем вместе, в чем корни нашего расхождения, хотите?

Нельзя было противостоять ей. В эту минуту она была мне в десять раз ближе всех моих родственников и мужа, вместе взятых. Долго сидели мы с ней на диване и беседовали на разные темы. Она говорила мне вещи, которые впоследствии я читала чуть ли не в каждой книжке и брошюре. Но в тот день они казались мне совершенною новостью — социальные, экономические и политические вопросы, связанные с войной и отношением к ней.

Начала говорить я. То внутреннее недовольство собой, какое она во мне пробудила, в эту минуту еще казалось мне возмущением против неверных, несправедливых — правда, никем вслух не высказанных — обви-

ний. И, защищаясь от них, я сразу напала на мою собеседницу.

— Что хуже всего,— начала я, борясь со слезами досады,— хуже, хуже всего, так это ваша измена родине. Мы воюем, немцы очень сильны, и в эту минуту вы сидите на чужой земле и критикуете русские порядки, интригуете против царя, напрягающего все силы в борьбе! Как это назвать на обыкновенном человеческом языке?

— Ну и путаница,— со вздохом ответила Екатерина Васильевна.— Чтоб лучше пояснить вам ваши ошибки, сравню ваше положенье с моим. Вы и ваш муж тоже ведь сидите на чужой земле. Вероятно, ваш муж уже перевел на всякий случай свои капиталы в банки нейтральных государств — удивительный образчик патриотического доверия к родине. И ни вы, ни он не собираетесь воевать: вы заняты покупками туалетов, а ваш муженек — переливатель из пустого в порожнее. Совсем недавно вы гостили у члена враждебного России правительства и как будто отношений с ним не порвали. И чем же собственно ваш патриотизм? В том, что из вашей деревни внуки ваших крепостных пойдут умирать от немецких пуль, пока вы обновляете свои зимние туалеты?

Я стиснула зубы и с насильственным спокойствием произнесла:

— Ну, а ваше положенье?

— Мое и моих товарищей положенье вот какое: мы на чужбине, потому что нас изгнал из России политический режим, самый подлый и отсталый в Европе. Мы боремся с этим режимом, душащим русский народ, все передовое и талантливое в нем. Мы хотим свергнуть этот режим. И мы надеемся, что поражение в войне с немцами, а поражение—неминуемо, приведет к открытому взрыву народного негодованья, к революции. Вот наша позиция.

— Но чего вы хотите? Республики? Разве жизнь в республиках счастливее, чем у нас? Разве меньше голодных, обездоленных, задавленных?

— Республика более прогрессивный строй, она вовлекает больше людей в политическую жизнь. Она ста-

новится школой для них, и условия для борьбы делаются легче. Но буржуазная республика для нас не конечная цель. Мы боремся за то, чтобы капиталистические отношения были заменены социалистическими.

И тут она очень подробно, стараясь говорить понятно, объяснила мне, что это значит. Думала ли я, за мою короткую жизнь, об огромной массе человечества, живущей за гранями того мира, какой мы называем «обществом»? Знала ли я, что этот неосвещенный и невидимый мною, подобно большей части лунного диска при новолунье, что этот именно мир, эта часть человечества производит все, чем мы живем, начиная от хлеба и кончая предметами роскоши? А ведь это и есть человечество, которым двигается история. Почему же оно обречено на потемки, унижение, нищету, уничтоженье при войнах, невозможность учиться, лечиться, отдыхать, устраивать свои порядки на земле?

Так она подошла к теме, должно быть помня мою совершенную неосведомленность в политике и в экономике.

Но как раз этот подход помог мне найти свои, особые возражения. Правда, я сперва скрывала, что они — не мои, выдала их за свои. Летом мы встретили в имении дипломата одного модного австрийского теософа, которого заслушивались по вечерам, как соловья. Он говорил очень красиво и с чувством, и мы, слушая его, глотали подступающие к горлу слезы и нравственно очищались. Доводы этого теософа я и принялась излагать своей новой подруге:

— Вы говорите — неосвещенный диск луны. Но вся мировая литература только и делает, что освещает эту часть человечества,— Диккенс, Тургенев, Золя, Чехов, Толстой, Достоевский... Они нам показывают черты людей этой части человечества, которые выработались у них от тяжелой жизни, под влияньем страданья и голода. Какие это прекрасные, трогательные черты! Искусство их воспроизводит, пробуждая в нас такой же прекрасный отклик,— жалость, состраданье к ним, чувство вины перед ними, умиление перед их простотой и смиреньем, желанье помочь им, облегчить их положенье. Получается тот духовный обмен высшими нрав-

ственными силами, то намагничиванье от полярных полюсов, которое мы называем гуманизмом христианства. А если представить себе...

— Если представить себе,— расхохотавшись, перебила меня Екатерина Васильевна,— что голодные будут сыты, у смирных лопнет терпенье, безгласные заголосят, труженики вдруг возьмут да прогонят к черту бездельников, кровососов и паразитов,— и маленькой частью лунного диска сделается ваше высшее общество, уходя в тень, в невидимость, а светлым диском выплывет трудовое человечество, и, наконец, вся полная луна, весь мир, ставший коммунистическим, будет светло плыть в эфире,— тогда, по-вашему, гуманизм исчезнет, потому что нечем будет ублажать и растрогивать жирную печень паразитов? Так, что ли?

Я оскорбленно замолчала. Она сознательно не захотела понять меня, исказила и представила все в карикатуре. Ну и пусть...

Но ей словно видны были все эти мысли, промелькнувшие у меня в голове. Перестав смеяться, она взяла мою руку и повернула меня к себе лицом. Глаза ее очень серьезно и без всякой насмешки посмотрели в самую глубь моих глаз.

— Это все не вы сами выдумали, все эти тонкие штуки. Вам, наверное, стыдно сейчас за них. Неужели вы такого дурного мненья о человеке, высшем созданье природы, что не представляете себе гуманизма иначе, как порождением нищеты и несчастья человечества? Неужели же для того чтобы быть гуманными, мы должны держать девять десятых человечества в нищете и голоде? Неужели вы перестанете быть доброй, сострадательной, великодушной, правдивой, любящей, если все вокруг вас будут сыты, образованы, полноправны, уважаемы, полны собственного достоинства? Ну-ка, подумайте.

— Я не знаю,— ответила я,— нужен ли тогда гуманизм и каким он будет.

— Вот это честный ответ. А я вам скажу, каким будет тогда гуманизм. Не себялюбивым, потому что наш христианский гуманизм — все-таки себялюбивый и эгоистический. Наш гуманизм родится и будет расти

из любви к лучшему, прекраснейшему в человеке, к его творческой силе, его гордости, его власти над природой, его уваженью к себе подобным, его обузданью собственных пороков и страстей, его правдивости, прямолинейности, чистоте, честности, великой смелости мысли и великой отдачи себя народу и человечеству. Вот откуда вырастет и чем будет питаться новый грядущий гуманизм!

Она говорила так страстно, что я замолчала. Мы в этот день стали ближе друг другу, чем раньше. Когда она собралась уходить, я ей это сказала. Она дотронулась до моего подбородка и улыбнулась мне:

— Оттого, что вы еще девочка и умеете говорить по-детски — без задней мысли и то, что хочется. До конца-то вас все-таки не испортили.

Но вот наступила минута, когда мне нужно было перешагнуть порог спальни. Сказать по правде, я трусила Валентина Сергеевича. Открыв дверь, я заглянула в комнату, никого не увидела и с облегчением вбежала в нее. Тотчас же за мной захлопнули дверь. Муж стоял у портьеры. Он глядел на меня с ехидством благовоспитанного человека. Он заговорил по-французски:

— Дорогая, скажите, ваши капризы... Вы не питаете некоторых надежд?

— Ни в малейшей мере,— ответила я сердито.— Не приставайте ко мне. Двадцать раз в день спрашиваете об этом, будто речь идет о погоде, а я барометр.

— В таком случае нет причин для задержки. Дело в том, что завтра в два часа мы с вами уезжаем в Рим. Билеты уже заказаны.

— Раз заказаны, не о чем и спрашивать. Позвоните Аннеле, и пусть она укладывается.

Я повернула ему спину и занялась ночным туалетом. Что за гнусная форма рабовладения светский брак! Тут я прикусила себе губу — слишком ясно стало мне самой, насколько я распропагандирована за эти несколько дней. На душе у меня было нестерпимо тяжело,— жаль уезжать из Цюриха, жаль расставаться с Екатериной Васильевной, жаль терять возможность слышать и видеть нечто большее, чем то, что знакомо мне было, как алфавит.

Рано утром я забежала к моей соседке и со слезами сообщила ей о своем отъезде. Она развела руками.

— Отчего бы вам не бросить этого страуса?

Но тотчас же раскаялась и обняла меня; мое лицо, должно быть, сказало ей, что это уж слишком. Страус! Вилли, если вы сейчас, в эмиграции, читаете эти строки, знайте, что в ту минуту я искренно и серьезно оскорбилась за вас. Правда, у страуса маленькая голова и у вас, не сердитесь, тоже; у страуса прищуренные глаза — и у вас; у страуса привычка прятать куда-то голову — и, говорит, у эмигрантов тоже. Но в ту минуту вы еще не были эмигрантом и были моим мужем. Я оскорблялась за вас до глубины сердца.

— Вот что, раз ничего нельзя посоветовать, я устрою вам приятный сюрприз напоследок. Скажите, хотите ли вы помочь находящимся здесь и очень нуждающимся русским?

Я кивнула в ответ.

— Даже если они социалисты?

Я кивнула опять, против воли улыбнувшись.

— Ну, так не берите автомобиля, не берите носильщика. Закажите в русской читальне ручную тележку, и артель русских студентов отлично доставит ваши вещи на вокзал. Идет? Кстати познакомитесь с заинтересовавшим вас юношей.

— Екатерина Васильевна! Так он русский студент?

— Русский студент,— ответила она лукаво.— Все горести забыты, у вас новый интерес к жизни? Отлично, только не будьте слишком легкомысленны и обещайте писать мне письма.

Она встала, надела пальто и шляпу и отправилась в русскую читальню заказывать носильщика. Со смешанным чувством боли и заинтересованности я вернулась к своим четырем чемоданам и румяной Аннеле. Собственно говоря, в Цюрихе к ним прибавились еще пятый и шестой чемоданы; я отметила это обстоятельство, лишь подумав об их возможном весе и заработке носильщика.

Ровно в час портье доложил, что за вещами приехали. К моему удовольствию, Вилли сидел в читальне.

Я взяла Аннеле и без всякой необходимости спустилась вниз, по дороге посмотрев на себя в зеркало.

Белокурый юноша был тут. Он стоял у зеркальной двери, на этот раз не в рубашке, а в коричневой фуфайке. Локоны его были подстрижены, верхняя губа. предательски поднялась над мелкими, как у белки, зубами. Он был, повидимому, в самом смешливом настроении. Он посмотрел на меня юмористически. Я опустила глаза.

«Это очень нехорошо, что русских студентов воспитывают на неуважении к женщине,— промелькнуло у меня в голове,— брали бы они пример с Америки. Там тоже рудокопы и знатные американки, и даже они влюбляются и женятся, но рудокоп всегда, даже в пьяном виде, почтителен... конечно, если верить Брет-Гарту. Потом рудокоп может в Америке сделаться президентом...»

Нить моих размышлений была прервана портье, с недоумением вопросившего:

— Madame разрешит пойти за вещами?

— Наверное, полторы дюжины чемоданов, восемь баулов и двадцать одна шляпная картонка,— сказал как ни в чем не бывало юноша на чистейшем русском языке.

— Вы угадали,— ответила я с презрением,— иначе нам не понадобились бы но-силь-щи-ки.

Выговорив это слово со всей силой закипевшего во мне гнева, я круто повернулась и пошла наверх, проклиная в душе и себя и Екатерину Васильевну.

Виновница моего унижения стояла на верхней площадке, у двери своей комнаты. Повидимому, она видела и слышала все, что произошло, потому что в серых глазах ее, встретившихся с моими, сверкала улыбка Я отвела ее руки, протянутые к моей талии.

— Вы умствующие люди! — обрушилась я на нее.— Отдаете ли вы себе отчет в своей непоследовательности? Вчера вы изволили почтить меня серьезным разговором только потому, что, по вашим словам, я хорошенькая и у меня итальянские ручки. Каждый мужчина, самый умный, непременно сделает себе поэтическую грезу не из стриженой девицы в демикотоновом

платье, а из какого-нибудь воздушного видения с бледным овалом. Забываете вы, кажется, что воздушность достигается батистом, газом, валансьеном, крепдешином, пудрой, кремом, духами, щипцами, корсетом, маникюром, вежеталем, а для всего этого нужны чемоданы, чемоданы, чемоданы. Где тут логика? Так уж, пожалуйста, не любуйтесь нами, не создавайте нас...

— А вы не бушуйте на площадке лестницы, где вас непременно услышат и портье и, чего доброго, муж. В утешение вам скажу, что самая лучшая дружба начинается с драки. Даже Ницше советовал начинать свое вхождение в общество с дуэли. Пойдемте-ка в мою комнату, я хочу вам на прощанье сказать несколько напутственных слов, потому что я самым искренним образом привязалась к вам, вы, бедненькое воздушное видение...

Она потянула меня за собой, но нашей беседе не суждено было осуществиться. За нами послышались шаги мужа. Невольно я отодвинулась от моей подруги, тотчас же устыдилась этого и заметила, что она успела увидеть и то и другое. Как иногда мы становимся психологически зорки! И обычно бывает это, когда мы недовольны самими собой.

Словом, вышло так, что Екатерина Васильевна одна отправилась к себе в комнату, а я имела удовольствие вынести прищуренный взгляд Вилли. Он держал на ладони свои маленькие дамские часики с огромным бриллиантом на крышке — подарок коронованной особы.

— Aline, я побывал в конторе и расплатился. Вы еще не одеты? Пожалуй, мы бы успели с вами пообедать в отеле Бауэра.

Как всегда, предположительный тон моего мужа говорил о вещах обдуманных и решенных. Я это знала, и мне осталось лишь одеться, опустить на лицо синюю вуалетку и поехать с ним в отель Бауэра — скучнейший старый отель, мрачный, облезлый, полный ревматических англичан, вдовствующих старушек, дипломатических атташе и имевший единственное отличие — ничем не оправданную дороговизну.

Когда автомобиль доставил нас на вокзал, я увидела тележку, насмешливого носильщика и наши вещи, ак-

куратно сложенные одна на другую на отлогих ступенях лестницы. В ту же минуту к своему ужасу я вспомнила, что забыла приготовить деньги. В сумочке у меня лежала лишь одна тысячефранковая бумажка [1]. Первой мыслью моей было попросить деньги у мужа. Я повернулась к нему и вдруг увидела его лицо с приподнятыми бровями, упершимися под лакированный пробор. Он глядел на наши вещи.

— Позвольте, что это значит? Брать такси и посылать багаж с ручною тележкой. Где моя голова, как мог я забыть про наши вещи? Aline, мы с вами проявляем признаки умственного расстройства.

Шофер постучал по фонарю, обращая внимание на задерживаемый автомобиль. Муж соскочил на землю и все в том же совершенном потрясении стал расплачиваться. Не дожидаясь его и больше всего на свете стремясь избежать всяких расспросов, я подобрала пальто и побежала к носильщику, не обращая внимания на публику. У меня было несколько свободных мгновений, покуда муж стоял ко мне спиной и ожидал сдачи. Тем не менее я схватила носильщика за рукав и потянула его за каменный выступ вокзала, где мы могли потолковать совершенно незамеченные, в то же время не теряя из виду мужа.

— Я вам очень благодарна,— проговорила я, запыхавшись,— передайте мой привет Екатерине Васильевне и сожаление, что не успела проститься с ней как следует. Я непременно напишу ей. А это будьте добры взять за услугу...

И, не раздумывая долго, я вынула мой тысячефранковый билет и протянула его носильщику. Он взял билет, посмотрел на него, сказал:

— Ого! Обождите минуту.

Затем вынул какую-то книжку, написал несколько слов и, вырвав, протянул мне написанное. В то же время он с любопытством и, как мне показалось, дружелюбием вглядывался в мое лицо.

— Aline, Aline! — закричал муж, разыскивая меня в толпе.— Куда вы делись?

---

[1] В 1914 году что-то около 300 рублей золотом.

— Еще одно слово,— торопливо добавил юноша.— Екатерина Васильевна догнала меня и вручила вот это письмо для передачи вам. Всего хорошего, вас зовут. Кланяйтесь от меня России.

Он вложил мне в руки синий конверт, поднял два пальца к кепи и быстро сбежал с лестницы.

С конвертом и бумажкой, немного ошеломленная своим поведением, я нагнала мужа. Он уже возился с вещами и двумя рослыми вокзальными носильщиками. Мельком взглянув на меня, он подхватил меня под руку и повел на перрон. Только через несколько минут, когда мы уже сидели в купе, я отдала себе отчет в происшедшем. Каюсь, мне стало неприятно, что белокурый юноша принял деньги. Это было ощущение, всплывшее поверх всего. Мужчина, берущий деньги от женщины, даже не сопротивляясь, не отказываясь! Тут есть что-то неджентльменское. Невольно я подняла к глазам бумажку, чтоб разобрать, что он мне такое написал. Листок оказался квитанцией, за номером и с печатью.

«Принято от г-жи Зворыкиной тысяча (1 000) франков в газетно-издательский фонд партии...»

Вместо подписи стояла печать какого-то комитета. Не успела я охватить глазами бумажку, как выхоленные пальцы мужа ловко, хотя и вкрадчиво, вытянули ее у меня.

Я ждала бури. Минута молчания — и вдруг хохот, хохот из этой маленькой птичьей глотки, хохот такой, что заглушил даже мерное постукиванье колес:

— Ох, ох, mais c'est fameux! [1] Да когда ты успела? Моя собственная жена — и социалисты! Жертвовать тысячу франков во время войны, когда мы стеснены, на... ох, не могу... на гнусную газетку, подкапывающую наш строй! Додуматься до этого надо. Анекдот. Я буду в Петербурге рассказывать...

Он выхохотался, вытер кончики глаз, помахал на себя носовым платочком и принял серьезный вид.

— Я не журю вас, Aline, хотя вы сделали безумие.

---

[1] Здесь в смысле: «вот это здорово», «это поразительно» *(франц.)*.

Я знал, что ваше знакомство доведет вас до этого. Спасибо, что не хуже. Могло бы кончиться трагедией, скандалом, неприличием каким-нибудь. Я увез вас и хочу, чтоб на этом было покончено. Мы едем в Рим; кстати, вы даже не интересуетесь, почему именно в Рим. Я решил дать вам подходящее женское общество. Сестра Бабетта в Риме, вчера узнал об этом наверное,— вот вы и будете с ней вместе. Гуляйте сколько угодно, философствуйте, тратьте деньги, но по крайней мере в своем кругу. Не топчите моего самолюбия.

Последняя фраза вырвалась у него искренно и, я думаю, против воли — слишком обнаженно высказалась в ней его сущность. Мой короткий опыт научил меня, что у мужчины главное — самолюбие. Может быть, в старину, в рыцарскую эпоху, это называлось «честью». Но я думаю, что тогда это было то же самое, что теперь мы зовем самолюбием. Связано оно со всеми предрассудками своего времени и заключается в том, что мужчина все воспринимает не просто, а по отношению к себе самому как к владыке жизни.

Я не стала ни возражать, ни оправдываться. Вытерпела несколько заигрываний. Съела шоколад, который он положил мне в рот, набила ему английскую трубку. А потом ушла в уборную прочитать письмо Екатерины Васильевны.

«Милая моя Саша! (Не хочу называть вас собачьей кличкой!) Вот что скажу вам на прощанье. Лучшее в жизни добро и самое сильное зло — от людей. Старайтесь находить таких людей, которым вы всегда могли бы говорить правду. Это — высшая мерка человека. С такими становишься и сам лучше и выполняешь доступную тебе меру человечности. Люди, которым надо лгать или говорить полуправду, с которыми приходится притворяться,— есть самое злое зло нашей жизни. Бегите от них, кто бы ни были они. Ваш муж не потому плох, что похож на страуса и вы его ни на сантим не любите, а потому, что с ним надо лгать, лицемерить, хитрить и нельзя иначе.

Целую вас. Пишите мне по старому адресу.

Ваша *Е.*»

Я спрятала письмо под лифчик и вернулась к мужу, сознавая глубокую справедливость каждого прочитанного слова. Но мне было зябко перед будущим, я не хотела никаких решительных перемен, не хотела даже задумываться. Так началась цепь моих приключений.

Глава вторая

Бабетте, сестре моего мужа, было сорок лет. Ее рано выдали замуж за помещика, поглощенного кирпичным заводом, гончарной фабрикой, торфяными болотами, мыловарением и разведением племенных кур. Пожив с ним несколько лет и начав сильно толстеть, Бабетта стала лечиться от бездетности у разных докторов, пока не предпочла из них одного, украинца Ткаченко. Он состоял при ней домашним доктором. С ним, когда мужу было некогда, Бабетта ездила летом на воды. С ним же застряла она в Риме. Ткаченко был у нее на подчиненном положении. Я всегда удивлялась, почему злые языки молчали про Бабетту, что бы она ни делала. Как-то она сказала мне:

— Человек сам себя первый судит, сам про себя первый сплетничает. В жизни своей не встречала женщины, которая не насплетничала бы сама на себя, как дура.

Прожив молодость в деревне с грубым и пошлым, но деятельным человеком, Бабетта приобрела резкость, иногда вульгарность суждений, говорила на о, никогда ничего не читала, искренно презирала интеллигенцию и книжность, верила только в деньги и отчетливо знала, чего хочет. Скупая, как все выросшие в деревне, Бабетта первым долгом, однакоже, бралась за кошелек, когда ей начинало что-нибудь нравиться. Она сочинила пословицу: «В России только клопа не подкупишь» — и развивала ее в разговоре:

— Я вам выберу самую дрянь собаку с паршой, подвяжу ей в приданое к ошейнику двадцать пять тысяч, — и плюньте мне в лицо, если не найдется мужчина, который бы на ней не женился. А клоп — дело другое, от клопа не откупишься. Богат ты или беден, а уж он тебя искусает взасос.

Ей надерзили только раз в жизни. Как-то, с другой богатой волжской помещицей, поехала она летом на маленький горный курорт. Скука там была смертная, обе дамы изнывали.

— Что вы хотите, если единственный местный аттракцион — это землемеры,— вздыхала ее подруга.

Землемеров было там очень много, потому что шли измерительные работы. На каждой тропинке можно было наткнуться на их длинные шесты, планшетки и разную другую премудрость. Один раз Бабетта, заметив перед собой красивого юношу, сказала подруге не то чтобы очень громко, но и не тихо:

— Поглядите, хорошенький. Купили бы ему полдюжины белья и костюмчик, обойдется недорого, а лето проведете.

Землемер подошел к ней вплотную и... но тут муж переставал обычно рассказывать, ссылаясь на полное неприличие, а Бабетта сама подхватывала и, не краснея, заканчивала:

— И поднес мне кукиш к носу.

При этом не думайте, что Бабетта отличалась похвальной правдивостью. Ни одному ее слову нельзя было верить. Любимейшей ее темой было рассуждение о своей непорочной жизни, о долготерпении, о неблагодарности ближних.

Вот с такой женщиной мне предстояло проводить время.

Мы жили в Риме все вместе на Квиринале, в отличном английском пансионе, примыкавшем непосредственно ко дворцу. Я застала Бабетту не совсем здоровой. Она только что перенесла в Берлине операцию удаления желчного пузыря, а потом ей пришлось перенести разные предвоенные страхи, поспешить с отъездом, увидеть мобилизацию, передвижение немецких солдат. Она сидела в кресле у окна, вся с ног до головы в кисее, откуда виднелась ее припудренная, с жирными складками шея, и, глядя в ручное зеркальце, выщипывала себе пинцетом бороду. От нее пахло кольд-кремом, притираниями, свежим бельем.

— Садись, садись, здравствуй. Не тряси стол, а то я никак волоска не защипну. Ты что же это, Валентин

рассказывает, с колодниками спуталась? Стой, сиди. Опять трясешь всю комнату. Не нравится слово «колодники», могу сказать «политический». По мне, хоть святыми их зови, от этого они лучше не станут.

Я стиснула себе руки от злости. Извольте применять заповедь Екатерины Васильевны к таким людям. И вдруг и разжала рот и сказала — слово в слово то, что промелькнуло у меня в голове:

— Странно, Бабетта, будь вы из низшего сословия, ваша вульгарность непременно бросалась бы в глаза всем и каждому. Вас бы никуда на порог не пустили, а сейчас это сходит. Я нигде не видела столько безнаказанной вульгарности и пошлости, сколько в нашем обществе.

Бабетта выдернула большой черный волос, посмотрела на него и пальцем очистила пинцет.

— Этот дурак Василий Тарасович чуть было не оторвал мне подбородка. Повел куда-то электрическим током бороду драть, а немцы — известные жулики: пожгут вам внутренность и объявят, будто сухожилие испорчено; я вижу, пустили не туда ток, как затопала на них, как замахала. Они мне — мадам, мадам, а я скорей сумочку, шляпу, зонтик и на извозчика. Некоторые придумали пемзой волосы снимать или еще спичкой зажженной — кожу себе пожгут, всюду пятен наврут, дуры непролазные. Лучше пинцета ничего не придумаешь.

— Вы и разговариваете, как купчиха у Островского, — продолжала я в восторге от своего первого опыта. На душе у меня была отчаянная отвага. Какая это прелесть — правда. Как интересно ничего не бояться! Что из этого выйдет?

Она опять как будто не расслышала моих слов. Посмотрела на себя в зеркало, почмокала, припудрила подбородок, встала и тяжело оперлась мне на руку, пахнув запахом горячего, жирного, отполированного и уже дряблого тела.

— Пойдем в столовую, обедать пора.

Мы не сходили к общему табльдоту, и нам подавали по-русски вместо лёнча обед, вместо обеда — ужин. Подавали, впрочем, одно и то же, но Бабетта

терпеть не могла таких слов, как ленч, брекфест и супер: «Псарней отзывается».

Возле стола уже хлопотала, суетясь свыше всякой надобности, ее экономка и наперсница, худая как жердь, Павла Павловна. Голос у нее был басистый, руки темные, как на старых иконах, но лицо все в улыбочках, складочках, зубы реденькие, волосы в кудерьках. Такое несоответствие повторялось во всем, от походки и до характера. В разговоре она сильно брызгала слюной и потому держала перед ртом ладошку, которую потом аккуратно обтирала платочком. Отношение ее к Бабетте покоилось на беспрерывном раболепстве и угодничестве: ей ничего не стоило противоречить себе раз десять в час, если это вызывалось необходимостью. Скажет, например:

— Сыро как будто в этом углу, не протопить ли?

Бабетта ответит:

— Сказала! Повернуться нельзя от духоты.

Павла Павловна. И то правда, родная вы моя, душно легонечко. Не спрыснуть ли сосновой водицей или тройным?

Бабетта. С ума вы сошли, Павла Павловна, по грибам, что ли, соскучились, мокроту разводить!

Павла Павловна. Я и говорю, сыровато. Пальтецо-то не заплеснелось бы...

И так до бесконечности. Иные любители собак заставляют их по сто раз прыгать за кусочком сахару. Бабетта без всякого кусочка сахару по целым часам заставляла прыгать Павлу Павловну. Для чего она жила у Бабетты, я не знаю. Даже не ела досыта. У нее был болезненный, нечеловеческий аппетит. Но при других она не умела и не любила есть, а Бабетта нарочно сажала ее с нами. Бедная Павла Павловна давилась каждым куском, глядя себе на тарелку с тихой жадностью. Она ничего не успевала доесть и, чтобы не задерживать стола, отдавала недоеденное горничной, принимавшей грязные тарелки. Я поймала ее как-то на углу улицы, где она поедала, оглядываясь по сторонам, купленные на собственные деньги, невкусные, без соли, без масла, без хлеба, вареные земляные груши. В Рос-

гии карманы ее были полны семечек, в Италии — печеных каштанов.

Мы уселись за стол против Валентина Сергеевича, накапывающего себе лекарство, и доктора Василия Герасимовича. Лысый, довольно плотный хохол был большим весельчаком и говоруном. Бабетта покрикивала на него, но не могла обойтись без него ни единого дня. Он держал ее на диете, сам составлял меню и проявлял иной раз медицинскую инициативу, как это было в случае с бородой.

— Мы сегодня молодцом,— сказал он Валентину Сергеевичу,— через недельку будем предпринимать прогулки. А посмотрели бы вы, как Варвара Сергеевна перенесла операцию.

— Да, кстати, Бабетта, расскажи про операцию,— мы ничего не знали об этом. Как это ты в такое время решилась?

Нам подали густой итальянский суп из спаржи и маленькие пирожки. Я видела, как Павла Павловна расплескала свою ложку, стараясь сразу забрать в рот ее содержимое и сжимая указательным и большим пальцем левой руки маленький пирожок. Вид у нее был несчастный.

— Операция? Надоело, братец, вот и решилась. Что ни год, то его штопать. Это я про пузырь. Денег ухлопала уйму на их клиники. Так уж лучше было вырезать, и — конец.

— У Варвары Сергеевны все не как у других людей. Мы — простые смертные, она — богиня. У нее не то что смертные останки, а даже пузырь какой-нибудь удостоивается особой участи.

— Нашел о чем за обедом рассказывать,— величественно, впрочем не без удовольствия, перебила доктора Бабетта.— Как я к немцам в лапы ни попаду, непременно что-нибудь случается. Позапрошлый год у первой знаменитости, в лучшей лечебнице, при двух ассистентах да трех сиделках ухитрились они мне после операции двадцать восемь аршин марли в животе оставить. А на этот раз дело было такое: в нашей лечебнице за день до меня оперировали персидского принца, тоже пузырь вырезали. Принц, как очнулся, требует свой

пузырь,— у них, видите ли, такой закон, что все части тела должны быть похоронены в наследственной гробнице персидских царей. Ну, а пузырь давным-давно с прочею требухой выбросили. Принц рвет и мечет. Врачи, сиделки, сторожа туда и сюда, чуть не плачут,— нет пузыря. Как быть? А у принца уже температура. Пришли ко мне: так и так, нельзя ли в виде особой любезности ваш пузырик. Я разрешила. Отнесли принцу мой пузырь, он успокоился; положил его в хрустальный сосуд, а сосуд в серебряный ларец и увез в Персию. Так что мой желчный пузырь похоронен с большим почетом в наследственном склепе персидских царей.

Валентин Сергеевич расхохотался.

— Ай да сестра. Это я понимаю. Это в нашу хронику надо. Повезу в Петербург два анекдота: один о твоем пузыре, другой о моей жене.

В это время горничная убирала тарелки со съеденной рыбой. Она протянула руку к Павле Павловне, торопившейся доесть свой кусок.

— Не берите у Павлы Павловны, вы видите, она еще не кончила,— сказала я горничной.

— Кончила, кончила,— заторопилась та, роняя кусок обратно в тарелку,— к чему же из-за меня такое беспокойство.

Она щелкнула зубами от нервного страха. Отвращение овладело мной. И тотчас после обеда, когда подали фрукты, печенье и сладости, а Бабетта удалила Павлу Павловну кивком головы (она не разрешала ей сидеть «beim Nachtisch» [1], как говорят немцы), я обрушилась на сестру моего мужа;

— Почему вам доставляет удовольствие делать из человека кретина? Почему вы любите зрелище чужой тупости и чужого несчастья? Что приятного в ежедневном издевательстве? Дайте ей спокойный кусок хлеба где-нибудь, где она съест его себе на пользу.

К моему удивлению, Бабетта и на этот раз ничего не ответила. Но, вставая, чтоб удалиться к себе, я перехватила ее взгляд и жест. Она выразительно взглянула на моего мужа и пальцем похлопала себя по лбу,

---

[1] За послеобеденным десертом.

движеньем головы указав в мою сторону. Пораженная, и спряталась за большую дверную портьеру и с минуту задержалась в столовой. Она сказала:

— Валя и Василий Тарасович, не шутите, пожалуйста, с Алиной. У нее не все дома. Я вам говорю, она ненормальна. Что-нибудь на женской почве. Есть, видите, такие болезни. После твоих слов о тысяче франков я сразу подумала, что здесь (она опять похлопала себя по лбу) маленькое расстройство. На твоем месте, Валентин, я бы ей не противоречила и свезла бы ее поскорей в Петербург.

— Позвольте мне как врачу...— начал было Василий Тарасович, но дальше я слушать не стала, бросилась в свою комнату, заперлась и расхохоталась, как дикая. Возбуждение душило меня, я сказала себе самой вслух:

— В Чацкие попала. Вот тебе и правда! — И, чтоб справиться как-нибудь с несносным смехом, я схватила бювар, перо и чернильницу, а в рот сунула свой кружевной платочек и прикусила его зубами.

«Дорогая Екатерина Васильевна,

Ваше письмо стало моим жизненным спутником, и в результате я провозглашена сумасшедшей. Находить людей, которым *можно* говорить правду,— адски трудно, не по моим силам. Я решила говорить правду *всем*. Это вначале вроде купанья зимой в реке: очень страшно, и чувствуешь холод в позвоночнике. Но если кинуться очертя голову, то согреваешься, наслаждаешься, ничего уже не боишься. Только это так занятно — слишком занятно! И никого ничуть не трогает. Belle-soeur, которой я наговорила в лицо несколько горьких правд, отнесла их не к себе, а к моему умственному расстройству. Во всяком случае вы сделали мою жизнь интересной. Напишите мне.

Ваша *А.*»

В тот же день Валентин Сергеевич объявил, что мы едем через Бриндизи в Россию. Он был очень ласков и намекнул на возможность седьмого чемодана; Бабетта тоже была очень ласкова. Но я запротесто-

вала. Нынче мне хотелось одного, завтра другого. То не уеду, не повидав марионеток, то худо себя чувствую, то намереваюсь прокатиться по Кампаньи. Мне ни в чем не отказывали. Таким способом я выиграла несколько дней для получения ответа.

И куда бы мы ни ездили, что бы ни делали, новая забава никогда не наскучивала мне,— забава говорить правду.

В одно утро муж сказал при мне Василию Тарасовичу:

— Сколько ни избегал встречи с Новосельским, даже в читальню не ходил, а наткнулся-таки. Предупредите Варвару Сергеевну, что пришлось позвать его к обеду.

Новосельский был игроком и кутилой. Он занимался перепродажей антикварных вещей и дважды выступал свидетелем в чужих бракоразводных процессах. Он мог бы шантажировать, если бы захотел,— столько чужих секретов было ему известно. Его повсюду принимали и побаивались.

Большой, плотный, тщательно выбритый, с покатым лбом, прищуренными в мешочках глазами, сочным приятным баритоном, он вошел к нам мягко и чуть свесив к коленям обе руки, как танцор, собирающийся раскланяться,— его обычная манера. Поздоровавшись, он уселся, опять не сразу, а покрутившись по комнате, и занял место по себе, став похожим на большую кошку,— вот-вот начнет умываться. Даже привычка у него была кошачья — правой рукой водить по уху, рассеянно прислушиваясь не к собеседнику, а к тому, что делается за окном или за дверью.

Говорили о войне, об английском золоте, о том, что выгоднее покупать и везти, о камеях, которые он только что перепродал княгине Ливен.

— Жаль, что мы не встретились раньше. У меня была для вас изумительная трубка,— сказал Новосельский.

Муж всплеснул руками:

— И подумать, что я тщетно искал вас и в читальне, и на пьяцца, и в клубе. Как будто предчувствие было!

— Неужели он так горячо меня разыскивал? — через стол обратился ко мне Новосельский, вперив прищуренные глаза в мои. Было что-то в его лице, похожее на гримасу.

— Ничуть, — ответила я спокойно, — он вовсе не хотел с вами встретиться.

— Вот как! Почему же?

Он оживился и развеселился. Муж глядел мимо меня на доктора Василия Тарасовича. Доктор уставился на Бабетту. Бабетта больно прижала к себе мой локоть, успев выразительно кивнуть Новосельскому. Но тот и не глядел на нее. Помолодевший, как мальчик, он ждал ответа. И я ответила:

— Потому что вы — авантюрист.

— Алина! — воскликнули сразу муж, Бабетта и доктор. — Вы нездоровы. Она нездорова. Никита Петрович простит ей, когда узнает...

Я отстранила Бабетту рукой. Взгляд Новосельского гипнотизировал меня. Я загляделась на узкие зрачки, ставшие сейчас двумя черными черточками, на улыбающийся полный рот, прикушенный острыми и молодыми зубами, на синие от бритья, пухлые щеки, на все это лицо, выступившее передо мной в какой-то злорадной обнаженности, слушавшее меня с интересом и восхищением, — и продолжала говорить медленно, раздельно, обдуманно:

— Вы лишний и авантюрист. Таких презирают и побаиваются. Конечно, он не искал вас, да и никто не станет искать вас добровольно. Только признаться вам в этом не захотят ни он, ни другие.

— Отлично, Алина Николаевна. Но я должен сказать вам, что ведь и вы тоже — авантюристка. Вы начинаете увлекаться азартом.

Наступило мертвое молчанье. Он обвел нас глазами:

— Самое слабое в людях — это неуменье доканчивать. Я знаю, что ни один из вас не выберется из положения, подобного этому. Вы, Алина Николаевна, учитесь быть последовательной. Вам следовало бы уйти отсюда к какому-нибудь авантюристу, потому что ваш азарт в мещанской среде будет бесстыдством, в нашей

среде оригинальничаньем, и только в среде авантюристов, которым нечего терять, он станет добродетелью. В настоящую минуту нам лучше всего переменить разговор и докончить обед.

И эта великолепная кошка так и сделала. Мы сидели, опустив глаза, покуда он ел, пил и, как ни в чем не бывало, занимал нас разговором. Он преобразился от оживления; мне страшно было встретиться с его сияющими глазами. И, хотя он глядел на меня ласково и влюбленно, в каждом его жесте я чувствовала прочного врага.

После обеда — одна только мысль: скрыться, не говорить ни с кем из них, исчезнуть. Я успела одеться и выбежать на улицу, никем не замеченная.

Рим курился в золотом вечернем дыму. Красные камни его, посвежевшие от короткого дождика, обступили меня, как живое безумие. Я всегда боялась этого города. Он страшен, словно покойник, живущий после смерти,— тот, кто еще не похоронен и в мертвом опавшем лице, как сплошь да рядом бывает у покойников, зарождается совсем новое посмертное выражение, чаще всего ехидное, затаенно-жестокое. Рим живет вот таким посмертным выраженьем, и жуткие камни, измененные тушью смерти, совсем не историчны для меня, менее всего историчны. Я побежала в лихорадке, сама не знаю зачем, к опрокинутой арфе Ara Coeli[1] и несколько минут впитывала совершенство ее неземных пропорций. От недавней моей решительности не осталось и следа.

Азарт! Конечно, это азарт или, лучше, спорт — говорить правду. Нахалы тоже говорят правду, да и что такое правда? Лишь то обозначение фактов, которое известно нам с первого взгляда, ни больше ни меньше... Ах, Екатерина Васильевна! Острая, детская тоска по родине, по родной русской земле, по лесам и полям Измайловки внезапно стиснула мне сердце до слез, до великой жалости к себе. Словно к матери, припасть к ней, выплакаться на ее лоне,— знать, чувствовать, что она жалеет, примет, укроет тебя...

---

[1] Часовня в Риме с похожей на арфу лестницей.

Я повернула к почтамту. Чиновник, порывшись на полочке, достал знакомый синий конверт и протянул его в окошко. Он любезничал с русскими. Италия готовилась выступить.

Екатерина Васильевна писала мне размашистым почерком:

«Дорогая детка, боюсь, что вы не совсем меня поняли. Искать тех, кому можно говорить правду,— дело активное. Говорить правду всем — дело пассивное. Первое укрепляет, второе может разрушить характер. Особенно это опасно в вашем положении светской дамы: окружающие не примут (и не могут принять) этого серьезно, потому что это неразборчиво и бесцельно; а раз так — говорение правды у вас выродится в каприз или же в прием. Иногда за таким приемом прячутся люди совершенно равнодушные, которым «все равно» — и правда и те, кому она подносится. Есть такие же люди в искусстве. Они интересны, их вещи сразу приковывают внимание, иной раз скандал делают, но никто в этой стадии не дает подлинного искусства — или, оставаясь на ней, начинает уже кривиться, или приходит к ценному, преодолев эту первую стадию.

Простите за скучное письмо. Кажется, я становлюсь вашей воспитательницей на расстоянии. Впрочем, жизнь научит вас лучше, чем эти прописи, похожие на стрелки семафора.

Ваша *Е.*»

Как она всегда права! И разве я, ринувшись без семафорной стрелки на неверный путь, не потерпела крушения?

Мы больше не задерживались в Риме. Помню, как во сне, трехдневную остановку в Неаполе, грязный городишко Бриндизи с заплеванной гаванью, пропитанной запахом чеснока и смолы. Море было резко синее, бурное, с белыми гребнями. Греческий пароход, шедший в Пирей, чуть не разбился в Архипелаге. Нас трепало так, что семь чемоданов моих бегали в каюте, подобно биллиардным шарам. Бабетта лежала на койке,

проклиная Грецию и особенно греков. В промежутках между приступами морской болезни она кричала:

— Будь я дипломатом, уж я бы их, каналий, бестий, воров, купчишек... Брать за табльдот и звонить к столу во время килевой качки! Чтоб им выжгло внутренности этими ихними пикулями и маринадами, чтоб им... Павла Павловна, не сметь тут сидеть. Идите к табльдоту.

— Матушка, Варвара Сергеевна, ведь еще звонка не было.

— Наплевать, садитесь до звонка. Закуску ешьте. Пикули и маринады. Скажите, что упол-упол-ырррах-упол-номочены... за заплаченное...

Несчастная Бабетта высовывалась в окошко, откуда пронзительно дуло солью, йодом и пароходным дымом.

— Вот так они всегда,— шептала мне басом Павла Павловна, поднимаясь в столовую,— одним воображением живут. Очень им неприятно, что за свои деньги не могут покушать. Другой бы рукой махнул, а Варвара Сергеевна будут себе сердечко надсаживать.

А мимо плыли, оснеженные первым снегом, безмолвные, резкие, как крик в пустынном синем небе, вершины греческого горного мира, покинутого людьми и богами. И уже мы ступили на классическую землю. Бабетта, оправившись, покупала в Пирее бочонками маслины и ящиками халву и рахат-лукум. Маленький усатый человечек, говоривший по-русски, прицепился к нам в качестве чичероне. Он водил нас главным образом в кофейни «для свежания».

— Я тебя так «свежу», что четыре ноги у тебя вырастут,— сказала ему Бабетта после восьмой кофейни.— Пошел вон!

Человечек фыркнул, ощетинил усы, положил руки в карманы и не спеша удалился от нас на пристань подыскивать новых русских. Мы съездили в Афины, бродили по Акрополю, наслаждаясь теплыми, розовато-телесными тонами его мраморов, и, наконец, двинулись дальше.

Поезд шел на восток. Из окон вагона мы видели живописную боярскую Румынию с ее ободранными полями, нищенскими деревнями, одичалым и голодным

мужиком, глядевшим на нас исподлобья; с ее пустынными станциями и рядом — блестящим Бухарестом, переполненным военными в расшитых мундирах и льющейся всюду беззаботной французской речью. Мы видели онемеченную Болгарию, подвергшую нас поездному бойкоту и впустившую к нам в купе немецкого фельдфебеля. Видели Сербию, везшую нас бесплатно и собиравшую среди русских пассажиров «на Красный Крест». Все это было ново и незнакомо; и в другое время я с любопытством смотрела бы в окно... А сейчас страстное, всепоглощающее нетерпенье, тоска по дому охватили меня. Никогда, кажется, не тосковала я так о человеке. Сама не знаю, чего я ждала от этой встречи с родиной, но сердце во мне забилось, когда, наконец, на нашей границе высокий и рослый носильщик в курчавой бородке с проседью, словно перышки, один за другим, подхватил и вынес из чужого вагона уже на русский, на наш перрон, мои чемоданы. Мы пересели в просторный, чуть грязноватый русский вагон. И, наконец, нам навстречу поплыли запорошенные снегом поля, заиндевелые смоленские леса, затянутые льдом болотца; мороз разрисовал окна тысячью звезд. Валентин Сергеевич высматривал сквозь них в утреннем свете наплывающие знакомые платформы.

— Моя дорогая, вы можете подтвердить, что за все это время я не сделал вам ни одного замечания. Я не деспот. Вы нездоровы. Но следует делать над собой усилие, если не желаешь ставить близкого в безвыходное положение. То, что вы устроили с Новосельским, непоправимо. Постарайтесь в будущем не повторять таких историй, иначе нам придется создать для вас санаторную обстановку.

Я повесила голову и не возражала Беспокойная радость, оживлявшая меня в пути, вдруг сменилась апатией. Мне казалось, что внутри все отмерло — потребность бунта, самостоятельности, свободы. Человек, которому можно говорить правду, был фикцией. Где искать его? Среди тупых и самодовольных? Среди слабых, больных, искалеченных, нервных, истериков, любящих самобичевание и негодных для жизни? Среди

наглецов? Среди сильных? Но эти слепы на все, кроме своей собственной мысли.

Тут я впервые поняла, как много значит человек для человека. Мы пустеем среди пустых. Множество тем отмирает в нас только потому, что им нет отзвука. Миры рвутся из нас, томясь о воплощении, и угасают, как туман, в зрачках скептика, обывателя, кретина. Убийство на каждой улице, в каждом доме, в каждой комнате, убийство людей друг другом, медленное, изо дня в день... Валентин Сергеевич мог радоваться — я возвращалась в привычную пустоту. Подняв голову к сеткам, я стала смотреть на свои чемоданы и думать о предстоящих приемах и вечерах. Мы заговорили по-прежнему, беглыми словечками; я перебирала в уме туалеты, вспоминала рисунок дивных кружев, купленных в Австрии.

— Петербург,— произнес муж.

В сером утре, зимний, темный, бескрасочный, надвинулся на нас огромными, циркулем размеренными пространствами молчаливый, чиновный и призрачный, единственный город в мире — Петербург.

Глава третья

Настали годы ничем не омраченных дамских фуфаек. Газеты стали патриотичными, даже «те, которые». Читая их, мы умилялись от любви к солдатикам. Жены интендантов вязали фуфайки. Интеллигенты откладывали от каждой выкуренной папиросы одну не выкуренную,— для посылок в армию. Установились новые ходячие приветствия, характеристики, даже своя география. У кондитеров, табачников, галантерейщиков и спичечников был в моде бельгийский король Альберт, положивший основание многочисленным родам папирос, пряников и галстуков.

Переписка моя с Екатериной Васильевной прекратилась. Вышло само собой: когда внутренняя зарядка исчерпана, все в мире естественно распадается, за исключением разве людских отношений; они еще мнимо существуют в найденной раньше форме и переходят в

невинное лицемерие. Этого я не хотела. Когда писать стало не о чем, кончила переписку. Так же точно поступила и она.

Я жила, как жили вокруг меня все. В смутном и приблизительном чувстве окружающего, в нетерпении, в суете, в нарастающей незаконченности дел, помыслов и намерений.

Первое резкое впечатление, полученное за эти годы, было необычайно. Однажды ночью я проснулась от странного шума. Ночник освещал спальню; в ней никого не было. Я встала, прислушиваясь; шум доносился из соседней комнаты, служившей нам чем-то вроде склада. В ней помещались старые сундуки, арфа, ненужная мебель, ковры, убираемые на лето. Я увидела свет из-под закрытой двери, повернула ручку и вошла.

Комната освещалась неполным электрическим светом. Внизу стояли, наваленные друг на друга, дорожные чемоданы и саквояжи. Они были раскрыты, выпотрошены, перевернуты. Лоскутки, бумажки, обрывки веревок валялись вокруг них. Спиной ко мне, на корточках, сидел мужчина и рылся в этих бумажках, как безумный. Я вскрикнула. Он повернулся ко мне лицом и рассеянно произнес:

— Aline, очень жаль, что я разбудил вас... Не помните ли вы, куда делась та квитанция... квитанция... одним словом, та самая...

Говоря, он продолжал рыться. Перебирал одну за другой бумажки, разворачивал, прочитывал и снова бросал. Я смотрела на него в полном недоумении.

— Ах, что у вас за память! Ну, помните, в Цюрихе... Тысяча франков.

- Да на что она вам?

— Aline! — Он встал, положил мне руки на плечи и посмотрел на меня со смесью хитрости и трусливости.— Вы оказались умницей. Обстоятельства удивительно, уди-ви-тельно переменились. Хорошо, что я об этом рассказывал в обществе. У вас теперь репутация... Одним словом, бумажка принесет свою пользу.

Он снова сел на корточки и стал перебирать лоскутки. Я пожала плечами и ушла спать. Утром

Валентин Сергеевич принес мне газеты и с хитрой улыбкой достал из бумажника старую смятую квитанцию. Так я впервые узнала о надвигающейся революции.

Бумажка действительно принесла ему пользу. Первые дни революции он показывал ее меланхолически, даже с улыбочкой:

— Жена у меня давно интересовалась революционным движением. Как же, как же, в первый год войны мы предвидели возможность переворота. Встречались кой с кем из эмигрантов в Цюрихе...

Потом, в октябрьские дни, он спрятал бумажку в бумажник, чтоб окончательно вынуть и утвердить ее под рукой, в жилетном кармане, для бесчисленных хождений в Петросовет, исполком, наркомпрос, жилотдел и т. д. Он ухитрился при ее помощи забронировать нашу квартиру, спасти мебель, рояль, картины; она же спасла его от обыска.

Засыпая все с тем же выражением трусливой хитрости, похудевший, небритый, подергивающийся от нервного тика, он бормотал сквозь дремоту:

— Золотая рыбка... Именно... Есть такая сказка, Aline, про золотую рыбку. Хи-хи-хи, миленькая моя, кто бы мог думать, что ваша квитанция окажется золотой рыбкой. Вадбольского расстреляли, а я жив, Милорадович арестован, а я ничего подобного. Хотите, уеду завтра в Крым? Хотите, освобожу Милорадовича? От золотой рыбки чего ни попрошу, всего добьюсь...

И в один прекрасный день он потребовал от золотой рыбки, чтоб она разрешила ему выехать на юг. Это походило на бегство. Кружева, драгоценные вышивки, белье, платье, смятые в комок, засунуты были как попало и куда попало. Брильянты запиханы в мыло, картины вырезаны из рам и скатаны вместе с клеенкой. Несмотря на ухищрения Валентина Сергеевича, мы попали вместе с другими в теплушку, где кричали день и ночь грудные младенцы, роняемые друг другу на головы и на колени. Я потеряла всякую способность чувствовать. Запах пота, грязи, женского молока, пеленок, немытых волос, паровозной копоти убил мое обоняние. Валентин Сергеевич обнаружил изумительную приспособляемость. Он сделал четыре узла на

концах большого носового платка и надел его себе на лысину. Он разговаривал решительно со всеми тоненьким голосом, усвоив какую-то неестественную вульгарность жестов и синтаксиса. Он тютюкал даже грудным младенцам, щелкая им перед носом пальцем и сладенько улыбаясь. Он жаловался всем на полное разоренье, беспросветную бедность и, не стесняясь, брал и ел сухари из черного хлеба, которыми соседи с ним делились. Но каждые четверть часа придвигался ко мне и щупал золото в моем поясе, мыло у меня на груди и шипел сквозь зубы, чтоб я держала себя проще и естественней. Эта комедия заставила меня задуматься о прочности того общего облика человеческого, который зовется «положением». Стоит изменить на кратчайший срок сферу действия человека, как он тотчас же меняет обличье; самые устойчивые вещи оказываются не прочнее слоя пыли под ветром.

Когда мы перевалили в четырнадцать дней через Воронеж, у нас оказался новый попутчик, директор гимназии. Он был выброшен в Воронеже со всеми своими пожитками из такой же теплушки, как наша, с неделю ждал поезда и набился к нам, подкупив кондуктора десятком яиц.

— Невежественная масса высадила меня за пропаганду, хотя никто даже не понял, что имел я в виду,— объявил он в первую же минуту, как угнездился.— Второй раз высаживают, а еду я из Твери. Вот вам наш пресловутый народ. О, подвиньтесь, пожалуйста, мадам, что это у вас рядом с жестянкой шевелится. Положите, пожалуйста, под ноги, не нужно занимать места для сиденья вещами. Позвольте, я помогу... Раз-два... и...

— Отдай ребенка! — взвизгнул нечеловечески острый голос.— Куда суешь? Глаз у тебя, что ли, нету, ребенка за поклажу принял! Недаром, знать, и высаживали, ишь скорый какой. Погоди, погоди, опять высадим.

Директор гимназии отнял руку от шевелящегося комочка, оглянулся во все стороны и виновато улыбнулся.

— Я, гражданка, не имел ни малейшего намерения,— успокойтесь. Вот так и разжигаются народные

страсти. Случай со мной в этом отношении страшно показателен. Гражданин, что вы кушаете, огурец? Имейте в виду, на юге свирепствует страшнейшая холера. Если вы непременно хотите есть, то советую вам очистить его перочинным ножом. Да, так я хотел рассказать об этом случае.

Он расширился на своем месте, уместив обе ноги на чужом чемодане, правую руку на чьем-то плече, а левою вращая вокруг лица взамен вентиляции.

— Случай мой заключался в самой обыкновенной общительности. Я рассуждаю так: все мы едем из Совдепии с полным комплектом своего семейства — значит, переселенцы. Значит, всем солоно пришлось. Каждый про себя ругает, что может. Я же за последние месяцы в Твери обосновал свою теорию недовольства и вздумал изложить ее публично в полной уверенности, что она объединит умы. Вообразите, вместо этого шум, придирки... Я никогда не позволю нанести себе физического оскорбления без того, чтобы не ответить... И, таким образом, тридцать душ на одного, вещи на землю, меня на вещи,— я к начальнику станции, а поезд ушел.

— Да ты сам бы рукам воли не давал!

— Гражданин, я вас прошу меня не тыкать. Вы не имели чести быть моим попутчиком в означенном поезде... Самое же комичное во всем этом была темнота, невежественность, дух противодействия, прежде чем кто-либо понял меня. Я замечаю, гражданин, что вы все еще кушаете огурец с кожурой. Вы нарушаете требования санитарии. Предположите, что у вас холера. Предположите, что поезд идет, не останавливаясь. Куда мы денем ваши экскременты? Вы перезаразите весь поезд, послужите основной базой для холерной инфекции и погибнете сами, погубив окружающих.

Рядом со мной пожилая монахиня глубоко вздохнула и надвинула на уши клобук. Крестьянин, евший огурец, выругался и положил в рот сразу весь остаток, оттянувший ему щеку, как мяч. Валентин Сергеевич незаметно отодвинулся от него.

— Мы не общественны,— продолжал директор все более громогласно,— в этом наше отличие от Европы,

где на каждом квадратном аршине вы найдете бак с кипяченой водой. Теория же моя могла бы открыть вам глаза на причины нашего исторического банкротства. Я так рассуждаю: во имя чего делают разную суматоху на земле, в том числе и революции? Во имя массы, для массы, прикрываясь массой. Для массы издают законы, ловят и вешают людей, изобретают машины, печатают книги, устраивают революции. И скажите мне на милость, просила ли масса хоть о чем-нибудь из всего этого? Какое ей дело! Вы обратите внимание: каждое новшество, каждая перемена, пусть даже самая благодетельная, ведет к неудобству. Каких трудов стоит выгнать мужика из курной избы и переселить в человеческую, каких усилий — введение новой машины. Массе приятно только привычное. Вот я вас и спрашиваю: если у иного человека иголка в теле ходит и он, не усидев на одном месте, хочет все перевернуть, то почему же на массу сваливать? Причем она тут? Я сам — масса, вы — масса, другой, третий — масса. Мы бежим. Мы ничего не хотим, кроме того, что было. Мы не желаем беспокоиться... Мы хотим оставаться в покое. Вот в чем моя теория всеобщего недовольства, вы понимаете. Все люди недовольны тем, что им беспрерывно навязывают участие в истории. А навязывают им участие в истории те самые, у которых нет дела, так называемые безработные. Они сочиняют историю, чтоб найти себе применение, вроде актеров, пишущих пьесы, чтобы иметь выигрышную роль. На этом основании я пришел к выводу, что необходимо систематическое истребление безработных во всех частях света. Я... гражданка, вы давите мне ногу своим сапогом. Убедительно прошу вас убрать его куда-нибудь в другое место.

— А вы мне на плечо руку не кладите.

— Я не подозревал, что моя рука причиняет вам неудобство. Согласитесь, однако, я не могу оставить ее висеть в воздухе.

— Подвиньтесь чуточку, всем места хватит.

— Вы рассуждаете по-женски. Подвинуться некуда, можно только съежиться... Ай-ай-ай, уберите вещи, уберите ноги, руки, мне дурно, у меня при...

С нашим оратором сделался приступ чего-то, очень похожего на холеру. Поезд шел, как черепаха. На жарких пригорках виднелись хатки, окруженные садами спелых черешен. Мимо проползла будка, кусочек дороги, шлагбаум, длинная платформа. Мужик, евший огурец, переглянулся с соседом, и вдруг вещи несчастного директора гимназии, одна за другой, полетели на платформу, а вслед за ними и он сам.

— Незаконно,— кричал он, вскочив и побежав за поездом.— Вы ответите... вы...

В вагоне нашлись возмущенные голоса. Кое-кто требовал, чтоб староста, высокий студент, молчаливый, как истукан, остановил поезд. Студент пожимал плечами. Бабы злорадствовали, Валентин Сергеевич хихикал. Мужик с огурцом спокойно произнес:

— Человек поврежденный, куда ему дальше ехать! Здесь места хорошие, хлебородные, чернозем. Пущай живет, тут ему как нельзя лучше.

— Для дальнего следования они не подходят,— неожиданно вмешался мой сосед, худенький мастеровой.— Не беспокойтесь, к ихней же пользе.

Так мы и бросили автора теории о всеобщем недовольстве. Ползли еще сутки, потом еще сутки, еще сутки. И, наконец, сквозь немецкий кордон, попали в страну белых. Здесь Валентин Сергеевич мгновенно изменился. Платок с узелками исчез, дав место панаме. Круглый лорнет в золотой оправе попрежнему улегся в кармане, а реденькие усы и бородка были тщательно сбриты. Сладенького тона, растерянности, пришибленности как не бывало. Не успела я оглянуться, а уж у него нашлись знакомые, сослуживцы, родственники. И в один прекрасный день он объявил мне, что становится государственным деятелем. Для этой цели он должен быть свободен во всех отношениях, а потому устроит меня на маленьком морском курорте, сам же вернется в центр. Я не противоречила. У меня не хватило даже духу отстоять свои брильянты. Валентин Сергеевич убедил меня, что хранить их при себе опасно и что одинокая женщина всегда подозрительна для профессиональных воров. Словом, вышло так, что я очутилась на маленьком кубанском курорте,

почти с четырех сторон окруженном морем. Я жила в большой даче с тремя другими дамами, чьи мужья превратились в государственных деятелей. Я пишу тут нашу дамскую историю, а потому нимало не касаюсь государственной деятельности наших мужей. Должно быть, она протекала нормально, так как они навещали нас еженедельно, привозя множество приятных вещей и отвечая на наши вопросы горделивыми улыбками. Мы жили, купались и тратили деньги. Сплетничали немножко. Кое-кто нашел себе развлеченье в политике; тогда началось чтение газет, интрига, борьба влияний, устройство кузенов и секретарей.

Я осталась в стороне от всего этого, утомленная страшной внутренней пустотой и безлюдием.

Единственный человек, с кем я общалась, был старый камергер Ф., доживавший свой век на запущенной даче с камердинером, кухаркой и большой ручной черепахой, знавшей свою кличку. Старик остался как-то один на пляже, уронил палку и беспомощно искал ее по земле, шаря руками не там, где она лежала. Большие выцветшие глаза его смотрели мимо палки, губы двигались, он походил на слепого. Он и был им, из странного тщеславия не признаваясь себе в меркнувшем зрении Я вложила палку ему в руки. Спустя несколько дней мы присели рядом на скамейку и разговорились.

Он отчетливо знал два царствования со всеми интимными подробностями. Относился критически к тому, что пережил, был европейски образован, галантен, тонок той тщательной тонкостью, цену которой знает лишь человек равной культуры и которая всем остальным кажется счастливою простотой. К моему изумленью, это был первый человек, от кого я услышала одобренье большевикам.

— Вы поймете меня, милая, когда доживете до моих лет. В затеи вашего мужа и генерала Деникина я не верю. Они потерпят пораженье, и не потому, что в них нет героизма или честности, а потому, что у них нет лозунга. Знайте, что старая армия распалась, ибо умерла ее идеология. Ни пушки, ни ружья, ни снаряженье, ни генералитет не составляют силы, ни множество вымуштрованных солдат. Силу составляет лозунг,

пока он не изжил себя. А судьба всех лозунгов одинакова: сперва они актуальны, потому что соответствуют воле народа и цели предприятия; потом они формальны, их исповедуют, привыкнув к ним и уже не замечая, что цель и воля передвинулись; и, наконец, они фиктивны,— это когда их даже исповедовать перестают, а лишь донашивают, как одежду: вот тут и наступает конец предприятия. Банкирский дом — Европа et Colonies — лопнул. Поверьте мне, это конец предприятия.

— Неужели вся наша идеология изжита?

— Загляните в себя. Я это предвидел еще в четырнадцатом году, за неделю до объявления войны. Мы были поголовными неврастениками. Если бы нам предложили еще сто лет жизни, что бы мы стали делать? Уверяю вас, мы занялись бы классификацией прошлого. Мой лакей зовет это приведением в порядок письменного стола. Все не только сказано, прочувствовано, изжито, но и пересказано другими, переведено на все языки. Заметили вы, что наше поколение уже ничего не может завещать младшему? Ничего! Между нами пропасть. Мы слишком рафинированы для них, слишком. Они начинают сначала.

— И вы думаете, что большевики...

— Они замечательны тем, что это не только политическая партия. Будь они только политической партией, я бы поместил их внутри круга, а не снаружи. Но эти люди принесли с собой мировоззрительную систему, и вот в этом их сила и преимущество. Я не могу разобраться в этом мировоззрении. Оно для меня дико, топорно, невероятно ограничено. Однакоже, милая, вспомните, чем казалось христианство образованному эллину в начале нашей эры. Мог ли он предвидеть те комплексы тончайших идей, ту атмосферу великой нежности, тот оплодотворяющий фермент для искусства, этики, права, которые выявлялись из христианского мировоззрения в течение веков. Не казалось ли оно ему в высшей степени грубым, примитивным, однобоким, даже циничным? Вот и нельзя судить на нашем месте. Будем же мудро молчаливыми.

— Но вы не можете сравнивать их с христианством,

Ведь они же борются со всякой религией и провозглашают материализм и безверие.

— Мой друг, всякая политическая партия оставила бы религию в покое. Только новая религия идет войной на старую. Что заложено в кличках? Слово — это лишь запертая на замок дверь. Сущность не в замке и даже не в двери, а в том, куда мы входим через эту дверь. Так бывает и со всяким новым словом, провозглашающим себя самого. Как раз в их борьбе с религией я и усматриваю плодотворное доказательство моей мысли. Кто бы ни были они, я их приветствую. Я приветствую их потому, что они принесли с собой новую систему идей и, значит, новую организацию наших стареньких, заштопанных земных ценностей. А это обещает нам вторую молодость и еще несколько веков жизни старухе земле.

— Но они убьют вас.

Старик взглянул на меня большими незрячими глазами.

— О! Именно потому я приветствую их. Да, они убьют меня, чтоб жить вместо меня.

Он встал, оперся на палку и улыбнулся большой, бледной улыбкой царедворца.

— Приходите посмотреть на мою Нетти. Я не знаю ни одной женской головки, которая могла бы поспорить в прелести с головкой черепахи. Я не знаю более кротких, более грустных, более выразительных глаз. Странно, что ни одному художнику это не приходило в голову.

Мы расстались, а на следующее утро приехал курьер от мужа со следующим лаконическим письмом:

«Aline, уложите все вещи и ждите меня. Я еду в Европу и беру вас с собой. Я сохраню за границей пост и оклад министра. Целую тысячу раз. Будьте осторожны, никому не говорите о моем приезде».

Ужас охватил меня при одной мысли опять возвращаться в Европу, опять вести страшную, бездомную жизнь срезанного и лишенного корней растения. Всей силой оставшегося во мне инстинкта я цеплялась даже за эту неуютную осеннюю землю маленького примор-

ского городка, я не хотела никуда уезжать и со страшным, удивительным упорством воспротивилась вам, когда вы, Вилли, наконец, появились у меня в каком-то диковинном мундире, с бегающими глазами и с отвратительной улыбкой. Так отчаянно хотела я, чтоб вы уехали один, и странно, вы не очень настаивали. Вы проявили на словах необыкновенную заботливость, но вы уехали, захватив с собой не только портфель министра, а и, по рассеянности, мои брильянты. Прощаясь, вы забыли передать мне деньги и, опять по рассеянности, даже не упомянули о них. Вашу последующую жизнь я могу представить себе довольно реально благодаря сведениям других жен о своих мужьях. Вы, должно быть, все еще министр, а может быть, и член придворного общества какого-нибудь из претендентов на российский престол. Вы заседаете, слушаете доклады, ездите на деловые свидания. Вы рассказываете в интимной беседе с женщинами, как большевики замучили и отравили вашу жену, похоронив ее труп в братской могиле. Вы собираете подписи под обращением к Вильсону, Нансену, Пуанкаре, Ллойд-Джорджу с мольбою не оказывать помощи голодающему русскому народу, для которого лучше умереть святым, чем спастись при большевиках. Вы стоите в прихожей различных министров финансов, ходатайствуя о кредитах. Вы купили себе недвижимость. И вы шли за своим веком, подражая ему в любви к модным словечкам; вы куковали без передышки: «Интер-интер-интер-венция»... Поправьте, в чем я ошиблась!

Но зато вы сами, Вилли, вряд ли можете вы представить себе то, что пережила за эти годы я. За вычетом вывороченного позвоночника, срезанных грудей, сиденья в чеке и похорон в братской могиле, которым вы, к сожалению, сами не верите, чему доказательством ваш упорный отказ дать мне развод,— за исключением всего этого, что можете вы представить себе о моем существовании? Эти записки идут вам навстречу. Не утруждайте ваш государственный лобик, я сама расскажу вам все по порядку.

Вслед за вашим отъездом уехали, даже не успев предупредить их, и мужья моих трех соседок. Мы оста-

лись почти без денег. Я была одинока, но у них были дети, у двух по одному, у третьей двое. Теплая южная осень сменилась дождями, сыростью, нордостом. Прислуга ушла, наговорив нам дерзостей и потребовав на прощанье за три месяца вперед. В газетах стали печатать приказы: в одном объявляли мобилизацию, в другом вешали дезертиров, в третьем эвакуировали. Из Новороссийска отошел последний пароход вместе с Врангелем Очевидцы рассказывали, что офицеры штыками разгоняли публику, стремившуюся попасть на пароход, и шпалерой стояли по дороге на пристань, покуда перетаскивались ящики, ящики, ящики с золотом, серебром, драгоценностями, старинными вещами. А потом и газеты перестали выходить.

Наш маленький курорт, как вам известно, возник из бывшей колонии каторжан. Туземцы — потомки уголовных — полуказаки, полурусские, знавшие до сих пор лишь выгоду от курортников, носивших им золотые яички, решили поступить, как дед и баба из сказки: чем ждать каждый день по яичку, не лучше ли зарезать курицу и выпотрошить у нее из живота сразу все яйца.

Электричество прекратилось, воду перестали разводить, в лавках исчез хлеб. Три дня до прихода красных туземцы резали куриц. Я знала, что мой старик камергер остался один-одинешенек, так как лакей и кухарка ушли от него в первые же беспокойные дни. Но я боялась пойти к нему. Мы сидели, четыре женщины с четырьмя детьми, в огромной пустой даче, темной и нетопленой, без капли воды, без крошинки хлеба. Для детей оставалось еще печенье «альбертики», которым мы скупо кормили их три дня. Ночью раздался страшный стук в ворота. Дети заплакали. Мы зажали им рты. Стук повторился, стал грозным, перешел в удары топора по дереву. Наши ворота разлетелись. Я подошла к тоненькой дачной двери и спросила:

— Кто стучит? У нас дети спят.

— Открой, пока не взломали!

Я открыла дверь похолодевшими руками. Я не могла говорить от страшного трепета,— у меня трепетало сердце, губы, артерии. В совершенной темноте к нам

ворвалось несколько бандитов. Один из них нащелкал зажигалку и все время держал ее, заменяя новой, когда она догорала. У него было безусое и безносое, искаженное сифилисом лицо. Оно показалось страшным детям, закричавшим в диком ужасе. На них прикрикнули. Начался разгром.

Обручальные кольца, кресты, брошки были сняты с нас, часики сорваны. Были перерыты сундуки, разбросаны белье и платье. Грабеж велся с лихорадочной поспешностью. Спрашивали вино и золото, оглядываясь на двери, прислушивались к выстрелам. Дети спасли нам тело. Они мешали, кричали, взвинчивали нервы, путались под ногами. Нас не тронули.

Когда они ушли, мы остались одни среди ночи в разграбленной даче, со взломанными воротами. Грабеж мог повториться. Мы взяли поэтому детей и ушли из дачи, оставив ее на произвол судьбы. За нею был небольшой сарайчик для коз, с сеновалом на чердаке. Мы залезли на сеновал и зарылись в сено. Мать двух девочек, самая старшая из нас, была больна пороком сердца. К утру с ней сделался сильный сердечный припадок. Я вспомнила, что у камергера всегда были под рукой ландышевые капли и дигален. Пришлось побороть страх и выбежать на улицу. Занималось утро. Над морем стояла горизонтальная алая полоска, предвещавшая ветер. Улицы были совершенно пусты, дачи закрыты и безмолвны. Я свернула на бульварчик, где в оливковой роще, почти у самого моря, находилась дача камергера. Здесь я заметила некоторое оживленье. Две женщины гречанки стояли у калитки и неистово ругались. Я подошла. Обе тотчас же сунули что-то под передник, оглядели меня и молча разошлись в разные стороны, не отвечая на мои вопросы.

Как и следовало ожидать, камергер был дочиста ограблен. Услышав мой голос, он попросил меня обождать и вышел не раньше, чем привел себя в порядок. Он улыбался.

— К счастью, дигален был у меня в кармане, вот он. А ваше предсказанье не исполнилось, я живу еще... Только Нетти, Нетти!

На полу у его ног я заметила черепаху. Ее малень-

кая головка была придавлена к земле чьим-то каблуком, лапы распластались безжизненно.

— Она умерла, как настоящая женщина. Этот панцырь мог бы спасти ее от всех политических переворотов... Но когда к нам вломились люди, мы не смогли обойтись друг без друга. Я позвал ее: «Нетти», она тотчас же выползла и со всей черепашьей скоростью бросилась ко мне, забыв об опасности. Один из громил раздавил ей голову. Чудные кроткие глаза вытекли. Это последняя любовь в моей жизни, и я счастлив, что она не убила во мне веры в женщину. Но куда же вы, дитя мое? Я не могу позволить вам идти одной. Я провожу вас.

Он надел шляпу, взял палку, и мы вышли вместе. Под юмористическим тоном его я слышала трагические нотки. Мне показалось немыслимым покинуть старика одного, и, согласившись на эти проводы, я просто-напросто решила оставить его у себя.

Но дома нас ждал новый сюрприз. Мать обеих девочек умерла. Две мои соседки лихорадочно связывали пожитки, они хотели на катере добраться до Новороссийска, где у них были родственники. При виде меня с камергером одна из них бросилась мне навстречу:

— Александра Николаевна, голубчик, здесь оставаться дольше — безумие. Мы решили ехать. Сестра узнала, что сейчас отходит катер. Что вы думаете предпринять?

Я поглядела на старика, побелевшего в одну ночь как лунь, но стоявшего поодаль с любезной улыбкой. Вспомнила бесконечные наши метанья с Вилли по заграницам. Представила себе Новороссийск, шумный, пыльный, чужой, без единой знакомой души — и твердо ответила:

— Останусь здесь.

— Ах, вы снимаете нам камень с шеи. Мы просто голову теряли, как быть с Люсей и Валей. Подержите их, дорогая, у себя, покуда за ними не заедет тетка. Мать перед смертью сказала, что уже написала и ждет ее со дня на день. Вот здесь, на листике, ее последние слова, адрес. А тут, в узле, что у них осталось ценного. Ну, прощайте, не теряйте мужества...

Они расцеловались со мной и, взвалив все свое имущество на плечи двух тощих уличных мальчишек, пойманных на пристани, побежали прочь. Люся и Валя, бледные петербургские девочки в веснушках, с золотушными ротиками и ушами, подошли ко мне из угла и без слез, в каком-то оцепенении, схватили меня за платье. Я оглянулась на камергера и вдруг почувствовала огромное душевное облегченье, словно все пережитое с плеч свалилось. Я крикнула ему звонким, молодым голосом, полная неожиданной энергии:

— Дорогой друг, вы теперь не смеете меня покинуть. У вас нет Нетти, а у меня Люся и Валя. Оставайтесь жить с нами.

В ту минуту я не отдавала себе отчета в полной перемене своего душевного состояния. Позднее я поняла, что последнее спасенье человека в реальной заботе о других. Пустота, равнодушие, скука, томленье упали с меня, как чешуя. Душа выпрямилась с новой неожиданной упругостью, с коротким чувством *только* сегодняшнего дня, с суетой и заботливостью короткого, материнского зрения. Это было моим обновленьем.

Так мы и зажили вчетвером: старик, двое детей и я. Началось с того, что аптекарша, встретясь со мной, пригласила меня пообедать. У аптекарши разорвалась кружевная наколка при беготне из кухни в столовую. Я умела штопать кружево или по крайней мере сумела суметь. Тогда мне стали приносить их на дом. За кружевом последовало белье, вышиванье, вязанье. Работы хватало на всех нас. Камергер научился стряпать обед, собирал в роще хворост. Девочки помогали мне. Вскоре весь курорт знал меня и мое маленькое семейство. Большевики не тронули никого из нас, только отобрали все письма мужа и взяли с меня подписку о невыезде.

Но жить становилось все труднее и труднее. Девочки обносились, долгожданная тетка не приезжала. Мало кто мог шить и давать мне работу Цены поднимались. Я приступила к распродаже моего добра. Еще несколько недель, и мы проели нашу одежду. Камергер стал прихварывать. Я подозревала, что он сознательно морит себя голодом, чтобы поскорее избавить меня от

личной заботы. Тогда я схитрила и стала выдумывать письма и посылки от мужа. Он видел так плохо, что не мог уличить меня. Некоторое время удавалось поддерживать в доме веселое настроение, а потом и в самом деле пришла посылка — от лакея камергера. Он устроился поблизости на хорошем месте, не то заведующим транспортом, не то председателем продовольственной комиссии, узнал о своем бывшем хозяине и прислал нам муки, крупы, сахару.

Старик расплакался, когда развязывал посылку. Успокоившись, он сказал мне дрожащим голосом:

— Как хороша жизнь со всеми ее неожиданностями! Учитесь, дитя мое, великой истине: все на свете относительно. Вот эта пшенная крупа — не правда ли, она пшенная — осталась все тою же самой, а между тем сколько нужно было ввести перемен, каким различным воздействиям подвергнуть человеческую душу, чтоб каждая крупинка ее стала нам радостью. Поистине жизнь полна непрерывных сюрпризов. И если при каких-нибудь шестидесяти четырех квадратиках шахматной доски неисчислимы возможные комбинации, то подумайте, сколько комбинаций в запасе у жизни!

Я придумала новый способ заработка: пекла пирожные в местные, еще не закрытые кофейни. Когда их закрыли, положение стало критическим. Опять аптекарша надоумила меня:

— А вы коржики пеките да возле почты из-под полы продавайте. Самое людное место, и на службу народ мимо проходит. Я думаю, в один час расторгуете.

Дома я подошла к зеркалу. И все-таки это было мое лицо, несмотря на загар, обветренные щеки, гладко зачесанные волосы. Это были мои руки, хотя и покрытые ссадинами, царапинами, несмываемой смуглотой от картофельной кожуры и угольной сажи. Чтоб не бросаться в глаза, я не надела ни кофточки, ни шляпки. В кухне лежал оставленный нашей прислугой большой шерстяной платок, прожженный во многих местах утюгом. Я напекла коржиков, накинула на плечи этот платок, спрятала под ним корзину и пошла к почте. Мне пришлось идти по главным улицам, и раза два милиционеры пытливо заглядывали под мой пла-

ток. Проходя мимо исполкома, я услышала топот копыт.

У дверей исполкома толпилось множество народу. Кучка красноармейцев сидела неподалеку на земле. Большие белые афиши, наклеенные на тумбу, извещали о митинге с приехавшим из центра товарищем Безменовым. Я остановилась по какой-то непонятной рассеянности и стала глядеть на дорогу Один из красноармейцев дернул меня за юбку:

— Тетка, что прячешь?

— Не хотите ли коржиков?— ответила я все так же рассеянно, с непонятной для меня неосторожностью. Красноармеец подмигнул соседу:

— А вот посмотрим, какие у тебя коржики, свежие ли?

— Горячие, с печки.

Я научилась говорить и интонировать простонародно. Сдернув платок, я показала ему корзину с горячими коржиками. В ту же секунду он схватил меня за локоть и крикнул во весь голос:

— Товарищ, держи, спекулянтку изловил!

Я стала вырываться с отчаяньем:

— Пустите меня, дайте мне уйти!

— Так сейчас и пустим. Милиционер, иди, составляй протокол!

— Не шумите тут, сейчас митинг начнется, ораторы подъехали.

— Митинг начинается, а вы за спекулянтами не смотрите! Что подумает товарищ Безменов, он сейчас из центра. Ведите ее в милицию,— это говорил негромко худощавый секретарь исполкома, знавший меня в лицо. Не будь столичного гостя, он выпустил бы меня. Я оглянулась вокруг с отчаяньем. Корзинка моя ходила от красноармейца к красноармейцу.

В эту минуту глаза мои встретились со взглядом человека, выходившего из таратайки. Он был в военной тужурке и кожаной фуражке. Из-под околыша блеснули быстрые, внимательные глаза. Короткая верхняя губа приподнялась над мелкими зубами. В ту же секунду мы узнали друг друга. Не знаю отчего, но я вскрикнула, закрыла лицо руками и попятилась от него

на руки милиционеров. Милиция, тюрьма, чека — все казалось мне отрадней, спасительней, сокровенней, чем эта встреча. Я услышала голос:

— В чем дело?

— Спекулянтку с поличным поймали.

— Отпустите женщину, записав ее адрес.

Он совершил беззаконие. Это чуть-чуть утешило меня, точнее, убавило мне стыд. Когда я снова отважилась взглянуть, товарищ Безменов поднимался по лестнице в исполком, спиною ко мне. Милиционер толкнул меня и, даже не подумав спросить адрес, сказал примирительно:

— Чего глаза таращишь? Иди.

Я вернулась домой без корзинки, без коржиков и без денег.

Глава четвертая

— Тетя, тетя, у нас с обыском были.

Навстречу мне кинулись Люся и Валя с оживленными личиками. В жизни бедных детей это все-таки было событием. Я обошла комнаты. Что можно перерыть — перерыто. Не взято ни единой бумажки. На столе оставлен клочок с выведенными на нем большими буквами:

«Удостовиряю, что, производя обыск на квартире гражданке Зворыкиной, вследствие которова ничего такова найдено не оказалось. 3-го отд. 2-го участка Бычков».

— А где же камергер? — Я оглянулась вокруг — старика нигде не было.

— Дядю взяли солдаты,— серьезно сообщила мне старшая, Люся,— он очень радовался. Сказал: «Поцелуй нашу добрую Алиночку и передай, что я весел и доволен. Пусть она не скучает». Вот я теперь тебе передала слово в слово.

У меня потемнело в глазах, и я опустилась на стул. Забрать умного, доброго, почти ослепшего, седого как лунь старика! Забрать моего последнего друга. И он радовался, уходя, радовался, что лишним ртом будет у нас меньше... Я опустила голову на стол и в первый раз

за все эти дни, за все эти годы разрыдалась. Плакала так, чтоб изойти в слезах, умереть, больше не видеть и не слышать. Дети стали возле меня тихо, как мыши. Люся просунула руку под мой локоть и прижалась ко мне. Валя уцепилась за юбку. Когда голова отяжелела от слез и я затихла, дети шепнули:

— Тетя, а мы печку затопили.

Я вспомнила, что они не ели с утра. Встала, сполоснула лицо, подошла к печке, соображая, что можно сварить. Они уже почистили картошку, вскипятили воду. Мне оставалось назвать их умницами и погладить по головкам. Тогда Люся с таинственным видом сунула руку за пазуху и вытащила оттуда письмо.

— Тетечка, я чувствую, это для нас. Это на мамино имя пришло.

Я распечатала письмо и прочитала несколько кривых строк, написанных мужским почерком. Племянник извещал свою дорогую тетю, что его мама сильно больна нервами, даже не в состоянии лично писать и поручает это ему. В имении у них тревожно, они переселяются в город, а городская квартира мала, и обстоятельства теперь такие трудные, что они решительно не советуют тете перебираться к ним, тем более с детьми. Кстати же они не могут в точности сообщить, когда именно переберутся в город. Далее шли сообщенья о собственных новостях племянника, о том, что его знаменитая премированная сука ощенилась и он возьмет лучшего щенка с собой. Поклоны, поцелуи девочкам, вопросы, нет ли вестей от «счастливца, пребывающего вне сферы досягаемости», подпись «Ника».

Я прочла детям письмо вслух. К моему знанию людей сегодня прибавилось еще нечто. Письмо не удивило и не огорчило меня, только я подумала, что сестра покойной ничего не знала об ее смерти, и я должна известить ее о переменившихся обстоятельствах. Накормив детей, я отправила их в город к своим заказчицам и уселась писать. В нескольких словах я уведомила особу с больными нервами о смерти ее сестры и поставила вопрос о детях, затем сообщила о самой себе и своем отношении к покойной, дала адрес и запечатала письмо.

Сделав это, я придвинула к себе единственный оставшийся лист почтовой бумаги. Закусив губы, с карандашом в руках, медлила некоторое время, глядя перед собой, на остатки убогого нашего обеда: солонку с солью и картофельную кожуру. Две мысли жгли мне сердце, доводя до исступления. Одна о камергере; я не могла оставить его без помощи. Надо было сделать что-нибудь для спасенья старика, идти, просить, хлопотать, узнать, куда его взяли. Другая... в ней едва было силы признаться себе самой. Я не могла допустить, чтоб он думал обо мне как о спекулянтке. Это поднималось и душило стыдом, зажигало бешенством, воскрешало прежнюю Алину, способную на дикие выходки. Я чувствовала к нему ненависть, как к одному из виновников всех наших несчастий. Я была пострадавшей, была обывательницей, ненавидела большевиков, как палку, бьющую меня без устали по голове. Но я не могла перенести мысли, что он считает меня спекулянткой.

Спекулянткой! Кровь бросилась мне в голову, я снова схватила перо и, не раздумывая долго, принялась писать:

«Товарищ Безменов! (Нынче я узнала впервые, что так вас зовут.) Вы увидели меня на улице в руках красноармейцев, которые кричали, что я спекулянтка. Теперь вы обязаны узнать и все остальное. Да, я нарушила введенные вами законы, потому что мне надо прокормить, кроме себя, еще двоих детей и больного старика. Вы разорили нас, отняли все, что мы имели, и взамен предоставили голодную смерть. Я работаю где и как могу: шью, готовлю, хожу стирать, нанимаюсь для чистки квартиры, для поденных работ. Я привыкла ко всякого рода труду. Но знайте, что в вашей стране, где совершена революция, работа от 7-ми утра до 10-ти вечера не спасает от голода. Мне осталось испробовать лишь ту форму унижения и труда, которую вы называете спекуляцией, но вы отняли у меня все, что я вынесла для продажи и что должно было накормить мою семью. Вернувшись домой, я узнала, что старик камергер Ф. арестован и уведен неизвестно куда.

Заверяю вас честью своей, он ни в чем не замешан и никогда не был противником революции. Это может показаться невероятным, но я клянусь всем святым, что от него я слышала самую умную и горячую защиту большевизма. Он почти слеп, стар, болен, нищ. У него никого и ничего нет, кроме меня, он умрет под арестом. Умоляю вас, прикажите его освободить, расследуйте его дело. Не причиняйте никому ненужных жестокостей, и я постараюсь пересилить свою ненависть к вам и вашему делу, ненависть, которой я не могу и не хочу скрыть от вас.

А. Зворыкина».

Не дав себе опомниться и раздумать, я запечатала письмо, надписала на конверте «Тов. Безменову, спешно», накинула все тот же платок на плечи и бросилась бежать в исполком. Митинг уже окончился, народ разошелся. Дежурный сказал мне, что тов. Безменов уехал в соседнее село и вернется к ночи. Я сказала, что зайду за ответом на следующий день и ушла.

Но на следующий день ответа не было: дежурный сменен другим, незнакомым мне, и ничего не мог сообщить о моем деле. Тов. Безменов срочно отозван в Екатеринодар. Единственное утешение заключалось в том, что все бумаги и письма были ему вручены в последнюю минуту, и, значит, он должен был прочесть мое письмо.

Дни шли за днями. Камергера не освобождали. Добиться с ним свидания не удавалось. И все трудней становилось добывать хлеб.

Люся и Валя, оборванные, с хроническим насморком и красными, распухшими от холода ручонками, стояли часами в очередях, покуда я бегала на поденную работу. Жизнь сузилась до животной борьбы за существование. Газеты не попадали в руки, о книгах и мечтать было некогда. Все шло мимо меня — события, люди, жизнь. Все та же сердобольная аптекарша, ставшая теперь служащей медснаба, заходила изредка к нам, вводя нас в новости дня: где что выдают, как добиться нужного удостоверения, куда приписаться.

Она же разузнала, где камергер, и помогла мне наладить ему «передачу» — хлеб и печеные яйца.

Я разучилась спать. Помню, в детстве у нас была собака, страдавшая нервными припадками. Днем, среди сна, она неожиданно вздрагивала, потягиваясь, мотала головой; иногда, не просыпаясь, судорожно лаяла и скребла лапами. Сон мой стал отныне похож на сон этой собаки. Не успею заснуть, как нервная дрожь потрясает меня с ног до головы. Я открываю глаза, вскакиваю: что случилось? ничего не случилось, дети спят возле, в окне чернота южной ночи. Засыпаю опять для того, чтоб вскрикнуть через четверть часа. Все заботы дня, мука о хлебе, ноющие от усталости кости, боль в позвоночнике, трепет глазного яблока и неумолчная работа сердца,— мучительнейшее из состояний человеческих, держали меня в постоянном напряжении. По утрам от неполного сна у меня делались головокружения; чтоб избегнуть их, я научилась не сразу вскакивать с постели, а медленно подниматься всем корпусом, не сгибая шеи.

Однажды к нам зашел почтальон. Он принес письмо на мое имя от тетки Люси и Вали. На этот раз она писала сама. Разумеется, она выражала глубокую скорбь по поводу смерти сестры. Разумеется, милые сиротки для нее всегда желанные гости, но под «всегда» подразумевалось время, за вычетом теперешней зимы, в которую приходится всем туго: нет помещенья, дров, хлеба, кроватей, некому ходить за детьми. В частности, от покойной сестры должны были остаться брильянты, золотые и серебряные вещи и одежда. Мне не следовало останавливаться перед продажей одежды и серебра, что могло бы прокормить детей и возместить мне за причиняемое беспокойство. Но, конечно, брильянты и золото, особенно известные серьги покойницы с большим солитером, она твердо надеялась видеть, как незыблемое имущество сироток, в надежных руках. Она извещала далее, что эти надежные руки существуют поблизости от меня в лице мадам Кожинской, супруги директора банка, оставшейся на своей даче со всей семьей и в качестве ее подруги охотно готовой послужить сиротам впредь до передачи их имущест-

ва родной тетке. Одновременно с этим письмом мадам Кожинская извещалась обо всем происшедшем и, нет сомнения, зайдет ко мне на ближайших днях. Следовали нежные поцелуи, добрые советы, благодарность и подпись.

Я прочитала письмо с недоумением и вспомнила, что забыла написать о грабеже на даче и об отсутствии у сирот какого бы то ни было имущества. Достав из комода узелок, связанный в ту злополучную ночь моими соседками, я развязала его и разложила все, что у нас оставалось: две фотографии умершей, ее обручальное кольцо на цепочке с крестом, документы, несколько писем и фарфоровую чашку с блюдцем, которую я отложила, чтоб у детей осталось хоть что-нибудь на память о последних земных часах их матери.

Не успела я перебрать эти вещи и обдумать письмо, как в кухонную дверь громко постучали. Я оставила все на столе и пошла открыть дверь. Передо мной стояла толстая старая женщина в золотом пенсне, котиковом пальто и повязанной поверх головы черной кружевной косынке. Она оказалась мадам Кожинской. Муж ее заведовал местным чусоснабармом [1], и она безбоязненно разгуливала в котиковой шубке.

— Мне надо видеть жену бывшего министра Зворыкина,— сказала она, обнажая длинные желтые зубы.

— Она перед вами.

— Ах, простите, вот не думала... Впрочем, времена теперь исключительные. Ну, здравствуйте, очень приятно.

Она разделась, не спеша и с сознанием своего достоинства. Потом высморкалась, вынула из саквояжа письмо, села на лучший стул, осмотрелась и приступила к делу.

— Я получила письмо от моей старой подруги и доверенность на получение от вас имущества ее племянниц. Вот тут приблизительный списочек вещей. Дело в том, что, когда сестра моей подруги уезжала, подруга присутствовала при укладке и видела все вещи. Это я говорю, чтоб вы не удивлялись, откуда

[1] Один из органов снабжения армии.

она знает такие подробности. Подруга пишет, что, может быть, кое-чего не хватает, пришлось продать на жизнь, так чтоб вы не стеснялись, это ведь так теперь естественно! Но чтоб оставшиеся вещи и главным образом серьги с солитером вы вручили на сохранение мне.

Я улыбнулась.

— Милая мадам Кожинская, очень жалею, что должна разочаровать вас. Посмотрите сюда на стол,— это все, что осталось детям от покойницы. Кроме того, есть еще посуда, детское белье и носильное платье, уже совсем изношенное. Все, что было годно в переделку, я переделала для девочек. Но теплого не хватило. Они бегают у меня налегке и постоянно простужены. Я продавала, конечно, только свое собственное имущество.

Она подняла брови:

— Мадам... не знаю имени-отчества, вы шутите, конечно? Вы хотите меня уверить, что вот этот мусор на столе, это все? А где же драгоценности, где...— она лихорадочно развернула бумагу и принялась читать список предметов, совершенно мне неведомых.

Я пожала плечами. Я напомнила ей о налете бандитов и рассказала подробно, как мне достался узелок.

— Вы можете назвать имена тех дам и сообщить их адрес? Нет? Жаль, очень жаль. Согласитесь, что это странно, более чем странно. Я настаиваю на том, чтоб вы еще раз хорошенько поискали. Наконец, где же дети, позовите детей, они все-таки знают что-нибудь, могут засвидетельствовать...

Я открыла форточку и позвала Люсю и Валю, выкапывавших у нас из грядки последнюю картошку. Они прибежали и остановились в дверях, загорелые, гладко остриженные, в дырявых башмаках и куцых кофточках, сшитых мною из материнской юбки. Руки и коленки у них были в земле. Мадам Кожинская ахнула:

— Да какие же они... Вот не ожидала. Вот могу вам сказать... Несчастные, несчастные дети. Из такой богатой семьи... Дети, вспомните, у вашей мамы были в ушах серьги, хорошенькие такие, с камушком, который сверкал, как огонечек. Куда делись эти серьги, кто их взял?

Люся и Валя слушали Кожинскую с недоумением, но, когда она заговорила с ними о покойной матери, схватили друг друга ручонками и расплакались. Кожинская кинулась к ним, как ястреб:

— Никого не бойтесь, деточки, скажите мне всю правду. Я к вам от тетки приехала, привезла вам пирожков, конфет, все получите, только не бойтесь, скажите мне все, без утайки: где мамины сережки? Где браслетка, часики, кольца, цепочка для часов, меховая накидка, кружевное платье? Кто это все взял — назовите, не бойтесь, он вам не повредит, мы его в тюрьму посадим.

Бедные дети вспомнили ночь налета, страшную ночь маминой смерти и рыдали теперь навзрыд, прижавшись друг к другу. Я не могла смотреть на это издевательство и схватила Кожинскую за локоть.

— Вы растравляете им рану! Что вам нужно от них? — Разве я не сообщила вам все подробности?

— Не смейте хватать меня за локоть! — взвизгнула вдруг Кожинская, потеряв всякую сдержанность. Пухлое лицо ее исказилось вульгарнейшей бессмысленной злостью.— Кто вы еще такая, чтоб дотрагиваться до порядочных людей... Вы мне ответьте сперва, где их имущество. Налет, налет — нашли дуру! У меня у самой три обыска было, однако ни одного кольца не нашли. Так я и поверю, чтоб у вас у всех не хватило сообразительности спрятать драгоценности. Фу, а еще дама из общества, фу-фу-фу! Лучше отдайте все, а не то мы с мужем доведем до сведения, и вы поплатитесь!

Я слушала, подняв руки к вискам. В сознание медленно, медленно просачивалось все, что она кричала. Она винила меня в воровстве. Она пришла требовать от меня имущество двух несчастных нищих сироток, брошенных на голодную смерть. Я посмотрела на свои распухшие израненные руки, искалеченные пальцы, почерневшие ногти, шившие, стряпавшие, стиравшие белье сыпнотифозных, и, не находя слов, впивала ее крик.

— Убирайтесь! — истерически вырвалось вдруг у Люси.— Уходите вон, вон, не смейте трогать Алиночку!

Она подбежала ко мне и уткнулась головой мне в

юбку; Валя кинулась за сестрой. Я опустила руки на их головки.

— Посмотрим,— прошипела Кожинская, повернувшись к дверям. Но вдруг вернулась, схватила со стола крестик и обручальное кольцо, крикнула еще раз «воровка» и скрылась.

То, что я испытывала, походило на действие медленного яда. Сперва только ожог, чувство невыносимого внутреннего жжения. Потом все сильнее, до дурноты, до обморока, до выворачивания внутренностей. Я не могла быть дома, мне надо было дышать, бежать, сказать кому-нибудь. Ужас обваливался на меня каждую минуту, как крыша дома, начавшего разрушаться. Я перебегала от него с места на место, с мысли на мысль. Как была, без платка, я ринулась на улицу, к аптекарше.

День был грязный, пасмурный. Улицы пусты. На церковной паперти старуха богаделка по привычке со слепу протянула руку за подаянием. Я не выдержала, остановилась возле нее и расхохоталась истерически. Хохот перешел в рыдание. Она потянула меня к себе за юбку, и бессознательно я опустилась вниз, на сырые каменные ступени.

— Охо-хо-хо, молодаюшка, знать тебе не легче нашего. Посиди тутотка, поплачь в полную волюшку... Вот так. Жизнь-то, милая, не на сахар с маслом отвешивали. В старину-то мне умные люди, бывало, говаривали: терпи, говорили, Христос терпел и нам велел... А сейчас я по-другому: терпи, говорю, народ терпел и тебе велел... Я ведь помню тебя, молодаюшка, помню. Даром, что глазами слаба, а всех помню. Ты в шелках ходила, под зонтиком. Что ж, миленька, делать-то, теперича поплачь-поплачь да скажи про себя: народ терпел и мне велел!..

Пошла я к аптекарше уже с другими мыслями. Слезы высохли, слова богаделки заслонили мерзкий фальцет Кожинской, звеневший в ушах. Что такое со мной случилось? Кошмар,— какой кошмар? С сотнями, с тысячами Дунь, Матреш, Любаш случалось то же самое ежедневно, ежесекундно, под всеми широтами и долготами земного шара... Сотни, тысячи изо дня в день

могли незаслуженно получать удар кулаком — «воровку» — и не сметь ударить в ответ. У половины человечества — нет, больше — руки были подобны моим с детства и до старости У половины человечества никогда не было полного сна, полной сытости, бо́льшего пространства жизни, чем удушливое, темное, тяжкое от работы сегодня. Хорошо, пусть станет так и у меня.

Я выпрямилась и замедлила шаги. Новая гордость — гордость отчаяния — стиснула мне губы. Жаловаться я больше не хотела. Все было справедливо.

Не дойдя до угла, я столкнулась с аптекаршей, принаряженной для прогулки.

— Вы ко мне, Сашенька? а я думала к вам зайти, сахарку к чаю несу. Кстати же, милочка, предупредить вас — завтра праздник, передачи не будет, а в воскресенье до двенадцати утра примут.

Завтра праздник. Кожинская отняла у меня почти весь рабочий день. Мука наша вышла до последней щепотки, по карточкам не выдавали хлеб, дома ничего, кроме картошки,— и на завтра ни одного заказа, никакой надежды заработать на обед и на хлеб для камергера.

— Что же вы омрачились? Заказов нету? А я вам хороший совет дам, вы только послушайте меня. Завтра в трех верстах от нас шоссе чинить будут, субботник. Публики пойдет множество, все равно как для прогулки. Я раз сама была на субботнике: у них, милая, весело, поют, пляшут. Пойдите-ка и вы с ними, да и детей заберите. Работать не работайте, а так для виду. Вам за это, как участнице, два фунта хлеба дадут и горячее из котла, сами наедитесь и детей покормите. А хлеб можно сберечь для воскресной передачи.

— Куда же мне пойти?

— К семи часам идите на сборный пункт возле почты, а оттуда вместе с народом. Так уж я к вам больше не зайду, берите-ка сахар.

Она сунула мне бумажку с тремя кусочками сахару, которого мы не видели месяца три, поцеловала меня в щеку и ушла к знакомым. Я повернула обратно.

Девочки встретили меня с болезненной нежностью. Ласкаясь, Люся шепнула:

— Алиночка, ведь вы не отдадите нас этой ведьме? Лучше мы поступим куда-нибудь на службу или в приют пойдем.

Я обещала не отдавать их отныне никому, вскипятила чай, дала им сахару и уложила пораньше спать. Сама же легла, не раздеваясь, в предчувствии долгой бессонной ночи. И все призраки, все ужасы пережитых ночей обступили меня, чтоб терзать до утра. В ушах стоял беспрерывный шум, временами переходивший в звуковую галлюцинацию. Я слышала стуки в двери, в окно, в крышу. Они начинались тихо и рассыпчато, как горох, а потом, усиливаясь, переходили в набат. Отчетливо слышала я, как меня звали по имени знакомыми голосами. Но я уже привыкла к этому слуховому обману и, лежа без сна, терпела его. Потом началась дремота, прерываемая ознобом и дрожью. Наутро, торопясь встать, я забыла о своей обычной осторожности, и мне сделалось дурно. Побледнев, я оперлась о столик, силясь сдержать головокружение и найти утраченное равновесие. Через несколько минут мне удалось это; когда я выбралась на воздух, стало легче. Мы пришли втроем на почту, где уже собралось много народу. Тут была самая необычная публика: молодежь из местных училищ и рядом — инвалиды, старики и старушки богаделки, кто покрепче. Дамы в шляпках, мужчины в пиджаках и пальто, красноармейцы, служащие, рабочие консервной и табачной фабрик, кондуктора, члены совета и исполкома. Сидевший на балконе служащий регистрировал всех участников субботника. Потом мы двинулись из города, забрав у заставы под расписку лопаты, кирки, тачки, кому что досталось. Мне дали легкую и удобную кирку, следующей группе за мною — общую тачку и т. д.

Погода была ясная, безоблачная, безветренная. Мы с детьми пошли на работу босыми, чтоб сберечь башмаки. Идти было легко. Дышалось сухою ясною свежестью охладевшей земли, прелыми листьями и нежными струйками йода, доносившимися от недалекого морского берега. Не доходя до шоссе, небольшой человек в парусиновых штанах и непромокаемом пальто взобрался на придорожные камни и поднял руку. Мы

остановились. Он начал звонким голосом, прорезавшим прозрачную свежесть воздуха, как алмаз режет стекло.

— Товарищи! Прошло всего лишь несколько недель, как советская власть очистила наш край от белогвардейских банд. Вы были свидетелями, как деникинские и врангелевские генералы удирали, ограбив и прихватив с собой все, что не крепко лежало. Вы видели, как они разоряли дороги, сжигали мосты, взрывали железнодорожный путь, ломали и портили те части автомобилей и паровозов, которые не делаются в России и которых, следовательно, мы не можем восстановить. Под предлогом любви к «единой и неделимой России» они ее всячески грабили, делили, обезлюживали, приводили в нищету, ввергали в невольное варварство и, словно самые лютые враги, словно древние полчища кочующих монголов, уничтожали за собой все завоевания цивилизации. Нам досталась нищая страна. Вы знаете, что жизнь наша была разрушена еще войной. Немудрено, что нам голодно живется, немудрено, что мы раздеты, разуты, не имеем самого необходимого, а власть, сколько ни старается, не в силах дать нам все, что нужно. Если б наши враги стали громогласно утверждать, что нам живется адски трудно, мы бы в один голос ответили: да, это так. Но не в этом дело! Не в этом самое удивительное! А вот в чем, товарищи: мы — разутые и раздетые, голодные и холодные, больные, измученные, мы, инвалиды, мы, служащие и рабочие, всю неделю сгибающие спину на работе, мы, учащиеся, всю неделю сидящие за книгой,— мы вдруг забываем голод и холод, старость и усталость и жертвуем добровольно наш свободный день, наш праздничный отдых... для чего? Для того, чтоб разбивать камни киркою, возить щебень, копать песок, мостить дорогу, для того, чтобы чинить шоссе, развороченное белогвардейской канонадой. Нам за это никто ничего не платит. Но это наше дело. Это наша страна, и мы добровольно идем с киркой и лопатой на тяжелый труд в общую пользу. Вот что я называю самым удивительным! И это удивительное принесла с собой рабоче-крестьянская власть!

Он соскочил на дорогу. Сотни голосов крикнули: «Ура! Да здравствует советская власть!» И в один голос, не сговариваясь, вся толпа, запрудившая дорогу, запела «Интернационал».

Незаметно для меня речь потрясла мою душу. Я почувствовала себя частицей этой сборной толпы, этих усталых, голодных, нищих, вышедших добровольно на тяжелую и чужую работу. Забыто было то, что я пришла сюда из-за двух фунтов хлеба; забыто и то, что большая часть собравшихся преследовала, должно быть, тоже свои личные цели. Сейчас эти личные цели исчезли для меня, как, вероятно, для них. Оратор сумел зажечь нас уваженьем к себе самим. Мы шли и пели, как в праздничной процессии. Лица у многих были радостные и гордые, старики улыбались.

Рядом со мной шло странное существо, очень мало похожее на женщину. Это была невысокая фигурка с очками, на переносице обернутыми ваткой уже не первой чистоты. Черные короткие волосы торчали во все стороны, не завиваясь. Она почти все время курила, доставая из кармана табак и на ходу делая кручонку. Руки у нее были дивной красоты и совсем не попорченные черной работой. Лишь третий палец правой руки был основательно вымазан чернилами.

Она взглядывала на меня несколько раз проницательными черными глазами, несмотря на очки совсем не казавшимися близорукими. Потом предложила мне папироску. Я отказалась, улыбнувшись. Тогда она достала из кармана лепешки и дала их моим девочкам.

— Не может быть, чтоб это были ваши дочери? — сказала она приятным грудным голосом, вопросительно взглянув на меня.

Я отрицательно покачала головой. Мне было трудно говорить на ходу. Несмотря на возбуждение, я не могла не чувствовать привычного биения в висках и голодного звона, переполнявшего меня, словно комариная туча. Я шла расчетливо, берегла силы, чтоб дойти и смочь работать.

Моя соседка, должно быть, поняла это. Она поглядела еще внимательней на меня и на девочек, покачала

головой и принялась бормотать себе под нос, не ожидая ответа:

— Трудно живется... Да, да, теперь всем трудно живется. Случись это с Европой, она околела бы. Она бы и от меньшего околела. А мы ничего. А почему мы переносим? Рецепт величайшей эпохи, в назидание потомкам: потому что мы пьем смесь из двухпроцентной памяти о себе в растворе ста процентов заботы обо всем человечестве... Вы скажете, неправда. Ни вы, ни другой, ни третий здесь ни о ком, кроме себя, не помышляет, даже газет в руки не берет и весь день только и думает, как бы поесть, где бы согреться. Но это кажется. Дело не в вас, не в другом, не в третьем, а в общем пути, на который нас всех повлекли, и мы все равно идем этим путем, хотим этого или не хотим...

Она помолчала, скрутила папироску и опять забормотала, косясь в мою сторону:

— Удивительного в этом ничего нет для нас, женщин. Если вы рожали, вы понимаете. Каждая мать это понимает. Когда вы носите будущую жизнь, вы становитесь выносливей, эластичней, ваш инстинкт обостряется, силы удесятеряются, жизнь борется через вас за новую форму. Так и сейчас. Мы, русские, беременны. Мы носим будущее. Жизнь сделала нас эластичней и стихийно выносливей, потому что мы работаем в ее пользу. Вот в чем дело!

Я вслушивалась в бормотанье оригинального существа, не забывая глядеть на дорогу и ступать между камнями. Наконец, мы дошли. Перед нами лежали расковыренные снарядами ямы, делавшие дорогу непроезжей. Толпа разделилась на группы, и каждая группа выбрала своего «старосту». Весело, дружно, с пеньем началась работа. Я должна была, вместе с моей соседкой, разбивать у края шоссе огромные камни, превращая их в щебень. Глядя на других, я научилась бить сбоку, откалывая всякий раз без особенного труда небольшие кусочки. Так, с перерывами, мы работали до полудня. Соседка не раз останавливала меня. Она качала головой:

— Вы надорветесь, будет с вас!

Но я весело вскидывала киркой. Мне было хорошо, впервые вполне хорошо на душе. Осмысленность вошла в мою жизнь. Я соединила ее с другими жизнями. Я укрепила свою позицию. Теперь это уже была не гордость отчаяния, а стойкость надежды, и с каждым отлетающим камнем я чувствовала, что нет, не зря! Не зря эти жертвы, эта мука, это изнеможение.

А потом мы уселись на траве рядами, и я вспомнила евангельскую притчу о хлебах. Все ели и насытились и набрали множество коробов с остатками. Горячий суп мы хлебали сообща из котла, и детей я накормила до того, что они отвалились от котла, не в силах более разжимать рот. Свои два фунта я завернула и положила Люсе в сумку. Но тут вмешалась моя соседка, у которой была в узелке своя провизия. Уверяя, что черный хлеб ей вреден и что сегодня ее геморой разыгрался невероятно, она резко крикнула нам:

— Я вижу, вы хотите уморить меня! Вы прямо-таки покушаетесь на мою жизнь! Может быть, я вам на нервы действую? Нет, уж извините, умирать я не желаю, забирайте от меня прочь всю эту отраву!

И с этими возгласами она злобно засунула в Люсину сумку не только свою порцию хлеба, но и еще несколько свертков, содержания которых мне так и не суждено было узнать.

Я была не в силах помешать ей и кончила тем, что беспомощно позволила ей делать все, что она хочет После обеда несколько человек из работавших пошли обратно в местечко. Я отправила с ними Люсю и Валю, наказав им идти не домой, а прямо к аптекарше и там дожидаться меня. Я боялась, что в мое отсутствие Кожинская придет снова мучить и допрашивать детей.

Нас опять разместили по группам. Теперь мы должны были возить тачку. Плечи ныли у меня от взмахов киркой, кожа на ладонях покрылась пузырями и кровью, и перемена труда показалась мне облегченьем. Однако к четырем часам я почувствовала странный упадок сил и боль в позвоночнике.

Этот упадок не был мне неприятен. Наоборот, он походил на экзальтацию. Как во сне, я испытывала состояние, похожее на полет по воздуху: будто поджала

под себя ноги и, не двигаясь, лечу над людьми, над деревьями, высоко в воздухе... Соседка остановила тачку, оглянулась и сказала мне:

— Каторжный труд, именно каторжный, а ведь какой сладкий. Что мы пережили вместе... И посмотрите-ка, обернитесь!

Я обернулась — шоссе было исправлено. Оставалось лишь забить и загрунтовать щебень еще несколько раз. И мы это сделали без всяких тракторов, без сметы, без подрядчиков, без инженеров, почти голыми руками, меньше, чем в один день. Я протяжно вздохнула от удовольствия.

— Послушайте,— голос соседки был серьезен,— у вас сердце здоровое? Отойдите от тачки, тотчас же бросьте работать, вот так. Вы не страдали сердцем?

Я стояла перед ней все в той же экзальтации, чувствуя лишь, как постепенно у меня холодеют руки и ноги. Темное облачко поплыло у меня перед глазами.

— Сядьте, или, лучше, пойдите вперед, где нет пыли...— Она говорила все с большей тревогой.

Я улыбнулась ей и пошла вперед, повинуясь приказанью без малейшего протеста. Я испытывала чувство освобожденья и легкости. Говорить у меня не было сил. Точно расчет взяла, точно сбросила с плеч все заботы, все обязанности и выходила из круга времени и пространства. Я двигалась легко, как сомнамбула, не чувствуя своих ног и сжимая пальцы друг с дружкой,— сжать их в кулак не позволяли окровавленные ладони.

Сколько я шла так по дороге, не знаю. Может быть, долго, а может быть, нет. Я миновала работающих, я шла и шла, навстречу закату. И вдруг темное облако предо мной разорвалось пополам, сердце стукнуло внутри, как дятел, клюнув мне внутренности, причинив резкую боль. Я раскрыла рот, ловя воздух, заметила вдруг, что отошла не более десяти шагов от своего места, и рухнула наземь.

Я пришла в себя от теплой волны, идущей мне к сердцу.

Вокруг суетились люди. Кто-то щеткой тер мне пятки. Возле пахло бензином, и что-то фыркало с треском, это стоял автомобиль. Я снова закрыла глаза, с

невыразимым наслажденьем чувствуя, что меня поднимают и кладут на мягкое, а потом укачивают ритмическими упругими толчками, похожими на работу здорового сердца.

Так, в полусознанье, то приходя в себя, то снова падая в мерцающие волны беспамятства, прислушиваясь к неумолчному жужжанью крови, я провела не знаю сколько времени. И вдруг, утром, среди дремоты прежняя знакомая дрожь сотрясла меня с головы до пяток. Что случилось? Я приподнялась на постели, села, не узнавая окружающего, и спросила голосом, не похожим на мой собственный:

— Где Люся и Валя? Надо нести передачу камергеру. Который час?

Но чья-то рука снова уложила меня на спину. Женский голос произнес:

— Не беспокойтесь ни о чем, все в порядке.

Тогда я полузакрыла глаза и притворилась, что сплю. Мне хотелось поймать кого-нибудь взглядом, незаметно для него. Я думала, что со мной шутят. Мне тоже было весело и смешно. Я не могла удержаться от улыбки, раздвигавшей мне губы и щекотавшей мне сердце приятным и легким ощущеньем Позднее я узнала, что все происходившее со мной было различными стадиями болезни сердца. Но уверяю докторов, что в этой болезни есть минуты незабываемого очарования. Сладким бывает, верно, последний миг, когда сердце выпархивает у нас из груди навстречу смерти!

Чем здоровее я становилась, тем реже посещали меня легкие радости. Мысли прояснялись, уже все прежние заботы стали видимы в памяти, как предметы в утренней комнате; я с ужасом думала о девочках, о старике, о будущем. Я лежала в чистой и нарядной спальне, на очень мягкой постели. За мной присматривала пожилая женщина с сухим лицом и поджатыми губами. Кроме нее, заходила несколько раз в день высокая блондинка, похожая на нее, но молодая и красивая. Она обращалась со мной сердечно, но сдержанно. Я боялась задавать им вопросы, но они сами сказали мне, что обе девочки уехали к тетке, а камергер осво-

божден и принят на социальное обеспечение, как инвалид труда. То и другое странным образом огорчило меня вместо того, чтоб обрадовать. Заботы о них были теми костылями, без которых я уже не могла двигаться.

Однажды, после глубокого сна, я открыла глаза совершенно здоровая. В ту же секунду мне стало ясно, что в комнате есть кто-то совсем посторонний. Это был мужчина, он сидел возле меня, облокотившись щекой на руку, а локтем на край кровати, и глядел пристально на мои руки, лежавшие поверх одеяла. В комнате было сумрачно, он не заметил, что я проснулась. Я взглянула, куда смотрел он. Руки мои побелели и похудели, но рубцы и раны все еще покрывали ладони, а на пальцах были мозоли. Я боялась пошевелить ими, чтоб не вспугнуть человека, показавшегося мне знакомым. Я видела только бронзовый завиток возле уха, коротко подстриженный, и шею, белевшую из гимнастерки. Вдруг он прислушался, поднял голову и потом склонился ею к моим пальцам, поцеловав их так легко и бегло, как целуют спящих детей. Я не могла не шевельнуться. Он в ту же минуту отодвинулся от кровати и посмотрел на меня сконфуженно. Наши глаза встретились, это был товарищ Безменов. Первые слова, которые он произнес, были:

— Вы видели, как я поцеловал вашу руку?

— Да.

— Я не хочу, чтоб вы поняли это превратно. Сидя сейчас здесь, я думал о женщине, о том, что она во многих отношениях лучше нас. Мне приятно было смотреть на ваши руки, они в почетных ранах. Я не поцеловал их, а приложился к ним, вот и все.

Ему не следовало произносить эту длинную тираду. Она показалась мне чем-то мальчишеским и ненужным. Я закрыла глаза и ответила:

— Я не стала бы думать об этом ни просто, ни превратно. Я хочу знать, получили вы или нет мое письмо, кто освободил камергера и где я нахожусь.

— Письмо я получил, но совершенно случайно и лишь на этих днях, по возвращении в город. На шоссе, где вы упали, это я вас подобрал в мой автомобиль. Камергера освободили без всяких моих хлопот, а я

только помог ему устроиться. Ваши две девочки жили все время у аптекарши, пока за ними не приехала тетка. Она оставила вам письмо, которое вы прочтете, когда встанете. Что еще? Да, вы находитесь теперь не на курорте, а в городе, у моей матери. Пожилую женщину зовут Мария Игнатьевна, это моя мать, а белокурая — сестра, Фаина Васильевна.

— Как зовут вас самого?

— Меня зовут Сергей Васильевич. Вы, должно быть, узнали во мне цюрихского носильщика? А я вас признал тогда, у исполкома, в ту же минуту. Между прочим, я медик, хотя и не кончивший, и решительно запрещаю вам разговаривать. На сегодня достаточно.

Он встал, улыбнулся мне и ушел из комнаты.

С этого дня выздоровление мое пошло очень быстро. Мария Игнатьевна с дочерью жили в очень уютной квартире большого особняка. Я заметила, что сын жил где-то в другом месте, и они говорили о нем скупо, с горечью, без нежности. Постепенно я узнала, что Фаина Васильевна замужем за очень богатым человеком, тоже бежавшим за границу, а сын бросил их давно, сидел по тюрьмам, эмигрировал, и только недавно они встретились снова.

— Мы разные люди,— сухо сказала Фаина Васильевна.— Вы меня понимаете, конечно. Представьте себе весь ужас совершающегося, всю эту хамскую затею, производимую над некультурным, диким народом, и нашего Сережу в компании с убийцами и шарлатанами. Нам стоит много труда, чтоб разговаривать с ним о самых посторонних вещах, но найти общий язык мы никогда не сумеем.

— Сережа самую последнюю дворняжку на улице всегда предпочитал своим родным,— подхватила мать с лицом, оживившимся озлоблением и ревностью.— Я любила его без памяти, для него все жертвы приносила, в провинции жила, из деревни летом не выезжала,— он был худ здоровьем в детстве,— а вместо благодарности не видела от него ни единой ласки. Няньку, девку, мальчишек, кучера — всех любил, обо всех помнил. Мне — ни взгляда, ни слова. Бывало, отложишь

для него самый лакомый кусочек, суешь потихоньку, шепчешь: «Кушай скорей, это самое хорошее». А он швырнет и крикнет: «Мне противно есть самое хорошее!» И таких уколов от него было множество. А в гимназии совсем отбился от нас.

— Мама слишком избаловала его,— примирительно вмешалась Фаина.— Но скажите, где же вам удалось с ним познакомиться, ведь вы, как Сережа говорил, жена деникинского министра. Я просто не могу понять, как это он так над вами смилостивился!

Нет ничего хуже детских фотографий и разговоров домашних — это самый неверный и самый разоблачающий способ ознакомления с человеком. С одной стороны — достоверные сведения из первых рук; с другой — все опошлено до невыразимого трафарета. Я была смущена и раздосадована этими разговорами, но они предупредили меня о том, что я не должна быть откровенной. На вопросы я отделывалась общими фразами. Встав с постели, я тотчас же почувствовала тягость пребывания с ними, стала работать в доме, завладела кухней. Но по холодку, с каким относилась ко мне Мария Игнатьевна, я заметила, что и я тоже стала им в тягость.

Что было мне делать? Вещи мои были собраны и привезены сюда. Я уже не имела ни дачи, ни убежища. В городе я никого не знала. Сергей Васильевич больше не показывался. У меня оставался камергер, с которым мне нужно было во что бы то ни стало свидеться. Мне хотелось рассказать ему обо всем, что я пережила и передумала. Незаметно для себя с кровати я встала уже другим человеком. Теперь разговоры о «хамах» заставляли меня стискивать зубы. Теперь вид белоручек вызывал непонятное чувство брезгливости. Я выброшена из своего класса. И я начинаю медленно прирастать к другому, новому классу, прирастать вот этими еще незажившими ладонями...

Утром, связав в узелок все, что у меня имелось, я сказала Фаине Васильевне, что хочу вернуться в свое местечко, к аптекарше, где мне гораздо легче найти работу. На блузке у меня была чудесной работы камея, одна из тех, что умел находить лишь Новосельский.

Я отколола и попросила Фаину взять ее от меня на память. Она смутилась, стала отнекиваться и, наконец, приняла с заметным удовольствием. Она понимала толк в вещах. С прояснившимся лицом она вдруг загородила мне дорогу и воскликнула:

— Как же вы уйдете, не повидавшись с Сережей? Он на нас взбесится. Ведь вы не имеете представления, какое важное лицо он у нас в городе. Член президиума в одном месте, член коллегии — в другом и ко всему тому председатель исполкома. А живет хуже и грязнее последнего студента. Ну, да это не важно. Вы пойдите к нему на прием, а не на квартиру, вот вам адрес.

Я взяла адрес и решила пойти к товарищу Безменову прежде, чем уйду из города.

Глава пятая

Но на приеме добиться его было невозможно. В длинном коридоре, заброшенном окурками, стояло и сидело множество народу. На пороге его двери табором разместились бабы-переселенки с ребятами на руках — они хлопотали о выезде. Секретарь, безусый юноша-инвалид на деревянной ноге, весело прыгал между сидящими, носясь взад и вперед с бумажками. Он выкликал имена. Из толпы выходил проситель, обдергивался, торопливо исчезал за дверью. Я решила записаться в очередь, но секретарь, послюнив карандаш, спросил меня:

— Да вы по какому делу? По личному... Следовательно, товарищ, вы бы шли на дом.

Он дал мне адрес и тотчас же застучал деревяшкой к другому просителю. Я подняла с пола свой узелок и вышла на улицу без малейшего предчувствия, что мне придется еще сюда вернуться.

До курорта от городка было верст восемнадцать. Если идти пешком, то пора было двигаться. На свое счастье, я вспомнила, что молочницы, возившие сюда молоко, к вечеру возвращаются с порожними возами домой и могут прихватить меня с собой за вознаграждение «натурой»— носовым платком, кусочком кружева,

лентой или пуговицами с блузки. Я отправилась на базар, нашла одну такую молочницу и уговорилась быть в шесть часов вечера у местной общественной чайной.

Порядком устав, с узелком в руках, я пошла в другую часть города, где жил товарищ Безменов. Он занимал комнату в «Доме Советов», на скорую руку устроенном в местной гостинице «Регина». Внизу, где раньше лускала семечки дородная швейцариха, у меня спросила бойкая девушка в платочке имя и фамилию, написала пропуск и, ткнув пальцем на лестницу, пронзительно возгласила: «Следующий», хотя за мной и никого больше не было.

Я поднялась на лестницу и уселась ждать товарища Безменова в большое венское кресло с продырявленным дном. Передо мной, в коридоре, лежала грязная тростниковая цыновка, раздерганная по краям. Справа и слева шли «номера». За дверями номеров было тихо, не вернулись домой со службы их обитатели. Еще не топили, но приближение зимы уже чувствовалось в холодном и сыром коридорном воздухе. Около часа я ждала, наконец послышались чьи-то очень тихие и осторожные шаги.

Вошел маленький человечек, ростом в полтора аршина. Он ступал щеголеватой походкой горбуна, выпятив грудь и ставя ступни близко друг к дружке. Голова у него в форме длинного огурца сидела глубоко в плечах. Два острых глаза пронзительно оглядели меня. Потом горбун достал ключ, поднялся на цыпочки и отпер номер одиннадцатый, принадлежавший товарищу Безменову.

— Простите,— начала было я, двинувшись к нему за вопросом.

Но он обернулся, поманил меня пальчиком и оставил дверь за собой открытой. Я вошла в номер.

Это была самая неуютная из виденных мною в жизни комнат. По обе стороны ее стояли две железные кровати. Посередине стол, не покрытый скатертью, с двумя фунтами черного хлеба. Между окон висело длинное кривое зеркало с подзеркальником, от каждого шага в комнате дребезжавшее и кривившееся. Вешалка на стене,— и это все: ни занавесок, ни шкафа,

ни умывальника, ни даже стульев, кроме двух табуреток. Подушки на кроватях были без наволочек. Поверх них накинуты серые байковые одеяла.

Горбун все так же молча указал мне на одну из табуреток, достал из кармана перочинный нож и нарезал хлеб ломтями. Потом он позвонил, оставил дверь открытой, вынул газету и погрузился в чтение.

Вошла девушка в фартуке, подоткнутом за поясом. Она принесла тарелку с супом и прибор. Потом вынула из кармана два соленых огурца в бумажке и положила их на стол. Горбун придвинул тарелку и, глядя в газету, принялся хлебать суп, от рассеянности проливая его на стол. Я почувствовала голод. Суп был южный — густая похлебка из помидор, зеленого перцу, картошек, бобов, луку и кусочков жира, густо посыпанная укропом.

Доев суп, он развернул бумажку и откусил от огурца, выбрав тот, что поменьше. Каждый кусочек он сопровождал большим ломтем хлеба, пока не съел своего фунта. Тогда он смахнул со стола сор, собрав на тарелку крошки, и снова позвонил. Девушка принесла ему стакан чаю с двумя карамельками. Он жадно схватил их и спрятал в карман, а чай выпил как воду, гримасничая и обжигаясь. Потом, как ни в чем не бывало, скинул куртку и сапоги, забрался на одну из кроватей, натянул на себя байковое одеяло и, прежде чем я опомнилась, засвистал носом.

Прошло несколько минут, дверь скрипнула, и вошел товарищ Безменов. Еще на пороге он обвел глазами комнату. Я заметила, что он сконфужен и утомлен. Положив портфель на другую кровать и кинув поверх него фуражку, он жестом пригласил меня выйти за ним в коридор. Кратко я объяснила ему, как сюда попала.

— Будем говорить шепотом, чтоб не разбудить товарища,—сказал он и снова вошел в комнату, придвинув мне табуретку. Потом он позвонил и, как и горбун, нарезал хлеб ломтями. Девушка принесла две тарелки супу. Одну он придвинул мне, за другую принялся сам. Я не заставила себя просить и с аппетитом съела густую похлебку. Потом мы поделили огурец и напились чаю с карамельками. После этого товарищ Безменов

достал блокнот, написал на листе несколько слов и протянул его мне:

«Что вы думаете делать?»

Я ответила тоже письменно:

«Ехать назад, жить у аптекарши, искать работу, попытаться найти родных мужа».

«Умеете писать на машинке?»

«Нет, но могу научиться».

«Сейчас мне в канцелярию нужна машинистка. Если хотите, с завтрашнего дня зачислю вас в штат, с условием недельного обучения».

«Согласна. Где мне жить? У ваших неудобно, и я уже простилась».

«Живите в соседней комнате, там есть лишняя кровать».

Он встал, поманил меня за собой, и мы вышли вместе в коридор. У соседнего номера, двенадцатого, он постучал. Дверь открыл его секретарь, юноша на деревяшке. При виде меня он удивленно поднял круглые брови.

— Василий Петрович,— сказал ему мой спутник,— это наша новая машинистка и ваша соседка по комнате с сегодняшнего дня. Будьте добры, сделайте все распоряжения внизу и покажите ей, как обращаться с ремингтоном. В недельный срок она должна обучиться.

Я слушала молча и с ужасом. Мне приходилось работать как истопнице, кухарке, швее, пирожнице, поденщице, прачке, сиделке. Я разбивала киркой камни на шоссе. Я вынесла тяжесть благотворительности чужих и чуждых людей. Но жить в одной комнате с неизвестным мужчиной, войти в эту казенную, безотрадную, убогую жизнь, страшную своей оголенной необходимостью и суровым неблагообразием, показалось мне жутким. Я повернулась к Безменову и раскрыла рот, чтобы отказаться.

Но молодое и усталое лицо передо мной зажжено было прежней, цюрихской улыбкой. Короткая верхняя губа поднялась над мелкими зубами. Сияющие голубые глаза искрились чем-то похожим на вызов. Он издевался надо мной! Я стояла перед ним нищая, больная,

голодная, похудевшая, как тень, и он издевался надо мной! Он находил, что этого не довольно! Прежняя Алина опять встала во весь рост. Я вернулась в комнату, взяла свой узелок и водворилась у юноши с деревяшкой.

Как только дверь за товарищем Безменовым затворилась, Василий Петрович, казавшийся озадаченным больше, чем я, кинулся вслед за ним. Должно быть, побежал отказываться от чести сожительства со мной. Это развеселило меня, и я принялась осматривать комнату.

Она была еще меньше, чем предыдущая. Но убожество ее обстановки скрадывалось некоторыми признаками оседлости и уюта, чего не было в соседней комнате. На подоконниках стояли горшки с зимними растениями, распускавшими свои воскообразные веточки во все стороны. Подзеркальник был чуть ли не доверху завален книжками без переплета. На столе, рядом с пустым стаканом и хлебной корочкой, лежали тетради и листы бумаги, исписанные крупным ровным почерком. Я невольно наклонилась над ними: короткие строчки изумили меня,— это были стихи! Стихи в такой обстановке и вдобавок у человека на деревяшке. По странной ассоциации я вспомнила «литературного человека с деревянной ногой» из романа Диккенса.

Василий Петрович с шумом вошел в комнату. Круглое лицо его было огорчено, брови плаксиво подняты у переносицы и спущены к вискам.

— Товарищ Безменов всегда так...— ворчливо начал он, прибирая со стола листы.— Ни словом не предупредит, как снег на голову; вы, впрочем, располагайтесь вот в этом конце комнаты. До вас тут жил проездом один военком, шумел, буянил, я не люблю шума. У нас, что ни день, заседание, надо, следовательно, собираться с мыслями.

— Я не буду шуметь,— миролюбиво ответила я.

— Кто же говорит, что вы будете шуметь. Вы женщина, следовательно, не из шумных. Я только говорю, что без предупрежденья; хоть бы утром сказали мне, в чем дело. А то «по личному делу». Вот тебе и личное дело.

Он еще долго стучал по комнате деревяшкой, волнуясь и бормоча себе под нос целые речи. Потом успокоился, снял чехол со стоявшего на табурете ремингтона, достал из портфеля несколько листов чистой бумаги и пригласил меня к столу. Я села возле него, облокотившись на руку и глядя на алфавитную клавиатуру. Мой учитель был менее всего педагогом. Он сам знал в ремингтоне столько же, сколько и я. Прочитав надписи, он медленно повторял их мне и пробовал неуверенными пальцами, что из этого выйдет. Я принялась стучать сама, отняв у него машинку не без некоторого насилия, и привела его в восторг.

— Вот что значит быть хорошим учителем! — восхищался он,— другой бы наговорил, наговорил и, следовательно, набил вам голову пустяками, а я показал на практике — и готово.

Спустя некоторое время он дал мне переписать казенную бумажку и, когда я исполнила это, таинственно достал из-под подушки спрятанные туда стихотворные опыты.

— Вам теперь, следовательно, практика нужна,— понизив голос и оглянувшись на дверь, сказал он мне на ухо.— Я ухожу сейчас на заседанье, а вы до вечера остаетесь одни. Вот и позаймитесь, тут стишки одного моего товарища. Перепишите их и, кстати, выскажитесь мне, как они насчет формы.

Он взял фуражку, портфель, вышел было, но вернулся и опять зашептал:

— А по поводу ночлега не беспокойтесь, я уже сказал — прибьют веревку и занавеску повесят. Это на первое время, пока у нас народу на конференцию понаехало, помещенья нет. А потом освободится комната, и вас отсюда переведут.

Он исчез, застучав деревяшкой по коридору. Я заперла дверь на ключ, хрустнула костями, потягиваясь в блаженной зевоте, и легла на жесткую кровать. Мне приятно было сознавать себя одной, независимой, невидимой никому. Около часа я спала, а потом встала весело, как в детстве, дождалась свету (электричество давали лишь с темнотой) и уселась за переписку. Стихи были совсем неожиданные — лирические, грустные, без

всякой воинственности, с полным отсутствием гражданских мотивов:

На улице весна,
Всех обогрела она,
Стар и млад идет, спешит,
А я бедный инвалид.

И все в том же духе. Сперва я только переписывала, а потом ритмическое чутье возмутилось во мне, и я стала понемножку исправлять. Работа доставила мне огромное наслажденье, то была первая интеллектуальная работа за несколько месяцев. И разошлась же я! Тут вставлю новую благозвучную рифму, там исправлю размер, сокращу число слогов. Прочту себе вслух и радуюсь — как прилично выходит. За работой я забыла о времени и вздрогнула, когда услышала стук в дверь. Вошла утренняя женщина с большим медным чайником и подносом; она расставила на подносе два стакана, положила опять пару карамелек и спросила меня:

— Вам нынче хлеб выдавали?

Я ответила отрицательно. Тогда она принесла мне ячменных сухарей и сказала:

— Как чаю напьетесь, прикройте чем-нибудь чайник. Безногий раньше ночи не воротится. А занавеску я вам завтра сошью, нынче коридор мыла, мочи нет, как устала. Да вы будьте спокойны, народ тут хороший, никого пальцем не тронут. Тихий народ, даром что из простых.

Когда она ушла, я еще наслаждалась некоторое время редакционной деятельностью; чайку попила, сложила переписанное на подушку Василия Петровича, потушила свет, разделась и легла. А как только легла, заснула глубоким сном.

Меня разбудило ранним утром чье-то покрякиванье. Я подняла голову с подушки и увидала моего соседа, уже совершенно одетого, сидящим за столом над переписанными листами. Он сиял от удовольствия. Ему, видимо, не терпелось поговорить со мной, и он покрякивал нарочно погромче, чтоб я проснулась. Встретив мой взгляд, он закивал головой:

— Вы, следовательно, маненько исправили. То-то я смотрю, будто благозвучнее выходит. Ну, товарищ, вы

нам в самый раз необходимый человек. Я-то ведь прямо от сохи на войну взят, грамоте там и научился и все больше самоучкой по книжкам. Революцию прошел по всем фронтам, от Зимнего до поляков и Юденича, ногу, видите, потерял, а образованием я не вышел. Назначила меня партия в секретари, а какой я секретарь, только по-военному людей сортирую. Товарищ Безменов на куски разрывается... Вот, следовательно, думаю я, необходимый вы для нас человек. Вы, товарищ, партийная?

Я ответила отрицательно.

— Жаль, жаль, ну да не беда. Я выйду в коридор, а вы одевайтесь. Через полчаса в исполком пойдем.

Я вскочила и оделась, глядя в кривое стенное зеркало. Потом мы напились чаю и вместе отправились в исполком. Василий Петрович показал мне стол с машинкой, где отныне я должна буду работать. Прямо против меня находилась дверь в кабинет товарища Безменова. Его самого я не видела со вчерашнего дня. Потом начался мой трудовой день.

С раннего утра шел прием. Сюда шли самые разные люди — с жалобой, просьбой, с разъяснениями, предложениями. Одному нужно было найти помещенье для школы, другой требовал охранной бумажки от выселенья, третий хотел реквизировать чей-то запас гвоздей, пятый хотел уехать и его не пускали, у шестого несправедливо забрали при обыске кусок материи; нельзя было догадаться о том, какое дело привело седьмого, восьмого, девятого. Все разнообразие дел человеческих скопилось тут в несчетном количестве. Нужно было выслушать, понять и удовлетворить каждого. Василий Петрович размещал их в строгом порядке, не допуская никакой несправедливости, усматривая резонность каждой просьбы. Он ошибся, считая себя плохим секретарем. Для того времени, полного неожиданностей и протекавшего с боевой поспешностью, это был идеальный секретарь.

Товарищ Безменов накладывал резолюции на бумажках просителей. Они были коротки, ясны и, как мне показалось при первом знакомстве с ними, мудры по-соломоновски. А быть мудрым на тысячу разных

манер дело не легкое. Агрослужба желдороги требует охраны для дойной козы, электроток возмущается постановлением горисполкома за номером 113, профессор археологии предлагает разрыть местный курган, товарищи ходатайствуют о разрешении концерта-митинга с участием заезжего тенора Бискайского и балетной мелопластики школы Хопкиной и прочее и прочее. Ко мне под машинку попадала только ничтожная часть этих бумаг, та, что требовала официального ответа за номером и с копией. Прошла неделя, а я уже стучала с бойкостью настоящей старой машинистки. Настучав бумагу с копиями, я легко подхватывала ее левой рукой, а правой проводила по волосам и спешной походкой шла в кабинет «на подпись». Кроме меня, в соседней канцелярии работала еще одна машинистка в земельном отделе. Ей тоже приходилось идти на подпись к товарищу Безменову. Сперва мы сговаривались и, чтобы не бегать вместе, давали бумаги по очереди друг другу. Но скоро я заметила, что она обманывает меня: забирает мои, не давая своих, и прошмыгивает на подпись тихонько, когда я поглощена работой.

Эту машинистку звали Раичкой. Она отличалась тем, что всегда очень громко и неумеренно вздыхала, отчего всякий раз хрустела планшетка от корсета. У нее было бледное, нездоровое припудренное лицо, накрашенные губы, пышная прическа в кудерьках, с грязноватой лентой, охватывающей голову и лоб. Большая, пышная, широкая в костях, вечно голодная, с жадными голубыми глазами и напухшими губами, она имела множество поклонников и у нас в канцелярии и в городе. Заметив ее хитрости, я стала складывать все бумаги к ней на столик и совершенно прекратила бывать у Безменова.

Я сделала это с неприятным чувством, разбираться в котором мне было некогда. В нашей несложной жизни посещение предисполкома и стояние у его стола несколько секунд было праздничным событием. Так относился к этому весь женский персонал исполкома, то же самое стала чувствовать и я. Не то чтоб мы были немножко влюблены в каждого заведующего,—

хотя впоследствии я убедилась, что это обычная болезнь машинисток,— но мы сознавали себя солдатами на приеме у командира. Каждая могла отличиться, и каждой этого хотелось. Одна брала исполнительностью, образцовым состоянием бумажек, уменьем во-время сказать слово, подсовывая бумажку; другая — запахом духов, пудрой, прической, шелковой блузкой; третья — надменностью, так как многие машинистки держали себя, как принцессы, и производили этим сильное впечатление.

Входя в кабинет, мы слышали обрывки разговора. Обычно заведующий прибегал к нашей помощи, когда хотел ускорить уход посетителя или оборвать его. Он звонил и немедленно погружался в принесенные нами бумаги, заводя с нами попутные беседы и стуча карандашиком по столу. Когда же посетителя не было, что случалось редко, нам задавались и разные шутливые вопросы, на которые каждая отвечала по-своему. Товарищ Безменов никогда не делал ни того, ни другого. Обычно он не сидел, а стоял возле своего стола, упершись коленкой в стул. Его манера выспрашивать человека была неожиданная и молниеносная. Он не терял даром ни одного мгновенья. Но у него изредка были полосы страшной апатии, когда в его работу можно было вмешаться. Он охотно вас тогда выслушивал, совещался с вами в мелочах, был нерешителен. Эти минуты мозговой усталости были моими любимыми; я привыкла не бояться его в такие минуты и говорить ему все, что накоплялось у меня на душе.

Так, я однажды сказала ему, когда он медлил подписать бумажку о праве телеграфной команды на занятие помещенья, принадлежавшего технической школе:

— Товарищ Безменов, вы — человек с умом, сердцем и волей, и разве вам не страшно день и ночь кипеть в этих ничтожных делах? Вы все равно что трамвайный кондуктор. Разве допустимо тратить жизнь на беспрерывное обрывание билетиков?

— Вы у меня контрреволюцию не разводите,— устало ответил он,— вернемся к порядку дня. Допустить ли занятие школы? Вы что об этом знаете?

— Школа сейчас получает подотчетные. Отдел

снабжения выписывает ей по ордерам все, что нужно, учителя имеют паек и жалованье, ученья, конечно, никакого нет и не будет еще года два. Телеграфная команда пришла с войском, квартирует на площади.

Он подумал несколько минут и подписал бумажку.

— Нас зовут варварами. Но наш крупный грех как раз в обратном: мы стараемся казаться слишком культурными, лицемерим. Поддерживаем то, что сию минуту бесполезно, насаждаем множество фантомов.

Я не сдавалась и вернулась к прежней теме:

— Лучшие люди сидят сейчас, как вы, за канцелярскими столами и утопают в бумажках. Оттого вы и устаете, что это не ваше дело. Если бы вы были на своем месте, у вас никогда не было бы такого опустошенья.

— Вы ничего не понимаете. Этот кабинет — рулевая будка. Мы правим курс. А если б мы сели за научные диссертации или игру на виолончели, Россия пошла бы ко дну.

Такие разговоры хоть отчасти наполняли мне жизнь. Я тяготилась обилием фактов, отсутствием обобщения, полным уничтожением перспективы. Раньше, хоть и со стороны, я наблюдала общую схему революции. Такие чуждые ей люди, как камергер, учили меня широкому сознанью эпохи, взгляду на будущее. Субботник, наконец, приобщил меня к стихийному творчеству массы. А сейчас я попала в будничный коридор, в отдаленный тыл революции и уже ничего не различала, кроме бумажек. Все казалось мелким, плоским, суточным, бесконечно субъективным и произвольным. Вокруг было, как после неумелого подметанья комнаты,— всюду опять оседала пыль.

Раичка лишила меня и этих кратких разговоров. По ней и ее манере проникать в кабинет я судила о себе. Что-то пошлое примешалось к простоте моего отношения к товарищу Безменову, и тогда я прекратила свои хожденья. А моя соседка, чувствуя ко мне благодарность, неожиданно пригласила меня в воскресенье к себе. Отказаться было неловко. Я сидела по воскресеньям у себя в комнате, переписывая стихи Василия Петровича и дожидаясь первой получки жало-

ванья, чтоб съездить к камергеру. Поэтому даже посещение Раички показалось мне развлеченьем.

Она жила в первом этаже очень большой, но почти пустой квартиры. Мать ее была богатой купчихой, теперь разорившейся. Пышная старуха, совершенно беззубая, но припудренная, как дочь, усадила меня за стол, на котором она раскладывала карты. Я думала, что услышу жалобы на большевиков в духе Фаины Васильевны. Но ничуть не бывало. Она втянулась в жизнь без остатка. Говорила о том, кто какой паек получает, кто где служит, у кого какие связи. Интересовал ее очень гражданский брак, и тут же мне было передано несколько историй, где заведующий женится на своей секретарше.

— Вот какую партию сделала подруга моей Раички, Антонина Прибыткова, а наружностью ей в подметки не годится. Из машинисток в секретарши, а заведующий у них простой рабочий, коммунист, только книжек начитался. И так она его закрутила, что, поверите ли, ополоумел человек. День и ночь вокруг нее ходит, осунулся, есть-пить перестал. Поломалась, поломалась девочка и вышла. Что ж вы думаете, им по ордеру всякую обстановку из жилотдела, серебряный самовар, примус, подушки, одеяла, верхнее платье, нижнего белья сколько надо, выдали. Вот это я называю умом.

В комнату вошел брат Раички, худой и высокий человек в пенсне, с испитым, неподвижным лицом, покрытым прыщами. Он шепнул Рае что-то на ухо. Она протянула руку, взяла у него бумажку и копировальный карандаш и стала писать. Потом дала листок и мне, предварительно смяв его посередине.

— Александра Николаевна, ну-ка, пишите!

— Что вам писать?

— Пишите так: «Расписка. Мною получено за уборку школы и мытье полов пятнадцать тысяч [1]. По

[1] В начале 20-х годов бумажные деньги были еще обесценены, счет вели на миллионы; пятнадцать тысяч соответствовали нескольким копейкам. Так было до денежной реформы, когда появился крепкий бумажный «червонец» — 10 рублей.

безграмотности уборщицы, Неонилы Бабиковой, Александра Зворыкина». Написали?

— Но для чего вам это нужно?

— Простая формальность,— сиплым голосом ответил мужчина, взял бумажку и вышел. Раичкина мать проявила признаки беспокойства:

— Вы бы хоть фамилию-то другую придумали. А то сочинили эту самую Неонилу, неровен час назначат ревизию, скажут — какая такая Неонила, а вам ее и за деньги не сыскать. Фантазеры вы с братом.

— Мамочка, ты не вмешивайся! Это, Александра Николаевна, брат подотчетные сдает. Сколько он с этой школой возится, крови себе портит, так уж и не попользоваться. Посмотрели бы у нижних, которые в губпрофобре служат,— хоть бы одну действительную расписку представили.

— А все ж таки имя такое, супротивное!

— Совсем наоборот, мамаша, похоже на правду. О чем не понимаешь, того лучше не касайся.

Из странного любопытства, похожего на чувство, с каким разглядываешь уличную катастрофу, обвал дома или поломку автомобиля,— я не шла домой, а сидела и слушала. К Раичке пришли подруги и молодые люди. Все они где-то служили, употребляли сокращенные советские названья, щеголяли условными словечками. Все казались рожденными только сейчас: у них не было ни вчера, ни завтра, а только выгода сегодняшнего дня. Бессмысленные хищники, грабившие собственное дело: один разрушал школу, другой объедал столовую, третий продавал пол в собственном доме на дрова только потому, что дом этот был муниципализирован...

Высидев два часа, я простилась и пошла домой. Я была романтична с детства, и сейчас все существо мое горело сладкой, сильной жалостью. Предметом ее были одинокие мечтатели вроде Безменова, воображавшие, что они перевернут мир. Я представляла их себе окруженными толпой предателей, воров и мошенников. Мне хотелось вмешаться в окружающее, обнаружить преступников, помочь героям. Два часа Раичкиной болтовни сделали больше, чем двухмесячное

житье под одной крышей,— я страстно захотела увидеть товарища Безменова и... утешить его в сочиненных мною горестях.

День был холодный, но ясный. Я шла быстро, запыхалась и, перед тем как взойти на лестницу, остановилась, приложив руку к сердцу. У подъезда стоял автомобиль. Швейцариха звонким голосом крикнула, что меня два раза спрашивали по телефону. Наверху я увидела Василия Петровича, в волнении стучавшего деревяшкой. Он побежал мне навстречу:

— Пора, пора! Что вы так разгулялись! Перекусите на живую руку и езжайте.

— Куда?

— Как куда? Разве вы не получили записку? Ах, чтоб... да я ее, следовательно, не туда послал. Вы назначаетесь вместо секретаря вести протоколы. В Черноямах разгромили продовольственную лавку, убили заведующего. Там уже давно неблагополучно. Наши едут на суд и расправу. Торопитесь!

Никогда ни одно приглашение не приходило так кстати! Точно наколдовали мне это возбужденье.

Я кинулась в комнату, стоя съела свою холодную похлебку, завернула хлеб и карамели в бумагу и по необъяснимому капризу сняла с вешалки синий летний шарф. Он не подходил к сезону. В нем должно было быть холодно. Но он мне шел, и я повязала им голову вместо всегдашней самодельной шляпки.

Сбежав с лестницы, я замедлила в дверях. Кто ехал с нами? Рядом с шофером был красноармеец. На передке маленький горбун примостился спиною ко мне и лицом к соседу, огромному человеку в военной шинели. Оба забавно приспособлялись друг к другу, горячо споря о чем-то. Перед ними сидел, развалясь, франтоватый замзав, которого я не любила за привычку очень медленно задавать вопросы и не вынимать изо рта трубки... Оставалось лишь одно свободное место... Возбужденье мое потухло тотчас же. Не смея себе признаться, что удовольствие от поездки испорчено, я вспомнила, что не захватила карандашей и бумаги. Снова поднявшись наверх, но уже медленно, я

собрала в папку все, что нужно, и степенно спустилась вниз. Мне поклонились. Я села на свободное место. Шофер оглянулся на нас, нажал рычаг, и автомобиль задрожал перед прыжком.

Никто из сидевших не был мне знаком. Ни с горбуном, ведшим только партийную работу, ни с замзавом я никогда не здоровалась. Огромного мужчину в шлеме видела впервые. Если б не их равнодушие к моей особе, как к чему-то, чье присутствие само собой разумеется, я подумала бы, что попала сюда по ошибке. Замзав спросил:

— Вы захватили печать?

Я снова схватилась за дверцу с досадливым восклицанием. Но уже Василий Петрович бежал по лестнице, держа в руке печать и несколько бланков. Он бросил их мне на колени, и автомобиль, сделав крутой поворот, повернул на Загородную улицу. Это было длинное шоссе, пересекавшее весь город по диагонали. Мы мчались с огромной быстротой, и все-таки оно казалось мне бесконечным. Ветер, вой сирены, кусочки щебня, падающая темнота охватили нас и приподняли нервы.

До меня шел разговор. Его продолжали и при мне. Речь шла об убийстве и разгроме склада. Горбун нападал на наш земотдел, и каждое замечание его задевало замзава. Наконец, франтоватый сосед мой вынул, вопреки обыкновению, трубку и с раздражением ответил:

— Если мы в чем-нибудь ошиблись, товарищ, так в переоценке ваших директив. Мы ставили туда центровиков и сплошь партийных работников. Мы убрали по вашему настоянию товарища Куниуса, отлично знакомого с местными нуждами, пользующегося доверием крестьян.

— Значит, поздно убрали,— сурово возразил горбун,— а теперь гибнет на посту старый, незаменимый работник. Все оттого, что вы их приучили к своеволию!

Замзав пожал плечами:

— Попробуйте приучить их к чему-нибудь другому.

Через два часа вы их сами увидите. Возобновим наш спор.

Он методично разжег трубку, несмотря на свистевший нам в рот и ноздри ветер, и снова стал потягивать ее. Высокий военный произнес примирительно:

— Это типичный случай, не из чего волноваться. Товарищ Куниус был очень хорош, но крестьяне могли делать через него все, что хотят. Нам в некотором случае центровики важнее, чем местные работники. Они носители авторитета, они не предвидят заранее компромисса, они поэтому тверже, смелее...

— И в результате они — жертвы,— ответил замзав.— Надо же считаться с практическими условиями. Вы хотите идеологическую пропаганду — прекрасно, дайте работника. Вы хотите разверстку — прекрасно, дайте работника. Но когда посылается человек пропаганды с тем, чтобы провести разверстку, он ни одного дела хорошо не сделает. Скажите еще спасибо, если они нас сегодня не тронут. Будь я на месте товарища Безменова...

Шофер затормозил автомобиль перед высоким освещенным корпусом табачной фабрики. Я вздрогнула от двойной неожиданности,— и от произнесенного имени, все время вертевшегося у меня на языке, и от остановки.

Темная фигура сбегала тем временем по ступеням фабричного крыльца. Шофер распахнул дверцу, и товарищ Безменов, с портфелем, в кожаной фуражке и с револьверной кобурой у пояса вскочил в автомобиль. Он еще стоял, захлопывая дверцу, как мы уже снова неслись по шоссе. Потом повернулся.

— Мы вас притиснем с двух сторон, теплее будет,— произнес он шутливо и опустился на сиденье рядом со мной.

Я не могла справиться с охватившей меня радостью. Бывают же такие счастливые дни у людей — сбывается все, чего хочешь, в чем даже сам себе не признаешься, и сбывается с легкостью, удачно, во-время, в полной гармонии со всеми твоими чувствами.

Как только он опустился возле меня и я коснулась его вплотную, никогда не испытанное потрясение

заставило меня закрыть глаза. Это было непереносно по острой сладости; холодок пробежал у меня по спине. Я благословляла темноту, сознавая, что каждой чертой лица выдаю себя. И то, что я испытывала, казалось мне неизбежно передающимся не только ему, но и ненавистному соседу справа. Я сжалась в комок, стараясь не касаться ни того, ни другого.

Это была бешеная поездка. Наш автомобиль мчался, бросая вперед, на дорогу, пучки ослепительного света. Ветер выл в ушах, трепля нам волосы. Изредка, в полосе света, чернела крестьянская повозка, и сирена ревела оглушительно, а она, как муха, сползала от нас в сторону. Раза два мы спугнули волов, рванувших в сторону телегу. И все летели вперед, подбрасываемые, как мячик.

Наконец, я решилась взглянуть на своего соседа. Он тоже глядел на меня вполоборота, раскуривая папиросу. От слабого освещенья или от теней ночи, но он был бледен. Глаза, встретившиеся со мною, смотрели серьезно и ярко, так ярко, что я снова закрыла свои. Но, уступая обессиливавшему волненью, пьяной пляске ветра, завыванью сирены и музыке, певшей у меня в крови, я тихо-тихо, не разжимая ресниц, придвинулась к нему.

— Доканчивайте! Что бы вы сделали на месте Безменова? — неожиданно громко спросил горбун у замзава.

— А то, что я бы очень подумал, прежде чем лететь в Черноямы сегодня вечером!

— Я рад, что еду сам — лучше разберусь! — медленно отозвался товарищ Безменов. Голос казался измененным, и каждое слово падало, как ласка, в душу. Он продолжал:

— В чем дело, о чем вы спорите? Бросить там комячейку на растерзание крестьян или ехать со взводом красноармейцев, как в прежнее время исправники на бунты ездили? Я полагаю, вы ни того, ни другого не замышляете. Мы выбрали единственный разумный путь: едем в тот же час, как узнали об убийстве, в полном составе, даже с протоколисткой, чтоб присутствовать на ночном заседании волисполкома. Или я вообще

ничего не знаю, или крестьяне встретят нас как начальство. Нам только надо самое главное помнить: сделанного не воротишь, впредь действовать умнее.

— И не сажать Куниусов,— вставил горбун.

— И опять посадить Куниуса,— упрямо сказал замзав.

Товарищ Безменов засмеялся. Я часто видела его улыбку, но смех слышала впервые. Впрочем, сейчас это был тихий смех, нервный, а не веселый. Он бросил папиросу в свирепый поток ветра, не докурив ее, а потом снова достал свежую и держал в руках, не зажигая. Меня удивляло и трогало его волненье. Я приписывала его нашей близости. Понемножку, осмелев и спустив шарф на лоб, я стала глядеть на него неотступно. Мне казалось, я в далеком Цюрихе, на парапете маленькой кондитерской. Мне казалось, я впервые вижу, издалека и с полной душевной свободой, эту благородную голову, чуть откинутую назад, носильщика, потянувшегося в могучей зевоте, линию затылка, шеи, плеч. Я смотрела прежним взглядом светской дамы, наслаждаясь свободой, властью над собой и над обстоятельствами, и вдруг что-то кольнуло меня в сердце: крохотная мысль, как блеск от зажженной спички, краткая, ослепительная мысль о том, что я любила его с первой минуты и люблю теперь.

Замзав вынул часы из кармана:

— Еще десять минут Вон огоньки. Подъезжайте прямо к партийному клубу

— Мы не можем взять на заседанье товарища Зворыкину, это против устава,— вмешался горбун.

— Она может обождать нас в соседней комнате,— произнес Безменов. И словно от близости разлуки, не сговариваясь, не глядя друг на друга, незаметно для окружающих мы взялись за руки. Моя рука была холодна, как лед. Его пальцы — теплые и сильные. Шофер затормозил автомобиль. Сказка кончилась. Огромные черные псы кидались на нас с двух сторон, оглушительно лая. Вокруг виднелись темные строения. Двухэтажный домик партийного клуба был освещен керосиновыми лампами.

Мы приехали в Черноямы.

Глава шестая

Село Черноямы лежало в глухой котловине, обрамленной горной грядой с залежами антрацита. Здесь почти не было растительности. Вдоль шоссейной дороги торчали кривые сучья терновника. Земля вокруг в бугорках и кочках. Только с береговой стороны, где цеплялись за скалы деревянные лачуги рыбаков, шли луга и великолепный выгон, расстилавшийся на несколько десятков верст.

Обитатели Черноям, поселенцы из центральных губерний, жили вперемешку с татарами и немцами, имевшими здесь всего несколько дворов. По ежемесячным отчетам, поступавшим в земотдел, а оттуда ко мне на машинку, я знала, что это село богатое, хотя неблагополучное. Мужики туго привыкали к чуждому для них скотоводству. Немцы жаловались на постоянное обкрадыванье ферм. Татары держались особняком и резали уши, нос и пальцы попадавшимся конокрадам. Здесь были случаи поножовщины, самосуда. К перемене власти село отнеслось равнодушно. Условия ли жизни, мрачное ли место, или темперамент переселенцев, но только они были до последнего предела пассивны и мрачны.

Новый быт, вводимый железной рукой, разворошил этот муравейник. Изо дня в день переписывая на машинке официальные бумажки, засыпанная количеством мелких фактиков, как булавками на примерке нового платья, я потеряла чувство перспективы, не умела различить общие контуры. Но сейчас, в Черноямах, между живыми людьми, делавшими историю, я сразу поняла всю последовательность совершающегося. Я поняла, о чем препирались между собою шуршавшие у меня на валике нумерованные бумажки. Одни выходили из парткома, из сердца революции, и за ними стояла соборная воля партии. Другие опирались только на личный опыт и шли от людей, получивших хозяйственные задачи. Одни предписывали, другие остерегали, мешали, советовали, вводили поправки. Одни шли совершенно прямо, как луч в безвоздушной среде. Другие выходили из того же места, но тотчас же преломлялись,

попадая в материальную среду. Я глядела на бой бумажек, на порождаемую ими среднюю равнодействующую, и мне казалось, что можно вывести формулу, подобную химическим, из опыта нашего поколенья.

Как только автомобиль остановился, двери клуба распахнулись, и несколько человек вышли нам навстречу. Впереди них я увидела высокую тощую фигуру, сильно сутулую в плечах, с лицом, оттененным бородкой. Он вглядывался сквозь очки в приехавших.

— Куниус,— крикнул горбун, вскакивая со своего места,— кой черт вы сюда попали? Да еще без партийного постановленья!

— Извините, товарищ,— хором заговорили с лестницы,— комячейка вытребовала его к себе на помощь. Взойдите наверх, вы узнаете, как было дело.

Через несколько минут вся наша группа, не исключая шофера, сидела в чистой деревянной горнице с длинным столом посередине, служившей читальной залой. Стены в ней были обклеены газетами. Углы красиво задрапированы красными знаменами, оставшимися от первомайских праздников и разных процессий. Стол завален брошюрами и журналами.

Мы узнали, что тёло заведующего, товарища Варгина, совсем изуродовано и лежит в соседней комнате для отправки наутро в город. Крестьяне, разгромив склад, покусились было и на партийный клуб, если б во-время не прискакал вызванный из соседнего села товарищ Куниус. Ему удалось уговорить крестьян разойтись и даже выдать зачинщиков. Последние арестованы и сидят под замком. Исполком назначил экстренное заседание на одиннадцать часов вечера. Оставалось еще два часа.

Замзав отправил в сторону горбуна торжествующую улыбку. Но горбун не обратил на это ровно никакого внимания. Он поманил меня за собой, привел в просторную, почти пустую комнату, где стояли диван с чьей-то красной измятой подушкой и закрытое пианино.

— Посидите здесь, пока не кончится партийное собранье. Советую выспаться. Вам всю ночь придется вести протоколы, и надо, чтоб голова была свежая.

Когда он ушел, я расположилась поуютней на диване и принялась воскрешать в воображении всю нашу поездку, переживая ее острую сладость. Но через минуту мечты мои были прерваны. Комната, где я сидела, была отделена от читальни еще одной комнатой, где стоял сейчас гроб с убитым. Но стены были из досок, даже не замазанных глиной, а только оклеенных газетами. Можно было разглядеть полоски закрытых щелей, сквозившие светом. Как только говорившие повышали голос, я могла разобрать каждое слово. Невольно я начала прислушиваться.

Сперва речь шла о Куниусе, потом о незнакомых мне людях. Кто-то начал мерную речь, длившуюся почти без реплик, должно быть читал отчет. Внезапно раздался голос замзава:

— Опять-таки мы ошибемся. Поймите, что мы не можем обойтись без уступок, иначе нельзя гарантировать даже двадцати процентов разверстки.

Его прервал резкий фальцет горбуна:

— Слушайте, вы нам предлагаете хуже, чем уступки. Ведь этак нельзя распознать первоначального плана. Какая в конечном счете разница между нами и другими, третьими!

— Но вы стоите за то, чтоб получить все сто процентов? Вы сознаете, что это необходимо? Так поймите же: эта необходимость никак не соединима с другой необходимостью... Или сделать уступки и получить, или выдержать направленье и не получить! — надрывался замзав.

Кто-то очень юный, с татарским акцентом, перебил его:

— Силой можно все сделать. Товарищ Куниус разговаривает с ними, а мы не должны были разговаривать: вышло постановленье — подчиняйтесь; кто отказался, с того взыскать принудительно. Бунт — расстрелять. И конец.

— Вы с этой тактикой годитесь ровно на год. Через год вы будете торжественно править пустыми деревнями, незасеянными полями, сожженными амбарами, беглыми крестьянами и бандитами на проезжих дорогах. Вы не знаете мужика, а я знаю мужика.

Я двадцать лет в земстве служил! — опять воскликнул замзав.

— Наконец, товарищ Куниус никаких особенных уступок и не делает,— поддержал замзава незнакомый мне голос.— Он умеет говорить с массами, доходчив, сердечен, ему верят; а уступает там, где для нас несущественно. А если им не нравится названье, он говорит «пожалуйста», и они придумывают свое собственное, а в результате поступают все-таки по-нашему. Так он работал с ними все пять месяцев. Конечно, заменять его Варгиным было ошибкой. Варгин был слишком прям и принципиален, он сразу вооружил против себя. Он показал народу сразу все трудности и не обещал ни одной выгоды.

— Обсуждать недостатки того, кому сегодня череп проломили — не время! — вмешался Горубун.— Не забудьте, не мы хозяева, а партия. О чем говорить? Мы имеем определенные директивы и должны проводить их в жизнь.

Тотчас же за ним раздался спокойный и звонкий голос Безменова:

— Товарищи, мы две разные вещи путаем. Партийное постановленье обсуждать не наше дело, наше дело — выполнить его, бороться за него, всеми силами укреплять и утверждать его авторитет. Другое дело тактика. Можно поспорить, какими путями сейчас лучше добиться выполненья Конечно, мужик не настроен дать, что нам нужно. Конечно, мы должны взять у него хлеб, ведь голодают рабочие, голодает Красная Армия. Читали «Правду» от двадцать девятого сентября? Ленин прямо пишет — нам в будущем году надо собрать до четыреста миллионов пудов хлеба... Четыреста миллионов. А недавно, на совещанье председателей исполкомов, Ленин что сказал? Разверстка для старых русских губерний неимоверно тяжела. Надо сделать облегченье за счет более хлебных окраин, тут подразумевается и наша область. Вы это великолепно понимаете. Значит — надо получить хлеб. Точка, рассуждать не о чем. Как получить? Вы вот только и склоняете, что Куниуса, будто все дело в Куниусе. А давайте лучше посклоняем черноямовского мужика. Ведь он не единой

краской мазан. Ведь вот, зачинщики выданы, отделены, посажены...

— А кто уговорил выдать? Куниус уговорил! — опять крикнул замзав.

— Правильно, Куниус уговорил. Вот и нужно сейчас его спросить, на кого в Черноямах можно опереться, а кто, по его мнению, должен быть убран за решетку вместе с зачинщиками. Давайте вызовем их, поговорим, пощупаем. Расскажем положенье. И походим с ними со двора на двор с лопатами — у кого сколько зарыто. Как выгребем зерно у одного, будьте уверены,— у всех найдется. Мальчишки с нами побегут показывать.

— Сосёнкина снять надо, он с мужиками не хорош,— отозвался Куниус,— до совещанья определенно надо вызвать комсомольцев — Ивина, Петропавловского...

— Поповский сын! — вырвалось у горбуна.

— А комсомолец прекрасный и наша верная опора,— твердо ответил Куниус.— Оставь ты попами бросаться. Сын с отцом лет пять в разладе. И вообще посерьезней смотри на вещи!

— Пойдет по задворкам зерно выкапывать у кулачья? — спросил Безменов.

— Пойдет,— уверенно ответил Куниус.

Голоса опять понизились, собранье перешло на практические вопросы, и я почти ничего больше не могла расслышать.

Страшная слабость и грусть овладели мною. Что такое минутная нежность, случайно разделенная в автомобиле под вой ночного норд-оста, для человека, подобного Безменову? Помнил ли он о ней, соскочив из автомобиля на землю? Помнит ли он сейчас, что я сижу за стеной? Да и знаю ли я, что чувство, пережитое мной, было взаимным?

Во всех этих размышлениях, Вилли, вы не играли никакой роли. Но, откинувшись на красную подушку, пропитанную запахом махорки, я вдруг увидела в незавешенном окне крупные и редкие звезды, похожие на брызги дождя. Мелочи входят в нас, как бациллы, и заражают нас. От трепета звезд, запутавшегося у меня в ресницах, я внезапно очнулась — не здесь, а там, пять

лет назад, у себя на родине, в вашем обществе, Вилли, и в обществе вам подобных. Покойные, прочные стены встали между мною и миром, мягкие руки чужого мнения легли мне на лоб и прикрыли глаза, нежное беспамятство убаюкало сердце,— легко жить, ничего не зная, сложив ответственность, не мучаясь, не ища... И сквозь ресницы, как в обратные стекла бинокля, убежало маленькими, маленькими фигурками все окружающее. Речи, слышанные за стеной, еще звучали в ушах, но какими-то неповоротливыми словами, лишенными смысла. Большие ленивые животные, никогда не виденные, пришли и лапами стали их загораживать, распластываясь в геральдический герб вашего рода. Бабетта захохотала откуда-то сбоку медным хохотом, упирая на б. Все это вам приснилось, приснилось, приснилось...

— Надо идти в исполком, милая! — Очень робко, но решительно знакомая ладонь просунулась между моей щекой и подушкой. Я вздрогнула и открыла глаза. В свете звезд я увидела лицо Безменова, утомленное, со складкой на лбу, без тени улыбки, наклонившееся надо мной. Щека моя еще лежала на его ладони.

— Ну,— раз, два, три!

— Четыре, пять...— ответила я и не думая двигаться. Прищурившись, я глядела в эти глаза, углубленные тенью. Сон все еще, как туман, лежал у меня на кончиках губ и заволакивал мысли. Я была светская женщина, Алина Николаевна, капризная жена породистого маленького человека с головкой страуса.

— Вы саботировать намерены? — улыбнулся Безменов. Но когда он потянул к себе руку, я крепче прижалась к ней щекой. Опять безумное волненье, заглушенное сном, охватило меня. Но, вместо прежней растерянности, оно встало во мне могучим инстинктом завоевателя, всеми уловками длинного поколения женщин, покорявших мужчину. Разве не главное в мире вот эта горячая, непобедимая волна, встающая между мужчиной и женщиной? Разве это не сильнее войн и землетрясений, ураганов и революций? Разве сейчас не отлетают от юноши с этим крутым лбом, с золотыми ресницами — ведь он еще юноша — все ска-

занные им речи и легшие на него заботы о каких-то Черноямах, каком-то зерне?

Спокойным, слегка насмешливым голосом, ничем не выдавая радостную дрожь, холодившую кожу, я сказала:

— Отсюда мне было слышно все, что говорилось... И ваша изумительная речь о том, что не надо склонять Куниуса, а лучше склонять мужика. По каким падежам его склонять?

Он вырвал руку прежде, чем я успела удержать ее. Что-то вроде сожаленья послышалось в его голосе.

— Вы подслушивали, это отвратительно с вашей стороны, но все-таки с полбеды. А вот обидно, что вы, как всегда, ничего не поняли.

— Ничего не поняла,— значит, и беды большой нет в том, что слышала. Посидите минутку, объясните мне!

— Идемте вниз, автомобиль ждет.

Но я отлично знала, что потеряю его, как только он попадет в свою обстановку Потеряю и себя — завоевательницу, чтоб стать исправной, испуганной барышней-машинисткой. Он стоял сейчас возле дивана, глядя на меня растерянно и с досадой. Выражение губ — мальчишеское — опять напомнило мне о его молодости. Были мы одних лет, или он моложе меня?

— Я сейчас встану,— шепнула я покорно,— только помогите мне собрать шпильки с дивана.

Он наклонился, неумело шаря рукой по подушке. Я подняла голову и коснулась лбом его подбородка. Мне было снизу видно выражение его губ, ставших сразу старше и мужественней. Досадливая складка разгладилась, нежность сомкнула их. Найдя шпильку, он воткнул ее мне в прическу.

Тогда я медленно поднялась, взяла папку и пошла к лестнице, охваченная большим счастьем. В соседней комнате стоял гроб. Нас ждали внизу в автомобиле. Но все пело во мне — и я пела про себя — люблю, любима.

Здание волисполкома освещалось двумя висячими лампами под круглыми абажурами из картона. Внутри было сумрачно от густого дыма махорки. К нему примешивался запах овечьего пота, сильный до тошноты.

Сидя за отдельным столиком с карандашами и бумагой, я разглядывала черноямских мужиков, силясь привыкнуть к несносному запаху. Это были рослые, угрюмые люди; даже те из них, кому нельзя было дать больше восемнадцати лет,— а исполком почти сплошь состоял из молодежи,— смотрели исподлобья, без улыбки, говорили, как пищу прожевывали, медленно двигая челюстями. В президиум прошел секретарь. Он сел, видимо с трудом разбираясь в лежавших перед ним бумагах. Один глаз у него был прострелен, как говорили, на любительском спектакле. Лицо от постоянного наклона к зрячему глазу стало кривым. От кривизны все черты казались улыбающимися злобной, не уходящей с лица улыбкой. Голос же у него был мягкий, с визгливыми нотками, как у женщины. Большего несоответствия, чем между речью и лицом этого человека, нельзя было себе представить. Он во все вмешивался, перебивал говоривших словами «позвольте, я доложу» и, кривя лицо, длинно докладывал, а слушателю неприятно было смотреть на него. Создавалось впечатление, будто над нами нарочно издеваются. Это и был, как я потом узнала, Сосёнкин.

Заседание длилось часов до двух ночи. Мужики жаловались на односельчан и на невозможность справиться с разверсткой. Жаловались на маленькую норму, на невозможность вывоза, на своеволие совхозов, на милицию, отбиравшую вывозные товары в свою пользу. Тут я заметила одну вещь: когда слушаешь крестьянские жалобы, все они кажутся вам справедливыми.

Но когда после голодных, сырых, обнищалых городских квартир я попала в жарко натопленную кизяком избу и сытые ребятишки уставились, икая, на нас, а мы глядели на груду жирных лепешек, молоко, яйца, овечий сыр, черный арбузный сахар,— мне стала понятней суровая политика города.

Все кончилось в Черноямах благополучно. Два молчаливых светловолосых парня, Ивин и Петропавловский, оставшись после собрания, о чем-то коротко переговорили с Безменовым, вскинули берданки и ушли из клуба вместе с Куниусом и горбуном.

Огромные протоколы, похожие на роман по своей живости и занимательности, я решила еще раз обработать, прежде чем сдать их Безменову. Волненье мое улеглось, усталость прошла. Подъем, пережитый нами, сблизил нас всех, я осмелела настолько, что вмешивалась в беседу, как близкая. Ночь протекала. Звезды вершили наверху свой путь, опадая цветочными россыпями к горизонту. В три мы собрались ехать.

Нервы, разошедшиеся от перебитого сна, держали нас всех в состоянии шумной говорливости Даже шофер, то и дело оборачивавшийся к нам, вмешивался в разговор. Но вот он вскрикнул, глядя через наши головы куда-то нам за спину.

Там, в береговой полосе, где ютился рыбачий поселок, занималась розовая лента пожара. Нордост наделал беды. Не было сомнения, что он раздует пламя, прежде чем успеют его потушить. Повернуть автомобиль и помчаться обратно по шоссе было делом одной секунды; уже в Черноямах заметили пожар, шумно выводили лошадей, хватали насосы, командовали. Поселок был недалеко. Ветер шел оттуда и мог перебросить огонь на село. Мы миновали широкую улицу и снова мчались по шоссе, оставляя за собой скакавших пожарных лошадок.

Скоро ехать стало невозможно от душного веянья дыма, жара, искр и горячего ветра. Пришлось остановить и оставить в кустах автомобиль, а самим, пробираясь через бесконечные заросли колючек, именуемых здесь «держи-деревом», идти в обход ветру. Перед нами шумело беспокойным ночным шумом, катя черные волны, море; берег гудел от прибоя и казался зыбким, изглоданным, непрочным. Над нами катились созвездия, усиливая шаткое ощущение земли, неверной, как качели. И, наконец, между морем и небом пылал огромный костер, с треском пожирая жалкие деревянные домики, походившие на птичьи гнезда.

Безменов бросил нас на площадке, защищенной от огня и ветра, и кинулся в поселок. Мы узнавали от пробегавших людей последовательно, в течение остатка ночи, что он спас Черноямы рядом исключительных мер: было разрушено несколько хижин между посел-

ком и деревней, покинуты окраины, пущена вода на луга из оросительных канав, отрезавшая амбары с сеном от пылавшего участка. Но рыбацкий поселок сгорел дотла. Несколько десятков семейств потянулись с узлами и пожитками в Черноямы. Только на рассвете мы увидели, что наделал пожар. Береговые скалы были покрыты черными пятнами копоти. Жалкие кучки пепла, дымившиеся, как летом зажженный навоз, курились там и сям. Ветер нанес на берег кучу мелкой рыбы, и она лежала сейчас на камнях, почернев от огня. Дети, бродившие среди пепелища, ели ее.

Человеческих жертв, к счастью, не было. Несколько рыбаков ушли в море, спасая в лодках имущество, сети и улов, и сейчас, когда стих ветер, медленно гребли к берегу.

Безменов подъехал к нам верхом, с обвязанной головой, без фуражки. Лицо у него почернело, глаза сверкали одушевлением, а волосы пахли горелым.

— Я подпален на огне, как курица. Но это отлично вышло, что мы повернули сюда. Без нас они, пожалуй, не отстояли бы Черноямы.

Горбун и Куниус так и остались в селе. Замзав, давно уже поглядывавший на часы, раздобыл мотоцикл и помчался в город, уверяя, что без него дела придут в полный хаос. Я сидела с терпеливым красноармейцем и шофером в автомобиле, поджидая неугомонного Безменова, когда он появился снова с огромным караваем хлеба и печеной рыбой в газете. Дав шоферу знак трогаться, он бросил свою добычу на переднее сиденье и сказал мне весело:

— Будем завтракать.

Но в голосе его, несмотря на веселость, была та приглушенная матовость, что бывает у человека перед полным нервным истощеньем. Красноармеец и я занялись хозяйством. Мы нарезали хлеб, очистили рыбу, пахнувшую морем и пожаром, достали баночку с солью. Но есть пришлось нам одним. Безменов не дотронулся ни до чего. Согнувшись на своем сиденье, он закрыл глаза и сидел так, в странной позе, неудобной и неловкой, все время, пока мы мчались по шоссе к городу. В утреннем свете лицо его казалось мертвенным,

густые полосы копоти заострили и изменили его. Вдруг он мотнул головой и застонал.

— Да вы ранены?

Мы сняли с него повязку и увидели несколько ожогов, доходивших до макушки. Он уверял, что все это сущие пустяки. По воспаленным глазам и губам я видела, однако, что у него лихорадка и он страдает. Когда автомобиль, замедлив, пересекал антрацитовое ложе, он внезапно оживился и повернул голову. За нами, в утреннем свете, лежали мрачные, сонные Черноямы, а еще дальше, у серой ленты моря, торча обугленными клыками, в пыли и копоти, дымилось рыбачье пепелище.

— Так бы и сжечь все это до основанья,— сказал он весело,— все сжечь, как становье дикарей. Поглядите на эту жилу. Через десяток-другой лет здесь антрацит воздвигнет города, фабрики, гавани. И мы с вами вместо этой тряски будем летать по небу на стрекозах.

Наконец, мы въехали в город. Как не походило наше возвращенье на ту пьяную радость, с какой я села в автомобиль! Что-то произошло в нас обоих, словно левая педаль легла, приглушая, на сердце. Сколько ни старалась я воскресить прежнее волненье, оставалась лишь память о нем, но не оно. Усталые, одеревеневшие, обессиленные от впечатлений, мы приехали домой и вместо отдыха тотчас же отправились на службу. Василий Петрович ждал меня в канцелярии с кипой бумажек. Странное дело: я обрадовалась этому чужому человеку, как родному. Он вернул мне легкость бытия, привычное самоощущенье, все то, что дают нам близкие по дому и своя обжитая обстановка. Точно от слишком большого и тревожного света заслонила на время ваши слабые глаза плотная, прочная занавеска.

Раичка вошла ко мне, шевеля бедрами, припудренная и завистливая.

— С какой стати вас туда брали?

Резонность этого вопроса ударила меня больно. Я уткнулась в белые клавиши, сославшись на немилосердную усталость. День был длинный, привередливый,

невпопадный. Я делала ошибку за ошибкой, портила бумагу. Наконец-то часовая стрелка приползла к четырем, и мы с Василием Петровичем живо убрали бумаги, заперли столы и отправились домой.

Литературный юноша на деревяшке все еще был моим соседом по комнате. Я привыкла к нему до того, что нередко по вечерам, лежа в кроватях, мы принимались философствовать друг с другом через занавеску, которую нам все-таки повесили. Он был простым деревенским парнем, прошедшим через военную выучку. Он сам назвал себя как-то денщиком революции, и название показалось мне гениальным. Его преданность революции, слепая, служебная, беспрекословная, напоминала денщицкую службу. Верный приказу, он готов был штопать чулки, ставить самовар, нянчить младенцев, бегать на побегушках для нее, не соображая ни о чем, кроме полученного приказа. И в довершение сравненья у него и на лице застыла оторопелость, усугубленная привычкой держать рот полуоткрытым.

На этот раз он был молчаливей обыкновенного. Нам принесли мою любимую похлебку, и мы ели медленно, наслаждаясь разнообразием выловленных кусочков.

— А я без вас опять вдохновился,— начал он после супа беззаботным тоном,— так, знаете, ни с того ни с сего, совсем не под впечатленьем. Вы посмотрите на глаз, нет ли какого прогрессу?

«Прогресс» был его слабым местом. Он не мог примириться с мыслью, что не прогрессирует. Сунув мне в руку сверток и не допив даже чаю, он взял фуражку и выскочил в коридор. Мысли мои были бесконечно далеки от стихов Василия Петровича. Я перелистывала их рассеянно, прочитывая и не понимая. Но вдруг, несколько раз пробежав глазами одну и ту же строчку, я осмыслила ее, и в ту же минуту волна горячей крови залила мне лицо. Я испытала толчок, как от электрического удара. В этом толчке, поверх всего, был стыд, острый, неприятный, колкий. Потом, чтоб быть откровенной с собой, я разобрала в первом внутреннем движении своем — негодованье, не тихое, а взрывчатое и

громкое, то, что немцы зовут Empörung. Негодованье, заставляющее вскочить с места, топнуть ногой, показать на дверь и... позвонить прислуге.

Да. Пройдя через труд, нищету, болезнь, опростившись, приспособившись, выживши, причислив себя к классу, имеющему мозоли на ладонях,— я сохранила глубоко внутри существо, чуждое всему пережитому. Я открыла в себе нечто, подобное атавистическому отростку на ушах, и мне было горько мое унизительное открытие...

Таков был хаос молниеносных чувств, прошедших сквозь меня в одно мгновенье. Строчка, дошедшая до моего сознанья, была неловким объяснением в любви. Человек на деревяшке, денщик революции, объяснялся в любви Алине Николаевне Зворыкиной. Не то чтоб мне противно стало неожиданное и неразделенное чувство; не то чтоб я испытала брезгливость именно к Василию Петровичу. Нет, это было резкое негодованье против «ces gens-là» [1], инстинктивное обобщенье. И как бы ни было оно мгновенно, я его сознала и простить себе его не смогла.

За дверью раздалось постукиванье, потом покашливанье, и Василий Петрович появился, глядя вниз сконфуженно и вместе лукаво.

— Прочитали стишки?

Я ответила, что прочитала, но у меня сильно болит голова, и завтра я отмечу карандашом все места, где нужна поправка. Потом я легла отдохнуть, снова испытывая неудобство и невозможность подобного соседства. Вместо отдыха пришла бессонница, задергалось сердце, и впервые за много дней я опять ощутила трепет глазного яблока в веках, напоминающий биенье мотора под пароходной палубой. Все тело мое трепетало и слушало работу сердца. В невыносимом состоянии долежала я до утра, чтоб встать совершенно истощенной и думать о хитрых обходах рискованных тем, вертевшихся на языке у Василия Петровича.

Каким тяжким в иные минуты становится груз на плечах человеческих! Я сознавала себя отвратительной

[1] «Этих людей» (пренебрежительно по смыслу).

и страдала от этого вдвойне. Благодеяньем для меня было теперь кокетство Раички, собиравшей мои бумаги и вместо меня бегавшей к Безменову на «подпись». Спиной к канцелярии, лицом в машинку, я стучала и стучала вперегонки со своим сердцем.

Но в непереносные минуты посылается помощь. Седенький бухгалтер внес в канцелярию ведомости, и совершенно неожиданно я узнала две вещи: во-первых, что завтра мы не работаем и, во-вторых, что мне причитается изрядная сумма, составившаяся из жалованья, сверхурочных и еще каких-то таинственных начетов. Спастись отсюда, хотя бы на время!

Я вывела свою подпись на ведомостях кривыми буквами, схватила деньги и бросилась бежать домой. Торопясь все успеть до прихода Василия Петровича, я не стала обедать, взвалила себе на плечи полученные пайки — селедку, кукурузное зерно и сушеные фрукты,— кой-как повязалась и выбежала на улицу. Швейцариху я предупредила, что ухожу в местечко.

Было холодно, шел дождь. На базаре я разыскала молочницу, с которой когда-то уговаривалась об отъезде. Она вытаращила глаза, когда я подошла к ней и взгромоздилась на ее телегу.

— Немного запоздала,— попробовала я пошутить,— но все-таки держу слово.

— С нами крестная сила! — забормотала она, не двигаясь с места.— Что ж это вы до сих пор в городе делали?

— Укладывалась, бабушка!

Она долго ворчала, поминая крестную силу, потом оставила меня с лошадью, а сама побежала в столовую съесть на свой билетик горячего советского супу. Я вспомнила, что не обедала, и купила себе коржиков, продаваемых из-под полы удачней, нежели продавала я. К шести часам мы тронулись под дождиком, по грязной, липкой дороге мелкой рысью. Молочница все не могла успокоиться и под конец разговорилась — о налогах и разверстке. Шли отдаленные слухи через города и деревни, через мосты и дороги, из уст в ухо, шепоточком о том, что вместо разверстки будет введен

налог, оставляющий часть зерна крестьянину. А мы в исполкоме об этом еще ничего не слыхивали.

В темноте мы подъехали к освещенной аптеке. Мой курорт этой осенней ночью, в дожде и слякоти, смотрел озяблой деревушкой. Я соскочила, расплачиваясь кружевным лифчиком и красною лентой. И как же обрадовалась мне аптекарша! Долгое время мы только целовались, и она хлопала себя между поцелуями по бедрам, восклицая:

— Нет, не верьте картам! Я говорю мужу: выпала червонная дама с дороги, вот увидишь, приедет кто-нибудь, а он отрицает: какое, говорит, теперь сообщенье? Адя, Адя, иди сюда, подтверди Алиночке, что я говорила про червонную даму!

Появился аптекарь, Адольф Сигизмундович, рыжий, веснушчатый, с пышными красными усиками. Пошли расспросы, рассказы. Аптекарша передала мне с большим негодованьем о том, как к ней дважды являлась Кожинская, требуя детей, и как, наконец, приехала не тетка, а экономка тетки, забравшая их с собой. Дети все тосковали по мне и не хотели уезжать.

Выспавшись на мягких пуховиках, я проснулась ранним утром, старательно причесалась и оделась, захватила пайки и купленные на базаре случайные сладости и, сопутствуемая аптекаршей, дошла до красивой дачи с крупной вывеской «Дом инвалидов № 2».

Здесь аптекарша распрощалась со мной:

— Вам приятней с глазу на глаз встретиться, а я пойду на процессии посмотрю, у нас ведь все, как в городе будет, и музыка и митинг

Калитка раскрыта, ступеньки пройдены, зазвенел звонок. Сверху сошла степенная старуха в чепце и сняла цепочку.

— Вам кого?

Я назвала камергера. Старуха широко улыбнулась.

— Идите, идите... Дайте я помогу вам донести мешок.

Мы прошли по деревянной лестнице, покрытой дорожкой. У одной из дверей она постучала, потом открыла ее и пропустила меня вперед. Я быстро вошла, увидела милого, изумленного старика, поднимающегося

нам навстречу на дрожащих ногах и вперившего в нас светлые, незрячие глаза. Но он все же узнал меня, прежде чем я кинулась ему на шею.

— Aline, mon enfant [1],— воскликнул он счастливым голосом,— я ждал этого, я знал, что вы вернетесь!

Спустя минуту мы сидели с ним на диванчике, и оба вытирали слезы. У старика была светлая, чудесная комната, с геранью на окнах и ковриком на полу. Когда я вошла, он собирался завтракать,— на столе стояла тарелка с перловой кашей без масла.

— Не вредно вам?

— Что вы, что вы! Если бы вы знали, Aline, сколько чудес наделали с нами большевики. Да, мой дружок, не улыбайтесь, я на старости лет перевариваю эту крупу и все, что хотите. Я спасен от катарра, спокоен, весел, за мной присматривают. Право же, милая, мне совестно иногда пользоваться всем этим, не будучи способным ни на какую работу. Глаза пошаливают, и... знаете, я, кажется, не совсем хорошо вижу.

Он впервые признался в этом без видимого страданья. Старик был щегольски одет, в чистом белье, с чистыми ногтями.

— Ходят за мной, как за ребенком. Здесь живут, между прочим, некоторые профессора, инвалиды, вроде меня. Мы философствуем понемножку, в хорошую погоду, когда ревматизм не мучит. И знаете, я все продолжаю думать... Помните, у Пушкина: я жить хочу, чтоб мыслить.. Да, вот именно, мыслить и страдать, ничего больше. Самое ценное, самое существенное — оно-то и держит нас крепко. Все остальное, дитя мое, бесследно и надоедливо.

Он говорил еще долго, радовался, как дитя, моим подаркам, но вопросы его обо мне были коротки и не любопытны. Он стал стариком в последней стадии старости, когда подводишь итоги и говоришь монологами. Чужое кажется в эту пору далеким, малопонятным. И я не нашла в себе сил быть откровенной с ним так, как мечталось мне. Да и что сказать? Перед этой убеленной жизнью, заглядевшейся за горизонты сегодняшнего

---

[1] Алина, дитя мое!

далеко, далеко вперед,— чем показалась бы исповедь моего маленького, себялюбивого женского сердца?

Мы провели чудный день, гуляли, обедали. Я читала ему газету, познакомилась с такими же старичками, как он, присутствовала на забавных спорах, политических и религиозных. А рано утром та же молочница подсадила меня к себе на подводу.

И уж так устроен человек, что в отлучке он испытывает интимнейшие прелести любви: сдержанную нежность, острое ощущение того, что могла бы дать близость любимого и ревнивое храненье тайны,— говоришь с чужим о том, о сем, притворяешься внимательным, а у сердца, как голубь, ворочается и греет нежность. Тоска по Безменову охватила меня. Ожившему сердцу показалось нелепым минутное отчужденье. Ведь ничего не произошло, и откуда взялись мои страхи?

Как раз к открытию канцелярии я выпрыгнула из телеги и поспешила с базара прямо на службу. Василий Петрович был уже там и сделал вид, что не замечает меня. Бедняжка с удивительной чуткостью понял, должно быть, хотя и в более упрощенном виде, мой низменный страх и избеганье его. Исправлять положенье было еще рано. Я поправила перед зеркалом волосы, взяла у уборщицы свой фунт горячего ячменного хлеба и тут же съела корочку, стоя возле машинки. Новый быт завоевал нас. Ничто не казалось мне вкусней этого пышного хлеба с суррогатом, никогда не было у меня столь легкого и насыщенного чувства здоровья, и мысли взвинчивались недоеданьем, как наркозом.

Тук-тук-тук — застучали белые клавиши. Чусоснабарм требовал снятия рогатки на улице, где он реквизировал помещенье под склад. Ревтрибунал жаловался на Чусоснабарм, утверждая, что рогатки ему необходимы. Исполком решил вопрос в присутствии двух представителей от того и другого учрежденья. Выписка из протокола за номером... Тук-тук-тук, слушали, постановили. Не унимается Чусоснабарм — обжаловал. Не унимается Ревтрибунал, открыл у зампредколлегии Чусоснабарма деникинские эполеты. Огрызается Чусоснабарм, ссылаясь на регистрацию документов. Тре-

бует исполком подчиненья своему решению. И все шуршат бумажки, выстукивая отношение с двумя копиями.

Набрав несколько неотложных листков и покосившись в сторону Раичкиной канцелярии, я сама побежала на подпись. Безменов сидел, все еще забинтованный, спиной ко мне, сурово говоря с кем-то. Бегающие глазки на черноусом лице, статная фигура и какой-то не русский акцент, вот все, что я успела заметить в посетителе. Он умолял о чем-то, понизив голос.

Безменов встал, пожав плечами:

— Не задерживайте меня, это бесполезно.

И, не глядя, он протянул руку за бумагами. Я вложила их ему в руку. Посетитель не уходил. Безменов взял перо, наклонившись к столу, и стоя стал прочитывать бумажки.

— Разрешите, товарищ, изложить вам, ввиду исключительного положения...

— Я все сказал, господин Гржелевский.

Посетитель вышел, вздернув плечами. На губах у него мелькнула пренебрежительная гримаса, сгоняя ласковую и униженную просительность.

В тоне, каким Безменов выговорил «господин», не было ни насмешки, ни гнева. Но было нечто серьезное и многозначительное, с чем он вторично поднял глаза, и на этот раз на меня: проведение границы.

— Вы сердитесь на меня,— сказала я тихо, торопясь все сказать до прихода посетителей,— не говорите, не смóтрите, не здороваетесь. Что я такое сделала?

Он подписал последнюю бумажку.

— Какие мы разные,— вырвалось у него,— сержусь, не здороваюсь... Я далек от этого органически. Поймите, что сердиться не на что, не поздоровался — не знаю, где это и когда? — совершенно случайно. Я занят, завален, запорошен, я отдал все свое вниманье, как люди отдают последнюю рубашку, я не свой человек, не свой собственный, а принадлежу своему делу. Это банально и совершенно точно. Вы же вся из психологических сложностей. Подумайте, зачем это?

Он говорил не только просто и прямо, но с улыбкой. Ни тени горечи в словах, ни малейшей задней мысли, ни сожаленья, ни кокетства, ни ласки.

Я стояла, похолодев.

— Вот тут вот черта... Последние грани вы все-таки еще не перешагнули,— добавил он, подавая мне бумажки.— Органически, органически разные.

Я вышла, как выходят осужденные на смертную казнь. Холод, как смерть, наполнил сердце, мысли, нервы. Сразу оборвались все нити, искусственно связывавшие меня с миром. Конец. В одном человеке было все, и без этого человека нет ничего.

Должно быть, мое лицо ужаснуло Василия Петровича. Взяв у меня бумаги из рук, он накинул мне пальто на плечи и сказал, почти приказывая:

— Идите-ка домой, нечего вам тут делать сегодня!

Я пошла. Открыла дверь в нашу комнату, села, опустила голову в руки. И вот когда, Вилли, пришла минута вашего часа. Наверное, мухи, которым оборвали крылья, вспоминают, как это случилось. Я вспомнила вас и вам подобных с ненавистью, как если б вы оторвали мне крылья. Ненавидела вас и себя, задыхаясь от пустоты, от ужаса. Что же произошло в сущности? Все, как было,— служба, обязанности, характеры... А в душе вместо них, вместо реальной действительности, живых интересов, связанных с людьми, с делом, что в душе? Нагромождение мелочей. Такое-то слово, такое-то выраженье лица — смесь черненьких точек, случай, необдуманность, пустяки. Может быть. Но лестница с перекладиной эшафота, черепки острого стекла под ногами, дождь отравленных стрел — для души с оборванными крыльями, живущей только этим, на этом, ради этого. Стыднее, чем свой позор,— своя малость... И больно, больно.

Искать человека, которому можно говорить правду! Но я прежде хочу иметь правду, которую стоило бы сказать другому. Хотя бы она заключалась вот в этом и только:

— Пусть будет так, но к вам, к вам и к таким, как вы, Вилли,— я не вернусь ни живая, ни мертвая, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

1923

МЕСС-МЕНД,
ИЛИ
ЯНКИ В ПЕТРОГРАДЕ

Роман-сказка

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В 1923 году в газете «Правда» появился призыв к писателям — создать приключенческую антифашистскую литературу для молодежи. Я ответила на этот призыв романом «Месс-менд, или янки в Петрограде». То был первый пробный опыт подобного рода, и я делала его скорей для собственного удовольствия, не надеясь и не рассчитывая на то, что он будет напечатан. Роман писался на условно-фантастическом материале, как переводной, от имени мнимого американского пролетарского писателя Джима Доллара. Изобретя псевдоним, я придумала и забавную биографию этого писателя. А так как вещь создавалась «для себя»,— в ней с самого начала был взят полусказочный полупародийный тон. Используя обычные западноевропейские штампы детективов, я направила их острие против разрушительных сил империализма и фашизма 20-х годов нашего века, а всю положительную романтику и счастливую сказочность этой вещи — на прославление творческой созидательной силы рабочего класса всех стран и народов. Передовой американский рабочий Мик Тингсмастер— создатель вещей —сделался основателем сказочного рабочего союза «Месс-менд», вступившего в борьбу с фашизмом и с подготовкой войны против Страны Советов. Так родился роман-сказка совершенно своеобразного жанра. С большим опасеньем за свое детище и чувством неуверенности в нем я повезла «Месс-менд» из Петрограда, где в то

время жила, в Москву Тогдашний директор Госиздата, большевик старой ленинской гвардии, Николай Леонидович Мещеряков, взял у меня рукопись, как она была (листочки, исписанные мелким почерком,— мы еще не перепечатывали рукописи на машинке!), и захватил ее домой, в номер гостиницы «Метрополь», где он тогда жил. Прочитав ее за ночь, он вызвал меня в Госиздат и заключил со мной договор. Было решено сохранить псевдоним Джима Доллара, и Н. Л. Мещеряков дал свое предисловие к роману, поддерживающее мою шутку. «Месс-менд, или янки в Петрограде» начал выходить в 1924 году отдельными еженедельными выпусками, интересно оформленный типографским способом (фотомонтаж обложек, игра шрифтов в оглавлениях),— и, к радости моей, имел успех. Выдуманный лозунг «Месс-менд» получил даже хождение в Германии, где немецкие коммунисты выпустили одну из своих полемических брошюр под этим названьем. Орган немецкой компартии «Роте фанэ» печатал мой роман подвалами из номера в номер; перевели и напечатали его и другие зарубежные коммунистические газеты на нескольких языках; вышел он за рубежом и отдельными книгами и переиздается до сих пор. Наши издательства и читатели упорно наседали на меня, прося продолжения серии Джима Доллара, хотя мне самой, очень не любящей повторений и продолжений, этого уже не хотелось и жизнь тянула на другие работы. Но, уступая настояниям издательств и газет, я написала еще два романа Джима Доллара: в 1924 году — «Лори Лен, металлист» (он вышел такими же отдельными выпусками и в том же оформлении в Госиздате) и в 1925 году — «Международный вагон», напечатанный ленинградской «Красной газетой» подвалами в октябре — декабре того же года. Позднее третий роман был мною существенно переделан, и под названием «Дорога в Багдад» его напечатал журнал «Молодая гвардия». «Месс-менд» был экранизирован кинофабрикой «Межрабпом-Русь» в трех сериях.

Когда возник вопрос о переиздании первого романа серии «Месс-менд», выполнившего в свое время большую агитационную задачу,—мне пришлось поломать

себе голову над его новой редакцией. Кое-что в романе устарело; кое-что показалось бы сейчас, спустя тридцать лет, просто нелепым новому советскому читателю, хотя в те двадцатые годы именно необходимость для читателя самому восполнять воображением некоторые скачки в логическом развитии сюжета — нравились ему, усиливали юмористическую и приключенческую сторону «Месс-менд» и составляли один из элементов подобного жанра. Но одновременно с устарениями и нелепостями меня поразила политическая злободневность и жизненность многих страниц. Поразила и свежесть главной сюжетной линии и пафоса всех трех романов,— сила их антифашистской направленности и заключавшейся в них борьбы за мир против войны и агрессии. Стоило поработать для возвращенья «Месс-менда» читателю! Не модернизируя и нигде ничего не притягивая к сегодняшнему дню, я постаралась в работе над романом отсечь из него кое-что явно устаревшее, обнажить и ярче вскрыть обе основные тенденции — пародийную, обращенную против империалистов, и романтическую, прославляющую мировой пролетариат. В то же время я сохранила всю наивно-утопическую часть романа в главах о Петрограде, увиденном глазами американца, и целиком всю линию «генерального прокурора штата Иллинойс» и «благодарных животных», потому что именно эти страницы придают роману его жанровый колорит сказки. Новая редакция тем более была необходима, что за рубежом не перестают перепечатывать перевод первоначального варианта серии. Так, в Австрии выпустили недавно первую часть — «Месс-менд, или янки в Петрограде» со всеми её отжившими и устаревшими страницами.

1956

ДОЛЛАР, ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

В мартовское утро 1888 года на одном из вокзалов Нью-Йорка к носильщику бляха № 701 подбежал прилично одетый человек с новорожденным ребенком на руках.

— Носильщик, ваш номер? Отлично, возьмите ребенка, да осторожней, черт возьми, если хотите заработать доллар... Ждите меня вон там, у остановки омнибусов,— я бегу разыскивать даму...

Проговорив это, незнакомец кинулся в толпу. Бляха № 701 осторожно понес ребенка на площадку, ждал десять минут, потом полчаса, потом час. Ребенок заплакал. Носильщик струсил — уж не подкинут ли ему ребенок. Когда спустя два часа никто не появился, а на вокзале незнакомца не оказалось, носильщик сказал себе с горечью: «Вот так доллар» — и понес ребенка в участок.

По дороге на него нашло раздумье. Дитя прекрасно одето, пеленки с метками. Что, если с незнакомцем что-нибудь случилось, а потом он хватится ребенка, разыщет носильщика по номеру и будет взбешен, узнав, что дитя в полиции. Не подержать ли его у себя дома, а тем временем поискать незнакомца?

Он понес его домой и сдал жене. Дитя оказалось прехорошеньким мальчиком. Белье было помечено

Д. Д. Так как носильщика звали Джемсом, он в шутку назвал мальчика раза два «Джим Доллар»,— и этому имени суждено было навеки укрепиться за потерянным существом, заслужив ему впоследствии широкую известность.

Родители ребенка не появились. Носильщик усыновил его. Он рос обыкновенным городским мальчишкой и проводил все свое время на улице, покуда бляха № 701 не скончался. Вслед за ним умерла и его жена, оставив Джиму Доллару бляху приемного отца и краткую историю его усыновления.

Года полтора Джим ведет бродячую жизнь. Он ночует под мостом и на крышах, питается вместе с собаками городскими отбросами. «В эти годы усовершенствовалось мое обоняние,— рассказывает он в краткой автобиографии,— я узнал, что у каждого города, у каждой улицы, у каждого двора есть свой запах».

Однажды он увидел перед пивной воз с большими дорожными картонками, забрался в одну из них, прикрыл себя крышкой и заснул. Он проснулся от толчков. Вслед за тем на него полился яркий электрический свет. Высокая девица в папильотках стояла над картонкой и разглядывала его, поджав губы. Он выскочил из картонки, собираясь улизнуть.

— Я полагаю, что заплатила за картонку настоящими деньгами,— сказала девица.

— Не думаете ли вы, мам, что купили меня вместе с картонкой? — в ужасе воскликнул Джим.

— Да, я думаю,— ответила неумолимая девица,— ведь я беру вещи не иначе, как на вес.

Несчастный Джим не знал законов. Он искренно поверил девице и остался у нее в услужении добрых двенадцать лет.

Это были самые мрачные годы его жизни. Девица эксплуатировала мальчика, заставляя его работать даже по воскресеньям. Урывками он выучился читать и писать. Когда ему стукнуло девятнадцать лет, она внезапно подарила ему велосипед. Спустя некоторое время она снова сделала ему подарок — дюжину галстуков. Странное предчувствие овладело Джимом: не задумала ли девица жéнить его на себе? Как только он

оформил в мозгу это предчувствие, природная любовь к свободе вспыхнула в нем, он вскочил на велосипед — и был таков.

Джим свободен. Он снова на улицах Нью-Йорка. Но тут ему пришлось на собственной шкуре испытать всю тяжесть социального бесправия: что нужды в свободе, когда нет куска хлеба. Пространствовав по фабричным окраинам Нью-Йорка, он кое-как устраивается на спичечной фабрике и становится рабочим. Резкое влияние оказывают на него два обстоятельства: первая стачка и первое знакомство с кинематографом.

Стачка, как он впоследствии писал, научила его «умению защищаться, становясь спиной к врагу», а кинематограф привел его к той теории «городского романа», которая насчитывает в настоящее время многочисленных последователей.

Вернувшись из кинематографа, где он смотрел примитивную драму из парижской жизни с благородным апашем и кокоткой, Джим Доллар, как безумный, начинает имитировать кинематограф для своих товарищей по работе. Он собирает вокруг себя кучку молодежи, сочиняет пьесы, разыгрывает их в обеденный перерыв тут же на фабрике, используя для своих акробатических фокусов станки и машины. К этому времени относятся первые эскизы двух его излюбленных героев, металлиста Лори и «укротителя вещей», Микаэля Тингсмастера,— Мик-Мага его позднейших романов. По ночам он лихорадочно поглощает учебники, стараясь «поймать ту связь установленных представлений, которую принято называть образованием» [1]. Не отказываясь ни от какой работы, он перебирается из одного промышленного центра Америки в другой, периодически возвращаясь, однакоже, на старую спичечную фабрику, где у него остались друзья и знакомцы.

Та же фабрика, точнее — кружок сгруппировавшихся вокруг него спичечников, знакомится с первым литературным опытом Джима Доллара, сценарием большого киноромана, который он задумал и набросал в течение двенадцати часов. Тут, между прочим, обна-

[1] «Нью-Йорк Геральд», № 381, автобиография Доллара.

ружилась роковая особенность Доллара, долгое время препятствовавшая его карьере романиста. Впервые постигший значение фабулы через зрительный образ (не в книге, а на экране кино), Доллар непременно зарисовывал своих героев на полях рукописи и вставлял там и сям в текст рисунки, служившие иллюстрациями. Как большинство одаренных людей, Джим видел свой талант совсем не в том, что у него действительно было талантливо, а в наиболее слабой своей области. Так, он в глубине души считал себя прирожденным рисовальщиком. Между тем рисунки Джима Доллара были более чем худы,— они были безграмотны и беспомощны.

Первый его кинороман (впоследствии уничтоженный автором) встречен был в спичечном кружке взрывом восторга. Доллар, поощренный друзьями, отправляется в крупное нью-йоркское издательство «Прификс-Бук» и показывает свою рукопись. Редактор, едва увидев его рисунки, сворачивает рукопись трубкой и немедленно возвращает ее молодому автору, не говоря ни слова.

— В чем дело? — спросил вспыхнувший Джим.

— Обратитесь в обойный магазин, молодой человек,— ответил безжалостный редактор.

Джим пожал плечами и два последующих года лихорадочно работал над новыми сценариями, обильно уснащая их рисунками. Но, несмотря на все его старания, их ожидала та же участь. Неизвестно, что сталось бы с нашим романистом, если б однажды он не услышал безумного стука в свою дверь.

— Джим! — заорал спичечник Ролльс, влетая в каморку с газетой в руках.— Гляди, дурья башка!

В отделе объявлений жирным шрифтом стояло:

СРОЧНО, УБЕДИТЕЛЬНО, НАСТОЯТЕЛЬНО

РАЗЫСКИВАЕТСЯ БЫВШИЙ

НОСИЛЬЩИК БЛЯХА № 701

Для благосостояния своего собственного и вверенного ему МЛАДЕНЦА

Олстрит № 92

С газетой в руках Доллар побежал по указанному адресу. Он мечтал уже о найденных родителях, братьях и сестрах. Жирный нотариус вышел к нему навстречу и, по проверке документов, после тщательного допроса Джима, ввел его во владение довольно-таки солидным наследством, ни единым словом не подняв завесы над тайной его происхождения.

Доллар был угрюм; он не радовался неожиданному богатству. Как это ни странно, но он даже не ушел со спичечной фабрики и первые полгода не прикасался к деньгам.

Однажды редактор «При-фикс-Бука» получил новую рукопись, испещренную забавными рисунками. Он посмотрел себе за спину — есть ли огонь в камине — и уже собрался отправить туда злополучную бумагу. Но из рукописи выпало письмо, а в письме было написано Джимом Долларом, что он предлагает издательству сумму, втрое возмещающую убытки по опубликованию его романа. Редактор пожал плечами и развернул рукопись. Через минуту он забыл обо всем на свете; дважды звонил телефон, входил секретарь, кашляла машинистка — он читал. На другой день он сказал Джиму:

— Мы покупаем у вас роман. Одно условие: выбросьте рисунки.

— Я покупаю у вас все издание вперед и дарю вам его целиком с условием печатать рисунки,— ответил Джим.

Переговоры шли десять дней. Наконец, «При-фикс-Бук» взялось за опубликование первой книги Доллара.

Наши читатели, по всей вероятности, знают, что книга разошлась в первые восемь дней и ныне выходит двадцать вторым изданием.

Не без тайного вздоха сказал как-то редактор Джиму Доллару:

— Вы отличный писатель, Джим. Но, ей-богу, у вас есть недостаток. Не сердитесь на меня, вы совсем некстати возомнили себя художником.

Доллар впервые слышал намек на негодность своих рисунков. Это уязвило его, он покраснел и надменно ответил:

— Если даже это и недостаток, он у меня общий с некиим Гёте.

К сожалению, он не перестал разрисовывать свои романы, ставя каждому издателю непременным условием воспроизведение этих рисунков. Нашим читателям мы предлагаем под общим названием «Месс-менд» серию романов Джима Доллара, доставившую ему наибольшую популярность и одновременно вызвавшую всевозможные административные гонения вплоть до изъятия первого романа этой серии «Янки в Петрограде», вдохновленного русской Октябрьской революцией.

Чтобы уяснить себе облик Доллара как романиста, следует помнить, что традиции его восходят к кинематографу, а не к литературе. Он никогда не учился книжной технике. Он учился только в кинематографе. Весь его романический багаж условен. Сам американец, уроженец Нью-Йорка, он не дает ничего похожего на реальный Нью-Йорк. Названия улиц, местечки, фабрики, бытовые черты — все это совершенно фантастично, и перед нами в романах Доллара проходит совершенно условный «экранный» мир. Он сказал как-то, что кинематограф есть эсперанто всего человечества. Вот на этом общем «условном» языке и написаны романы Доллара. Если свою, американскую, действительность Джим Доллар описывает фантастически, то можно себе представить, как далеки от реальности описания Советской России и других стран, упоминаемых в его романах и никогда им в жизни не виданных. Но глубокое чувство преклонения и восхищения перед Великой Октябрьской революцией приводит его сквозь все эти курьезы к настоящему чувству реальности нового мира, создающегося на Земле Советов.

1923

М. Ш.

ПРОЛОГ

— Ребята, Уптон Синклер — прекрасный писатель, но не для нас! Пусть он томит печень фабриканту и служит справочником для агитаторов. Нам подавай такую литературу, чтобы мы почувствовали себя хозяевами жизни. Подумайте-ка, никому еще не пришло в голову, что мы сильнее всех, богаче всех, веселее всех; дома городов, мебель домов, одежду людей, хлеб, печатную книгу, машины, инструменты, утварь, оружие, корабли, пушки, сосиски, пиво, кандалы, паровозы, вагоны, железнодорожные рельсы — делаем мы и никто другой. Стоит нам опустить руки — и вещи исчезнут, станут антикварной редкостью. Нам с вами не к чему постоянно видеть свое отражение в слезливых фигурах каких-то жалких Хиггинсов и воображать себя несчастными, рабами, побежденными. Этак мы в самом деле недалеко уйдем. Нам подавай книгу, чтобы воспитывала смельчаков!

Говоря так, огромный человек в синей блузе отшвырнул от себя тощую брошюру и спрыгнул с читального стола в толпу изнуренных и бледных, внимательно слушавших его людей. Дело происходит в Светоне, на металлургическом заводе Рокфеллера. Металлисты бастуют уже вторую неделю. Но не одни забастовщики пришли послушать необычного оратора. Зал, отданный местной библиотекой под собрание, набит битком. Здесь осторожные деревенские парни — батраки с ближних ферм; телеграфисты и диспетчеры станции Светон; множество ребят с ближайших заводов и фабрик,— и да-

же тайком пробравшийся сюда с «Секретного завода» Джека Кресслинга молодой металлист Лори Лен.

— Ты сказки рассказываешь, Мик,— крикнул в спину оратору желтолицый ямаец Карло.

— Сказки? Зайди к нам на фабрику, посмотри своими глазами. Я говорю себе: Мик Тингсмастер, не ты ли отец этих красивых вещичек? Не ты ли делаешь дерево узорным, как бумажная ткань? Не щебечут ли у тебя филенки нежнее птичек, обнажая письмена древесины и такие рисунки, о которых не подозревают школьные учителя рисования? Зеркальные шкафчики для знатных дам, хитрые лица дверей, всегда обращенные в вашу сторону, шкатулки, письменные столы, тяжелые кровати, потайные ящики, разве все это не мои дети? Я делаю их своею рукою, я их знаю, я их люблю, и я говорю им: «Эге-ге, дети мои, вы идете служить во вражеские кварталы; ты, шкаф, станешь в углу у кровопийцы; ты, кровать, затрещишь под развратником; ты, шкатулка, будешь хранить брильянты паучихи,— так смотрите же, детки, не забывайте отца! Идите туда себе на уме, верными моими помощниками...» — Тингсмастер выпрямился и обвел глазами толпу.— Да, ребята. Одушевите-ка вещи магией сопротивления. Трудно? ничуть не бывало! Замки, самые крепкие, хитрые, наши изделия, размыкайтесь от одного нашего нажима. Двери пусть слушают и передают, зеркала запоминают, стены скрывают тайные ходы, полы проваливаются, потолки обрушиваются, крыши приподнимаются, как крышки. Хозяин вещей — тот, кто их делает, а раб вещей — тот, кто ими пользуется!

— Этак нам нужно знать больше инженера,— вставил старый рабочий,— темному человеку не придумать ничего нового, Мик, он делает, что ему покажут, и баста.

— Ошибаешься! Влюбись в свое дело, и у тебя откроются глаза. Взгляните-ка на эти полосы металла. Ведь они дышат, действуют, имеют свой спектр, излучаются на человека, хоть и невидимо для врачей. Вы должны знать их действие, вы подвергаетесь ему десятки лет. Изучите каждый металл, пропитайтесь им, используйте его,— и пусть он течет в мир с тайным вашим поручением и исполняет, исполняет, исполняет...

...Тингсмастер удаляется, речь все глуше, большое бородатое лицо с прямыми белыми бровями над веселым взглядом меркнет мало-помалу — он скрылся, ему нужно взбодрить в Ровен-Квере бастующих телеграфистов, он уже далеко...

— Кто это был?— взволнованно спрашивает белокурый Лори Лен, металлист с «Секретного», глядя вслед исчезнувшему оратору.— Черт побери, кто это был?

— Да сам ты откуда и кто, если этого не знаешь?— послышалось со всех сторон. А пожилой и медленный в движениях слесарь Виллингс, о котором известно было, что он набивает трубочку и двигается с явным подражанием Мику Тингсмастеру и даже пробовал отпустить себе бороду точь-в-точь на такой же манер,— наставительно произнес:

— Запомни и дальше не передавай! Это Микаэл Тингсмастер, с деревообделочного в Миддльтоуне. Он же токарь, слесарь, столяр — все, что тебе угодно: самый умный из нашего брата в Америке!

Глава первая

ДЖЕК КРЕССЛИНГ УЗНАЕТ НОВОСТИ

Маленький городок Миддльтоун утопает в высоких черных трубах, окружающих его со всех сторон и давно уже изгнавших из его центра всякое подобие зелени. На восточной его окраине, блестя светлыми стеклами, стоят корпуса деревообделочной фабрики Кресслинга. К железнодорожной станции каждые пять минут подходят товарные составы юго-восточной магистрали, акции которой на девять десятых принадлежат Джеку Кресслингу. С юга и севера город сжимают трубный, котельный, механический, гидротурбинный, автомобильный и прочие заводы Кресслинга. А на западе, за стальными щитами высокой ограды, прячется неболь-

шой по размеру, но необыкновенно важный и дорогостоящий «Секретный завод» Кресслинга.

Болезненная любовь к рекламе и странное нервное беспокойство, снедающее миллиардера Кресслинга днем и ночью, не позволили ему сделать свой «Секретный завод» настолько секретным, чтоб о нем никто ничего не подозревал. Наоборот, вся пресса Америки только и знает, что строит догадки на его счет. Пишут о необыкновенных опытах, производимых на этом заводе, о связи его с отдаленными рудниками, нахождение которых, правда, не указывается, но зато упоминается о бывшей французской концессии в России и о том, что русская революция сильно отразилась на этой концессии; пишут о таинственной руде, будто бы найденной Кресслингом и обещающей сделать его властелином мира; пишут и много пишут о самом Джеке Кресслинге, наиболее интересном миллиардере в семье американских долларовых вельмож.

Джек Кресслинг холост. Ему сорок лет. Он высокого роста, сухощав, плотно и хорошо подобран, брит, сероглаз, со щегольски прилегающими к его внушительному черепу, коротко подстриженными и крепко приглаженными волосами, серо-пепельный цвет которых на десятки лет гарантирует ему неопределенный возраст, известный под термином «моложавость». Вопреки обычаю американских миллиардеров ничего не знать и ничему не учиться, не отличать Данта от Канта и поэта Колриджа от овсянки [1],— Джек Кресслинг в молодости окончил Оксфорд, читает в подлиннике греческих поэтов и даже издал многолетний труд под названием «Капитал, как субстрат психоэнергии». Если б не его упорное, принявшее характер мании увлечение политикой и подозрительная красота его личной секретарши, он был бы самым завидным женихом для дочерей «двухсот американских семейств».

Но еще больше, чем о Джеке Кресслинге, еще больше, чем о его сотнях заводов и фабрик, пишут газеты о правой руке Кресслинга, главном инженере его огромного заводского хозяйства, директоре «Секретного за-

---

[1] Игра на звуковом сходстве слов Coleridge — porridge.

вода» и всему миру известном изобретателе, мистере Иеремии Морлендере. Это именно Морлендер доискался до таинственной руды, это он делает что-то на «Секретном заводе», обещающее Кресслингу господство над миром, это он построил для своего «босса» волшебную виллу «Эфемериду» в окрестностях Миддльтоуна, и это он, как пишут газеты, разделяет ненависть Кресслинга к русской революции и России. О том, что инженер Морлендер, по специальному заданию Джека Кресслинга, вот уже месяц как уехал в Восточную Европу, известно из газет. Но еще никто в Америке, не исключая и собственного сына Морлендера, Артура, не знает, что Иеремия Морлендер уже вернулся из своей секретной поездки.

Он прилетел на личном самолете Кресслинга, приземлился на широкой асфальтовой крыше одного из подсобных зданий виллы «Эфемериды»; движущимися лестницами опустился и поднялся в собственный кабинет Кресслинга и в отличном настроении сидит сейчас перед ним, подставив под вентилятор, предварительно зарядивши его на аромат левкоя и жасмина, свое энергичное, загорелое, крупное лицо. Покуда жужжит вентилятор, источая вместе с прохладой свой душистый запах, Джек Кресслинг нетерпеливо ходит взад и вперед по комнате, искоса поглядывая на своего подручного. Что-то в лице и чересчур затянувшемся молчании Иеремии Морлендера явно беспокоит миллиардера.

— Ну,— начинает он, остановившись перед изобретателем и топнув ногой,— выкладывайте!

— Ну, Джек,— отвечает тем же тоном Иеремия Морлендер,— сейчас выложу!

Круглые серые глаза Кресслинга, окруженные, как у птицы, желтыми ободками, уставились на инженера.

— Вас, наверное, удивит то, что я вам скажу,— начал Морлендер.— Вы знаете, я отдал вам на службу всю свою изобретательность. Я никогда не торговался с вами, не заботился о равной доле и тому подобное. Мы ведь когда-то вместе учились, вы — филологии, я — физике. Вы были моложе меня лет на десять. Но я поздно получил возможность учиться, и вы догнали

меня. Помните наш первый разговор на пароходе «Аккорданс», когда мы оба, я — сын простого американца, вы — миллиардер, возвращались в Штаты?

— К чему это предисловие?

— Вы изложили мне тогда основные мысли вашей замечательной книги, и с той минуты я стал вашим человеком, Джек! «Капитал аккумулирует человеческую энергию»,— сказали вы. Я, признаться, ничего тогда не понял. Вы пустились в объяснения: белка тащит в нору орехи, которых не может съесть сразу; муравей делает запасы на зиму, все на земле отлагает запасы: лист — в зернах хлорофила, раковина — в жемчужине, камень — в руде, вода — в извести, а солнце — в углях, в нефти, в торфе. И человек тоже научился делать впрок для себя запасы энергии, он научился аккумулировать электричество. «А что же аккумулирует, собирает про запас энергию самого человека?» — спросили вы и сами ответили: «Человеческую энергию аккумулирует капитал». Я и тогда не совсем ясно понял и сконфуженно попросил объяснить подробнее...

— И я объяснил вам! — нетерпеливо воскликнул Кресслинг.— Я объяснил, и вы поняли. Человек запасает капитал... А что такое капитал, как не скрытые возможности дерзаний, желаний, страстей, власти! Вы держите его в банке, но деньги в банке — это растущая в раковине жемчужина ваших неограниченных возможностей проявить себя в мире! Вы переводите деньги в акции, но акции — это силосовая башня вздымающихся в человеке страстей. Миллионы нищих гениев умерли неизвестными человечеству, потому что они были нищими. А я, капиталист, могу развернуть свою волю, свои таланты, прогреметь на весь мир, приобрести все, что хочу, повлиять на любой процесс, любое движение в мире, могу создать, могу взорвать, могу...

— Стойте! — воскликнул Морлендер.— Я и сейчас помню ваши тогдашние речи. Капитал продолжает нашу силу и волю за пределы самого сильного человеческого хотения, он вытягивает наши руки до тысяч километров, усиливает наши мускулы до стихийной силы землетрясения,— так ведь? Передаю вашими словами. Они захватили меня. Я повторял их всю свою

жизнь. Рост аккумулированной человеческой энергии в миллиардах Джека Кресслинга! И когда я уезжал в Россию, вы опять напутствовали меня, Джек... Вы посоветовали мне глядеть в корень советской экономики. Когда мы, капиталисты, бросаем золото на землю, сказали вы, оно вырастает золотом в три, четыре, десять, двадцать раз бо́льшим, чем брошено, и с ним растут личные возможности его хозяина. А коммунисты убили капитал, убили человеческие возможности. У них, сколько ни бросай, столько и остается. Капитал не растет! У них человеческая энергия однодневна, не имея запаса, как век бабочки: на один короткий рабочий день, на один локоть длины человеческой руки,— вы помните? Я передаю точно, почти цитирую вас. Так вот, Джек...— Морлендер остановился.

— Продолжайте,— сказал Кресслинг странным тоном. Инженер не заметил этого тона. Он не заметил и холодной, птичьей неподвижности глаз миллиардера, устремленных на него. Он был охвачен собственными мыслями, занимавшими его всю дорогу в самолете.

— Так вот, дорогой Джек, вы ошиблись, и я вместе с вами. Я месяц пробыл в стране большевиков. По вашим указаньям, я изъездил эту страну в надежде вернуть концессию вашего друга Монморанси законным путем. Изучал и всякие другие пути. Присматривался ко всем лазейкам. Наблюдал людей... Джек, не обольщайтесь! Их творческие возможности куда больше наших! Пусть из мертвых денег у них не растут деньги, но зато вырастают заводы, мосты, машины, дороги, каналы, станции! Пусть у них нет капитала или, как вы его называете, «субстрата психической энергии». Зато у них есть сама эта энергия — в неограниченном количестве! И в этой энергии остается у них тот самый растущий икс, тот дрожжевой грибок, который движет у нас деньгами, заставляя всходить капитал. Знаете вы, что это за грибок, Джек?

Морлендер слегка наклонился в сторону неподвижного Кресслинга. Он дотронулся рукой до его острых колен. И заговорил доверительно-дружески, высказывая вслух свои затаенные мысли:

— Не лучше ли нам отказаться от нашего плана, а?

Я думал в дороге... Аккумулированная энергия, субстрат — это вы верно. Только вот в чем дело: чья, Джек, чья энергия аккумулирована в капитале, чьей энергии он — субстрат? В том-то и дело, что не вашей, Джек, а вот этих самых масс, которые тут, в Миддльтоуне, и там, в каждом штате, работают на вас. А если так, причем тут ваши персональные возможности? У большевиков, у каждого из них, у каждого рабочего в их стране, больше этих самых персональных возможностей, чем у нас с вами: этот дрожжевой грибок, рост производительных сил, поднимается у них вместе с их собственной энергией.

Джек Кресслинг расхохотался. То был резкий хохот, с повизгиваньем на верхних нотах, и, хохоча, Кресслинг держал голову низко опущенной, чтоб собеседник не заметил вспыхнувшего в его глазах страшного, истерического бешенства. Нога его незаметно искала под столом и, найдя, надавила самую крайнюю педальку слева.

Тотчас в ответ на нажим педали дверь полуоткрылась и в комнату заглянула необычайной красоты женщина, огненно рыжая, с оливково-смуглым, ярким, как тропический цветок, лицом.

— Войдите, миссис Вессон,— произнес Джек Кресслинг.— Вы, как всегда, во-время! Морлендер, то, что вы говорите, остроумно. Это надо обдумать. Мы обдумаем вместе. А покуда — покурим и обсудим, что делать взамен концессии Монморанси.

Миссис Вессон неслышно скользнула в комнату. Змеиным движением она открыла дверцу стенного шкафчика, отделанного перламутром, достала бутылку, стаканы, сифон. Коробка, источавшая аромат табака, легла на стол. Морлендер протянул руку за сигарой.

— Кстати, где ваши чертежи, дружище? Вы понимаете,— те самые...— спросил вдруг Кресслинг, как будто вспомнив что-то неотложное.

— У Крафта в сейфе,— с удивлением ответил Морлендер, зажигая свою гаванну и с наслаждением затягиваясь ею.— Все у Крафта. Перед отъездом, вы ведь сами знаете, я сдал ему наши технические расчеты, модель, формулы... Даже завещанье успел... успел...

Он вдруг остановился. Еще раз, заплетающимся языком, сонно, словно отсчитывая буквы, протянул: «у-с-п-е...», и опустил голову на грудь.

— Заснул,— произнес Джек Кресслинг, вставая и глядя в глаза своей секретарше.— Он стал опасен. Нам нужно спрятать его и держать в тайнике. Его распропагандировали! Моего инженера распропагандировали! Завещание — черта с два! Элизабет, мы сделаем вас покуда его законной вдовой... Запомните: вы тайно обвенчаны с ним. Он вам оставил по завещанию свои чертежи. И поскорей, поскорей,— все это надо успеть в ближайшие два-три дня!

Глава вторая

АРТУР МОРЛЕНДЕР ВСТРЕЧАЕТ СВОЕГО ОТЦА

В майское утро по Риверсайд-Драйв с сумасшедшей скоростью мчался автомобиль.

Молодой человек, весь в белом, сидевший рядом с задумчивым толстяком, почти кричал ему в ухо, борясь с шумом улицы и ветра:

— Не успокаивайте меня, доктор. Все равно я беспокоюсь, беспокоюсь, беспокоюсь!

Толстяк пожал плечами:

— Я бы на вашем месте не делал слона из мухи. Мистер Иеремия слишком умный человек, Артур, чтоб с ним что-нибудь случилось.

— Но телеграмма, телеграмма, Лепсиус! Чем объяснить, что она от каких-то незнакомых лиц? Чем объяснить, что она не мне, а секретарше Кресслинга, этой бархатной миссис Вессон, похожей на кобру!

— Очень красивую кобру,— вставил, подмигивая, доктор.

— Черт ее побери! — вырвалось у Артура.— Вы знаете, как мы дружны с отцом,— ведь мы даже считываем мысли друг друга с лица, словно два товарища,

а не отец и сын. Можно ли допустить, чтоб он поручил кому-нибудь телеграфировать о своем приезде на адрес Вессон, а не на наш собственный, не мне, не мне... Что это значит, что под этим скрывается?

— Адрес Вессон — это ведь адрес Кресслинга, Артур. А Кресслинг — босс. Мало ли что помешало мистеру Морлендеру дать эту депешу лично. Он знал, что из конторы хозяина вас тотчас же известят, как это и произошло.

— Известят, известят... Чужой, противный, мурлыкающий голос по телефону, неприлично-фамильярный тон,— какой я «Артур» для нее? Почему «Артур»? «Милый Артур»,— как она смеет называть меня милым! «Отец прибывает завтра на «Торпеде»... депеша от капитана Грегуара...» И вы еще уверяете, что не надо беспокоиться! Почему «отец», а не «ваш отец»,— кто, наконец, она такая, эта самая миссис Вессон?

— Мистер Иеремия ни разу не упоминал вам об этой ужасной женщине?— спросил толстяк. И, когда его сосед резко замотал головой, он незаметно пожал плечами. Доктор кое-что слышал. Иеремия Морлендер, вдовевший уже пятнадцать лет, мужчина редкого здоровья и богатырской корпуленции. Слухи ходили, что он близок с какой-то там секретаршей. Возможно — с этой самой Вессон. Один сын, как всегда, ничего не знает о делах собственного отца...

Стоп! Шофер круто повернул баранку и затормозил Автомобиль остановился. Перед ними, весь в ярком блеске солнца, лежал Гудзонов залив, влившийся в берега тысячью тонких каналов и заводей. На рейде, сверкая пестротой флагов, белыми трубами и окошками кают-компаний, стояли бесчисленные пароходы. Множество белых лодочек бороздило залив по всем направлениям.

— «Торпеда» уже подошла,— сказал шофер, обернувшись к Артуру Морлендеру и доктору.— Надо поторопиться, чтобы подоспеть к спуску трапа.

Молодой Морлендер выпрыгнул из автомобиля и помог своему соседу. Толстяк вылез, отдуваясь. Это был знаменитый доктор Лепсиус, старый друг семейства Морлендеров. Попугаичьи пронзительные глазки его

прикрыты очками, верхняя губа заметно короче нижней, а нижняя короче подбородка, причем все вместе производит впечатление удобной лестницы с отличными тремя ступеньками, ведущими снизу вверх прямехонько под самый нос.

Что касается молодого человека, то это приятный молодой человек,— из тех, на кого существует наибольший спрос в кинематографах и романах. Он ловок, самоуверен, строен, хорошо сложен, хорошо одет и, повидимому, не страдает излишком рефлексии. Белокурые волосы гладко зачесаны и подстрижены, что не мешает им виться на затылке крепкими завитками. Впрочем, в глазах его сверкает нечто, делающее этого «первого любовника» не совсем-то обыкновенным. Мистер Чарльз Диккенс, указав на этот огонь, намекнул бы своему читателю, что здесь скрыта какая-нибудь зловещая черта характера. Но мы с мистером Диккенсом пользуемся разными приемами характеристики.

Итак, оба сошли на землю и поспешили вмешаться в толпу ньюйоркцев, глазевших на только что прибывший пароход.

«Торпеда», огромный океанский пароход братьев Дуглас и Борлей, был целым городом с внутренним самоуправлением, складами, радио, военноинженерным отделом, газетой, лазаретом, театром, интригами и семейными драмами.

Трап спущен, пассажиры начали спускаться на землю. Здесь были спокойные янки, возвращавшиеся из дальнего странствования с трубкой в зубах и газетой подмышкой, точно вчера еще сидели в нью-йоркском «Деловом клубе». Были больные, едва расправлявшие члены, красивые женщины, искавшие в Америке золото, игроки, всемирные авантюристы и жулики.

— Странно!— сквозь зубы прошептал доктор Лепсиус, снимая шляпу и низко кланяясь какому-то краснолицому человеку военного типа.— Странно, генерал Гибгельд в Нью-Йорке!

Шепот его был прерван восклицанием Артура.

— Виконт! Как неожиданно!— И молодой человек быстро пошел навстречу красивому брюнету, постоянному клиенту конторы Кресслинга, опиравшемуся, прихрамывая, на руку лакея.— Вы не знаете, где мой отец?

— Виконт Монморанси!— пробормотал Лепсиус, снова снимая шляпу и кланяясь, хотя никто его не заметил.— Час от часу страннее. Что им нужно в такое время в Нью-Йорке?

Между тем толпа, хлынувшая от трапа, разделила их, и на минуту Лепсиус потерял Артура из виду. Погода резко изменилась. Краски потухли, точно по всем предметам прошлись тушью. На небо набежали тучи, воды Гудзона стали грязного серо-желтого цвета, кой-где тронутого белой полоской пены. У берега лаяли чайки, взлетев целым полчищем возле самой пристани. Рейд обезлюдел, пассажиры разъехались.

— Где же старый Морлендер? — спросил себя доктор, озираясь по сторонам. В ту же минуту он увидел Артура, побледневшего и вперившего глаза в одну точку.

По опустелому трапу спускалось теперь странное шествие. Несколько человек, одетых в черное, медленно несли большой цинковый гроб, прикрытый куском черного бархата. Рядом с ним, прижимая к лицу платочек, шла дама в глубоком трауре, стройная, рыжая, и, несмотря на цвет волос, оливково-смуглая. Она казалась подавленной горем.

— Что это значит?— прошептал Артур.— Почему тут Вессон... а где же отец?

Шествие подвигалось. Элизабет Вессон, подняв глаза, увидела молодого Морлендера, слегка всплеснула руками и сделала несколько шагов в его сторону.

— Артур, дорогой мой, мужайтесь!— произнесла она с большим достоинством.

Молодой человек отшатнулся от нее, ухватившись за поручни трапа. Словно завороженный, он смотрел и смотрел на медленно приближавшийся гроб.

— Мужайтесь, дитя мое!— еще раз, над самым его ухом, произнес бархатный шепот миссис Вессон.

— Где отец?— крикнул молодой Морлендер.

— Да, Артур, он тут. Иеремия тут, в этом гробу,— его убили в России.

Миссис Элизабет проговорила это дрожащим голосом, закрыла лицо руками и зарыдала.

Скорбная процессия двинулась дальше. Лепсиус

подхватил пошатнувшегося Артура и довел его до автомобиля. Набережная опустела, с неба забил частый, как пальчики квалифицированной ремингтонистки, дождик.

Сплевывая, прямехонько под дождь, к докам прошли, грудь нараспашку, два матроса с «Торпеды». Они еще не успели, но намеревались напиться. У обоих в ушах были серьги, а зубы сверкали, как жемчуга.

— Право, Дип, ты врешь, право так. Признайся другу!

— Молчи, Дан, будь ты на моем месте, ты, может, и не стал бы болтать. Ты, может, прикусил бы язык.

— Коли хочешь молчать, не сюда нам надо идти, дружище!

— Но ежели я не залью ромом последние слова этой бабы,— ты сам слышал: убили в России. Убили в России! А гроб-то при мне, я был вахтенный, погрузили темной ночью в Галифаксе,— скажи на милость, десять лет плаваю, ни разу не делали крюка, чтобы заходить в Галифакс! Ежели я не залью ромом...

Остальное пропало в коридоре — ступеньками вниз — подвала «Океания»,—«горячая пища и горячительные напитки — специально для моряков». Нам с вами, читатель, не для чего туда спускаться, тем более что кто-то, неопределенной и незапоминающейся наружности, с жесткими кошачьими усами и кадыком на шее, с опущенными вниз слабыми руками, опухшими, как у подагрика, в сочленениях, уже спустился туда вслед за двумя матросами.

Глава третья

ДОКТОР ЛЕПСИУС НАЕДИНЕ САМИМ СОБОЙ

Быстрыми шагами, не соответствующими ни его возрасту, ни толщине, поднялся доктор Лепсиус к себе на второй этаж. Он занимал помещение более чем скромное. Комнаты были свободны от мебели, окна без

штор, полы без ковров. Только столовая с камином да маленькая спальня казались жилыми. Впрочем, за домом у доктора Лепсиуса была еще пристройка, куда никто не допускался, кроме его слуги-мулата и медицинских сестер. То был собственный стационар Лепсиуса, где он производил свои таинственные эксперименты.

Поднимаясь к себе, доктор казался взволнованным. Он танцевал всеми тремя ступеньками, ведущими к носу, бормоча про себя:

— Съезд, настоящий съезд. Какого черта все они съехались в Нью-Йорк? Но тем лучше, тем лучше! Как раз во-время для тебя, дружище Лепсиус, когда твое открытие начинает нуждаться в дополнительных примерчиках, в проверочных субъектах... Тоби! Тоби!

Мулат с выпяченными губами и маленькими, как у обезьяны, ручками выскользнул из соседней комнаты. Лепсиус отдал ему шляпу и палку, уселся в кресло и несколько мгновений сидел неподвижно. Тоби стоял, как изваяние, глядя в пол.

— Тоби,— сказал он, наконец, тихим голосом,— что поделывает его величество Бугас Тридцать Первый?

— Кушает плохо, ругается. На гимнастику ни за что не полез, хоть я и грозил пожаловаться вам.

— Не полез, говоришь?

— Не полез, хозяин.

— Гм, гм. А ты пробовал вешать наверху бутылочку?

— Все делал, как вы приказали.

— Ну пойдем навестим его. Кстати, Тоби, пошли, пожалуйста, шофера с моей карточкой вот по этому адресу

Лепсиус написал на конверте несколько слов и передал их мулату. Затем он открыл шкаф, достал бутылочку с темным содержимым, опустил ее в боковой карман и стал медленно спускаться вниз, на этот раз по внутренней лестнице, ведущей к тыловой стороне дома. Через минуту Тоби снова догнал его. Они миновали несколько пустых и мрачных комнат, со следами пыли и паутины на обоях, затем через небольшую дверку вышли на внутренний двор. Он был залит асфальтом. Высокие каменные стены справа и слева совер-

шенно скрывали его от уличных пешеходов. Нигде ни скамейки, ни цветочного горшка, словно это был не дворик в центральном квартале Нью-Йорка, а каменный мешок тюрьмы. Шагов через сто оба дошли до невысокого бетонного строения, похожего на автомобильный гараж. Дверь с железной скобой была заперта тяжелым замком. Только что Лепсиус собрался вставить ключ в замочную скважину, как с той стороны, из главного дома, раздался чей-то голос. Лепсиус нервно повернулся:

— Кто там?

— Доктор, вас спрашивают,— надрывалась экономка в белом чепце, красная, как кумач,— вас спрашивают, спрашивают, спрашивают!

Мисс Смоулль, экономка доктора, была глуховата,— очень незначительное преимущество у женщины, не лишенной употребления языка.

— Кто-о?— растягивая звуки, крикнул Лепсиус.

— Хорошо!— ответила ему мисс Смоулль, усиленно закивав головой. Тотчас же некто, бедно одетый, быстро направился через дворик к Лепсиусу.

— Черт побери эту дуру!— выругался про себя доктор.— Держишь ее, чтоб не подслушивала, а она знай гадит тебе с другого конца. Кто вы такой, что вам надо?— последние слова относились к подошедшему незнакомцу.

— Доктор, помогите больному, тяжело больному,— сказал незнакомец, едва переводя дыхание.

Лепсиус посмотрел на говорившего сквозь круглые очки:

— Что с вашим больным?

— Он... на него упало что-то тяжелое. Перелом, внутреннее кровоизлияние, одним словом — худо.

— Хорошо, я приду через четверть часа. Оставьте ваш адрес.

— Нет, не через четверть часа. Идите сейчас!

Доктор Лепсиус поднял брови и улыбнулся. Это случалось с ним очень редко. Он указал мулату глазами на дверь стационара, передал ему ключ и двинулся вслед за настойчивым незнакомцем. Только теперь он разглядел его как следует. Это был невысокий, жидень-

кий человек, с ходившими под блузой лопатками, со слегка опухшими сочленениями рук. Глаза у него были впалые, унылые, тоскующие, как у горького пьяницы, на время принужденного быть трезвым. Под носом стояли редкие, жесткие кошачьи усы, на шее болтался кадык.

— Вот видите, только перейти улицу,— лихорадочно твердил он доктору, приближаясь к высочайшему небоскребу коммерческого типа,— только и всего, экипажа не надо...— Видно было, что его стесняет каждый шаг, сделанный доктором, и он охотно ссудил бы ему для этого свои собственные ноги.

Доктор Лепсиус начал удивляться. Перед ним было отделение Мексиканского кредитного банка, не имевшее ничего общего с жилыми квартирами.

— Куда вы меня тащите? — вырвалось у него.— Тут контора и банк. Все закрыто. Где тут может быть больной!

— У привратника,— ответил незнакомец, быстро отворяя боковую дверку и пропуская доктора в светлую маленькую комнату подвального этажа.

Здесь действительно находился больной. Это был огромный мужчина, видимо только что принесенный сюда на носилках и поспешно сброшенный прямо на пол. Он был прикрыт простыней. Над ним склонялись двое: седой, важного вида старик в торжественном мундире банковского швейцара и старуха, сухая, маленькая, остроносая, плакавшая навзрыд.

Незнакомец быстро снял с раненого простыню и подтолкнул к нему доктора. Лежавший человек был буквально искромсан. Грудь его сильно вдавлена и разбита, ребра сломаны, живот разорван, как от нажима гигантского круглого пресспапье, оставившего ему в целости лишь конечности и голову. Он отходил.

— Я тут ничего не могу сделать,— отрывисто произнес доктор, с изумлением глядя на умирающего,— он уже в агонии, к великому для него счастью.

— Как! И, по-вашему, его нельзя заставить заговорить? — вскрикнул незнакомец, как показалось Лепсиусу, в самом настоящем отчаянии.— Он не произнесет больше ни слова, даже если вернется сознание, а? — Он смотрел на доктора умоляющими глазами.

— Нет,— ответил доктор,— сознание не вернется, он умирает, умер. Он ваш родственник?

Но, к его удивлению, незнакомец, не дослушав даже вопроса, быстро повернулся и выбежал из комнаты. Старики, склонившиеся над мертвецом, плакали. Лепсиус только теперь увидел, что несчастный был матросом. На рукаве его синей куртки была нашивка с якорем и крупной прописью: «Торпеда».

Доктор невольно вздрогнул. Он тронул за плечо плакавшую старуху.

— Голубушка, кто этот бедняжка?

— Сын мой, сыночек мой, Дип-головорез,— так его звали на пароходе... Ох, сударь, что это за день! Ждали мы его из-за моря, а вместо этого дождались из-под камня.. Океан не трогал его, голубчика, а в городе, среди бела дня... ох-охо-хо!

— Как это случилось?

— Да говорили нам, что он шел из кабачка, а сверху с виадука оторвался кусок плиты и придавил его, как букашку. И рта не разинул, и принесли, так не кричал.

— Кто ж его принес, вот этот человек, что сейчас вышел?

— Принесли полицейские с матросами. А этот, сударь, нам незнаком, должно быть — от доброты сердца сжалился. Сам и за доктором вызвался сходить, и все беспокоился, не скажет ли Дип, сыночек наш, последнего слова... Верно, вы его знаете, так скажите ему от нас, стариков, спасибо.

— Хорошо, хорошо, надо теперь вызвать полицейского врача,— ответил Лепсиус и вышел из привратницкой.

«Странно,— сказал он себе самому,— множество странностей в один день. Приходит «Торпеда» и привозит с собой политическую публику,— странность номер первый. На той же «Торпеде» нам доставляется мертвый Морлендер,— странность номер второй. И вот, наконец, матрос с «Торпеды», умерший ни с того ни с сего, от камня, слетевшего с виадука. А страннее всего — неведомый человек, с виду простой рабочий, которому, видите ли, непременно нужно узнать, сможет ли раздавленный матрос заговорить. Будь я немножко

свободней, я занялся бы этими странностями на досуге, позадумался бы с трубочкой. Но теперь...»

Теперь у доктора Лепсиуса была своя собственная странность — номер пятый, и совершенно очевидно, что она оттесняла другие.

Придя в свою спальню и засветив электричество, доктор со вздохом облегчения скинул смокинг. Мулат расшнуровал ему ботинки и надел на ноги вышитые турецкие туфли.

— Шофер возвратился? — спросил доктор.

Мулат молча протянул ему конверт. «Генерал Гибгельд просит доктора Лепсиуса пожаловать к нему между 7—8 вечера...»

Доктор поднял к очкам полную руку с браслеткой. Дамские часики с крупным, как горошина, брильянтом показывали без четверти семь.

— Черт возьми, ни отдыха, ни спокойствия. Его величество Бугас Тридцать Первый будет опять дожидаться своей бутылочки до глубокой ночи. Тоби, постарайся угостить его какими-нибудь сказками, чтоб он не заснул до моего прихода.

Полчаса доктор сидит, протянув ноги на решетку холодного камина. Он отдыхает молча, сосредоточенно, деловито, как спортсмен или атлет перед выступлением. Дышит то одной, то другой ноздрей, методически прикрывая другую пальцами. Не думает. Натер виски одеколоном пополам с каким-то благовонным аравийским маслом. Но вот полчаса проходит. Бессмысленное выражение лица становится снова остро-внимательным, лукавым. Большие очки бодро поблескивают. Туфли сбрасываются,— снова смокинг, ботинки, шляпа, все по порядку, палка — в руку, бумажник и трубочка — во внутренний карман,— доктор Лепсиус освежился, он готов для нового странствования, быть может, снабдящего его фактами, фактиками, проверочными субъектами — для чего-то такого, о чем мы никак не можем догадаться, тем более что мулат Тоби, преспокойно пропустив мимо ушей распоряжение доктора, а за воротник две-три рюмочки, лег спать на холодную цыновку в полупустой комнате, и не подумав навестить таинственного Бугаса.

Глава четвертая

НАЧИНАЮЩАЯСЯ С МЕЖДОМЕТИЙ

— Ай, ай!

— О господи!

— О-ой! Ой, батюшки, ой, голубчики!

Такими возгласами встретила верная челядь тело Иеремии Морлендера. Старая негритянка Полли, няня, выходившая массу Иеремию и мастера Артура, одна не плакала,— и это было тем удивительнее, что она-то и любила хозяина по-настоящему. Круглыми глазами, не мигая, смотрела она на цинковый гроб, теребя в руках серенький камушек-талисман. Немудрено, что швейцар, не утерпев, сделал ей замечание — правда, почтительное,— негритянки в кухне побаивались:

— Что же это вы, Полли, как будто ничего?..

— Дурак,— ответила спокойно Полли и так-таки не проронила ни слезинки.

Наверху, в будуаре покойной матери Артура, к величайшему изумлению и гневу этого последнего, водворилась почему-то миссис Элизабет Вессон.

Пересиливая свою скорбь и ненависть, Артур Морлендер решительными шагами поднялся по лестнице.

В этой комнате он не был лет пять. Она давно была заперта, и все эти годы с улицы можно было видеть тяжелые, спущенные шторы на окнах. К изумлению Артура, вместо спертого запаха от ковров и шелков, вместо потускневшего лака и изъеденной молью обивки, все в этой старой, запущенной комнате было обновлено и освежено. Веселые, светлые занавеси на окнах, мебель — совсем не похожая на прежнюю, стоявшую здесь уже пятнадцать лет, зеленые растения в кадках, хорошенький рабочий ящик и книжный шкаф с послед-

ними новинками. Никто, кроме старого Морлендера не имел доступа в эту комнату, ключ висел у него на цепочке от часов вместе с брелоками. Было ясно, что Иеремия Морлендер сам приготовил ее для новой жилицы. Словно отвечая на эти мысли, Элизабет Вессон подняла красивую голову и взглянула на Артура:

— Как видите, ваш отец ждал меня. Он так внимательно пошел навстречу всем моим простым вкусам! Жаль только, что не предупредил сына о нашем браке.

Достав из сумочки вчетверо сложенный листок, она протянула его Морлендеру:

— Взгляните, Артур,— наше брачное свидетельство. Мне тяжело говорить об этом сейчас, но еще тяжелее видеть ваше изумление и недоверие. При всей силе и твердости характера Иеремии, при всей его пламенной любви ко мне, он, видимо, не решился рассказать вам о вашей мачехе.

Она вздохнула и опустила голову. По щекам ее поползли слезинки Ничто в этой красивой и печальной женщине, державшей себя удивительно спокойно, не напоминало ни самозванки, ни авантюристки. И все-таки Артур Морлендер задыхался от ненависти. То был удар — удар по его сердцу, самолюбию, уваженью к отцу. Даже горе его было словно отравлено изрядной дозой уксуса и перца. От красоты до бархатного голоса — каждая черта, каждое движенье этой женщины вызывали в нем приступ бешенства, похожего на морскую болезнь.

— Я пришел сказать, что уезжаю из этого дома,— произнес он таким шипящим голосом, что сам не узнал его,— но, прежде чем уйти отсюда, я намерен услышать подробности смерти отца, в которых вы, видимо, осведомленней меня.

Элизабет Вессон встала. Что-то сверкнуло ответно в ее иссиня-черных глазах с узкими, словно точки, зрачками:

— Мне хотелось мира с сыном Иеремии,— медленно начала она,— я была готова предложить ему гостеприимство и часть оставленных мне средств, потому

что, мистер Морлендер младший, ваш отец завещал мне этот дом, все свои сбереженья и чертежи своего изобретенья... Но к такому непристойному тону...

— Чертежи своего изобретенья! — воскликнул Артур.

— Да, чертежи своего изобретенья, вместе с домом и сбереженьями. Хотите видеть завещание? Показать вам и его, как я показала брачное свидетельство?

— Завещанье отца хранится у нотариуса Крафта!

— Иеремия написал новое в России. Капитан «Торпеды» передал мне его вместе с вещами покойного.

— Я вызову старого Крафта и прочту новое завещание вместе с ним.

Крафт был давнишним нотариусом семейства Морлендеров. Артур кинулся к столику с телефоном. Пока его пальцы автоматически набирали номер, он думал, думал, пытаясь понять поведение отца. Гипноз? Обман? Преступление?

— Алло! Восемь, сто пять, сто пять. Дайте нотариуса Крафта. Как?.. Но когда же? Только что? Боже мой, боже мой!

Он положил трубку и повернулся к женщине:

— Его только что принесли домой с проломленным черепом. Шофер был пьян и разбил машину.

Новая миссис Морлендер не реагировала на это слишком горячо; она почти не знала Крафта. Но Артур был так подавлен, что на минуту почувствовал себя беспомощным: лучший друг отца! Можно сказать — единственный! Знавший его как свои пять пальцев...

Слуга вошел и доложил о приходе доктора Лепсиуса. Артур кинулся ему навстречу.

Доктор подвигался не спеша. На лице его была приличная случаю скорбь.

— Дорогой мистер Артур, меня вызвали к генералу Гибгельду, но по дороге я решил заглянуть и к вам... Миссис Вессон, утром мне не удалось поздороваться с вами.

— Миссис Морлендер,— тихонько поправила она Лепсиуса.

— Я рад вам, доктор,— перебил ее Артур,— я прошу вас вместе со мной прочесть новое завещание отца.

— Новое завещание? Иеремия Морлендер, сколько помнится, написал одно до своего отъезда в Россию.

— А там написал второе...— вмешалась мачеха Артура, и слезы опять показались у нее на глазах.

Она встала, отперла шкатулку, стоявшую перед ней на столике, и протянула Артуру пакет, где с соблюдением всех формальностей, на гербовой бумаге было написано завещание Морлендера.

Артур и Лепсиус, приблизив друг к другу головы, прочли его почти одновременно. Это был странный документ, составленный в патетическом тоне. В нем говорилось, что всему миру грозит опасность коммунизма. Поэтому он, Иеремия Морлендер, в случае своей смерти завещает свое последнее изобретение на священную войну против коммунистов. Хранительницей его чертежей он делает дорогую свою жену Элизабет, по первому мужу Вессон. Все состояние и дом в Нью-Йорке он безоговорочно завещает ей же, поскольку сын Артур в том возрасте, когда может сам себя прокормить. Далее следовала подпись Морлендера и двух свидетелей. Лепсиус одним взглядом охватил содержание документа и невольно воскликнул:

— А где же Крафт? Это надо первым делом показать Крафту.

— Он умер.

— Умер?

— Несчастный случай с автомобилем,— вставила мачеха Артура.

Лепсиус прикусил нижнюю губу. Кое-что, готовое сорваться у него с языка, было мудро подхвачено за хвостик и водворено обратно, в глубину молчаливой докторской памяти.

— Да,— сказал он,— вы разорены, Артур.

— Все, что принадлежит мне,— к его услугам,— сухо сказала миссис Морлендер,— все, кроме, разумеется, чертежей, завещанных на святую цель. Я убеждена, что Иеремия составил это завещание под впечатленьем увиденного в России. Он был наблюдательный

и острый человек. И, может быть, из-за того, что он увидел, коммунисты убили его.

Она произнесла это так просто и убедительно, что мысли Артура мгновенно приняли другое направленье.

— Клянусь, отомщу убийцам! — воскликнул он, невольно вкладывая в эти три слова все, что пережил за последние несколько часов.— Отомщу или не вернусь живым, как отец!

Лепсиус несколько мгновений смотрел на него, потом взял шляпу.

— От всего сердца, Артур, желаю вам успеха,— произнес он медленно.

Он поцеловал руку вдове и двинулся к выходу, храня на лице все такое же наивно-скорбное выражение.

Но на лестнице лицо его мгновенно изменилось. По трем ступенькам к носу взбежал фонарщик, заглянул ему под стекла очков и сунул туда зажженную спичку. Глаза Лепсиуса положительно горели, как уличный газ, когда он пробормотал себе под нос:

— Или я дурак и слепец, или это не подпись Морлендера!

Он вышел на улицу, где в нескольких шагах дожидался автомобиль, но тут ему пришлось остановиться. Чья-то черная худая рука схватила его за палку. Старушечий голос произнес:

— Масса Лепсиус, масса Лепсиус!

— Это ты, Полли? Что тебе надо?

— Вы большой хозяин, масса Лепсиус! Вас станут много слушать...

— А в чем дело?

— Черная Полли говорит вам: прикажите открыть гроб массы Иеремии, прикажите его открыть!

— Что взбрело тебе в голову, Полли?

Но негритянки уже не было. Лепсиус посмотрел по сторонам, подождал некоторое время, а потом быстро сел в автомобиль, приказав шоферу ехать в «Патрициану». Он ни о чем не думал в пути. У доктора Лепсиуса правило: никогда не думать ни о чем в короткие минуты передышки.

Глава пятая

ОТЕЛЬ «ПАТРИЦИАНА»

Надо вам сказать, что хозяин «Патрицианы», богатый армянин из Диарбекира, по имени Сетто, имеет только одну слабость: он не пьет, не курит, не изменяет жене, но он бессилен перед своей страстью к ремонту. Должно быть, отдаленные предки Сетто были каменщиками. Каждую весну, при отливе иностранцев из своего отеля, Сетто начинает все ремонтировать, снизу и доверху. Он перелицовывает мебель, штукатурит, красит, меняет дверные фанеры, лудит, скребет, чистит, мажет, разрисовывает. Это равносильно лихорадке в сорок градусов. Что хотите делайте с ним, а он непременно затеет ремонт на всю улицу, заставляя чихать нью-йоркских собак.

Многие скажут, что это звучит плебейски и не согласуется с названием гостиницы. Они правы. Но диарбекирец тут ни при чем: он не хотел иметь гостиницы, не хотел называть ее «Патрицианой» и не хотел предназначать ее для знатного люда. Это вышло роковым образом. Когда Сетто с женой и детьми и большим запасом столярных инструментов, а также армянских вышивок эмигрировал из Диарбекира в Америку, пароход наскочил на пловучую мину, и множество пассажиров потонуло. Среди несчастных, барахтавшихся в воде, был человек в тяжелых, как подковы, и блестящих, как солнце, эполетах, утыканных золотыми позументами. Отяжелев под ними, он уже собрался потонуть, как вдруг, подняв глаза, увидел над собой целую эскадрилью больших желтых круглых тыкв. Они плыли, а за ними, как ни в чем не бывало, поджав ноги, плыло все семейство диарбекирца, перебрасываясь мирными замечаниями насчет погоды.

— Спасите меня! — крикнул им утопавший.

Сетто пристально посмотрел на жену. Та кивнула головой и произнесла по-армянски:

— Спаси человека однажды, а бог спасет тебя дважды.

— Это хороший процент,— ответил Сетто и кинул незнакомцу пару великолепных пустых тыкв. Незнакомец — бывший президент одного из крохотных государств, только что изгнанный своим народом,— благодарно ухватился за тыквы и поплыл, благословляя судьбу. Так они носились три дня, подкрепляясь глотками рома и месивом из муки «Нестле», хранившимся в жестянке на груди у диарбекирца. Вот в эти-то часы морского существования недоутопший и обещал своему спасителю построить для него чудесную гостиницу в Нью-Йорке, с одним непременным условием: чтоб она принимала только экс-коронованных особ, экс-министров и экс-генералов и была названа в честь этой благородной публики «Патрицианой». Диарбекирец согласился. Их подобрали на четвертые сутки, и каково же было удивление Сетто, когда его морской попутчик сдержал свое обещание. Таким-то образом Сетто из Диарбекира стал хозяином отеля «Патрициана».

Он свято выполнял условие. Ни один простой смертный, ни один честный труженик не имел права остановиться в его гостинице. Зато любой «бывший» — беглый президент или свергнутый принц, все состояние которого заключалось в одних серебряных позументах, не говоря уже о чисто опереточном воинстве побитых где-то армий, состоявшем из многочисленных атосов, портосов и арамисов, желавших сражаться по найму,— имели к нему неограниченный доступ. Несчастный диарбекирец выручал очень мало со своей гостиницы. Он зарабатывал на стороне торговыми оборотами. Часто случалось, что знатные постояльцы просили у него взаймы. Он терпел и сносил это безропотно. Только однажды жена услышала от него слово гнева: войдя к ней в комнату, он внезапно снял со стены икону, изображавшую святую Шушаник, и повернул ее лицом к стене.

— Что ты делаешь, несчастный! — воскликнула жена.

— Пусть они там наверху поучатся сведению баланса и двойной бухгалтерии,— ответил Сетто,— я

ждал от бога сто на пятьдесят, а он вместо этого заставляет меня спасать знатных беглецов уже не единожды, а восемьдесяттысячерижды.

Так вот, с наступлением весны этот самый Сетто задумал опять на досуге отдаться своей страсти и приступил к ремонту. «Рабочий союз для производства починок по городу Нью-Йорку» получил от него срочный заказ и тотчас же выслал ему армию квалифицированных маляров, кровельщиков, штукатуров, обойщиков, водопроводчиков, канализаторов и трубочистов.

Только-только приступили они к работе, как автомобиль доставил в «Патрициану», к истинному бешенству Сетто, двух знатных господ: генерала Гибгельда и виконта де Монморанси.

Как назло, комнаты, предназначавшиеся для них, были в ремонте.

— Ничего, хозяин,— сказал пожилой слесарь, приводивший в порядок замки в № 2 А — Б,— не трудите себе голову. Пусть их въезжают, а я уж при них докончу. Тут работы самое большее на часок.

И, покуда знатные господа сидели за табльдотом, слесарь, как обещал, со всеми своими инструментами направился в апартаменты бельэтажа, носившие затейливую нумерацию 2 А — Б и состоявшие из анфилады больших парадных комнат со всеми решительно удобствами вплоть до самостоятельной междугородной телефонной станции и почтового отделения.

Захлопнув за собой дверь, слесарь Виллингс первым долгом поставил корзинку с инструментами на пол, а потом набил и закурил трубочку точь-в-точь так, как это проделывал Микаэл Тингсмастер. Затянувшись разок-другой, он, к моему собственному удивлению, вместо того чтоб начать ремонт, сделал прыжок. Потом остановился и прислушался,— ни звука. Тогда Виллингс сделал еще один пируэт, нажимая пятками на какую-то невидимую нам точку, и тотчас же квадратный кусок паркета под ним зашевелился, поднялся и стал ребром поперек комнаты, открыв черную дыру вниз.

— Менд-месс! — шепотом сказал слесарь, наклонившись к дыре.

— Месс-менд! — тотчас же послышалось оттуда, и в отверстии показалась голова водопроводчика Ван-Гопа.

— Это ты, Виллингс? Я тут чиню трубы. А ты что делаешь?

— Исправляю замки. Скажи, пожалуйста, Ван-Гоп, у тебя там, внизу, на всех вещах есть клеймо Мик-Мага?

— Почти на всех, Виллингс. Только обойная фабрика из Биндорфа подкузьмила. Ребята на ней еще не записались в наш союз, у них вещи не согласованы с нашими. Обидно это, тут ведь за обоями дверь с клеймом прямехонько в верхний номер русского князька, а обои не слушаются.

— Надо бы нажать на Биндорф. Предупреди Мика Тингсмастера. Да смотри, Ван-Гоп, не выходи из трубы до завтра. Должно быть, будут интересные передачи.

После этого Виллингс закрыл паркет и, весело посвистывая, принялся осматривать замки. Он делал это в высшей степени странным образом. Так, он брал лупу и внимательно глядел через нее на шейки замков, на петли ключей, на дверные, комодные, шкафные скобки и всякий раз одобрительно кивал головой. Заглянув с ним вместе, я вижу в лупу только две микроскопические буквы, стоящие одна внутри другой, мелкие, как инфузории:



И больше ничего.

Закончив осмотр, Виллингс крепко запер ключом одну из дверей, подошел к ней и, не вынимая ключа, провел ногтем по какой-то невидимой полоске. Дверь тотчас же тихо открылась, хотя ключ попрежнему торчал в замке.

— Менд-месс! — позвал кто-то громко из стены.

— Месс-менд,— поспешно ответил Виллингс. Стена раздвинулась, и с куском штофной материи в руках в комнату вошел обойщик. Лицо его было встревожено:

— Виллингс, дай немедленно знать по всей линии. Тут что-то готовится. Только что с экспрессом из Сан-Франциско приехал экс-президент Но-Хом. С доков звонили, что ожидается лорд Хардстон. Это неспроста. Я думаю, нам пора кончить починку, тут все до последнего в порядке.

— Ван-Гоп говорил насчет обоев...

— Да, это нам помешает слышать, что делается у русского и в смежном с ним номере. Ну, да не беда. Поставь, брат, часовых и выбирайся отсюда поскорей.

Оба немедленно вошли в стену и бесшумно очутились в комнате телефонистки, мисс Тоттер. С ней они обменялись все тем же таинственным приветствием, а потом вышли из боковой двери и попали прямехонько на шумную улицу.

Тем временем генерал Гибгельд и виконт де Монморанси, благополучно покончив с длинным обедом и запив его чем следует, закурили и, тихо переговариваясь, шли к себе, в общие апартаменты № 2 А — Б.

Глава шестая

СОВЕЩАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ОТСУТСТВУЮЩЕГО

Генерал Гибгельд вошел в комнату первым. Он нетерпеливо прошелся раза два из угла в угол, поджидая, покуда виконт с трудом опустится в кресло. Потом подошел к двери, выглянул в коридор, запер ее и вернулся к виконту:

— Знаете ли вы, без лишних слов, как обстоят наши дела?

— Столько же, сколько и вы, генерал,— томно ответил Монморанси.— Я, как вы знаете, ненавижу всякую идеологию. Мне действуют на нервы рассуждения нашего патрона Кресслинга. Если б не доллары, фунты и франки, которыми он их сопровождает...

— Напрасно, виконт!

— Не трясите так пол, это передается креслу и вибрирует в моем позвоночнике,— укоризненно произнес француз.

— Напрасно, виконт, вы не хотите прислушаться к теории Джека Кресслинга. Это самая подходящая теория в мире хаоса и анархии, каким становится наша неприятная планета.

— Довольно того, что он платит нам и собирается посадить нас обратно правителями наших стран. Я совершенно согласен с тем, что правителей сажают свыше,— власть, как говорит церковь, от бога. И если ему удастся насадить всюду правительства, подобные божьему промыслу, и они будут держаться...

— Железной рукой! — прервал генерал, звякнув галунами.

— ...то у Кресслинга будет могучая опора против этих пошлых людей, именуемых коммунистами.

— Тсс! — прошептал генерал.

В дверь постучали. Лакей принес на подносе карточку русского вельможи, князя Феофана Ивановича Оболонкина. Князь жил уже третий год в Нью-Йорке, занимая комнату № 40 во втором этаже, и все счета, получаемые им, посылал главе русского правительства в Париже, содержавшему своих придворных и дипломатических представителей. Злые языки, впрочем, уверяли, что в Берлине, Риме, Мадриде и Лондоне также имеются правящие династии русского престола и что дипломатический корпус имеет тенденцию к постоянному приросту населения, но это уже относится к области статистики, а не беллетристики.

Генерал посмотрел на карточку и утвердительно кивнул лакею. Дверь снова отворилась, и на этот раз в комнату влез боком крошечный старикашка с моноклем в глазу, красным носом и дрожащими ножками, сильно подагрическими в суставах.

— Мое почтение, Гибгельд, добрый вечер, виконт. Поздравляю с приездом. Очень, очень рад. Газеты, знаете ли, стали какими-то неразборчивыми. Перепутали день тезоименитства его величества самодержца всея Тульской губернии, Маврикия Иоанновича, со спасением на суше и на водах генерала Врангеля, и я из-

за этого должен был опоздать к вам: с самого утра принимаю депутации.

— Как? — рассеянно переспросил генерал.— Маурикий? А, да, да, Тульская губерния. Это претендент группы народных сепаратистов, известной под именем «Россия и самовар». Знаю, знаю, садитесь, князь, вы ничуть не опоздали. Мы поджидаем еще кой-кого!

— Кстати,— промямлил виконт,— милейший Оболонкин, ваш сосед перед отъездом не дал вам никаких поручений?

— Вы говорите о синьоре Грегорио Чиче? Нет, он только сообщил, что непременно появится в нужную минуту.— С этими словами Феофан Иванович потянулся к столику, где у генерала лежали гаванские сигары.

— Странный человек этот Чиче,— понизив голос, заговорил виконт,— уезжает и возвращается, как волшебник, ни разу не пропустив важной минуты. Никому не отдает отчета, кроме Кресслинга, вертит Лигой и каждым из нас как хочет.

— Он великий мистификатор,— заметил генерал,— и это импонирует Кресслингу.

— Да-с, крепкий человек. Насчет дамского пола, можете быть уверены — я слежу — крепость необычайная и полнейший нейтралитет,— вмешался князь Феофан,— не то что банкир Вестингауз. Этот в ваше отсутствие... вы прямо-таки не отгадаете!

— Чем отличился Вестингауз? — лениво спросил виконт.

Но Феофану Ивановичу не суждено было высказаться. Дверь снова раскрылась, впустив на этот раз в комнату доктора Лепсиуса.

Здесь читатель, во избежание обременительных церемоний, сам может вставить «здравствуйте», «как поживаете» и прочие фразы, служащие обычным словарем между цивилизованными людьми. Я пропускаю все это и начну с того, как доктор Лепсиус, согласно своей профессии, стал орудовать инструментами

Каждый доктор должен иметь: трубочку, молоточек, рецептную книжку, часы, щипчики для нажима на язык и — желательно — электрический фонарик с головным

обручем. Все это у Лепсиуса имелось. Все это он извлек и приступил к делу.

— Давненько я вас не слушал, ваше превосходительство,— бормотал Лепсиус,— пульс хорош, так, так. Цвет лица мне не нравится, шея тоже. А скажите, пожалуйста, как обстоит с теми симптомами, которые удручали вас в прошлом году?

— Вы говорите о позвоночнике? Да, они не утихают, доктор. Я бы хотел, чтобы вы ими занялись.

— Позвоночник, черт его побери! — вмешался де Монморанси.— Вот уж с месяц, как меня изводит эта беспричинная хромота, почему-то вызывающая боль в позвоночнике. Посмотрите и меня, Лепсиус.

Глазки доктора под круглыми очками запрыгали, как фосфорические огоньки. Все три ступеньки, ведущие к носу, сжались взволнованным комочком. Он вскочил, впопыхах едва не рассыпав инструменты.

— Я должен осмотреть вас. Необходимо раздеться. Выйдемте в соседнюю комнату.

— Вот таков он всегда,— со вздохом сказал Гибгельд, когда виконт и Лепсиус скрылись за дверью,— чуть дело коснется позвоночника или, точнее, седалищного нерва, наш доктор на себя непохож,— волнуется, мечется, раздевает больного и прелюбопытно его осматривает. Когда нет причин для осмотра, он их выдумывает из головы. Я видел трех турецких беев, претендентов на возрождение Османской империи, которых он ухитрился осмотреть ни с того ни с сего, под предлогом какой-то болезни...

Между тем в соседней комнате виконт де Монморанси лениво предоставил доктору Лепсиусу изучать его обнаженную спину. Толстяк был совершенно вне себя. Он пыхтел, прыгал, как кролик, вокруг больного, бормотал что-то по-латыни и, наконец, весь замер в созерцании.

Куда он смотрит? Он смотрит на позвоночник молодого француза, изящно пересекающий его белое с голубыми жилками тело. Все как будто в порядке, но предательская лупа в дрожащей руке Лепсиуса указывает на маленькое, с булавочную головку пятнышко, ощущаемое как небольшая выпуклость.

— Вот оно, вот оно,— забывшись, шепчет Лепсиус с выражением восторга и ужаса на лице. И внезапно задает виконту нелепый вопрос, не удивляющий француза только потому, что его лень сильнее, чем все остальные способности.

— Вы пережили когда-нибудь сильный страх, виконт?

— Во время русской революции, когда отняли мою концессию,— вздрогнув, отвечает француз.— Я не люблю революций. Мне пришлось тогда бежать от большевиков с территории моей концессии в Персию.

— Прекрасно, прекрасно, одевайтесь, мы вам пропишем великолепные капли.

Между тем к генералу опять постучали. Вошли два новых гостя: высокий седой англичанин, пропитанный крепчайшим запахом табака, и странное существо, только что потерявшее сто миллионов подданных, выгнавших его из собственной страны.

— Ваш нижайший слуга и союзник, Но Хом,— назвало себя с азиатской вежливостью существо, растягивая рот в улыбке.

— Лорд Хардстон,— коротко отрекомендовался англичанин.

Сердечные рукопожатия. Опять «здравствуйте», «как поживаете» и пр. и пр. Но лорд Хардстон не расположен тратить время. Он оглядывается вокруг, смотрит на часы и отрывисто говорит:

— Я только что видел Кресслинга. Он приказывает нам немедленно открыть заседание.

— Позвольте, но еще нет Чиче.

— Он будет. Дорогой Гибгельд, отпустите, пожалуйста, этого толстяка, он, кажется, доктор?

— Доктор Лепсиус.

— А, так это знаменитый Лепсиус! Рад познакомиться. Однако время не терпит. Объявляю заседание открытым от имени председателя. Прошу всех посторонних удалиться!

Лепсиус никогда не мог дождаться гонорара от постояльцев «Патрицианы». Тем не менее он уходил от них в состоянии, похожем на экстаз. Так и сейчас, прижимая к себе палку, он выскочил из № 2 А — Б с вос-

торженным лицом и, не переставая бормотать про себя «так оно и есть», спустился к ожидавшему его ауто.

Сетто-диарбекирец укоризненно посмотрел ему вслед.

— Тщеславный человек,— сказал он своей жене,— только и подавай ему разных там претендентов да президентов. Любой турецкий паша, побирающийся в американских прихожих, ему интересней, чем порядочный армянский труженик. А я бы всех этих знатных белибеев обоего пола, да еще их лакеев впридачу, с удовольствием променял на хороший салат из помидоров...

— С луком,— вздохнув, отозвалась его супруга.

Глава седьмая

ЗАСТЕННЫЙ МИР

Как только Лепсиус удалился, лакей подвел хромающего виконта к креслу возле Гибгельда, помог ему сесть и вышел. Князь Феофан Оболонкин мелкой трусцой подошел к столу вместе с Но Хомом, все еще пытаясь рассказать, что произошло с бароном Вестингаузом. Но в эту минуту в дверях показался сам барон Вестингауз, молодящийся старик с напудренным носом, нафабренными усами и желтофиолью в петлице,— и это положило конец всем попыткам Оболонкина. В самую последнюю минуту, когда лорд Хардстон, подняв брови, в пятый раз извлек из кармана свой хронометр, появился и Рокфеллер-младший, небольшого роста прыщавый пижон, извинившийся перед присутствующими за Рокфеллера-старшего.

— Все еще болеет папаша? — с любопытством осведомился Феофан Иванович.

— Все еще не может оправиться после узурпации власти в русской империи,— с готовностью ответил Рокфеллер-младший.

Болезнь второго после Кресслинга американского миллиардера, приключившаяся тотчас же после русской революции и разгрома дивизии интервентов, собранной,

обмундированной и вымуштрованной на его счет,— была одной из любимых тем знатной публики, собиравшейся в отеле «Патрициана». Однако сегодня и этой теме посчастливилось не больше, чем похождениям барона Вестингауза.

— Сядьте, господа претенденты! — громовым голосом провозгласил лорд Хардстон.

Присутствующие расселись вокруг стола. Над ними, в каминной трубе, молодой человек с яркочерным носом, черными щеками и лбом, тоже уселся покомфортабельнее, то есть упер ноги выше головы в выступ трубы, а голову свесил вниз, прижав ухо к незаметной щели.

— Мы обменяемся основными новостями о наших усилиях создания гармоничных правительств в обоих полушариях земли, не дожидаясь синьора Чиче, господа! — снова начал Хардстон.— Время не терпит...

— Скажите, какая любезность! — шепнул про себя Том-трубочист, сплевывая вниз,— откуда он знает, что у меня каждая минуточка на счету?

— ...время не терпит,— повторил Хардстон,— поскольку акции на сегодняшней бирже начали падать и даже,— тут он пожал плечами с видом некоторого скептического недоверия к собственным своим словам,— даже фунты стерлннгов пошатиулись.

Вокруг стола раздались восклицания искреннего сочувствия.

— Для абсолютной конспирацин того, что сейчас будет сказано, по личной просьбе синьора, перейдемте, господа, незамедлительно в его комнату, ключ от которой,— лорд Хардстон вынул из кармана ключ необыкновенно странной формы,— передан мне самим Чиче...

Но дальше Том-трубочист слушать не стал. Быстрее обезьяны он взметнулся по трубе, влез в какую-то заслонку, вынырнул из нее, повис над пустой ванной, раскачался, скакнул через нее в уборную и тут попал прямехонько в горничную Дженни, убиравшую купальные принадлежности.

— Ай,— вскрикнула Дженни,— ай! Кто вы такой?

— Я черт, красавица. Ей-богу, черт.

— Как бы не так, станут черти божиться,— недоверчиво произнесла Дженни, думая про себя: «Вот уж миссис Тиндик лопнет от зависти, если узнает, что я видела настоящего черта».

Но время ее раздумья было для Тома спасительным. Он тихонько попятился к двери, отворил ее и исчез.

Дженни разинула рот.

— Верь после этого пастору Русселю,— пробормотала она в душевном смятении, не сводя глаз с двери.— С чего это он уверяет, будто чудеса есть промысел божий. Черти-то, оказывается, тоже этим промышляют. Гляди-кось, голубчики мои, прошел через запертую дверь, а она и опять заперта с моей стороны.

В это время Том, пролетев стрелой по коридору, вошел в шкаф, сделал два-три перехода по стене и очутился перед дверью синьора Чиче. Но он опоздал. Заседание уже началось — перед самым его носом. И благодаря несознательности ребят с обойной фабрики в Биндорфе, он не мог в нее проникнуть. Том чуть не заплакал со злости, что, разумеется, очень повредило бы профессиональному цвету его лица. Поблизости был камин. Он грустно вошел в него и провалился в трубу. Внизу, под страшным жаром кухонной плиты, в сетке всевозможных труб и цилиндров, Том нажал кнопку и шепнул:

— Менд-месс.

— Месс-менд,— тотчас же послышалось в ответ.

Цилиндр раздвинулся, обнаружив мирно сидящего Ван-Гопа с каучуковыми трубками на ушах.

— Почему ты ушел со сторожевого поста, Том?

— А потому что, черт их побери, они перебрались в комнату этого итальянца!

— В комнату без номера?

— Вот именно, Ван-Гоп. Я совершенно сдурел. Я метался по стенам, въехал на голову одной красотке, даже обчистился малость от переделки, а придумать ничего не могу.

— Да, этим ты, Том, никогда особенно и не отличался. Удивляюсь, почему это ребята посадили именно тебя. Ну да ладно, молчи и слушай. Алло, мисс Тоттер!

Сквозь одну из каучуковых раковин послышалось:

— Я слушаю, это вы, Ван-Гоп?

— Я. Соедините меня с Миком.

— Сейчас не могу, требуют из конторы. Обождите.

Ван-Гоп и Том принялись молча ждать. Через две минуты раздался голос мисс Тоттер:

— Ван-Гоп, слушайте. Я вас соединила с Миком.

Откуда-то, из отчаянной дали, глухо донеслось:

— В чем дело?

— Тингсмастер, помоги,— заговорил в трубку Ван-Гоп,— совещание перебросили в комнату без номера. Том и я бессильны. А должно быть, они шушукаются не без важного дела.

— Умеете орудовать зеркальным аппаратом? — донеслось по складам. Тингсмастер старался говорить внятно.

Ван-Гоп взглянул на Тома, Том взглянул на Ван-Гопа.

— Как будто не умеем, Мик,— сконфуженно ответил Ван-Гоп.

— Иду сам,— раздалось из трубки.

Как только водопроводчик повесил свой каучуковый телефон на место, трубочист толкнул его легонько в бок не без ехидства:

— Видать, Ван-Гоп, что и ты не особенно отличаешься этим самым...

— Чем такое?

— Смекалкой.

И прежде чем Ван-Гоп смог дать ему подзатыльник, Том уже взлетел на самый верх цилиндра и превесело задрыгал оттуда пятками.

Между тем широкоплечий, русобородый силач в рабочей блузе, перепоясанный ремешком, положил на место рубанок у станка в ярко освещенной мастерской деревообделочного завода, счистил с себя стружки, оглянулся вокруг и внезапно исчез в стену. Он мчался со всех ног по темным, шириною не более аршина, проходам, двигаясь вбок и то и дело отряхиваясь от земли и водяных капель. Спустя десять минут проходы расширились, ноги его нащупали ступеньки, взбежали по ним, и вот из щели на свет появилась русая голова

Тингсмастера с веселыми голубыми глазами из-под прямых пушистых бровей. Он огляделся вокруг: это была телеграфная вышка, самый высокий пункт фабричного городка Миддльтоуна. Отсюда, с высоты нескольких сот метров, уходила в Нью-Йорк сеть стальных проводов, несших не только депеши. Часть служила для гигантских элеваторов, часть перебрасывала отсюда квадраты миддльтоунского сена в манеж Роллея, находившийся неподалеку от «Патрицианы». Как раз в эту минуту двое рослых рабочих подвешивали цепь от спрессованного квадрата к стальной петле на проводе.

— Менд-месс,— шепотом сказал им блузник.

— Месс-менд,— ответили ему оба.— Хотите прокатиться, Мик? Садитесь, садитесь.

Через секунду, лежа на тюке сена и плотно прижав руки к бокам, Тингсмастер несся со скоростью стрелы в Нью-Йорк. Внизу под ним по телефонным проволокам неслись незримые людские тайны; их принимал на бумагу меланхолический Тони Уайт, телеграфист. Еще ниже, по земле, катил знаменитый экспресс североамериканской магистрали; но он должен был пробежать расстояние между Миддльтоуном и Нью-Йорком в полчаса, а Мик Тингсмастер сделал его в семь минут и три четверти. Тони Уайт не успел еще принять и первую телеграмму, как наш путешественник, спрыгнув на крышу манежа, никем не замеченный, исчез в одно из отверстий между железными обшивками. Спустя три минуты он добрался до цилиндра, где Ван-Гоп, в бессильной ярости на Тома, бомбардировал его пятки кусочками сжеванной газетной бумаги.

Мик Тингсмастер поглядел на обоих с укоризной.

— Я вижу, ребята, вы тут развлекаетесь. А те наверху, можете мне поверить на слово, времени не теряют. Марш наверх!

Он засветил карманный фонарик, и все трое помчались по трубам. Но Тингсмастер внезапно остановился, приложил ухо к металлической облицовке, прислушался, издал невнятное восклицание, потом вернулся на несколько шагов. Здесь он снова остановился, вынул складной метр, бумагу и карандаш и стал что-то

вымерять. Повидимому, результаты измерения не очень-то его утешили, так как Ван-Гоп и Том услышали юмористическое посвистывание, что служило у Мика знаком крайней досады. К их удивлению, он вынул и молоток, которым постучал в разных местах коридора. Затем, не говоря ни слова, продолжал свой путь, но уже не с прежней поспешностью. Войдя в стеклянный шкаф, откуда можно было видеть дверь ненумерованной комнаты, он обернулся к товарищам:

— Ребята, слушайте и запомните: кроме наших проходов, в эту комнату ведет еще один. Он сделан не нашим союзом. Он тут, должно быть, с первого дня этой самой гостиницы. И только что кто-то прошел этим проходом — скорей, чем мы с вами.

Том и Ван-Гоп недоверчиво переглянулись. Они не очень-то верили всяким бумажным вычислениям. Но прежде чем они смогли ответить, дверь комнаты медленно отворилась и выпустила в коридор всю известную нам компанию. Русский князь тут же простился с попутчиками и ушел в собственный номер. Гибгельд и Хардстон, поддерживая сильно хромающего виконта, спустились вниз, в свои апартаменты, а улыбающийся Но Хом уселся в лифт,— он по причинам экономическим жил на самом верхнем этаже.

— Теперь мы можем войти,— шепнул Тингсмастер.— Тот, кто пришел тайным ходом, уже отправился обратно, я слышу царапанье за фанерой.

Они осторожно вышли из шкафа, приоткрыли дверь и бесшумно, один за другим, вошли в комнату без номера.

Глава восьмая

ЗЕРКАЛА-ПОМОЩНИКИ

Это был самый обыкновенный «номер» гостиницы, хотя и оставленный почему-то без номера. Он был убран несравненно менее роскошно, нежели апартаменты

Гибгельда. Но и здесь, как и там, шли вдоль стен зеркала, уставленные у подножий тропическими растениями. Их было три — по одному у каждой стены.

Тингсмастер подошел к одному из них, вынул лупу и указал своим товарищам на два микроскопических «м» в уголке:

— Эти зеркала — дело рук наших ребят с фотохимического и техника Сорроу с «Секретного». Смотрите-ка в оба глаза и учитесь, как с ними обращаться.

Раз — Мик сдвинул зеркало вокруг своей оси, остановив его под прямым углом; два — Мик взял из-под стекла, прямехонько с цинковой пластинки, тончайшую пачку пленок; три — надвинул откуда-то сбоку новую пачку — и опустил зеркало на место. Потом они вышли из комнаты, заперли ее, и Тингсмастер прошел через стену к мисс Тоттер.

Пачка пленок была опущена в банку с розовой жидкостью. Затем извлечена оттуда. Затем вставлена в маленький аппарат с фонариком на носу, похожий на пушку. Электричество потушили, нос аппарата засветился, на стене образовалось круглое пятно.

— Учитесь, друзья,— сказал Тингсмастер,— не все еще в наших руках. Бывают случаи, когда мы бессильны проникнуть к врагу. Нам не удалось нынче услышать, о чем они там между собой сговаривались, но зато мы можем увидеть их. Зеркальный аппарат Сорроу устроен так, что при повороте выключателя три зеркала передают все вокруг совершающееся в поле фотографической камеры. Тотчас же начинается бесшумная съемка — и вот извольте посмотреть.

Он завертел ручкой машины, и на освещенном экране появилось изображение только что покинутой ими комнаты. Она не была пуста. В ней двигались, рассаживаясь вокруг стола, те самые люди, которых они только что видели выходящими.

Том и Ван-Гоп радостно вскрикнули. Правда, ни единый звук к ним не доносился, но зато теперь они могли разглядывать их невозбранно.

— Учитесь читать слова по губам! — сказал Мик. Он уселся перед экраном, по нескольку раз накручивая каждую сценку, замедляя ее движение так, чтоб

люди на экране казались плавающими в воде. Каждый из них был знаком союзу «Месс-менд» по фотографиям в газетах и по наблюденьям из тайников «Патрицианы». Словно читая книгу по складам, Мик слово за слово передавал Тому и Ван-Гопу: — Ждут приказаний... немец крепко выговаривает что-то красавчику виконту, а тот еле двигает губами в ответ. Англичанин с трубкой молчит. Русский князь мечется от одного к другому с расспросами — видите, глаза у него спрашивают, уши навострились, он ничего пока не знает. Англичанин говорит ему «тише!» — учитесь, ребята,— на всех языках видно по губам, когда произносится слово «тише!» Вот так, нижняя губа вперед и хоботком будто поднимает верхнюю...

Но что это? Ван-Гоп и Том вскрикнули. Мик прошептал про себя: «Чиче!»

На экране происходит странное замешательство. В разгар спора снизу открылся люк, и оттуда медленно поднимается, как в балетной феерии, небольшая черная фигура. Хотя она и остается на экране, нашим зрителям почему-то не очень ясно ее видно, как будто она окутывает себя дымом.

— Черт, темно что-то, разобрать не могу,— пожаловался Том, изо всех сил теребя глаза.

Только один Тингсмастер неотступно смотрел на экран. Черная фигура вынула из портфеля бумагу и быстро прочитала ее вслух; на лице остальных ясно выразились негодование, изумление, торжество. Потом черная фигура подняла руку, что-то сказала, и все наклонили в ответ головы... Теперь она раскрывает портфель, укладывает туда прочитанный лист; руки в черных перчатках быстро шевелятся,— что это? Пачки, прямо из банка — одна, другая — самых крупных долларовых билетов. Глаза всех в комнате устремляются на пачки, а число пачек все увеличивается. Ладони протягиваются к ним. Черный человек раздает их коротким движением направо и налево. Мгновенье — он соскочил обратно в люк. Остальные идут к дверям... Темнота... Опять свет. И на этот раз Том с восторгом закричал:

— Гляди, гляди, это мы сами!

Пленки кончились. Тингсмастер вынул их и сложил в стенной несгораемый шкаф. Потом он задумчиво сказал Тому и Ван-Гопу:

— Надо узнать в точности, что замышляется. Идите, ребята, по трубам, да подыщите себе смену. Нам важно установить наперво, останутся ли они дома, или разъедутся после получки, а если разъедутся,— то куда. Это сейчас главное ваше дело!

— А ты, Мик?

— Мне надо назад, на завод. У нас срочная вечерняя работа, братцы. Хозяин отделывает свою виллу, и тут тоже надо постараться, понимаете. Ведь главные-то совещанья у него!

С этими словами Тингсмастер простился, вошел в стену — и был таков. Мисс Тоттер мечтательно посмотрела ему вслед. Том и Ван-Гоп со вздохом разбрелись по своим сторожевым будкам. Но напрасны были все их старания, напрасно потрачена целая долгая ночь,— ни Гибгельд, ни Монморанси, ни английский лорд больше не разговаривали, и тайна их встречи осталась на этот раз нераскрытой. Выехать из «Патрицианы» они тоже, повидимому, не собирались.

Между тем Тингсмастер вышел на улицу, преспокойно обошел здание и с подъезда, как ни в чем не бывало, снова проник в «Патрициану». Заложив руки в карманы и посвистывая, он идет в контору. Здесь он останавливается и мирно снимает шляпу.

Сетто-диарбекирец, подсчитывавший недельный дефицит, в изумлении поднял голову.

— Здорово, хозяин.

— Здравствуй, Микаэл, чего тебе надо?

— Не будет ли какого ремонта?

— Господь благослови вас, Микаэл, за такие слова,— вмешалась жена Сетто, разделявшая неукротимую страсть своего мужа к ремонту,— так вы нам в прошлое лето все чисто и недорого справили!

— А теперь еще лучше справлю.

— Никак нельзя, Микаэл,— грустно ответил Сетто,— наехало ко мне претендентов, чтоб им лопнуть,— сперва расплатиться по счету, а потом лопнуть! Какой уж тут ремонт.

— Жаль, жаль, а я было хотел у вас все заново наверху переделать, особенно в комнате без номера.

— Этой-то комнаты, Микаэл, я по уговору не смею касаться. Ты ведь знаешь, гостиницу мне построил бывший президент, чтоб ему во второй раз ни на суше, ни на воде не повстречать второго такого дурака армянина. Так вот он и поставил условие: не трогать этой комнаты ни летом, ни зимой. Я и так согрешил, украсил ее, по твоему совету, зеркалами.

— Да кто вам дом-то построил, хозяин, ведь не сам же экс-президент?

— Иностранного архитектора выписали, Микаэл. Да и рабочих набрали одной масти с архитектором.

— Вот оно как. Жаль, хозяин. Всего доброго.

И на этот раз Тингсмастер поспешил в Миддльтоун.

Глава девятая

СТРАННОСТИ СОДЕРЖАНКИ БАНКИРА ВЕСТИНГАУЗА

Если бы Феофану Ивановичу не помешали высказаться о банкире Вестингаузе, он сказал бы следующее:

— Вестингауз, хи-хи-хи, завел себе содержанку... Да не простую, а можете себе представить — в маске. Да, вот именно, в маске. Женщина эфемерная, элегантная, с походкой сильфиды, а появляется не иначе, как в маске. Я убежден, что она спекулирует на мужском любопытстве. Будь я лет на пять, на шесть помоложе...

Князь Феофан не врал. События, отмеченные нью-йоркской прессой, таковы:

Неделю назад в театре «Конкордия» на опере «Сулейман» публика видит внезапно в одной из фешенебельных лож красиво сложенную женщину в маске. Как ни в чем не бывало эта женщина глядит на сцену парой глаз, сверкающих в миндальном разрезе шелковой маски, не смущается от устремленных на нее со всех сторон биноклей и лорнетов, кутает обнаженные

плечи в роскошный мех, читает афишку, словом — ведет себя непринужденно. Ньюйоркцы поражены. Незнакомку никто не может признать. Ходят слухи о том, что это знатная иностранка, чье лицо обезображено оспой. Тогда любопытство сменяется состраданием, и на некоторое время инцидент забыт.

Через два дня на катанье возле Вашингтон-авеню женщина в маске появляется снова, на этот раз не одна. С ней в коляске сидит банкир Вестингауз, старый развратник, известный на всю Америку своими выездами и любовницами. Вестингауз — холостяк. У него нет родственниц. Ни одна приличная женщина не согласится проехать в его коляске. Вывод ясен: таинственная маска — дитя того мира, откуда вышли Виолетта и Манон Леско.

В Нью-Йорке нет того культа кокоток, который был характерен для Парижа времен Бальзака. Но женщина, сумевшая приковать к себе внимание своей странностью, удостаивается некоторого уважения. Таинственную маску пытались сфотографировать, поймать врасплох; ей писали влюбленные письма, посылали цветы и подарки,— все напрасно. Она оказалась недоступной ни для кого. Банкир Вестингауз, с улыбкой принимавший поздравления друзей, пожимал плечами на все расспросы:

— Дети мои, это перл созданья! Уверяю вас, я бы женился на ней, если б только она согласилась. Но показать вам ее,— нет. Никому, никогда, до самой моей смерти!

Можете себе представить, как любопытствовала нью-йоркская молодежь! Представители торговых династий корчили гримасы от зависти. Один из них, только что кончивший Гарвардский колледж, упитанный сибарит Поммбербок, вздумал даже победить Вестингауза: он взял маленькую Флору из кордебалета, нарядил ее в маску и прошелся с ней по Пятой авеню, но был позорно освистан сторонниками маски, а Флора уже не смела появиться на улице. В конце концов из маски сделали нечто вроде тотализатора, держали на нее пари, клялись ею, гадали по цвету ее костюмов о погоде, удаче, выигрыше и пр. и пр.

Не менее были заинтересованы и девушки. Каждая из них в глубине души хотела походить на маску. Портнихи получали заказ: сделайте по фасону маски.

Но ни одна не испытывала такого влюбленного восторга, такого преклонения перед маской, как дочь сенатора Нотэбита, шалунья Грэс. Грэс сидит в настоящую минуту в своей музыкальной комнате с учительницей, мисс Ортон, и делает тщетные попытки отбарабанить четырнадцатую сонату Бетховена. Ей двадцать лет, она кудрява, как мальчишка, веснушчата, с немного большим, но милым ртом, подвижна, как ящерица. Ее нельзя назвать хорошенькой. Но с нею вы тотчас же чувствуете себя в положении человека, ни с того ни с сего вызванного на китайский бокс. Грэс берет фальшивый аккорд, мисс Ортон нервно вскрикивает, Грэс поворачивается к ней, кидается ей на шею и восклицает:

— Мисс Ортон, дорогая, это выше моих сил! Сегодня я видела маску перед цветочным магазином. Если б вы только знали, какая у нее ножка! Я сделала глупость, схватила ее за платье и объяснилась ей в любви.

— Что же было потом? — улыбаясь, спросила учительница, гладко причесанная, можно сказать — зализанная, горбатая и кривобокая молодая дама в скромном и чрезвычайно неуклюжем платье. Голос ее, впрочем, был очень музыкален и походил на мурлыканье флейты.

— Ах, мисс Ортон! В том-то и дело, что этот мерзкий старикашка, банкир Вестингауз, свалился откуда-то с неба и ехидно заявил мне: «Мисс Нотэбит, честь имею проводить вас в магазин». И прежде чем я успела опомниться, он сунул меня в магазин, а маска порхнула в коляску и исчезла.

— Да, Грэс, это было очень неосмотрительно с вашей стороны. Не забывайте, что вы дочь сенатора.

— Очень мне нужно помнить об этом, мисс Ортон. Я объявляю категорически: я влюблена в маску. Я чувствую, что этот проклятый Вестингауз мучит ее. Я намерена ее спасти... Раз-два, раз-два,— Бессмертное трио четырнадцатой сонаты разлетелось на куски под ее энергичными пальцами.

— Боже мой,— вздохнула мисс Ортон,— вы не понимаете Бетховена.

Неизвестно, что ответила бы ей Грэс, если б в эту минуту дверь не распахнулась настежь и чей-то странный, басистый по-мужски, голос не произнес:

— Милая Грэс, наконец-то!

Мисс Ортон сильно вздрогнула, должно быть — от неожиданности. В музыкальную вошла очень смуглая, изящно одетая девушка с большими пунцовыми губами, рыжеволосая, в мехах, несмотря на майский день. Это была мисс Клер Вессон, племянница второй супруги Морлендера и закадычная подруга Грэс по школьной скамье.

— Клер! Ты, наконец, тут! — Грэс рассыпала ноты, вскочила и повисла у нее на шее.— Одну минуточку, мисс Ортон, простите, пожалуйста. Я докончу урок, только дайте нам поздороваться.

Мисс Ортон и не думала протестовать. С терпением бедного человека она сложила руки на коленях, села в теневой угол и молчаливо сидела с полчаса, покуда девушки болтали, забыв об ее присутствии. Они болтали, как подобает двум юным бездельницам привилегированного класса, о том, о сем, о варшавской опере, о концертах Рахманинова, о молодом Артуре Морлендере, о маске, еще о молодом Морлендере, еще о маске. Выяснилось: об Артуре предпочтительно говорила Клер, о маске предпочтительно говорила Грэс.

— Этот твой Артур — порядочная мямля,— вырвалось у дочери сенатора к концу разговора,— по крайней мере скажи, видел ли он хоть разочек мою маску?

— Мистер Морлендер не интересуется кокотками,— сухо ответила Клер,— у него все мысли поглощены местью. Ведь ты знаешь, его отца убили большевики, это теперь окончательно доказано. Он собирается поднять против них всю Европу.

— Фи, как глупо, Клер, знаешь что: мне очень хочется, чтоб ты посмотрела на маску, мне интересно узнать твое мнение. Она — шик, изящество, прелесть, ну, я сказать тебе не могу, что она такое. А главное, она мне кажется ужасно несчастной.

— Грэс, повторяю тебе, ни я, ни Артур, мы не интересуемся подобными женщинами.

— Ты говоришь таким тоном, будто вы помолвлены.

Клер вспыхнула, Грэс надулась. Разговор был прерван. Мисс Ортон посмотрела на часы, тихонько встала со своего места, незаметно надела шляпку, опустив на лицо вуаль, простилась с обеими девушками и, прихрамывая, вышла из музыкальной.

Клер с удивлением проводила ее глазами:

— Грэс, я не могу понять, почему ты берешь уроки у этой безобразной, горбатой, хромоногой старой девы, похожей скорее на прачку, чем на музыкантшу. Ведь ты могла бы найти себе превосходного учителя!

Грэс вскочила с места и плотно притворила дверь; она вспыхнула от гнева:

— Стыдись! — шепнула она подруге.— Мисс Ортон еще не успела спуститься с лестницы, она, наверное, все слышала. И совсем она не урод, а...

Тут Грэс остановилась и сообразила, что она ни разу, н и р а з у н е задумалась о наружности мисс Ортон. Тряхнув кудрями, девушка принялась вспоминать свою учительницу, ее лицо, глаза, улыбку, руки; правда, глаз она не поднимала и безобразила их очками, руки носила в перчатках от ревматизма, волосы гладко зализывала в сетку, улыбалась раз в месяц, но все-таки, все-таки, если вспомнить... Лицо Грэс озарилось положительно торжеством. Она взглянула на подругу победоносно и закончила неожиданно для самой себя:

— А все-таки я тебе скажу — мисс Ортон красавица.

Глава десятая



УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ И НОТАРИУС

Бедная мисс Ортон слышала все, что сказала Клер. Повидимому, это не слишком огорчило ее. Она только застегнула на груди вязаную кофточку и стала еще

сильнее прихрамывать. Дойдя до Седьмой авеню, она села в автобус, ехала с полчаса и слезла как раз напротив темного старого дома в стиле прошлого столетия, одного из немногих обломков старины, сохранившихся в Нью-Йорке.

Прошло несколько минут, прежде чем ей отворили. Мальчик в куртке с позументами спросил ее хриплым голосом (лицо его было красно от слез):

— Кого вам надо?

— Мне нужно видеть нотариуса Крафта. Вот моя карточка.

Мальчик с изумлением глядел на девушку, в то время как рука его машинально приняла карточку.

— Дома нотариус? — повторила она еще раз.

К мальчику подошел старый негр, лицо которого также распухло от плача. Он дрожащей рукой отстранил его и произнес:

— Мисс извинит нас. Мисс не может видеть нотариуса. Масса Крафт больше недели как умер, попал под автомобиль.

— Умер? Боже мой, боже мой!

Мисс Ортон казалась совершенно потрясенной. Она побелела так, что негр сочувственно поддержал ее и, доведя до плетеного кресла, предложил ей сесть:

— А как же теперь его бумаги? Кто-нибудь заменяет нотариуса?

— Там, наверху, в кабинете покойника вам дадут справку,— мрачно ответил ей негр, и его круглые глаза сверкнули, как у дикого зверя.— Не успел масса умереть, как уже сюда пришли хозяйничать, завладели всеми его бумагами, взломали шкафы, а потом запечатали красными печатями. Да, уж заменить-то его заменили, без всякой совести, мисс может быть спокойна. А нам, старым и верным слугам его, выходит расчет.

Девушка выслушала негра и молча двинулась по лестнице. Но на полпути она остановилась и повернула голову в его сторону.

— Скажите мне,— шепнула она как можно тише,— как имя того, кто заменяет мистера Крафта?

Негр посмотрел на нее снизу вверх, все так же мрачно сверкая глазами, и ответил негромко:

— Это сущий дьявол, мисс. Беда всем и каждому, кто станет иметь с ним дело. А имени его сказать вам никак не могу. Знаю только, что помощники величают его синьором Грегорио.

Мисс Ортон поднялась по лестнице, на этот раз уже не оборачиваясь, и вошла в общую канцелярию.

Здесь сидели бывшие помощники Крафта, все те, кому должен был «выйти расчет», и его молодой секретарь Друк. Он сдавал дела новому секретарю, и четверо маленьких смуглых людей усиленно заглядывали ему за плечо. Все они были, повидимому, заняты разбором бумаг, оставшихся после Крафта.

Мисс Ортон обвела их глазами. Потом, повинуясь тому верному инстинкту, какой бывает у очень чутких людей, попавших в беду, она двинулась прямо к Друку.

Это был молодой человек со смышленым широким лицом, пухлыми щеками и ямочкой на подбородке. Близко знавшие Друка сказали бы, что он притворяется глупее и легкомысленнее, чем он есть на самом деле. В данную минуту Друк изобразил такое простодушие, такое беспамятство, такую придурковатость, что четверо смуглолицых молодчиков переглядываются друг с другом, пожимая плечами, и один за другим отходят от него к более интеллигентным, а потому, видимо, и более интересным для них старым помощникам нотариуса.

Вот к этому-то дурачку и направилась мисс Ортон. Подойдя, она подняла вуаль, сняла с глаз очки и посмотрела ему прямо в глаза. Друк оцепенел на месте, как загипнотизированный. Тогда мисс Ортон снова надела очки, спустила вуалетку и тихо произнесла:

— Я пришла сюда с большой просьбой. Умер Морлендер, чье завещание должно находиться у нотариуса Крафта. Я пришла узнать содержание этого завещания.

— Как ваше имя? — спросил Друк безмятежно, подмигивая ей очень выразительно на смуглолицых.

— Мисс Ортон.

— Мисс... как? Буртон, Мортон... Ага, Ортон.— Он написал что-то на бумаге и протянул ее девушке.— Вот, будьте добры, попросите у курьера перед той дверью, чтоб он пропустил вас прямехонько к синьору Грегорио,

назначенному уполномоченным по принятию архива нотариуса Крафта.— Говоря так, он снова выразительно подмигнул ей, на этот раз на бумажку.

Мисс Ортон прочла бумажку. В ту же минуту один из смуглолицых подошел к ней вплотную, стараясь заглянуть ей в руки. Ему это не удалось, и он сердито промолвил:

— Эй, Друк, что вы такое написали мисс?

— Мое собственное имя,— вмешалась мисс Ортон спокойным и тихим голосом, складывая и пряча бумажку в сумочку,— вероятно, для передачи курьеру. Спасибо, мистер Друк, если вас так зовут,— обратилась она к секретарю, снова принявшему придурковатый вид,— только в этой записке нет надобности, у меня ведь есть своя карточка.

Она вынула из сумочки карточку и передала ее смуглолицему.

Тот, сердито ворча и поблескивая кофейными глазками, взял карточку и лично прошел за темиую дубовую дверь.

Через несколько минут он вышел оттуда. Выражение его лица резко изменилось. Сияя любезностью и отвесив два-три поклона, он пригласил мисс Ортон к синьору Грегорио, все время пятясь перед ней к двери, подобно опереточному лакею. Как только она вошла и дубовая дверь за ней захлопнулась, он сделал какой-то жест своим товарищам. Тотчас же один из них, тот, кто сидел в непосредственной близости к телефону, взял трубку и по внутреннему номеру шепотом сообщил кому-то, что «Нетти идет купить новую шляпку».

Мы не знаем, понравились ли все эти манипуляции белобрысому Друку, так как на лице его было безмятежное спокойствие, а судя по овечьему выражению глаз, он вряд ли особенно толково рассортировывал находящиеся перед ним рукописи.

Тем временем мисс Ортон переступила порог большой комнаты с тяжелой кожаной мебелью и цветными готическими окнами, где когда-то нотариус Крафт принимал своих посетителей. Она вошла, сильно прихрамывая и болезненно сутулясь. И в ту же секунду, хотя ни в человеке, находящемся в комнате, ни в самой

комнате не было ничего особенного, вещий инстинкт прошел холодком по ее позвоночнику и зашевелил волосы на голове от ужаса.

Сидевший за столом человек в черном только что положил телефонную трубку. Рукою, затянутой в черную перчатку, он поднес к глазам ее карточку.

— Вы мисс Ортон? Присядьте, пожалуйста,— это был самый банальный голос в мире.

Она села, и ей понадобилось несколько мгновений, чтобы оправиться. В это время незнакомец пристально оглядел ее с головы до ног и снова спросил.

— Итак, мисс Ортон, вы одна из клиенток покойного Крафта. Чем могу вам служить?

— Я не клиентка нотариуса Крафта. Я пришла просить вас об одной исключительной любезности. Мне известно, что Иеремия Морлендер перед отъездом в Европу оставил завещание. Теперь он умер. Не можете ли вы познакомить меня с его завещанием?

— Нет ничего легче, мисс Ортон. К сожалению, я должен сообщить вам, что завещание, о котором вы говорите, не найдено в бумагах Крафта, да оно к тому же и уничтожено последующим завещанием покойного, составленным в России. Вот вам точная копия этого последнего.

Он протянул мисс Ортон бумагу, и девушка прочла документ, уже известный читателю. Прочтя его дважды, она встала и вернула бумагу незнакомцу.

— Благодарю вас. Вы не помните, не упоминается ли имя Ортон в каких-нибудь бумагах Крафта?

— Этих бумаг очень много. Но, сколько помню, я не встречал вашего имени.

Говоря так, он еще раз пристально оглядел девушку. Сквозь очки и вуалетку мисс Ортон тоже взглянула на него и тотчас же, содрогнувшись, опустила глаза. Между тем перед ней был только безукоризненно одетый мужчина со смуглым лицом, черными усами и бескровными желтыми губами.

Мисс Ортон снова вышла в канцелярию, прихрамывая сильнее обыкновенного, и, простившись кивком головы со стряпчими, спустилась на улицу. Здесь она некоторое время медлила, высматривая, нет ли где

доброго старого негра, впустившего ее в дом. Потом побрела к остановке омнибуса и, укрывшись в тень большого металлического зонтика, за спиной дремлющего толстяка, прочла еще раз записочку, врученную ей Друком. Там стояло:

«Бруклин-стрит, 8, Друк, в 4 часа».

— Повидимому, этот Друк что-то знает. Но кто и по какому праву хозяйничает в архиве Крафта? — Она твердо решила пойти по указанному ей адресу, а чтобы заполнить оставшееся время, направилась на набережную. Миновав два-три квартала, она вышла к сияющей ленте Гудзона, в этом месте почти пустынной. Не было видно ни пароходов, ни моторных лодок. Внизу, под гранитами набережной, шла спешная майская починка водопроводных труб. На развороченной мостовой отдыхали два блузника, молодой и пожилой, с аппетитом уписывавших колбасу.

Мисс Ортон шла вдоль берега, совсем не замечая того, что вслед за нею плетется неотступный спутник. Это был тщедушный смуглый мужчина, с ходившими под блузой лопатками, со слегка опухшими сочленениями рук. Глаза у него были впалые, тоскующие, унылые, как у горького пьяницы, на время принужденного быть трезвым. Под носом, над бескровными желтыми губами, стояли черные кошачьи усы. Он шел, поглядывая туда и сюда, как вдруг, в полной тишине, за безлюдным поворотом, он вынул что-то из-за пазухи, бесшумно подскочил к мисс Ортон и взмахнул рукой. Мгновенье — и несчастная девушка с ножом между лопатками, без крика, без стона, свалилась с набережной в Гудзон. С минуту человек подождал. Все было пустынно попрежнему. Тогда он повернулся и исчез в переулке.

Блузники, докончившие колбасу, вернулись к работе.

— Виллингс,— сказал один из них,— мне это не нравится. Тут проходила хромая девушка, а сейчас от нее и следа нет, точно в воду канула.

— Я тоже слышал всплеск воды. Спустимся, Нэд, пониже да стукнем Лори,— он заливает трубы под самой набережной.

— Ладно! — ответил тот и спрыгнул в отверстие.

Глава одиннадцатая

ДРОВЯНАЯ БАРКА

Не только на металлургическом заводе в Светоне продолжается забастовка. Ее подхватили, кроме телеграфистов и почтовиков Ровен-Квера, почти все заводы и фабрики Миддльтоуна. Одна деревообделочная — гордость мистера Кресслинга — верна своему хозяину и не бастует.

А чтобы не голодать, рабочие послушались совета Мика и разбрелись кто куда работать сдельно — и проверять, между прочим, микроскопические «мм» на установках, тайна которых никому, кроме союза «Мессменд», неизвестна ни в Старом, ни в Новом, ни на том, ни на этом свете.

Молодому Лоренсу Лену с «Секретного», тоже на днях объявившего забастовку, досталась заливка дырявых труб глубоко под набережной, возле самого Гудзона. Волны так и хлещут к ногам Лори, угнездившегося на двух металлических стержнях и работающего с бензиновым паяльником в руке. С раннего утра, в неудобной позе, Лори штопает и штопает трубы, не свистя и не напевая, чтоб не потерять равновесия и не бухнуться в воду. Наконец, сильно устав, он воткнул свои принадлежности глубоко в дыру между плитами, расправил, насколько возможно, кости и вынул из-за пазухи кусок хлеба. Но не тут-то было. Не успел он поднести его ко рту, как что-то пролетело сверху мимо него, перевернулось в воздухе и тяжело ухнуло в Гудзон.

«Странно,— подумал Лори,— уж не самоубийца ли? Ведь всякий другой крикнул бы или забарахтался, а от этого одни круги пошли».

Он пристально поглядел в воду, ничего подозрительного не заметил и снова принялся за еду.

Однако его снова прервали. Слева, из темного туннеля, откуда он добрался до своего места, раздался стук, и до его слуха долетело знакомое:

— Менд-месс.

— Месс-менд,— поспешно ответил Лори, ухватившись за свои кольца и акробатически спрыгнув в туннель.— Кто тут? В чем дело?

Из туннеля вынырнули замазанные глиной головы Виллингса и его приятеля Нэда.

— Слушай-ка, Лори, тут мимо тебя не падал в воду человек?

— Упал тяжелый предмет, а какой — я не видел. Крику никакого не слышал.

— Лори, кажись, это была хромая девушка. Мы видели, как она шла, а потом исчезла невесть куда.

— Странно,— ответил Лори,— обождите меня, ребята, ведь я отлично ныряю. Уцепитесь за мои кольца и глядите, не вытащу ли я чего. Если долго не покажусь, бросайтесь мне на выручку.

— Ладно,— ответили блузники,— только куда ты ее денешь, если вытащишь?

Лори задумчиво оглядел Гудзон. Он был пустынен в этом месте, за исключением небольшой заводи, где стояла старая барка, груженная дровами. В этот час на ней не было ни единой живой души.

— А вон на ту барку,— беспечно ответил он, скинул с себя железные клешни и цепь, при помощи которых висел на своем рискованном выступе, взмахнул руками и, описав дугу, полетел вниз головой в Гудзон.

Виллингс и Нэд между тем уцепились, кряхтя и брыкаясь, за железные кольца, уперлись коленями в стержни и стали смотреть туда, где расходились теперь широкие круги.

— Ловкий паренек,— сказал Виллингс,— он у нас в союзе не более, как с неделю. Так и смотрит Тингсмастеру в рот.

— Это немудрено,— ответил Нэд,— умней нашего Мика не было, нет, да, пожалуй, и не будет.

— Чего это он не выплывает? Я сосчитаю до ста, а ты гляди... Ну, что, показался?

— Нет.

Виллингс опять сосчитал до ста. Но Лори все не показывался. Тогда они решили броситься вслед за ним, раскачались на кольцах и неуклюже ухнули туда, где

исчез Лори. Через несколько секунд оба всплыли, фыркая, и в ту же минуту увидели Лори. Он плыл в нескольких саженях от них, таща за собой какой-то тяжелый предмет, и кричал им во весь голос. Ветер относил, однако, его слова в сторону, и они ничего не могли разобрать. Посоветовавшись, оба решили плыть вслед за Лори. Спустя некоторое время, тяжело дыша и отплевываясь, оба блузника доплыли до барки, где Лори поджидал их, не в силах поднять собственными силами свою тяжелую находку.

Это была женщина в темном платье и вязаной кофте, видимо потерявшая сознание. Лицо ее было плотно окутано вуалью, слипшейся в синий непроницаемый комок. Одна нога казалась длиннее другой.

— Ну так и есть, хромая девушка,— вскричал Виллингс,— кто ж это столкнул бедняжку в воду! Жива она, Лори?

— А вот посмотрим,— ответил тот.

Все трое втащили ее на барку и здесь согласно правилу спасения утопленников перевернули ее лицом вниз. В ту же минуту они громко вскрикнули: у несчастной девушки торчал между лопатками нож.

— Убийство,— глухо пробормотал Виллингс,— черт побери, Лори, это скверная штука! Оставь девушку, как она есть, а Нэд пусть сбегает за полицией и врачом.

— Погоди,— ответил Лори, это что-то непонятное. Видели вы когда-нибудь, братцы, чтоб нож проткнул человека без единой капельки крови? Здесь ее нет и в помине, платье чистехонько, и вода была без кровинки.

Он подошел к девушке, дотронулся до ножа, а потом, став на колени, принялся щупать ей спину. Улыбка раздвинула ему рот чуть ли не до ушей. Резким движением он сорвал с девушки кофту вместе с куском спины и торчавшим в ней ножом. Блузники ахнули.

— Должно быть, это профессиональная нищая,— сказал Лори,— бедняга носила искусственный горб для пущей важности. Внесем ее под навес и приведем в чувство.

Они внесли девушку в глубину барки, где была устроена под куском брезента убогая ночлежка, положили ее на солому и принялись стягивать с нее липкую

вуаль. Это оказалось нелегким делом. Когда же Лори, орудуя перочинным ножом, сорвал с лица девушки синий пластырь, оказалось, что краска с вуали порядочно-таки высинила лицо. Виллингс, невольно улыбаясь, принес в пригоршне воды. Лори снял с девушки круглые темные очки и принялся обмывать лежавшую перед ним утопленницу. Каково же было удивление всех троих, когда, смыв синюю краску, они увидели перед собой лицо дивной, безупречной красоты.

— Эге! — сказал Лори, срывая безобразную сетку, и по плечам девушки рассыпались мокрые каштановые локоны.— Такой нечего было нищенствовать. Чем просить полцента фальшивым горбом, она могла бы загребать сотни долларов своим личиком.

— Да ведь бедняжка была хромая! — жалостливо произнес Нэд.

— Хромая? — протянул Лори.— А вот посмотрим, какая она хромая.

Он нагнулся к ногам и не без удивления оглядел огромные толстые ноги девушки. Надо сознаться, они были пребезобразны, и одна нога чуть ли не на два вершка длиннее другой.

— Гм, Лори, красотка-то, как видно, разочаровала тебя? — спросил Виллингс.

Но Лори бросился стягивать с девушки высокие, грубые башмаки. Они вымокли, и затея была не из легких. Когда же она удалась, Лори с торжеством сунул в нос насмешнику сапожище с искусственной пяткой, отлитой из чугуна, и радостно объявил:

— Я теперь понимаю, почему она не всплыла, а прямехонько пошла ко дну. С этакой гирей ей бы ни в жизнь не всплыть, не подцепи я ее за платье на самом дне.

Виллингс и Нэд на этот раз промолчали. Сильно заинтересованные, они стянули с девушки, вместе с чулками, целую кучу ваты и тряпок, обнажив две белые, как мрамор, миниатюрные ножки. Перед ними лежала теперь, едва прикрытая остатками мокрой одежды, совершеннейшая красавица.

— Н-да,— сказал Виллингс задумчиво,— тут есть тайна, братцы. Дадим знать Мику.

— Но прежде дадим ей самой виски,— ответил

Лори, открыв девушке рот и влив в ее стиснутые зубы живительной влаги.

Прошло несколько мгновений, в продолжение которых все трое невольно любовались красавицей. Наконец, она вздохнула и открыла синие, как фиалки, глаза.

В ту же секунду смертельная бледность разлилась по ее лицу и шее. В глазах сверкнул дикий ужас. Она вскрикнула, вскочила и бросилась в глубину барки.

— Успокойтесь, мисс! — закричал ей вдогонку Лори.— Право, успокойтесь. Мы честные ребята, рабочие здешних мест. Мы вас выволокли со дна Гудзона. А ежели мы сняли с вас горб и пятку, так не беда. Будьте спокойны, в секреты ваши мы не вмешиваемся.

Несчастная повернулась и снова подошла к ним, оглядев каждого из них внимательным взглядом.

— Я хочу верить вашим словам,— сказала она медленно,— вы спасли меня, и это хорошо. Но вы можете подвергнуть меня в тысячу раз худшей участи, чем гниение на дне Гудзона, если выдадите меня кому бы то ни было.

Лори переглянулся с товарищами:

— Беру в свидетели Мика, что не выдадим вас, мисс. Ни я, ни они,— торжественно произнес он.— Сильнее этого слова у нас нет. А если вам нужна помощь, то мы можем оказать вам такую, о какой вам и во сне не мерещилось.

— Хорошо,— ответила девушка.— Пусть же кто-нибудь из вас даст мне свою одежду, уничтожив остатки моей собственной, а остальные отведут меня куда-нибудь в сокровенное место и спрячут, потому что в целом Нью-Йорке у меня нет сейчас безопасного приюта.

Прежде чем она договорила свою просьбу, Лори скрылся за брезент и бросил оттуда свои сапоги, штаны и куртку. В это время Виллингс и Нэд собрали в комок ее одежду, привязали ее к тяжелым башмакам и бросили в воду.

— Ребята,— крикнул им Лори,— отвезите мисс в Миддльтоун, прямо на квартиру к Мику, да смотрите, чтоб ни единого волоска с ее головы...

— Ладно, молчи уж. Сиди тут голышом, пока мы не пришлем кого-нибудь.

— И еще одна просьба,— вмешалась девушка, превратившаяся в красивого мальчика-подростка с каштановыми локонами, рассыпавшимися по плечам.— Когда вы получите одежду и выберетесь с барки, не откажите сходить к мистеру Друку на Бруклинстрит, 8. Сообщите ему, что пришли от мисс Ортон, только что сделавшейся жертвой убийцы, но спасенной вами. И пусть он вам передаст все то, что намеревался передать мне. Поняли?

— Точка в точку,— ответил Лори из-за брезента.— Будет исполнено, мисс!

Он долго смотрел в дырочку, как его товарищи вели с барки по головокружительным мосткам на берег прелестного мальчика.

Глава двенадцатая

МИК ТИНГСМАСТЕР ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Стемнело. Длинный рабочий день в Миддльтоуне подходил к концу. Высыпали гурьбой измученные рабочие с тех немногих заводов и копей, которые не примкнули к забастовке. Побежали работнипы и рабочие из распахнутых дверей деревообделочного. Только на единственном работающем цехе «Секретного» еще горели огни и будут гореть всю ночь, хотя этого никому не видно из-за щитов забора, не видио и сверху для летчика; «Секретный» Джека Кресслинга работает круглосуточно.

А вот и сам Джек. Он катит верхом на серой английской кобыле в горы, туда, где сияет тысячью огней его необыкновенная вилла «Эфемерида», построенная со сказочной роскошью. Покуда мягкие серебряные копыта кобылы легко касаются специальной ездовой дорожки, построенной для хозяина города рядом с обычным шоссе, рабочие Кресслинга, измученные тя-

желым днем, разбредаются по своим жилищам. Рабочие Джека живут хуже собак. Не потому, что им платят мало,— нет, наоборот, им платят много. Джек Кресслинг изобрел свою систему оплаты. Он держит рабочих только до тридцатилетнего возраста. Чуть отпраздновал свои тридцать лет — иди на все четыре стороны, уступи место другому. А пока тебе еще семнадцать, двадцать, двадцать пять — Джек Кресслинг дает. Он дает щедро,— пригоршнями долларов каждую субботу из платежной кассы. Но он дает не даром,— работайте, работайте, работайте, еще час, еще час, еще час... И, задыхаясь от мысли, что после тридцати — конченный век,— их ждет нищета и безработица уже до самой могилы,— рабочие Кресслинга, в надежде приберечь хоть что-нибудь на черный день, спеша как безумные, работают, работают, работают десять, двенадцать, четырнадцать, а после четырнадцати еще и шестнадцать, двадцать, двадцать четыре часа в сутки, перенося свой сон единожды на трое суток, перекусывая тут же у станков, грызя кофейные семечки для подхлестыванья энергии и ясности мозга. Но если вы думаете, что они этаким способом хоть что-нибудь да накопят себе ко дню, когда отпразднуют (или оплачут) свое тридцатилетие, то пойдите навестите их, только не в рабочий поселок Миддльтоуна, а пониже, на миддльтоунское кладбище: там они лежат все рядом, и над каждым из них Джек Кресслинг не поскупился поставить памятник.

Впрочем, так оно было пять лет назад. Теперь это не так. С тех пор как на деревообделочном поднял голову белокурый гигант, Микаэл Тингсмастер, люди работают и работают, но не больше положенного, и уже не умирают к тридцати годам; а между губами их, как кролик в норе, сидит себе комочком улыбка. Мик Тингсмастер знает, что делает. Недаром побежали отсюда, во все стороны Америки и за ее пределы, на могучие теплоходы, на самолеты и дирижабли, на поезда и автобусы, в отели и конторы две крохотные, микроскопические буквочки «мм» и недаром все больше и больше рабочих по ту и эту сторону океана знают, что они обозначают и как ими пользоваться.

Мик Тингсмастер живет не в поселке. Он построил себе хибарку из деревянных отбросов на окраине Миддльтоуна, возле самой телеграфной вышки. В этой хибарке он проводит те два-три часа в сутки, какие остаются ему после большой и в высшей степени разнообразной деятельности. Спать он умеет и сидя и на ходу. Но ест неизменно дома, принимая из рук старой стряпухи большую миску с ароматной, известной всему Миддльтоуну «похлебкой долголетия», варить которую старуха умеет в совершенстве. Тут и кусочки мясных хрящиков, и картошка, и лук, и пастернак, и морковь, и перец, и еще какая-то целебная травка, присланная Мику ребятами-нефтяниками из Мексики. У Мика нет ни жены, ни детей. Покуда он ест похлебку, под столом у ног его расположилась огромная собака Бьюти, верный друг и товарищ Тингсмастера,— умильно следя глазами за каждым взмахом его руки.

Только-только ударила деревянная ложка Мика в полуочищенное дно заветной миски, а Бьюти, облизываясь, проглотила брошенный ей хрящик, как дверь хибарки приотворилась без стука, и в нее заглянул пожилой маленький человек с небольшой бородкой. Прежде чем продолжать наш рассказ, отрекомендуем читателю этого пожилого человека.

Кто из вас не знает об Эдисоне? Слава его ходит по всему земному шару.

А знает ли кто техника Сорроу? Никто.

Техник Сорроу, несмотря на свой возраст, почти всегда в движении. Он любит прохаживаться, заложа руки за спину. Он почти никогда не сидит: он ходит, работая, ходит, говоря с вами, ходит, обедая, и даже ходит, сидя,— последнее возможно лишь потому, что техник Сорроу изобрел себе подвижную сиделку, род ходячего стула. Он любит поговаривать, примешивая иной раз и латинское словцо: «Жизнь — движение, смерть — неподвижность; чуть зазевался, присел — и она тебя, братцы, цап за лохмы. Вот тут-то и pax vobiscum, как поют католические попы».

Ходил слух, что еще мальчишкой техник Сорроу был другом-приятелем Эдисона. Однажды они разговорились за рабочим станком.

— Эх,— сказал будто бы Эдисон,— уж я выдумаю такую штуку, что все люди ахнут. Короли будут здороваться со мной за руку, самые почтенные профессора придут у меня учиться.

— А потом что? — спросил Сорроу.

— А потом буду жить и изобретать. Жить буду в собственном дворце, а изобретать чудеса за чудесами.

Сорроу смолчал на эти речи. Сказать по правде, они ему не понравились.

«Что же это такое? — подумал он про себя.— Не по-товарищески рассуждает Эдисон. Сам рабочий, а думает о королях. Посмотрим, куда он загнет».

Эдисон загнул как раз туда, куда собирался. Телефоны, граммофоны, фонографы, трамваи, бесчисленное множество чудес попало в руки богачей и королей, умножая их удобства и украшая их жизнь.

— Вот что может сделать простой рабочий! — сказал Эдисон на приеме у одного короля, здороваясь с ним за руку.

Бывшие товарищи Эдисона гордились им. Рабочие частенько пили за его здоровье, пропивая свой недельный заработок. Техник Сорроу молча глядел на все это и качал головой

— Завистник,— говорили ему на заводе.

Но техник Сорроу продолжал молчать и покачивать головой. В ту пору он был помощником у инженера Иеремии Морлендера на сталелитейном заводе Кресслинга. Он чинил машины, подлечивал винтики, смазывал, спрыскивал, разбирал и собирал негодные машинные части,— словом, был на заводе мелкой сошкой. Но острый взгляд Иеремии Морлендера сразу подметил необыкновенные изобретательские способности техника Сорроу. Он приблизил его к себе, научил черчению, проектировке, высшей математике. По мере своего стремительного продвижения по служебной лестнице, Иеремия Морлендер тянул за собою и свою правую руку — техника Сорроу. Но ни Морлендер, ни сам Джек Кресслинг не имели над ним никакой власти. Предложи они ему миллион за лишний час работы, а техник Сорроу и не моргнет. Снимет свой синий фартук, помоет руки под краном, заложит их себе за спину и уйдет

домой, посвистывая какую-то песенку. А что он делал дома, об этом не знал никто, даже его квартирная хозяйка.

В тот день, когда Микаэл Тингсмастер произнес свою первую речь, положившую начало новой миддльтоунской эре, техник Сорроу постучался к нему после работы, вошел, запер дверь и заговорил:

— Тингсмастер, ты именно тот человек, которого я жду тридцать лет. Сунь руку ко мне в карман!

Мик Тингсмастер сунул руку ему в карман, вытащил оттуда сверток бумаг и вопросительно поглядел на техника Сорроу.

— Ходи рядом со мной и слушай,— шепотом сказал Сорроу. Так они ходили весь вечер, всю ночь и все утро, вплоть до рабочего гудка. А спустя некоторое время побежали из всех фабрик, из всех заводов, с копей, рудников, доков, верфей, с мельниц, с элеваторов, из депо, из гаражей, из ремонтных мастерских веселые значки «мм» на веселых вещах, обученных всем секретам техника Сорроу.

Вот этот маленький, незаметный человек с лицом, исполосованным целой сетью мелких, заботливых морщинок, заглянул сейчас в хибарку Тингсмастера с очень серьезным выражением в глазах.

— Мик,— сказал Сорроу, после того как они обменялись крепким рукопожатием и стряпуха поставила перед ним дымящуюся всеми ароматами ее кухни деревянную миску с «похлебкой долголетия»,— Мик, товарищ,— произошло нечто. Я получил письмо от инженера Морлендера.

— Старшего? младшего?

— От самого Иеремии Морлендера. Почерк его, марка советская, опущено в России. Пишет в ярости — призывает меня торопиться в нашем цехе с окончанием работы, уверяет, что, пока не прикончим с заразой русского коммунизма, нам не будет ни дня покоя, что русские вздумали уничтожить Америку и американцев, что сам он, своими глазами и ушами, имел случай в этом убедиться и что отныне судьба мира находится в наших руках, в руках «Секретного завода» Джека Креслинга.

— Что-то непохоже на речь Иеремии!

— А тотчас за получением письма узнаю, Мик, о его смерти. Ты сам читал в газетах, будто бы труп Морлендера, найденный ночью в Петрограде, был со всеми предосторожностями препровожден к нам представителями нейтрального государства, аккредитованного в России, и что будто бы у нас уже имеются доказательства в руках о насильственной смерти Морлендера от руки большевиков.

— Но ведь русские напечатали опровержение!

— А мы его не перепечатали. Но слушай дальше. Нынче, по окончании смены, вызывают меня в кабинет самого Кресслинга. И там мне говорят, что я буду назначен на «Секретном» главным инженером и с первого дня должен буду форсировать некую работу, известную у нас под шифром «АО».

— Взрывчатые часы на дистанцию в полкилометра?

— Вот именно!

— Мы на деревообделочном готовим для них эбеновый футляр.

— Как же мне быть, Мик? Ведь с той минуты, как меня назначат, а это не позже, как через три дня,— я не посмею шагу ступить без проверки и обыска, не смогу выехать за назначенную линию... Сноситься с тобой и с нашими ребятами нечего и думать, разве что — отказаться от этой работы. А, сам понимаешь, успех наш зависит от того, чтобы мне забрать дело в свои руки и ни в коем случае не отказываться!

— Да,— медленно ответил Мик, отодвигая пустую миску,— положенье сложное. Даже и сейчас, до того как ты приступишь к работе, он следит за тобой в сотню глаз. Нам нельзя, никак нельзя наводить подозренье на наш союз. И самое главное — ведь мы еще не собрали всех нитей, не знаем всего, что замышляется. А ждать нам тоже особенно...

Бьюти выскочила из-под стола и кинулась, грозно залаяв, к двери.

Тук-тук-тук,— раздалось не очень громко, но очень настойчиво.

Тук-тук-тук-тук!

Глава тринадцатая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДРУКА

Как только кончились занятия в конторе Крафта, мистер Друк широко зевнул, изобразил на лице блаженное утомление, поглядел в зеркальце, пригладил волосы и, добродушно простившись со своими коллегами, отправился, помахивая тросточкой, восвояси.

Мистер Друк был парень хоть куда. Он отлично знал, что люди не имеют глаз на спине. Но, с другой стороны, ему было известно, что часовые и ювелирные магазины имеют двойные зеркала, заменяющие вам любой глаз, куда бы его ни приставили. В то же время мистер Друк собирался, видимо, завести себе новые запонки, так как восхищению его перед витринами ювелира Леонса положительно не было пределов. Широко раскрыв рот и пожирая глазами пару алмазных запонок, мистер Друк стоял до тех пор, покуда не разглядел человека, неотступно за ним следовавшего. Тогда он вошел в магазин, купил запонки, разговорился с ювелиром о том о сем, вышел с черного хода на другую улицу и на трамвае добрался к себе на Бруклин-стрит. Дело в том, что мистер Друк начитался Габорио и Конан-Дойля. Мистеру Друку давно уже хотелось быть замешанным в какое-нибудь чудовищное преступление в качестве сыщика. И вот надежды его как будто начинали сбываться.

Придя домой и наскоро пообедав, он заперся у себя, поднял коврик возле постели, а потом паркетную плиту, вынул оттуда конверт, на котором бисерным почерком мистера Друка было написано.

Тайна Иеремии Морлендера,

вытащил из него несколько листов, приписал к ним еще страничку, а потом спрятал все это на старое место. Сделав это, Друк придвинул к себе еще один лист и

написал генеральному прокурору штата Иллинойс следующее забавное письмо.

«Господин прокурор,

опасаясь за свою жизнь, прошу вас быть начеку. Я держу в руках нити загадочного происшествия. Если меня убьют или я исчезну, прошу вас немедленно вынуть конверт из тайника в моей комнате на Бруклинстрит, 8, двенадцатый паркетный кусок от левого окна, прочитать его и начать судебное расследование. Пишу именно вам, а не кому другому, так как вы отличаетесь любовью к уголовным тайнам.

Стряпчий *Роберт Друк*».

Написав и запечатав письмо, он взглянул на часы и подошел к окну. Был теплый день, миссис Друк держала окна в его комнате открытыми. Отсюда был виден кусок улицы, и мистер Друк разглядел черный автомобиль, остановившийся у подъезда. Сердце его приятно сжалось, когда взору его представились четверо смуглолицых, один за другим выскочивших из автомобиля.

— Начинается,— шепнул он про себя с восторгом,— четверо против одного!

Он положил запечатанный конверт, адресованный генеральному прокурору Иллинойса, на подоконник, прикрыл его шторой, а сам лег на кушетку, притворяясь спящим. «Интересно знать,— думал он,— с чего они начнут? Уж не предложат ли мне миллион долларов за участие в деле?»

Но встреча с коллегами оказалась гораздо прозаичнее, чем мечты мистера Друка. Они вошли к нему в комнату, плотно заперли двери, и один из них шепотом сказал Друку:

— Слушайте-ка. Синьор Грегорио не намерен лишать вас доброго имени, он хочет кончить дело тихо. Вы обокрали кассу Крафта. Сейчас же верните деньги, или мы обратимся к полиции.

Друк вскочил с кушетки, разинув рот. Круглое лицо его. приняло глупое, оскорбленное выражение,

уши покраснели, как у мальчишки,— и на этот раз мистер Друк ни чуточки не притворялся.

— Как вы смеете,— заорал он свирепо,— вы сошли с ума!

— Не кричите, Друк, чтоб не взвинчивать нервы у вашей матушки. Докажите, если это не вы; ключ от кассы был у вас. Она отперта и обчищена до последнего цента.

— Да ведь я ушел! — изумленно воскликнул Друк.

— Извольте-ка пойти и посмотреть, кто это мог сделать без вас.

Друк лихорадочно схватил шапку и побежал вниз, даже не простившись со своей матерью. Он был вне себя. Он забыл Конан-Дойля и генерального прокурора. Он дрожал от оскорбления, как только могут дрожать честные молодые люди двадцати двух лет с таким круглым лицом и голубыми глазами, как у мистера Друка.

Смуглолицые сели в автомобиль, и Друк вместе с ними. Шофер тронул рычаг, автомобиль помчался стрелой. Клерки рассказывали друг другу о различных случаях покраж, произведенных секретарями. Они возмущались и негодовали. Они намекали на излишек доверия, оказанный кое-кому. Друк краснел и пыхтел, он готов был оттузить всех четырех. Как вдруг, выглянув в окно, он увидел странную вещь: это совсем не было дорогой в контору Крафта! Они мчались по пустынному береговому шоссе, они выезжали из Нью-Йорка, они летели неизвестно куда, только не к Крафту...

— Эй! — воскликнул он, и в ту же минуту оглушительный удар свалил его с ног. Через секунду Друк сидел смирно с кляпом во рту и крепко связанными руками. А еще через полчаса автомобиль подъехал к глухому черному забору на пустынной дороге. За этим глухим забором расстилался парк, где бродили невидимые с улицы тихие люди в белых халатах. Несколько рослых мужчин в белых фартуках и с красным крестом на рукаве вытащили барахтавшегося мистера Друка из автомобиля, подняли его, как котенка, и внесли в огромное мрачное здание с многочисленными коридорами и нумерованными дверями.

— Опасно-буйный,— сказал кто-то металлическим голосом,— посадить его в номер сто тридцать два.

И мистер Друк был посажен в номер сто тридцать два, где он должен был исчезнуть, по всей вероятности, навсегда. Смуглолицые клерки простились с санитарами, ворота снова захлопнулись, автомобиль покатил назад.

Я мог бы уже закончить эту неприятную главу, если б в дело не вмешалась самая обыкновенная ворона.

Эта ворона жила в сквере католической церкви на Бруклин-стрит. По обычаю своих предков, она должна была свить себе гнездо. Это серьезное дело обставлено в Нью-Йорке большими трудностями, ибо ворон в городе во много раз больше, чем деревьев, и они уже давно поднимали между собою вопрос о недостатках строительных площадей.

Итак, наша ворона задумчиво летала по крышам, выглядывая себе прутики, дощечки, веточки и тому подобные вещи, как вдруг глаза ее усмотрели красивый белый конверт на одном из подоконников. Она каркнула, огляделась во все стороны, быстро схватила конверт и унесла его на самое высокое дерево в сквере, где он и превратился в прочное донышко очень комфортабельного гнезда. Генеральный прокурор штата Иллинойс не получил, таким образом, возможности проникнуть в новую уголовную тайну, но зато этой же возможности лишились и многие другие люди, вплоть до полиции, ровно ничего не нашедшей в комнате «беглого Друка».

Глава четырнадцатая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОРИ

— Да,— сказал себе Лори,— ее зовут мисс Ортон. Ортон... Будто знакомое имя... Этакая красота. Но, скажи на милость, что я буду здесь делать голышом, покуда ребята не пришлют мне какую-нибудь штанину! И Ортон, Ортон — где я слышал это имя?

Он вышел из-под брезента и меланхолически принялся разгуливать в одной рубахе по барке, как первый человек отдаленнейших веков нашей планеты. Но вдруг нога его запнулась за что-то, и он упал.

— Кажись, это горб. Так и есть, они забыли скинуть его с барки.

Он мечтательно поднял фальшивый горб мисс Ортон и даже понюхал его, отдавшись приятному воспоминанию, как вдруг глаза его упали на торчавший нож.

В ту же минуту Лори вытащил его из горба и стал изучать со всех сторон. Как ни был он молод, а знал две вещи: во-первых, что перед ним «вещественное доказательство», во-вторых, что всякую тайну можно раскрыть, если уцепиться за одно из ее звеньев.

Нож был не американский. Он не был английским. Странное клеймо изумило его: что-то вроде крючкоподобного креста. Нож был остер, как бритва, а по краям он казался окрашенным. Лори поднял его на свет, осмотрел внимательно, а потом, повинуясь тайному голосу, всунул назад в тот же кусок горба и все это вместе связал в узел, оторвав край своей рубахи.

Потом он опять принялся за прогулку, чтоб согреться. Приближались сумерки, становилось холодно. Барка была скучнейшим местом. Кроме соломенной настилки, под брезентом ничего не было, а вокруг этого убежища ровными стенами возвышались дрова.

Лори здорово озяб. Он уже начал приходить в отчаяние, думая, что его забыли, и со злости принялся перекладывать поленья, чтоб устроить себе более теплое убежище на ночь. Разобрав два ряда поленьев, он принялся за третий, как вдруг перед ним открылось совершенно пустое темное пространство. Невольно вскрикнув, Лори оглянулся вокруг. Все было пустынно попрежнему. Тогда он храбро вошел в проход. Некоторое время было темно и сыро, но шагов через десять он нащупал дверку, открыл ее и ахнул. Перед ним была маленькая круглая комната с куполом наверху, освещенная закатом. Вдоль стен шли диваны, посредине же комнаты стоял дамский туалетный стол, уставленный множеством баночек для грима; вокруг валялись в беспорядке всевозможные одежды, начиная с

рабочей блузы и кончая великолепным фраком; одежды были мужские, на средний рост.

— Вот так случай прикрыть наготу,— усмехнулся Лори,— но, прежде чем приступить к делу, вернулся назад, на барку, и огляделся. Глаза у Лори были зоркие. В закатном свете он различил далеко на берегу одинокую темную фигуру. Тотчас же быстрее белки сложил попрежнему дрова, уничтожил все следы своего присутствия на барке, схватил в зубы узел с ножом и кинулся в воду. Обогнув барку, он залег в самой ее тени, внимательно вглядываясь в проходившего человека. Он мог быть своим, с одеждой для Лори, но мог быть и хозяином барки, а Лори отлично понимал теперь, что встретиться с ним было бы далеко не пустым делом.

Фигура медленно приближалась; она остановилась на самом берегу и долго оглядывала Гудзон. Потом прошла раза два по набережной, посматривая туда и сюда, и, наконец, крадучись спустилась к мосткам. Это был чужой. Лори не мог понять, почему он почувствовал внезапный, мальчишеский ужас и, не раздумывая долго, нырнул под воду.

Плыть под водой было для Лори пустым делом. Но тут ему еще приходилось локтем прижимать к себе узел и работать не свободной рукой, что затруднило ему плаванье вдвое. Тем не менее, сжимая свои легкие, не дыша, не всплывая, Лори двигался вперед, по темнозеленой морской дорожке, покуда не истощил весь запас набранного воздуха. Тогда он всплыл наверх и отдышался. Барка была далеко, и на ней никого не было видно. Перед Лори темнели гранитные массивы, он оказался неподалеку от места своей работы.

Спустя несколько минут он добрался до железных колец, подпрыгнул, как рыба, уцепился за них и нырнул в туннель. Здесь он был спасен окончательно. Оставалось спасти и того, кому было поручено нести на барку одежду.

Со всех ног, крепко держа свой узел, Лори бросился бежать по туннелю. Здесь было сыро, мокро, почти темно. Невидимые скважины едва пропускали свет. Шагов через тысячу Лори добрался до лесенки, откуда

неслись шум и вой — там проходил метрополитен. Ему предстояло теперь показаться перед людьми голышом.

Как быть? Лори сел и стал раздумывать. Ага. Умные люди не растеряются ни от чего. Он стащил рубашку, всунул ноги в рукава и крепко завязал ее у пояса. Штаны были готовы. Потом он поднялся по лесенке, собрал рукой деготь, стекавший на ступени, и вымазал себя им с ног до головы. Теперь он был исправным черным человеком с узелком в руках. Ему ничего не стоило добраться до станции подземной железной дороги, найти стену с заветным значком «мм», раздвинуть ее и опять через железную стену попасть в никому неизвестное купе, не подлежащее проездной оплате, между уборной и топкой, построенное ребятами с Чикагского вагоностроительного. На Бруклин-стрит он слез, прошел опять через стену, минуя турникеты, и на улице остановился в задумчивости.

Что теперь делать? Надо дать знать Виллингсу в Миддльтоун насчет барки. Но, должно быть, они уже послали туда кого-нибудь. Лори надеялся, что не дурака. Увидит чужого на барке, повернется и уйдет. А вдруг? При воспоминании о фигуре человека, крадучись взбиравшегося на мостки, его снова пробрала дрожь.

Подняв машинально глаза, он увидел, что стоит перед большим старым домом номер 8. Тотчас же он вспомнил поручение мисс Ортон и, подойдя к массивным дверям, стал читать металлические дощечки, во множестве покрывавшие двери. Тут были самые мудреные имена. Тут жили исключительно стряпчие. Это был муравейник стряпчих. Лори с великим трудом отыскал скромную надпись

РОБЕРТ ДРУК
стряпчий

и через секунду уже взбирался по длинной, казенного вида лестнице, пахнувшей сыром, кошками и мусорною корзиной.

Чистенькая старушка с выпуклыми глазами, в настоящую минуту сильно заплаканными, отворила ему

дверь. Тотчас же, не говоря ни слова, она взяла со стола добрую краюху хлеба и сунула ее Лори, приняв его за нищего.

— Я с удовольствием съем это, мам, за ваше здоровье,— сказал Лори,— но только мне нужен не хлеб, а сам мистер Друк.

— Боба нет,— дрожащим голосом сказала миссис Друк, и слезы посыпались у нее по щекам.

— Как нет? Когда же он будет?

— Ничего не знаю,— продолжала плакать старушка,— скушайте хлебец, и, если хотите, я вам дам пуддинга, но только вы не увидите моего голубчика, нет, не увидите его.

— Да что же с ним случилось? Не бойтесь, мам, выкладывайте начистоту, я друг-приятель вашего Боба, хоть и должен по некоторым причинам ходить в таком виде.

— О боже мой, мистер, не знаю, как звать, дело-то очень непонятное. Ровнешенько, как всегда, в четыре часа приходит Боб со службы такой ласковый да веселый, я, говорит, мама, жду одну дамочку, так, если придет, ведите ее прямо ко мне,— покушал и прилег у себя. Я на кухне мою посуду, вдруг четверо таких странных людей с пуговицами и спрашивают Боба. Я говорю: вы от дамочки? А они поддакнули. Провела я их к Бобу, а через минуту вышли они все вместе, и Боб с ними, и бегом, бегом вниз по лестнице; Боб даже и не простился со мной. Гляжу в окно — вижу, катит от нас черный автомобиль, и нет его. Жду час, жду два — нет Боба. А вот недавно, ох... голубчик мой... Приходит полиция, запечатали комнату Боба, у меня всё перерыли, говорят, будто мой Боб обокрал нотариуса Крафта и бежал с деньгами... Да только быть этого не может, быть не может!

Старушка опять разрыдалась.

Лори постоял в полном недоумении, потом вежливо поклонился и вышел. Он не знал ни Друка, ни нотариуса Крафта. Он подумал не без горечи:

«Неужто и мисс Ортон замешалась в этакое дело!» И не успел подумать, как хлопнул себя по голове. Ортон, Ортон,— так звали скромную машинистку у них

на «Секретном», покуда он еще не ушел с завода и не вступил в союз «Месс-менд». Только ведь она была возрастом постарше. Лори видел ее раза два мельком. Неужели же это — та самая?

Глава пятнадцатая

ИСПОВЕДЬ МИСС ОРТОН

Между тем Нэд и Виллингс не без явного удовольствия вели молчаливого красавца мальчика по разным глухим закоулкам, добираясь до станции окружной дороги. Везти ее в тайном купе между топкой и уборной они не решились — это значило бы выдать секреты союза незнакомому человеку. Поэтому, пошарив в карманах и за пазухой, они собрали всё, что имели на себе, и скрепя сердце запаслись билетами.

Но не успела спасенная девушка услышать название «Миддльтоун», как задрожала и остановилась. Исчезнувшая было бледность снова разлилась по ее лицу, в глазах сверкнул ужас.

— Боже мой, вы предали меня! — вскрикнула она, отбегая от них в первый попавшийся переулок.— Низко, бессовестно предали меня!

Степенный Виллингс оскорбленно остановился. Нэд, поглядев на него, сделал то же самое. И, может быть, именно это подействовало на несчастную сильнее всего, что могли бы оба они сделать или сказать. Она остановилась тоже.

— Вы даете мне уйти...— голос ее задрожал.— Боже мой, но куда я пойду сейчас? Не лучше ли было лежать на дне Гудзона?

— Мисс, это вы напрасно. И не к чему оскорблять честных рабочих людей. В Миддльтоуне мы все живем и работаем. В Миддльтоуне живет и работает Мика-

эл Тингсмастер Туда мы хотели отвезти и вас. Не хотите — не надо, а только оскорблять нас не к чему!

Понурив голову, девушка тихо приблизилась к ним.

— Простите меня. Ведите и везите, куда собирались. Только надо переждать день и сделать это в сумерках. Иначе... иначе меня там могут узнать.

Виллингс и Нэд сокрушенно переглянулись. Нэд, вынув из кармана билеты, вернулся к кассе и перепродал их, потом они трое, дожидаясь темноты, ходили и ходили по каким-то глухим переулкам, пока, наконец, не стемнело настолько, что девушка согласилась ехать в Миддльтоун.

И вот они трое в Миддльтоуне. Кружным путем, вдоль заборов рабочего городка, пробираются они к хибарке Мика Тингсмастера. Молчанье удручает обоих, особенно разговорчивого Нэда. Весь этот долгий путь он тщетно мучил себя в поисках какой-нибудь порядочной темы для разговора, но, кроме анекдота о том, как жена Тома облила своего мужа помоями, ровнешенько ничего не мог припомнить. Рассказать же его он не решился, сообразив, что мисс в достаточной степени надоело ее собственное пребывание в мокром месте.

Тук-тук-тук — постучал Виллингс.

Тук-тук-тук-тук — настойчиво добавил от себя Нэд.

Дверь хибарки открылась, и белокурый гигант с трубочкой во рту появился на пороге. Бьюти перестала лаять. Она обнюхала Виллингса, потом остальных и тотчас же протянула каждому из прибывших пушистую лапу. В комнатке Мика было тепло и уютно. Виллингс усадил дрожавшего от холода подростка в кресло возле камина и коротко рассказал Тингсмастеру о том, что произошло. Во время его рассказа Мик несколько раз внимательно посматривал на своего странного гостя, а когда Виллингс, наконец, замолчал, он встал с места, вынул изо рта трубочку, подошел к мисс Ортон и протянул ей свою широкую руку. Мик Тингсмастер мало кому протягивал руку. Мисс Ортон вложила в нее свои ледяные пальчики.

— Пойдите пошлите кого-нибудь на выручку Лори,— сказал Мик Виллингсу и Нэду.

Пока все это происходило между ним и прибывшими, техник Сорроу, забравшийся в самый дальний угол, тоже с большим любопытством вглядывался в ту, что была одета мальчиком, но отзывалась на имя «мисс» Ортон.

Виллингс и Нэд ушли. Тингсмастер придвинул свой стул к креслу, подбавил угля в камин и произнес своим мягким голосом:

— Мир невелик, дорогая мисс. Он даже очень маленький. Я узнал вас сразу, потому что частенько видел, как вы шли по нашим улицам с музыкальною папкой заниматься в свою школу. Ведь вы — дочка машинистки, миссис Ортон, работающей в конторе у Морлендера?

Девушка повернулась лицом к спинке кресла, уткнулась в нее и отчаянно зарыдала. Техник Сорроу на цыпочках подошел к Мику из своего угла и шепотом произнес:

— Работала, Мик, работала. Неужто не знаешь? Несколько дней, как ее нет в живых.

Резким движеньем мисс Ортон снова повернулась к ним. Слезы ее высохли. Странно было видеть холодное выражение ненависти, исказившее это очень юное, прекрасное лицо:

— Кто вы, какие вы люди? — тоже шепотом спросила она.

— Мисс, вы у честных людей. Я вас ни о чем не спрашиваю, но если вам нужна помощь, выложите всю правду.

— Я скажу всю правду, и вы будете первыми, кто ее услышит от меня. Но знайте, за вашу доброту вы жестоко поплатитесь. Я несчастное существо, у меня есть страшные враги, и самый лютый враг — это я сама.

— Полно, дитя,— мягко проговорил Тингсмастер,— валяйте-ка все, как оно есть, начистоту.

Мисс Ортон несколько мгновений глядела на огонь. Глаза ее приняли горькое и дикое выражение. Потом она медленно заговорила, все не сводя глаз с огня:

— Меня зовут Вивиан Ортон. Я дочь капитана Ортона. Он умер десять лет назад, оставив меня и мою

мать без всяких средств. Я училась и была еще подростком. Моя мать, чтоб дать мне окончить школу, поступила машинисткой в контору Морлендера... Мать моя была в то время в полном расцвете своей красоты. Я кончила школу и узнала, что она полюбила Морлендера.

— Старика или молодого? — прервал Тингсмастер.

— Иеремию Морлендера. Вы его знаете, он казался честным человеком. Мы жили очень скромно, в маленьком домике, с одной прислугой. Мать была очень счастлива, она ждала ребенка. Они должны были пожениться месяц назад, и, помню, он страшно стеснялся сказать об этом своему сыну... Но мы обе так верили. Мама готовилась к свадьбе. Я помогала ей. Неожиданно Морлендера командировали в Россию. Перед отъездом он забежал к нам сказать об этом и обещал тотчас, как приедет, быть у нас. Около месяца не было вестей. Потом пришли от него письмо и посылка.

Тут мисс Ортон снова остановилась, чтоб судорожно проглотить поднявшееся из горла рыданье.

— Не могу вам сказать, как мы обрадовались. Письмо было из России, с незнакомой маркой. А в посылке необычные конфеты и печенье.

— О чем он писал? — спросил Сорроу.

— О том, что скоро вернется, и тотчас же будет свадьба... Мы с мамой устроили праздник. Она убрала стол, украсила его цветами, уставила присланными сладостями и села в кресло. Я подсела к ней, но у меня почему-то было тяжело на душе, и я ни до чего не могла дотронуться. Мама взяла из вазы красивую конфетку и вздохнула:

— Как мне больно, Вивиан, что, кроме нашей Кэт, мы никого не можем позвать к себе и угостить.

Она положила ее в рот и вдруг рванулась с места. Я успела разглядеть страшную судорогу, пробежавшую у нее по лицу. Она даже не вскрикнула. Я бросилась к ней. Она умерла. Я кинулась в кухню — Кэт исчезла. Тогда я схватила другую конфету и, едва сознавая, что делаю, сунула ее в карман, а потом опустилась возле мамы, сотрясаемая страшнейшим ознобом. Это не была скорбь, это не был ужас. В ту минуту я чувствовала

только одно: ненависть! Ненависть переполняла меня и вызывала сердцебиение, я едва не лишалась сознания, я клялась себе каждой каплей крови убить Морлендера, отомстить ему за маму и за нерожденное дитя. В эту минуту в комнату без стука и без спроса вошел незнакомый человек в очках. Он объявил, что он полицейский врач и что за ним прибегала наша Кэт. Я поняла, что окружена врагами и должна молчать, чтоб спасти себе жизнь. Он спросил, отчего умерла мама. Я ответила, что, наверное, от сердца. Он спросил, болела ли она раньше сердцем. Я ответила, что болела. Он немедленно написал на бумажке свидетельство о смерти, и маму похоронили на другой день. Когда я была на похоронах, кто-то унес у нас все, что прислал Морлендер. Кэт не вернулась. Через несколько дней мне удалось найти врача, который произвел анализ спрятанной мною конфеты. Он сказал, что она наполнена страшнейшим ядом, убивающим тотчас же, как только он попадет на язык. Он дал мне, по моей просьбе, письменный анализ этой конфеты. Спустя некоторое время я заметила, что за мной следят. Тогда я притворилась совершенно безвредной, я вела себя тихо, наивно, непритязательно. Меня оставили в покое. Чтоб замести следы, я перебралась в Нью-Йорк...

Здесь мисс Ортон запнулась. Тингсмастер положил ей руку на голову и успокоительно сказал:

— Говорите, дитя мое.

— Смыслом всей моей жизни стало одно — отомстить; жизнью всего моего сердца стало одно — ненависть. Я стала давать уроки музыки, обезобразив себя до неузнаваемости. Но отомстить в моем положении полунищей учительницы музыки было невозможно. В доме, где я давала уроки, часто бывал богатый банкир Вестингауз. Мне показалось, он подходящий человек. И я дала ему понять, что... что...,

Мисс Ортон опустила голову. По широкому лицу Тингсмастера прошли грусть и сострадание. Девушка продолжала:

— Мне нужно было знать всех, а самой оставаться ни для кого неведомой, и я сочинила игру с маской. Я та знаменитая «маска», которая интригует весь

Нью-Йорк. И вот, очутившись уже у цели, заплатив за это честью, совестью, самою собой, я вдруг узнаю, что Морлендер уже убит. Он ушел от моей мести. Я спешу к его нотариусу Крафту, знавшему мою покойную мать, но тот погиб, а вместо него в конторе... вместо него в конторе... Странно,— прервала она себя, хватаясь за лоб рукой,— у меня чудная память, я всегда все помню, а вот сейчас не могу припомнить, кто был в конторе вместо Крафта... Я даже не помню, о чем я с ним говорила. Но помню завещание Морлендера: оказывается, он был женат — был женат на секретарше Кресслинга, Элизабет Вессон. Женился на ней перед самым отъездом, в тот день, когда заезжал к моей матери... Все свое состояние он завещал ей, хотя говорил моей матери перед отъездом, что обеспечил ее. И свое изобретение, свои чертежи завещал для борьбы против русскнх коммунистов.

— Мисс Ортон! — вскричал Тингсмастер.— То, что вы говорите, важное дело. Вы не путаете, не ошиблись?

— Нет, не ошиблась. Это я прочитала своими глазами. Но перед моим уходом из конторы молодой человек, Друк, дал мне свой адрес, чтоб я зашла к нему в четыре часа. Мне показалось, он знает какую-то тайну, но только чего-то или кого-то боится... Друк, Бруклин-стрит, 8. Я вышла к Гудзону, чтоб убить время до четырех, и больше ничего не помню...

Страшная бледность покрыла ей щеки. Она опустила голову на грудь и шепнула:

— Мне очень плохо, мне странно, что я стала как будто забывчива.

Тингсмастер внимательно посмотрел на нее и принес ей воды с виски. Когда она выпила н пришла в себя, он спросил ее:

— Дорогая мисс, скажите мне, чего бы вам теперь хотелось?

— Отомстить Морлендеру,— медленно ответила девушка,— ему нельзя, он умер,— значит, отомстить Артуру Морлендеру, его сыну.

Наступило молчание. Тингсмастер помешал уголь в камине, прошелся несколько раз по комнате, потом остановился и взглянул на бледную девушку.

— Слушайте меня, мисс Ортон. Вы попали к людям, цель жизни которых — борьба не только с Морлендерами, но и с теми, кто вертит этими Морлендерами, как марионетками. Но, дорогая моя мисс, мы боремся не оттого, что ненавидим отдельных людей, и мы не хотим личной расправы. Мы боремся потому, что тысячи наших братьев и мы сами погибаем, не видя настоящей жизни. Мы боремся потому, что дети бедняков задыхаются в подвалах, лишенных солнца и воздуха, потому что наши юноши посылаются убивать таких же несчастных, как они сами, во время войны, загоняются в рудники и на фабрики во время мира. Мы боремся не для того, чтоб отомстить. Мы хотим установить справедливость на земле и светлую жизнь для каждого человека, от первого до последнего. Понимаете вы меня?

— Тингсмастер!— воскликнула девушка, вскочив с места.— Я хотела бы чувствовать то, что вы говорите. Но сейчас я не могу, не могу этого! Передо мною стоит образ моей бедной матери, так низко, так подло убитой. Для меня уже нет жизни, покуда я не утолю страшной ненависти, пронизывающей меня, как смертельная болезнь. И если вы не дадите мне отомстить, все равно — я буду действовать одна, я вернусь в Нью-Йорк и буду продолжать свою страшную комедию...

Она кинулась к двери, забыв, что на ней рабочий костюм Лори Лена. Мик взял ее за плечо и усадил снова в кресло:

— Вы останетесь у нас, покуда не поправитесь,— сказал он просто.— Виллингс, Нэд!

В комнату вбежали оба приятеля — так быстро, что не было необходимости спрашивать их, далеко ли они находились и дошло ли до их ушей говорившееся в комнате. Мик Тингсмастер только что собрался дать им порученье, как дверь снова распахнулась настежь и на этот раз вбежал в комнату весь вымазанный дегтем Лори. Не отдышавшись, еще на бегу, он воскликнул:

— Тингсмастер! Вот нож, которым ее пырнули. Я был у аптекаря, он говорит, что лезвие смазано

страшным африканским ядом. А вы, мисс Ортон, лучше бы не хлопотали о Друке. Он удрал. Говорят, он обокрал Крафта и удрал с его деньгами!

— Тише ты, Лори,— остановил его Тингсмастер.— Положи нож на стол и не пугай бедную мисс. Я прошу кого-нибудь из вас, ребята, посоветоваться с моей стряпухой и раздобыть мисс Ортон женское платье.

— Кстати, Мик,— продолжал Лори выкладывать свои новости,— дровяная барка на Гудзоне оказалась с потайной комнатой. А ее хозяин... ее хозяин... Черт побери, я не помню, что такое с ним было... Надеюсь, ребята не столкнулись с ним, когда носили туда одежду?

— Что ты, Лори,— ответил Виллингс,— Отто, булочник, ездил туда к тебе и сколько ни рыскал, не нашел и следа барки. Она сгинула, точно во сне нам приснилась.

— Сгинула! — повторил Лори, и по спине его пробежал прежний холодок непонятного ужаса.

Глава шестнадцатая

ЛЕПСИУС ВИДИТ РУКУ

— Тоби! — крикнул доктор Лепсиус, входя к себе в комнату после бесчисленных и утомительных визитов.— Куда он делся, сонная рыба, пингвин, гангренозная опухоль! Тоби! Тоби!

Молчаливый мулат с припухшими веками вынырнул сбоку и остановился перед доктором с видом полнейшего равнодушия.

— Тоби. Предупреди сиделку и жди меня. Мы пойдем к его величеству Бугасу Тридцать Первому. А если ты будешь спать, раскрыв рот, как дохлая рыба, я наложу туда пороху и взорву тебя со всеми твоими потрохами!

Доктор Лепсиус весь день был в плохом настроении. Его экономка, мисс Смоулль, объявила, что выписала из Германии новый ушной аппарат и теперь, благодарение небу, будет слышать, как все остальные люди. Мисс Смоулль намекнула даже доктору Лепсиусу, что теперь у нее не будет недостатка в женихах.

Если б к колокольне церкви Сорока мучеников прибавили мотор в тысячу лошадиных сил, нервное потрясение доктора, наверное, не было бы ужаснее, нежели от образа его экономки, говорящей, слышащей и замужней зараз. И это именно в такое время, когда открытие доктора Лепсиуса превратилось из ослепительной догадки в странную очевидность, когда недостает только скомбинировать факты и расширить примеры. Он сел к письменному столу и открыл потайной ящик. В глубине его лежала рукопись. Лепсиус надел очки, достал ее и раскрыл на странице, аккуратно помеченной закладкой.

Это очень странная тетрадь. С виду она ничем не отличается от обычных историй болезни, которые записывают врачи, имеющие обширную практику. Но вместо названий болезней, зашифрованных хотя бы и премудрой латынью,— вместо всяческих диабетов, бруцеллезов, менингитов и эндокардитов тут были записи, скорей напоминающие дневник политика или социолога, нежели врача. Взяв очень старую изгрызанную ручку с обыкновенным пером (Лепсиус терпеть не мог так называемых вечных перьев, считая, что лучше перу поработать коротко, но хорошо, нежели вечно, но плохо), он снял с него невидимую волосинку, придвинул чернильницу, обмакнул в нее перо и мелким докторским бисером занес под фамилией Монморанси: «Жалуется на ужас, пережитый от русской революции».

Симптомы больных Лепсиуса, если заглянуть в его тетрадь, вообще удивительно однообразны: гнетущий страх за свое состояние, вложенное в недвижимую собственность; угнетенное настроенье при мысли о забастовках на его заводе; ужас перед будущим; ужас, пережитый, когда переезжал границу, спасаясь от погони разъяренного народа; мрачное настроенье при мысли о наступлении экономического кризиса; от-

чаянье, связанное с непрерывным падением акций на бирже; ужасный, повторяющийся каждую ночь сон: чьи-то многочисленные шаги на лестнице, все ближе, ближе, стуки в дверь, дыхание толпы,— масса народу, простого народу ломится в двери спальни...

— Гм-гм,— повторяет про себя Лепсиус в полном душевном удовлетворении,— примеров уже настолько много, что я смогу их классифицировать!

И он берет линейку, открывает в тетради чистую страницу, тонкой чертой делит ее пополам. Слева, наверху страницы, он пишет:

Депрессивные на почве экономической.

Справа, наверху страницы, заносит:

Депрессивные в силу изгнания из родной страны собственным народом.

Занеся около десятка фамилий под первую надпись (слева) и столько же фамилий под вторую надпись (справа), Лепсиус задумывается. Три ступеньки его подбородка, нижней и верхней губы приходят в некоторое волнообразное движение: доктор Лепсиус улыбается, улыбается себе самому — не то вопросительно, не то иронически.

— Удивительно во всей этой цепи заболеваний,— бормочет он про себя,— даже и не то, что все они ведут к одному и тому же физиологическому синдрому [1]. Удивительно то, что больные из первой графы цепляются за больных из второй графы в надежде на спасение, а больные из второй графы цепляются за больных из первой графы в надежде на доллары, которыми они думают вернуть себе прежнее место в мире. Да, это поистине удивительно!

Вздохнув, Лепсиус закрывает тетрадку, словно расстается с пачкой дорогих сердцу любовных писем. Вот

---

[1] *Синдром* — сочетание симптомов, характеризующее ту или иную болезнь.

она уже на старом месте в потайном ящике, а ящик захлопнут и заперт одному ему известным способом. Потянувшись и глубоко вздохнув, Лепсиус проделывает несколько легких гимнастических упражнений и бодрой походочкой выходит через внутреннюю дверь на асфальтовый дворик.

В глубине его, перед дверью бетонного здания, похожего на гараж, ждет молчаливая сиделка в белом фартуке с таким же, белым, как снег, фартуком в руках и неизменный Тоби. Быстро подойдя к сиделке, Лепсиус дает себя облачить в фартук, самолично завязывает шнурки у ворота и на запястьях, а потом шествует вперед, в полуоткрытую дверь, сопровождаемый молчаливой сиделкой и Тоби.

Если снаружи здание стационара похоже на гараж, то внутри это впечатленье мгновенно сменяется изумлением и восхищением. Идеальная санатория для самых дорогих посетителей не могла бы быть лучше обставленной. Изящество и комфорт, в меру оранжерейных цветов, в меру прекрасных предметов искусства. Всем этим пользуется пока только один-единственный больной доктора Лепсиуса, дошедший уже до той стадии, когда лежачее положенье предпочтительней сидячего или стоячего.

В роскошной палате, на ложе, отделанном поистине с царской щедростью, возлежит единственный пациент стационара, невидимый из-за густых облаков синеватого дыма сигары. На столике возле него — все принадлежности для сумасшедшего напитка, составление которого, по словам знатоков, столь же неповторимо и разнообразно, сколь неповторима и разнообразна шахматная партия. Иначе сказать — для коктейля. Легкий запах хорошего обеда, еще не втянутый шведским магнетовентилятором, показывает, что коктейль уже выпит и пациент откушал.

— Удалите сиделку и мулата,— раздается капризно-старческий голос, сопровождаемый сухим покашливанием.

— Слушаю, ваше величество,— отвечает доктор и кивком удаляет Тоби и сиделку. Потом он подходит к царскому ложу и садится на стул возле больного.

Сквозь синий дым доктор видит прыщеватого старикашку с жиденькой растительностью на висках и подбородке. Оголенный череп показывает вдавленности и вмятины, безжалостно уродующие тот драгоценный сосуд, где принято помещаться человеческим мозгам. Колючие глазки из-под разросшихся седых бровей глядят пронзительно и с раздраженьем:

— Как мой отпрыск и благоверная? Пытаются доказать юридически мою невменяемость и запустить зубы в капитал? — скрипит он, желая понизить голос. И тотчас, не дожидаясь ответа:— Как мое инкогнито? Никто не подозревает?

— Никто ничего не подозревает, мистер Рокфеллер,— отвечает Лепсиус.— Для всех вы путешествуете согласно совету врачей на яхте,— а у меня на излечении, как убежден мой персонал, находится индейский вождь, Бугас Тридцать Первый. Итак, разрешите проверить состояние вашего позвоночника.

Чудесное зрелище для доктора Лепсиуса! Кажется, сколько он ни смотри на мало заметный, с пухлую точку, бугорок на среднем позвонке,— вертебра медиа, по его терминологии,— доктор не насытится созерцаньем. Еще бы, все дело его жизни, все наблюдения зрелых лет подтверждаются этой странной деформацией, встречающейся все чаще и чаще — и только у определенной категории людей.

— Надо, надо в гимнастический зал, ваше величество! Без тренировки вы рискуете... гм-гм... занять несколько горизонтальное положение при передвижениях, затруднительное при нашем европейском костюме.

Старичок издает свистящий звук — он терпеть не может гимнастического зала. Но доктор неумолим. На сцену вызывается верный Тоби.

— Поможешь его величеству натянуть трусики,— строго приказывает Лепсиус,— и проведешь с ним цикл вертикальных упражнений. Да смотри, если ты после побежишь через улицу к кондитеру и заведешь с ним разные разговоры, я продам тебя военному министерству на пушечное мясо. Возьми мой фартук, я должен ехать.

Отдав нужные распоряженья сиделке, Лепсиус вы-

шел, сел в поджидавший его автомобиль и приказал шоферу ехать к доктору Бентровато, имевшему образцовую клинику и рентгеновский кабинет.

Он делал это не совсем охотно. Он боялся, что его открытие выкрадут у него из-под самого носа. Ворча сквозь зубы, Лепсиус поднялся по лестнице и попал в руки двух молодых девиц, с карандашами и блокнотами.

— Сорок,— промолвила одна девица.

— Сюда,— подтвердила другая, подставляя ему ящик, битком набитый деньгами.

— Дорогие мои,— мягко ответил Лепсиус,— я беру больше.

И, отстранив их рукой, он прошел прямо в гостиную к своему коллеге.

У Бентровато шел прием. Множество людей дожидалось его, развлекая себя всевозможными занятиями, приспособленными к услугам пациентов в комнатах для ожидания. Тут были книги на всех языках, домино, шахматы, вышиванье и вязанье для дам, игрушки для детей, прохладительные напитки.

Пройдя в соседний зал, а оттуда в рентгеновский кабинет, Лепснус остановился. В кабииете было полутемно. Красная лампочка тускло освещала комнату. За ширмой перед экраном стоял человек, подвергнутый действию рентгеновых лучей. Лепсиус не мог разглядеть его внутренностей и видел лишь тень от небольшой и продолговатой головы да руку, небрежно закинутую за спинку стула и выступавшую из-за ширмы.

Лепсиус сел равнодушно в кресло, дожидаясь конца сеанса. Он рассеянно смотрел туда и сюда, испытывая неодолимый приступ зевоты. Как вдруг совершенно случайно глаза его задержались на вышеупомянутой руке.

— Что такое... Где, черт возьми! — Где видел доктор Лепсиус эту руку, худую, слабую, с припухшими сочленениями?

Но сколько он ни напрягал память, ответа не приходило. Пальцы лежали все так же безжизненно, потом внезапно скрючились, будто схватились за что-то, скользнули и исчезли.

Бентровато выпустил своего пациента из боковых дверей кабинета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Лепсиус. Чем могу?

— Здравствуйте, Бентровато, кто это у вас был?

— Вы хотите проверить, соблюдаю ли я профессиональные тайны?

Лепсиус с досадой покосился на коллегу.

— Я заехал к вам, достопочтенный друг, с просьбой произвести рентгенизацию одного дегенеративного субъекта. Чем скорее, тем лучше.

— Хорошо, в первый же свободный час. Постойте-ка, запишем: «28 августа будущего года в $4^1/_2$ часа дня».

Бентровато занес это к себе в блокнот и копию записи с улыбочкой протянул своему коллеге.

Широкое лицо Лепсиуса не выразило ничего, кроме благодарности. Но на лестнице он сжал кулаки, побагровел и со свирепой миной подскочил к швейцару:

— Кто тут сейчас прошел, а?

Швейцар флегматически повел плечами:

— Многие проходили... Фруктовщик Бэр, профессор Хизертон, штурман Ковальковский.

Лепсиус сел в автомобиль, тщательно похоронив у себя в памяти три услышанных имени.

Глава семнадцатая



СОВЕЩАНИЕ НА ВИЛЛЕ «ЭФЕМЕРИДЕ»

— Миссис Тиндик,— сказала горничная Дженни сухопарой особе в очках и с поджатыми губами,— миссис Тиндик, что это вы день и ночь хвастаетесь сиамскими близнецами, как будто сами их родили?

Дерзость Дженни вызвала на кухне отеля «Патрициана» одобрительное хихиканье.

— Девица Дженни,— ответила миссис Тиндик ледяным тоном,— выражайтесь поосторожней. Я не думаю хвастаться. Я констатирую факт, что сиамские близ-

нецы доводятся мне двоюродной группой и что ни у кого из людей, кроме меня, не может быть двоюродной группы. Двоюродных сестер и братьев сколько угодно, но «группы» —ни у кого, никогда.

— А вам-то какой толк от этого?

— Девица Дженни, я не говорю о «толке». Я конста-ти-рую факт. Я не виновата, что люди завидуют своему ближнему.

— Вот уж ни чуточки! — вспыхнула Дженни.— Плевать мне на вашу группу, когда я видела самого черта!

В кухне отеля «Патрициана» воцарилось гробовое молчание. Дженни была известна как самая правдивая девушка в Нью-Йорке. Но увидеть черта — это уж слишком.

— Верьте, не верьте, а я видела самого черта,— повторила Дженни со слезой в голосе,— я прибирала в ванной, а он въехал мне прямо с потолка на затылок, потом попятился и исчез через стену.

Миссис Тиндик торжествующе оглядела все кухонное общество: было очевидно, что Дженни лжет.

Несчастная девушка вспыхнула, как кумач. Слезы выступили у нее на глазах.

— Провалиться мне на месте, если не так. И черт был весь черный, голый, без хвоста, с черным носом и белыми зубами.

— Эх, Дженни,— вздохнул курьер, пожилой мужчина, мечтавший о законном браке,— а ведь я на тебе чуть было...

Но тут с быстротой молнии, прямо через потолок, свалился на плечо миссис Тиндик голый, черный черт без хвоста, подпрыгнул, как кошка, и исчез в камине. Миссис Тиндик издала пронзительный вопль и упала в обморок. А неосторожный Том, проклиная свою неловкость, со всех ног мчался по трубе на соседнюю крышу, а оттуда спустился на Бродвей-стрит, прямехонько к зданию телеграфа.

Прохожие кидались прочь от стремительного трубочиста, локтями прочищавшего или, верней, прочернявшего себе дорогу. Наконец, он наверху, в будочке главного телеграфиста, и останавливается, чтобы отдышаться.

Меланхолический Тони Уайт с белокурым локоном на лбу и черным дамским бантом вместо галстука, взглянув в окошко, узнал Тома, придвинул к себе чистый бланк и тотчас же поставил в уголке две буквы «мм».

— Ну,— поощрил он Тома.

— Телефон испортился, Тони, а Мик нам нужен до зарезу,— объяснил Том, тяжело дыша,— подавай в первую очередь.

— Да ну, диктуй.— И Тони написал под диктовку трубочиста:

«Миддльтоун, Мику.

Публика собирается сегодня девять часов вечера вилле Эфемериде Кресслинга важное совещание будут все».

Том продиктовал это шепотом и удрал как молния. Тони Уайт справился, скоро ли починят миддльтоунский телефон, разрушенный ночной бурей, и, узнав, что через час, сам сел к телеграфному аппарату. «Мм» — выстукал он первую голову. Буквы побежали по линии, и все телеграфисты и телеграфистки тотчас же вскакивали, бросая работу, и срочно передавали телеграмму. Сделав свое дело, Тони свернул бланк в трубочку и сжег его, а потом появился с другой стороны будочки, где его поджидала длиннейшая очередь ругавшихся ньюйоркцев.

Через четверть часа бойкий телеграфист города Миддльтоуна, разнося депеши, зашел для чего-то и на деревообделочную фабрику. Увидев, что рабочие одни и никого из начальства нет, он сунул в руку Тингсмастера белую бумажку, прикурил и поспешил дальше. Мик прочитал и сжег бумажку. Потом дал кое-какие распоряжения в гуттаперчевую трубку, не отходя от станка, и продолжал изо всех сил работать, посвистывая песенку.

А между тем наступал теплый майский вечер. После ночной грозы Миддльтоун освежился и распушился. По главному шоссе в горы то и дело ездили сторожевые мотоциклетки — это Джек Кресслинг поджидал к себе гостей. Высоко в горах, чуть стемнело, засияло сказоч-

ное море света, похожее на полчище гигантов-светляков или на горсть бриллиантов, величиной с пушечное ядро. Это сияла знаменитая вилла «Эфемерида», построенная по специальному проекту Морлендера, вся из железных кружев, тончайшей деревянной резьбы и хрусталя, насыщенного электрическим светом.

Джек Кресслинг создал себе «царство света», как говорили почтительные газеты, издававшиеся на его средства. Он нашел способ обходиться без людей. В его сияющей вилле все подавалось и принималось бесчисленными электрическими двигателями, а лучезарные комнаты оживлялись только любимыми друзьями Кресслинга—обезьяной Фру-фру, английской кобылой Эсмеральдой, двумя молодыми крокодилами, которых он привез из Египта и держал в золотом бассейне, да бывшей секретаршей Элизабет Вессон, ныне безутешной красавицей вдовой Морлендера. Этого общества Кресслингу было вполне достаточно. По его мнению, люди были слишком нечистоплотны, и он не находил в двуногой твари ровно ничего забавного. Джек Кресслинг презирал человечество.

Как только на электрических часах «Эфемериды» раздались мощные звуки Девятой симфонии Бетховена, Кресслинг встал с кресла и нажал кнопку. Надо сказать, что часы у него отбивались девятью симфониями Бетховена, а роль десятой, одиннадцатой и двенадцатой выполняли, к величайшему удивлению посетителей, мяукание кошки, кукование кукушки и крик филина. Когда его спрашивали, он отвечал без улыбки: музыка не должна вмешиваться в час любви, в час смерти и в час познания.

— Девять часов,— сказал себе Кресслинг,— пора.— С этими словами он сел в кресло и поджал ноги. В ту же минуту кресло вознеслось с ним вместе через хрустальные потолки и переплеты в верхний этаж, где был роскошный зал с богато убранным столом посередине. Кресслинг лениво прошелся по коврам, нажимая кое-где кнопки,— и в зал заструились ароматы, посыпались цветы, проплыли хрустальные бочонки с охлажденной жидкостью. Снизу и сверху, на платиновых полочках, сдвинулись и разместились по столу тарелки.

Читатель ждет, вероятно, в дополнение всех вышеописанных чудес еще и подробного описания всевозможных яств и напитков, украсивших стол миллиардера. Но по причинам, о которых читатель узнает ниже, я вынужден от этого пока воздержаться.

Не успел Кресслинг нажать последнюю кнопку, как оконное зеркало показало ему несколько подъезжавших по главной аллее автомобилей. Он быстро передвинул стенные клавиши, и воздушный лифт вознес в залу одного за другим его знатных посетителей.

Тут были генерал Гибгельд, виконт Монморанси, лорд Хардстон, князь Оболонкин, экс-регент Дон Карлос де Лос Патриас; экс-президенты Но Хом, Уно Си Ноги и Сиди Яма и еще пара-другая претендентов на посты президентов.

Тут были итальянцы, австрийцы, румыны, поляки, изгнанные из своего отечества. С ними прибыли и коммерсанты. Знаменитый немецкий Стиннес, его приятель Крупп, банкир Вестингауз, английский купец Ротшильд и молодой Юниус Рокфеллер. Среди гостей находился и очень мрачный, впервые попавший в гости к Кресслингу, угрюмо державшийся в стороне сын инженера Морлендера, Артур,— с траурной повязкой по погибшему отцу на рукаве. Как всегда, недоставало одного только синьора Чинче.

— Усаживайтесь, господа,— сказал Кресслинг обычным своим, не особенно любезным голосом,— я прошу извинить моих крокодилов, которые не могли вас дождаться и откушали раньше.

При слове «откушать» те, кто уже бывал в гостях у Кресслинга, не могли удержаться от несколько кривой гримасы. Платиновые полочки опять пришли в движение. Блюда из чистого золота плавно разъехались по столу. На одном из них был поджаренный ячменный хлеб из штата Висконсин, другое содержало тонко нарезанный репчатый лук, на третьем находились ломтики превосходного чикагского сыра. В чашах музейного фарфора приплыла и разместилась на столе та белая масса, которую русские называют простоквашей, кавказцы — мацони, а ученые-диэтологи — «лактобацил-

лином». Полилась в хрустальные бокалы и охлажденная смесь водорода с кислородом, именуемая водой.

— Поужинаем, господа,—любезно проговорил Джек Кресслинг, первый подав пример и прикусив ячменного хлеба с луком.— Мы, властители крупнейших капиталов мира, знаем вульгарную мечту простонародья и чернорабочей части человечества набивать себе желудки едой. Уж одно это показывает их неспособность управлять вселенной. Получи они власть — и через год вы их не узнаете, так закруглятся их животы и заплывут глаза; а еще через год никакие врачи не помогут им от ожирения и подагры... Умение жить, одеваться, тратить деньги, сохранять долголетие, умение знать и понимать меру вещей — это привилегия тех, кто держит в своих руках все возможности быть чрезмерным! После шести, господа, я вообще ничего не ем, только пью Виши,— но за компанию...

Князь Оболонкин, вяло обмакивая усы в простоквашу и заедая ее четырьмя кусками сыра, прихваченными как один ломоть, попытался поддержать разговор:

— Французы говорят: хочешь жену экономную, не женись на бедной. С непривычки она пойдет тратить деньги как угорелая. А у богатой иммунитет, у той копеечка копеечку бережет!

Но остальные гости, вероятно из острого чувства меры, застольную беседу не подхватили и в кратчайший срок покончили с ужином. Перейдя в деловой кабинет Кресслинга, общество расселось за круглым эбеновым столом.

— Друзья мои,— несколько смягченным голосом начал Джек Кресслинг,— вы знаете великие цели, воодушевляющие наш союз. Над миром нависла угроза коммунизма. Это угроза материальная и духовная. Прежде всего необходимо уничтожить ее материально. Коммунисты имеют обыкновение ссылаться на массу и народ — и в этом их слабое место. Мы реалисты. Мы с вами видим по опыту, что историю решают правительства, люди, получающие власть над массой. Они объявляют войны. Они заключают союзы. Они выпускают займы. Они издают законы. Они имеют армию и поли-

цию. Поставьте всюду на местах власть, понимающую великий гений капитализма и ненавидящую инертное месиво коммунизма,— и вы в два счета покончите с носителями заразы, коммунистами, путем запрета, ареста, тюрем, виселиц. А там, где коммунисты сами захватили власть,— я имею в виду Россию,— там станьте негласно властью над властью, уничтожьте самих правителей — путем подсылки убийц, диверсантов, героических борцов за святую свободу капитала на земле! Иными словами — объявим коммунизм вне закона. Террор! Террор! Вот что я считаю правильной американской политикой, господа!

— Все это очень хорошо, хотя очень беспокойно,— лениво пробормотал виконт Монморанси.— Как это осуществить практически?

— Не будем прерывать хозяина,— решительно произнес лорд Хардстон, слегка подняв руку.

— Силы наши, точнее кадры, имеют разные функции, хотя цель — едина,— продолжал Кресслинг, слегка кивнув в сторону лорда Хардстона,— часть из нас, такие, как, например, ваш почтенный отец, Юниус,— обратился он к Рокфеллеру-младшему,— дают деньги, много денег, поскольку дело требует миллиардов. Миллионы и миллиарды даем и Стиннес, и Крупп, и Ротшильд, и я, возглавляющий наш союз. Другие, подобно собравшимся здесь достойным будущим правителям своих стран, дают свой опыт, свое звание и свою будущую политику, когда мы восстановим их власть на их родине. Третьи, наконец, служат нам безукоризненно, по убеждению, как последний из потомков великого рода магнетизеров и властителей душ, графов Калиостро,— синьор Грегорио Чиче...

Тут речь Кресслинга прервали бурные аплодисменты присутствующих.

— Синьор Грегорио Чиче,— с ударением повторил Кресслинг.— Вы знаете, как его талантливые предки служили Бурбонам и прочим династиям, сдерживая революционные потуги черни. Магнетизер и гипнотизер при законном короле или прези[illegible]те — могучая поддержка власти; она не меньше п[illegible]и церкви...

Опять оратор был прерван, на этот раз князем Оболонкиным:

— Могу подтвердить! Пока Гришка Распутин, самый что ни на есть гипнотизер и магнетизер, был жив, самодержавие держалось в России. Убили Гришку — настала революция. Факт!

— И есть еще одна категория нужных нашему делу энтузиастов. Это молодежь, это личные мстители. Мой гениальный инженер и помощник, лучший инженер-изобретатель Америки, Иеремия Морлендер, был предательски, из-за угла, убит большевиками в России. Я понес страшную утрату. Но сын моего дорогого покойного друга, молодой инженер Артур Морлендер хочет рискнуть своей жизнью, мстя за отца. Познакомьтесь, господа.

Присутствующие и Артур Морлендер обменялись рукопожатиями. Джек Кресслинг заговорил опять:

— Тут мы переходим к конкретному мероприятию. Как вы знаете, так называемые «трудящиеся» (уж будто бы мы с вами не трудимся, господа!) любят посылать в Россию делегации и подарочки. Мы готовим русским один такой подарочек от трудящихся. Он будет поднесен этой осенью, в праздник их революции, в Петербурге, там, где соберутся все правители-коммунисты одновременно. А поднесет его американский коммунист, инженер Василов, точнее мистер Артур Морлендер — под маской Василова. Здешние русские, дорогой князь Оболонкин, вышли, к сожалению, из-под вашей опеки. Часть молодежи увлекается пропагандой из Советской России. Василов, как видите, даже член партии коммунистов и, говорят, убежденный. Он готовится к отъезду в Россию, и осенью ему будет поручено поднести так называемый «подарочек» — одно из прекрасных изобретений Морлендера. К нашему большому удовольствию, вы, Артур, очень похожи на этого Василова, — примерно одного роста, цвета волос, типа; остальное доделает грим. Подробнейшая инструкция вам будет вручена своевременно. А вы, князь Феофан, комплектуйте небольшую, но сильную правительственную группу из русских для захвата власти, когда «подарочек» уничтожит

советских комиссаров. Надеюсь, господа, все вам ясно на данном этапе нашей борьбы?

— Прекрасно! Превосходно! Поздравляем вас, мистер Морлендер! Позвольте пожать вам руку! — посыпалось со всех сторон.

Настроение присутствующих стало особенно горячим в ту минуту, когда хозяин предложил вместо патриотической жидкости из американского водопровода снизойти перед концом совещанья до шампанского иностранной марки. Сам Кресслинг, против обыкновения, пил и чокался со своими гостями и на прощанье показал им двух крокодилов, мирно дремавших на дне бассейна.

Совещание кончено, шампанское выпито, хрустальные часы Кресслинга прокричали филином. Гости один за другим отбыли в мрак теплой майской ночи. Один Кресслинг, страдая от вечной бессонницы, обречен долгие часы ходить взад и вперед по сияющим залам «Эфемериды».

Между тем в темном чулане маленького домика, где жил Мик Тингсмастер, экран показывал, а фонограф рассказывал все, что произошло в «Эфемериде». Ребята смотрели и слушали, стиснув кулаки, и между ними, в скромном платье работницы, находилась Вивиан Ортон.

Глава восемнадцатая

ВАСИЛОВ И ЕГО ЖЕНА

Всякий честный коммунист на первое место ставит долг, а на второе жену. Всякая жена норовит поставить на первое место себя, а на второе все остальное.

У товарища Василова, члена нью-йоркской компартии, создалась именно такая семейная конъюнктура. Вернувшись с ночного заседания партии, он разбудил жену и сказал:

— Катя Ивановна, мы едем в Россию.

— Очень рада,— ответила та спросонок,— «Аме-

лия» отходит послезавтра. Поедем вместе с миссис Дебошир.

— Мы с тобой едем на «Торпеде»,— возразил товарищ Василов,— таковы полученные мною инструкции.

— Неужели вы думаете, что, получая какие-то там инкрустации, можете не считаться с чувствами своей жены?!

— Инструкции, дорогая,— терпеливо повторил Василов. Он сделал глупость только раз в жизни, когда женился, и теперь нес все ее последствия.

— Инкрустации,— повторила жена.

— Инструкции!

— Инкрустации!

— Инструкции!

— А! Если вы хуже всякого будильника и не даете мне выспаться, так я заявляю вам: я еду на «Амелии» — и кончено!

— Как хочешь,— устало ответил Василов, горько вздохнул и принялся раздеваться.

На следующее утро Катя Ивановна встала чуть свет, насмешливо взглянула на спящего мужа и в самой нарядной шляпке выскочила на улицу. У ворот стоял посыльный. Он гладил себе бороду. Борода имела почтенный вид.

— Посыльный,— произнесла Катя Ивановна,— вы не знаете, где находятся пароходы, справочные кассы и куда надо сесть, чтоб поехать в Россию?

— Пустое дело, м-ам,— ответил, густо закашлявшись посыльный,— идите себе домой и садитесь куда хотите. А я, с вашего позволения, выхлопочу вам билет и занесу на дом. Так и запомните: посыльный номер семь.

— Неужели вы это сделаете? Но, видите ли, в чем дело, у меня вышли контры с моим мужем. Я хочу поехать на пароходе «Амелия» вместе с миссис Дебошир. Вы можете взять мне билет на «Амелию»?

— Легче, чем плюнуть, м-ам.

— Ну, так возьмите. Вот вам деньги. Вот вам документы. И знаете что? Занесите мне билет не домой, а прямо к миссис Дебошир, Ровен-Квер, десять.

— Завтра утречком, м-ам, все получите в полном порядке.

Катя Ивановна, в восторге от своего плана, вынула блокнот, карандаш и конверт и энергически повернула посыльного спиной к себе.

— Номер семь, я на вас облокочусь на минуту... Вот так. Мне хочется написать письмо мужу.

Она вывела кривыми буквами на спине посыльного:

«Василов! Ты нуждаешься в уроке, и потому вот тебе мои собственные инкрустации: я еду на «Амелии» с миссис Дебошир. Домой больше не вернусь. Уложи все мои вещи, лиловое платье и ноты для пения. Надеюсь, ты тоже поедешь на «Амелии», в противном случае мы встретимся на пристани в Кронштадте. Твоя жена

Катя Ивановна».

— Вот — сказала она,— несите это письмо наверх, прямо по адресу. Бросьте ему письмо на кровать и бегом обратно. На все его вопросы — гробовое молчание. Поняли?

— Как не понять, м-ам,— ухмыльнулся посыльный. Он поглядел, как веселая дама, распустив над головой зонтик, помчалась по направлению к Ровен-Кверу, а сам пробежал глазами доставшееся ему письмо. Потом он взглянул на адрес, покачал головой и отправился с письмом наверх. Добудившись Василова, он сунул ему письмо в руку и, не отвечая на вопросы, сбежал вниз.

До сих пор посыльный Джонс, старый посыльный этого района, действовал, как ему было приказано. Очутившись на улице, он проявил, однако, неожиданную самостоятельность, а именно: дошел до водосточной ямы, оглянулся вокруг и исчез в яме с быстротой крысы. Темный, мокрый проход вывел его сперва на каменную лестницу, потом на станцию подземной дороги. Джонс выбрал минуту и вскочил в узкую щель между железными обшивками вагона: он был в купе между уборной и топкой, не подлежащем оплате.

Честный Джонс сделал несколько пересадок, снова углубился в подземный ход, вымок, выпачкался, растре-

пал свою бороду, но добрался-таки до жаркого местечка под самой кухней «Патрицианы», где сидел в цилиндре и с гуттаперчевыми трубками на ушах водопроводчик Ван-Гоп.

— Менд-месс,— запыхавшись, проговорил посыльный.

— Месс-менд,— ответил Ван-Гоп,— это ты, Джонс? Ну что новенького?

— Жена Василова поручила мне купить ей билет на «Амелию». Она, видишь ли, желает ехать самостоятельно. Завтра утром я должен доставить ей билет и документы по адресу ее подруги.

— Ладно, Джонс, делай свое дело. Я все передам Мику. Да смотри, Джонс, не случилось бы чего с Василовым. Поставь своих ребят по всем углам, охраняйте его пуще глаза, покуда не попадет на пароходные мостки. Клади сюда бумаги.

Посыльный Джонс, послюнив карандаш, набросал подробное донесение всего, что случилось с ним утром, прибавил на память копию письма Кати Ивановны, сложил все это возле Ван-Гопа и быстро выскочил из цилиндра, через стену, прямо за угол «Патрицианы», где помещалась касса пароходного, железнодорожного и авиасообщения.

Товарищ Василов между тем не без досады прочитал записку своей жены. Он знал, что легче найти квадратуру круга, чем совпасть с намерениями своей супруги, а потому махнул рукой и занялся укладкой. Василов был стройный и ловкий человек с бритым лицом, успевшим значительно американизироваться за долгие годы пребывания в Америке. Кроме партийной деятельности, он был отличным инженером и ехал теперь на родину с мандатом в кармане и горячим желанием работать на русских заводах и фабриках. Сложив кой-как в чемодан многочисленные тряпки, лиловое платье и ноты Кати Ивановны, он разместил по карманам свои собственные бумаги, сунул туда же полученное только что послание, взял шляпу и отправился покупать себе билет второго класса на пароход «Торпеду», отбывавший через три дня в Европу.

Глава девятнадцатая

ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО

Опустелый подъезд, где разговаривали Джонс и Катя Ивановна, был таковым лишь на первый взгляд. Не успели оба они разойтись в разные стороны, как из-за вешалки вынырнул невысокий, смуглый человек в необычном костюме с блестящими пуговицами. Он зашел в будку автоматического телефона, назвал неразборчивый номер и, когда его соединили, шепотом сообщил, что «Нетти придется купить себе новую шляпку». Только всего и было сказано, и ровнешенько ничего больше. Неизвестно, в какой связи было это с дальнейшими событиями, но только Катя Ивановна, не дойдя еще до жилища миссис Дебошир, почувствовала внезапное желание отдохнуть.

Она оглянулась вокруг и увидела, что неподалеку, в маленьком и пустынном сквере, стоит одинокая скамейка. Дойдя до нее, Катя Ивановна хрустнула пальчиками, откинула голову и зевнула несколько раз с непонятным утомлением. Солнца на небе не было, глаза ее никогда не болели, но тем не менее ей казалось, что перед ней прыгает что-то вроде красного солнечного пятнышка.

— Странно,— сказала себе упрямая дама,— в высшей степени странно. Я хочу спать, хотя я не имею намерения спать. Это мне не нравится.

Через сквер проходил между тем какой-то среднего роста человек, щегольски одетый, задумчивый, можно даже сказать — грустный. Руки его, со слегка опухшими сочленениями, висели безжизненно, глаза были впалые, унылые, тоскующие, как у горького пьяницы, на время принужденного быть трезвым. Под носом стояли редкие, кошачьи усы.

Он опустился на скамейку возле нее, глубоко вздохнул и закрыл смуглое лицо руками.

Катя Ивановна почувствовала странное сердцебиение.

Незнакомец вздохнул еще раз и прошептал:

— Я не переживу этого. Я не в силах жить. Дайте мне умереть!

— У всех есть горе,— ласково заметила миссис Василова, придвинувшись к незнакомцу,— сегодня одно, сэр, а завтра другое. Бывает и так, что оба горя сразу. Надо закалять характер.

— Я не в силах,— глухо донеслось со стороны незнакомца.

— Соберитесь с силами, сэр, и вы перенесете.

— Дайте мне вашу руку, мисс, нежную руку женщины. Влейте в меня бальзам.

Катя Ивановна немедленно сняла фильдекосовую перчатку и протянула свою энергичную руку незнакомцу. Тотчас же электрический ток прошел по всему ее телу, причинив ей головокружение, впрочем очень приятное. Привыкнув к самоанализу, она подумала с изумлением:

«Я, кажется, влюбляюсь. Это странно. Я влюбляюсь, хотя я не имею намерения влюбиться».

Между тем незнакомец вливал в себя бальзам целыми бочками при посредстве протянутой ему руки. Он прижимался к ней носом, губами и щеками, гладил, водил по глазам, совал себе за пазуху, покалывал жесткими усиками

— Женщина! — воскликнул он вдруг проникновенно.— Будь ангелом! Будь сестрой милосердия. Пожертвуй мне час, два часа, отгони от меня демона самоубийства.

Как это так случилось, но Катя Ивановна не смогла бы отказать ему решительно ни в чем. Она подумала, что отлично попадет к миссис Дебошир и в четыре часа дня, встала со скамейки, приняла предложенную руку, а другой рукой вознесла свой зонтик над страдающим незнакомцем.

— В минуту скорби,— поучала она его твердым, хотя и ласковым голосом,— самое важное, дорогой сэр, это орнаментировка на общество. Когда вы орнаментируетесь, сэр, на общество, вы убеждаетесь, что, кроме

вас, есть другие люди, большое количество других людей, со своими собственными горестями и радостями. Это успокаивает и расширяет горизонт.

— Вы правы,— глухо прошептал незнакомец,— идемте прямо туда, где есть общество. Сядем на пароход и поедем в Борневильский лес.

Миссис Василова никогда не была в Борневильском лесу и не знала, есть ли там общество. Тем не менее ей очень польстило, что слова ее производят на несчастного человека столь решительное действие.

Они сели на пароход и мирно проехали две остановки, миновав Нью-Йорк и отплыв довольно-таки далеко в сторону Светона. Во время пути Катя Ивановна вела беседу на общеобразовательные темы, как то: кто живет в воде и на суше, бывают ли у рыбы крылья, а у птиц плавники, кто изобрел паровое отопление и почему дома с паровым отоплением не двигаются, а пароходы двигаются. Два-три раза ей пришлось схватить и остановить незнакомца в его намерении броситься через борт и кончить жизнь самоубийством.

Наконец, на третьей остановке, они сошли с парохода на землю. Место было довольно пустынное. Здесь начинались рокфеллеровские рудники, поросшие тощим кустарником, скалы и небольшой лес, мрачный и неприятный, так как он был из осины и можжевельника.

Миссис Василова вздрогнула:

— Куда вы ведете меня? — прошептала она с тревогой, когда незнакомец потащил ее прямо в этот лес, носивший гордое наименование «Борневильского».— Что вы хотите от меня, дорогой сэр? Здесь нет общества, здесь нет даже людей!

Но приятный попутчик Кати Ивановны преобразился. Тусклые глаза его оживились, худое тело напружилось, мускулы сделались стальными. Он пристально глядел на нее и тащил за собой в лес, не отвечая на вопросы. Странная слабость овладела миссис Василовой. Руки и ноги ее налились тяжестью, во рту было горько, в голове стоял непонятный туман. Она уже не помнила ничего, кроме необходимости дойти до леса и, кой-как дотащившись до первой осины, поникла всем телом на кочку.

— Мне худо,— прошептала она тихо,— я не имею намерения, но меня тошнит.

Незнакомец вынул коробочку с круглыми голубоватыми шариками и протянул ее Кате Ивановне. Почти машинально взяла она шарик и положила его себе в рот. В ту же секунду страшная судорога прошла по ее телу с пяток до головы, и несчастная свалилась вниз головой в овраг. Человек прыгнул туда вслед за ней, убедился, что она мертва, натаскал хворосту, валежника, осиновых прутьев и закрыл ими тело своей жертвы.

Потом он оглянулся вокруг, зашел за дерево и исчез. Все было пустынно кругом попрежнему. Шелестели осины. На Гудзоне неподвижно стояла одинокая дровяная барка.

Глава двадцатая

ОТПЛЫТИЕ «АМЕЛИИ»

Джек Кресслинг никогда не позволял себе громко сердиться, а тем более на синьора Грегорио Чиче. В этом отношении он брал уроки сдержанности у своих крокодилов. И сейчас, сидя не без опаски перед небольшим смуглым человеком неопределенной наружности, свесившим со спинки кресла худую слабую руку, слегка опухшую в сочленениях, он не сердился, но говорил сухим, мертвенно-жестким голосом, глядя мимо своего собеседника:

— Итак, вас постигла неудача с Иеремией Морлендером. Первая неудача синьора Грегорио Чиче. Тем более досадная, что этот техник Сорроу оказался поразительным дураком и ничтожеством... Непонятно, почему, с какой целью его держал и расхваливал Морлендер.

— Во всем остальном — полная удача,— ответил синьор, чуть поднявши верхнюю губу, что ощетинило щеточку его кошачьих усов.

— Знаю, знаю,— и тем не менее...

Джек Кресслинг тяжело вздохнул. Все утро он потерял на выяснение изобретательских способностей Сорроу. Техник притащил целую папку неграмотных чертежей; он, захлебываясь, говорил нестерпимые благоглупости о том, что изобрел перпетуум мобиле из пары сапог и старой водосточной трубы; он разводил какие-то теории о произрастании чечевицы на асфальте, а когда Джек Кресслинг, окончательно убедившись в полной его негодности, дал ему расчет,— долго еще что-то такое кричал у дверей конторы и не хотел уходить. Одно только утешительно: ненависть этого Сорроу к коммунистам.

Джек Кресслинг называет себя умнейшим заводчиком в Штатах,— недаром на сотнях его предприятий в Миддльтоуне нет ни одного, решительно ни одного рабочего, кто хоть однажды был бы заподозрен в симпатиях к коммунизму. Дорого оплачиваемые агенты, такие, как пожилой и солидный слесарь Виллингс, например, вздыхая говорят о том, что зря получают от него жалованье... Кстати, Виллингса необходимо послать на «Амелии» в Россию с гуверовским фрахтом и кое с чем еще...

— Итак, вы оформите Виллингса на негласное отбытие с «Амелией», а сами отправитесь на «Торпеде» согласно выработанным инструкциям,— подводит он итог своей беседы с молчаливым синьором Чиче.

Тем временем Виллингс и Сорроу тоже кончали свой разговор — с Миком Тингсмастером.

— Уф, нелегко изображать дурака,— вздохнул старичина Сорроу.— Посмотрел бы ты, как передо мной разложили самые секретные чертежи Морлендера, а я, как осел, только ушами хлопал,— втихомолку стараясь отпечатать их в своей памяти.

— Не легче играть и агента,— угрюмо отозвался Виллингс.— Зато ты теперь, Сорроу, освободился от моего недремлющего ока и волен ехать куда надо!

Тут оба друга, и Мик вместе с ними, весело расхохотались.

Вот при каких обстоятельствах старичина Сорроу, получивши расчет у Джека Кресслинга, сел монтером

машинного отделения на пароход «Амелия», зафрахтованный компанией Гувера. За два часа до отплытия он уже был на пристани, наблюдая за погрузкой парохода.

Ирландец Мак-Кинлей, капитан парохода, посасывал свою трубку, разгуливая на борту. Подъемники сбрасывали на пароход одно за другим: бочки с салом, прессованные тюки с маисом и сахаром, ящики с консервированным молоком, мешки с маисовой мукой,— все это предназначалось для тонких кишок голодающего русского народа с целью приобщения его к вершине американской цивилизации — суррогату. Рабочие, грузившие пароход, весело подмигивали Сорроу, и он подмаргивал им в свою очередь.

Как вдруг посыльный Джонс, красный, запыхавшийся, растрепанный, опрометью влетел на пристань, огляделся туда и сюда, подбежал к технику Сорроу и, задыхаясь, шепнул ему:

— Жены Василова нет ровнешенько нигде. Не видел ли ты ее в числе пассажиров?

Сорроу отрицательно покачал головой.

— Что мне теперь делать? — взвыл Джонс.— Эта вздорная дамочка, верно, спит вторые сутки. Но где ее искать! У подруги она не была, домой не вернулась, а я, видишь ли, не смею расспрашивать ее мужа, не знает ли он, куда сбежала от него его собственная жена. Что мне делать с билетом, с документами, куда девать сдачу? Кто мне заплатит комиссионные?

— Посоветуйся с Миком,— флегматически ответил Сорроу, продолжая шагать по пристани,— да торопись, до отплытия осталось всего час пятьдесят восемь с половиной минут.

Джонс подпрыгнул как ужаленный, метнулся между фонарными столбами туда и сюда, провалился сквозь землю и через десять минут мчался на деревянном стуле по проволоке с крыши манежа Роллея — вверх и вверх, к вышке Миддльтоуна. Путешествие было рискованное, провода свистели вокруг него, тюки сена могли налететь на него сверху, если ребята не успеют попридержать их, электрическая энергия могла прекратиться, но честный посыльный Джонс не имел другого способа попасть в Миддльтоун во-время, и он рискнул на него.

— Ты говоришь, ее никто и нигде не видел? — спросил Тингсмастер, выслушав сбивчивую речь Джонса.

— Именно так, Мик.

— Это значит, что несчастную убрали с пути. Это значит, что Василова тоже ждет западня. Они уберут и Василова, послав вместо него заговорщика Морлендера.

— Василов поедет на «Торпеде», Мик, времени у тебя много, а куда мне девать билет, документы, сдачу? Кто мне заплатит комиссионные? — выл честный Джонс.— «Амелия» стоит под парами, говорю я тебе!

Тингсмастер недолго раздумывал.

— Так подожди же! — крикнул он решительно.— Мисс Ортон, дитя мое, скорей бегите-ка сюда!

На пороге появилась мисс Ортон.

— Слушайте. Вот вам документы и билет. Вы едете через час на пароходе «Амелия», как жена коммуниста Василова, в Кронштадт. Ваш муж едет туда же на «Торпеде». Вы по капризу сели на «Амелию». Вы встретите его на кронштадтской пристани. Вы шепнете ему, что посланы рабочими вместо его жены, чтоб охранять его жизнь от покушений, и раскроете ему заговор фашистской организации... Поняли?

— Да,— ответила мисс Ортон.— Спасибо, Микаэл Тингсмастер. Вы будете рады, что поручили это дело мне.

— Постойте-ка. Может случиться, что Василова уберут и вместо него подошлют Артура Морлендера...

— А-а! — вырвалось у девушки сквозь стиснутые зубы.

— Тогда мстите, мисс Ортон. Но сумейте мстить. Вы будете женой заговорщика, вы притворитесь, что не угадали подмены. Это тем более легко, что он сам не знает, какая у него жена. Вы день и ночь будете сторожить его и раскрывать шаг за шагом, нить за нитью гнусный заговор, покуда все нити не будут в ваших руках. Тогда откройте все советской власти. Поняли?

— Да! — воскликнула девушка.— Еще раз спасибо.

— Ты немедленно доставишь ее на «Амелию»,— об-

ратился Тингсмастер к посыльному Джонсу,— поручи ее Сорроу, и пусть Сорроу снабдит ее всем необходимым. Во время пути пусть Сорроу каждый час принимает радио с «Торпеды». Мы пошлем монтера Биска охранять жизнь Василова. Понял? Иди.

— Мик,— простонал бедный Джонс, почесав у себя в бороде,— а кто же заплатит мне комиссионные? Кому передать сдачу?

— Бери себе сдачу вместо комиссионных,— крикнул Тингсмастер, схватив за руку обоих, Джонса и девушку, и увлекая их к телеграфной вышке.

Через полчаса стройная молодая дама под темной вуалью заняла каюту первого класса на пароходе «Амелия», а техник Сорроу принял от Джонса подробнейшие указания Тингсмастера.

Трап поднят. Дым повалил из трубы. Палуба, реи, бесчисленные окошки кают полны высунувшихся голов, шапок, носовых платков. Все это машет, свистит, визжит, кивает — и в ответ машет, свистит, визжит, кивает залитая толпой пристань. Пароход «Амелия» делает красивый поворот и, задымив, отправляется в далекий рейс.

Глава двадцать первая

РИСКОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БЬЮТИ

Отослав Сорроу и Виллингса делать свои дела и простившись с мисс Ортон, Мик Тингсмастер дал, наконец, волю своим чувствам.

Редко кто мог бы сказать, что видел его в таком гневе, в каком он находился сейчас. Мик ударил кулаком по столу:

— Убивать женщин, подлецы! Если б я только мог напасть на следы этого человека!

— Менд-месс,— раздалось из стены.

— Месс-менд,— ответил он поспешно, и в комнату с ловкостью обезьяны прыгнул трубочист Том.

— Мик,— начал он свою речь запинаясь.

— Ну?

— Мик, хоть в обществе и поговаривают, будто я черт, но, не в обиду тебе будь сказано, Мик, я сам начинаю побаиваться черта. Видишь ли, мы с Ван-Гопом, как ты приказал, день и ночь сторожили «Патрициану». Только сидим мы в стене, а под нами, тоже в стене, кто-то, знай себе, сторожит нас. И ей-ей, Мик, если я черт только по фальшивому наговору, то под нами в стене ходит что ни на есть настоящий черт, в этом я тебе прозаложу собственную голову.

— Значит, вы продолжаете слышать шаги в подземном ходе?

— Называй это подземным ходом, если тебе нравится, а мы с Ван-Гопом называем это бесовской тропой!

Тингсмастер поглядел на широкую черную рожицу Тома, хотел было сказать ему слова два, но махнул рукой и решительными шагами подошел к двери. Раскрыв ее, он крикнул в темноту:

— Бьюти, Бьюти!

Тотчас же в комнату ворвалась огромная белая собака с золотистыми пятнами. Она прыгала вокруг Тингсмастера, била хвостом, припадала на передние лапы, дружески рыча, потом вскакивала на задние и обнимала своего хозяина с самой пылкой нежностью. Наконец, угомонившись, она лизнула его в нос, свернулась на полу и положила морду на его пыльный сапог.

— Бьюти,— ласково сказал Мик, нагнувшись к своему другу. Белый хвост энергично забарабанил в ответ.— Бьюти, мне требуется от тебя важная штука. Опасная штука, понимаешь?

Хвост дал ритмически понять, что Бьюти готова на все.

— Я не могу послать туда человека, Бьюти, потому что это сильно смахивало бы на убийство. Ты же сумеешь выкрутиться. Но гляди, Бьюти, гляди, дружище, тот, за кем мы с тобой охотимся,— величайший враг твоего хозяина.

— Ррррр! — раздалось снизу.

— И величайший враг человечества. Будь осторожен, песик.

— Ррхав! Хав! — пролаяла Бьюти свирепо и положила лапу на колени Тингсмастера.

— Мик,— умоляюще произнес Том,— что это ты задумал? Что может собачка противу черта!

Но Тингсмастер не любил лишних разговоров. Он оглядел зубы, уши и лапы Бьюти, надел ей на грудь тонкий, как батист, металлический панцырь и привязал к ошейнику веревку с нанизанными на ней кусочками мяса.

— Смотри, Бьюти, по кусочку в день, не больше того,— сказал он умной собаке, следившей за каждым его движением.

Оглянувшись вокруг, он сунул себе в карман электрический фонарь и кое-какую мелочь, кивнул головой Тому и двинулся в путь.

Между тем на кухне отеля «Патрициана» шло торжественное совещание служебного персонала с администрацией. За первых представительствовала миссис Тиндик, вторую возглавлял Сетто из Диарбекира.

— Я скажу коротко,— начала миссис Тиндик, поджимая губы,— со дня смерти мистера Тиндика, моего мужа, ни одна мужская рука, не говоря уж о мужских ногах, не касалась моих плеч. Я введена в убыток. Я положительно настаиваю на возмещении убытков, причиненных мне прикосновением мужских ног к моим плечам на территории вашей гостиницы, мистер Сетто.

— Правильно!— хором поддержала ее вся кухня.— Насчет убытков — это она в самую точку. Мы тоже в убытке, хозяин. Если этак, не разбирая времени, каждый божий день станут на вас сыпаться черти с потолка, вы можете преждевременно потерять свою рабочую силу.

Миссис Тиндик с неудовольствием повернулась к своей аудитории.

— Не будем путать наших законных претензий,— сказала она твердо.— Я, как известно даже мировому судье, могу рассчитывать на особую поддержку общества, ибо общество принимает во внимание роковую иг-

ру природы. Я должна стоять за честь своего имени. Я имею положительное намерение оградить свое имя от посягательств джентльменов неизвестного происхождения на территории вашей гостиницы, мистер Сетто.

Сетто из Диарбекира вынул изо рта чубук, оглядел всех присутствующих и спокойно произнес:

— Правильно. Вы в убытке, я в убытке. Как утверждает эта умная женщина, миссис Тиндик, на самой что ни на есть территории моей гостиницы поселился бесплатный элемент. Разберем дело. Жена, иди сюда, разбери дело. Я нанимаю швейцара, я нанимаю курьера, я нанимаю сторожа, я нанимаю камердинера, я нанимаю официанта, я нанимаю девушку. Верно я говорю, жена?

— Истинную правду, Сетто.

— И я нанимаю, слушайте меня крепко, миссис Тиндик,— я нанимаю даму, надзирающую за швейцаром, курьером, сторожем, камердинером, официантом и девушкой. И что же получается? Вы не можете досмотреть жильца, поселившегося в стенах моей гостиницы и противозаконно попирающего мою территорию. За что, спрашивается, вы получаете жалованье, миссис Тиндик, а?

Такой оборот дела очень не понравился служебному персоналу.

— Но мои плечи, мистер Сетто!— возмущенно воскликнула миссис Тиндик.

— Э, дорогая моя миссис Тиндик,— продолжал неумолимый Сетто,— если б даже вы были девушкой, миссис Тиндик, так и то, с вашего позволения, дело-то надо было бы начинать не с плеч, а совсем с другого конца.

Миссис Тиндик вскрикнула как ужаленная и закрыла лицо обеими руками. В кухне раздался хохот. А Сетто из Диарбекира, подхватив свою жену под руку, как ни в чем не бывало отправился восвояси.

Пока этот знаменательный разговор происходил в кухне, наверху, перед комнатой без номера, бесшумно выскочив из стеклянного шкафа, появились Мик со

своей собакой, Том-трубочист и водопроводчик Ван-Гоп.

Мик нажал невидимую кнопку, и дверь вместе с замком и запором тихо отошла от стены. В комнате никого не было. Вообще это жилище синьора Чиче производило странное впечатление необитаемого места. Постель казалась нетронутой, стулья — несдвинутыми, занавеси на окнах — никогда не поднимавшимися. Мик покачал головой и направился прямо к тому месту, где должен был находиться люк.

— Ни один квадрат этого пола не снабжен нашим клеймом,— шепнул он своим спутникам,— сдается мне, братцы, что мы в логове крупного зверя. Все остальные рядом с ним — только болтуны.

Он опустился на колени, вынул лупу и долго изучал поверхность пола. Потом вскочил и побежал к стене. Здесь был вбит крохотный гвоздь, на котором криво висел стенной календарь. Тингсмастер сдвинул календарь в сторону и указал Тому и Виллингсу на едва заметную выпуклость под обоями. Надавив на нее, он вернулся к полу и снова пристально оглядел его в лупу. Между двумя кусками паркета появилась теперь едва заметная щель. Тингсмастер вынул тонкую полосу стали и принялся ею орудовать. Щель расширилась, паркет шевельнулся, затрепетал и медленно встал ребром. Внизу чернела дыра.

— Бьюти!— подозвал собаку Тингсмастер.

— Ребята, взгляните-ка, что с ней!..— воскликнул Том.

Собака тряслась всеми членами, зевала так, будто ей раздвигали челюсти щипцами для расширения сапог, и шерсть у нее на спине стояла дыбом.

— Я говорил тебе, Мик, я тебе говорил,— в ужасе бормотал Том,— не связывайся с чертом! Зачем губишь собаку!

Но Тингсмастер тоже казался удивленным, тем более что на него самого напала непреодолимая потребность зевать. Он стал, однакоже, смотреть вовсе не на собаку, а на окно, на ставни, на драпировку. Он пододвинул стул, вскочил на него и стал шарить по кисейной занавеси, складками спускавшейся вниз. Найдя что-то,

он сорвал это и спрыгнул на пол. В комнате раздался лишь треск от оборвавшейся нитки, и в ту же минуту собака перестала трястись. Она подняла умную морду к хозяину и забила хвостом.

Тингсмастер подошел к Тому и Ван-Гопу и раскрыл ладонь. На ней лежало круглое стеклышко страиного цвета, того молочно-мутного цвета с примесью теплого багрянца, какой можно увидеть в глазах новорожденного теленка.

— Фабионит,— сказал Мик, тотчас же опять зажав камень,— техник Сорроу может рассказать вам про него интересные вещи, ребята. Это искусственный камень, изготовленный химиком Фабио-Дуцци года полтора назад на одном из заводов Франции. Я не могу понять, откуда и зачем он очутился здесь. Эта штука может усыпить целую армию, если направить на нее световые лучи.

Он спрятал стеклышко в карман и опять подошел к дыре.

— Бьюти, собачка, поди-ка сюда!

Бьюти подошла к хозяину, не выражая на этот раз никакого страху. Но дух, шедший из подземного хода, действовал на нее, повидимому, возбуждающе. Шерсть Бьюти шевелилась на спине, а ноздри беспрерывно втягивали воздух. Тингсмастер взял ее морду обеими руками и пристально посмотрел в умные собачьи глаза.

— Бьюти,— сказал он медленно,— иди туда в дыру. Не давайся никому в руки. Проследи, куда идет дыра и где другой выход. Возвращайся назад в Миддльтоун и покажи нам всем, откуда ты выбралась,— поняла?

Бьюти повизгивала, тыкаясь носом в хозяина.

— Иди. Раз — два — три!

Бьюти еще раз взглянула на трех людей, стоявших над люком, вильнула хвостом и во мгновение ока бесшумно исчезла в дыре. Минут десять все трое ждали ее, прислушиваясь к каждому шороху. Но все было тихо. Собака не возвращалась.

Тогда Тингсмастер закрыл трап. Снова повесил календарь, как он висел раньше. Каждую вещь поставил на прежнее место и вместе с товарищами вышел из комнаты.

Глава двадцать вторая

ХАРВЕЙСКИЕ ДОКИ

В трех милях от Нью-Йорка, по пути к Светону, высятся знаменитые Харвейские доки. Пароход «Торпеда», отправленный сюда на починку, готов к отплытию. Он вычищен внутри и снаружи, заштопан, облицован, перекрашен и весело косится на вас тысячью выпуклых круглых окошек кают-компании, похожих на лягушечьи глаза.

Матросы, которым уже надоело шмыгать по городу и уже нечего было пропивать, собрались дружной семьей в машинном отделении. Табачный дым заволакивал все, как банный пар. Матросы рассказывали друг другу страшные истории и коротали досуг, оставшийся им до отплытия «Торпеды».

— Ну, ребята,— сказал новый механик, рекомендованный «Торпеде» союзом докеров, веселый шотландец Биск,— «Торпеда» хоть сейчас снимайся,— так мы ее заштопали. Братья Дуглас и Борлей могут быть довольны.

— Был бы доволен капитан,— мрачно ответил старый матрос Ксаверий, до сих пор молчавший,— а уж братья Дуглас и Борлей не пикнут.

— Помалкивай!— крикнул ему бледный как смерть матрос, с глазами, обведенными черными кругами. Это был Дан, еще недавно веселый смельчак, друг и собутыльник несчастного Дипа, а сейчас истощенный, хилый, как тень, человек, боявшийся заглянуть себе за спину.

— Что с тобой сталось, баба ты!— сердито огрызнулся Ксаверий.— Коли я говорю громко, значит можно говорить громко. Я не дурак, отдаю себе отчет. Ты, товарищ, здесь третьи сутки,— снова обратился он к Биску,— а пробудешь еще три, так проклянешь день и час, что занес тебя на нашу «Торпеду».

— Ну, я не из робких!— засмеялся Биск.— Нашему брату тоже приходится испытывать всякую всячину.

А кто же капитан «Торпеды», разве не Джексон из Гаммерфорта?

— Джексон уж год как ушел. Это был капитан в самый раз. Про Джексона, парень, тебе никто даже спьяну не скажет худого слова. А теперь у нас...

— Молчи! — опять перебил его Дан, трясясь, как в лихорадке.

На этот раз старый Ксаверий как будто послушался Дана. Во всяком случае он закрыл рот и не пожелал продолжать речи.

— Как зовут нового капитана?— спросил Биск, оглядывая матросов. Лица их были пасмурны. Кто-то ответил нехотя:

— Капитан Грегуар.

— Что он, француз, что ли?

— Француз ли, черт ли,— вмешался опять Ксаверий,— а только он рыжий. Этакой масти нечего соваться в море. Если ты рыжий, так и служи в банке, а на море тебе делать нечего, коли не хочешь накликать беду на всю команду. Не было еще случая, чтоб океан спокойно снес рыжего человека.

Разговор оборвался. Матросы забились каждый в свой угол, и неизвестно, от сумерек или от табачного дыма, но лица их стали серыми. Биск выбрался из отделения на лестницу, сделал шагов сто, оглянулся туда и сюда, быстро провел пальцем по железной обшивке и юркнул в образовавшуюся щель. Обшивка тотчас же задвинулась, а Биск очутился в крохотной, но очень уютной комнатке, с вентилятором на потолке и электрической лампочкой сбоку,— сделанной ребятами с кораблестроительного и не подлежащей оплате. На столе перед Биском лежала тетрадь, в стол была вделана походная чернильница, перо висело на длинной цепочке. Биск открыл первую страницу тетради —

ДОНЕСЕНИЕ БИСКА
О ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ «ТОРПЕДЫ»

и написал на первом месте:

«Личность капитана Грегуара, судя по рассказам матросов, очень подозрительна. Пассажиров записалось

всего 980 человек. Из них в Россию едут еще несколько человек, кроме Василова. Он записался на каюту второго класса № 117, находящуюся между трапом и каютами служебного персонала. Я осмотрел ее и ничего подозрительного не нашел. На всякий случай осмотрел и смежные каюты. Повидимому, железо на обшивку всего служебного отделения взято не с наших металлургических, ни на одном листе нет нашего клейма. Проникнуть к капитану не удалось. Среди пассажиров, отправляющихся в Россию, подозрительны: банкир Вестингауз и сенатор Нотэбит с дочерью. По слухам, Вестингауз едет развлечься после исчезновения своей любовницы, а сенатор Нотэбит исполняет каприз своей дочери, с некоторого времени преследующей, без всякой видимой причины, банкира Вестингауза. Совершенно непонятно отсутствие на пароходе Артура Морлендера, который должен был, по плану фашистов, инкогнито отправиться в Советскую Россию. Среди пассажиров нет ни одного, кто мог бы оказаться переодетым Морлендером».

Написав все это, Биск вырвал страничку, запечатал ее в конверт, тихо выбрался из каюты и через минуту был уже в комнате почтового отделения, где восседала наша старая знакомая, мисс Тоттер. Она была помещена сюда прямехонько из «Патрицианы» по рекомендации знатных жильцов Сетто-диарбекирца.

— Мисс Тоттер,— сказал Биск,— вот вам первое письмецо для Мика. Я надеюсь, их еще будет с добрую дюжину и надеюсь также, что мы с вами благополучно доберемся до Кронштадта.

Мисс Тоттер ничего не ответила, взяла письмо и подошла к одной из многочисленных темных клеток, висевших в комнате. Микроскопическими буквами «мм» была отмечена дверца.

— Это голуби Мика,— шепнула мисс Тоттер и меланхолически вздохнула. Потом она достала одного из почтовых голубей, вложила письмо в сумочку на его груди, раскрыла верхнее окошко и выпустила птицу на волю.

Биск свистнул, как человек, выполнивший свой долг, заложил руки в карманы и кратчайшим путем

отправился на палубу, то есть раздвинул обшивку и углубился в узкий межстенный ход. Он шел в темноте не более двух минут, как вдруг замер как вкопанный. Из стены, близехонько от него, донесся свистящий звук. Спустя мгновение звук превратился в царапание, и кто-то прошел в стене мимо Биска так близко, так слышно, что механик невольно отодвинулся, хотя проходивший был отделен от него железным листом. В то же время над ним что-то хлопнуло с тихим треском, словно закрылся невидимый люк.

Но шотландец Биск недаром считал себя не из робкого десятка. Он выждал несколько минут, раздвинул обшивку и вышел на трап, не заходя к себе в каюту.

«Придется делать дополнение к письму. Довольно-таки скоро!»— сказал он себе философски.

В это время мимо него пробежали матросы с криком:

— Сниматься, сниматься. Приказ от капитана снимать «Торпеду» на Нью-Йоркский рейд. Завтра утром отплытие.

Биск остановил пробегавшего юношу и спросил его:

— Когда отдано приказание? Разве капитан на «Торпеде»?

— Капитана никто из нас не видит,— шепнул ему на ухо матросик,— а приказание отдается через штурмана.

И голубоглазый матросик опрометью бросился дальше.

Глава двадцать третья

ОТПЛЫТИЕ «ТОРПЕДЫ»

Хороший денек для отплытия парохода, нечего сказать! С утра полил дождь. Вода в Гудзоне поднялась на несколько вершков. Ночным ураганом вдребезги разбило все частновладельческие лодки, стоявшие у пристани.

И, наконец, утренние газеты отметили понижение цен на американскую пшеницу, одновременно упомянув еще о трех событиях: в овраге, возле Борнвильского леса, найден совершенно обезображенный труп неизвестной женщины; секретарь покойного нотариуса Крафта бежал бесследно, обворовав кассу; гроб с телом Иеремии Морлендера, назначенный ко вскрытию по ходатайству кормилицы покойного и его дальних родственников, прибывших из Европы, был внезапно украден из родовой часовни Кресслинга неизвестными злоумышленниками и, несмотря на все поиски, не разыскан...

Доктор Лепсиус, прочитавший все это, бессильно уронил газету на колени и откинулся в полном изнеможении на спинку кресла. Он почувствовал прилив ненависти к человечеству. Он недоумевал, какие силы заставляют его жить и работать на пользу этого самого человечества...

Но спустя мгновение природный оптимизм доктора Лепсиуса взял верх, и он повернул страницу газеты, надеясь отдохнуть душой на театральных, брачных, спортивных, биржевых и тому подобных увеселительных бюллетенях.

Как вдруг взор его упал на несколько строк, напечатанных курсивом. Вне себя от злобы, Лепсиус прочитал следующее:

«Вчера, в семь часов вечера, в церкви Сорока мучеников состоялось бракосочетание девицы мисс Смоулль с мистером Натаниэлем Эпидермом, мажордомом нашего знаменитого рентгенолога Бентровато. Со стороны новобрачной присутствовали родственники, гг. Смоулль из Миддльтоуна, со стороны жениха — сам доктор Бентровато, одновременно прочитавший собравшейся вокруг него густой толпе молодежи лекцию о рентгенизации младенца во чреве матери с целью определения его пола».

Лепсиус вскочил, судорожно скомкав газету. Глаза его налились кровью. Он махнул рукой, сорвал с вешалки шляпу и кубарем скатился вниз с лестницы.

Доктор Лепсиус положительно задыхался. Не будь он доктором, он побежал бы сейчас к доктору, чтоб пустить себе кровь или по крайней мере получить какой-нибудь рецепт, написанный по-латыни, что, как известно, имеет свою хорошую сторону, наглядно доказывая разумность произведенной вами затраты.

Но и этого утешения он не мог себе доставить. И поэтому Лепсиус бежал со всех ног по улице, бежал от проклятого вероломства своей экономки, бежал куда глаза глядят, пока не выбежал прямехонько к Гудзону.

Дождь шел как из ведра. Газетчики и чистильщики сапог попрятались. Редкие пешеходы принадлежали к разряду людей, ходивших босиком. Туман клубился по улицам Нью-Йорка, стоял над Гудзоном, заволакивал всю набережную до такой степени, что Харвейский маяк опоясывал лентами прожектора весь кусок залива, а набережная расцветилась электричеством в двенадцать часов дня.

Лепсиус промок до нитки и не без удивления заметил, что вышел к рейду, где, залитая тысячью огней, стояла «Торпеда», уже готовая к принятию пассажиров. Трап, однакоже, еще не был спущен. Толпа, стоявшая под дождем, выражала все признаки страшного нетерпения.

— Они боятся демонстраций,— сказал кто-то возле Лепсиуса ворчливым голосом,— как будто в наше время делают демонстрации!

— Еще как делают,— ответил другой,— ведь коммунисты посылают своего представителя в Совдепию. Смотри, его вышли провожать, ей-ей, не хуже, чем президента.

Тут только Лепсиус заметил необычайное стечение народа и огляделся внимательней.

Вся огромная площадь вокруг него была залита людьми в кепках и рабочих куртках. Они пришли сюда прямо с фабрик, не успев переодеться. Лица их горели воодушевлением, руки протягивались со всех сторон к товарищу Василову, стоявшему среди них в дорожном костюме.

— Передай им, Василов, что мы не дремлем! —

кричал кто-то, размахивая картузом.— Мы не прозеваем своего часа!

— Кланяйся Ленину! — кричал другой.

Толпа напирала со всех сторон, не давая подойти к Василову решительно никому с той половины набережной, где собралась публика познатней. Лепсиус увидел там Вестингауза, с элегантным саквояжем в руках и моноклем в глазу. Неподалеку от него кудрявая Грэс, теребя своего отца, оглядывалась во все стороны, ища кого-то глазами. Их провожали девицы, дамы и кавалеры в смокингах с Пятой авеню, тщетно пытаясь спрятаться от дождя под парусиновым навесом. Но кучка нарядных ньюйоркцев, отбывающих в Европу проветриться, совершенно терялась среди тысячной толпы рабочих, рокотавшей глухо, как море. Полисмен, робко пробираясь к ней, делал вид, что распоряжается движением, тогда как рабочие перебрасывали его с одного места на другое, как мячик.

Лепсиус выбрался из толпы к самому боку «Торпеды», где из кают-компании высовывались головы мичманов и матросов.

— Ковальковский! — крикнул кто-то.— Пора спускать трап, отдайте распоряжение!

Розовый, как херувим, толстый-претолстый мичман, с губами-шлепанцами, побежал отдавать приказание. Лепсиус оглядел его руки и ноги критическим оком, вынул записную книжку, где стояли три фамилии:

1. Фруктовщик Бэр.
2. Профессор Хизертон.
3. Мичман Ковальковский —

и вычеркнул последнюю из списка.

Между тем, забравшись на якорную цепь «Торпеды», шептались два человека. Один из них был трубочист Том, другой — механик Биск.

— Мик передает тебе, что письмо получено. Отсутствие Морлендера гораздо подозрительней, чем его присутствие. Мик боится за жизнь Василова. Смотри, Биск, охраняй его собственной шкурой, не щадя себя самого.

— Знаю,— ответил Биск,— а что, собака вернулась?

— Нет, Мик в большом горе. Собака исчезла, должно быть ее пырнули ножом. Ну, прощай, Биск, посылай вести.

— Прощай, Том, будьте покойны.

Том спрыгнул вниз, на швартовый, повис, раскачался, сделал пируэт и исчез в воде.

Трап спущен; приветствия, пожелания, проводы. Несколько пар острых глаз, принадлежащих людям одной профессии, но, повидимому, служащих разным хозяевам, поскольку они явно не знают друг друга,— оглядывали, словно обшаривали, каждого пассажира, поднимавшегося на трап, где проверяли билеты и документы.

— Один.

— Другой.

— Третий.

— Четвертый

— Пятый.

Нет Морлендера, нет ничего похожего на Морлендера.

Знатная публика прошла, на трап поднимается коммунист Василов. Он бледен от волнения. Знатная часть публики награждает его свистом.

Но свист тотчас же поглощается ревом, тысячеголосым ревом толпы, подбрасывающей вверх шапки, платки, кепи.

— Урра! Василов! Урра, Советская Россия! Езжай, товарищ, кланяйся ребятам, пусть держатся крепко! Да здравствует Ленин!

Рев стал громовым, и к нему присоединился, как бы поддерживая рабочие глотки, могучий свист паровой сирены, треск поднимаемого трапа, звяканье цепей, свист ветра, скрип досок и снастей,— «Торпеда» медленно тронулась в путь.

Пароход уже отошел в глубину залива, туман уже скрыл тысячи огней, заливших его палубу и кают-компанию, а громовые крики и приветы Ленину все продолжали потрясать набережную, причиняя кое-кому и в Нью-Йорке и на пароходе небезосновательное сердцебиение.

Глава двадцать четвертая

ДНЕВНИК ВИСКА

«19 мая в полдень мы снялись. Я был занят в машинном отделении и часа три не мог выбраться на палубу. День спокойный, событий нет, если не считать странного рассказа некоего матроса Дана, порядочного труса и эпилептика. Он рассказал, будто слышал несколько раз из-под нар, где спят матросы, протяжный нечеловеческий вой. Мы все ходили туда, чтобы его успокоить, но ничего не слышали. Дан ведет себя странно. Сегодня с ним был припадок, он выл, колотился головой о землю, и изо рта его шла пена. Я подумал, что его собственный вой очень мало похож на человеческий.

Получив полуторачасовой отпуск, я бросился на палубу под предлогом проверки электрических проводов. Все в порядке. Палуба напоминает приемную президента в Белом доме,— всюду тропические растения в кадках, ковры, статуи. Пассажиры слушали в 5 часов маленький концерт и пили чай на палубе. Василов не поднимался из каюты. Я спустился в наш проход, открыл глазок и заглянул к нему. Меня удивило, что он делает: он сидел посреди каюты на корточках, держал револьвер в руках и глядел на дверь. Лицо его мне показалось растерянным и напуганным. Я бросил ему в комнату записку:

«У вас есть здесь защитник. Сообщите, чего вы боитесь, и оставьте записку у себя на столе. Будьте наружно спокойней, проводите все время с другими пассажирами».

Он поднял записку, прочитал и вместо ответа сказал шепотом:

— Я прошу того, кто мне бросил записку, зайти в каюту.

Тогда я вынырнул из-под обшивки в коридор и по-

стучал к нему. Он полуоткрыл дверь, держа револьвер в руках, осмотрел меня и потом впустил. Я назвал себя и сказал, что еду с ним до самого Кронштадта, чтоб охранять его жизнь. Он улыбнулся и показал мне клочок бумаги, на котором грубыми буквами и совершенно безграмотно было написано:

«Вы умрете, как только переступите порог своей каюты».

Василов пристально смотрел на меня, пока я читал бумажку, а потом произнес:

— Вы видите, я окружен слишком уж большими заботами. Один советует мне быть с пассажирами, другой — не выходить из каюты. Чей совет я должен принять во внимание? Откуда я знаю, кто мне враг, а кто друг?

Прежде чем ответить, я еще раз прочел бумажку. Это был грязный лист, вырванный из корабельной кухонной книги. Тот, кто писал, оставил на нем следы жирного большого пальца. Трудно было предположить, что записка исходит из вражеского лагеря.

— Слушайте! — вскричал я, составив план действий.— Возьмите эту записку, идите с ней к штурману и скажите, что вы чувствуете себя встревоженным и хотите быть помещенным или в общую каюту второго класса, или в общую палату корабельного лазарета. Это самое умное, что мы можем придумать.

Василов покачал головой.

— Мне все же неприятно выйти за порог этой каюты.

— Бойтесь оставаться в ней! — продолжал я под наитием своих мыслей.— А чтоб вы были спокойны за свою жизнь,— вот.

С этими словами я распахнул дверь, вышел на трап и спокойно произнес, обращаясь к нему, в то время как кончиком глаза отлично видел фалду чьего-то черного сюртука, исчезнувшего за перилами:

— У вас все в порядке, сэр... Должно быть, это внизу сорвана пробка.

Василов вышел вслед за мной, и мы вместе поднялись на палубу. Я старался держаться рядом с ним, чтоб в случае опасности принять беду на свою шкуру.

Но ничего ровнешенько не случилось,— он благополучно добрался до стеклянной будочки, где сидел толстый штурман Ковальковский. Я занялся своими проводами, которые ухитрился предварительно испортить, и видел, как Ковальковский прочитал протянутую ему записку. Толстое лицо его вспыхнуло от негодования, он несколько раз передернул плечами. Потом встал, и Василов пошел вслед за ним, по направлению лазарета.

Я не мог пойти туда же. Но, чиня провода, я спиной продвигался к трапу, откуда видны были каюты второго класса и служебное отделение. К своему изумлению, я увидел невысокого, совершенно незнакомого мне человека, в длинном черном сюртуке, стоявшего прямо перед каютой Василова. Он был рыжий. Я не удержался от восклицания. В ту же минуту он обернулся и взглянул на меня. Это был невзрачный человек с блуждающими глазами. Они глядели без всякого выражения, точь-в-точь как у рыбы на песке или у горького пьяницы, если продержишь его денька три на чистой водице. Не знаю почему, по телу у меня прошли мурашки. Я вспомнил слова старого Ксаверия.

«Должно быть, это капитан Грегуар»,— подумал я и поспешил скрыться с палубы.

Внизу, перед машинным, шли толки о болезни Дана. Португалец Пичегра, мой прямой начальник, набросился на меня:

— Вы бы поменьше шатались, Биск! Беднягу Дана пришлось снести в больницу, он мне теперь ни к чему, а вас велено всю ночь держать без смены, вот извольте-ка поработать.

— Кто велел?

— Приказ вышел и баста! — угрюмо ответил Пичегра.— Не беспокойтесь, если начальству угодно осыпать вас сверхурочными неизвестно за что про что, так уж оно вытянет из вас все соки!

Ворча и ругаясь, он мало-помалу выболтал мне, что капитан Грегуар лично распорядился назначить меня на ночное дежурство к машинам и что «Торпеде» приказано развить рекордную скорость ввиду полученных по радио сведений о надвигающемся шторме.

— Мы должны перебежать ему дорогу, вот что,— пропыхтел Пичегра за своею вонючей трубкой.

Мне это очень не понравилось, но делать было нечего. Я решил смириться, быть на дежурстве часа два-три, а потом улизнуть под предлогом нездоровья в уборную и попытаться пройти по стене к мисс Тоттер. Донесение для Мика обо всем происходящем лежало у меня в кармане. Итак, я остался, надел свой фартук и очки, потушил трубку и пошел в машинное отделение.

Чугунные звери молча делали свое дело. Они сжимали и разжимали челюсти, жевали сцепившимися зубами минуту за минутой, поедая время с ненасытной прожорливостью. Час, другой, третий,— я схватился за живот, закряхтел и выбежал, мимо кучки рабочих, в темный коридор, откуда мне ничего не стоило пролезть за обшивку, сделать два-три перехода в стене и постучаться к мисс Тоттер.

— Менд-месс!

Ни звука.

— Менд-месс!

Мисс Тоттер не отвечает.

Что за странность? Я заглянул в щель,— мисс Тоттер лежит на полу в позе спящего человека, бумаги ее перерыты, в иллюминатор льется свежий морской воздух, шкафчики мисс Тоттер открыты, и от голубей, знаменитых голубей Мика,— и след простыл».

Глава двадцать пятая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ВИСКА

«— Биск! Какого черта вы запропастились? — услышал я голос португальца.

Пришлось вернуться в машинное отделение, не разобрав толком причины сна мисс Тоттер и исчезновения голубей Мика Тингсмастера.

Всю ночь «Торпеда» развивала предельную скорость. Пока пассажиры мирно спали, паровой котел грозил разорваться от напряжения, кочегары носились в топке, как черти, а за стенами летевшей вперед «Торпеды» бился и ревел дьявольский шторм.

К самому утру, когда я уже шатался от усталости, португалец пришел сменить меня, и я побежал в каюту. Зевая, залез я на первые попавшие нары, рядом с храпящим матросом, и, не раздеваясь, собрался заснуть.

Как вдруг из-под пола донесся до нас полузаглушенный вой — жуткий и нечеловеческий вой, от которого у меня поднялись дыбом волосы. Я вскочил, смахивая сон. Несколько матросов проснулись и сели, свесив с нар голые ноги. Мы прислушались. Вой повторился опять, и на этот раз он был так пронзителен, так уныл, что многие из матросов в ужасе кинулись друг к дружке и сбились в испуганное стадо.

— Ребята, это воет мертвая собака капитана! — глухо сказал Ксаверий, и матросы затряслись от страха. Мой сосед кинулся на постель и сунул голову под подушку.

— Молчи, Ксаверий. И без того тошно,— остановил кто-то старика.

— Не буду я молчать,— упрямо шепнул Ксаверий.— Ясное дело, мертвая собака опять завыла. Не иначе, как быть покойнику, ребята; вот помяните мое слово.

— Что за мертвая собака? — вмешался я.

— А это, видишь ли, парень, была у нас на пароходе собачка, еще от прежнего капитана Джексона. Тот ушел, а собаку оставил, но только она невзлюбила рыжего, я разумею капитана Грегуара. И завела себе удивительный обычай: выть перед покойником. Веришь ли, каждое плаванье чуть завоет, уж мы знаем — быть у нас мертвецу. Рыжему сильно это не понравилось, и вот он однажды, проходя мимо собачки, поднял ногу, а собачка возьми да и зарычи. И как поднял он ногу, так и опустил ее прямехонько ей на голову и проломил ей каблуком череп. Силища в этом рыжем бесовская, а не человеческая!

— А она все-таки воет перед покойником,— шепотом вмешался молодой матросик, лязгая зубами от страха.

И точно в подтверждение, нечеловеческий протяжный вой снова донесся до нас из-под самых нар, как будто завывавшее существо, пока мы говорили, передвинулось к нам.

В ужасе кинулись матросы к себе на нары, прыгнул и я под одеяло, не столько от страха, сколько от усталости, и тотчас же заснул мертвым сном.

Я проснулся уже во вторую смену. Утренний гонг изо всех сил дребезжал нам в уши, сзывая к первому завтраку. Матросы повскакали, уступая теплые нары усталым до одури товарищам.

Когда я пошел в умывальную и подставил голову под струю холодной воды, старый Ксаверий улучил минутку и шепнул мне:

— А покойник-таки нашелся. Ведь телеграфистка скончалась в тот самый час, как выла собака.

Я выскочил из-под крана и, не вытираясь, помчался в машинное отделение.

— Пичегра! — крикнул я.— Правда ли, что умерла мисс Тоттер? Отчего она умерла?

— Не ори,— флегматически ответил португалец,— должно быть, шторм перепугал беднягу или объелась сверх меры, вот сердце-то и не выдержало. Да и надо сказать, что ей было за сорок, хоть и носила цветные бантики.

Я стал на работу. С этой минуты мне было ясно, что малейшая неосторожность приблизит меня к моей собственной смерти. Первую свободную минуту я употребил на то, чтоб набросать эти странички и приготовить в своем тайничке бутылку. Потом я скользнул в лазарет, куда меня пропустили не без труда. Я пошел навестить Дана.

Несчастный эпилептик лежал без движения, стиснув посиневшие губы. Пришлось повозиться с ним, прежде чем он раскрыл рот.

«Чего хотят от него? Он намерен умереть, и чем скорей, тем лучше. Нельзя жить человеку, видевшему

сатану. А он видел, как сатана убил его друга, Дипа. Нет, никого не приводили в лазарет, кроме него. Пассажирская палата рядом; в лазарете общая контора; он непременно узнал бы, если б, кроме него, был еще больной...»

С этими словами Дан замолк и повернул мне спину. Я выжал из несчастного все, что мне было нужно, и с тревогой прошмыгнул на палубу. Значит, Василов не ночевал в госпитале. Я рассердился на него за неосторожность. Почему он не послушался разумного совета?

Наверху, в маленьком салоне, было шумно. Вокруг Ковальковского столпились пассажиры I и II классов, шла речь о смерти телеграфистки.

— Я требую, чтоб была произведена дезинфекция! — надрывалась пожилая дама из каюты № 8.

— Да помилуйте, ведь она умерла от разрыва сердца.

Человек, проговоривший это веселым голосом, стоял спиной ко мне. Я посмотрел и облегченно вздохнул. Это был Василов собственной особой — живой, веселый, разговорчивый, ничем не напоминавший вчерашнего запуганного пассажира. Он жив,— тяжесть спала у меня с плеч, слава богу! Я хотел подойти к нему, но побоялся попасться на глаза штурману.

Между тем Василов оживленно разговаривал с пассажирами, успокоил ворчливую пожилую даму, поднял крошечный носовой платок, оброненный дочерью сенатора Нотэбита, словом — вел себя, как заправский светский человек.

«Вот какие у тебя замашки»,— подумал я не без ехидства и, улучив минуту, когда он зашел за кресло с газетой в руках, тронул его за плечо.

— Отчего вы не ночевали в лазарете?

Василов быстро повернулся и посмотрел на меня острым взглядом.

Ребята! Это был Василов, это было его лицо, нос, губы, волосы, пиджак, брюки, жилетка, сапоги, это был Василов, говорю я вам, и это был не он! Это был совсем другой человек, не будь я Биск, шотландец! Я не удержался, я вскрикнул.

— Что с вами? — спросил, улыбаясь, мнимый Василов, другой Василов, призрак Василова, не знаю, как его назвать,— но я не ответил, у меня лязгали зубы, я опрометью кинулся вниз, к его каюте.

Мне удалось попасть под обшивку никем не замеченным. Я взглянул в глазок: все было попрежнему в каюте Василова, даже револьвер лежал на столе и в углу стоял нетронутый саквояж. Сплю я, что ли? Нет ли у меня кошмара? Но, если только не подменили меня самого, тот человек наверху не был Василовым, нет и нет!

Я выскочил снова на трап, чтоб пробраться к себе в тайничок. Пробегая по лестнице, я увидел позади себя, в двух шагах, не больше, рыжего человека в сюртуке. Он спешил за мной, легонько дотрагиваясь до перил тощей и безжизненной рукой с сильно опухшими сочленениями. Я рванулся со всех ног вперед, опередил его шагов на двадцать, завернул за угол и стрелой влетел в узкое отверстие.

Уф! Спасен, хоть на час, да спасен! Я оглянулся, тщательно запер все выходы из моего тайничка, приготовил бумагу, чернила, дописываю дневник. Сейчас я закупориваю это в бутылку и брошу в море, написав на стекле кусочком алмаза



Кто бы ни был тот, кто выудит бутылку из океана,— если только он человек рабочий,— он доставит ее Микаэлю Тингсмастеру. Наших ребят разбросано по белу свету гораздо больше, чем знаем мы сами.

Я только что собрался сунуть бумагу в бутыль, как послышался звук льющейся воды. Оказывается, наверху открылась щель в два пальца, и оттуда хлынула вода. Я попробовал на язык — соленая. Ринулся к выходу — он не раздвинулся. Меня захватили, как в мышеловку. Вода наберется часа через два, и я утону.

Прячу бумагу в бутылку, закупориваю, стараюсь расширить щель, чтоб выбросить бутыль из каюты. Ребята, вспоминайте шотландца Биска! Предупредите тех, кто едет на «Амелии», что подмен совершился. Остерегайтесь капитана Грегуара!
Менд-месс!

Глава двадцать шестая

ДОЧЬ СЕНАТОРА

— Милая моя, ты ведешь себя не-при-лично,— сказал сенатор Нотэбит своей дочери Грэс, лежавшей на кушетке, укрепив обе ноги выше головы, на спинке отцовского стула.

— Очень может быть, папа,— ответила Грэс,— я ничего не имею против твоих замечаний. Если это тебе нравится, говори сколько угодно.

— Дело не в том, нравится ли это мне, дочь моя,— внушительно возразил сенатор,— а в том, чтобы ты приняла мои слова во внимание.

— Не считайся со мной, дорогой папочка. Недоставало еще, чтоб мой отец считался с такой глупой девчонкой, как я. Умоляю тебя, делай только то, что тебе нравится.

Сенатор помолчал несколько минут, сбитый с толку Он, впрочем, был недаром сенатором и недаром посещал официальные и домашние приемы президента. Высморкаться и снова приступить к делу ему ничего не стоило.

— Ты ведешь себя не-при-лично,— начал он опять,— ты не отстаешь от Вестингауза буквально ни на шаг. Я понимаю, если б это было из нежного чувства. Многие браки в Нью-Йорке проистекали от нежного чувства, порожденного качкой на пароходе и другими явлениями гальванического порядка, возмож-

ными на океане. Но в данном случае дело, очевидно, не в нежном чувстве.

— Папа. Как ты можешь говорить мне подобные вещи! — с негодованием воскликнула Грэс, вскочив с кушетки.— Как ты можешь злоупотреблять тем, что я сирота, что у меня нет матери. Ах! — Она немедленно разрыдалась, забив ногами об пол и тряся головой с такой силой, словно это была не голова, а спелая яблоня.

— Но что же я такое сказал? — пробормотал смущенный сенатор.

— Ты сказа-ал... ты ска-зал...— рыдала несчастная Грэс.— Ты сказал о гальванических... нет, я не могу повторить.

— Ну, будет, будет,— миролюбиво произнес сенатор, хлопая свою дочь по спине,— я ведь знаю, что ты у меня славная девочка, Грэс, ты у меня хорошая девочка, воспитанная девочка. Не рыдай таким ужасным образом, это повлияет на твои легкие!

— Н-не буду, папа, дорогой,— плакала Грэс,— ах, ты не знаешь, как у меня тяжело на душе, когда вспоминаю, что у меня нет мамы... Мой гардероб, ты знаешь... и шляпки... и никто, никто, никогда!

Ноги Грэс опять выразили намерение забарабанить по полу. Сенатор был совершенно уничтожен. Он раскис и утер слезу. Он полез в боковой карман за бумажником.

— Полно, полно, Грэс. На континенте мы все это приведем в порядок. Ты увидишь, душечка, что отец тоже имеет значение в таких делах, как гардероб.

— И шляпки! — воскликнула Грэс.

— И шляпки, цыпочка. Поцелуй своего папу. Спрячь в сумочку эту бумажку.

Грэс прикоснулась к отцовской щеке, спрятала бумажку в сумочку и снова свернулась на кушетке калачиком.

Между тем сенатор, удалившись в свою собственную каюту, предался сладким и горделивым мыслям.

— Совсем как покойница мать! — шептал он про себя с чувством.— Такая же кроткая, ласковая, незлопамятная. Приласкаешь ее, утешишь пустячком, и сейчас же все забудет. Ребенок, совершенный ребенок.

Он мирно растянулся на кровати, смежил глаза и заснул.

Между тем ребенок, полежав некоторое время, вскочил, прислушиваясь к храпу своего отца, пригладил кудри и, сунув что-то за широкий шелковый кушак, тихонько выбрался из каюты.

Банкир Вестингауз, похудевший и постаревший, сидел у себя за привинченным к полу столиком, пил виски с содовой и лихорадочно просматривал нью-йоркские газеты. Этот старый развратник был выбит из строя. Он испытывал нечто похожее на меланхолию. Он тосковал по таинственной Маске, ушедшей от него в один майский день и больше не возвратившейся. В каюту постучали.

— Войдите,— пробормотал он рассеянно. Дверь отворилась, кто-то быстрыми шагами вошел в каюту, остановился близехонько от него, и не успел Вестингауз поднять глаз, как навстречу ему устремилось дуло прехорошенького дамского револьвера и женский голос грозно произнес:

— Руки вверх!

Вестингауз за всю свою банкирскую практику не испытывал подобного потрясения. Он хотел было поднять руки, но они тряслись и положительно отказывались оторваться от защитной поверхности стола.

— Руки вверх, старая крыса! Раз, два!..

— Мисс Нотэбит,— взмолился Вестингауз, разглядев, наконец, кудрявого бандита,— я согласен поднять руки, как только они поднимутся. У меня слабое сердце. Опустите эту вредную игрушку вниз.

— И не подумаю,— спокойно ответила Грэс,— я буду держать ее до тех пор, пока не узнаю от вас все, что мне нужно. Негодяй, тиран, деспот, дарданельский турок, куда вы дели Маску? Отвечайте сию минуту, где она, куда вы ее запрятали?

— Поистине, мисс Нотэбит, вы в роковом заблуждении. Я раздавлен, покинут, я брошен, она бежала от меня, я страдаю, а вы задаете мне вопросы, которые я сам готов задавать с револьвером в руках.

— Так я и поверила,— протянула мисс Грэс,— выкладывайте доказательства, старичок!

Вестингауз в бешенстве прикусил губу Он схватил со стола газеты, целый ворох газет, и швырнул их в лицо мисс Нотэбит.

— Читайте! — простонал он с отчаянием.

Грэс подобрала газеты одной рукой, держа другую с револьвером на уровне банкирского носа. Она тотчас же увидела несколько объявлений, подчеркнутых красным карандашом.

«Банкир Вестингауз умоляет Виви вернуться, обещая за это все свое состояние».

«Банкир Вестингауз предлагает Виви, в случае ее возвращения к нему, законный брак».

«Банкир Вестингауз просит Виви зайти к нему только на одну минуту, чтоб получить брильянтовое колье...»

— Гм! — произнесла Грэс недоверчиво, прочитав все эти объявления.— Но тогда чего ради вы поехали в Европу?

— Я собираюсь сделать себе прививку Штейнаха,— пробормотал Вестингауз, закашлявшись.

Грэс окинула его презрительным взглядом и надула губки.

— И этому человеку,— произнесла она уничтожающим тоном,— этому человеку принадлежала самая красивая женщина в мире. И я считала его деспотом! Фи!

Она хотела попятиться к дверям, все не опуская своего револьвера, как вдруг глаза ее упали на другое объявление в последнем номере нью-йоркской газеты, только что сброшенном на «Торпеду» воздушной почтой. Там извещалось о скромном торжестве, состоявшемся в особняке Морлендеров на Риверсайд-Драйв: в тесном кругу своих близких, очень скромно по случаю траура, была отпразднована помолвка мистера Артура Морлендера с мисс Клер Вессон.

Грэс раздраженно взмахнула револьвером, как если б он был хлыстом, свистнула по-мальчишески и выбежала из каюты, оставив потрясенного мистера Вестингауза с подъятыми к небу обеими руками именно в ту минуту, когда в этом не было ни малейшей необходимости.

Глава двадцать седьмая

ЧАСТЬЮ НА СУШЕ, А ЧАСТЬЮ НА ВОДЕ

— Клер женилась на этой телятине, Артуре! — гневно сказала себе мисс Нотэбит, бросая револьвер на стол.— Она все-таки женилась на нем, глупая девочка!

— Артур обручился с этой рыжей Клер! — изумленно сказал себе доктор Лепсиус, вытаращив две пары глаз, считая очковые и свои собственные, на лежавший перед ним утренний выпуск газеты.— Просто невероятно. Артур, женоненавистник, убежденный холостяк, собиравшийся уничтожить всех женщин в мире, ненавидевший миссис Вессон и эту усатую ее племянницу,— он обручился с Клер. Тоби! Тоби!

Мулат с разинутым ртом безмолвно вынырнул возле докторского кресла.

— Тоби. Ущипни меня. Ай, я не сплю! Тоби, день это или ночь? Я это или не я?

Мулат хлопал глазами, молчаливо пуская слюну.

— А, дуррак! — выругался доктор, ударив его палкой по ногам.— Теперь я вижу по крайней мере, что ты — это ты. Пошел вон!

Тоби исчез так же безмолвно, как и вынырнул. Доктор Лепсиус снова прочел объявление, и в ту же минуту на лбу его появилась грозная складка.

— Ага,— сказал он себе,— ага! «В тесном кругу своих близких...» С каких это пор, любезные друзья, вы исключаете доктора Лепсиуса из числа своих близких! Помолвка — и меня не приглашают. Помолвка — и я лишний человек. Помолвка — и доктор Лепсиус забыт, как будто о нем можно помнить только при гриппе, катаре, запоре. Погодите же!

Три ступеньки, ведущие ему под нос, развалились в разные стороны,— признак крайнего расстройства доктора Лепсиуса. Он вскочил с необычайной для себя

ловкостью, накинул смокинг, взял шляпу и палку и тотчас же вышел из дому По дороге он купил цветы. И с ядовитой улыбкой на устах, с букетом цветов в руках, доктор Лепсиус энергично звонил спустя двадцать минут в парадные двери морлендеровского особняка.

— Нет дома,— ответил дворецкий.

— Знаю, знаю, Томас Биндшток. Надеюсь, ты помнишь, как я вылечил тебя от жабы? — с этими словами Лепсиус прошел мимо дворецкого и поднялся наверх.

— Нет дома,— сказал лакей.

— Отлично знаю, Питер, а ну-ка покажи, все ли еще у тебя каплет из уха? — И доктор Лепсиус заглянул в ухо Питера, где давно уже не производилось никакой разгрузки, бросил Питеру шляпу и палку и решительно отворил дверь в гостиную.

На мягком диване, уютно подобрав ноги, сидела миссис Элизабет Морлендер и вышивала шелком по атласу. Прямо против нее на кушетке полулежала мисс Клер Вессон и ничего не делала. Увидя доктора Лепсиуса, обе вскочили с места и вскрикнули

— Позвольте мне на правах старого, хотя и забытого друга! — галантно произнес доктор, протягивая цветы.— Я счастлив, что милые моему сердцу люди соединились в еще более тесную семью. А где же Артур? Позвольте мне прижать его к сердцу.

Миссис Морлендер обменялась с племянницей быстрым взглядом.

— Спасибо, доктор,— произнесла она в некотором смущении.— Артура вы, к сожалению, не увидите. Он болен, сильно болен, и мы решительно никого не принимаем.

— Артур болен! — вскрикнул Лепсиус.— Ведите меня к нему.— С этими словами он вытащил из кармана слуховую трубку и прочие профессиональные орудия.

— Да, то есть он... он совсем по-другому болен,— окончательно смутилась миссис Морлендер.

— Он болен не по вашей специальности, доктор,— вмешалась Клер мужским басом,— его лечит доктор Бентровато.

Лепсиус остановился, не веря своим ушам. Он поже-

вал губами, силясь выговорить хоть слово, посмотрел на миссис Элизабет Морлендер, посмотрел на мисс Клер Вессон и, повернувшись, резкими шагами направился вон из этого дома.

Питер протянул ему шляпу и палку и шепнул ему на ухо с таинственным видом:

— Мистер Лепсиус, спуститесь в людскую. Полли хочет поговорить с вами. Скверное это дело, сэр!

По телу доктора прошел как бы электрический ток. Он подпрыгнул и ударил себя в лоб. Он сардонически искривил губы. И, ни о чем не расспрашивая Питера, бегом спустился в людскую.

Негритянка Полли давно собиралась умереть. Но по ее мрачному виду было ясно, что земные дела упорно мешали ей в этом намерении, и она со дня на день скрепя сердце откладывала день смерти.

Увидев доктора Лепсиуса, она выслала всех из людской, схватила его черной высохшей рукой за плечо и зашептала, мрачно сверкая глазами:

— Масса Лепсиус не послушал меня. Старая Полли много знает! Старая Полли имеет камень Гонхуакангу. Она сразу узнала, что в гробу массы Иеремии лежит не масса Иеремия. Она сказала тебе: масса Лепсиус, прикажи открыть гроб. И вот они украли гроб, они его спрятали от всех глаз и от глаз камня Гонхуакангу. Теперь слушай меня, масса Лепсиус, много слушай. Мастер Артур женится на желтолицей ведьме, хорошо. Но кто видел мастера Артура? И кто был на свадьбе? Никто, никто, никто! Был один немец и один русский, и был один француз, и был священник, которого никто не знает, и не было ни одного слуги, ни одного доброго негра, не было Полли, не было массы Лепсиуса. И вот уже три дня, как никто не видит мастера Артура, никто, никто, никто!

Проговорив все это, старая Полли закатила глаза, захрипела, забилась и умерла. Доктор Лепсиус выслушал предсмертный монолог Полли, не моргнув глазом. Он позвал слуг, вошедших в людскую трясясь от страха, велел им молчать обо всем, что они слышали от Полли, и быстро уехал к себе домой.

Здесь он ходил некоторое время взад и вперед, против своего обыкновения не вызывая Тоби и не обнаруживая никаких признаков гнева. Потом сел за стол, придвинул к себе бумагу и написал:

«Главному прокурору штата Иллинойс.

От доктора Лепсиуса, кавалера ордена Белого знамени, почетного члена Бостонского университета.

Высокочтимый господин прокурор!

Не так давно в газетах было напечатано, что вы являетесь национальной американской гордостью по части раскрытия таинственных преступлений. В заметке было сказано, что Нат Пинкертон, Ник Картер и Шерлок Холмс являются перед вами не чем иным, как простыми трубочистами. Я взываю к вам о помощи в одном чрезвычайно странном деле. Вы слышали, что в России был убит Иеремия Морлендер. Есть основание думать, что он был убит отнюдь не теми лицами, кого обвиняют официально. В настоящее время исчез Артур Морлендер, его сын, хотя домашние скрывают его исчезновение. Во имя справедливости и для спасения жизни молодого человека займитесь этим загадочным делом.

Честь имею, высокочтимый и т. д., и т. д., и т. д.»

Написав это письмо, доктор Лепсиус запечатал его, наклеил марки и позвал Тоби:

— Тоби,— сказал он внушительно,— дай это письмо мисс Смоулль и прикажи ей немедленно бросить его в почтовый ящик.

Тоби схватил письмо и опрометью помчался в верхний этаж, где урожденная мисс Смоулль, засучив рукава, гладила белье своего мужа, Натаниэля, пришедшего к ней на полчасика. Когда утюг ставился на печь, молодожены занимались поцелуями.

— Мисс Смоулль! — заорал Тоби.— Берите письмо и бросьте его в почтовый ящик.

— Я тебе не мисс Смоулль, желтый болван! Двадцать раз в день говорю тебе: миссис Эпидерм, миссис Натаниэль Эпидерм!

— Да чем же я виноват, если сам масса Лепсиус!..— прохныкал Тоби.

Миссис Эпидерм величественно взяла письмо и взмахнула им в воздухе.

— Вот что я тебе скажу, Тоби, мулат. Если твой хозяин на старости лет приревновал меня, или хочет подыграться ко мне, или затеял другую какую насмешку,— знай, обезьяна, я не из таковских! Я слышу все, что говорится мне в лицо и за глаза, благодарение берлинскому наушнику. Вот тебе! Вот твоему барину!

Раз, два — письмо полетело в открытое окно, прямо на улицу. Натаниэль радостно захихикал. Тоби вскрикнул и бросился вниз подобрать злополучное письмо,— но, увы, сколько он ни искал на тротуаре и на мостовой, его нигде не оказалось. Можно смело положиться на Тоби,— он не расскажет об этом своему барину ни наяву, ни во сне.

Что же касается читателя, то он вправе узнать, что письмо упало прямо на воз с премированными кроликами, торжественно отправлявшимися домой с нью-йоркской выставки по животноводству.

Глава двадцать восьмая

ЦЕЛИКОМ НА СУШЕ

Солнце зажаривает над Миддльтоуном, птицы поют, деревья распустились, словом,— природа подогнала себя под календарь почти в самую точку, хотя, надо сознаться, старухе это с каждым годом становится все труднее и труднее.

Мастерская деревообделочного завода залита пол-

ным светом. Веселый гигант, Микаэл Тингсмастер, в переднике и с трубкой в зубах, знай себе работает да работает рубанком, стряхивая с лица капли пота. Белокурые волосы слиплись на лбу, фартук раздувается, как парус, стружки взлетают, свистя, во все стороны. Хорошая, гладкая штучка выходит из рук Микаэла Тингсмастера, весело подмигивает она двумя глазками:



Мик поднял ее на свет, полюбовался, вынул трубку и запел вполголоса, глядя на свою штучку:

Клеим, стругаем, точим,
Вам женихов пророчим,—
Дочери рук рабочих,
    Вещи — красотки!

Сядьте в кварталы вражьи,
Станьте в дома на страже,
Банки и бельэтажи —
    Ваши высоты!

Кто не знает песенки Тингсмастера? Один за другим к Мику сошлись рабочие, улыбаясь и подтягивая.

— Ну, как дела, Мик? Как подвигается кресслингова затея?

Тингсмастер поднял вверх великолепный квадратный ящик, сделанный из драгоценного бразильского красного дерева.

— Вот оно как, ребята,— сказал он с улыбкой,— осталось только украсить его резьбой да передать на оптический завод, где уже всё смастерил техник Сорроу. Вставят, вправят,— и готова штука!

— Ловко! — захохотали рабочие.—А химики знают?

— И химики сделают свое дело. Дочь не пойдет против отца, никогда не пойдет, так и знайте, ребята.

— А секрет-то тебе известен, Мик?

— Не приставайте, не скажу. Да и не нашего это ума дело, братцы. Техник Сорроу намудрил чего-то по-латыни.

Рабочие схватились за живот, надрываясь от хохота.

А Мик, как ни в чем не бывало, смахнул с фартука стружки, надел картуз и пошел к себе домой скоротать полчаса, ассигнованных Джеком Кресслингом на обеденную передышку.

Скучно стало в маленьком домике Тингсмастера без верной Бьюти. Стряпуха поставила на стол миску с любимой Тингсмастером «похлебкой долголетья», нацедила ему в кружку жидкого пива и села с ним есть. Молча и торопливо окунали они ложки в миску, как вдруг задребезжало чердачное окно.

— Голубь! — воскликнул Мик и, бросив ложку, поспешил на чердак. В самом деле, в окно бился почтовый голубь Мика.

Распахнув окно, он поймал голубя, погладил и опустил пальцы в мешочек на его шее.

— Странно! — пробормотал он, спуская голубя с пальца.— Никакой записочки ни от Биска, ни от мисс Тоттер.

Не успел он сказать это, как в чердачное окно влетели, один за другим, еще восемь почтовых голубей и опустились с ласковым воркованием к нему на плечи и голову. Голуби были живы и здоровы, мешочки у них на шее в полном порядке, но ни один из них не принес Мику письма.

— Несчастье! — воскликнул Мик. Он посадил голубей на их жердочки, насыпал им корму, налил воды и бросился бегом на ближайшую радиостанцию.

— Менд-месс!

— Месс-менд. В чем дело, Мик? — отрывисто спросил дежурный, возившийся над приемом депеши.

— Пошлите радио на «Амелию», дружище.

— Можно. Кому?

— Технику Сорроу. Передайте так: «Вернулись девять голубей без писем, предполагаю несчастье, берегитесь Кронштадте подмены».

— Будет исполнено, Мик. Крупная игра, а?

— На человеческую жизнь,— ответил Мик, приложил к картузу два пальца и опрометью помчался на завод.

Стряпуха аккуратно доела свою порцию похлебки и выглянула в окошко, не идет ли Мик. Потом вздохнула,

почесала в ухе и честно разделила оставшуюся похлебку на две части, съев свою часть и облизав ложку.

— Мы люди бедные, но справедливые,— шептала она себе под нос, выйдя за дверь и поджидая Мика,— сейчас он, голубчик, вернется и съест свою долю, ровнешенько половину.

Однакоже Мик не шел и теперь. Вздохнув еще громче, стряпуха опять поделила остаток на две равные части и съела свою долю, не забрав ни капельки у соседа. Так она делила и ела вплоть до сумерек, пока, наконец, на долю Мика не осталась одна деревянная ложка. Вздохнув, стряпуха убрала посуду и залегла малость вздремнуть.

А Тингсмастер вынул из-за пазухи горячую хлебную краюху и, разжевывая ее на ходу, нес изготовленный им ларец к себе домой, чтоб здесь выполнить для Креслинга диковинную сверхурочную работу: покрыть драгоценное дерево тончайшей резьбой, вызвать к жизни сотню-другую лапчатых птиц, охотничьих собак, лисиц, зайчат, добрых коней и охотников на конях, в длинных шляпах с перьями, в развевающихся плащах, в соколиных перчатках. А вокруг зверья и людей выточить тропку, обсадить ее листьями папоротника, ивой, тополем, дубом, поставить в сторонке избушку, словом,— навести таких чудес, таких тонких штук, чтобы каждый любовался и похваливал. В уголке же проставить невидимо для смертного глаза две крохотных буквы, чтоб свой брат, рабочий, поглядев сквозь лупу, сказал:

— Как же не угадать хитреца Тингсмастера? Кто, кроме него, еще может выдумать подобную штучку?!

Чтоб заглушить сильное чувство внутренней тревоги, Мик засветил лампу, заработал тончайшей иглой и замурлыкал свою песенку:

На кулачьих кадушках,
Генераловых пушках,
Драгоценных игрушках —
Всюду наше клеймо!

За мозоли отцовы,
За нужду да оковы
Мстит без лишнего слова
Созданье само!

Глава двадцать девятая

«АМЕЛИЯ» ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Красивая молодая дама под вуалью, записанная в книге под именем Кати Ивановны Василовой, произвела сильное впечатление на мужскую половину «Амелии».

Капитан Мак-Кинлей, ирландец, набил трубку лучшим сортом табака. Штурман, ходивший с обвислыми штанами, подтянул штрипки. А мистер Пэль, тот самый мистер Пэль, который возил индо-китайцам порох и спирт, кафрам — спирт и библию, новозеландцам — спирт, библию и бусы, зулусам — библию, бусы и нашатырь, русским — маис в сухом виде, маис в перемолотом виде, маис в тертом виде, маис в виде риса и маис в виде сахара, отчего один из его сотрудников сострил не без грации — «вот вам Ara-Massacre» [1],— этот самый мистер Пэль, тонкий, изящный и рыжеватый, внезапно стал разговорчивым, как русский эмигрант.

Одетый в парусиновый костюм песочного цвета, чисто выбритый за исключением шеи, где было отпущено ровно столько рыжих волос, сколько нужно для соблюдения стиля «янки», мистер Пэль большую часть времени проводил на палубе, грызя золотой набалдашник своей трости. Стоило показаться где-нибудь миссис Василовой, как уже мистер Пэль вынимал изо рта набалдашник и, дотрагиваясь кончиком трости до стоявших вокруг него бочек, ящиков и мешков, называл их содержимое, число кило, себестоимость кило, прибавочную ценность кило, процент обвешивания, процент обмеривания, процент увлажнения по пути следования и, наконец, процент своей собственной выручки, считая

---

[1] Игра слов, основанная на некоторой звуковой схожести maize (маис) и sugar (сахар) с massacre (смертоубийство)

по общей сумме голов или, вернее, ртов потребителей. Мистер Пэль называл свою речь публичной лекцией. С чисто американской выдержкой он повторил ее несколько раз, покуда не заметил, что миссис Василова, остановившись поблизости, прислушивается к его словам. Мистер Пэль тотчас же снял шляпу и поклонился.

Молодая женщина подняла на него большие глаза цвета фиалки:

— Простите, сэр, но вы, кажется, знаток русского народа? — спросила она с очаровательным смущением.

— О! — ответил мистер Пэль обещающим голосом.

— Так не можете ли вы (робкий взгляд и улыбка)... Не можете ли вы (фиалковые глаза устремляются вниз, на кончик крохотного башмачка) ознакомить меня с общеупотребительными русскими выражениями?

— С величайшей готовностью,— воскликнул мистер Пэль, облокотившись на ящик маиса и вынув записную книжку,— вот, для первой ориентации в русском городе... вы входите в ресторан, вы спрашиваете национальные блюда... Позвольте, я прочту,— и мистер Пэль прочел по складам: «Вши, касса, плин, яичники...»

— Нет, нет,— прервала его миссис Василова с легким вздохом,— я хотела бы знать совсем другие слова и, если можно, попросить вас записать мне их английскими буквами. Например, слово «муж», потом слова «будьте осторожны»...

— О-о! — кисло улыбнулся американец.— Очень опасный подбор слов. Муж по-русски — это «муш» или ласкательно «мушка», а ваше предостережение надо произнести так: «Будь ты острожник».

— Спасибо,— мило произнесла молодая женщина, записывая себе в книжечку эти слова,— сэр, я — русская по происхождению, но совершенно забыла родной язык. Особенно после морской болезни... Такая странная болезнь, отняла память событий, лиц, хронологии...

— Разве вы страдаете морской болезнью?

— По ночам у себя в каюте,— смутившись, произнесла миссис Василова и удалилась, обласкав мистера Пэля очаровательным поклоном.

Она не прошла и десяти шагов, как из маисовой кадки слева раздалось какое-то странное кряхтение. Вздрогнув, она отшатнулась направо, но из стоявшего там ящика с маисом послышалось совершенно явственное сопение. Испуганная красавица побежала прямо на груду мешков, как вдруг до ушей ее долетел тяжелый и сдавленный вздох, и один из мешков несомненно зашевелился. Это было уж слишком для ее чувствительных нервов. Она закрыла лицо руками и помчалась по трапу вниз, к себе в каюту.

У миссис Василовой очень элегантная каюта первого класса. Для такой старой и маленькой развалины, как пароход «Амелия», рассчитывающей больше на груз, нежели на пассажиров,— это очень миленькая каюта. Мягкая мебель ввинчена в пол, зеркало и вешалка привинчены к стенам, всюду ковры, коврики и занавески. Мнимая Катя Ивановна бросилась на кушетку, вытянула ножки и закинула обе руки за голову. Каштановые локоны, выбившись из прически, мягкими прядями свесились вдоль ее свежих, бледных щек, фиалковые глаза потемнели, губы страдальчески сжались.

Катя Ивановна, Вивиан Ортон то ж, думала о том, что ее ждет в Кронштадте. Она ехала в сумасшедшую страну, которую Тингсмастер называл великой. Она ехала к народу, который Тингсмастер называл гениальным. Она думала об этой стране и страстно хотела ее видеть. Она также думала о человеке, с которым должна будет встретиться в Кронштадте. Если это Василов, она подойдет к нему и скажет: «Будь ты острожник», а если это Артур Морлендер, ей придется сказать ему нежным голосом «мушка» и начать страшную комедию,— бог даст, последнюю комедию в ее жизни...

Вивиан устало опустила ресницы. Она больна ненавистью, убивающей ее лучше всякого яда. Но у нее есть и яд, настоящий яд, действующий как молния, спрятанный в механизме ее маленьких золотых часиков. Вивиан не собирается убить им Морлендера, этот яд она бережет для себя. Вивиан проследит за всеми тайнами своего врага, прочтет его мысли, узнает его планы и

выдаст его народу, чтоб сам советский народ расправился с ним, как он того заслуживает...

Ресницы ее вздрогнули, и у прелестного рта легла жестокая складка.

Стук в дверь. Вивиан вскочила, и лицо ее приняло прежнее наивное выражение.

— Кто там?

В каюту просунулась голова небольшого человечка. Это был техник Сорроу. Он тотчас же вошел, заложив руки за спину, и шепнул тревожным тоном:

— Дорогая мисс Ортон, мы приняли радио из Нью-Йорка... От Микаэля Тингсмастера...

— И что же?

— Готовьтесь к худшему, мисс Ортон. Мик предполагает несчастье. Он думает, что Василов убит и заменен... Кем — не знаю. По всей вероятности, Морлендером согласно плану заговорщиков.

Вивиан ничего не ответила. Руки ее судорожно сжались в кулачки.

— Еще одно, дорогая моя мисс,— «Амелия» сильно запаздывает. Мы только завтра придем в Кронштадт. И одновременно с нами или даже раньше нас придет «Торпеда». Мы снеслись по радио и узнали, что она развила предельную скорость. Она выиграла два дня.

— Хорошо,— медленно ответила Вивиан,— не бойтесь, друг Сорроу. Я помню все ваши наставления, я знаю свой долг, и я его исполню.

Глава тридцатая

АРТУР МОРЛЕНДЕР ЛИЦОМ К ЧИТАТЕЛЮ

Мы оставили «Торпеду» в ту злополучную минуту, когда Биск, матросы, бедняга Дан, сам португалец Пичегра, мнимый Василов, дочь сенатора и даже банкир Вестингауз были объяты ужасом, впрочем далеко

не от одной и той же причины. Оставляя в стороне психологический анализ, я должен вкратце назвать эти причины:

Вестингауз был в ужасе, потому что испугался дочери сенатора.

Дочь сенатора была в ужасе, потому что последняя ее надежда найти Маску исчезла.

Биск был в ужасе, потому что погибал.

Матросы были в ужасе от нового пронзительного воя под палубой, предвещавшего еще одного покойника.

Португалец Пичегра ужаснулся не столько исчезновению Биска, сколько количеству работы, выпавшей отныне на его долю.

Ужас бедняги Дана установился раз навсегда от лицезрения сатаны.

Что касается ужаса мнимого Василова, то о нем нельзя сказать в двух словах, и спокойное течение этой главы, я надеюсь, постепенно подготовит читателя к его восприятию.

Мистер Артур Морлендер, так как это был он, целиком и безусловно отдался на волю пославших его людей. Жизнь перестала интересовать его. Он решил стать орудием мести, не больше. Он ни о чем не спрашивал, и ему никто ничего не говорил, кроме сухих предписаний: сделать то-то и то-то.

Первые сутки он терпеливо сидел, спрятанный в узкую черную каюту, откуда не было, казалось, никакого выхода. Стена раздвигалась и выбрасывала ему на подвижном подносе питье и еду; когда же «Торпеда» отошла уже на расстояние дневного пути от Нью-Йорка, тот же поднос последовательно выбросил ему сапоги, брюки, жилетку, пиджак, воротничок, галстук, запонки, манжетки и прочие предметы, снятые с несчастного Василова и еще теплые от его тела.

Артур Морлендер послушно надел все это на себя. Спустя некоторое время стенное отверстие бесшумно раздвинулось в вышину человеческого роста, и в комнату вошел невысокий человек в маске и монашеском капюшоне. Он зна́ком показал Морлендеру, чтобы тот сел перед зеркалом, вынул множество баночек и фла-

кончиков и рукой в черной перчатке ловко загримировал его под Василова. Надо, впрочем, сказать, что это вовсе не было трудно, так как молодой Морлендер и коммунист Василов были удивительно похожи друг на друга,— обстоятельство, предусмотренное заговорщиками заранее. Итак, незнакомая рука наложила легкий грим, указала Артуру, как это делать без ее помощи, и человек в капюшоне безмолвно исчез туда, откуда появился.

В ту же минуту в отверстие раздался сухой голос, показавшийся Морлендеру знакомым:

— Настало время вашего выступления, мистер Морлендер. Отныне вы — коммунист Василов. Вы русский, но с детства жили в Штатах и не знаете русского языка. Вам предстоит действовать быстро, осмотрительно, без раздумья. Вы получите сейчас деньги, яды, оружие. Ваша основная задача — укрепиться на главнейшем из русских металлургических заводов, чтоб взорвать его, подготовив одновременно взрывы в других производственных русских пунктах, и войти в доверие вожаков коммунизма, чтоб подготовить их массовое уничтожение в назначенный нами день. Держите себя тактично. Играйте свою роль талантливо. Лига империалистов облекает вас своим доверием.

С этими словами голос замолк, в отверстие были ему переданы увесистый пакет советских денег, бутылочка с ядом, несколько неизвестных Артуру капсюль, коробка с голубыми шариками и новейшей конструкции бесшумный американский автомат.

Не успел он еще прийти в себя от всего услышанного, как пол под ним медленно заколыхался и стал опускаться вниз. Через минуту движение прекратилось, наверху раздался сухой треск. Артур оглянулся и увидел себя в каюте Василова, где все находилось в том же порядке, как и при жизни несчастного американского коммуниста. Дверь каюты была полуоткрыта.

Морлендер запер ее на ключ, подошел к зеркалу и оглядел себя с ног до головы. Потом он сунул руки в карманы, достал все документы Василова и принялся внимательно их изучать. Документов было не мало — партийная книжка, полицейское удостоверение, письма и рекомендации от нью-йоркских коммунистов. Вот кон-

верты, адресованные русским деятелям. Вот письмо из Петрограда, где он, Антон Василов, приглашается главным инженером на Путиловский завод. А вот — что это такое, черт возьми?!

Морлендер держал в руках смятый клочок бумаги, с нацарапанными на нем карандашом безграмотными буквами. Когда, наконец, он разобрал его содержание, из груди мнимого Василова чуть не вырвался гневный вопль.

Он хотел, как бешеный, заколотить в стену кулаками, но ведь никто не отзовется и ни одна щель не раскроется! Все тихо вокруг, за окном клокотал шторм. Морлендер с ужасом опустился в кресло.

Он был подготовлен ко всему, но только не к этому. Он готов был двадцать раз пожертвовать своей жизнью, чтоб стереть с лица земли мерзких людей, убивших его отца. Но иметь жену... Иметь упрямую и безграмотную жену по имени Катя Ивановна, из упрямства поехавшую на другом пароходе и поджидающую его в Кронштадте!.. Артуру Морлендеру, величайшему женоненавистнику, было невозможно совладать с охватившим его ужасом.

Долго он сидел как пригвожденный. Но мало-помалу мысли его прояснились.

В конце концов заговорщики знают, что делают, и, быть может, эта самая Катя Ивановна нужна ему как помощница... Кроме того,— Морлендер заглянул в иллюминатор,— шторм и не думает утихать, он подбрасывает «Торпеду», как щепку. Разве нет надежды, что старая дырявая «Амелия» разлетится от его напора вдребезги, прежде чем дойдет до Кронштадта? И, наконец, Артур Морлендер имеет право отстоять свою свободу. Он... ага! Вот блестящая идея. Он перенес тяжкую морскую болезнь, разрушившую его душевное спокойствие. Он должен отдохнуть, он не в силах исполнять своих супружеских обязанностей, он потерял память на многие вещи, имена, события в прошлом. Ему следует держаться независимо и раздражительно. Он не даст ей раскрыть рта, черт побери... Все-таки лучше уж фиктивная жена, чем настоящая, если судьбе угодно сделать его женатым человеком...

Несмотря на весь этот поток благоразумных мыслей, Артур Морлендер чувствовал себя далеко не спокойно.

В продолжение всего путешествия он много раз пытался вступать в сношение с таинственными людьми, управлявшими его судьбой.

Он несколько раз в день спрашивал капитана Грегуара, но ни капитан, ни заговорщики больше не подавали о себе никаких признаков жизни. Его предоставили самому себе.

Шторм утих, «Торпеда» медленно вошла в Финский залив.

Мнимый Василов стоял на палубе парохода, нервно разглядывая в бинокль наплывающие очертания Кронштадта. Погода была холодная, дул резкий северо-восточный ветер.

Штурман Ковальковский бегал по палубе с сердитым лицом. Черт побери эту страну! Очень нужно ехать в порт, где вы не найдете ни одного порядочного человека и где во главе государства стоят рабочие.

Между тем в топке, в машинном отделении, в кухне, в рулевой будке тоже царило возбуждение, и чем дальше подвигался пароход, тем оно становилось сильнее и сильнее.

— Да уж я вам доложу, братцы,— ораторствовал Ксаверий, бледный от волнения,— вот мы с вами тут сидим, обливаемся седьмым потом, и эта собака штурман, не говоря уж о рыжем, может дать вам кулаком в зубы, а там, ребята, ого-го-го! Там наш брат — первый человек. Там сам адмирал из простых матросов и ходит себе в обнимку с кочегаром, вот оно как!..

— А на заводах-то рабочие — директорами! — вырвалось у португальца Пичегры сквозь стиснутые зубы.

— Работать, сволочь! Я вас! — завизжал сверху голос Ковальковского.— И чтоб ни один из вас носу не казал на берег, поняли?

Матросы, ворча, разбрелись по своим местам.

Кронштадт. Безлюдный рейд прошел перед биноклем Артура (будем называть его отныне Василовым). «Торпеда» подвигалась и подвигалась. В туманном северном небе, как призраки, высились далекие башни, пики и купола Петрограда.

Вот они стали.

Сброшен трап.

Штурман Ковальковский со злобным лицом указывает Василову на выход. Пароход кажется мертвым, нигде ни живой души.

Но когда Василов, с чемоданом в руке, спустился вниз в обществе красивого русского красноармейца и двух таможенников, матросы «Торпеды» не вытерпели: они высыпали гурьбой на палубу, с Ксаверием во главе, и заорали все, сколько их было,— американцы, немцы, итальянцы, португальцы, французы, абиссинцы, англичане, швейцарцы, ямайцы:

— Урра! All'right, русские товарищи!

— Здорово, ребята! — крикнул красноармеец, обернувшись.— Кланяйтесь американским рабочим.

Обе стороны почувствовали прилив энтузиазма, хотя слова, произнесенные ими, были непонятны ни той, ни другой. Штурман Ковальковский, как лев из засады, прыгнул в гущу своих матросов.

Тем временем к Василову подошло несколько молодых людей в военной форме, поздоровавшихся с ним на чистом английском языке и отрекомендовавшихся ему как его будущие партийные товарищи. Один из них вежливо вывел кого-то из-за сваленных в кучу бочонков и сказал:

— Ваша жена дожидается вас с утра, товарищ Василов.

Несчастный Василов вздрогнул, похолодел, поднял глаза и...

Глава тридцать первая

ЯНКИ В ПЕТРОГРАДЕ

Вместо вздорной и упрямой женщины, преисполненной всех пороков, перед Василовым стояла красавица. Она взглянула на него, запнулась и протянула ему ледяные пальчики.

Люди в военных фуражках довели их до автомобиля, усадили, один вскочил рядом с шофером, другие приветственно подняли руки, и автомобиль помчался к Петрограду.

Василов растерянно наблюдал за своей женой. Он с наслаждением уцепился бы мыслью за какой-нибудь из ее изъянов, чтобы расшевелить свою ненависть. Но Катя Ивановна была возмутительно хороша собой, возмутительно совершенна. Каждое движение ее было полно грации, голос походил на мурлыканье флейты; она не говорила и не делала ничего неуместного, ничего такого, что оправдало бы его презрение.

Между тем вокруг них летели величественные улицы Петрограда. Они ничуть не походили на разрушенные лачуги в уличных нью-йоркских листках. Дома-дворцы стояли рядами, отражаясь в зеленой воде каналов. Автомобили и мотоциклы сновали взад и вперед, по каналам бежали моторные лодочки, а пешеходы сновали по улице с удивительной быстротой. Не успели Василов с женой отвести глаза друг от друга, как уже приковали их к окружающему.

— Как не похоже! — пробормотал Василов.— Дорогой сэр, то есть товарищ, как все это не похоже на наши американские фотографии в газетах!

Человек в военной куртке весело улыбнулся.

— Меня зовут Евгений Барфус. Вы многое найдете непохожим на то, что пишут о нас капиталисты. Мы бы давно погибли, дорогие товарищи, если б не пустили в ход несколько изобретений... Видите вы эти вышки?

Они мчались сейчас по гранитному берегу бурной Мойки, катившей свои волны через весь город.

Справа и слева от нее высились странные пирамиды, украшенные наверху огромными фарфоровыми чашками, что делало их похожими на подсвечники. От пирамидок над всем городом протягивалась сеть бесконечных проводов.

— Что это такое? — вырвалось у Василова.

— Это электроприемники колоссальной мощности,— ответил товарищ Барфус.— Вы видите здесь нашу гордость. Благодаря этим приемникам мы можем в

одно мгновение наэлектризовать все пространство над городом на высоте более чем тысячи метров, что делает нас недоступными для неприятельского воздушного флота. Когда до нас дошли сведения об изобретении американцами какого-то взрывчатого вещества, мы занялись в свою очередь техникой. Но цель наша — не нападение, а защита. Мы электрифицировали огромные воздушные пространства над всеми нашими городами и производственными объектами. Взрывчатые вещества будут разряжаться над нами, не принося нашей стране ни малейшего вреда. Мы укрепили границы тысячами электрических батарей, благодаря чему можем отразить любую армию с помощью одного только монтера нашей петроградской центральной аэро-электростанции. И мы изобретаем в этом направлении все дальше и дальше!

Василов почувствовал себя в эту минуту сыном своего отца, Иеремии Морлендера.

— Да! — вырвалось у него не без восторга.— Вы тут, в России, не дремлете. Но скажите же, чем может быть вам полезен такой простой, средний инженер, как я?

По лицу Барфуса скользнула усмешка.

— Дорогой товарищ Василов, вы нужны нам более, чем кто бы то ни было, потому что, видите ли...

Он наклонился к самому уху Василова и докончил, улыбнувшись:

— Потому что у нас почти нет средних людей,— никто не хочет быть средним человеком. Эпоха предъявила к нам сверхчеловеческие требования, и каждый из нас стремится ответить на эти требования... Давать все больше и больше, превышать среднюю человеческую норму. А эта норма нужна для соблюдения равновесия. Вы понимаете теперь, что для нас вы — желанный гость!

Василов прикусил себе губу не без оскорбленного самолюбия. В эту минуту автомобиль затормозил перед роскошным дворцом на Мойка-стрит. Товарищ Барфус протянул ему руку и сказал:

— Вам отведена комната в этом доме. Отдохните. Через два часа вам подадут мотоциклет для первой поездки на завод.

Шофер сложил на землю оба чемодана, и Василов рассеянно поднял тот и другой. Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице и, сопровождаемые указаниями всех встречных, достигли, наконец, своей комнаты. Это была очень уютная спальня с двумя кроватями, печкой в углу, двумя письменными столиками, двумя книжными шкафами, двумя окнами и двумя надписями на двух стенах:

«Береги время! Записывайся в Лигу времени!»

— Удивительная страна,— пробормотал Василов, ставя чемоданы на пол.

— Поразительная страна! — шепнула Катя Ивановна. Они взглянули друг на друга и вдруг вспомнили, что за весь этот час ни разу не подумали ни о себе, ни о мести, приведшей их сюда.

Глава тридцать вторая

МУЖ, ЖЕНА И СОБАКА

Катя Ивановна вспыхнула, поймав себя на этой мысли. Василов вспыхнул по той же самой причине. Он раздражительно швырнул шляпу на одну из кроватей, сел и произнес:

— После вашего поведения в Нью-Йорке, Кэт, я полагаю, вы не имеете никаких претензий на мою любезность!

Катя Ивановна молчала, повернувшись к нему спиной.

— Я должен предупредить вас,— отчаянно продолжал Василов,— морская болезнь резко повлияла на меня. Я сел на пароход одним человеком, а покинул его другим...

— О да! — едко вырвалось у молодой женщины.

— Что такое вы бормочете? — смутился Василов.— Вы должны раз навсегда понять меня. Я не могу отказать вам в товарищеском внимании, но я мертв для всего другого. Я приехал сюда, чтобы работать и... я

убедительно прошу вас, дорогая Кэт, оставить меня в покое!

Он облегченно вздохнул, осмотрелся и, заметив в углу хорошенькую китайскую ширму, вытащил ее на середину комнаты.

— Мы с вами дружески поделим территорию. Вон та часть комнаты — ваша. Берите себе ту кровать, ту стену, тот письменный стол и тот плакат, одним словом — все, что по ту сторону границы, и располагайтесь, как вам угодно. Я буду в свою очередь совершенно свободен!

Он расставил ширму, загородив свой угол от взоров Кати Ивановны, сбросил пиджак и с наслаждением растянулся на кровати.

«Я сократил ее с самого начала! — думал он не без самодовольства.— Пусть-ка попробует теперь завести свою музыку. Интересно знать, неужели все эти беллетристы, воспевающие любовь и красивых женщин, действительно искренни? Я почти уверен, что они подогревают себя мыслями о гонораре».

С этим чисто американским выводом он закрыл глаза и приготовился задремать.

Катя Ивановна, покинутая на своей территории, несколько минут была неподвижна. Два ее крохотных ушка, выглядывавших из-под каштановых локонов, стали пунцовыми. Слова и поведение Морлендера были как раз таковы, чтобы пробудить в ее душе всех фурий ненависти. Стиснув зубы, сжав руки в кулаки, она обозрела умственно весь стратегический план, обдуманный еще на пароходе, потом тряхнула локонами, провела рукой по лицу и — переступила через вражескую границу.

Василов услышал легкие шаги, открыл глаза, и в ту же минуту шелковистые пальчики очутились у самой его щеки. Несносная Катя Ивановна сидела на краю его постели, болтала ножками и, как ни в чем не бывало, безмятежно глядела на него фиалковыми глазами.

— Что вам угодно? — промолвил он нетерпеливо.— Кажется, я был с вами вполне откровенен.

— О да! — ответила она и засмеялась, точнее замурлыкала, как флейта, на самой своей нежной ноте.—

Но, милый Тони, вы ведь не дождались моего ответа. Вы должны выслушать противную сторону...

«Черт ее побери, это вполне логично»,— подумал про себя Василов и натянул одеяло до самого подбородка.

— Да, вы должны меня выслушать,— продолжала она, рассеянно водя рукой по его лицу и старательно разглаживая пальчиком каждую морщину на его лбу,— дело в том, что морская болезнь... о, эта проклятая морская болезнь! Она совершенно переродила и меня. Я сама себя не узнаю. Я виновата перед вами, дорогой, я знаю это... Но больше никогда, никогда...

Катя Ивановна смахнула с ресниц жемчужинку и опустила голову прямехонько на грудь растерявшегося Василова.

— Я чувствую себя такой несчастной, Тони! Вы не должны больше бранить меня. И потом...— она запнулась.

Василов лежал, волей-неволей вдыхая аромат ее волос и глядя на розовый кончик ее уха.

«Надо сознаться,— думал он про себя,— что среди зоологических особей, именуемых женщинами, она довольно безобидный экземпляр».

— Я могу сказать вам это совсем на ухо,— продолжала мурлыкать Катя Ивановна,— дайте мне вашу голову.

Она коснулась губами его уха, выждала минуты две, в течение которых он испытывал состояние, мысленно названное им «довольно сносным», и вдруг прошептала:

— Тони, я, кажется, собираюсь подарить вам бэби.

Черт возьми! Если б ему пустили в ухо гальванический ток, Василов не подпрыгнул бы выше, чем сейчас. Он слетел с кровати, швырнув подушку в одну сторону, одеяло — в другую, и в бешенстве затопал босыми ногами.

— Это черрт! черрт знает, что такое! — закричал он с совершенно искаженным лицом.— Я отсылаю вас назад, в Нью-Йорк! Я подам в суд! Оставьте меня в покое!

Катя Ивановна побледнела и подняла руки, словно защищаясь от удара. Губки ее сжались, как цветочные

лепестки. Она стояла перед ним,— олицетворение чистоты, невинности и отчаяния,— и глядела на него такими широкими, такими беспомощными глазами, что Василов внезапно умолк, махнул рукой и спасся на другую половину комнаты.

«Что мне делать? — думал он в бешенстве.— Ясно, как день,— это настоящая жена Василова... Она не подозревает ничего... И как она ухитрилась, как ухитрилась, несмотря на все ссоры... Гнусная, легкомысленная, преступная женщина! Любить этого пошлого коммуниста!..»

Поток его мыслей делал столь капризные зигзаги, что я был бы, как автор, совершенно сбит с толку, если б это продолжалось долго. К счастью, он резко шагнул к Кате Ивановне и, глядя мимо нее, официальным тоном произнес:

— Я отрицаю, категорически отрицаю, что это мой ребенок! Вы можете делать, что хотите. Я умываю руки.

С этими словами он надел башмаки, пиджак, шляпу, посмотрел на часы и вышел, чтобы прогуляться перед домом на Мойка-стрит, в ожидании кого-нибудь, кто спас бы его от ненавистного tête-à-tête с Катей Ивановной.

Катя Ивановна поглядела ему вслед с жестокой усмешкой. Она была довольна собой. Она имела решительно все причины быть довольной собой. И он, этот жалкий мальчишка с чудаковатым характером, был слаб, растерян, вспыльчив, нетерпелив, неумен, упрям и нервен, как Иеремия Морлендер. И его было так же легко обернуть вокруг пальца, как старика Вестингауза...

Но довольная собой красавица повела себя с чисто женской непоследовательностью. Вслед за жестокой усмешкой глаза ее сверкнули отчаянием, она подошла к кровати и вдруг упала на подушку, разрыдавшись.

— Тук-тук, царап-царап...

Что за странные звуки у двери? Кто-то тычется в нее тупой мордой, царапает когтями, кусает скобку... Катя Ивановна подняла голову и прислушалась.

— Хав! Рр! Хав! — раздалось за дверью уже совершенно явственно. Потом еще несколько тупых ударов,.

царапанье, визг, и дверь распахнулась перед каким-то безобразным, огромным комком шерсти и грязи, как вихрь ворвавшимся в комнату.

Еще секунда — и грязный комок, как мячик, взлетел прямо на кровать Кати Ивановны, бешено забил хвостом, облапил ее, лизнул в рот, нос, подбородок.

— Бьюти! — воскликнула молодая женщина.— Бьюти! Бьюти!

Да, это была она, верная Бьюти Микаэля Тингсмастера, но в каком виде! Тощая, одичалая, всклокоченная и грязная до того, что шерсть ее слиплась комьями. Она повизгивала, тыкалась носом в Катю Ивановну, кружилась по комнате, обнюхивала каждый угол.

Наконец, угомонившись, Бьюти села у ее ног, положила ей на колени лапу и устремила на нее говорящий взгляд.

— Откуда ты взялась, Бьюти? — спросила миссис Василова.

Бьюти взвизгнула и шевельнула лапой. Тут только молодая женщина заметила у нее на лапе грязный полотняный лоскут, покрытый темными пятнами. Она осторожно развязала его, подошла к окну и вгляделась в покрывавшие его пятна. Они походили на кровь. В их расположении ей почудилась симметрия. Расправив лоскут на подоконнике, она прочла буква за буквой:

«Биск. Торпеда».

Собака следила за ней умными глазами. Как только Катя Ивановна снова повернулась к ней, она забила хвостом и обеими передними лапами стала срывать с себя ошейник, делая уморительные движения.

— Что еще, Бьюти?

Ну да, конечно, у нее найдется и еще кое-что. Откиньте ей голову, суньте ручку за ошейник и сорвите с веревочки конверт, привязанный туда с большими хитростями, так что собачьей лапе трудно его сорвать, а уж зубами и носом ни за что не достанешь! Вот так. Раскройте его, читайте!

Катя Ивановна молча сорвала конверт, распечатала его и прочитала:

«Генеральному прокурору штата Иллинойс

Высокочтимый сэр,

если вы получили мое предыдущее письмо и вынули пакет из моего тайника, вам не безинтересно узнать продолжение морлендеровского дела. Я держу в руках все его нити. Я посажен в сумасшедший дом, откуда как нельзя лучше можно следить за главным преступником. Вы поймете меня, если потребуете освобождения из камеры № 132

умалишенного

Роберта Друка».

Глава тридцать третья

ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ И ПРИВХОДЯЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В то время как «Торпеда», выпустив на берег Василова, закупорилась со всех сторон, как средневековый рыцарь в броню, и отошла вглубь залива,— молчаливая и мрачная «Амелия» весь день и до глубокой ночи разгружала свои товары.

Мистер Пэль, с тросточкой в руках, бегал туда и сюда, периодически выбрасывая с языка весь свой запас русских слов. Мешки, бочонки, ящики скатывались с палубы на берег, а оттуда перетаскивались на огромные грузовики. Техник Сорроу, поступивший к мистеру Пэлю на службу, заложив руки за спину, наблюдал за работой.

В эту минуту из бочки, стоявшей подле него, раздался протяжный вздох. Сорроу прислушался и толкнул бочку ногой.

— Эй! — раздалось из бочки.— Эге-ге-й, друг Сорроу! Менд-месс!

Это было сказано на самом понятном языке для техника Сорроу. С быстротой молнии оглянувшись вокруг, он шепнул ответно: «Месс-менд»...— и выбил из бочки днище. Тотчас же навстречу Сорроу высунулась знакомая голова, а потом шея и плечи, а потом туловище с прочими оконечностями, и из бочки ловко выпрыгнул Лори Лен, худой, веселый и встрепанный.

— Сорроу! Хлебца и глоток виски! — шепнул он умоляюще.— Жизнь этого самого греческого, как его, Диогена чертовски лишена всяких удобств, особенно в своем закупоренном виде.

Сорроу дал ему хлеба, спрятал его за баррикадой из мешков и ящиков, заложил руки за спину и сурово произнес:

— Объясни-ка ты мне теперь, Лори Лен, чего ради ты вковырнулся в гуверову бочку и, не спросясь Мика, отчалил на «Амелии»?

— А ты чего? — спросил Лори, разжевывая хлеб с силой мельничных жерновов.

— Ты прекрасно знаешь, что я поехал по наказу Мика следить здесь за собаками-фашистами.

— Ну, а я приехал поработать для Советской России! — невозмутимо ответил Лори и сунул в рот последнюю корку хлеба.— И ежели ты мне, дружище Сорроу, хочешь подсобить в этом, так не медли ни дня, ни часа. А кроме того...— Лори запнулся и покраснел, как кумач.— Кроме того, хотел бы я знать, Сорроу, куда вы дели мисс Ортон, то есть миссис Василову?

— Вот оно что! — протянул Сорроу многозначительно.— Хорош же ты, я тебе скажу, Лори Лен, металлист!

Неизвестно, что бы ответил ему Лори, покрасневший пуще прежнего, если бы из соседнего ящика не раздалось странное кряхтение.

— Кха-кхи-ки-ки-кха!—раздавались в ящике странные звуки. Сорроу сдвинул брови, подошел к ящику и заколотил в него что было силы.

— Сорроу, менд-месс! — раздалось оттуда жалобно.

Лори и техник Сорроу, переглянувшись, сорвали с ящика крышку, и взорам их предстал почтенный слесарь Виллингс, скрюченный наподобие английского замка и глядевший на них жалобными голодными глазами.

— Виллингс! — воскликнул Лори.

— Виллингс! Ты! — сокрушенно вырвалось у техника Сорроу.

— Я, ребята, я самый! Я теперь, можно сказать, перенес самое худшее, что может нас ожидать на том свете: герметическую закупорку, не больше не меньше! После этого я не боюсь смерти, нет, ни чуточки не боюсь смерти, подавай мне ее кто хочет, хоть сама холера.

— Не философствуй,— мрачно ответил Сорроу,— скажи мне лучше, как это ты, опора нашего союза, степенный парень Виллингс, как это ты уподобился мальчишке Лену и шмыгнул в ящик за юбкой?

— Нет, Сорроу, нет, не за юбкой! Ошибаешься! — сердито ответил Виллингс.— Я, брат, приехал хоть и в ящике, но при всех документах, оформленный что твой дипломант. Сам Кресслинг послал меня, братцы, следить и доносить... Что же касается юбки, то я, брат, видел мисс Ортон в штанах нашего Лори, и будь на ней не то что штаны Лори, а футляр от барабана или почетное знамя Бостонского университета, я бы и то пошел за ней, куда она хочет, вот провалиться мне на этом месте!

— Правильно,— произнес кто-то возле них.

Все трое, вздрогнув, обернулись во все стороны. Но вокруг не было ни души, а грузчики суетились на далеком расстоянии, в обществе мистера Пэля.

— Правильно,— повторил кто-то еще раз, и мешок, лежавший у ног техника Сорроу, резко изменил свои очертания.

— Черт тебя побери, кто бы ты ни был,— сказал техник, шлепнув мешок всей пятерней,— вот пошлю я тебя отсюда в хлебопекарню, а там уж разберут, что́ из тебя выпечь, негодный бездельник, трус, дезертир!

— Этого ты не сделаешь, Сорроу,— произнес ме-

шок, распоролся пополам и выпустил оттуда не кого иного, как Нэда.

— Так я и думал,— расхохотался Лори,— ну, ребята, теперь вся наша компания налицо. Мы ее спасли из Гудзона, так уж нам, значит, на роду написано не отставать от нее ни на шаг.

— Это мы еще посмотрим,— проворчал Сорроу,— прежде всего я сведу вас прописаться, ребята, а потом устрою на работу. Можете дышать с мисс Ортон одним и тем же воздухом, если это вам нравится, но видаться с ней я вам решительно запрещаю.

— Как бы не так! — воскликнул Лори.

— Как бы не так! — промычал Виллингс.

— Как бы не так! — процедил Нэд.

И, словно в завершение их слов, на пристани вдруг показалась высокая тоненькая фигурка в белом костюме, в ореоле каштановых кудрей и с большой лохматой, грязной собакой, шедшей за ней по пятам, виляя хвостом. Фигурка оглядывалась из-под беленькой ручки во все стороны, пока не заметила техника Сорроу и наших трех приятелей. Тогда она радостно вскрикнула, всплеснула руками и со всех ног бросилась им навстречу. Собака, в два прыжка опередив ее, кинулась в ноги технику Сорроу, завизжала и неистово забила хвостом.

— Черт меня побери, если это не Бьюти! — вырвалось у потрясенного техника, и он что было силы стиснул в объятиях запачканную и взъерошенную собаку, предоставив своим товарищам выражать такие же чувства по адресу мисс Ортон.

Глава тридцать четвертая

МИСТЕР ВАСИЛОВ В СТРАНЕ ЧУДЕС

Василов выскочил из подъезда, стараясь ни о чем не думать. Но, закурив папиросу и сделав два-три конца перед домом, он успокоился и занялся обзором

окружавшей его местности. Дом, где их поместили, был старинной постройки, должно быть — от петровских времен. Первоначальное ядро его обстраивалось несколько раз, и от множества наслоений архитектура казалась нелепой, хотя и грандиозной. Здесь было общежитие художников и писателей. Сюда помещали приезжих коммунистов. Почти у каждого подъезда стоял автомобиль, то и дело, стрекоча, подлетали мотоциклы. Не успел он пройти несколько шагов, как внимание его привлекла нищенка.

Это была старуха в дырявом платье, в мужских сапогах и с кусочком оконной занавески на голове. Лицо ее было так помято, пришлепнуто и обвисло, что походило скорей на кусок кожи, чем на человеческое лицо. Глаза были белы от старости и казались бессмысленными. Она стояла неподвижно, и прохожие сами бросали ей деньги в протянутую ладонь. Не успел он разглядеть ее, как из ворот вышел высокий седой человек, с лицом, обезображенным темными пятнами, и с двумя бельмами на глазах, едва видимых из-под густых седых бровей. Он вышел, прихрамывая, оглянулся во все стороны и, не заметив Василова, быстро подошел к старухе. Каково же было удивление Василова, когда старик почтительно поцеловал ей руку, отвесив самый придворный поклон, и произнес на изысканном английском языке:

— Как ваш ревматизм, княгиня?

— О, я не ропщу,— кокетливо ответила нищенка.— Надеюсь, вы читали последнюю речь нашего возлюбленного монарха?

— Читал и ношу в сердце!

— Уже на посту?

— Уже на посту!

После обмена церемонными приветствиями, старик побежал, прихрамывая, назад в ворота, а старуха застыла в прежней позе.

— Хорошенькое местечко, где нищие похожи на придворных,— пробормотал Василов и двинулся дальше, присматриваясь и прислушиваясь. В эту минуту на улицу вылетел автомобиль, украшенный красным флагом. В нем сидело двое простых рабочих в заштопан-

ных куртках, оживленно беседовавших о чем-то со статным человеком в военной форме. Как только автомобиль был замечен с улицы, пешеходы подняли шляпы, и многие крикнули какое-то приветствие.

«Должно быть, важное лицо в городе,— подумал Василов,— забавно, что оно разъезжает с простыми рабочими».

В эту минуту автомобиль, летевший во всю мочь, остановился как вкопанный.

«Что случилось? Кто может помешать проезду такого важного лица в городе?» — продолжал раздумывать Василов, оглядев почти пустынную улицу. Вот тебе и раз! Через нее проходило несколько пар крохотных [illegible]ей, одетых в одинаковые бедные платьица с [illegible]ыми шапочками на стриженых головах. Их [illegible] некрасивая девица в очках, похожая на квакершу. Она энергично размахивала руками и, проведя последнюю пару своих птенцов под самым носом автомобиля, сделала шоферу величественный жест рукой, после чего тот пустил машину. Поистине необыкновенное зрелище! Бедные, бездомные дети идут, как выводок английского пэра или американского миллиардера, загораживая путь важному лицу в городе...

Василов пожал плечами и ускорил шаги, миновав бурную Мойку. Он очутился на мрачной площади, застроенной старыми, темными домами с заплесневелыми и облупившимися сырыми стенами.

«Здесь, должно быть, притоны нищеты и разврата, как и во всех больших городах!» — подумал он про себя, нащупал в кармане бумажник и осторожно двинулся дальше. Как будто в подтверждение его слов, со всех сторон на мрачную площадь стали собираться удивительные люди. Одетые в старые, полинялые платья, в ситцевые платки, в картузы, они шли гурьбой, неся в руках какие-то странные предметы. И что всего удивительней, эти люди были почти сплошь пожилыми. Седые и сморщенные, с темными мозолистыми руками, одни из них горбились, другие прихрамывали, опирались на клюку, стучали деревяшкой вместо ног.

«Инвалиды? Преступники? Нищие?» — Василов не знал, что подумать. Прохожие между тем стали входить

в один из домов. У дверей не было ни швейцара, ни сторожа. Василов смешался с толпой, скользнул в дверь и стал подниматься по лестнице.

«Теперь я узнаю, что это за притон»,— подумал он с любопытством туриста. Они вошли между тем в большую светлую комнату, заставленную столами и скамьями. На стене висела огромная черная доска. На маленьком возвышении стоял человек в синей блузе. Вошедшие расползлись по скамьям, уселись рядком и положили перед собой принесенные предметы, похожие на молитвенники. Человек в синей блузе поднял руку.

«Ага! — подумал Василов.— Это какая-нибудь религиозная секта. Значит, и здесь есть нечто похожее на наших несносных нью-йоркских фарисеев. Проповедник начинает проповедь... Какая скука! Уйду!»

Не успел он это подумать, как мужчины и женщины раскрыли свои книжки, похожие на молитвенники, а человек в синей блузе написал на доске мелом... большую букву

А

Василов оглянулся по сторонам. Лица людей вокруг него сияли самым непритворным вниманием, лбы их были нахмурены, рты полуоткрылись, повторяя написанную на доске букву, а раскрытые перед этими кандидатами в иной мир молитвенники оказались не чем иным, как... азбукой!

Этого Василов снести не мог. Он вскочил и выбежал на улицу, он задыхался от изумления. Обернувшись на дверь, он с великим трудом разобрал на вывеске таинственную надпись: «Школа по ликвидации неграмотности».

— Сумасшедший народ! — воскликнул он по-английски.— Учить стариков азбуке! И они учатся, черт побери, и даже, кажется, с удовольствием учатся!

— Извините меня, сэр, вы — англичанин? — спросил его кто-то по-английски, нагнувшись к самому его уху.

Василов вскинул глаза и увидел высокого, как атлет, крупного человека военной выправки с седыми

генеральскими усами и в щегольской форме командира. Он стоял рядом с Василовым на панели, следя за тем, как через площадь стройными рядами проезжали колонны кавалеристов.

— Да,— машинально ответил Василов,— я турист... Я впервые в этой стране.

— Чему же вы изволили так громко удивиться?

— Я удивился сумасбродству стариков, обучаемых нот в этом доме направо — азбуке.

— О сэр, это один из способов омолаживания, практикуемый у нас,— ответил с улыбкой командир,— я сам сдал недавно экзамен политической грамоты. И смею вас уверить, я не променяю ни мою кавалерию, ни моих красногвардейцев ни на одну армию в мире, до такой степени мне было приятно начать жизнь сначала.

Он приложил два пальца к фуражке, любезно поклонился Василову и сел в мотоциклет.

Изумление смешалось у Василова с завистью. Он проводил глазами кавалерию, гарцуя проехавшую через площадь, и повернул обратно на Мойка-стрит. У подъезда, где помещалось их общежитие, уже стояло два человека в военных куртках, оглядывавшихся во все стороны. Один из них был Евгением Барфусом. Другой, высокий, сероглазый, с трубкой в зубах, был Василову незнаком. Оба тотчас же подошли к нему, Барфус взял его под руку, высокий представился:

— Ребров,— и дал знак автомобилю подъехать.

— Товарищ Ребров повезет вас на Путиловский завод, мы вас ждем уже десять минут,— торопливо сказал Барфус,— все нужные объяснения вы получите от него, он — ваш непосредственный начальник.

С этими словами Барфус поднес пальцы к фуражке, сел на мотоцикл и исчез, как молния.

Мнимый Василов поднялся в автомобиль, Ребров вскочил вслед за ним, шофер тронул рычаг, и они отъехали от общежития.

Артур искоса поглядел на своего соседа. Это был стройный мускулистый человек с юношески моложавым лицом, суровыми тонкими губами и утонченной линией подбородка. Уши у него были маленькие, почти без мочек.

«Аристократы еще не вымерли в этой стране рабочих и крестьян,— подумал Василов иронически,— держу пари, что мое начальство — отпрыск каких-нибудь древних поколений, засекавших крепостного мужика».

— Товарищ,— обратился он к нему,— вы, должно быть, и раньше служили на Путиловском заводе?

Ребров вынул трубку изо рта и ответил на хорошем английском языке:

— Вы угадали.

— Где же вы учились на инженера? Должно быть, в Англии?

— Вы опять угадали,— улыбнулся Ребров,— если то, что я делал в Англии, можно назвать «учением на инженера», то я учился в Англии.

Василов думал несколько минут, с какого конца возобновить свой допрос. Но прежде чем он раскрыл рот, Ребров выколотил трубку, быстрым движением спрятал ее в карман, обратил к Василову лицо, так поразившее его своим изяществом и тонкостью, и дружелюбно заговорил:

— Ведь я смазчик Путиловского завода, а отец мой был слесарем на том же заводе. Семнадцати лет меня сослали в Сибирь, я бежал в Англию и кое-чему там научился, работая кочегаром у Паркинса в Бирмингаме. Ребята выбрали меня после революции в директора, ну, мои знания и пригодились немножко.

«Черт побери! — опять подумал Василов, поминая черта чуть ли не в сотый раз за сегодняшний день.— Я не могу понять этой страны, даже если бы тридцать немецких бедекеров описывали ее на тридцати языках. Я отказываюсь ее понимать!»

Они мчались сейчас по широкому шоссе, окаймленному великолепными липами. Быстроногие пешеходы сновали взад и вперед. Дворцы сменились тенистыми садами с прорытыми в них прудами и каналами, и, наконец, вдалеке, в синем и совершенно бездымном небе обрисовались гигантские очертания тысячи заводских труб разной длины, ширины и формы. Это был целый лес воздетых к небу оконечностей, похожих на выпячен-

ные губы, но дышавших необыкновенно легко и не оставлявших в небе никакого следа от своего дыханья.

— Наш фабричный поселок,— заговорил Ребров, указывая туда пальцем,— мы сконцентрировали все наше производство в одном месте. Раньше Петроград с четырех сторон был окружен действующими заводами, а сейчас мы перенесли их в эту гористую часть и превратили в экспериментально-исследовательский участок. В сущности вы поступаете на завод-музей, завод-школу, завод-академию, вот что такое сейчас старый Путиловский. Взгляните сюда: видите вы три круга, похожих на три этажа?

Василов взглянул, куда показывал Ребров, и увидел странное зрелище; внизу, обрамленный каменной стеной, шел круг первого яруса. Винтообразные лестницы восходили от него в круг второго яруса, тоже обрамленного стеной. Совсем наверху более легкой, изящной, портативной архитектуры, напоминавшей деревянную, возносился третий круг, увенчанный крыльями ветрянок, площадками для причала аэропланов, воздушной сетью сигнализаций и целым морем красных флагов, мелькавших в этой сети труб и проводов, как алые маки в колосьях пшеницы. Зрелище это, во всей своей головокружительной пестроте и симметрии, сильно захватило Василова.

— Неужели вы зовете это фабричным поселком? — воскликнул он с удивлением.— Скорей это похоже на всемирную выставку!

— Вы не дали мне договорить,— улыбнулся Ребров,— здесь перед вами торжество единого метода хозяйства,— пока только в его экспериментально-научной форме. Вам придется изучить его, чтоб работать вместе с нами. Взгляните вниз, на первый круг,— он охватывает побережье Невы, массивы финского гранита, торфяные болота с запада, кусок леса — с востока. Здесь поместилась у нас промышленность добывающая. Вот эти высоты Токсовского хребта, подходящие к нам с границы Финляндии, открывают богатейшие земли минералов, драгоценную древесину, смолу, всевозможные необходимые для нас ископаемые.

Гигантская стена вокруг первого яруса служит электроприемником колоссальной электрической энергии с Волховстроя, помогающей взрывать недра и передаваемой наверх, во второй ярус. Взгляните теперь повыше,— продолжал Ребров, встав с места и указывая Василову вперед, а другой рукой охватив его плечи,— взгляните туда: это второй круг, там у нас промышленность обрабатывающая. Видите вы дым и блеск от огромных домен, слышите щелканье железных зубьев, визг пил, трескотню колес, гул моторов? Там сырье становится материалом, дар природы преобразуется в продукт работы. А еще выше,— поднимите глаза,— венцом всего поселка у нас расположена промышленность фабричная, делающая из материала фабрикат и выбрасывающая его на тысячи наших воздушных грузоподъемников в город, в порт, в окрестности и на станции железнодорожных магистралей...

— Чудесно! — воскликнул Василов, опять почувствовавший в себе сына инженера Морлендера.— Я горжусь, что приехал работать с вами. Но я не вижу, товарищ, в чем смысл вашего единого метода, кроме территориального сближения всех областей промышленности?

— В чем смысл нашего «единого метода»? Вы еще не видите его, хотя уже почувствовали. Об этом вам скажет товарищ Энно, блюститель метода. Вот он, у въезда в поселок. Он уже увидел нас и приветствует...

Шофер затормозил, Василов и Ребров выскочили на гранитные плиты дороги и пошли навстречу белокурому, почти белому человеку с розовыми щеками и сияющими голубыми глазами, похожему одновременно и на старца и на младенца.

— Добро пожаловать к нам, дорогой товарищ,— сказал он приятнейшим голосом, протягивая Василову руку,— мы пойдем с вами на завод кружными путями, и я прочитаю вам мое маленькое напутствие.

Тем временем товарищ Ребров, кивнув им, уже вскочил на какую-то платформу, застегнул вокруг талии металлический обруч и, прежде чем Василов мог

что-либо сказать ему, уже понесся на передвижной платформе в глубину каменного коридора.

— Идемте, идемте, друг мой,— ласково проговорил румяный человечек, беря Василова под руку,— мы с вами сделаем долгий путь на собственных ногах, потому что человеку всегда полезнее узнавать новое с некоторым усилием, а не в виде легкого развлеченья.

Он тоже говорил по-английски, но с небольшим акцентом. Выведя Василова на гранитную балюстраду, он показал ему внизу, на необъятном пространстве, поля, засеянные самыми разнообразными злаками. От мокрых квадратиков рисовой плантации до сухого бамбукового поля, от исландского мха до рощи кокосов — здесь было все. Разные люди работали на каждом поле,— тут были представители всех стран и народов.

— Не удивляйтесь на это, здесь нет никакого волшебства,— сказал Энно пораженному Василову.— Вы видите башенку на каждом из полей? Это знаменитый регулятор Савали, примененный к нашему изобретению электроклимата. Мы распределяем влагу и тепло совершенно равномерно на определенный участок, мешая его утечке в пространстве тем, что создаем вокруг него передаточные магнитные течения большой силы, как бы закупоривающие его сверху. Это изобретение пока еще стóит больших средств, и потому мы применяем его лишь как первый опыт. Наши поля служат сельскохозяйственной показательной станцией, и только; сырье, получаемое от них, еще очень незначительно. Теперь обернитесь назад.

Василов быстро обернулся и увидел по расположенному горному амфитеатру каменоломню и добычу глины.

— Всю длину этого амфитеатра занимают рудники и небольшие добывающие центры, тоже еще только показательные. Мы обойдем их с вами, и во время пути я открою вам тайну нашего метода.

Они прошли по асфальтовым и гранитным дорожкам. Каждый шаг открывал перед ними все новые и новые картины. Тысячи механизмов двигались, достав-

ляя уголь, соль, торф, глину. Вертелись мельничные крылья, беспрерывно свистела лесопильня, стучали топоры. И все встреченные рабочие, дружески кивая им, поворачивали к Василову веселые, счастливые лица. Не было ни единого, кто бы не улыбался. Счастье светилось в каждом взгляде.

— Посмотрите на них,— начал Энно,— они счастливы. Мы произвели величайшую в мире революцию, но мы были бы глупцами, если б не пошли дальше, мой друг. Завоевав орудия производства, мы пожелали сделать человека счастливым.

— Утопия! — вздохнул Василов.

— Вот именно,— живо подхватил Энно,— мы поставили себе задачей осуществление утопии. Лучшие из наших умов сидели над этим много дней. Полное счастье дают лишь две вещи: созидание и познание. Но до сих пор те, кто созидал, ничего не знали, а те, кто познавал, ничего не созидали. Уродливый ублюдок прошлого — рассеянный профессор и автомат-рабочий — должны были раз навсегда исчезнуть! Мы твердо решили сделать производство познавательным, а познание — производственным. Как этого можно было достичь? Тут-то, мой друг, и помог нам метод единого хозяйства. Да, обедневшие, истощенные, голодные, лишенные продуктов и рынка, мы начали с того, что на своей собственной шкуре испытали метод единого хозяйства. То было жестокое время голода и разрухи. Мы сеяли картошку в ящиках от письменного стола, сами дубили кожу для сапог, шили сапоги, красили старое сукно, добывали, возделывали, обрабатывали, чтоб прожить, не умереть,— и практически в силу необходимости подошли к круговороту хозяйственной механики, зависимости производств друг от друга. Наш «единый метод хозяйства» и заключается в том, что ни один из наших рабочих отныне не приступает к своей работе без полного представления обо всех звеньях производства. Он выделывает головку гвоздя, зная не только о добыче минерала, но и о его химическом составе, его спектре, с одной стороны; с другой — о роли своего гвоздика в самой сложнейшей из фабричных вещей, начиная с мебели и кончая винтиком микро-

скопа. Иными словами, мой друг, мы рассадили наше производство по системе оркестра. От барабанщика и до скрипки — каждый выполняет свою партитуру в общей симфонии; но каждый слышит именно эту общую симфонию, а не свою партитуру. Поняли?

Василов с изумлением слушал восторженную речь Энно.

Пока он раздумывал, мимо них проходили группы рабочих с цифрами II и III на рукаве.

— Посмотрите, это экскурсанты со второго и третьего производственного яруса. Каждый из них ходит на соседнюю территорию, чтобы изучить связь хозяйства. Рабочие, инженеры, учащиеся, изобретатели у нас больше не делятся на группы. У нас нет учащегося, не работающего практически, и нет рабочего, который бы не учился. А теперь я должен проститься с вами. Становитесь на этот квадрат и держитесь за металлические кольца, он вас подымет на Путиловский завод!

Энно приветственно махнул ему рукой и присоединился к одной из рабочих групп. Ошеломленный всем виденным, Василов почти бессознательно встал на указанный ему квадрат и едва успел ухватиться за кольца, как уже понесся с этажа на этаж по каменному колодцу, покуда не остановился на своем квадрате посреди небольшого гранитного дворика.

Ребров вышел ему навстречу, взял его за руку и повел его на завод.

Глава тридцать пятая

ПЕРВАЯ НОЧЬ СУПРУГОВ ВАСИЛОВЫХ

Было уже темно, когда Василов оторвался, наконец, от своего станка. С ним приключились удивительные вещи. Он послушно стоял у станка, обтачивая

металлические ободки для фарфоровых чаш электроприемников. В минуту работы он испытывал необычайное наслаждение. Рабочие, окружавшие его, были всех национальностей. Каждый понимал несколько слов на языке другого, некоторые составляли группы для практики на чужом языке. С ним обращались не как со старшим, а как с равным. Среди шуток и песен он успел научиться новым для него русским фразам. Когда же он присоединился к экскурсии, ходившей на первый и третий ярусы, восхищение его перешло в экзальтацию.

— Я влюбился в поселок и в свой станок,— сказал он Реброву, когда тот пришел силой снять его с работы,— это чудесная штука, это лучше всякой гимнастики, бокса и футбола! Я положительно повеселел у вас!

Он с большим сожалением снял ногу с педали, отвернул засученные рукава рубашки, снял фартук и накинул свой пиджак.

— Я готов проводить здесь целые сутки!

— Вы можете приезжать к нам с девяти утра и оставаться до одиннадцати ночи, то есть весь период бодрствования,— ответил с улыбкой Ребров,— больше этого нельзя. В Советской республике каждый трудящийся свято соблюдает период ночного беспамятства, от одиннадцати ночи и до восьми утра. Иначе у него не будет сил на работу.

С этими словами Ребров свел Василова под душ и указал ему на движущуюся платформу, через несколько минут доставившую нашего героя вниз. Стало свежо, небо усыпали крупные звезды, с показательных полей несло необычайным ароматом тропиков и полярного лета. Василов сбежал с лестницы к ожидавшему его автомобилю, наслаждаясь мягким ночным воздухом, звездным небом и эластичностью своего разгоряченного и освеженного тела. Но, когда автомобиль понес его к роковому дому на Мойка-стрит, Василов вздрогнул и ударил себя по лбу. Он забыл и тайные инструкции фашистов, и мнимую жену, и свою роль заговорщика!

Сердце его сжалось, и холод прошел по коже. Вот

эту необыкновенную, удивительную, трижды милую страну должен он помочь разрушить, залить кровью, обесплодить, наводнить врагами. Этих гениальных и милых, со всех концов света пришедших сюда людей с благородными лицами, с горячими глазами, со счастливой улыбкой должен он предать и убить из-за угла!

Он знал, что прежней ненависти в нем нет ни капли. Он знал, что дух старого Морлендера веселится в нем, как и его собственный, чудесному зрелищу труда, только что виденному им в поселке.

— Отец влюбился бы в них, как и я,— прошептал он уверенно,— какого черта он стал бы преследовать их... Да полно! Уж не убит ли он не ими, а кем-нибудь другим?

В ту же секунду он почувствовал, как волосы у него на затылке зашевелились от ужаса.

Стоп! Шофер затормозил перед темной дверью общежития, где мельком заметил он все ту же старуху нищую.

Медленно сошел Василов на землю и медленно поднялся по лестнице своего дома. Он столько пережил за сегодняшний день, что даже женщина, поджидавшая его наверху, показалась ему теперь добрым товарищем. Как хорошо было бы сказать ей всю правду! Он не знает, что сделали с ее мужем. Он не знает, что сделают с ним самим.

Постучав и не получив ответа, он нажал дверную ручку и вошел в комнату Было совершенно темно, занавеси на окнах спущены, миссис Василова, судя по ее ровному дыханию, уже спала.

Василов нащупал свой письменный стол и зажег лампочку. На столе был приготовлен ужин и стакан холодного чая. Кровать раскрыта, на подушке чистая ночная рубашка, на коврике мягкие туфли. Он окинул взглядом все эти удобства и невольно улыбнулся. Вот они, достоинства семейной жизни!

Василов скинул пиджак и пыльные башмаки. Он с наслаждением закурил бы и уже протянул руку к зажигалке, как вдруг остановился. Эта женщина... кто бы она ни была, ей все-таки может быть неприятен та-

бачный дым. Он с наслаждением почитал бы, но может разбудить ее... Возмутительно! Остается только раздеться и спать. Вот они, неудобства семейной жизни!

Василов осторожно сел на кровать и задумался. Нервы его не хотели успокаиваться. Он был взвинчен, взбудоражен, зажжен. Он перешел от экзальтации к мрачному отчаянию. Он спутался. Он не знает, что делать. С тоской хрустнул он пальцами и в ту же минуту услышал тихий шепот миссис Василовой:

— Тони...

В мурлыкающем, сонном голосе было такое очарование, что Василов невольно поднялся с места. Он помянул про себя черта,— в тысячный и последний раз за этот день,— на цыпочках перешел установленную им пограничную полосу и остановился у кровати своей жены.

Она спала. В слабом свете электрической лампочки он видел очаровательное существо, сбросившее к ногам одеяло и едва прикрытое батистом и кружевами. Одну руку она положила на грудь, другую закинула под голову. Рот ее полуоткрылся, каштановые локоны упали на глаза, от ресниц легла на щеки темная тень, еще более сгустившая сонный, как у спящего ребенка, румянец.

Он увидел ямочки на локтях и круглое, гладкое плечо. Он увидел мерное движение рубашки над грудью, форма которой навеки приковала бы художника. Надо сознаться, Артур Морлендер не спешил покончить с этим зрелищем, тягостным для каждого честного женоненавистника.

Миссис Василова глубоко вздохнула во сне и улыбнулась, блеснув жемчужной полоской зубов. Нижняя губка ее оттопырилась с детской капризностью. Она снова пробормотала:

— Тон-ни,— и повернулась на другой бок.

Василову безопаснее было бы отойти заблаговременно на тыловую позицию. Но он подкрепил себя мыслью о том, что ему надлежит как следует изучить своего врага.

«При ближайшем рассмотрении вещи часто оказываются совсем другими! — подумал он фарисейски.— В конце концов я имею на это право, поскольку она не предусмотрена в данных мне инструкциях».

Счастливая мысль об инструкциях внушила ему новую идею. Не может ли он, сославшись на этот непредусмотренный, возмутительный, мешающий и стесняющий его факт — жену, выдающую себя за его собственную,— вообще отказаться от выполнения инструкций? Пусть Кресслинг пеняет сам на себя! Он оперся рукой о стену, над самой головкой своей жены, а другую для равновесия осторожно сунул под подушку. Он чувствовал тепло и тяжесть ее тела, чувствовал биение ее сердца. Вместо того чтобы изучать противника, мистер Василов замер в весьма неудобной позе и закрыл глаза.

Между тем в лице спящей красавицы произошло какое-то магическое изменение. Ресницы и ноздри ее затрепетали, губы сжались, брови сдвинулись. Она еще раз вздохнула, широко раскинула руки и вдруг — обвилась ими вокруг шеи Василова. Кожа их была шелковиста и прохладна. Может быть, именно по этой причине мистер Артур Морлендер побледнел и похолодел как мертвец.

— Кэт, вы проснулись? — сказал он глухо.— Простите меня. Пустите меня.

Но Кэт не пускала его. Попрежнему закрыв глаза и не стряхивая с лица кудрей, она все ближе нагибала к себе белокурую голову Морлендера, она нагибала ее до тех пор, покуда губы его не коснулись ее груди. Будь мой роман греческой трагедией, в этом месте должен был бы появиться потрясенный хор женоненавистников с приличными случаю угрожающими и оплакивающими стихами и посыпанием волос (или лысин) пеплом. Однакоже в романе моем ничего подобного не случилось, и если сердце мистера Морлендера бешено колотилось в эту минуту, презирая всякие нормальные медицинские темпы, то часы его, движимые хладнокровным механизмом, стучали совершенно так, как и раньше.

— Кэт, простите меня, простите меня! — шептал Морлендер, покрывая поцелуями ее грудь.— Я... о, простите меня!

Он не мог говорить. Он ни разу в жизни не чувствовал такого острого, непобедимого, почти непереносного блаженства. Он был сражен им, как бурей. Высвободив руку из-под подушки, он откинул локоны со лба своей мнимой жены, дрожащими пальцами провел по ее лбу и щекам, приподнял за подбородок ее лицо, пораженный•открытием невиданного чуда.

Артур Морлендер ни одной женщины никогда не любил до этого вечера. Артур Морлендер впервые встретился с единственным и величайшим чудом земного шара, именуемым женщиной. И вдруг он почувствовал, как его непереносное волнение разрешилось бурей слез, заструившихся у него по щекам.

В ту же минуту Вивиан подняла ресницы. Глаза их встретились. Морлендер отшатнулся и вскрикнул. Он встал, закрыл лицо и, как лунатик, зашагал к себе. Он сел у себя на кровать, не разжимая рук,— и будет так сидеть до самого утра.

Я не имею ни малейшего намерения дежурить около него и, что еще хуже, замораживать вместе с собой читателя, а потому прямо скажу, что̀ творилось у него на сердце. В иные минуты человек воспринимает с почти звериной чуткостью. Всеми нервами своего потрясенного существа Морлендер увидел взгляд ненависти, сверкнувший на него из фиалковых глаз миссис Василовой. В ту же секунду ему стало ясно, что она такая же Кэт, как он — Тони.

Вивиан лежала у себя тихо, как мышь. Грудь и шея ее были закапаны слезами Морлендера. Прикусив нижнюю губу, Вивиан смотрела в темноту остановившимися глазами. Она выдала себя Морлендеру! Она отдавалась мерзкому старику, она была готова на все, чтоб отомстить,— и она не посмела солгать Морлендеру! Ни за что на свете, ни для какой мести не смогла бы она продолжать придуманную комедию...

Так два сердца с манией отомщения в один и тот же день объявили капитуляцию.

Глава тридцать шестая

ТЕОРИЯ САМОРАЗРЯДКИ

Белая петроградская ночь перешла в белое утро. Часы Морлендера хладнокровно добрались до шести.

Измученная долгой бессонницей, Вивиан тихо поднялась с кровати и стала одеваться, стараясь не производить никакого шума. Накинув платье, она причесалась, надела шляпу и кофточку и на цыпочках приблизилась к заповедной меже. У нее была только одна мысль: бежать, со всех ног бежать к Сорроу, ехать назад в Америку, дать знать Тингсмастеру, что она никуда не годится и ничего не может...

Она перешагнула границу и вздрогнула. Посреди комнаты стоял совершенно одетый Морлендер и смотрел на нее. Как он изменился в одну ночь! Вместо безличного «первого любовника» с раздражающе красивым лицом, каких много в любом журнале мод, перед Вивиан был возмужавший, постаревший, неузнаваемый человек. Черты лица его стали твердыми и острыми, кожа оттянула их в одну ночь, словно Морлендер похудел от шести часов бессонницы. Взгляд углубился, но стал непроницаем. Губы сомкнулись с суровостью, для них необычной. Из-под золотистых волос, красиво ложившихся вокруг лба, стал виден самый этот лоб,— очень высокий, ясный, лоб мыслящего человека, раньше как-то не замечавшийся. Он спокойно глядел на нее до тех пор, покуда Вивиан не опустила глаза. Тогда слабая усмешка тронула его губы, но тотчас же исчезла.

— Я ждал вас,— заговорил он просто,— я хочу объясниться с вами.

Вивиан обвела глазами комнату, подошла к стулу и опустилась на него, стиснув руки. Артур остался стоять.

— Я не Василов,— заговорил он снова,— я не знаю, что сделано с Василовым, хотя не смею считать себя

невиновным. Вы не жена Василова и ненавидите меня. Я не знаю ни вас, ни ваших планов. Возможно, вы знаете меня и мои. Вас, конечно, приставили следить за мною те самые силы, которые швырнули меня сюда с низкой целью. Так вот, в первом своем отчете можете донести, что я не собираюсь выполнять заданье, отказываюсь вредить этой стране и этим людям. А теперь — давайте решим: или вы, или я переселимся из этой комнаты.

Вивиан судорожно стиснула пальцы, хотела что-то ответить, но молча повернулась и выбежала на лестницу.

Артур Морлендер прошелся несколько раз по комнате, закурил, распахнул окно, потом быстрыми шагами направился за перегородку. Кровать была небрежно прикрыта одеялом, она еще благоухала ароматом ее волос, теплотой ее тела. Он не смотрел и не видел ничего. Стальной рукой схватил одеяло, подушки, простыни, связал их в узел и бросил в угол, словно надеялся изгнать этим из комнаты всякие признаки ее пребыванья в ней. Потом скинул пиджак, лег на собственную кровать и закрыл глаза. Ему оставалось два часа до поездки на завод.

Спит или не спит Артур Морлендер, мы не знаем. В раннем утреннем свете лицо его имеет мертвенный вид. Веки тяжело легли на глаза, и у рта прошла черточка, состарившая его лет на десять. Он выдержал два часа полной неподвижности, потом тихо встал, умылся, взял шляпу.

Чудный день расцветал над Петроградом. Первые желтые листья, крутясь, ложились на черные воды Мойки. Синее небо над городом было так чисто и прозрачно, словно его намылили, выстирали и хорошенько прополоскали в синьке. У подъезда ждал в машине сам Ребров, сидевший у руля. Жестом он пригласил Артура занять место рядом с собой, круто повернул баранку, и машина рванулась.

— Сегодня — особая программа,— начал он, не отворачивая глаз от дороги.— Мы с вами едем не на завод, а в мою лабораторию. Она тоже на окраине, но

противоположной. Мы с вами мчимся сейчас в сторону Нарвы.

— Что мне там нужно будет делать?

— Выслушать небольшую лекцию,— улыбнулся Ребров.— Не пугайтесь, не скучную.

Мимо них проносились странные открытые пространства, похожие на стадионы. Люди в них, одетые, как физкультурники,— в трусах, белых колпачках,— что-то равномерно проделывали, приседали, вставали, взмахивали руками,— и все же это не были стадионы. Поверхность земли покрыта была густой растительностью в пол человеческого роста.

— Что это такое? Что они делают? — спросил Артур у своего спутника.

Тот затормозил.

— Хотите, посмотрим вблизи?

И вот они оба на широком, ровном, как скатерть, лугу. Откуда-то сбоку ветер приносит теплые волны музыки, такой ритмичной и знакомой во всех частях света,— музыки утренней зарядки. Чей-то приятный дикторский голос разносится над лугом, хотя самого диктора не видно, он сидит за десять километров отсюда, перед микрофоном:

— Раз-два-три, раз-два-три! — И люди встают, приседают, взмахивают рукой, встают...

— Да ведь они косят траву! — изумленно восклицает, приглядевшись к ним, Василов.— И чем же! Простым, примитивным серпом, этой кривулькой полумесяца, да еще при вашей высокой технике!

Между тем ряды приседающих и встающих внезапно прекратили движение. Музыка оборвалась. Голос диктора произнес: «Девятая смена, на работу! Автобусы поданы. Десятая смена на зарядку!»

Снова музыка, снова ровные «раз-два-три» из эфира, только первая группа людей уже скрылась за поворотом поляны, где голубели корпуса нескольких длинных автобусов, а новая веселая толпа физкультурников заняла их место.

— Пройдемся, зарядимся с ними! — предложил Ребров. Он указал Артуру, где взять серп, стал рядом

с ним перед зеленой стеной травы, и вот они, вместе с другими, идут и снимают ее сильными взмахами острого серпа.

Через пять минут вспотевшие, порозовевшие, с приятным чувством израсходованной мускульной силы, но прибывшей нервной энергии, оба они снова катили вперед, и Ребров говорил Артуру:

— Это имеет некоторую связь с тем, что вы увидите в моей лаборатории, вот почему я остановился. Наши врачи-физкультурники заметили, что движенья, разработанные впустую, с подражанием рабочим движеньям, но сами по себе не рабочие,— дают меньше мускульного эффекта, чем ритмическое, рассчитанное по минутам выполненье настоящей работы, но не доводимое до первой точки утомленья. Больше того, физкультурные движенья оказались даже менее эффективными, нежели простые танцы на танцевальных площадках. Тогда врачи попробовали сочетать зарядку с практически производимой работой, под музыку, с паузой, под наблюденьем мастеров спорта. Здесь косят серпом, там полют, а еще дальше идут косы, лопаты, копка картошки,— ведь у нас здесь пригородное хозяйство столицы. И представьте, пятиминутная рабочая зарядка оказалась полезней двухчасовых занятий спортом. При налаженном быстром транспорте это дает возможность каждому служащему подышать утренним воздухом полей и леса...

— Но почему это имеет связь с вашей лабораторией? — с интересом спросил Морлендер. Они уже подъехали к высокой и узкой башне, окруженной несколькими рядами проволоки, и уже поднимались по ее пологим ступенькам.

— А вот почему,— ответил Ребров, входя в свой маленький, уютный кабинет и вешая на вешалку шляпу — Присядьте, все объясню.

Помолчав, он поставил перед мнимым Василовым странный прибор, состоявший из металлических сплетений, планок с отверстиями и крохотного магнита.

— Прежде чем показать вам один опыт, расскажу о тех мыслях, которые нас привели к нему. Лучшие

наши ученые вот уж год как поставили задачу связать науку с практикой. Но не только в обычном смысле, в каком это вообще говорится. Мы хотим связать в сознании людей главные, важнейшие теоретические завоеванья науки, открытые ею законы с обычными житейскими делами. Возьмите закон тяготения,— он имеет тысячи разветвлений в науке, но ведь волейболист, бросая мяч, о нем не задумывается; альпинист, пробираясь на кошках по страшной ледяной тропе, его не вспоминает; кухарка, готовя кашу или кофе, о нем не подозревает. Или известное положение в физике: «Каждое действие равно противодействию» — кто думает о нем на каждом шагу своей практической деятельности? Мы вступили в век взрывов. Главным орудием уничтожения становится взрыв. Что делают люди? Изобретают ответные взрывы. А что они делают после войны? Ликвидируют оставшиеся очаги взрывов, разные мины и бомбы, путем их нахождения и взрывов же. Взорвут с принятием мер — и уничтожают опасность случайного взрыва, влекущего жертвы. Мы, советские люди, окружены врагами, и, если б мы тратили наше время на то, чтоб обороняться от покушений орудиями и методами покушений, у нас не хватило бы ни сил, ни средств на великие задачи созидания.

Ребров помолчал, включил странный прибор и вставил в одно из его отверстий маленькую ампулу.

— Взгляните, эта вот игрушечка — настоящая бомба определенной взрывной силы. Я вставляю ее в ложе нашего прибора, именуемого «саморазрядитель»; ничего как будто не происходит с ней, ни шума, ни треска, ни искорки не зажглось. Но — за эти несколько секунд она сама разрядилась. Почему? Потому что зарядка и разрядка — два эпизода одного и того же процесса, подчиненные течению времени плюс влияние определенных внешних условий. Мы не доводим бомбу врага до взрыва; мы не хотим обезвреживать мины с помощью взрыва. Мы, наоборот, ставим бомбу в такие условия, при которых элементы, ведущие к взрыву, сами собой стойко возвращаются в прежнее, нейтральное состояние, обретая его от третьего агента. Третий

агент — это наш секрет. Если взрыв вызывается от толчка, трения, огня, соприкосновенья химических элементов и слиянья их, мы уничтожаем при помощи третьего агента специфику всех этих действий. Если взрыв вызывается распадом элементов, наш «третий агент» попросту не дает осуществиться распаду, связывает элементы. Нам помогают в этом деле те самые общие законы и положенья науки, которыми до сих пор человечество еще не научилось пользоваться сознательно, обращая их себе на пользу на каждом шагу.

— Значит, ваш прибор — это модель...

— Да, это модель гигантских установок, приводимых в действие тотчас, когда нашей родине грозит нападенье. Об одной из них вы уже знаете — это наша Аэро-электроцентраль.

— Вы только обезвреживаете удар, который вам собираются нанести? Ничего больше?

— Да, мы пока только обезвреживаем возможные удары, сохраняя большие запасы энергии, обрекавшейся на рассеяние... Но наши ученые думают и дальше. В соседней комнате этой башни,— Ребров привстал и слегка коснулся каменной стены,— мой товарищ серьезно разрабатывает маленький практический вывод из положения «всякое действие равно противодействию». Но об этом мы пока еще не говорим никому.

Несколько минут Морлендер сидел молча.

— Мой отец,— невольно пробормотал он...

— Ваш отец?

— Да, мой отец, изобретатель Морлендер...

И только сказав это, он побледнел, вскочил с места, и так же побледнел и встал с места Ребров.

Забывшись, Артур проговорился. Он не жалел об этом. Он стоял, опустив голову, бледный, как смерть, не отпираясь от сказанного и ничего не объясняя. Ребров подождал некоторое время, потом надавил кнопку. Два красногвардейца выросли на пороге. Они подошли к Морлендеру и крепко взяли его, один — за правый, другой — за левый локоть.

Глава тридцать седьмая

ТАЙНА ЧЕКА

В Америке Артур Морлендер не мало наслышался о страшной Чека большевиков. Газеты печатали сенсационные признания белоэмигрантов о том, как их пытали неслыханными орудиями, неизвестными даже средневековью; какой-то беглый помещик из номера в номер помещал в «Чикаго Сандэй» целый роман под названием «Тайна Чека» и признавался своим друзьям по выпивке, что «ежели б не голубушка Чека,— благослови ее, господи,— жрать ему было бы абсолютно нечего». И вот сейчас Артур сидел в этой самой Чека, в комфортабельном кресле, перед столом, на котором стояли стакан чаю и два бутерброда с ветчиной, придвинутые к нему красивым смуглым следователем в военной форме и с дюжиной орденов на груди.

— Итак, вы сын знаменитого изобретателя Морлендера,— задумчиво говорил он, постукивая перед собой кончиком карандаша.— Почему же вы не приехали к нам под своим именем? Вам оказали бы широкое гостеприимство. Для чего понадобился этот маскарад? И где настоящий Василов? Отвечайте, пожалуйста, по порядку вопросов.

— Я сын знаменитого изобретателя, Артур Морлендер,— с тяжелым вздохом ответил арестованный.— Мой отец был убит в России большевиками,— так мне сказал глава треста, у которого служил отец,— миллиардер Джек Кресслинг. Я поклялся отомстить убийцам отца. Джек Кресслинг и его друзья устроили этот маскарад, снабдили меня деньгами, оружием, ядом, бомбами и отправили под именем Василова к вам. Где настоящий Василов — не знаю. Со мной приехала женщина, выдающая себя за жену Василова. Кто она такая, тоже не знаю. Вот всё. Нет, не всё, впрочем. Увидя вашу страну и ваших людей, я в первый же

день усомнился в том, что отца моего убили вы. И желанье отомстить угасло во мне.

— Вы правы, Морлендер выехал отсюда живым и здоровым.— Следователь позвонил, вошел молоденький красноармеец.— Сидоров, копию с судовой книги «Торпеды»!

Когда копия была принесена, следователь перелистал ее и отогнул страницу.

— Читайте,— вот запись: «Заказана каюта в Нью-Йорк шестого июля...» Но что это? — следователь вдруг покраснел и прочитал следующую строку: — «Осталась незанятой». Он снова, сильней, чем раньше, нажал кнопку.— Сидоров, узнать немедленно, где, когда, каким способом инженер Иеремия Морлендер, гостивший у нас в Союзе около месяца, покинул нашу страну!

Пока Сидоров, бесшумно удалившись, исполнял приказ, следователь участливо глядел на Артура.

— Признаться, мы вашему газетному шуму вокруг этого мнимого убийства не придали никакого значенья,— ведь чего только не пишут у вас! И откуда берется! Но неужели же вам самому не показалось странным все это дело? Скажите, а как наследие вашего отца, его знаменитое изобретенье, о котором ходят слухи в обоих полушариях,— новый вид какой-то энергии? Вы сами его разрабатываете?

Артур уже начал привыкать к манере следователя задавать не один, а целый цикл вопросов. Он понял, что группой сразу поставленных нескольких вопросов следователь помогает ему увидеть связь между разными вещами, ускользавшую от него раньше. И, держа в уме эту связь, он ответил:

— Изобретение моего отца было завещано не мне,— отец составил в России новое завещанье; по этому новому завещанью оно должно быть обращено на борьбу против коммунистов. Да, теперь мне все это кажется странным. Я был единственным сыном. Отец почему-то лишил меня всякого состояния, все досталось его новой жене, о существовании которой я даже не подозревал.

— А кто эта новая жена?

— Бывший секретарь Джека Кресслинга.

Отвечая, Артур Морлендер сам видел, как замыкается круг его ответов и как все они стягиваются к одному человеку. И, слушая его, следователь понимающе кивал головой. Он успел в эти минуты соединиться с кем-то по телефону, слушал его и подавал в трубку короткие реплики, а сам продолжал глядеть на Морлендера; и когда положил трубку, всем корпусом повернулся к нему

— Нечего и Сидорова дожидаться. Я говорил сейчас с человеком, которому было поручено сопровождать по нашей стране вашего отца и проводить его при отъезде. Человек этот сообщил любопытные вещи. Он сейчас будет здесь.

Все это время Ребров сидел у окна и курил свою трубку. Он не вставил в разговор ни одного слова. Но когда следователь замолчал, а Морлендер, опустив голову на грудь, мысленно воскрешал в памяти все, что произошло с ним в Нью-Йорке, Ребров негромко сказал:

— Инженер Иеремия Морлендер был и у нас, на показательном участке. Он вел себя дружелюбно. Что-то непохоже, чтоб он завещал свое новое открытие, о котором сам же рассказывал нам, на борьбу с коммунизмом.

Не успел он окончить, как дверь тихонько отворилась и на пороге ее показался «человек», о котором говорил следователь. Человек этот,— стройная и строгая барышня в кудерьках и золотом пенсне на орлином носике, в замшевых шведских туфельках, финском джемпере и парижской блузке, вопросительно обвела всех глазами.

— Вот, рекомендую,— широко улыбнулся следователь,— известная переводчица, работник комиссариата иностранных дел, лицо доверенное, можно полагаться на каждое ее слово. Садитесь, товарищ Сережкина; повторите присутствующим, что вы мне сейчас сообщили.

Товарищ Сережкина вынула из итальянской сумочки с видом Везувия хорошенькую эстонскую записную книжку, раскрыла ее и, не глядя в нее, отчеканила:

— Мистер Иеремия Морлендер посетил четыре наших республики, восемь областных центров, Москву, Петроград, двенадцать заводов, имел беседы и встречи с академиками, профессорами, рабочими, проектировщиками, провел три дня на Центральной Аэро-электростанции, был принят вождями нашего правительства, выступил перед микрофоном со словами благодарности и большого удовлетворения, высказался за более тесное общенье между нашей и зарубежной наукой. По его просьбе, ему был заказан билет на пароход «Торпеду», отправлявшийся в Нью-Йорк шестого июля. Но мистер Иеремия на этом пароходе не отбыл.

— Не отбыл! — шепнул Артур.— Почему?

— По той причине, что четвертого утром на петроградском аэродроме приземлился частный американский самолет личного пользования капиталиста Джека Кресслинга. Сведения получены от пилота, разыскавшего мистера Иеремию в тот же день и предложившего ему по какой-то неотложной причине лететь немедленно обратно. Я лично проводила в шесть часов утра мистера Морлендера и была свидетельницей его отлета. Деньги за каюту на «Торпеде» мистер Иеремия востребовать не успел.

— На «Торпеде» прибыл его гроб,— глухо проговорил Артур.— Какое черное дело прячется за всем этим?

— Разберетесь! — коротко и дружелюбно сказал следователь.— Товарищ Сережкина, вы можете идти. А теперь попрошу вас сообщить, чего собственно хотели от вас организаторы вашего переодеванья, по всей вероятности убившие несчастного Василова. Будьте очень точным в ответах. На сей раз я их буду записывать!

Артур Морлендер провел рукой по карманам и последовательно извлек и разложил перед следователем все, что получил от банды Кресслинга. Одно за другим следователь брал в руки «вещественные доказательства». Он поднял ампулу к свету и внимательно посмотрел на ее содержимое, пересчитал голубые шарики в коробке, покачал на ладони заряженный автомат новейшей конструкции. Пальцем провел, как по

колоде карт, по толстой пачке новеньких советских денег. Потом отодвинул все в сторону, произнес «тэк-с» и снова взял из кучи ампулу.

— Это вам, Ребров,— в вашу лабораторию. Ну-с, я вас слушаю, Морлендер!

— Кроме всяких диверсий, отданных на мое усмотрение, я должен от группы американцев поднести подарок — взрывчатую машину,— который мне пришлют из Америки. Ни срока, ни действия, ни характера этого подарка я пока не знаю.

Следователь записал последнее слово, окунул перо в чернильницу, пододвинул написанное Артуру и передал ему перо для подписи.

Морлендер прочел и подписался. Он почувствовал себя бесконечно уставшим. Он сидел и ждал, чтоб его отправили в тюрьму. Но Ребров вдруг встал, как ни в чем не бывало подошел к нему, взял его под руку и потянул за собой к двери. Следователь крикнул ему вслед:

— Не забудьте продолжать играть свою роль! И не бойтесь ничего,— мы примем свои меры. Ни в коем случае больше не сноситесь с нами,— иначе они могут заподозрить и погубить вас, прежде чем мы сумеем в это дело вмешаться. До свиданья, всего наилучшего!

К великому изумлению Морлендера, он понял, что ему верят, что он свободен и, главное, что отныне он не один на свете.

Глава тридцать восьмая



КАДРЫ КНЯЗЯ ОБОЛОНКИНА

Прошло несколько дней, насыщенных для Артура Морлендера трудом, познанием и дружбой. Он узнал от Реброва подробности посещения лаборатории его отцом; услышал точно воспроизведенные по его

просьбе слова и речи старика Морлендера; понял, что должно было произойти в отце, какая большая ломка взглядов. И все ясней ему становилась преступная роль Кресслинга и его банды. Где-то в Нью-Йорке они убили отца, чтобы завладеть его изобретеньем; где-то на океане подвезли гроб на «Торпеду». Он побывал в порту, узнал день и час следующего прибытия «Торпеды» и решил поговорить с капитаном. Все эти мысли и дела поглощали время Артура, остававшееся у него после работы. И все же, когда он возвращался в свою комнату,— пустота ее сжимала ему сердце. Как не походили его возвращенья на первое! Комната была темна, неуютна, узел с постелью Кати Ивановны убран, кровать ее застлана чистым, холодным бельем, аромат ее нежных духов испарился; никто не подогревал ему вечером чай, не ставил у кровати ночных туфель, не ждал его, не ненавидел его... Ненависть! Кто бы ни подослал к нему Кэт, ее ненависть — острая, страстная, сверкнувшая в глубине ее глаз,— была вызвана чем-то личным. Откуда она? Кто и что было за этой женщиной?

Против воли он думал о ней все чаще и чаще. Не та, первая и последняя, ночь вставала перед его воображеньем, а невольный дружеский обмен взглядом, когда оба они приехали с парохода в общежитие и первые русские впечатления захватили их обоих. Это был взгляд понимания, сочувствия, разделенной мысли, взгляд, за которым могло последовать объясненье. Так не мог глядеть ни один человек из банды Кресслинга. Почему, почему он не объяснился с ней! И где она сейчас, что с ней сделалось? Артур так сильно изменился за эти дни, что был уверен в перемене, происшедшей и с нею.

Но время шло, а Кэт не возвращалась. В углу за ширмой стоял ее чемодан, привезенный вместе с его собственным. Он не дотронулся до него. Он ждал, что за ним придут или пришлют. Между тем наступило утро, когда «Торпеда» снова должна была войти в Кронштадтский порт. Предупредив еще с вечера Реброва, Артур Морлендер, едва рассвело, отправился ее встречать.

Где же была все эти дни Вивиан Ортон? В то страшное утро, выбежав из дома на Мойка-стрит, она знала только одно: лишь бы найти Сорроу. Адрес его и тщательно нарисованный его рукою план хранились у нее в кармане. Но не так-то легко разобраться в планах чужого большого города! Разгладив смятую бумажку, Вивиан нерешительно пошла по улицам, отсчитывая каждый поворот и заворачивая за угол там, где, как ей казалось надо завернуть. Но улицы шли и шли, повороты множились и множились, а той, чье названье стояло на бумаге, все не было и не было. Спросить она боялась. Люди по улицам спешили, им было некогда. Ее мучила жажда. Она стала искать глазами колонку, кран, киоск с водами,— заглянула в один, и другой пролет улицы и вдруг с ужасом поняла, что заблудилась. Часть города, куда она попала, была мрачна и убога. Темные, ободранные домики, казарменного типа постройки с грязными подворотнями, откуда несло мертвенным холодом и кошачьим запахом, трубы, трубы на крышах, трубы из форточек, несшие прямо на улицу черную копоть и дым, разбитые стекла окон, заклеенные бумагой... С чем-то похожим на отчаянье Вивиан зашла в одну из черных нор подворотни и остановилась, не зная, как быть дальше. И вдруг она услышала английскую речь. Кто-то с кем-то здоровался на ее родном языке! Охваченная радостью, не раздумывая долго, Вивиан кинулась к говорившему.

— Умоляю вас, помогите мне, я заблудилась,— торопливо проговорила она, обращаясь к темным фигурам в подворотне,— мне нужна гавань, Пятая Краснофлотская...

И тут только разглядела, к кому обратилась. Двое нищих в невероятных отрепьях стояли перед ней прижавшись к стене,— старуха с клюкой и старик с двумя бельмами на глазах.

— Гавань, Пятая Краснюфлотская,— скрипучим голосом повторил старик, уставив на нее свои страшные бельма,— да это совсем близко, душечка. Идемте, идемте, мы вам покажем! — с этими словами он цепко ухватил ее за правую руку, а старуха, перебросив клюку подмышку, быстро взяла за левую. Вивиан сде-

лала невольное движенье, чтоб освободиться от этих цепких, нечистых рук,— но ее прижали с обеих сторон. Она попыталась закричать. Костлявая рука зажала ей рот. Медленно, шаг за шагом, нищие втаскивали ее все глубже в подворотню, пока не очутились в грязном, скудно освещенном квадратиком неба наверху, каменном дворике между высокими, мрачными корпусами домов.

— Упомяни о черте...— игриво заговорил старик, на этот раз по-французски.

— ...а уж он тут как тут,— закончила пословицу старуха. Она покосилась на Вивиан. Но девушка, охваченная страхом, ничего как будто не понимала. Они опускались теперь по мокрым ступенькам куда-то вниз, в грязное подвальное помещенье. Подняв клюку, старуха постучала в дверь. Тотчас же заскрипел засов, зазвенела дверная цепочка, повоpотился ключ в замке... Худое, подрисованное лицо выглянуло в полумраке.

— Это вы, княгиня?

— Скорей, скорей впустите нас! Хорошенько заприте дверь за нами,— глухо проговорил старик, подталкивая вперед Вивиан.— Нам повезло. Птичка сама влетела в окошко!

Он разжал свои пальцы, как клешни, державшие руку девушки. Она метнулась было назад, к двери, но страшный удар отбросил ее в комнату. Странная это была комната — маленькая, тесная, увешанная блеклыми сероголубыми коврами, уставленная какой-то позолоченной и вылинялой мебелью, вазами, часами, заваленная мешками и мешочками с мукой и крупой, пропахшая прелым луком, пылью, мышиным пометом.

«Где я, куда я попала?» — с ужасом думала Вивиан, незаметно озираясь по сторонам.

А старик злорадно продолжал по-французски, обращаясь на этот раз к впустившему их существу неопределенного пола, облаченному в какой-то халат:

— Оболонкин будет доволен... В последней инструкции он советовал изолировать эту красотку. Видимо, ставка на Морлендера проваливается,— он что-то уж очень быстро сошелся с красными...

— Неосторожно было тащить ее сюда, камергер! На явку, где собираются наши кадры! — ворчливо пробормотал хозяин комнаты.

Кадры, явка, княгиня, камергер... В мозгу Вивиан шла лихорадочная работа. Имя «Оболонкин», произнесенное стариком нищим, было ей знакомо: в Нью-Йорке, в салоне у Вестингауза, она встречала хитрого, пронырливого старикашку, князя Феофана Оболонкина. Банкир говорил ей, что это знаменитый эмигрант из России, состоящий на высокой службе у ближайшего претендента на русский престол. Значит, здесь, в Петрограде, осиное гнездо этих людей,— «кадры», «явка»... И Морлендер — «Тони» ее страшной комедии — отказался служить капиталистам, перешел на сторону большевиков...

Между тем старик достал из шкафчика моток толстых веревок и кучу тряпок. Не успела Вивиан опомниться, как ее снова схватили, железные пальцы впились ей в обе щеки, разжимая челюсть, и грязный, пахнущий мышами кляп был втиснут ей глубоко в рот. Покуда старик связывал бившуюся девушку веревками, старуха злорадно приговаривала:

— Скоро, скоро конец этой эпохе затмения! Конец варварству! Вернется возлюбленный монарх!

— И наш патриотизм, княгиня, забыт не будет,— ответил ей в тон старик с бельмами.

Глава тридцать девятая

КОШКА МИССИС ДРУК

Что-нибудь одно: или горюй, или исполняй свои обязанности. Но когда ты горюешь, исполняя свои обязанности, или исполняешь свои обязанности, горюя, ты уподобляешься в лучшем случае соляному промыслу, потребляющему собственную продукцию без всякой экономии.

Этот вывод сделала кошка миссис Друк в ту минуту, когда шерстка ее стала походить на кристаллы квасцов, а молоко, которое она лакала, на огуречный рассол.

Миссис Друк днем и ночью орошала слезами предметы своего обихода.

— Молли,— твердила она, прижимая к себе кошку,— право же, это был замечательный мальчик, мой Боб, когда он еще не родился. Бывало, сижу себе у окна, а он стучит кулачком, как дятел. «Септимий,— говорю я,— наш мальчик опять зашевелился».— «Почем ты знаешь, что это мальчик?» — отвечает он... А я... ох, ох, Молли, ох, не-есчастная моя жизнь! Я отвечаю: «Вот увидишь, говорю, Септимий, что это будет самый что ни на есть ма-аль... ма-аль-чик!..»

На этом месте волнение миссис Друк достигало такой точки, что слезы ее величиной с горошину начинали прямо-таки барабанить по спине Молли, причиняя ей мучительное хвостокружение.

— Молли, поди сюда,— звала ее миссис Друк через несколько минут, наливая ей молоко,— кушай, кушай, и за себя и за нашего голубчика... как он, бывало, любил молочко. «Выпей»,— говорю я ему, а он... ох, мочи моей нет, ох, уж хоть бы померла я,— он отвеча-ает, бывало: «Нне... нне... приставайте, мамаша!»

Рыдания миссис Друк длились до тех пор, покуда блюдце в дрожащих руках ее не переполнялось свыше всякой меры. Молли тряслась всем телом, опуская в него язык, свернутый трубочкой. Но после двух-трех глотков она неистово фыркала, ощетинивалась и стрелой летела на кухню, прямо к лоханке, в надежде освежиться пресной водой. Увы! В мире, окружавшем миссис Друк, пресной воды не было. Влага, подвластная ее наблюдению, оседала в желудке сталагмитами и сталактитами. Если б Молли знала библию, она могла бы сравнить свою хозяйку с женой Лота, превратившейся в соляной столб, заглядевшись на свое прошлое.

Но Молли не знала библии и в одно прекрасное утро прыгнула в окно, оттуда на водосточную трубу, с трубы в чей-то цветочный горшок, с цветочного горшка

кубарем по каменным выступам вниз, вниз, еще вниз, пока не вцепилась со всего размаха в пышную дамскую прическу из белокурых локонов, утыканных гребешками, шпильками и незабудками.

— Ай! — крикнула обладательница прически.— Погибаю! Спасите! Летучая мышь!

— Совсем наоборот,— летучая кошка,— флегматически ответил ее спутник, заложив руки в карманы.

— Натаниэль, спаси, умираю! — вопила урожденная мисс Смоулль, ибо это была она.— Мышь ли, кошка ли, она вгрызлась в мои внутренности! Она меня высосет!

Повидимому, между супругами Эпидерм уже не существовало гармонии душ. Во всяком случае угроза выгрызть внутренности миссис Эпидерм была встречена ее мужем с полной покорностью судьбе.

— Изверг! — взвизгнула урожденная мисс Смоулль, ширяя зонтиком в мужа.— Умру, не сделав нового завещания, умру, умру, умру! Все перейдет по старому — тетушке жены моего покойного братца!

На этот раз Натаниэль Эпидерм вздрогнул. Очам его представилась тетушка жены братца мисс Смоулль в качестве претендентки на наследство его собственной жены. Он схватил оцепенелую кошку за шиворот, рванул ее; что-то хряснуло, как автомобильная шина, и колесом полетело на дорогу.

Оглушительный хохот вырвался у прохожих, лавочника, газетчика и чистильщика сапог. Мистер Эпидерм взглянул и обмер. Перед ним стояла его жена, лысая больше, чем Бисмарк, лысая, как площадка для скэтинг-ринга, как бильярдный шар.

— Вы надули меня! — заревел он.— Плешивая интриганка, вы за это поплатитесь! Адвоката! Иск!

Между тем внимание прохожих было отвлечено от них другим необычайным явлением: несчастная Молли, запутавшаяся в локонах и незабудках мисс Смоулль, обезумела окончательно и покатилась вперед колесом, нацепляя на себя в пути бумажки, тряпки, солому, лошадиный помет и папиросные окурки.

— Га-га-га! — заревели уличные мальчишки, летя вслед за ней.

— Что это такое? — спросил булочник, выглянув из окна и с ужасом уставившись на пролетающее колесо. Но в ту же секунду оно подпрыгнуло, укусило его в нос и, перекувырнувшись в воздухе, полетело дальше.

— Держи, лови! Саламандра! — и булочник, со скалкой в руке выпрыгнув из окна, понесся вслед за колесом, неистово осыпая мукой мостовую и воздух.

Напрасно полисмен, воздев оба флага, останавливал безумную процессию. Она неслась и неслась из переулка в переулок, покуда он не вызвал свистком целый наряд полиции и не понесся вслед за нею. Толпы народа запрудили все тротуары. Староста церкви Сорока мучеников разрешил желающим за небольшое вспомоществование приходу усесться на балюстрадах церкви. Окна и крыши были усеяны любопытными. Учреждения принуждены были объявить перерыв.

— Я вам объясняю, что́ это,— говорил клерк трем барышням,— это биржевой ажиотаж, честное слово.

— Откуда вы взяли? — возмутился сосед.— Ничего подобного! Спросите булочника, он говорит, что это реклама страхового общества «Саламандра».

— Неправда! Неправда! — кричали мальчишки.— Это игрушечный дирижабль!

А колесо катилось и катилось. С морды Молли капала пена, желтые глаза сверкали в полном безумии, спина стояла хребтом. Метнувшись туда и сюда и всюду натыкаясь на заставы из улюлюкающих мальчишек, Молли пронеслась в единственный свободный переулок, ведущий к скверу, и волчком взлетела на дерево, как раз туда, где между ветвями чернело воронье гнездо.

— Карр! — каркнула ворона, растопырившись на яйцах. Но Молли некуда было отступать. Фыркая и дрожа, в локонах, незабудках, бумажках и навозе, она двинулась на ворону, испуская пронзительный боевой клич. Та взъерошилась в свою очередь, подняла крылья, раскрыла клюв и кинулась прямо на Молли. Пока этот

кровавый поединок происходил высоко на дереве, внизу, в сквере, разыгрались другие события.

В погоне за саламандрой наметились две партии: одна мчалась на сквер со стороны церкви, возглавляемая булочником, церковным сторожем и депутатом Пируэтом, затесавшимся сюда случайно вместе со своим секретарем, портфелем и бульдогом. Другая, летевшая с противоположной стороны и состоявшая из газетчиков, чистильщиков сапог и мальчишек, вынесла на первое место толстого, красного человека в гимнастерке, с соломенной шляпой на голове.

Стремительные партии наскочили друг на друга, смешались в кучу, и церковный сторож вместе с депутатом Пируэтом получили от красного человека по огромной шишке на лоб.

— Сэр! — в негодовании воскликнул депутат.— Я неприкосновенен! Как вы смеете!

— Плевать! Не суйтесь! — заорал красный человек.

— Так его, жарь, бей! — поддерживали со всех сторон разгорячившиеся янки.— Лупи его чем попало!

— Полисмен! — кричал депутат.— Буйство! Пропаганда! Тут оскорбляют парламент и церковь!

— Так и есть,— мрачно вступился булочник,— это большевики, ребята! До чего они хитры, собаки! Выпустили саламандру, чтоб агитировать за торговое соглашение. А нашему зерну пробьет смертный час, провалиться мне на этом месте!

— Истинно, истинно! — поддержал его церковный сторож, прикладывая к шишке медную монету.— Голосуйте против, пока эта самая саламандра не сгинет!

— Эка беда! — орал красный человек.— Торговое соглашение! Что тут плохого поторговать с Советской Россией! Я сам торговый человек. Выходи, кто против соглашения! Раз-два!

Депутат Пируэт оглянулся по сторонам. Его партия следила за ним горящими глазами. Он понял, что может потерять популярность, оттолкнул бульдога и секретаря, бросил портфель, скинул пиджак, засучил рукава и с криком: «Долой соглашение!», ринулся врукопашную.

Спустя полчаса наряд полиции уводил в разные стороны борцов за и против соглашения, а карета скорой помощи нагружалась джентльменами, получившими принципиальные увечья. Толстяк вышел победителем, а депутат потерял бульдога, портфель и популярность.

Не менее трагически закончился поединок несчастной Молли с вороной. Прокаркав над разоренным гнездом и раздавленными яйцами, практичная ворона ухватила конверт с письмом Друка, и, подобно жителю Востока, уносящему на своих плечах крышу дома, отправилась с этим ценным предметом в далекую эмиграцию.

Что касается Молли, то она лежит на земле с проклеванными глазами и сломанным хребтом. Мир ее праху! Она пожертвовала своей жизнью для развития нашего романа.

Глава сороковая

ЛЕПСИУС ВСТРЕЧАЕТСЯ
С ФРУКТОВЩИКОМ
БЭРОМ

Тоби только что вычистил первый сапог и собирался малость вздремнуть, прежде чем приступить ко второму, как вдруг в дверь кухни кто-то тихо постучал. Он вооружился метлой для изгнания попрошайки и приотворил дверь как раз настолько, чтоб просунуть туда свое оружие, но в ту же секунду метла вывалилась у него из рук, а рот открылся на манер птичьего клюва. Дело в том, что за дверями стоял не попрошайка, а некто.

Спереди этот некто ужасно походил на мисс Смоулль. Это были глаза мисс Смоулль, нос мисс Смоулль, рот мисс Смоулль и кружевная мантилья мисс Смоулль. Но сверху некто напоминал круглый аптекарский шар, налитый малиновыми кислотами. И держал себя некто

совсем не как мисс Смоулль: он не ругался, не плевался, не подбоченивался, не напирал ни коленом, ни животом, а сказал нежным голосом:

— Впусти-ка меня, голубчик Тоби!

Мулат попятился, испугавшись до смерти. Некто вошел, снял мантильку, повесил ее на крючок и проговорил еще более трогательным голосом:

— Достань из печки золы, Тоби, дружочек мой!

Тоби достал полный совок золы, трясясь от ужаса.

— А теперь подними-ка его, миленький, и сыпь ее мне на голову!

Но тут совок выпал из дрожащих рук Тоби, и он, судорожно всхлипывая, помчался наверх по лестнице, влез в чулан и спрятал голову между колен.

Дух мисс Смоулль между тем не обнаружил ни раздражения, ни досады. Он терпеливо нагнулся над печкой, собрал пригоршню пепла и вымазал им себе круглую голову не так, чтоб уж очень, а в самую пору, чтоб указать на символический характер этой операции.

Потом мисс Смоулль смиренно двинулась в кабинет доктора, смиренно остановилась на его пороге и сложила руки на животе.

Лепсиус поднял глаза с медицинской книги о позвоночниках и грозно нахмурился.

— Мисс Смоулль, что это значит? Если не ошибаюсь, я вижу вас без парика и с перепачканным сажей черепом. Какого черта означает подобная демонстрация?

— Не демонстрация, сэр, нет! Не подозревайте этого, ради моей бессмертной души! Раскаяние, сэр, раскаяние глубочайшее, чистосердечное, фатальное!

— Не плетите вздора. В чем дело?

— Сэр, я раскаиваюсь в том, что не придавала значения вашим отеческим советам. Я имела безумие смеяться над ними! Судьба жестоко покарала меня, сэр. Вы были правы, трижды правы. Моя невинность поругана, чувства мои растоптаны, идеалы ниспровергнуты. На цветущей долине, сэр, дымятся обломки!

— Что это за диктант? — взбесился Лепсиус, бросая книгу на пол.— Если вы собрались шантажировать меня с этим вашим Натаниэлем Эпидермом...

— Натаниэля Эпидерма больше нет, сэр! — кротко ответила мисс Смоулль.— Забудьте его. Отныне, сэр, я предана вашему хозяйству душой и телом.

Неизвестно, какая трогательная сцена была еще в запасе у мисс Смоулль, но на счастье доктора Лепсиуса раздался пронзительный звонок, и Тоби влетел в комнату, все еще белый от ужаса.

— Вас спрашивает какой-то красный джентльмен, сэр,— пробормотал он, переводя дух,— и с него так и каплет!

Доктор Лепсиус молча поглядел на свою экономку и служителя, подвел им в уме весьма неутешительный итог и направился к себе в кабинет.

Мулат оказался прав. В докторской приемной стоял толстый красный человек в гимнастерке, и с лица его стекала кровь.

— Рад познакомиться,— сказал он, энергично пожимая руку доктору,— фруктовщик Бэр с Линкольн-плас,— небольшое мордобитие на политической подкладке... Я ехал мимо и вдруг заметил вашу дощечку, и вот я здесь, перед вами, с полной картиной болезни, если можно так выразиться!

Спустя минуту, он уже сидел в кресле, обмытый и забинтованный искусными руками доктора Лепсиуса. Доктор внимательно изучил его со всех сторон, оглядел его огромные пальцы с железными ногтями, здоровенные ребра и задал вопрос, неожиданный для толстяка:

— Вы рентгенизировались у Бентровато, мистер Бэр?

— Верно. Откуда вы это знаете?

— Как не знать! Это было в тот день, когда с вами вместе рентгенизировали... как его?! Ах, черт побери, небольшой человек, похожий на пьяницу и с подагрическими руками... Да ну же?

— Профессор Хизертон! — перебил его фруктовщик довольным тоном.— Как же, как же! Важная птица! Из-за него меня даже не пустили в приемную, как будто можно не пустить фруктовщика Бэра с Линкольн-плас! Я, разумеется, вошел и не очень-то понравился этому человечку. Да и, признаюсь вам, он был прав, что прятался от соседей. Будь я на его месте, я бы

выбрал себе пещеру и сидел в ней наподобие крота целые сутки.

— Как вы странно говорите о профессоре Хизертоне! — возразил Лепсиус. Он был с виду спокоен, но три ступеньки, ведущие ему под нос, дрожали, как у ищейки.— Для чего бы ему прятаться?

— Ну, уж об этом пусть вам докладывает, кто хочет. Я держу язык за зубами. Спросите на Линкольн-плас о фруктовщике Бэре, и вам всякий скажет, что он умеет хранить секреты. Не из таковских, чтоб звонить в колокола!

— Похвальное качество,— кисло заметил Лепсиус, складывая в хрустальную чашу со спиртом свои хирургические орудия,— ценное качество во всяком ремесле. Вы, кажется, торгуете фруктами, мистер Бэр?

— Кажется! — воскликнул толстяк.— Да вы бы лучше сказали о Шекспире, что он кажется писал драмы! Весь Нью-Йорк знает фрукты Бэра! Все Пятое авеню кушает фрукты Бэра. Моим именем названа самая толстая груша, а вы говорите: кажется... Если у вас когда-нибудь таяло во рту, так это от моих груш, сэр.

— Не спорю, не спорю, мистер Бэр, я человек науки и держусь в стороне от всякой моды. Но признайтесь, что вы все-таки преувеличили качества своего товара.

Эти слова, произнесенные самым ласковым голосом, не на шутку взбесили толстяка. Он сжал кулаки и встал с места.

— Вот что, сэр, едемте ко мне. Я вас заставлю взять свои слова обратно. Вы отведаете по порядку все мои сорта, или же...

— Или же?

— Вы их проглотите!

С этими словами Бэр подбоченился и принял самую вызывающую позу. Доктор Лепсиус миролюбиво ударил его по плечу.

— Я не отказываюсь, добрейший мистер Бэр. Но, чтоб угощение не было, так сказать, односторонним, разрешите мне прихватить с собой в автомобиль плетеную корзиночку...

Он подмигнул фруктовщику, и фруктовщик подмигнул ему ответно. Был вызван Тоби, которому было тоже

подмигнуто, а Тоби в свою очередь подмигнул шоферу, укладывая в автомобиль корзину с бутылями. Шофер подмигнул самому себе, взявшись за рычаг, и доктор Лепсиус помчался с фруктовщиком Бэром на Линкольн-плас, в великолепную фруктовую оранжерею Бэра.

Здесь было все, что только растет на земле, начиная с исландского мха и кончая кокосовым орехом. Бэр приказал поднести доктору на хрустальных тарелочках все образцы своего фруктового царства, а доктор в свою очередь велел раскупорить привезенные бутылочки.

Спустя два часа доктор Лепсиус и Бэр перешли на «ты».

— Я женю тебя,— говорил Бэр, обнимая Лепсиуса за талию и целуя его в металлические пуговицы,— ты хороший человек. Я женю тебя на гранатовой груше.

— Не надо,— отвечал Лепсиус, вытирая слезы,— ты любишь профессора Хизертона! Жени лучше Хизертона!

— Кто тебе сказал? К черту Хизертона! Не омрачай настроения, пей! Я женю тебя на ананасной тыкве!

Приятели снова обнялись и поцеловались. Но Лепсиус не мог скрыть слез, ручьем струившихся по его лицу. Тщетно новый друг собственноручно вытирал их ему папиросными бумажками, тщетно уговаривал его не плакать, доктор Лепсиус был безутешен. При виде такого отчаяния фруктовщик Бэр в неистовстве содрал с себя бинт и поклялся покончить самоубийством.

— Нне будду! — пролепетал доктор, удерживая слезы.— Не буду! Дорогой, старый дружище, обними меня. Скажи, что ты наденешь бинт. Скажи, что проклятый Хизертон... уйдет в пещщеру!

— Подходящее место!— мрачно прорычал фруктовщик, прижимая к себе Лепсиуса.— Суди сам, куда еще спрятаться человеку, которр...

Он икнул, опустил голову на стол и закрыл глаза.

— Бэрочка! — теребил его Лепсиус.— Продолжай! Умоляю! Который — что?

— У которр... у которрого... туловище...— пробормотал фруктовщик и на этот раз захрапел, как паровой котел.

Опьянение соскочило с доктора Лепсиуса, как не

бывало. Он в бешенстве толкнул толстяка, разбил пустую бутылку и выбежал из оранжереи на воздух, сжимая кулаки.

— Ну погоди же, погоди же, погоди же! — бормотал он свирепо.— Я узнаю, почему ты переодевался! Почему ты шлялся ко мне, беспокоясь о судьбе раздавленного моряка! Почему ты рентгенизировался! Почему ты вселил ужас в этого остолопа! Почему ты зовешься профессором Хизертоном! И почему у тебя на руке эти суставы, суставы, суставчики,— черт меня побери, если они не отвечают всем собранным мною симптомам!

Глава сорок первая

ТОРГОВ**О**Е С**О**ГЛАШЕНИЕ

— Вы слышали, что произошло на бирже?

— Нет, а что?

— Бегите покупайте червонцы! Джек Кресслинг стоит за соглашение с Россией!

— Кресслинг? Вы спятили, быть не может!

Но добрый знакомый махнул рукой и помчался распространять панику на всех перекрестках Бродвея.

В кожаной комнате биржи, куда допускались только денежные короли Америки, сидел Джек Кресслинг, устремив серые глаза на кончик своей сигары, и говорил секретарю Конгресса:

— Вы дадите телеграмму об этом по всей линии. Гарвардский университет должен составить резолюцию. Общество распространения безобидных знаний — также. От имени негров необходимо организовать демонстрацию. Украсьте некоторые дома, предположим через каждые десять, траурными флагами.

— Позвольте, сэр,— почтительно перебил секретарь,— я не совсем вас понял, вы говорите о радостной или о печальной демонстрации?

Кресслинг поднял брови и презрительно оглядел его:

— Я провел на бирже торговое соглашение с Советской Россией. Америка должна одеться в траур.

— Ага,— глубокомысленно произнес секретарь, покраснев, как рак. В глубине души он ничего не понимал.

— Но часть интеллигенции, заметьте себе — часть, выразит свое удовлетворение. Она откроет подписку на поднесение ценного подарка вождям Советской Республики. Вы первый подпишетесь на тысячу долларов...

Секретарь Конгресса заерзал в кресле.

— Вздор,— сурово сказал Кресслинг, вынимая из кармана чековую книжку и бросая ее на стол,— проставьте здесь необходимые цифры, я подписался на каждом чеке. Подарок уже готов. Это часы в футляре красного дерева — символ труда и экономии. Озаботьтесь составлением письма с родственными чувствами, вставьте цитаты из нашего Эммерсона и большевистского профессора Когана. Подарок должен быть послан от имени сочувствующих и поднесен через члена компартии, отправленного в Россию. Довольно, я утомился.

Секретарь выкатился из комнаты весь в поту. Ему нужно было снестись с Вашингтоном. В полном отчаянии он бросился с лестницы, гудевшей, как улей. Большая зала биржи была набита битком. Черная доска то и дело вытиралась губкой. Цифры росли. Маленький человек с мелом в руке наносил на доску новые и новые кружочки. Белоэмигранты из правых эсеров честно предупредили Джека Кресслинга, что готовят на него террористическое покушение в пять часов три минуты дня у левого подъезда биржи.

Виновник всей этой паники докурил сигару, встал и медленно спустился с лестницы. Внизу, в вестибюле, его ждали две борзых собаки и ящик с крокодилами. Он потрепал своих любимцев, взглянул на часы — пять часов — и кивнул головой лакею. Тот поднял брови и кивнул швейцару. Швейцар бросился на улицу и закричал громовым голосом·

— Машина для собак мистера Кресслинга!

К подъезду мягко подкатил лакированный итальянский автомобиль, обитый внутри лиловым шелком. Лакей приподнял за ошейник собак, они уселись на сиденье, и шофер тронул рычаг.

— Машина для крокодилов мистера Кресслинга!

Готчас же вслед за первым автомобилем к подъезду подкатил другой в виде щегольской каретки с центральным внутренним отоплением и бананами в кадках. Лакей со швейцаром внесли в него ящик с крокодилами, и автомобиль отбыл вслед за первым.

— Кобыла мистера Кресслинга!

Лучший конь Америки, знаменитая Эсмеральда, с белым пятном на груди, кусая мундштук и косясь карим глазом, протанцевала к подъезду, вырываясь из рук жокея. Шепот восхищения вырвался у публики. Даже биржевые маклеры забыли на минуту о своих делах. Полисмен, чистильщик сапог, газетчик, продавец папирос обступили подъезд, гогоча от восторга. Раздался треск киноаппарата. Часы над биржей показали ровно пять часов и три минуты.

В углублении между двумя нишами мрачного вида человек в мексиканском сомбреро и длинном черном плаще, перекинутом через плечо, сардонически скривил губы.

— Бутафория! — пробормотал он с ненавистью.— Я не могу жертвовать нашу последнюю бомбу на подобного шарлатана.

И, завернувшись в складки плаща, он тряхнул длинными прядями волос, сунул бомбу обратно в карман и мрачно удалился к остановке омнибуса, где ему пришлось выдержать множество любопытных взглядов, прежде чем он дождался вагона.

А Джек Кресслинг лениво сунул ногу в стремя, оглянулся вокруг в ожидании бомбометателя, пожал плечами, и через секунду его статная фигура покоилась в седле, как отлитая из бронзы, а укрощенная Эсмеральда понеслась по Бродвей-стрит, мягко касаясь асфальта серебряными подковами.

Между тем в нью-йоркскую таможню рабочие привезли великолепно упакованный ящик. Там на него наложили круглую сургучную печать. Он был адресован в Петроград, товарищу Василову, от целого ряда сочувствующих организаций. Дежурный полицейский пожимал плечами и недовольно бормотал себе в усы:

— Подумаешь, какие нежности! И без таможенного сбора, и без осмотра! Пари держу, что избиратели намнут бока не одному депутату за такую фантазию. Эх, Вашингтон, Вашингтон! — Как вдруг — странный холодок прошел по его спине, и полицейский прервал свою речь, почувствовав на себе чью-то руку.

— Кто там? Какого черта вы делаете в таможне, сэр?

Перед ним стоял невысокий человек в черной паре. Глаза у него были унылые, тоскующие, как у горького пьяницы, с неделю сидящего без водки. Левую руку он положил на плечо полицейскому. Холод снова прошел по спине таможенника. Он поглядел на незнакомца с непонятным ужасом.

— Хороша ли упаковка, друг мой? — мягко спросил незнакомец, едва шевеля бескровными губами.

— За это, сэр, я не отвечаю,— лихорадочно пробормотал полицейский, начиная дрожать, как лист,— рабочие принесли ящик зашитым и запечатанным.

— Выйдите отсюда!

Голос незнакомца, произнесшего эти слова, был тих и безразличен. Взгляд его, покоившийся на полицейском, совершенно невыразителен. Тем не менее ужас полицейского рос с каждой минутой, и зубы у него начали стучать друг о дружку.

— Не-не-не,сэр, нне имею такого права!

— Тотчас выйдите отсюда!

Полицейский вынул платок, вытер пот, холодными каплями заструившийся у него со лба, и медленно, медленно отступил в коридор, а оттуда на темную площадь.

— Что это с тобой случилось? — спросил проходивший мимо таможенник.— Уж не хватил ли ты вместо виски бензину?

— Понимаешь,— тяжело ворочая языком, ответил полицейский и оглянулся вокруг с выражением ужаса,— приходит сюда человек... такой какой-то человек. и спрашивает, спрашивает... погоди, дай вспомнить... странно! — прервал он себя и дико взглянул на товарища.— Я не пьян и не сплю, а вот убей меня, коли я помню, о чем он такое спрашивал!

Глава сорок вторая

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ!

— Том Топс! — крикнул редактор нью-йоркской «Иллюстрированной газеты».— Том Топс!

— Я, сэр.

— Знаю, что вы! Уверен, что вы! Только мне теперь нужны советские иллюстрации, а не вы, сударь. Понимаете?

— Очень понимаю, сэр.

— На черта мне далось ваше понимание, наххал! — проскрежетал зубами редактор.— Я держу вас и плачу вам деньги не для понимания! Весь номер посвящен Советской России, три статьи о торговом соглашении, восемь — о съезде психиатров, и ни одной советской иллюстрации!

— Иллюстрации есть, сэр! Собачка лорда Сесиля в кабриолете президента, новый туалет принцессы Монако, чайный сервиз, приобретенный мистером Кресслингом за сорок тысяч долларов, и сбор шишек в штате Висконсина.

— Вы издеваетесь надо мной! Говорят вам, ни одной иллюстрации по существу дела. Я пропал! Меня засмеют! Социалисты расторгуют всю свою лавочку, а мы сядем на мель! И все из-за вас! Не могли вы, черт вас побери, достать хоть какой-нибудь вид или фабрику, хоть в три-четверти, вполоборота, хоть задом наперед, наконец! Но с идеологией, парень!

— Ни слова больше, сэр! — воскликнул Том Топс, вставая с места и хватая свой фотографический аппарат.— Вы подали мне идею, которая даст блестящие результаты! Ждите, сэр... Ждите меня в редакции!

С этими словами Топс выбежал на улицу и, как безумный, понесся в автомобильный гараж.

Поздно вечером редактор и Топс лихорадочно сидели в цинкографии, пробуя многочисленные оттиски и обсуждая, с привлечением к делу наборщиков, важ-

ный вопрос о том, какое название проставить под каждой из фотографий.

А на следующее утро деловые ньюйоркцы с удовольствием разворачивали богатейший номер «Иллюстрированной газеты». В ней было все, чего только жаждет человеческое любопытство.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТУЛЫ ПИШУТ ПИСЬМО ДЖЕКУ КРЕССЛИНГУ!

Снимок собственного корреспондента! Поворотясь спиной к зрителям, кучка народу, наклонив головы, что-то делает над столом, справа и слева утыканном красными флагами. Кучка напоминает, правда, по своей композиции, цветную картину русского художника Репина,— что-то насчет письма к султану,— но плагиатом ее назвать нельзя, поскольку толпа пишущих взята с тыла.

БОЛЬШЕВИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИБЫТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ПАРОХОДА!

Прямехонько перед самым носом настоящего американского парохода, закрывшего собой гавань и горизонт, толпятся люди, сильно смахивающие на американских безработных, насколько можно судить по их согбенным спинам.

Далее шли многочисленные виды различных городских задворков и дымящих на горизонте труб с изображением взбудораженных людских толп, повернувшихся спинами к зрителям. И только одно лицо, в котором читатели могли без труда узнать юного Тома Топса, собственного корреспондента нью-йоркской «Иллюстрированной газеты», было обращено им навстречу, в полный свой анфас. Тому Топсу пожимал руку какой-то важный большевик, повернувшийся спиной к зрителю, с ножницами в левой руке, чтобы перерезать ленточку готового к пуску завода...

В этот день тираж «Иллюстрированной газеты» превзошел все ожидания. На углах, площадях, перекрестках, в трамваях, толкая друг друга, дамы, мужчины, отроки, мальчишки и даже карманные воры с увлече-

нием покупали газету, одни на свои собственные деньги, другие — на деньги, в поте лица добытые из чужого кармана.

К вечеру давка стала еще ужасней, так как пронесся слух, что номер запрещен. Редактор потирал руки. Том Топс заболел от возбуждения. Бостонские клерикалы открыто запрашивали у правительства, неужели оно не понимает оскорбительного намека, брошенного большевиками Соединенным Штатам Америки?

— Почему...— так запрашивали клерикалы,— почему все они поворотились к нам задом?

На деревообделочном в Миддльтоуне царило не меньшее волнение. Вокруг белокурого гиганта, орудовавшего рубанком, столпились рабочие, только что прочитавшие газету.

— Тингсмастер,— сказал один, ударив его по плечу,— штучка-то пошла в Петроград раньше срока!

— Наделает она делов,— подмигнул другой, давясь от хохота — читайте-ка, братцы, передовую.

Газета пошла гулять по рукам, покуда не дошла до лучшего грамотея, возвысившего голос на всю мастерскую.

— «Два события,— так начиналась передовица,— знаменуют собою торжество науки и торговли,— это соглашение с Россией и съезд психиатров в Петрограде, куда мы посылаем лучших представителей медицины. Надо надеяться, что наши пищевые продукты неспроста завоевывают себе путь в Республику Советов одновременно с нашей медициной. Всем известно и ни для кого не секрет, что врачебная помощь поставлена в Америке на невиданную высоту, а статистический подсчет недавно обнаружил, что на каждый ресторан у нас имеется по три лечебницы и по 1758 вольнопрактикующих врачей. Читатели, покупайте пилюли «Антигастрит» д-ра Поммера, мгновенно уничтожающие последствия от неосторожного вкушения пищи!»

— Подожди-ка, что это ты читаешь? — перебил Микаэл Тингсмастер.— Пропусти, брат, малую толику и дерни пониже.

Грамотей пропустил столбец и при одобрительных кликах «ага» прочитал следующее:

— «В означенный день утром состоится торжественное заседание Петросовета, причем в дар русским комиссарам от группы американцев, проведшей соглашение, будут поднесены роскошные часы в футляре красного дерева. Вечером того же дня состоится открытие съезда психиатров в присутствии научных делегатов всего мира, а также властей и наших граждан, находящихся по случаю соглашения в Петрограде».

— Черт возьми! — вырвалось у деревообделочников, когда они вдоволь нахохотались.— А мы тут сиди у станка да жди известий.

Они нехотя разбрелись по своим местам, и в этот день Джек Кресслинг потерпел несомненный убыток, так как работа не клеилась даже под руками самого Тингсмастера.

В обеденный перерыв все рассыпались по домам. Мик не дошел еще до порога деревянного домика, как зоркие глаза его усмотрели необычайную картину.

Его стряпуха, повязанная платком до самого носа, энергически отмахивалась от объятий большущего белого пса, а вокруг нее вертелся толстый капитан Мак-Кинлей в тщетной надежде пожать ей руку.

— Бьюти, Мак-Кинлей! — заорал Тингсмастер во всю силу своих легких и кинулся к домику.

Спустя десять минут, когда белый ком раза четыре перемахнул через голову своего хозяина, попутно облизывая ему нос и щеки, а потом блаженно оцепенел, уткнув морду ему в ладонь, Мак-Кинлей добился, наконец, ответного рукопожатия от стряпухи и, отдуваясь, сказал Тингсмастеру:

— Сорроу вам кланяется, Мик. Дела идут как по маслу. Лори, Нэд и Виллингс тоже там. Бьюти прибыла на «Торпеде» вот с этим лоскутом от Биска, да еще с письмом генеральному прокурору Иллинойса, которое я послал по адресу. Берите-ка его копию.

Подобного спича Мак-Кинлей не произносил, будучи честным ирландцем, еще ни разу в жизни. Речь его ограничивалась до сих пор чисто евангельским «да, да» и «нет, нет» с прибавлением коротенького словечка «водки!»

Понятно поэтому, что он совершенно обессилел и

упал бы на руки стряпухи, если б эта последняя не вынесла ему порядочного шкальчика, к которому дважды приложилась по пути в целях проверки его содержимого.

— Мы люди бедные, но честные, сэр,— произнесла она твердо, глотнув из шкальчика в третий раз,— мы не поднесем гостю не то что вина, а и простой воды, не дознавшись,— голт, голт,— хорошо ли,— голт, она пахнет, сэр!

Мак-Кинлей предпочел бы, повидимому, обойтись без этой вежливости. Пока он доканчивал шкальчик, к Тингсмастеру бегом подлетел миддльтоунский телеграфист и, оглянувшись по сторонам, шепнул:

— Менд-месс!

— Месс-менд,— ответил Мик,— что случилось?

— Депеша, Мик,— тревожно ответил телеграфист и сунул ему в руку бумажку. Она была от ребят с таможни. Ребята сообщали, что неизвестный человек проник к посылке, адресованной Василову, и около часу находился наедине с ней.

Тингсмастер дважды перечитал записку и задумался, прикусив губы. Широкие голубые глаза его взглянули вниз, на Бьюти, и, внезапно решившись, он взял собаку за ошейник.

— Дело-то ухудшилось, Мак-Кинлей, как бы не открыли нашу работу,— сказал он ирландцу, вытиравшему губы,— дайте знать на завод, что я свалился в лихорадке. А мы с Бьюти (собака бешено забила хвостом) — мы с Бьюти пустимся вслед за посылкой, и не будь я Тингсмастер, если не перепутаю карты этому самому Грегорио Чиче.

Глава сорок третья

МОРЛЕНДЕР В ДЕЙСТВИИ

Моросил легкий серый дождь, оседая на лицах и одежде какими-то микроскопическими дождевыми пылинками. Артур Морлендер, ходивший взад и вперед по

причалу, продрог и чувствовал легкий озноб. Сказать по правде, причиной тому был не петроградский дождичек. Все последние дни Морлендер испытывал отвратительное ощущенье зверя, за которым идет охота. Он чувствовал на спине своей неотступную пару глаз; видел легкую тень вдоль улицы, возникавшую и опадавшую вслед за его собственной тенью; встречал каждый раз, когда ему нужно было войти к себе или выйти на улицу, то старую нищенку, то высокого человека с клюкой и белыми бельмами на глазах, увиденных им еще в первый день приезда. А утром, едва он спустился с лестницы, у порога оказался странный восточный человек, смуглый, как эфиоп. Собственно это был чистильщик сапог. Он постоянно сидел тут, возле подъезда Мойка-стрит, № 81, развесив на деревянной стоечке многочисленное добро: шнурки для ботинок, щетки, резинки, подметки, стельки, а внизу, под табуреткой, расставив целую серию банок с сапожной ваксой. Едва завидя прохожего, чистильщик затягивал какую-то национальную песню, звучавшую примерно так:

Азер-Азер-Азер-бей-джан!
Ромашвили — Эрэван!

И Артур Морлендер раза два даже чистил у него ботинки.

Но сегодня произошло нечто удивительное. Сегодня чистильщик, появившийся вопреки обычаю на ранней заре, сам напросился чистить ему ботинки и даже схватил его за ногу, хотя Морлендер, боясь опоздать к приходу «Торпеды», не собирался останавливаться. Но не успел он жестом отказаться, как ботинок его уже смазывался густой мазью с обеих сторон, а чистильщик, не поднимая головы от работы, вдруг тихо произнес на чистейшем английском языке с американским акцентом:

— Мистер Морлендер, не знаете ли вы, куда делась ваша красотка жена?

— Кто вы? — только и нашел что сказать ошеломленный Морлендер.

— Не показывайте виду, что разговариваете со мной... Я приставлен следить за вами Джеком Кресслингом. Но я не состою в ихней банде. Мое имя Виллингс, слесарь Виллингс. Следить я за вами слежу,

чтоб меня не заподозрили, и доношу на вас сущую правду,— что вы были в Чека, что вы сдали им всю отраву и бомбы, что вы, видать, переметнулись с ихнего берега на другой берег. Доношу, а сам, по решению обратной стороны, стерегу и берегу вас, чтоб в случае каких махинаций спасти вашу жизнь. Понятно?

— Понятно,— ответил Морлендер, хотя ровнешенько ничего не понимал.— А Кэт, Катя Ивановна, она что же? Чья же?

— Приставлена к вам с обратной, то есть с нашей, с рабочей стороны. Не беспокойтесь, ей тоже, должно быть, ясно стало, куда вы переметнулись.

Артур густо покраснел.

— Где же она?

Виллингс уронил щетку и тотчас же подобрал ее. Лицо его выражало горесть.

— Сперва глянец, потом полировка,— придвиньте носок поближе, так... А мы-то надеялись у вас узнать... Пропала, значит, девушка. Большое горе для нас...

Но тут подкатил мотоциклет, и Виллингс сурово замолк, убирая свои щетки и кусочек плюша. Артур Морлендер приехал на пристань в снедающем душу беспокойстве. Кэт пропала! Друзья девушки не знают, где она,— и это он выгнал ее в чужой стране из-под крова, который она делила с ним. А сейчас подходит «Торпеда». Десять минут беседы с капитаном, и он узнает о тайне гибели своего отца...

Раздираемый самыми разными чувствами, взволнованный, бледный, он стал подниматься на палубу, как только сошел последний пассажир. Наверху, на мостике, глядя, как он поднимается, стоял небольшой человек в капитанской кепке, из-под которой красным отливали густые рыжие волосы. Ничего как будто особенного не было в этом человеке, и все же странный холодок прошел по спине Морлендера. Рыжий капитан сделал несколько шагов ему навстречу.

— Вы совершенно правы, что сами пришли принять ящик, который вы поднесете здешним людям от группы американских трудящихся! — любезно начал капитан Грегуар, как только Морлендер ступил на палубу.— Нельзя допускать демонстрации на пристани. А тут,

кажется, собираются ее устроить...— Он указал пальцем вниз, и Морлендер, обернувшись, увидел, что возле трапа набирается толпа, кто-то подкидывает шляпу, кто-то кричит: «Да здравствует торговое соглашение...»

— Пройдемте ко мне,— продолжал капитан, идя вперед и показывая дорогу.— Вот моя личная каюта. Бой!

Мальчик, не дав ему договорить, уже бежал с подносом.

Стаканы налиты, сигары зажжены, Морлендер сидит в спокойном кресле. Но капитан, словно пораженный каким-то удивлением, не сводит пристального взгляда с его лица. Борясь с одолевающей его непобедимой пассивностью, похожей на дрему с открытыми глазами, Артур Морлендер находит, наконец, слова, много дней вертевшиеся у него на языке:

— Капитан, у меня есть вопрос к вам. Где именно и как гроб с моим отцом, Иеремией Морлендером, попал на ваш пароход? Мачеха моя, как я помню, говорила с вами, но мне не пришлось...— Он хотел продолжать и осекся. Странный, расширившийся взгляд капитана пригвоздил ему язык к гортани, связал все члены, зашевелил волосы на голове. Во рту его сделалось непереносно сухо. Он раскрыл, наконец, рот, заглотнул воздух и — опустил голову на грудь. Он спал.

Капитан Грегуар позвонил дважды. Вошел мичман Ковальковский вместе с высоким седым человеком с белыми бельмами на глазах, известным читателю под маской нищего графа.

— Вы были правы,— сухо произнес капитан.— Необходимо убрать его, но пока не лишать жизни. Туда, где будет стоять ящик и где уже содержится его спутница. Я ехал с точной директивой Джека Кресслинга послать Василова еще до поднесения подарка, как экскурсанта, на Центральную Аэро-электростанцию — лишь посмотреть, познакомиться, поговорить и ничего больше; а при уходе оставить там незаметно вот этот шарик замедленного действия. Но человек этот предал нас. Он негоден. Но, загримировав одного, легко загримировать другого. Вы, граф, примерно такого же роста... Гример, создававший из Морлендера Василова,—

тут. Он придаст вам сходство; и задачу на Аэро-электро вы примете на себя. А этого,— капитан Грегуар дотронулся носком до ноги Артура,— этого будем держать под гипнозом и пошлем поднести подарок.

— Превосходно! — кисло отозвался мнимый нищий.— Они ему доверяют. Извлеките только у него документы для меня...

Но напрасно шарил капитан по карманам спящего. Документы Морлендер оставил у себя на столе. Чистильщику сапог, исполнявшему свою службу, ничего не стоило заглянуть в оставленную им комнату, чтоб лишний раз убедиться, не прячется ли мисс Ортон где-нибудь поблизости. А забравшись в комнату и увидя на столе документы Василова, степенный Биллингс на всякий случай прибрал их к себе в грудной карман, подальше от всяких неожиданностей. Таким-то образом капитан Грегуар не нашел ничего на Морлендере.

— Вы съездите на завод, граф, и попросите, чтоб вам дали бумажку к главному монтеру станции, вот и все. А теперь — быстро, быстро возвращайте себе вашу молодость, снимайте парик, бельма, брови, морщины, и отдавайтесь в руки нашего кудесника. Да вот еще: фонограф несколько раз повторит вам речь Василова, и вы попрактикуйтесь у себя в комнате, чтоб усвоить ее интонации и тембр.

Глава сорок четвертая

В ЛОГОВ Е ЗВ Е РЯ

Прошли час, два часа. Чудесные превращенья происходили все это время под рукой неведомого гримера в той самой каюте, где еще недавно в роли рождающегося Василова сидел перед ним молодой Артур Морлендер. Сухой и жилистый русский граф очень мало походил на Морлендера, кроме, может быть, роста и вы-

правки. Но, сняв и очистив с него грубые наклейки, превращавшие графа в старого нищего, гример взялся за свои пинцеты и кисточки. Медленно, медленно в этом сухопаром графе неопределенного возраста проступили черты все того же коммуниста Василова: разгладилась кожа, ушли морщины, поднялись углы губ, исчезли отечные подушечки щек, по-новому выросли из-под пальцев гримера брови. Работа была тонкая и прочная — на том же месте, в той же каюте возникал тот же человек, возникал почти там же, где он был недавно убит. И все это время Артур Морлендер лежал в глубоком сне в каюте капитана Грегуара.

Когда, наконец, работа неведомого кудесника пришла к концу, капитан и мичман Ковальковский наклонились над Морлендером. Они сняли с него ботинки и одежду, подняли с кресла и не без усилий засунули неподвижное тело в большой ящик, стоявший в углу каюты. Крышка с незаметными отверстиями для воздуха — опущена, гвозди заколочены, вызванные матросы обшивают ящик холстиной, как вдруг капитана тревожно вызвал гример. Ботинки, снятые с ног Морлендера,— никак не влезали на сухопарую, но необыкновенно длинную ступню графа! Прошло еще с полчаса, пока раздобыли подходящую пару ботинок в гардеробе мичмана Ковальковского. А сам мичман был в это время на палубе и зверски ругался. Дело в том, что разношерстная толпа, собравшаяся перед «Торпедой», все прибывала и прибывала. Когда на подъемном кране закачался первый ящик, спускаемый с «Торпеды» на землю, раздались громкие возгласы: «Это подарок дружбы!», «Американская посылочка рабочих!», «Да здравствует дружба с американскими трудящимися!» Ящик был быстро подхвачен внизу матросами «Торпеды», но на смену ему закачался в воздухе другой. Этого публика не ждала и принялась судить и рядить, кто и что и кому посылает во втором ящике. Покуда матросы подхватили и этот второй и, поставивши оба на тачку, повезли их по бетонной дорожке с причала,— наверху, на палубе, появился инженер Василов. Он сходил по трапу молча,— фонограф еще не обучил его особенностям морлендеровской речи. Сойдя, он еще раз

обернулся к «Торпеде» и помахал рукой капитану Грегуару.

В эту минуту его и заметил слесарь Виллингс, подоспевший на причал в том самом черномазом виде чистильщика сапог, в каком он восседал на Мойка-стрит.

«Молодчик мой, кажется, жив и здоров и даже прощается с капитаном дружески! — подумал он с облегчением.— Но что это такое?»

Протерев глаза, он подобрался поближе к трапу. Сходивший по шатким ступенькам Василов встретился с ним глазами,— глаза были чужие, и взгляд их ничего, никакого узнавания не выразил. Однако Виллингс смотрел сейчас не на его лицо. Он смотрел на ботинки. Утром он сам чистил черные американские ботинки Морлендера и натирал их до блеска. А эти были — коричневые шведские штиблеты, номера на три, на четыре больше размером.

«Эге!» — подумал Виллингс, повернулся к толпе, взглядом поискал Нэда, нашел его и кивком подозвал к себе.

— Нэд,— шепнул он ему едва слышно,— мое дело следить за этим молодчиком. Сдается мне, это не Морлендер. А ты проследи, куда повезут вон те ящики, да не один, а оба,— как хочешь, хоть разорвись пополам, а не упусти ни того, ни другого.

Нэд кивнул и тотчас же стушевался. Степенный Виллингс в своем чумазом обличье попробовал было покричать с толпой что-то вроде «урра Василову» и даже заступить этому последнему дорогу, неуклюже отдавив ему носок своим сапогом,— но в глазах проходившего человека не было и тени чего-то знакомого. Приподняв шляпу, раскланиваясь направо и налево, отнюдь не быстрой и легкой походкой Морлендера, а даже с некоторой привычкой к искусственной хромоте, мнимый Василов прошел к дожидавшейся его машине.

Между тем настоящего Морлендера, крепко стиснутого в ящике, очень быстро доставили куда-то, где его довольно грубо сбросили на пол. Но толчков он не чувствовал, так же как не слышал стука и визга инстру-

ментов, отбивавших крышку над ним, и не воспринял затхлой струи воздуха, когда крышка была снята. Морлендер все еще спал, хотя и не так крепко. Его подняли и опустили на ковер, привязали к ножкам массивного дубового стола. Потом связали ему туго ноги и руки и набросили на него холстину, в которую был зашит ящик. Сделав все это, люди удалились, не обратив никакого внимания на другого связанного человека, лежавшего в противоположном углу.

Когда шаги затихли и минуты две царствовала полная, глубокая тишина, связанная фигурка в углу проявила некоторые признаки жизни. Она сделала несколько судорожных движений, подобных трепету рыбы, пробующей плавать по земле,— и, перекатившись с боку на бок, стала постепенно подползать, точнее подкатываться к спящему Морлендеру. А с тем происходила постепенная перемена. Сон начинал покидать его, а живые звуки жизни, струи воздуха, стиснутые руки, нарушенное кровообращенье, солнечный зайчик, упавший на лицо его из окна, и, наконец, дыханье какого-то человека рядом — стали тянуть его все сильней и сильней к пробужденью. Солнечный зайчик, пощекотав ему ноздри, вызвал неожиданное чиханье, а вместе с чиханьем Морлендер открыл глаза и почувствовал себя убийственно плохо. Тошнота подступала к горлу, руки и ноги ломило. Он повел глазами туда и сюда — и увидел рядом с собой на полу Катю Ивановну.

Это была совсем новая Кэт. Лицо ее исхудало, желтые и синие тени голода и страданья легли на нем. Кудри были растрепаны и сбились в войлок. Ногти связанных рук были грязны и поломаны — от тщетных попыток сорвать веревки. Изо рта ее торчал кляп. Но такой она показалась ему ближе, понятней и человечней.

— Подползите поближе к моим пальцам, чтоб я мог вытащить кляп,— прошептал он едва слышно. Это было нелегкое дело. Стиснутые веревками, ладони Морлендера отекли. Но пальцы его были гибки и длинны. С трудом соединяя их кончики, он подхватил ими ра-

ный край кляпа. Девушка помогала ему, осторожно оттягивая голову. Вершок за вершком, отвратительная тряпка была, наконец, вытянута, но Кэт не сразу смогла двинуть посиневшими губами.

— Где мы находимся? — спросил он тихо.

— У врагов советского народа, белогвардейцев,— ответила она с трудом.— Вы немного помолчите, а то вас будет рвать, а воды здесь нет Пять дней, десять дней — не знаю, сколько с того дня, как ушла от вас,— не вижу ни воды, ни хлеба. Живу тем, что они вспрыскивают под кожу. Как вы попали им в руки?

— Как вы?

— Заблудилась, пробираясь к друзьям, и сама влезла в логово зверя... Меня зовут не Катя Ивановна. Я Вивиан Ортон, дочь машинистки из конторы Кресслинга. Мою мать любил ваш отец. Ее отравили... ее отравили так, как если бы это сделал ваш отец... Я хотела отомстить за нее его сыну...

Морлендер повернулся к ней, пренебрегая и тошнотой и болью в руках от врезавшихся в кисти веревок. Он серьезно, честным взглядом молодости, попавшей в беду, посмотрел на девушку, и она ответила ему таким же серьезным, честным взглядом.

— Кэт... Вивиан! Отец никогда бы не сделал этого, не мог сделать... Никогда, понимаете?

— Начинаю так думать.

— И меня обманули. Мы квиты, товарищи по несчастью. Забудьте, простите прошлое. Будем вместе выпутываться Придвиньтесь, я зубами перегрызу ваши веревки.

Она подкатилась вплотную к нему, и он стал своими крепкими зубами расщеплять и нить за нитью перекусывать ее веревку. Потом, освобожденной рукой, она облегчила ему его путы. И развязывая веревки, ничего не говоря, а только вкладывая в каждое движенье свое тайное, внутреннее спокойствие, рожденное от присутствия друг друга, от утоления жажды друг в друге, о которой сами они еще не подозревали,— Вивиан и Морлендер освободились от пут, незаметно закрепив другие узы, связавшие накрепко их молодые сердца.

Глава сорок пятая

МОНТЕ Р АЭРО- ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Все эти дни техник Сорроу пролежал в бездействии: приступ старой болотной лихорадки, подхваченной им в молодости, на сырых шахтах Кресслинга, вдруг свалил его с ног. Проклиная свою болезнь, он срывал досаду на трех верных друзьях, безропотно по очереди ходивших за ним и выполнявших важную работу по городу. Сорроу знал все неутешительные новости: Мик протелеграфировал ему о том, что в последнюю минуту Кресслинг, повидимому, подменил механизм в часах, так остроумно обезвреженный техником Сорроу,— и Лори Лен по его приказу уже снесся с советскими властями и подробно рассказал им об этом. Знал Сорроу и о готовящихся в Петрограде событиях — торжественном заседании Петросовета и съезде психиатров. Сегодня, почувствовав себя намного лучше, он уже встал, оделся и сменил лежачее положенье на ходячее. Когда три верных друга — белокурый Лори, молчаливый Нэд и степенный Виллингс в обличье чистильщика сапог — заглянули к нему в комнату, они увидели старичину Сорроу, с заложенными за спину руками, измеряющим по привычке взад и вперед, взад и вперед, от стены к стене, малое пространство своей комнаты.

— Садитесь, докладывайте, ребята! — кивнул он им, нетерпеливо продолжая свое хождение, от которого так долго удерживала его лихорадка.— Что нового? Где Мик? Пришла «Торпеда»? Нашлась мисс Ортон? Начинай хоть ты, Лори.

Бедняга Лори покраснел и потупился. Все это время, днем и ночью, он безуспешно разыскивал пропавшую красавицу. Ни следа, ни намека не удалось ему найти, чтоб хоть оживить крупицу надежды на возможность увидеть ее в живых. Лицо его было растерянно и сумрачно.

— Стыжусь, Сорроу, ничего не нашел. Мисс Вивиан Ортон исчезла так внезапно, так полно, что даже сам Морлендер не помог,— Виллингс говорит, он не видел ее с того самого момента, как она вышла за двери его комнаты. И чемодан никто не востребовал.

Сорроу покачал головой. Несчастный вид Лори удержал его от словечка, вертевшегося на конце языка.

— Ты, Нэд? — спросил он после некоторого, тяжелого для всех, молчанья.

— Мои новости будут получше. Два ящика, заметь — не один, а два, спустили с «Торпеды». Я проследил, куда их свезли. Оба доставили в одно место. На одном — знаю с точностью, сам разобрал в лупу — наше клеймо, это, стало быть, те самые часы, Сорроу. Что в другом — неизвестно.

Степенный Виллингс старательно прочистил глотку:

— Мои новости важные. Доложу, перво-наперво, что переглядел всех пассажиров. Мика среди них не видать. Во-вторых, Морлендер поехал к капитану Грегуару, сидел часа два в его каюте, потом вышел оттуда... ну, Сорроу, готовься к удивленью, старик! Вышел опять подмененный. Отделан под Василова, ничего не скажешь, да только это не Морлендер. А где сам Морлендер, жив или мертв — не знаю. Это еще не все. Новый Василов поехал с «Торпеды» прямехонько на завод. Что он там делал, как ты думаешь? Выхлопотал себе пропуск на центральную Аэро-электростанцию!

— Аэро-электростанцию! — с сильным беспокойством вскричал Сорроу, прекратив ходьбу.— Этого мы не предвидели! Надо принять меры. Но почему бумажка с завода. Ведь у него полны карманы документов и ему верят, Виллингс.

Чумазый чистильщик усмехнулся, достал из широких брюк бумажник, а из бумажника несколько листочков, чуть тронутых ваксой, и разложил их перед техником Сорроу.

— Вот эти самые документы из комнаты Морлендера.

— Молодец,— похвалил Сорроу.— Вот что, ребята.

На предостережение советской власти времени уже мало, да и нечего ее беспокоить по каждому пустяку. Где твой новый молодчик, Виллингс?

— На заводе. До завтрашнего утра не может предпринять ничего. Доступ на станцию уже прекращен.

— Хорошо. Лори, баночки с гримировкой!

Лори Лен не без удивленья принес ему ящик с красками.

— Ну-ка, усаживайтесь все трое, рядком, чтоб мне не разделывать вас поштучно!

Лори, Виллингс и Нэд уселись на скамейку, в недоумении глядя на Сорроу.

Тот обмакнул тряпку в воду, раз-два — сорвал с Лори белобрысые усы и брови, с Виллингса весь восточный гарнитур, а потом прошелся по ним мокрой тряпкой. Покончив с нею, он взял кисть, три белокурых парика, щипцы для носа и прочие тайны гримировки и стал быстро орудовать над всеми тремя молодцами, промазывая их с полной равномерностью и беспристрастием. Спустя полчаса перед ним было три молодых человека, отделанных не без таланта под несчастного Василова или Артура Морлендера.

— Выделка, можно сказать, без тонкости, хромовая,— произнес Сорроу, любуясь делом своих рук,— ну, да хватит с нас и этого. Лори, есть у нас приличная одёжа?

— На одного джентльмена, Сорроу, вон там в шкафу.

Сорроу вынул новую черную пару, штиблеты, цилиндр, галстук, перчатки и тросточку и поглядел на все это критическим оком.

— Не беда, братцы,— произнес он решительно,— поделите-ка одного джентльмена на троих, сойдет и так.

Не прошло и минуты, как Виллингс щеголял в отличном смокинге; Нэд — в щегольских брюках; а Лори — в цилиндре, лакнрованных штиблетах, перчатках и с тросточкой, или, как правильнее было бы выразиться,— при цилиндре, лакированных штиблетах, перчатках и тросточке.

— Честное слово,— сказал Сорроу,— вы сойдете, куда ни шло! А теперь нате-ка эти документы!

Он дал Лори рекомендательное письмо на имя Василова, Нэду — удостоверение на имя Василова, а Виллингсу — партийный билет на имя Василова и серьезным голосом произнес:

— Слушайте меня с толком, ребята. Взрыва я не боюсь. Переменили или нет машину,— советская власть предупреждена. Единственно, чего нам надо бояться, это несчастья с монтером Аэро-электростанции. Поняли? Вряд ли новый Морлендер полезет к нему с раннего часу. А поэтому, братцы, возьмите-ка на себя небольшую работишку, отправляйтесь с самой зарей на Аэро-электро и потолкуйте с монтером от имени Василова...

— О чем это? — с изумлением спросил Лори.

— Ну, да как о чем,— подмигнул Сорроу,— натурально насчет подкупа. Так и так, говорите ему, не продаст ли он за приличную валюту советскую власть и не отвинтит ли там перед вами каких-нибудь винтиков.

— Сорроу, ты спятил! — вырвалось у Виллингса.

— И не думал,— спокойно ответил Сорроу,— оно, конечно, первому из вас не миновать тюрьмы, а вы пустите второго. При умелой дипломатии можно рассчитывать, что и второго упекут, тогда в самый раз выйти третьему.

— Да на кой черт? — простонал Нэд.

— А на тот черт, дурья твоя башка, что уже четвертому-то Василову они и говорить не дадут,— понял?

Ребята переглянулись и, расхохотавшись, полезли было целовать Сорроу, но тот увернулся как раз во-время, чтоб сберечь драгоценную гримировку на лицах товарищей.

Станция Аэро-электро была самым укрепленным пунктом города. Монтер, заведовавший электрификацией пространства, день и ночь оставался на ней, лишенный, как римский папа, права выхода на другую территорию. Белые аэропланы непрерывно бороздили небо, сторожа́ гигантские электроприемники. При первой же вести об опасности, колоссальный рычаг, с передаточной силой на двадцативерстную цепь из желез-

ных перекладин, должен был выбросить на высоту тысячи метров над Петроградом огненную броню электричества. Одновременно с этим весь город выключался из сети и погружался в абсолютную темноту.

Внизу, у ворот станции, стоял взвод часовых, сменявшихся каждые полчаса.

Ранним утром, не успел только что отдежуривший отряд часовых промаршировать на отдых, салютуя своим заместителям, как на площади появился вертлявый молодой человек в цилиндре и с тросточкой. Он подвигался вперед всеми своими конечностями, забирая туловище, елико возможно, внутрь, отчего скверный пиджачишко и заплатанные брюки совершенно стушевывались перед наблюдателем.

— Я коммунист Василов,— проговорил он отрывисто и сунул документ в лицо дежурному,— мне нужно немедленно видеть монтера!

Документ был прочитан и принят, а Василов препровожден в первый дворик, куда он пробежал, помахивая перчатками.

Пройдены, не без затруднений, все заставы.

Приемная станция Аэро-электро. Монтер, седой человек с неподвижным и строгим лицом, вышел к посетителю.

— Товарищ... э? Вы говорите по-английски?

— Да,— ответил монтер.

— Я пришел... э... по поручению одной державы. Монтер, знаете вы курс доллара? Какого вы мнения о курсе великолепного доллара?

Монтер с изумлением уставился на странного человека.

— Полно дурака валять! — примирительно произнес человек в цилиндре и схватил монтера за плечо.— Испорти всю эту музыку! Держава не поскупится! Тысяча миллиардов... Раз-два!

Монтер свистнул и крикнул подбежавшему отряду хранителей станции:

— Душевнобольной или преступник! В тюремное отделение станции!

Молодого человека подхватили подмышки и, хотя он и делал неоднократные попытки кусаться и плевать-

си, немедленно водворили в общую камеру станционной тюрьмы.

Спустя полчаса взвод часовых, чинно стоявших у входа на станцию, был заменен новым. Он отсалютовал пришедшим, взял ружья наперевес и стройно отмаршировал в казармы.

— Кха-кха! — раздался заискивающий кашель, и к новому взводу подошел человек, горделиво выпятивший живот. Он был в великолепном смокинге, и каждый зритель невольно останавливал взор свой на импозантной фигуре джентльмена, что давало ему возможность держать обе ноги в рваных сапогах далеко позади всего прочего корпуса.

— Товарищи! Я коммунист Василов. Вот мой документ. Ведите меня к монтеру! — важно и с расстановкой произнес смокинг.

Ворота были открыты, и джентльмен устремил туда свой передний корпус с таким проворством, что обе ноги едва не были оставлены за быстро захлопнувшимися воротами.

Седовласый монтер не без досады вышел ко второму посетителю. Он вздрогнул, когда увидел его разительное сходство с первым. Но удивление его перешло в оторопь, когда посетитель поманил его пальцем и сказал таинственным тоном:

— Монтер, иди сюда! Иди, брат! Я к тебе по знатному делу. Не можешь ли ты, того, за хороший миллион долларов отвинтить мне пару-другую приемников? Мы собираемся с одной дружественной державой метнуть сюда бомбочку... А?

Спустя десять минут он уже барахтался в общей камере станционной тюрьмы, пугая сторожей громоносным кудахтаньем, похожим не то на рев, не то на хохот.

Между тем перед новым взводом часовых, расставляя ноги в виде циркуля и отогнув голову набок, как если б она была несущественным пакетом с покупкой, стоял молодой человек в блестящих бальных брюках. Он растопыривал их перед рослым часовым с большим достоинством, произнося в нос свою фамилию.

— Я ком-мунист Василов, вот мой документ. Я должен видеть монтера по государственному делу!

Получив пропуск, он поворотился вокруг своей оси и медленно прошел за ворота, ставя ноги носками внутрь и расширяя их диаметр, насколько это позволяла анатомия человеческого тела.

— Странно,— пробормотал монтер, увидя третьего посетителя.

— Друг,— сказал ему молодой человек в брюках,— предположи, что у тебя жена и дети. С одной стороны, жена, дети и триллион долларов, не каких-нибудь, а вашингтонских, заметь себе. С другой стороны, какая-то плевая электрификация. Поразмысли, дружище!

Заперев его в общую камеру, монтер вызвал по телефону дежурного.

— Алло! — сказал он отрывисто.— В городе появилась психическая эпидемия, если только это не заговор,— не сменяйтесь до вечера. Если появятся новые Василовы, хватайте их без всяких разговоров, обыскивайте и под конвоем препровождайте в станционную тюрьму.

Не успел дежурный повесить трубку, как перед взводом часовых остановился служебный автомобиль Путиловского завода и оттуда выпрыгнул статный человек в полной паре и прочих принадлежностях туалета.

— Я коммунист Василов,— вежливо произнес он, подходя к дежурному и поднимая два пальца к кепи,— вот просьба от заведывающего заводом...

Он не успел закончить, как несколько дюжих красноармейцев кинулись на него, связали по рукам и по ногам и обшарили его сверху донизу.

— Спрячь-ка это в будку,— сказал один, подавая дежурному странное стеклышко, отмычки, флакон с голубыми шариками и уродливый стальной инструмент.

Пойманный был взят за шиворот и под конвоем проведен в общую камеру станционной тюрьмы, где он вздрогнул и свирепо уставился на трех веселых молодчиков, ужасно похожих на него и залившихся при виде него неистовым гоготаньем.

Глава сорок шестая

БЛАГОДАРНЫЙ ОСЕЛ С ОСЕДА

Жаркий полдень в штате Иллинойс, известном главным образом тем, что он принадлежит к Северному центру, походит на жаркие полдни всяких других стран, не уступающих ему по части широты и долготы.

На террасе дачного коттеджа, под парусиновым балдахином, сидел безмятежный старец, разбитый параличом. То был генеральный прокурор штата Иллинойс, тщетно хлопотавший об отставке. Два старых негра справа и слева отмахивали от него мух. На плече его сидел розовый попугай. На коленях лежала кошка, а у ног — ирландская сука с четырьмя сосунцами. Взор старца был устремлен на превосходный аквариум неподалеку от его кресла, наполненный всякими китайскими мокроподами,— излишняя особенность для рыб, и без того обитающих в мокром месте.

Язык старца, с трудом ворочавшийся, пришел в действие:

— Ккакк... мои ппороссятки? — спросил он у негра.

— Кушают, масса Мильки, благодарение богу.

— А ммоя жжабба?

— Опущена в колодец, масса Мильки.

— А ммоя дочь?

Но эта последняя не дала негру ответить, появившись на террасе в сопровождении гостя, проезжего депутата Пируэта.

— Вытрите папе нос! — сердито сказала она неграм и уселась в кресло, скрестив ножки. Депутат сел рядом с ней.

Молодая мисс Мильки была девицей пятидесяти трех лет. Коротенькое платьице лаун-теннис выгодно обтягивало ее формы, а рыжекудрый парик придавал ее задорному личику еще бо́льшую пикантность.

— Не утешайте меня, дорогой мистер Пируэт! Я уверена, что сойду с ума! И чем скорей, тем лучше! — вырвалось у нее страдальческим шепотом.

— Но ваш милый папенька...— тревожно заметил Пируэт.

— О! Ему ни за что не дают отставки! После этого знаменитого дела они вцепились в него, как щипцами! И понимаете, дорогой мистер Пируэт, всю его корреспонденцию, все эти письма, жалобы, апелляции, интерпелляции, все это должна читать я сама. В мои лучшие годы, когда другие танцуют, резвятся и... ах!.. встречаются с себе подобными, я должна сидеть над бумагами! — из пышной груди мисс Мильки вырвалось стенание.

— Но почему бы вам не взять секретаря?

Мисс Мильки устремила на депутата изумленный взор.

— Здесь, в Иллинойсе, секретаря! Дорогой мистер Пируэт, вы должны знать, что у нас легче купить железную дорогу, чем нанять секретаря! У нас нет здесь ни единой рабочей руки!

Депутат Пируэт взглянул на нее с ужасом.

— Ни единой!— энергично повторила она.— А когда перепадет к нам кой-какой эмигрантишка,— вы знаете, ведь иной раз они добираются до Иллинойса,— так его перехватывает эта собака, этот изверг, этот безумец, этот молодой Нерон и Навуходоносор, мистер Дот!

С этими словами мисс Мильки откинулась на спинку стула и затрепетала всем телом в нервной конвульсии.

— Скажите мне, кто такой мистер Дот? — нежно осведомился депутат, кладя свою руку на трепещущие пальцы несчастной мисс.

Долгое молчание было ответом. Наконец, собравшись с силами, она открыла глаза и глухо произнесла:

— Дот — это роковой человек, мистер Пируэт. Он виновник всех наших несчастий... Когда-нибудь на досуге...

— Но я сегодня уезжаю! — с испугом вырвалось у депутата.

— На досуге я расскажу вам страшную драму нашей жизни. А пока только одно слово: Дот — автор! Он автор гнусного фельетона о детективных талантах моего отца. Он автор прогремевшего интервью, в котором мой папенька...— мисс Мильки всхлипнула...— мой папенька обзывается такими... такими словами, что будто бы Шерлок Холмс и Нат Пинкертон перед ним трубочисты!

Не в силах продолжать разговор, мисс Мильки набросила на лицо кружевной платочек, как раз во-время, чтоб подхватить кусок штукатурки, упавший у нее из-под левого глаза.

Мистер Пируэт почувствовал себя заинтересованным. Он уже собрался сказать мисс Мильки, что согласен отложить свой отъезд, как со стороны проезжей дороги, огибавшей коттедж, раздались неистовые вопли.

— Стой! Стой! Стой! — вопил кто-то в бешенстве, размахивая дубиной и со всех ног летя за небольшим серым ослом, волочившим по дороге странную ношу.

Но осел, как это чаще всего бывает с ослами, выразил совершенно обратное намерение и, брыкнув своего преследователя, галопом понесся дальше.

Пальцы мисс Мильки вонзились в руку депутата. Очи мисс Мильки устремились на ослиного преследователя.

— Дот! — шепнула она лихорадочно.— Взгляните, этот ужасный Дот преследует своего осла... А осел... Великий боже, что такое он тащит?! Дорогой Пируэт, держите меня за талию, я падаю, я умираю! Он тащит эмигранта!

Зрелище, разыгравшееся на шоссе, было все более и более катастрофическим. Дот, черноусый мужчина в соломенной шляпе и небрежном костюме фермера, мчался наперерез ослу, пытаясь загнать его в свой двор и осыпая его проклятиями. Но осел, неистово мыча, проскочил мимо него, сделал два-три поворота и, задрав хвост, неожиданно для всех вдруг влетел во двор коттеджа мистера Мильки. Он пронесся прямехонько к креслу, где лежал паралличный старец, и замотал головой, силясь сбросить со своей шеи кушак, за который держалась его странная ноша.

— Осликк! — прошептал мистер Мильки, блаженно улыбаясь.— Подди сюдда, ослик! Благодарный друг мой! Осел-джжентльммен!

Пока эти фразы срывались с языка старца, мисс Мильки и депутат энергично освобождали ослиную ношу. Это был немолодой, бедно одетый и страшно изнуренный человек. На лице его лежала печать глубокого страдания.

— Вы наняты! Подпишите контракт! — визжала мисс Мильки в то время, как мистер Дот с проклятиями требовал назад своего осла, обещая снять с него кожу и сунуть ему под хвост горящую головню.

— Я эмигрант,— пробормотал бедняк, понурив голову,— я не имел силы идти пешком и привязал себя к этому доброму животному, пасшемуся на лугу, в надежде, что он доведет меня до жилья.

— Вы приняты на место! — отчеканила мисс Мильки.— Здание, которое вы здесь видите, есть родовое поместье моего отца, генерального прокурора штата Иллинойс.

— Для эмигранта вы отлично владеете языком,— вмешался депутат,— как ваше имя, милейший?

Бедняк провел рукой по лицу.

— Меня зовут Павлом Туском.

Глава сорок седьмая

О ПРИЧИНАХ БЛАГОДАРНОГО ЧУВСТВА В ОСЛЕ

— Теперь, когда у вас есть секретарь, а я остался на лишние сутки,— нежно начал депутат Пируэт, сидя с мисс Мильки при луне на садовой скамейке,— теперь я хочу узнать от вас обо всех этих тайнах! И почему вашему папе не дают отставки, и почему этот Дот прославил его по всей Америке, и почему мистер Мильки назвал осла благодарным животным?

— Ах,— вздохнула мисс Мильки,— вы хотите взглянуть на дно моей души... Я согласна. Слушайте меня, дорогой мистер Пируэт, слушайте и исторгайте слезы!

Она поникла головой, собралась с духом и начала следующий рассказ, прерываемый частым кваканьем жабы, хрюканием поросят и ночными стонами летучей мыши.

— Мы переселились сюда, когда папеньку разбил паралич, года два тому назад, сэр. Место это было глухое и мрачное, особенно для юного существа. Папаша чувствовал себя прекрасно, будучи любителем животных, а я должна была дни и ночи наблюдать за сельским хозяйством, в то время как в груди моей пели мелодии Шопенгауэра.

— Вы хотите сказать Шопена? — перебил ее депутат.

— Ну да, Шопена Гауэра,— поправилась мисс Мильки,— отец мой подал в отставку, и ее хотели уже принять, ждали только подходящую рабочую руку для его замены, что у нас в Иллинойсе, как я вам уже сказала, адски трудно. И вот в один прекрасный день прибегают к нам и говорят, что соседняя ферма куплена и что у нас скоро будет сосед, некий мистер Дот из Арканзаса. Я тотчас же взяла географическую книгу, сэр, и навела справку. Я узнала, что Арканзас лежит на юге и что тамошние уроженцы обладают горячим темпераментом. Ах, сэр, мучительное предчувствие охватило меня!.. Сосед приехал, и не прошло трех дней, как он явился к нам с визитом.

Мисс Мильки прервала свой рассказ, прижав руку к сердцу. Депутат поощрительно налег на ее талию.

— Вообразите себе, сэр, высокого стройного мужчину с черными усами. Вообразите себе, с одной стороны, это пустынное сельскохозяйственное место и молодую беспомощную девушку, с другой — высокого мужчину с черными усами и горячим арканзасским темпераментом. То, чего я опасалась, свершилось: мистер Дот влюбился в меня с первого взгляда. Правда, он не признался мне в этом. Но его взгляды, его жесты были красноречивей слов. Стоило мне придвинуться к нему поближе, как он судорожно отталкивал меня от

себя. Не успевала я войти в комнату, как он прекращал разговор с папенькой и хватался за шляпу. Если я глядела на него за столом, он не кушал; если я заболевала и оставалась в своей комнате, он на целый день приходил к папеньке, видимо беспокоясь о моем здоровье. Это не могло так продолжаться, сэр. Я умею быть твердой, несмотря на всю свою молодость. Я написала мистеру Доту письмо с просьбой объясниться и прекратить излишние страдания, ставящие и меня и его в фальшивое положение...

Мистер Дот не ответил. Мало того, он прекратил бывать у нас и заперся на своей ферме в течение двух недель. Негры рассказывали, что в это время он вел образ жизни Нерона. Он пил один только алкоголь, сэр, жег целые груды навоза у себя на дворе и ходил купаться в пруду. Я поняла свой долг женщины. Из опасения его самоубийства я накинула на себя легкий шарфик и при закате солнца пошла к нему, пренебрегая пустыми предрассудками.

Мистер Дот при виде меня издал восклицание, вскочил с места, сделал два шага и, как подкошенный, упал к моим ногам. Я скрыла свое торжество и положила обе руки на голову этого неистового человека. Я шепнула:

— Не надо объяснений! Идемте к папаше!

Но самолюбие мистера Дота оказалось до того болезненным, что он принялся отвергать очевидный факт и, словно ребенок, твердил, будто хотел бежать из комнаты и упал вследствие сломавшегося каблука, и даже ухитрился показать мне этот каблук, сломанный каким-то случайным образом. Кнут Гамсун, сэр, если только вы читали этого писателя, был знатоком подобного самолюбия в своих любовных романах. Я вспомнила их и не дала себя вовлечь в обман. Ласково улыбнувшись, я погрозила мистеру Доту пальчиком и назвала его «влюбленным безумцем». Ах, сэр, я не подозревала, что из этого выйдет. Мистер Дот схватил шапку и убежал в степь. Он скрывался в степи три дня, ночуя под открытым небом и питаясь зеленым горохом. На четвертый день он явился, ведя с собой небольшого серого осла.

Мисс Мильки вздохнула и утерла глаза.

— Надо вам сказать, сэр, что меня зовут в честь моей бабушки Юноной. И вот этот безумный арканзасец перестал кланяться и мне и моему папаше, найдя противоестественное удовлетворение своим страстям. Он назвал своего осла Юноной и целый день перед самой нашей террасой бил это животное дубинкой, улыбаясь улыбкой маркиза де Сада. Мой отец, как вы, должно быть, заметили, питает положительную нежность к животным обоего пола и всех видов. Не успела я опомниться, как он закачался на своем стуле и потребовал от меня подачи в суд на мистера Дота за истязание осла. Этого мало, сэр. Папаша раскачался до того, что велел нести себя на судебное разбирательство и сам произнес обвинительную речь. Если б вы только видели, что это было! Вся зала рыдала ручьем. Присяжные рыдали ручьем Папенька был весь заплакан и не мог вытереться. Мистера Дота присудили к огромному штрафу. С тех самых пор, сэр, я жила под угрозой его мести. Некоторое время все было тихо, он куда-то уехал. Как вдруг ударила молния. Дот поместил в газетах статью о знаменитых детективных способностях моего папаши. Отставку бедного папеньки отклонили, и с того дня, сэр, мы ежедневно получаем сотни писем о различных уголовных преступлениях с просьбами их распутать... Что переживаю я над этими письмами, оскорбляющими мою невинность,— не поддается описанию!

Мисс Юнона Мильки вздохнула и прислонила головку к плечу депутата. Потом вскрикнула как ужаленная, поцеловала его прямо в губы и, как легкая лань, умчалась в коттедж.

Мистер Пируэт поспешно вытащил изо рта кусок упавшей туда штукатурки, оглянулся по сторонам и, как вор, пробрался в конюшню.

— Оседлайте моего коня! — шепнул он негру, энергично растолкав его ногой.— Я должен чуть свет добраться до Мичигана и не хочу тревожить хозяев!

Уже сидя на коне и отъехав за двадцать километров от коттеджа, депутат нашел в себе мужество обернуться и отправить по адресу Юноны прощальную речь.

— При создавшейся обстановке,— пробормотал он,— она замуровала бы меня штукатуркой в пять-шесть приемов. Хорош бы я был перед моими избирателями, наглухо замурованный, как какая-нибудь дверь! И хотел бы я знать, как мне удалось бы тогда агитировать против торгового соглашения с Россией!

Глава сорок восьмая

МОРЖ ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Не успели утренние лягушки проквакать гимн солнцу, как уже новый секретарь мистера Мильки появился на террасе и приступил к исполнению своих обязанностей. На столе кипой лежала корреспонденция, только что доставленная по адресу генерального прокурора.

Он механически вскрыл несколько конвертов, пробежал их и стал делать отметки в своей записной книжке. Павел Туск — человек аккуратный. Несмотря на странную печать безжизненности и омертвения, разлитую по всей его внешности, глаза Туска обличают высокую интеллигентность. Он дошел уже до половины своей работы, когда в руках у него очутился небольшой грязноватый конверт, пропитанный табачным дымом. Все с той же методичностью он вскрыл и этот конверт и погрузился было в чтение, как вдруг по лицу его разлилась краска, глаза сверкнули, как у сумасшедшего, мистер Туск вскочил с места и стал искать взглядом звонок. Надо сознаться, что манеры его отнюдь не походили на манеры должностного лица эмигрантского происхождения. Негр, вынырнувший на его звонок, остановился в дверях как вкопанный.

— Эй, послушайте! — начальственным тоном произнес секретарь, держа в руках конверт.— Кто читал у вас до сих пор корреспонденцию мистера Мильки?

— Мисс Юнона,— пролепетал негр, выпуча на него глаза.

— Позовите ее сюда!

— Мисс Юнона принимает молочную ванну,— осмелился доложить негр.

— Позовите ее, когда она будет готова! — сказал секретарь и снова погрузился в письмо.

— Нолла,— сказал негр толстой негритянке, заведовавшей горничными мисс Юноны,— скажи молодой мисси, чтоб она вылезла из молока. Новый секретарь ждет — не дождется ее появления, так и передай.

— Дурень,— ответила негритянка,— ты бы еще назвал молодой ту солонину, которую она отпускает нам на обед!

И, подвязав себе чепчик, она пошла в ванную, где мисс Юнона Мильки мирно покоилась в молоке к сомнительной пользе для себя, но к большому счастью для своих ближних, ибо молоко, как известно, не отличается прозрачностью.

Мисс Юнона была сильно не в духе, но основной чертой этого стойкого характера было умение не сдаваться судьбе ни живой, ни мертвой.

— Ты говоришь, он уехал поздно ночью, не велев никого будить? — переспросила она у своей горничной, приготовлявшей в ступе бальзамическую смесь из сухого гелиотропа, пудры и различных замазок.

— Так оно и было, мисси,— словоохотливо ответила горничная,— конюх говорит, что он будто как плясал в ожидании лошади, вроде горячей кобылки, а потом перемахнул через седло, да и был таков.

— Вот что значит ревность,— задумчиво произнесла мисс Юнона, похрустывая в молоке суставами на манер кастаньет,— никогда не советую тебе, Доротея, рассказывать о своих обожателях новому поклоннику. Это ужасно как действует на их самолюбие.— Она помолчала минуты две и мечтательно произнесла, глядя на потолок: — И мне не следовало при нем так радоваться появлению мистера Туска, совсем, совсем не следовало!

— Мистер Туск просит мисс Мильки выйти к нему как можно скорее,— запыхавшись, произнесла Нолла,

просунув в дверь черную голову,— он сказал Саму, а Сам мне, а я...

Мисс Мильки не дала ей докончить. Бросив торжествующий взгляд в сторону Доротеи, она рассекла млечные волны и вынырнула из них во весь свой рост наподобие Афродиты.

Спустя полчаса рыжая девушка в коротком платье задорно выбежала на террасу.

— Идемте завтракать, дорогой мистер Туск! Дела могут подождать! — вскричала она с пленительной наивностью и повисла на руке секретаря.

Но секретарь проявил необычайное упорство. Он посмотрел на нее проницательным взглядом, протянул ей конверт и сказал:

— Прочитайте письмо и постарайтесь вспомнить, куда вы дели предшествующее, на которое ссылается автор.

Мисс Мильки невольно подчинилась приказу секретаря. Она прочла следующее.

«Неизвестного происхождения, доставлено на собаке, прибывшей из Америки в Кронштадт, и послано адресату капитаном судна «Амелия» ирландцем Мак-Кинлеем».

Вслед за этими крупными каракулями, основательно сдобренными табачным дымом, шло письмо:

«Генеральному прокурору штата Иллинойс

Высокочтимый сэр,

если вы получили мое предыдущее письмо и вынули пакет из моего тайника, вам не безинтересно будет узнать продолжение морлендеровского дела. Я держу в руках все его нити. Я посажен в сумасшедший дом, откуда как нельзя лучше можно следить за главным преступником. Вы поймете меня, если потребуете освобождения из камеры № 132 умалишенного Роберта Друка»

Мисс Мильки нетерпеливо пожала плечами:

— Дорогой мистер Туск, он нисколько не скрывает, что он умалишенный. Я не могу понять, неужели можно придавать значение письмам сумасшедших.

— Но вы получили его первое письмо!

— Ах, какой вы неотступный! Вон в этом сундуке решительно все письма, полученные на имя папаши! Если хотите, берите и разбирайте их до самого дна!

Павел Туск именно так и сделал. Несмотря на депутацию из четырех негров, трижды призывавшую его завтракать, он засел над сундуком и просидел над ним с добрую половину дня. Все его поиски оказались тщетными. Ничего похожего на письмо Роберта Друка там не отыскалось. Тогда он проявил необычайную энергию: велел заложить лошадей и отвезти себя на соседнюю телеграфную станцию, откуда он протелеграфировал в Чикаго от имени генерального прокурора о немедленной высылке ему полного списка нью-йоркских сумасшедших домов. Затем он вернулся в коттедж и принялся сшивать в тетради деловые бумаги и письма.

Когда безмятежного старца после обеда выкатили на террасу, он подсел к нему с таким независимым видом, что в груди мисс Юноны шевельнулось страшное предчувствие: не ставленник ли это самого Дота.

— Любезный сэр,— сказал он старцу деловым тоном,— вы сильно запустили дела. Если разрешите, мы с вами съездим сегодня в город на сессию и дадим ход кое-каким из поступивших на ваше имя жалоб.

— Нне ссегодня, сэр! — жалобно простонал старец, бросая на своего секретаря беспомощный взгляд.— Ссегодня я а-адски занят!

— Масса Мильки ждет сегодня знаменитого моржа, сэр,— вмешался негр Сам, приходя на помощь своему господину.

— Моржа?

— Из Сан-Франциско, сэр. По газетному описанию!

— Ну да,— капризно вмешалась Юнона, становясь в оппозицию к своевольному секретарю,— если мы нанимаем людей, мистер Туск, мы всегда задаем им вопросы, и они отвечают, а вовсе не наоборот!

— Что за морж из Сан-Франциско? — продолжал допытываться неумолимый секретарь отрывистым тоном.

— Морж! — истерически вскрикнула Юнона.— Я прочитала папе в газете, что на берег в Сан-Фран-

циско вышел удивительный морж необычайной толщины и стал страшно лаять. Когда его захотели поймать, он кинулся на своих плавниках прямо в город, пробежал три улицы, залез в аптеку и едва не искусал аптекаря. Папаша, разумеется, захотел купить этого моржа, и мы выписали его от аптекаря наложенным платежом.

— Хорошо же вы занимаетесь государственными делами, мистер и мисс Мильки,— сурово отрезал секретарь, вперив в обоих укоризненный взгляд.— Вот здесь, в портфеле, ждет очереди таинственное убийство вдовы полковника, похищение брильянтов у креолки, пропажа завещания из конторы в Чикаго, два-три дела не меньшей важности. Здесь лежит обвинительный акт против кокаиниста, восемь жалоб на истязание и изнасилование, четыреста неразобранных случаев шантажа и вымогательства, донос на акционерное общество по сплавке бревен по реке Миссисипи, извещение о поимке бежавшего банкрота с двумя миллиардами долларов и, наконец, анонимное письмо о подкупе депутата Пируэта князем Феофаном Оболонкиным, а вы ничего этого не читали и ни о чем этом не заботитесь. Негр! Подать мне перо, чернила, бумагу!

Сам выбежал из комнаты с трясущейся челюстью и через секунду доставил все необходимое.

— Мисс Мильки, пишите!

Неизвестно почему, но мисс Мильки покорно взяла перо и написала под диктовку секретаря следующее:

«Ввиду моего болезненного состояния передаю все свои права по генеральной прокуратуре штата Иллинойс мистеру Павлу Туску».

— А теперь подпишитесь за отца!

Дрожащие пальцы мисс Мильки вывели подпись.

— Так! А теперь занимайтесь моржами, и чтоб вся корреспонденция до моего возвращения не была распечатана!

С этими словами секретарь схватил бумажку, кивнул мисс Мильки и ее отцу и быстро сошел с террасы, направляясь к конюшням.

— Узурпатор! — визгливо крикнула ему вслед мисс Мильки, раскинула руки по обе стороны корпуса, подобно двум веслам над утлой ладьей, и упала в обмо-

рок. Безмятежный старец сидел в кресле, глядя на нее с детским состраданием и тщетно взывая к разбежавшимся неграм.

— Юнни,— произнес он с трудом,— джентльмен прав... Не плачь, Юнни!

Полежав с пять минут, Юнона пришла в себя, взглянула на отца странным помутившимся взором и удалилась к себе в комнату.

Павел Туск проскакал до станции и с экспрессом прикатил в город. Он энергично расследовал с десяток уголовных дел, произнес две речи, провел несколько приговоров, навестил двух-трех заключенных, пообещав им скорое окончание их дела, и кончил тем, что до чрезвычайности понравился судейской публике.

— Вот это так рабочая рука! — шептались у него за спиной, покуда он вел деловые разговоры своим отрывистым тоном.

Был уже вечер, когда он вернулся в коттедж. Взорам его представилась странная картина.

Перед креслом мистера Мильки в цинковом ящике с водой сидел огромный блестящий морж, глядя маленькими умными глазками прямо в глаза старцу. Из полураскрытой глотки его вырывались лающие стоны, плавники безжизненно распластались по стенкам ящика.

— Получили-таки! — без особенного удовольствия сказал секретарь, проходя мимо моржа на террасу.

В ту же секунду морж закинул голову, и воздух огласился таким ужасным, таким раздирающим лаем, что негры упали на землю, пряча лица в колени, а сам мистер Туск почувствовал неприятное стеснение сердца.

— Моржжик сстрадает! — пробормотал мистер Мильки.— Ппомогите ему, сэр!

— Вздор! — отрывисто проговорил секретарь, подходя, однакоже, к моржу. Он пристально оглядел его, приподнял плавники, провел рукой по шее и брюху, и морж сносил это с изумительной кротостью. Внезапно рука секретаря нырнула под воду, и он крикнул неграм:

— Эй! Несите сюда чашку рвотного!

Ворча и спотыкаясь, испуганные негры принесли ему все, что нужно.

— Влейте моржу в глотку!

Но на этот раз магический голос секретаря не возымел никакого действия. Негры попятились друг за друга и остановились шагах в десяти от моржа. Пробормотав ругательство, мистер Туск поднял морду моржа, и свирепое животное без единого протеста проглотило лекарство; потом он, засучив рукав, снова сунул руку в воду и нажал на что-то с такой силой, что по телу моржа прошла судорога.

— Хав! Хав! — пролаял он еще раз и стал корчиться в ужасных муках. Секунда — две — три, и из моржовой глотки показалось что-то блестящее. Еще секунда — оно вылетело наружу, упало на пол и со звоном разбилось у ног мистера Мильки.

— Бутылка! — сказал секретарь, высвободив руку из воды.— А в ней сверток бумаги!

С этими словами он быстро подхватил пожелтевшую пачку листов и унес их в свою комнату, оставив моржа и прокурора в приятном взаимосозерцании.

Глава сорок девятая

ПОЛЬЗА КРОЛИКОВОДСТВА

Ночь.

В окне мисс Юноны таинственный свет. Она пишет что-то, прочитывает и разрывает на мелкие клочки.

В окне секретаря тоже свет. Он только что прочел рукопись под названием:

«Дневник Биска»

и глубоко задумался. Потом вынул конверт с письмом Друка, сшил оба документа вместе, покачал головой и лег спать.

В окне кухни тоже свет. Вся черная прислуга, собравшись вокруг стола, занята обсуждением таинственной личности мистера Туска.

— Переодетый президент,— шепчет Сам убежденным голосом.

— А по мне, это — покойный Вашингтон, вот кто! — вставила свое слово кухарка.— Покойнику-то ведь бояться нечего, у него одна видимость, а тело вроде как из кисеи, вот он и задается. Неужто живой человек стал бы у нас болтаться, когда его что ни час могут оженить? Уж какой был мужчина мистер Дот, а и тот испугался.

В окне мистера Дота тоже свет. Но, заглянув к нему, мы видим, что у него творится нечто совершенно таинственное: свет льется с потолка, один мистер Дот мирно похрапывает на постели, скрытой за ширмой, а другой Дот стоит перед забаррикадированной дверью, подняв рукав, из которого торчит револьверное дуло. Голова этого второго Дота имеет большое сходство с половой щеткой, а из брюк выглядывают две кочерги, обутых в высокие сапоги.

Темно только у безмятежного мистера Мильки. Он спит, окруженный сонмом своих животных, и если б не темнота, мы увидели бы у него на губах блаженную улыбку.

Утренняя почта принесла неутомимому секретарю официальный пакет с печатью. В нем был перечень всех сумасшедших домов Нью-Йорка.

Мистер Туск, быстро покончив с завтраком, развернул список и отметил красным карандашом два адреса: это были единственные дома, где число камер доходило до цифры 132.

Затем он аккуратно сложил салфетку, спрятал корреспонденцию в портфель, вынул блокнот и составил деловое расписание на текущий день. Покончив с этим, он молниеносно повернулся и схватил за шиворот любопытную Ноллу как раз в ту минуту, когда она собиралась пощупать его сзади.

— Какого черта вам от меня нужно? — грозно крикнул он, вперив в несчастную негритянку свои стальные глаза.

— Сэр, простите меня! — бормотала Нолла, трясясь всем телом.— Я только хотела пощупать, сэр, человек вы или призрак?

Мистер Туск выпустил ее, и на лице его не появилось ни малейшего гнева. Черная Нолла клялась позднее на кухне, что лицо это сделалось даже грустным, совсем как у настоящего покойника, обмытого и одетого в саван.

— Да, я, пожалуй, призрак, добрая женщина,— ответил он очень странным голосом и ушел к себе.

Такое подтверждение кухаркиной гипотезы наполнило души негров окончательным и паническим ужасом. Они долго еще совещались и перемигивались друг с другом, встречаясь в коридорах, в кухне и на лестнице,— но странность их поведения осталась скрытой от семейства мистера Мильки, так как Юнона упорно сидела у себя в комнате, а безмятежный старец был лишен средств передвижения.

В городе секретарю сказали торжественным тоном:

— Дорогой мистер Туск, отставка мистера Мильки принята! Вы назначены на его место генеральным прокурором Иллинойса.

— Принимаю, но с условием,— отрывисто ответил Туск, как человек, привыкший приказывать, а не подчиняться приказаниям,— вы дадите мне месячный отпуск, чтоб я мог кой-куда съездить и расследовать одно преступление.

Он тотчас же получил все, что хотел, вплоть до казенной печати, бланков для ареста, всевозможных полномочий и удостоверений. Остаток дня новый прокурор посвятил блистательному обвинению депутата Пируэта, не явившегося на суд, и целому ряду разнообразных дел и опять лишь на закате вернулся в коттедж.

Было еще светло, когда он подъезжал к знакомым воротам. Большая телега, доверху наполненная корзинками, преградила ему дорогу. Возница, рослый мужчина, загорелый как черт, орал во все горло в припадке самого необузданного гнева.

— Чего вы орете? — спросил Туск, подъезжая к телеге.

Мужчина обернулся к нему, красный как кумач, и затопал ногами.

— Я человек казенный, понимаете! Мое время рассчитано до самой что ни на есть секундишки! Я не таковский, чтоб стоять даром полтора часа да надсаживать себе казенную глотку!

— В чем дело?

— Хорошо дело! Безделье, сударь, форменное безделье! Стою полтора часа, чтоб сдать ихних кроликов по адресу, стучу, зову, кричу, топочу, а они будто вымерли. Сидит вон там в кресле какой-то олух, глядит на меня во все глаза, а чтоб ворота отпереть — это ему в голову не приходит, да!

Туск привязал лошадь к дереву, в одно мгновение взобрался на ворота и, осторожно миновав полосу гвоздей, спрыгнул в сад. Он собственноручно открыл ворота и впустил мрачного краснолицего человека, понесшего к мистеру Мильки на террасу превосходно упакованную корзинку с парой великолепных серых кроликов.

— Получайте! — сказал он злобно.— Нехорошо это с вашей стороны, я человек казенный, через меня могут выйти казне очень даже чувствительные убытки.

— Этто нне мои кролики, сударь! — кротко пробормотал мистер Мильки.

— Как это не ваши, сэр! — в бешенстве крикнул возница, доставая из-за пазухи письмо.— Выставочный комитет по животноводству поручил мне, сэр, обратную перевозку кроличьих экспонатов штата Иллинойс. Каждая корзинка адресована в свое место, а на вашей, сэр, даже целый конверт. Я казенный человек, мне, сэр, не к лицу ошибаться!

Он бросил на колени старца письмо, сердито мотнул головой и удалился, злобно нахлестав свою лошадь спереди, сзади и по бокам.

Мистер Туск спокойно запер ворота, поднялся на террасу и хотел было спросить у старика, куда попрятались черные слуги, как взгляд его упал на белый конверт.

«Генеральному прокурору штата Иллинойс».

— Мистер Мильки,— сказал Туск, взяв письмо,— ваша отставка принята, и я беру у вас это письмо уже не только по праву секретаря,— я назначен генеральным прокурором штата Иллинойс.

Он поклонился старику, не дождавшись его ответа, и быстро прошел к себе. Здесь он разорвал конверт, развернул письмо и прочитал следующие строки:

«Главному прокурору штата Иллинойс от доктора Лепсиуса, кавалера ордена Белого знамени, почетного члена Бостонского университета.

Высокочтимый господин прокурор.

Не так давно в газетах было напечатано, что вы являетесь национальной американской гордостью по части раскрытия таинственных преступлений. В заметке было сказано, что Нат Пинкертон, Ник Картер и Шерлок Холмс являются перед вами не чем иным, как простыми трубочистами. Я взываю к вам о помощи в одном чрезвычайно странном деле. Вы слышали, что в России был убит большевиками Иеремия Морлендер. Есть основание думать, что он убит отнюдь не теми лицами, кого обвиняют официально. В настоящее время исчез Артур Морлендер, его сын, хотя домашние скрывают его исчезновение. Во имя справедливости и для спасения жизни молодого человека займитесь этим загадочным делом.

Честь имею, высокочтимый
и т. д., и т. д., и т. д.»

Стальные глаза мистера Туска потемнели. Во мгновение ока он кинулся к столу, где лежали его бумаги и немногочисленные пожитки, приобретенные им в городе. Быстро взглянув на часы, он стал поспешно укладываться, сортируя и приводя в порядок пакеты, завязывая их и складывая в портфель.

Пока он занят этим делом, мы навестим мисс Юнону, безвыходно сидящую у себя уже вторые сутки.

Мисс Юнона Мильки встала с кровати, где она лежала одетая, и поглядела в окно. Спускались сумерки.

Странная тишина стояла в саду, на террасе, в доме. Не слышно было ничьих шагов, не доносилось ни единого человеческого голоса. Мисс Мильки вздрогнула и повела плечами.

К ней никто не входил с самого утра. Кухарка не явилась с отчетом о своих приготовлениях. Конюх и садовник не принесли ключей. Горничные исчезли все до одной. Нолла ни разу не просунула в дверь свой чепец, а Сам не зашел сообщить о здоровье старого барина.

Мисс Мильки была голодна. Она была, кроме того, удивлена и напугана. Постояв с минуту, она подошла к зеркалу, накинула на плечи платок и решительно двинулась к выходу.

Безмятежный старик тихо сидел в кресле, ласково глядя в круглые глаза серых кроликов, протягивавших к нему свои мордочки сквозь прутья решетки. Признаться, ему было довольно-таки холодно и голодно. Кроме утреннего завтрака, никто не принес ему ничего, не подходил перекладывать его и убирать за ним, не укутал его вечером пледом. Он не успел пожаловаться мистеру Туску на странный порядок, установившийся у него в доме, и сейчас терпеливо сидел, утешаясь зрелищем хорошеньких зверьков.

Вдруг чья-то рука легла ему на плечо, и голос, в котором он едва узнал голос своей дочери, испуганно произнес:

— Папа, дорогой, неужели вы сидите тут с утра?

— Как всегда, Юнни,— кротко ответил старик.

— Я разумею, папа, что вы сидите без всякой помощи. Бог ты мой, неужто они вас сегодня не накормили?

— Я завтракал утром, Юнни!

Мисс Мильки вскрикнула, сама сдвинула кресло старика и вкатила его в столовую. Потом она опрометью бросилась на кухню, растопила печь, приготовила теплое питье и еду и стала кормить своего отца как малого ребенка, приговаривая между делом:

— Все они сбежали от нас, папа! Я видела их комнаты,— они унесли все свои вещи. Понять не могу, что это такое с ними случилось.

Мистер Мильки ел, надо сознаться, с исключительным аппетитом и широко открытыми глазами смотрел на свою дочь, словно видел ее впервые. Оба они до такой степени занялись друг другом, что прослушали твердые шаги бывшего секретаря и заметили его только тогда, когда он остановился посреди столовой с портфелем и чемоданом в руках и шляпой на голове.

— Я должен немедленно ехать,— начал он отрывисто и вдруг вскрикнул. Взгляд его упал на мисс Мильки... но какая это была мисс Мильки!

Перед ним стояла пожилая высокая женщина в домашнем платье, с измученным лицом и клочком седых волос, собранных на затылке. Она не отвела лица от взгляда Туска и просто произнесла:

— Нас покинули все слуги, мистер Туск. Мы с папой остались одни во всем коттедже.

Мистер Туск положил чемодан и портфель на стул, снял шляпу, протянул ей руку и сказал тоном, каким еще ни разу с ней не говорил:

— Здравствуйте, мисс Мильки, мы с вами сегодня не виделись. Не беспокойтесь, я останусь здесь на ночь, а завтра мы что-нибудь да придумаем. Боюсь, что они сбежали, напуганные моей особой.

Глава пятидесятая

ЭМИГРАЦИЯ ВОРОН, ИЛИ ЧЕГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ, СИДЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ

Рано утром мистер Туск встал, спустился вниз и критическим оком обозрел все хозяйственные задачи, связанные с необходимостью обитания в коттедже. Он был далеко не сентиментален и отнюдь не стал повязывать себя фартуком, колоть дрова, топить печь, резать кур и прочее, как это сделал бы на его месте джентльмен, взятый напрокат из какого-нибудь романа. Мистер Туск был человеком дела. Он закурил папи-

росу, вышел из коттеджа и резкими шагами перешел расстояние, отделявшее жилище мистера Мильки от фермы Дота.

На его стук никто не отозвался. Туск постучал еще два-три раза с тем же результатом, а потом поднялся на обе руки, упертые им в заборную перекладину, и довольно-таки ловко перебросил себя по ту сторону границы.

Ферма Дота поражала своей пустынностью и заброшенностью. По двору сонно бродили индюшки и поросята, дорожки сада поросли травой, огород служил местом раскопок большого петуха, сопровождаемого десятком кур. Дом был наглухо заколочен и, повидимому, погружен в крепкий сон.

Туск попытался проникнуть в дверь, но, когда это не удалось, пожал плечами и осуществил свое намерение через окно. Он очутился в передней, где спали на циновках человек двадцать слуг, испуская пронзительный храп. Не успел он дотронуться до одного из них, как проснулись все двадцать, вскочили с места и замахнулись на него дубинками.

— Стоп! — отрывисто произнес Туск, скрестив руки на груди.— Я новый прокурор штата Иллинойс. Трусы сбежали от мистера Мильки, и ваш брат отлично знает, куда они делись. Пусть один из вас немедленно догонит их и вернет. Поняли?

Слуги сбились в испуганное стадо и тряслись, как перепела.

— Масса Дот поколотит нас,— дрожащим голосом промолвил один.

— Ничего не поколотит, я сам с ним объяснюсь. Ну — раз, два, три! — И когда один из негров опрометью вылетел из передней, мистер Туск хладнокровно направился к главной крепости фермы — к двери самого Дота. Убедившись, что она заперта, он забарабанил в нее сперва руками, а потом ногами.

— Кто этот нахал, что стосковался по пуле? — загремел Дот.— Пусть-ка он покажет мне свое лицо, чтоб я превратил его в хорошую яичницу с помидорами!

— Новый прокурор штата Иллинойс,— спокойно ответил Туск.

За дверью водворилась тишина, потом щелкнул ключ, босые ноги затопали в глубине комнаты, и Дот слабым голосом предложил Туску «пожаловать к нему».

Туск не заставил себя долго просить и наткнулся первым делом на живописную статую Дота, устремившую на него из пустого рукава револьверное дуло. Пройдя комнату, он усмотрел второго Дота, черноусого мужчину с добродушным лицом, под одеялом, на собственной кровати.

— Сядьте, сэр,— сказал он вежливо,— и если хотите курить, вон там превосходные гаванны. Не удивляйтесь моему поведению. Когда несчастный и слабохарактерный человек, подобный мне, доведен до белого каления, он утрирует, сэр, все человеческие приемы самозащиты.

— Кто вас довел до белого каления? — сухо спросил Туск, закурив сигару.

— Рыжий бесенок шестидесяти лет, сэр, задумавший женить меня на себе.

— Не знаю ничего похожего на сорок миль вокруг,— отрезал Туск, пуская ароматичные кольца с видом заправского курильщика.— Я пришел к вам, мистер Дот, по важному делу. Слуги соседнего коттеджа сбежали, оставив на произвол судьбы разбитого параличом старика и почтенную пожилую леди, его дочь. Я послал одного из ваших за ними вдогонку, а вас прошу немедленно отправить к ним на помощь половину ваших людей. Сказать по правде, я и сам бы на вашем месте отправился к ним, тем более что мое личное пребывание в этой симпатичной семье, к сожалению, заканчивается

Дот слушал, выпучив глаза. На лице его выступила краска:

— И рыжий бесенок не собирался вас околпачить, сэр? — пробормотал он растерянно.

— Повторяю,— резко ответил Туск,— я не встречал никого похожего на ваши слова. Пожилая леди, хозяйка коттеджа, достойна всяческого уважения. Одевайтесь!

Совершенно ошеломленный, Дот подчинился, как подчинялись и все, суровому голосу незнакомого джентльмена. Он надел все части своего туалета по по-

рядку, сполоснул лицо, глотнул из бутылки, взял шляпу и угрюмо произнес:

— Ну так идем, черт побери меня за хвост и голову!

Это странное пожелание мистера Дота не вызвало со стороны невозмутимого Туска ни малейшего протеста. В передней они наткнулись на оцепеневших слуг, и Дот скомандовал половине из них идти вслед за ними.

Между тем в коттедже началось хозяйственное оживление. Мисс Мильки выкатила своего отца на террасу, сварила ему яйцо и только что приступила к его кормежке, как рука ее сильно задрожала, а лицо побледнело.

Двое мужчин быстрыми шагами, со шляпами в руках, приблизились к террасе и отвесили ей по низкому поклону.

— Мистер Дот пришел просить вас, дорогая мисс Мильки, принять его посильную помощь в деле возвращения слуг,— сказал Туск доброжелательно, проталкивая вперед оторопелого арканзасца с остановившимися глазами, выпученными на то, что сидело взамен рыжего бесенка.

— Благодарю вас, сэр,— смущенно ответила пожилая леди,— я все-таки справилась с утренним кофе. На вашу долю тоже заварено, и, если мистер Дот не откажется позавтракать, я налью чашечку и ему.

Она с достоинством кивнула обоим мужчинам и собственноручно принесла из кухни завтрак.

Спустя полчаса мистер Дот, освоившийся с новым положением вещей, развивал свою теорию о том, как можно в кратчайший срок добиться новой породы индюшек, а его негры занялись хозяйственными работами в коттедже.

— Мне пора ехать,— не без сожаления произнес мистер Туск, взглянув на часы,— я оставляю вас, друзья мои, на месяц, чтобы... это что такое? — последнее восклицание мистера Туска относилось к утреннему небу, внезапно потемневшему, как перед солнечным затмением.

Все вскинули глаза кверху и повскакали с мест. Огромная черная туча надвигалась на их коттедж. Она ползла, закрывая горизонт и спускаясь все ниже и

ниже. Вскоре из тучи посыпались странные звуки, напоминавшие раскаты хохота.

— Вороны! — закричал Дот.— Мы погибли! Они снижаются, они засыплют все наши огороды, поля, сады! Стучите, кричите, бросайте в них камнями! Люди, сюда, сюда!

Он неистово заорал на ворон, бросая в них чашкой, тарелкой, шапкой, стульями, зонтиком мисс Мильки — всем, что только попадало ему под руку.

— Ничего! Нничего! Нне ббойтесь, друзья мои,— лепетал безмятежный старец, спокойно глядя на ворон.— Птички!

— Хороши птички! — взвизгнул Дот.— Поймите вы, безумный человек, что это наше разорение! Их больше, чем саранчи! Ни за что на свете нельзя допустить их снизиться! Туск! Черт возьми, да куда же вы делись?

Мистера Туска среди них уже не было.

— Он побежал в коттедж,— прошептала Юнона.

Дот сорвал скатерть и, вскочив на стол, принялся неистово ею размахивать в воздухе. Слуги, сев на корточки, устроили настоящий кошачий концерт. Они выли, визжали, скулили, свистели, били в импровизированные барабаны. Животные безмятежного старца подняли адскую кутерьму: сука лаяла и кидалась в воздух с ощетинившейся шерстью, попугай раз сто подряд раздирающим голосом вопил «гудбай», морж стонал, как исступленный, но ничто не помогало: вороны все снижались да снижались.

Первые из них, отделившиеся от тучи, были уже отчетливо видны. Страшное карканье и свист от взмахов крыльев переполняли воздух. Дышать было трудно от ветра и запаха перьев; еще десять — пятнадцать минут, и страшное черное полчище обрушилось бы на коттедж.

В эту минуту на террасе появился Туск. Он держал в руках ружье, поднял его и выстрелил по воронам.

Бац-бац-бац...

Туча дрогнула, края ее рассыпались в разные стороны черным кружевом. Секунда, и полчище ворон стало снова подниматься, держа свой путь в направлении Чикаго, а сверху, кружась и белея, что-то начало падать вниз.

— Я стрелял холостыми зарядами,— отрывисто произнес Туск,— у добрейшего мистера Мильки в целом доме не нашлось ничего похожего на пулю. Ай, что это падает?

Медленно кружась в воздухе, сверху продолжало падать нечто, покуда на коленях у старца не лег плотный белый конверт

Туск быстро схватил его, издал восклицание и, отойдя в сторону, без всяких разговоров распечатал свою находку.

Он прочитал следующее:

«Генеральному прокурору штата Иллинойс.

Господин прокурор.

Опасаясь за свою жизнь, прошу вас быть начеку. Я держу в руках нити загадочного происшествия. Если меня убьют или я исчезну, прошу вас немедленно вынуть конверт из тайника в моей комнате на Бруклин-стрит, 8, двенадцатый паркетный кусок от левого окна, прочитать его и начать судебное расследование. Пишу именно вам, а не кому другому, так как вы отличаетесь любовью к уголовным тайнам.

Стряпчий *Роберт Друк»*.

— Последнее звено! — пробормотал Туск со странной улыбкой и, вытащив из портфеля пачку бумаг, быстрыми шагами подошел к столу.

— Друзья мои! — воскликнул он повелительным голосом.— Прежде чем мне уехать, выслушайте несколько слов. Эй, негры! Лучших бутылок из погреба и стаканы!

Изумленное общество, только что оправившееся от вороньей угрозы, не возражая, приняло по бокалу хорошего шампанского. Дот влил безмятежному старцу в рот его порцию. Все глаза устремились на Туска.

— Друзья мои! — повторил он с бокалом в руках.— В первую ночь моего пребывания я услышал в саду, не станем говорить от кого и как, подробную историю некоей шутки. Дело шло о дружеском фельетоне относительно детективных способностей присутствующего здесь мистера Мильки Шутка хотела быть только шут-

кой. И что же? Беспомощный старец, скованный страшным недугом, не двигаясь с места, ничего не читая, ни о чем не зная — распутал самое таинственное преступление нашего века! Да, мои милые друзья, вот в этой пачке собраны почти все звенья страшного дела, раскрытие которого навеки прославит имя мистера Мильки. И знаете ли вы, чем он достиг такого результата? Любовью к животным, черт возьми! Мистер Мильки отдал бессловесным тварям все свое сердце. Он любит их с нежностью, достойной подражания. И что же мы видим? Первое звено этого дела доставляется ему на собаке,— мистер Туск потряс в воздухе конвертом,— второе звено извергается к его ногам из желудка моржа,— мистер Туск потряс в воздухе пачкой желтых листов,— третье звено приезжает к нему на корзинке с кроликами,— мистер Туск махнул вторым конвертом,— и, наконец, четвертое и последнее доставляется ему великим переселением ворон!

Мистер Туск поднял последний конверт и бокал.

— Выпьемте, друзья мои, в эту прощальную минуту за здоровье достойного мистера Мильки и его бессловесных любимцев, а также за торжество справедливости, которая добивается своего, джентльмены, через посредство всего живого и мертвого!

С этими словами Туск осушил свой бокал, поклонился и вскочил с чемоданом и портфелем в поджидавший его кабриолет.

Глава пятьдесят первая

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШТАТА ИЛЛИНОЙС В ПОИСКАХ ДРУКА

Экспресс доставил Туска в Нью-Йорк без четверти девять утра. Спустя несколько минут он уже был на Бруклин-стрит, 8, и поднимался по лестнице в квартиру бывшего стряпчего Роберта Друка.

На его стук долго не отворяли. Наконец, раздалось кряхтение, и старушка в чепце приотворила дверь.

— Проведите меня в комнату вашего сына,— отрывисто произнес пожилой джентльмен, снимая шляпу и входя в кухню,— я намерен у вас остановиться.

— Великий боже, сэр! — воскликнула старушка.— Вы не агент полиции?

— Я друг вашего сына,— ответил гость, положил чемодан и шляпу на стул и сделал движение, чтоб пройти дальше.

— Был тут один такой,— задумчиво ответила старушка,— только он был, сэр, весь голый, за исключением чресел, как говорится в библии, и сверху донизу вымазан дегтем. «Я друг-приятель вашего сына,— сказал он мне и скушал, бедняжка, кусочек пуддинга,— даром что, говорит, в таком виде». Уж не вы ли это, переодевшись и помывшись?

— Я самый,— спокойно ответил Туск и проследовал внутрь квартиры.

Старушка провела его в комнату Боба, где все сияло чистотой и, казалось, поджидало своего хозяина. По пути она сообщила ему, что со дня смерти своей кошки Молли она замкнулась в своем горе и, если он согласен, может разомкнуться для него на часок-другой, между растопкой печки и варкой обеда.

— Не размыкайтесь! — перебил ее Туск.— Кроме того, у вас нет причин для горя. Роберт Друк жив, он через месяц, а может быть, и через день, будет дома.

Старушка вскрикнула. Но Туск в свою очередь замкнулся перед самым ее носом и, оставшись в запертой комнате, немедленно приступил к делу. Он нашел левое окно, отсчитал паркетные плиты, пустил в ход перочинный нож. Паркетная плита была вынута безо всякого труда, а под ней лежал конверт, на котором было написано:

Тайна Иеремии Морлендера

Туск схватил его, распечатал и, сев в кресло возле окна, погрузился в чтение. Рукопись оказалась отрывочными записями стряпчего Друка. Мы приводим ее, выпустив несущественные подробности:

«Сегодня старый Морлендер приезжал в контору. Он советовался с Крафтом. Лицо его было порядком взволновано. После занятий патрон позвал меня в кабинет и сказал:

— Боб, вы честный и умный парень. Я хочу оказать вам доверие. Вот завещание мистера Морлендера, где он делит все свое состояние поровну между сыном и миссис Ортон, а на случай ее кончины — мисс Вивиан Ортон и другими детьми миссис Ортон, буде они родятся. Последнее открытие свое он завещал сыну, чтоб сын его употребил чертежи на пользу американского народа и всего человечества. Копию я оставляю у себя. Оригинал вручаю вам, и вы его храните, как зеницу ока.

Я удивился, однако выполнил в точности волю патрона. После этого Иеремия Морлендер уехал по командировке Кресслинга в Россию. Получили письмо от миссис Ортон, где она выражает тревогу о состоянии здоровья Морлендера и спрашивает нас, где он находится. Патрон написал ответ.

Новостей никаких.

Новостей никаких, кроме странных слухов о том, будто бы Морлендер перед отъездом женился на миссис Элизабет Вессон. Патрон принес кипу русских газет и долго совещался о чем-то с переводчиком. Меня не посвятили в дело.

Недоволен патроном: он явно держит меня в резерве. Решил сам заняться расследованием. Целую неделю вынюхивал, кто такая Элизабет Вессон. Узнал странные вещи: она — личный секретарь Джека Кресслинга. Начал розыски с другого конца. Миссис Ортон, о которой говорится в завещании,— машинистка в конторе того же Кресслинга.

Новостей никаких.

Новость потрясающая! Миссис Ортон скоропостижно умерла.

Сегодня патрон удивил меня своею нервозностью. Дергался, оглядывался по сторонам, бледнел. Пожаловался мне, что видит плохие сны и начал бояться смерти, чего с ним раньше никогда не было. Я посоветовал взять недельный отпуск и проехаться в Атлантик-Сити.

Он согласился со мной, хочет только дождаться приезда Морлендера.

У нас в конторе штурм и дранг! Старый Морлендер приехал, но мертвый, в цинковом гробу. Просто не верится этому. Его убили где-то в России большевики. Патрон мрачен, как туча.

Патрон умер! Автомобиль попал под трамвай, шофер жив, патрона раздавило. Наша контора закрыта на три дня.

На место Крафта назначен ликвидатором какой-то итальянец, синьор Грегорио, он рассчитал всех наших клерков и посадил своих. Я оставлен впредь до сдачи дел. Прислали новое завещание Морлендера, завтра увижу.

День потрясающий! Роберт Друк, ты — свидетель преступления! Держи язык за зубами! Дело по порядку такое: я видел завещание, привезенное из России. Оно аннулирует все предыдущие и передает капитал Морлендера целиком миссис Элизабет Вессон, а чертежи изобретения — Лиге империалистов. Мисс Ортон, молодой Морлендер — оставлены на бобах. Но дело-то в том, что подпись Морлендера подделана самым явным образом. Я мог бы доказать это, если б захотел. Но я боюсь начать дело неизвестно против кого. Упрятал старое завещание в тайник. Решил ждать каких-нибудь наследников Ортон или Морлендера, чтоб начать дело вместе с ними. Грегорио рвет и мечет в поисках старого завещания. Я веду себя как сознательный олух. Этот синьор мне очень не по вкусу. Не знаю наверное, но думаю, что он не без прибыли в этом деле.

Сегодня в контору приходила горбатая девушка, назвалась мисс Ортон. Она поглядела на меня, сняв вуальку,— более красивого лица в жизни моей не видал. Спросила патрона. Я сунул ей свой адрес. Синьор Грегорио ее принял и вел себя весьма подозрительно, клерк звонил куда-то по телефону. Боюсь, что он догадался, что это — наследница и что она может оспорить новое завещание. Жду ее сейчас к себе».

На этом месте рукопись прерывалась. Мистер Туск глубоко вздохнул и несколько минут сидел в полной неподвижности. Потом он развернул записную книжку,

прочел два адреса: «Нью-Джерсей, 40» и «Береговое шоссе, 174»; взял свой портфель, уложил туда прочитанную рукопись и вышел.

— Миссис Друк,— сказал он старушке,— я вернусь к обеду. Никому ни единого слова о моем приезде. Никого не пускайте в квартиру.

Спустившись вниз, он нанял автомобиль и велел ехать в Нью-Джерсей, 40. Через два-три квартала они остановились у элегантного здания со швейцаром, лифтом и золоченой решеткой. Туск зашел туда, навел справку и через минуту вышел снова.

— Береговое шоссе, 174,— отрывисто сказал он шоферу.

Теперь они помчались вон из города. Блестящие многолюдные улицы одна за другой отлетали направо и налево. Надвигалось пустынное шоссе, с мрачными, редкими постройками, окруженными садами, с бесконечными заборами и огородами. Прохожих становилось все меньше и меньше. Наконец, автомобиль свернул в сторону, въехал на асфальтовый двор и остановился у мрачной черной решетки, за которой расстилался парк.

— Ждите меня здесь. Если не дождетесь, поднимите тревогу. Я генеральный прокурор штата Иллинойс,— повелительно сказал он шоферу, спрыгивая на землю.

На звонок мистера Туска дверь приотворил высокий мужчина в белом фартуке, с лицом, изрытым оспой.

— Что надо? Приема нет! — грубо крикнул он, не снимая цепочки.

Туск махнул в воздухе своим документом:

— Сию минуту впустить меня! Я генеральный прокурор, посланный сюда ревизовать сумасшедшие дома.

— Директора нет в Нью-Йорке, сэр,— в замешательстве ответил мужчина,— я имею приказание не пускать никого до его приезда.

— Государство назначило ревизию как раз в отсутствие директоров,— невозмутимо ответил Туск, пристально глядя на привратника,— впустите, пока я не свистнул полицейского.

Сильно побледнев, привратник снял цепочку.

Туск быстро вошел, нащупал свой револьвер и пропустил вперед высокого мужчину. Тот нехотя повел его вдоль тусклых, мрачных коридоров, в которые выходили бесчисленные двери. Из-за дверей несся дикий вой, плач и исступленные крики несчастных, от которых в жилах менее спокойного человека остановилась бы кровь. Но Туск шел, как ни в чем не бывало, приказывая открывать камеры и заглядывая в них бесстрашным оком. Он видел истязуемых, умирающих, катающихся в корчах, видел оцепеневших и глядящих в одну точку, видел пляшущих — пожалуй, более страшных, чем первые. Но самыми потрясающими были странные, бледные, бритые люди, сидевшие, как сторожевые собаки, на цепи, ввинченной в стену. У одного из них был вырезан язык.

— Я здоров,— шепнул мистеру Туску бледный человек на цепи,— меня здесь держат родственники, расследуйте мое дело.

— Все они так говорят! — прорычал привратник, покосившись на несчастного с дикой ненавистью.

Туск спросил имя и фамилию пленника, занес в свою книжку, вышел в коридор и пристально поглядел на привратника:

— Вы показали мне все камеры?

— Все! — отрезал мужчина.

— Вы лжете! Ведите меня в сто тридцать второй номер!

— Там сидит личный родственник директора, мы за него отвечаем,— пробормотал привратник, становясь из бледного красным, а из красного фиолетовым.

Туск уставился на него повелительно, и мужчина побрел вперед неверной походкой. Они вышли на лестницу и стали спускаться вниз. Один, два, три этажа. Стены стали сочиться сыростью, на лестнице стоял отвратительный запах плесени, лампочки горели тускло. Глубоко внизу шел еще один коридор со странными нишами. Здесь царствовало безмолвие. Ни единого звука не доносилось ниоткуда, кроме тихого шелеста воды по стенам. Шаги гулко отдавались в ушах. Привратник загремел ключами и с большим трудом отпер тяжелый железный замок.

Камера № 132 была темным, сырым погребом. Свет проникал через коридорное окно. В углу на соломе, скорчившись, спал узник.

Привратник направил на него свет фонаря, спящий человек зашевелился, вскочил, повернул к мистеру Туску бескровное лицо и дико вскрикнул.

— Не бойтесь, я генеральный прокурор штата Иллинойс! — отчеканил мистер Туск, подойдя к нему вплотную и пристально на него глядя.— Я получил ваше письмо. Расследование начато. Одевайтесь, я беру вас с собой!

Привратник уронил на пол ключи.

— Профессор убьет меня! — пробормотал он дико.— Я не выпущу этого человека, будь вы хоть сам президент

— Поворачивайтесь, милейший! — крикнул Туск, направляя на него свои серые глаза.— Что это еще за чепуха! Выдать одежду мистера Друка, раз, два, три!

Через десять минут Туск и Роберт Друк, как ни в чем не бывало, вышли из дверей сумасшедшего дома и уселись в автомобиль, к великой радости перепуганного шофера.

— Ну,— отрывисто сказал Туск, когда они тронулись,— я вас слушаю, Друк.

Глава пятьдесят вторая

ДОКТОР ЛЕПСИУС В ПОИСКАХ ПРОФЕССОРА ХИЗЕРТОНА

Мисс Смоулль сидела на корточках, а мулат Тоби у нее на плечах. Они отнюдь не показывали акробатического номера. Целью их была замочная скважина, ведшая в кабинет доктора Лепсиуса.

— Сидит,— бормотала мисс Смоулль, роняя слезы,— сидит, наш голубчик, на том же месте с самого утра. Не кушает, не звонит, не ходит, не ругается, господи боже мой, я прямо разрыдаюсь.

Она не успела привести свою угрозу в исполнение, как Лепсиус неожиданно бросился к дверям, распахнул их и опрокинул живую пирамиду в обратном порядке, так что мисс Смоулль очутилась на плечах у Тоби.

— Автомобиль! — рявкнул он.— Тоби! Звони шоферу!

Вслед за этим он метнулся обратно, схватил шляпу, перчатки и трость и кубарем слетел с лестницы. Лицо его было красно. Глаза сверкали решимостью. Он обдумал план вторжения к профессору Хизертону.

— Университет! — приказал он шоферу, садясь в автомобиль.

Через десять минут он был на месте. Войдя в канцелярию, он осведомился, в какой аудитории читает Хизертон. Служитель удивленно посмотрел на Лепсиуса.

— Как, сэр, разве вы не знаете, что профессор командирован на съезд психиатров в Петроград?

— Он уже выехал? — вырвалось у Лепсиуса

— Вероятно. Впрочем, вы можете осведомиться у него на дому: Береговое шоссе, сто семьдесят четыре.

Лепсиус записал адрес и снова прыгнул в автомобиль.

— Береговое шоссе, сто семьдесят четыре! — крикнул он шоферу.

Снова пустынная улица, чем дальше, тем мрачней и безлюдней. Снова черная решетка у ворот жуткого дома, закупоренного и безмолвного, как если б все живое окостенело в нем на манер музейных чучел.

Лепсиус резко дернул звонок. Рябой привратник, весь белый от бешенства, высунул нос из-за решетки.

— Убирайтесь к черту! — заорал он, разглядев Лепсиуса.— Приема нет! Убирайтесь, а не то спущу собаку!

— Друг мой,— шепотом произнес доктор,— я должен передать профессору Хизертону важную вещь. Дело идет о спасении его жизни.

— Поздно,— угрюмо ответил привратник,— директор уехал на съезд в Россию, а сегодня была ревизия. Все дочиста записали и увели из камеры сто тридцать два...

— И все-таки еще не поздно. Речь идет о том, что

знает один только Хизертон. Я его самый близкий друг. Он поручил мне в случае чего обратиться к вам. Если вы хотите спасти собственную шкуру, придумайте, как мне его догнать.

Привратник уставился на Лепсиуса подозрительно.

— Как ваше имя?

Лепсиус поперхнулся.

— Олеумрицини! — пробормотал он первое, что пришло на язык.

В ту же секунду лицо привратника прояснилось. Он снял цепочку и почтительно произнес:

— Войдите, сударь, войдите! Как видно, вы тоже будете итальянец?

— Разумеется,— пробормотал Лепсиус, входя вслед за ним в мрачное жилище смерти. Но рябой повел его совсем не туда, где был только что Туск. Он отворил маленькую дверь и впустил Лепсиуса в блестящий докторский кабинет, сияющий безукоризненной чистотой.

— Сядьте, сударь, сядьте, я сейчас позову нашу секретаршу, она обмозгует дело.

Лепсиус сел, чувствуя себя крайне плачевно. Он знал по-итальянски не больше десятка слов. Что, если секретарша заговорит с ним на этом языке? Не в силах сидеть, он опять вскочил и прокатился раза два по кабинету, утирая с лица холодный пот. Вдруг взгляд его упал на превосходные картины, развешанные по стенам, и в ту же секунду он почувствовал, что за ним наблюдает пара черных глаз.

— Питореско э... э каскаро саграда! — пробормотал он, не отводя глаз от картин.— Рома Акрополи. Мультатули!

Поток его восхищений был прерван чистой английской речью.

— Здравствуйте, сэр!

Перед Лепсиусом стояла уже немолодая брюнетка с лицом, до странности похожим на кого-то, кого он знал очень хорошо... но кого? Черт побери, как ни напрягал он своей памяти, он не мог припомнить.

— Я восхищался картинами, хотя душа моя в полном хаосе и смятении,— смущенно пробормотал он, идя навстречу секретарше,— дорогая мисс или миссис...

— Мисс Кроче. Как итальянка, я понимаю ваш восторг, сэр, но, к сожалению, не знаю родного языка. Что привело вас к профессору?

— Синьорина Кроче,— зашептал Лепсиус, выкатывая глаза из орбит и, насколько это возможно, стремясь достичь максимальной экспрессии,— я его близкий друг. Мы затеяли вместе одно важное дело... одно тайное дело чрезвычайного значения. Оно сорвалось. Если профессор не примет меры, его уберут с пути. Я должен во что бы то ни стало догнать его и предупредить.

Мисс Кроче стала серьезна:

— Опасность грозит ему в Петрограде?

— Именно, именно!

— В таком случае, дорогой сэр, я немедленно устрою вам все документы, и вы завтра утром сядете на пароход.

— Чудесно,— воскликнул Лепсиус.

— Ах, произнесите это по-итальянски! — мечтательно проговорила мисс Кроче, закрывая глаза.— Мне так отрадно слышать родную речь.

— Хипероксидато! — улыбаясь, повторил Лепсиус. Он чувствовал себя как на рельсах, и тревога его улеглась.

— Но только, сэр, до отъезда вам нельзя больше показываться в городе. Мы спрячем вас у себя до самого утра.

— Меня ждет автомобиль,— попытался Лепсиус протестовать.

— Вот и отлично! Передайте шоферу, что вы уезжаете и чтобы вас не ждали дома.

Лепсиус сошел вниз к шоферу. Доверчивые лица привратника и мисс Кроче выглядывали из дверей.

— Передай Тоби и мисс Смоулль, что я уехал на три недели! — величественно сказал Лепсиус шоферу и повернул обратно.

Когда автомобиль скрылся, рябой привратник с грохотом запер дверь.

— А теперь...— произнесла мисс Кроче, обращаясь к слуге,— брось эту жирную свинью в камеру сто три-

дцать два и мори ее голодом до тех пор, пока она не признается, какая шпионская шайка ее подослала!

В ту же минуту ошеломленный Лепсиус был схвачен за шиворот, и железные руки привратника потащили его по страшному коридору. Как сквозь сон слышал он визг, вопли и стоны, как сквозь сон видел мрачные мокрые стены, вдоль которых влекли его вниз да вниз, пока не всунули в страшный полутемный склеп, где и бросили на солому.

Привратник дьявольски расхохотался, захлопнув железную дверь, и шаги его смолкли. Лепсиус остался один.

— Дурень! Дурень! Махровый дурень! — шептал он самому себе, остервенело дубася себя в лоб.— Сиди теперь, капуста, клюква, редиска, сиди околевай!

Злоба на самого себя спасла доктора Лепсиуса от беспробудного отчаяния. Израсходовав на нее весь запас своей нервной энергии, он стал вяло раздумывать о том, что́ предпринять. Как только глаза его освоились с сумерками, он разглядел низкий и страшный склеп, его окружавший. Стены сочились от сырости. Только в одном углу, возле соломы, было сухо, и Лепсиус, начиная чихать и дрожать, забился в этот угол. Коснувшись ладонью стены, он почувствовал, что она вся в зазубринах и выемках. Лепсиус вытащил свой докторский электрический фонарик, счистил солому и нагнулся к стене. Каково же было его изумление, когда он прочитал великолепно выгравированное письмо:

«Моему преемнику.

Подними ближайшую к стене плиту ножом, который оставляю под соломой. Спустись. Копай на пол-аршина ниже. Увидишь отверстие. Если ты наблюдатель, открывай секреты. Если ты трус, пытайся удрать. И в том и в другом случае благодарно помяни знаменитого

Боба Друка».

— Это мне нравится! — сказал себе Лепсиус.— Здесь был, повидимому, человек с очень крепкими нервами. Попробуем!

Он порылся в соломе и без труда нашел нож, которым осторожно поднял плиту. Под ней оказалось земляное отверстие, очевидно прокопанное его предшественником. Он сунул туда ноги с такими телодвижениями, как если б лез в холодную воду. Пол был недалеко. Спустившись в яму, Лепсиус стал рыть землю. Он рыл как крот и довольно скоро дошел до отверстия шириной с человеческую голову, а длиной с аршин. Оно было обложено каменной рамой, и сквозь него что-то слабо светилось. Лепсиус опустил над своим тайником плиту, чтобы его не открыли, и, скрючившись в земляной норе, принялся выглядывать в мерцавшее отверстие.

— Открывай секреты! Хорошее занятие для человека, приговоренного к голодной смерти. И что тут можно открыть, кроме того, что отверстие выходит в длинный каменный коридор, уходящий в бесконечную даль, превосходно мощенный и залитый тусклым светом лампочек.

Лепсиус просунул руку и помахал ею в воздухе. Отверстие слишком крепко замуровано, чтоб можно было отсюда бежать. Отчаяние опять овладело несчастным пленником.

— Я пропал! — пробормотал он истерически.— Эта мерзкая мисс Кроче... боже! Как это раньше мне не пришло в голову!

Он выпучил глаза и разинул рот. Он вспомнил, на кого была похожа мисс Кроче. Несмотря на цвет волос, некрасивость, худобу, возраст, она безошибочно походила на миссис Элизабет Морлендер, тем страшным сходством, какое бывает у близких родственников.

Покуда доктор Лепсиус сидел в своей земляной яме, наверху происходили события другого порядка. Взвод полицейских арестовал рябого привратника и мисс Кроче, а судебный следователь с многочисленными спутниками обходил одну за другой страшные камеры. Он заглянул и в № 132, но никого в нем не нашел.

— Молодчага этот генеральный прокурор штата Иллинойс,— пробормотал он в результате своего осмотра,— недаром о нем прокричали газеты!

Глава пятьдесят третья

МИК В ПОИСКАХ ГРЕГОРИО ЧИЧЕ

— Тю! — сказал Ван-Гоп трубочисту Тому с полнейшим презрением.— Тю-тю-тю!

Том только что сделал ему признание в своей любви к горничной Дженни.

— Это ты от зависти,— пробормотал он, покраснев как рак.

— Тю! — повторил Ван-Гоп еще выразительнее.

— Завидуешь, брат! — настаивал бедный Том, болтая ногами в воздухе.

— Тю-тю! — отчеканил Ван-Гоп.

— А вот посмотрим! — вскрикнул Том, кидаясь к водопроводчику и дубася его по спине.

За стенной обшивкой что-то щелкнуло, и перед обоими драчунами выросла внушительная фигура Тингсмастера.

— В чем дело, ребята? — коротко спросил он, выведя Бьюти из-за стены и сомкнув за собой обшивку!

— Он ругается, Мик! — вскрикнул Том, не переставая угощать Ван-Гопа.— День-деньской только и слышу одни издевки. Сидишь тут в трубе, как оборотень, да еще он тебя обзывает самыми последними словами.

— Тю-тю-тю! — послышалось со стороны Ван-Гопа.

— Видишь! Видишь! — неистово заорал Том, бросаясь на противника с удвоенной силой.

Будь Микаэл Тингсмастер ученым человеком, он сразу открыл бы, что буквы далеко не самое главное в образовании речи, и мог бы даже написать целый том по-латыни о птичьем и собачьем языках. Но теперь он ограничился тумаком, отбросившим Тома от Ван-Гопа, и пристальным взглядом в сторону того и другого. Том и Ван-Гоп молчаливо почесали затылки.

— Так-то, парни,— произнес он медленно,— вы как есть избаловались! Видно, подслушивание да подглядывание портит и нашего брата. Слушайте-ка в оба уха: я с Бьюти отправляюсь на поимку Чиче. Весь наш союз уже оповещен. Коли что случится, вы получите от меня вести. Я установлю здесь приемник и беру с собой батарею.

— Мик! — воскликнули Том и Ван-Гоп в один голос.— Он укокошит тебя, не ходи!

Тингсмастер молча потушил трубку, установил в нише, где помещалась сторожевая будка Ван-Гопа, небольшой приемник и побежал вместе с Бьюти по стенам в верхний этаж «Патрицианы». Том и Ван-Гоп как убитые побрели за ним.

Сетто из Диарбекира наслаждался полным покоем. Ни один беглый претендент не тревожил в этот мертвый сезон стен его гостиницы. Даже князь Феофан Оболонкин выехал с дипломатическим визитом к новому алжирскому бею, которого он должен был склонить к открытому выступлению против Советской России, переведя с этой целью на алжирский язык оскорбительные выпады русского писателя Гоголя. Все было тихо и мертво в гостинице, и Тингсмастер без всяких хлопот добрался до комнаты без номера.

Он нажал невидимую полоску, и дверь, запертая изнутри, неслышно открылась. Том и Ван-Гоп вошли вслед за ним. Комната Чиче казалась еще пустынней, чем раньше. Слой пыли поднялся на мебели едва ли не выше курса доллара, ниточка, с которой Мик сорвал недавно камешек фабионита, все еще болталась на занавеске.

— Сдается мне, здесь так никого и не было! — произнес Мик, оглянувшись по сторонам. Он без всякого труда нашел люк, неслышно приподнял половицу и поманил к себе Бьюти.

— Песик,— сказал он,— ты молодцом провела первый рейс. Теперь мы должны пуститься во второй. Найди мне человека, которым пахнет это место, слышишь!

Он несколько раз нагнул голову Бьюти к вещам и

углам, где мог еще сохраниться запах Чиче, и толкнул ее к отверстию. Но прежде чем сойти туда вслед за нею, он повернулся к трубочисту и водопроводчику.

— Менд-месс, ребята! — сказал он им серьезно.— Не валяйте дурака.

— Месс-менд, Мик! — с жаром ответили ему оба.

Тингсмастер махнул им рукой и исчез в люке. Собака дожидалась его, взволнованно дыша и высунув язык. Они были в потемках длинного ступенчатого коридора, выложенного ровными каменными плитами Тингсмастер засветил ручной фонарь и двинулся вперед, придерживая Бьюти за ошейник. Бесконечный ход снижался все больше да больше и, наконец, превратился в туннель, изредка расширявшийся в полукруглую нишу. Они пробирались вперед, не слыша ни малейшего звука, покуда нога Мика не наткнулась на что-то и он не издал изумленного восклицания.

Это был рельс. По туннелю проходила одноколейная дорога.

Мик опустился вниз и тщательно изучил рельс, рассмотрел гайки, винты, гвоздики. Работа была старая, крепкая и не американских заводов. Тогда он двинулся дальше, время от времени поглядывая на часы. Черт побери! Они шли уже без малого полдня, а впереди темнела все такая же дыра туннеля, уходящая в бесконечность, и, если б оттуда показался таинственный вагон, и Мик и Бьюти были бы раздроблены.

Выбившись из сил к десятому часу пути, Тингсмастер залез в нишу, достал кусок хлеба и принялся за еду. Бьюти, нисколько не утомленная, уселась возле него, вертя хвостом и ловя куски из рук хозяина.

— Мы, должно быть, уже за городом, Бьюти,— задумчиво сказал Мик.— Таких вещей, как этот туннель, спроста не строят. Мы с тобой охотимся за крупным зверем.

Поев и отдохнув, они двинулись дальше. Однообразие пути уже начинало утомлять Тингсмастера до дурноты, как вдруг он увидел, что туннель здесь делает крутой поворот и колея внезапно обрывается. В ту же минуту Бьюти опередила его, повернула к нему голову с

умным, зазывающим взглядом и бесшумно бросилась вперед. Он со всех ног побежал за ней.

Каково же было его удивление, когда за поворотом он увидел, как собака неистово кидается на стену, повизгивает и машет хвостом. Подойдя к ней, Тингсмастер почувствовал судорожное пожатие чьей-то руки, и хриплый голос произнес близехонько от него:

— Рад вам несказанно, сэр! Счастливая и спасительная встреча!

Мик тщетно искал глазами человека, произнесшего эти слова, покуда не заметил скрытого в стене отверстия длиной не больше аршина. Снаружи его не было видно вовсе, и, если б не Бьюти, он спокойно миновал бы его. В отверстии виднелись растерянная и всклокоченная голова толстого человека, бледного и дрожащего как в лихорадке, и его просунутая рука.

— Я в плену, сэр! Заперт в сумасшедшем доме! Умоляю вас всеми богами, сэр, освободите меня!

Тингсмастер молча осмотрел дыру, вынул лом и с полчаса работал над кирпичами. Освободив один, он принялся расшатывать другие, пока не образовал дыры, достаточно широкой, чтобы пропустить доктора Лепсиуса со всеми его принадлежностями.

— Уф! — пробормотал толстяк, вываливаясь в туннель.— Благословен будь этот Боб Друк и на земле, и на небесах, если он уже не нуждается во врачебной помощи. Спасибо вам, сэр! Спасибо вашей собаке! Я доктор Лепсиус.

— Ладно! — ответил Тингсмастер, критически оглядев своего компаньона — Вы говорите о Друке. Кто это такой?

— Мой предшественник по камере, выкопавший это отверстие.

Мик задумался. Он понял теперь, как письмо Друка очутилось на шее его собаки.

— Идемте с нами,— обратился он к Лепсиусу решительно,— мы в погоне за крупным негодяем. Вам ничего не остается, как усилить нашу партию.

Доктор Лепсиус обчистил фалды своего костюма, пригладил волосы, надел перчатки и философски ответил:

— Я тоже охотился за преступником. Надеюсь, сэр, что в дальнейшем это дело пойдет у меня удачнее.

Они опять двинулись по туннелю, изредка обмениваясь односложными словечками. Бьюти весело бежала вперед. Дорога была ей, повидимому, хорошо знакома и не скрывала в себе ничего страшного. Изредка собака останавливалась и поглядывала на своего хозяина умными черными зрачками.

Пройдя шагов сто, они снова запнулись о колею. На этот раз Тингсмастер вынул лупу и пристально изучил обе стены с правой и с левой стороны. Но все его поиски оказались тщетными: в стенах не было ни щелей, ни скважин, ничего похожего на скрытые двери в депо или гараж.

— Куда девается вагон, черт побери? — спросил он себя.— Сэр, пока вы сидели у своей лазейки, вы не заметили проходивших тут поездов или вагонов?

— Ни звука, ни шороха, ни шелеста! — воскликнул Лепсиус.—Лай вашей собаки был первой живой вестью.

— Странно,— пробормотал Тингсмастер.

Еще два часа, и у них подкосились ноги. Забравшись в нишу, Мик и Лепсиус поели хлеба и мирно заснули, в то время как верная Бьюти караулила их, бегая взад и вперед по туннелю.

Проснувшись, Тингсмастер мгновенно вскочил с места.

— Бегом! — скомандовал он доктору, и толстяк без малейшей досады засеменил за гигантом вдоль бесконечного коридора.

Колея прекратилась опять. На этот раз Мик заметил в стенах странные отзвуки, показывавшие пустоту. Но он не долго интересовался этим.

— Мы опускаемся, взгляните-ка! — шепнул он, показывая на туннель. И, действительно, дорога круто спускалась вниз. Со стены начала сочиться вода. Отверстие туннеля становилось всё уже и уже до тех пор, покуда не превратилось в цилиндрическую дыру. Бьюти, как ни в чем не бывало, взмахнула хвостом и проползла вперед. Тингсмастер стал осторожно ползти вслед за нею, а за ним, тяжело отдуваясь, втиснулся в дыру и Лепсиус.

Здесь было трудно дышать. Металлические стены цилиндра казались сильно нагретыми. До них доносились какие-то странные ритмические звуки. Вдруг собака схватила зубами металлическое кольцо, с силой рванула его, и в ту же минуту она, Тингсмастер и Лепсиус, как из пневматической пушки, были выброшены из своего цилиндра куда-то вниз, а отверстие сейчас же захлопнулось за ними со скользящим звуком.

При падении их друг на друга раздался страдальческий стон. Тингсмастер ощупал доктора Лепсиуса, Лепсиус ощупал Тингсмастера, оба ощупали собаку,— целехоньки!

— Кто простонал? — в один голос спросили они друг друга.

— Я! — ответил кто-то в углу до жуткости знакомым голосом.

Это не был ни Лепсиус, ни Тингсмастер. Это не была и Бьюти.

В ту же секунду Тингсмастер засветил фонарь, уронил его вниз и с криком кинулся в угол:

— Биск! Дружище!

— Мик! Менд-месс!

Прошло полчаса, прежде чем оба друга пришли в себя и смогли, наконец, пуститься в расспросы. Тем временем Лепсиус обозрел пространство при помощи оброненного Миком фонаря и, найдя большую кадку с сухарями, принялся безмятежно за подкрепление.

— Мы на «Торпеде»,— шепотом заговорил Биск,— у меня переломлены обе ноги и рука, но, по счастью, уже срастаются. Ты выловил из бутылки мое донесение?

— Нет, я получил девять голубей сразу,— ответил Мик,— и понял, что с тобой случилось несчастье.

Биск вкратце рассказал ему обо всем, что нам уже известно из его дневника. А потом докончил свой рассказ:

— В ту минуту, дружище, я думал, что часы мои сочтены. Я схватился за отверстие, выбросил бутылку в воду, как вдруг оно втянуло меня, будто в воронку, закрутило по зубьям и переломало порядком костей. Не будь я Биск, шотландец, оно, должно быть, сделало бы

из меня котлету. Да, только каким-то чудом я зацепился за стержень и был сброшен в этот угол с переломанными ногами. Дня три я истекал кровью. Здесь никогда не бывает света. Раза два тут хлопали тайники, и мимо прошмыгивал кто-то, по счастью, меня не заметивший. Один раз из тайника выскочила собака. Она зализала мне раны, высосала мне язвы, нашла сухари и воду, притащила их ко мне, сухари — в зубах, а воду — на языке. Не будь так темно, я мог бы ее разглядеть. Честное слово, мне показалось, что это Бьюти. Я оторвал лоскут от рубахи, написал в темноте своей кровью:

«Биск. Торпеда» —

и навязал ей лоскут на лапу. С того дня и началась моя поправка, Мик! Потом как-то, когда качка прекратилась и я понял, что мы остановились, с воронкой стало что-то приключаться, она задвигалась, завертелась, собака кинулась к ней и исчезла в дыру. Да, Мик, я прозакладываю голову, что это была мертвая собака капитана, завывавшая весь наш рейс внизу под палубой.

— Это была Бьюти, дружище! — весело воскликнул Мик.— Она-то и доставила нам твой лоскут. А теперь мы с тобой поохотимся на Чиче!

— Какой там Чиче,— тихо произнес Биск, и голос его дрогнул,— помяни мое слово, Мик, главный преступник не кто иной, как рыжий капитан Грегуар!

— Ну, извините! — спокойно процедил Лепсиус, с торчащим изо рта сухарем.— Я слышал все ваши речи, друзья мои. Я скомбинировал факты. Пари на сто против одного, что главный преступник — профессор Хизертон!

Не успели еще прозвучать эти слова, как собака судорожно взвизгнула. Под ними начались ритмические содрогания, весь их тайник пришел в мерное движение.

— «Торпеда» тронулась! Мы опять поплыли! — горестно воскликнул Биск.

И в то время как эти трое вместе с собакой пустились в далекое путешествие, не подозревая куда,— наверху, в одной из кают «Торпеды», ехал в Кронштадт молчаливый и важный генеральный прокурор штата

Иллинойс мистер Туск, оставив спасенного им Друка на попечение счастливой матери. Он прошел в свою каюту, не замеченный никем. За все время плавания он ни разу не показался на палубе. И что всего удивительнее — его ни разу не видел даже сам капитан Грегуар.

Глава пятьдесят четвертая

ЧАСЫ-ПОДАРОК

— Ну, а теперь можно и доложить,— сказал себе Сорроу, тщетно прождав Лори, Нэда и Виллингса.

Лихорадка совершенно покинула его, высыпав, как это всегда с ним бывало, наружу болячками и язвами. Заклеенный пластырями, но веселый и довольный, Сорроу вышел из своего жилища и заковылял к Петросовету. Вечером должно было состояться торжественное заседание, на котором оглашено будет соглашение с Америкой о торговле. И тогда же будет поднесена штучка... Сорроу знал, что карты в руках Кресслинга перепутались, и прямая опасность русским друзьям не угрожает. Но куда девалась эта штучка? И кто будет ее подносить? И где молодой Морлендер и Вивиан Ортон? На все эти вопросы он не имел ответа. И нужно было похлопотать, чтоб выпустили на свободу ребят.

Однако у дверей Петросовета его ждала неожиданность. Высокий милиционер, стоявший у входа, коротко объявил ему, что заседание уже состоялось.

К десятку вопросов, мучивших Сорроу, прибавились новые. Когда и почему перенесли заседанье? Что произошло на нем? Поднесена ли штучка? Побродив без толку по улицам вокруг Петросовета, Сорроу решился, наконец, заглянуть в дом на Мойка-стрит, где жил мнимый Василов. Но и тут было безлюдно и безмолвно. У дверей уже не сидел веселый чистильщик сапог, на лестнице ему никто не встретился, на дверях комнаты Василова висел замок. Сорроу нахмурился и медленно

вышел на улицу. Неизвестно, куда бы он делся, если б вдруг веселое «менд-месс» не раздалось возле его уха и улыбающаяся рожица Лори, порядком раздобревшего на тюремных хлебах и от тюремного бездействия, не вынырнула из-за его плеча.

— Месс-менд,— быстро ответил Сорроу, не сдерживая своей радости.— Откуда ты? Где прочие?

— Я за тобой, старина, бегаю по всему Петрограду Нюхом догадался, куда ты пойдешь. Шагай побыстрее, нас ждут у товарища Реброва, а дорогой я тебе буду все как есть, по-газетному, вроде романа с продолжением.

И, покуда они шагали по улицам,— Лори Лен почти бегом, а Сорроу вприпрыжку, едва поспевая за ним,— он со вкусом и толком рассказал ему о происшествии на Аэростанции, о загадочном четвертом Василове...

— Мы малость применили к нему ручной способ, Сорроу. Конечно, если смотреть с точки зрения арифметики, нас трое, а он один,— может, оно и неправильно в сумме. Но мы, Сорроу, старичина, посмотрели с другой стороны. Кусался он изрядно. А все-таки выудили у него, какому богу он молится, да и не трудно было понять. Ну-с, на допросе мы все втроем повинились в маскараде и так далее. Русские товарищи, Сорроу, вдоволь нахохотались с нами. А потом все было, как по-писаному, приехали мы в одно место, а там уже стоит наша штучка в ящике, и оба налицо, мисс Ортон и Морлендер...

Но тут они дошли до места. И Сорроу, сделав Лори красноречивый знак убрать язык за зубы, быстро, как молодой, взбежал вверх по лестнице.

Лори был прав. Молодой Морлендер и Вивиан, как только затекшие члены их стали способны к движению, вдвоем выбрались тихонько из окна своей тюрьмы, спустились по крышам на улицу и в полном изнеможении добрались до квартиры Реброва. Выслушав, их накормили, напоили, растерли спиртом, уложили отдохнуть, а через полчаса рослые красноармейцы, обыскавшие пустую квартиру мнимой нищенки, доставили оттуда и ящик с часами. Крупный специалист, руководимый советами Нэда и Виллингса, распаковывал его, когда Сорроу в сопровождении Лори ворвался в комнату.

Ребров, уже знавший его понаслышке, крепко пожал руку знаменитому рабочему-изобретателю.

— Осторожней, друзья! — крикнул Сорроу, приблизившись к ящику.— Мы, правда, сделали, что могли, но все-таки...

— А что вы сделали? — спросил специалист, медленно отвинчивая резной футляр часов.

— Намудрили малость,—сконфуженно ответил Сорроу.— Есть такое древнее выражение насчет бдительности. Так вот мы его, фонографически, присоединили к бою, а бомбу, разумеется, вынули.

— Вы думаете, что вынули? — сказал специалист, рукою в резиновой перчатке быстро оборвав какой-то шнурок в часах.— Ну, если вынули, кто-то вложил ее обратно. Скорей, ведро с песком!

Он вытащил из-под циферблата часов совсем маленький компактный механизм с металлическим колпачком, под которым болтался оборванный шнур,— и с величайшей осторожностью опустил его в песок.— Отправьте это к нам в лабораторию!

Те же красноармейцы, что принесли ящик, взяли ведро с зарытым в песке механизмом и быстро вынесли его из комнаты.

— Ну а теперь,— сказал Ребров,— действуйте вы, товарищ Сорроу. Покажите нам, какую штуку вы вставили в этот милый подарочек капиталистов!

Сорроу торжественно подошел к часам. Они стояли сейчас, ничем не прикрытые, во всей удивительной красоте своей резьбы, сияя глубоким лаком стенок драгоценного бразильского дерева. Старый мастер нащупал завод, поставил стрелку на двенадцати, сделал несколько поворотов, и ясный, отчетливый, громкий голос произнес в полнейшей тишине по-латыни: «Тимео данаос эт дона ферентес!»

— «Опасаюсь данайцев и дары приносящих!» — перевел Ребров, расхохотавшись.— Дорогие друзья мои, ваше предупрежденье очень кстати! И часы — великолепные часы, удивительная работа,— выдав свой секрет, будут служить нам и работать на нас так же верно, как работает на нас с вами само Время!

Глава пятьдесят пятая

Съезд психиатров

Спокойно и без всяких приключений прибыв на «Торпеде», мистер Туск спустился по трапу на русскую землю. Повидимому, он был знаком с этой страной, потому что без особого труда нашел себе удобную комнату в гостинице.

Далеко не так комфортабелен был выход на берег Мика, Лепсиуса и Биска. Шотландец, превесело ковыляя на своих заживших ногах, упражнялся в ходьбе между пустыми бочками пароходного трюма, когда «Торпеда» начала замедлять ход.

— В цилиндр! — воскликнул Биск, и друзья едва успели один за другим ринуться в цилиндр, как он завертелся наподобие воронки, и воздух с невероятной силой выбросил их в открывшееся отверстие, вместе с мусором, жестянками и бумажками, сухарями и окурками, скопившимися на его дне. Залепленные ими с головы до ног, наши путешественники очутились на дне деревянного колодца, снабженного почти отвесными ступенями. Держась за кольца, они поползли наверх, предводительствуемые умной Бьюти. Спустя десять минут она выпрыгнула на землю.

Они находились в топкой, слабо застроенной местности, неподалеку от гавани. Здесь доктор Лепсиус выразил твердое намерение обчиститься, а Биск — определить при помощи компаса широту и долготу.

— Вздор! — ответил Мик.— Мы в Петрограде! Времени терять нечего! Взгляните-ка на собаку, как она пляшет и волнуется! Я дам ей хорошую понюшку, и пусть она приведет нас к Чиче.

С этими словами он вынул из кармана платок, натертый о половицы в номере «Патрицианы», и приложил его к самому носу Бьюти. Собака фыркнула, ощетинилась и стрелой понеслась по улице.

— Эй! — заорали наши путешественники, кидаясь вслед за нею и оставляя за собой прихрамывающего Биска. Но догнать Бьюти было трудновато. Они мчались по улицам Петрограда с быстротой молнии, не обращая внимания на свистки милиционеров, и, наверное, задохнулись бы, если б Бьюти не остановилась у дверей красивого дворца, украшенного саженными афишами:

СЪЕЗД ПСИХИАТРОВ

Открытие

1. Приветственные речи
2. Доклад профессора Бехтерева
3. Доклад профессора Хизертона

— Черт побери! — проворчал Лепсиус, догоняя собаку.— Уж не цирк ли это, и не завела ли нас Бьюти к своим четвероногим приятелям?

— Собака не из таковских,— ответил Мик.— Нам нужно обдумать, что предпринять!

— Нечего и обдумывать,— возразил Лепсиус, лингвистические способности которого на этот раз оказались на высоте. Он успел разобрать афиши и торжественно обернулся к Тингсмастеру: — Друг мой, здесь стоят надписи на всех языках, даже на итальянском. В этом дворце — съезд психиатров! Здесь выступает профессор Хизертон! Дождемся где-нибудь в гостинице, пока он откроется, и ручаюсь вам, что мы туда пройдем!

Через два часа, приняв приличный вид и держа Бьюти на цепочке, они уже стояли вместе с успевшим догнать их Биском перед дверями дворца.

— Профессор Лепсиус! — произнес толстяк, подходя к привратнику и тыча ему свои документы.— Меа мекум. Ассистенти! — С этими словами он указал на Биска, Тингсмастера и Бьюти.

— Собаку пропустить нельзя,— твердо отрезал привратник,— иди сюда, пес, иди, голубчик, посиди у меня в чулане.

— Это — подопытная собака, питомец вашего ученого Павлова,— не менее твердо заявил Лепсиус.— Ее необходимо иметь на докладах!

Привратник, почесав затылок, пропустил всю компанию, а Бьюти дружески замахала ему хвостом.

— Вы оказались нелишним человеком, доктор,— не без уважения шепнул ему Тингсмастер,— только помните,— пока вы там будете охотиться на вашего Хизертона, я должен словить моего Чиче.

— А я — моего Грегуара! — вмешался Биск.

Съезд психиатров был уже в полном разгаре, когда наши трое путешественников смешались с толпой и быстро протолкнули себя к эстраде. Несмотря на дневной свет, зал был залит сотнями электрических ламп. С обеих сторон партера шли нарядные ложи дипломатических представителей В партере собрался весь цвет русской науки. В коридорах и проходах толпилась учащаяся молодежь. А на эстраде, богато декорированной зеленью и портретами, стоял длинный стол, за которым профессор Бехтерев только что приступил к докладу.

Тингсмастер внимательно оглядел зал. Его голубые глаза переходили от лица к лицу, как вдруг кто-то шепнул ему:

— Менд-месс!

— Месс-менд! — ответил он, вздрогнув.

Техник Сорроу, весь покрытый плохо зажившими болячками от своей болотной лихорадки, тощий и бледный, положил ему руку на плечо.

— Вот уж не знал, что встречу тебя, старина! — шепнул он взволнованно.— Сегодня разрядили нашу бомбочку, известную тебе, дружище. Ну и не солоно же хлебали господа фашисты! Мы с ребятами тоже малость поштурмовали их!

— Где Чиче, Сорроу?

— Увидишь, Мик,— спокойно ответил Сорроу.

Тингсмастер внимательно обвел глазами публику.

В третьем ряду партера, рядком и рука об руку, сидела бледная пара: Артур Морлендер с седой прядью в волосах и исхудавшая Вивиан. Голубые глаза Мика скользнули и по этим двум лицам. Он хотел что-то шепнуть Сорроу, но в ту же минуту зал задрожал от

бурных аплодисментов: Бехтерев кончил свой доклад. Он встал, склонил перед собранием львиную голову и удалился с эстрады.

Распорядитель съезда вынес для следующего оратора новый стакан чаю, сдвинул стулья, потом произнес на нескольких языках:

— Сейчас предстоит доклад профессора Хизертона о перерождении нервных центров под влиянием гипноза.

Прошло несколько томительных минут. Мик Тингсмастер невольно покосился на Лепсиуса. Толстяк стоял, вперив глаза в эстраду, и не замечал ничего и никого. Ноздри его трепетали, зрачки сузились, как у ищейки.

Еще несколько секунд, и раздались тихие старческие шаги. Перед ними выросла небольшая фигурка профессора Хизертона, седого как лунь, заросшего снежнобелой пушистой бородой, розового как младенец, веселого, милого, кроткого старичка, устремившего в зал немного рассеянный, из-под нависших бровей, добродушный взгляд ученого. Неистовые аплодисменты раздались в зале.

Биск фыркнул и дернул Лепсиуса за фалду. Толстяк продолжал, однакоже, глядеть на бедного профессора в сердитом отчаянии. Он был разочарован, разбит, уничтожен.

Профессор обвел зал глазами и начал тихим шамкающим голосом свой доклад. Но в эту минуту против него, в ложе для иностранных гостей, медленно раскрылась дверь. Один за другим вошли туда сенатор Нотэбит с дочерью, банкир Вестингауз и несколько американских заводчиков, на мгновенье притянув к себе взгляды всего зала. Было ясно, что иностранные гости чем-то обеспокоены и выведены из строя. Вестингауз был бледен и едва успевал подхватывать свой монокль, то и дело падавший вниз. Ему явно не хватало воздуха, и он часто дышал. На лицах американских заводчиков было недоумение; они молчаливо переглядывались.

— Видно, дошли слухи о бомбочке,— шепнул Сорроу Тингсмастеру, указывая на них бровями. Но в эту минуту кудрявая дочь сенатора, с любопытством глядевшая в зал, вдруг отчаянно вскрикнула:

— Маска! Маска!

Вслед за нею раздался писк банкира Вестингауза:

— Виви! Виви!

Эти крики, скандализовавшие ученую публику, странно потрясли розового, благодушного старичка на эстраде. Он прекратил шамкать. Зрачки его вперились туда, куда, свесившись из ложи, глядели Вестингауз и Грэс. Они расширились, неподвижно уставились на бледную пару. И в то же мгновенье, судорожно дернув руками, профессор Хизертон упал в обморок.

Распорядитель кинулся к нему со стаканом воды. Профессора подняли и посадили в кресло. Но все попытки привести его в себя были тщетны: он дрожал, бессмысленно блуждая глазами, не отвечал на вопросы и не проявлял ни малейшего намерения продолжить доклад.

Лицо Тингсмастера, следившего за этой сценой, стало серьезно. Он поглядел на доктора Лепсиуса. Но тот уже выработал план действий.

Застегнувшись до самого подбородка и достав из кармана пачку каких-то бумаг, он твердыми шагами направился к распорядителю и сказал ему шепотом несколько слов. Распорядитель помог ему взобраться на эстраду, записал себе в книжку его фамилию и обратился к публике:

— Профессору Хизертону дурно, он, к сожалению, не в силах закончить свою речь. Вместо него известный клиницист Америки, доктор Лепсиус, сделает доклад об открытой им vertebra media sine bestialia [1].

В ту же минуту толстяк выкатился на край эстрады. Он стал возле кресла профессора Хизертона, обвел публику горящим взглядом и потряс в воздухе кипой бумажек.

— Леди и джентльмены! — вскричал он звонким голосом.— Я ждал этого часа всю мою жизнь! Я ждал часа, когда я смогу изложить мое открытие перед собранием мировых ученых и продемонстрировать его на живом объекте. Все подобралось наилучшим образом: и собрание, и ученые, и даже объект! Позвольте мне

---

[1] Средняя точка позвонка, названная Лепсиусом «звериной».

не торопиться, леди и джентльмены! А вам позвольте посоветовать быть очень внимательными, сугубо внимательными, ибо то, что я вам скажу, должно потрясти все человечество!

Речь эта ничуть не походила на ученый доклад. Но в голосе Лепсиуса была такая сила, толстое лицо его так внушительно преобразилось, что спокойная и нарядная публика сдвинулась плотнее с непонятным для нее возбуждением. Даже Сорроу, Биск и Тингсмастер устремили на него глаза. Даже Артур Морлендер, сжав тихонько руку Вивиан, шепнул ей.

— Добрый старый Лепсиус тоже очутился здесь!

Даже стальные глаза генерального прокурора Иллинойса остановились на Лепсиусе с чем-то вроде дружелюбия. Один только профессор Хизертон лежал в своем кресле, тяжело дыша и не проявляя ни к чему никаких признаков интереса.

— Я начну издалека,—продолжал Лепсиус.—Много лет назад, еще молодым врачом, я попал в аристократический европейский курорт на практику. Здесь я познакомился с моим первым пациентом, бежавшим от революции министром. Его изгнал народ несколько лет назад. С тех пор он скитался по чужим землям, ел и пил непривычную для него пищу и не видел вокруг себя той обстановки, которая держит человека, как вспаханная и удобренная земля держит растение, и называется родиной. Он жаловался с некоторых пор на легкую хромоту и небольшую боль в позвоночнике. Я лечил его массажем, ваннами, водами. Это не помогло. Тогда я тщательно исследовал его позвоночник. Меня поразило, господа, ничтожное пятнышко, припухлость, едва прощупывавшаяся внизу позвонка, и странный бугорок между третьим и четвертым ребрами, заставлявшие моего пациента как-то низко держать плечи. Потеряв его из виду, я забыл этот случай. Практика моя росла. Мне пришлось почти сплошь работать среди высших классов. Меня вызывали на диагноз в Европу к коронованным особам. Приезжие в Америку аристократы лечились исключительно у меня. Среди моих пациентов было множество так называемых «претендентов» — людей, нашедших поддержку у капиталистов Америки и

желающих с ее помощью вернуть себе потерянное ими положение на родине. Все эти люди стремились к власти вопреки воле большинства своего народа. И, как это ни странно, среди них я набрел еще на несколько случаев вышеупомянутой припухлости и бугорка. Симптомы были все одинаковы. Больные жаловались на одно и то же. Лечение не помогало. Почти всегда я наблюдал неуловимые изменения в структуре позвоночника. Мне пришлось, наконец, сделать два вывода: что означенные симптомы встречаются исключительно среди того класса людей, кто длительно пребывает вдали от привычного питания и народного воздействия Они, эти симптомы, являются редчайшей формой дегенерации. Какой? Отныне вся моя жизнь была посвящена искомому ответу. Но я лишен был возможности клинически изучить моих высокопоставленных пациентов. Тогда, леди и джентльмены, мне посчастливилось получить стационарного больного. Он не был сам из числа изгнанных властителей. Это был капиталист, человек, являющийся главной опорой беглых претендентов, делающий на них, на их реставрации крупные ставки. И как это ни странно, я нашел у него те же симптомы! Плечи его с каждым годом опускаются все ниже. Голова его с величайшей неохотой занимает вертикальное положение, и я не могу никакими соблазнами заставить его глядеть вверх. В то же время, леди и джентльмены, руки моего пациента стали резко видоизменяться. Сперва они были только сильно подагрическими в суставах. Потом я заметил, что утолщения начинают превышать обычную человеческую норму. Здесь, господа, я хотел бы сделать остановку и иллюстрировать для вас дело примером. Но сперва коротко об одном общем психологическом состоянии, которое предшествовало у моего пациента началу болезни. Оно совпадает с общими симптомами начального заболевания и у претендентов. Это — сильный, видимо непереносно сильный для нервной системы ужас —ужас перед неизбежностью коммунизма! Перехожу к примеру.

Доктор Лепсиус сильно вздохнул, горящим взглядом обвел безмолвную залу, слушавшую его с затаен-

ным дыханием, и как бы случайно взял безжизненную руку профессора Хизертона. Рука была в черной перчатке.

Он дружески похлопал по ней, подняв ее кверху, и стал стягивать с нее перчатку. Один, другой, третий палец. Над публикой с эстрады вознесено нечто странное, долженствующее означать человеческую руку.

Глава пятьдесят шестая

ТАЙНА ДОКТОРА ЛЕПСИУСА

В зале пронесся шепот ужаса. Все, как один, не отрываясь глядели на перепончатую оконечность, сильно распухшую в суставах, омерзительно цепкую и деформированную.

— Эта рука,— продолжал доктор Лепсиус сильно дрогнувшим голосом и побледнев, как смерть,— эта рука превзошла все мои ожидания. Она показывает такую степень дегенерации, которой мне еще не приходилось наблюдать в натуре! Я прошу поэтому у почтенного собрания разрешения демонстрировать этого старца целиком!

Распорядитель, окаменев от ужаса, не произнес ни слова. Кое-кто в зале встал с места. Женщины были близки к истерике.

И как раз в эту минуту на лице профессора Хизертона появились признаки оживления. Блуждающие глаза стали сознательней. Они упали на свою собственную руку, и в них сверкнул страх. Зубы его щелкнули, скулы обтянулись. Вырвав руку у Лепсиуса, Хизертон вдруг подпрыгнул и вцепился ему в грудь.

Толстяк вскрикнул, в зале раздался стон. Два рослых милиционера, вынырнув из-под эстрады, оттащили профессора Хизертона от Лепсиуса. Несмотря на их рост и мускулы, они с трудом удерживали этого небольшого человечка.

— Продолжайте!— крикнул кто-то из зала.—Теперь уже нельзя остановиться на середине!

— Я продолжаю,— с трудом ответил Лепсиус, вытерев холодный пот с лица,— я продолжаю и докончу. Этот профессор — не профессор! Он не может быть работником умственного труда! Он из тех, кого не хочет держать земля его родины, из тех, кто служили мне объектом для моих наблюдений!

С этими словами Лепсиус решительно подошел к Хизертону, схватил его за белоснежную шевелюру и — сдернул ее. Зал вскрикнул. На месте старца в руках милиционеров бился яркорыжий человек средних лет.

— Капитан Грегуар! — завизжал Биск, ринувшись к эстраде.— Убийца! Держите его!

Но Биска не допустили наверх. Железные пальцы Тингсмастера сжали его руку.

— Смотри и слушай! — шепнул он ему повелительно.— Дойдет очередь и до тебя!

Между тем Лепсиус, бросив белый парик наземь, бесстрашно схватился и за рыжий. Минута — и вместо рыжего человека перед залом был бледный, перекошенный брюнет, с бескровными губами и сверкающими глазами.

— Грегорио Чиче! — вскрикнул на этот раз сам Микаэл Тингсмастер.

Наступила жуткая тишина.

— Дамы, удалитесь! — потребовал Лепсиус.— Милиционеры, разденьте его.

Переводчик быстро перевел приказание Лепсиуса. Но никто не хотел удалиться, а милиционеры в одну минуту стащили с Чиче одежду, оставив его в одном белье. Теперь им на помощь подошли еще двое. На голову Чиче накинули мешок.

— Поверните его спиной к публике! Вот так! Обнажите спину до пояса!

Милиционеры что-то замешкались.

— Леди и джентльмены,— продолжал Лепсиус свою речь,— я должен открыть вам теперь, в чем сущность отмеченной мною дегенерации. Кое-кто из вас читал, вероятно, старого немецкого философа времен Гёте, некоего Хердера. В своих возвышенных писаньях о чело-

вечестве он, между прочим, проводит мысль о вертикальном строении человеческого позвоночника в противоположность горизонтальному звериному. И вот, открытый мною бугорок оказался не чем иным, как деформированной точкой хребта. Это — vertebra media sine bestialia. Это начало роста позвоночника не по вертикали, а по горизонтали, как у зверей. Взгляните вот сюда...

Он быстро повернулся к Чиче и вдруг вскрикнул:

— Черт побери, да что это такое?

— Не знаю, сэр,— пробормотал переводчик, стоявший возле милиционеров, трясущихся от страха,— на нем что-то железное, сэр, его не сдернешь с тела.

Спина оголенного человека была в железном футляре.

Лепсиус кинулся к ней, заглянул во все стороны, нашел металлические пряжки, какие бывали у старых фолиантов, и лихорадочно начал их отстегивать. Одна, другая, третья...

— Снимайте футляр!

Милиционеры рванули, на минуту выпустив Чиче. В ту же секунду потрясающий вопль вырвался из тысячи уст. На стол прыгнул зверь с поднятым, как у кошки, хребтом. Он на четвереньках соскочил со стола в зал и понесся, едва касаясь пола, к выходу.

— Держите его! — истерически крикнул Лепсиус.— Это бесподобный, законченный объект!

Но ни одна душа не могла бы задержать Чиче. Толпа с воплем шарахнулась от него, и он мчался к свободному проходу до тех пор, пока громовой голос Тингсмастера не крикнул:

— Бьюти!

Тогда наперерез бегущему Чиче выросла белая фигура собаки. Бьюти рыча пересекла ему путь, но тут произошло нечто непостижимое. Шерсть на собаке стала дыбом, пасть ее жалобно оскалилась, она затряслась и отступила. Проход был свободен. Чиче прыгнул к дверям, мимо шарахнувшейся от него в смятении толпы. Еще секунда — и ночной петербургский сумрак поглотил бы его. Но тут в воздухе просвистела пуля. Красноармеец, неподвижно стоявший у запасного вы-

хода, спокойно опустил к ногам дуло своего ружья. Полузверь, получеловек, с пробитым пулей черепом, рухнул на пол, не добравшись до двери.

Никто в течение нескольких секунд не был в состоянии ни заговорить, ни сдвинуться с места. Наконец, раздался спокойный голос Тингсмастера:

— Тот, до кого побрезгал дотронуться зверь, перестал существовать. Товарищи! Но еще не вымерли те, кто не брезгают пользоваться такими, как он!

— Вот именно! — ответил чей-то стальной голос. К эстраде приблизился пожилой человек. Он взошел на нее. Он оглядел публику серыми глазами, на мгновение задержавшись на мнимой чете Василовых. Но Артур и Вивиан не выдержали перенесенных страданий и пережитого ужаса, они оба лишились сознания.

— Я генеральный прокурор штата Иллинойс,— отчеканил незнакомец, отстраняя рукой кинувшегося к нему Лепсиуса,— я послан сюда, чтобы задержать опасного преступника. Но я был сейчас в публике, и я шарахнулся вместе с нею, дав ему бежать. Если б не точная пуля этого спокойного молодого человека, вряд ли мы хорошо спали бы сегодня.

В зале уже поспешно, под присмотром взволнованного Лепсиуса, убирали труп Чиче.

Незнакомец продолжал:

— Вы видели перед собой одного из величайших преступников эпохи. Он неизвестного происхождения. Его зовут Грегорио Чиче. Родная страна с отвращением свергла его власть, изгнала из своих пределов. И нашлись люди, поднявшие на щит этого человека. Они дали ему власть и деньги, помогли изменять обличья, убивали его руками. У этого человека было множество адресов. Он и польский аптекарь Вессон из города Пултуска, составитель и продавец страшнейших ядов. Он и рыжий капитан Грегуар, хозяин парохода «Торпеда». Он и преступный профессор Хизертон, гноящий в своем сумасшедшем доме под Нью-Йорком десятки здоровых, но неугодных кое-кому людей. В конторах, банках, армии, церкви, в лучших кварталах и последних кабачках он имел своих помощников. Его магнетическая сила велика. Его хитрости неисчислимы. Он сам

пускал слух о себе, как о потомке Калиостро. И все-таки он не хозяин, а только наемник, такой же, каким был у королевских дворов Калиостро. И можно сказать одно: те, кто пользуется им,— хуже и страшнее, чем он.

Сказав это, пожилой человек медленно сошел с эстрады, догоняемый дрожащим Лепсиусом. Внизу, в толпе, толстяк схватил его, наконец, за фалды и с жаром упал ему на шею.

— Тсс! — произнес генеральный прокурор, приложив палец к губам.— Молчите! Позаботимся прежде всего об этих двух,— и он показал на Артура Морлендера и Вивиан, лежавших в глубоком обмороке.

Вдвоем они вынесли их обоих из зала, подозвали автомобиль, уложили молодых людей на сиденье, вскочили сами, и прокурор назвал шоферу одну из петроградских гостиниц.

Молчаливо расходился народ со съезда. Ложа с иностранцами опустела уже давно. Тингсмастер, Сорроу и Биск побрели в гавань, к скромному жилищу Сорроу. Бьюти медленно следовала за ними Шерсть ее все еще стояла дыбом, а хвост был судорожно поджат между задними лапами.

— Дело-то кончилось благополучно, Мик,— тихо сказал Сорроу,— и ребят наших выпустили, спасибо сказав. А все-таки жутко на душе, когда подумаешь, что те, кто стоят за Чиче,— еще целы и невредимы.

— Да,— ответил Тингсмастер,— но удар, полученный ими, посильнее пули.

Глава пятьдесят седьмая



Генеральный прокурор и Лепсиус внесли безжизненную молодую чету в номер гостиницы. Доктор пустил в ход свои профессиональные приемы, и спустя несколько

минут Вивиан, а за ней и Артур проявили признаки жизни. Молодая девушка глубоко вздохнула, шевельнула губами и подняла веки. Прямо против нее сидел генеральный прокурор штата Иллинойс, озабоченно на нее глядя. В ту же секунду у Вивиан вырвался слабый крик:

— Иеремия Морлендер! — и она снова упала на подушку.

— Отец! — пробормотал Артур, приходя в себя.— Вы живы!

— Я жив, друзья мои,— спокойно ответил генеральный прокурор, протягивая руку сыну,— но прежде чем рассказать вам мою историю, я должен заверить Вивиан, что смерть ее матери была для меня не меньшим горем, чем для нее. Я был в те дни жертвой ее убийц. Я был пленен, обезоружен, искалечен, удален из Америки. Я был лишен памяти и рассудка. Если б не железные нервы, которых вы, Артур, к сожалению, от меня не унаследовали, я был бы уже мертвецом или жалким идиотом. Но мне удалось спасти себя, и это было первой неудачей Чиче.

— А миссис Элизабет?..— с ужасом пробормотал Артур, начиная подозревать истину.

— Она никогда не была моей женой! Эта преступная женщина, Артур,— служанка того, кто убил мать Вивиан, кто убил бы и меня, и вас обоих,— она секретарь Джека Кресслинга! Но на сегодня довольно. Вы оба должны хорошенько оправиться, прежде чем вернуться в Нью-Йорк.

Артур на минуту закрыл глаза.

— Отец,— пробормотал он,— я предпочел бы остаться здесь!

Старый Морлендер удивленно поднял брови. Глаза его загорелись веселым огоньком.

— Остаться здесь?! — переспросил он отрывисто.

— Да,— ответил Артур и на мгновение стал похож на своего отца,— здесь я нашел самого себя. Здесь у меня есть дело!

— Вы распропагандированы,— медленно промолвил старик,— вы, сын крупнейшего изобретателя Америки, стали на сторону чужой державы. Лепсиус, он

распропагандирован! — с этими словами Иеремия Морлендер сдвинул седые брови, скрестил руки на груди и грозно взглянул на сына.— Хорошо, сэр. Оставайтесь! Но помните, что о моем изобретении вы не узнаете никогда ни единого слова. Я обязан передать его родине и только родине. Я враг мелодрамы и не намерен проклинать вас. Но я скажу вам: «Прощайте, сэр!» И это будет раз и навсегда.

Артур вскочил с места и подошел к отцу. Оба они были одного роста, и молодой человек с седой прядью на лбу походил сейчас, как две капли воды, на старика Морлендера.

— Как бы не так, сэр! — воскликнул он твердо.— Вы отлично знаете, что я сам доберусь до вашего секрета. Вы отлично знаете, что, попади оно в руки Креслинга, оно не достанется американскому народу! Вы, старый хитрец, должны будете признать это, и черт меня побери, если вы не намерены обнять своего сына, сэр!

С этими словами Артур бросился на шею к суровому старику, который немедленно осуществил его прозорливую догадку.

Вслед за этим объятием Иеремия Морлендер без дальнейших разговоров схватил в охапку Вивиан, в то время как Лепсиус машинально целовал Артура. Но когда, наконец, Вивиан попала к доктору Лепсиусу, и, совершив круговорот объятий, молодые люди очутились друг перед другом, старый Морлендер отрывисто кашлянул, подмигнул толстяку, и оба они скрылись из комнаты.

— Вивиан,— произнес Артур Морлендер, подходя к бледной девушке и протягивая ей руки...

В эту минуту кто-то резко дернул меня за волосы, и я увидел у себя над плечом разъяренное лицо Иеремии Морлендера.

— Сударь,— сказал он мне отрывисто,— как отец и генеральный прокурор, я приказываю вам оставить этих молодых людей в покое!

— Но я автор! — возмутился я.— Нельзя же кончать роман без единого поцелуя! Что скажет читающая публика!

— Она скажет, Джим Доллар, что любовные сцены вам не удаются! — иронически ответил Иеремия Морлендер.

Он отбил у меня всякую охоту, братцы, и потому распростимся со всей этой публикой прежде, чем доведем свое дело до точки.

Глава пятьдесят восьмая

СЕТТО ПОЛУЧАЕТ ПРОЦЕНТЫ

Миссис Тиндик, собрав всю прислугу «Патрицианы» перед собой, только что закончила речь об игре природы, исправленную и дополненную ею для нового состава подчиненных, как вдруг окно с треском разбилось, и в комнату влетело тухлое яйцо.

Миссис Тиндик подняла брови.

Но гнилой картофель в ту же минуту ловко расплющил ей нос, а два-три новых яйца размалевали щеки.

— Пожар! — вскрикнула миссис Тиндик и как подкошенная свалилась наземь.

Между тем Сетто из Диарбекира торопливо сбежал с лестницы.

— Что бы это значило? — спросил он прислугу, нахмурившись.— Перед гостиницей толпа. Уставились в наши окна и швыряются провизией третьего сорта!

— Политика, хозяин,—мрачно ответил повар,— при политике первое дело поднять цену на продукт.

— Сходи-ка за газетой!

Повар недовольно нахлобучил шапку и вышел выполнять приказание своего патрона.

Спустя пять минут Сетто развернул свежий лист «Нью-Йоркской газеты» и пробежал глазами столбцы.

— Эге! Это что такое?

Глаза диарбекирца сузились, как у кошки, когда ее щекочут за ухом, щеки диарбекирца порозовели, губы диарбекирца распустились тесемочкой. Перед ним жирным черным шрифтом стояло:

АМЕРИКАНЦЫ,

ЧИТАЙТЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЗНАМЕНИТОГО ДОКТОРА ЛЕПСИУСА!!!!!

ДАМЫ,

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!

МИЛЛИАРДЕРЫ,

ИМЕЮЩИЕ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ!!

ПОКРОВИТЕЛИ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ,

ПОКУПАЙТЕ СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР!!!!!!!!!!!

ЗАГЛЯНИТЕ,

В ГАЗЕТУ!!!!!!!!!!

«Мы очень хорошо знаем,—так начиналась статья,— что многие американские семейства в погоне за предками совершенно забывают о потомках. Одни из них покупают себе пергаменты в твердой уверенности, что если у них есть пергамент, так есть и древний предок знаменитого рода. Другие уверяют, что родичи их приплыли в Америку на первом корабле. Третьи мчатся в Европу в поисках лордов и виконтов. Четвертые, наконец,— и это самое опасное,— питают слабость к свергнутым политическим деятелям, изгнанникам своих народов. Особенно повинны в этом наши отечественные миллиардеры, предпочитающие тратить американские доллары не на благоденствие американцев, а на поддержку шатающихся тронов, сползающих эполет и падающих портфелей. Изгнанники своих родин обещают нам все, что угодно, лишь бы наполнить карман всемогущим долларом,— а в действительности только под-

водят нас и выставляют Америку в смешном виде. Не лишнее будет, джентльмены, узнать, как обстоит дело с этими изгнанниками в медицине. Наш знаменитый авторитет, почетный член Бостонского университета, доктор Лепсиус, только что вернувшийся с научного конгресса, дал нам разъяснения о своем открытии, сделанном во время лечения экс-президентов и экс-генералов. Будучи строго-медицинским, оно затруднительно для понимания, но маститый ученый не отказал нам в его популяризации. Дело идет,— так выразился он в разговоре с нашим сотрудником,— о «констатировании вертебра бестиалиа в процессум спинозум у креатура хумана». Иначе говоря, леди и джентльмены,— ставленники наших миллиардеров обречены в самом ближайшем будущем прыгать на четвереньках и кушать, не сидя за столом, а, можно сказать, лакая из блюдец. Мало этого,— упомянутая болезнь заразительна и для самих миллиардеров! Но молчание об этом!! Спрашиваю вас: допустимо ли на подобного рода людей тратить американские доллары? Нет и нет, джентльмены! Долой экс-побирушек! Прочь экс-троны и экс-титулы! Туда же епископов и кардиналов! Пергамент изъять из частного обращения и распределить между гастрономическими магазинами Соединенных Штатов для строго торговых целей! Такова воля миллионов избирателей!»

Сетто прочитал газету и встал с места.

— Жена! — крикнул он прерывающимся голосом.— Жена! Жена! Жена!

Хозяйка «Патрицианы» выбежала на его зов, как была — в кухонном переднике и с помидором в руке.

— Жена!—произнес Сетто торжественным тоном.— Зови зурначей, бей в ладоши, ходи вокруг меня с музыкой. Сетто из Диарбекира большой человек! Он получил свой полный процент: сто на пятьдесят!

Эпилог

А в Миддльтоуне на деревообделочном работа кипит, как ни в чем не бывало. Белокурый гигант ловко орудует рубанком, отряхивая с лица капли пота. Фар-

рук его раздувается, стружки взлетают тучей, а голос гиганта весело выводит знакомую песенку:

Клеим, стругаем, точим,
Вам женихов пророчим,—
Дочери рук рабочих,
Вещи-красотки!

Сядьте в кварталы вражьи,
Станьте в дома на страже,
Банки и бельэтажи —
Ваши высóты!

— Слушай-ка, Джим Доллар,— сказал Микаэл Тингсмастер, остановив рубанок и глядя на меня широкими голубыми глазами,— ты малость прикрасил всю эту историю. Ребята сильно ворчат на тебя, что ты выдал наши секреты раньше времени.

— А разве это худо, Мик? — пробормотал я в ответ.— Мое дело — описывать, а ваше дело —орудовать.

Веселые знакомые лица обступили нас гурьбой. Тут были сероглазый Лори, солидный Виллингс, длинноносый Нэд с веселой, вилявшей хвостом Бьюти. Тут был старичина Сорроу с трубкой в зубах. Биск, Том и Ван-Гоп заглянули в мастерскую ради сегодняшнего дня. И даже Карло ямаец и кой-кто из ребят с обойной фабрики в Биндорфе, наконец-то присоединившейся к союзу «Месс-менд», сунули нос в двери.

— Ладно, помалкивай! — заорали они, надавав мне дружеских тумаков.— Прикуси свой бабий язык насчет всего дальнейшего!

И мастерская, как один человек, затянула песенку Мика:

На кулачьих кадушках,
Генераловых пушках,
Драгоценных игрушках —
Всюду наше клеймо!

За мозоли отцовы,
За нужду да оковы
Мстит без лишнего слова
Созданье само!

Написано в ноябре — январе 1923—1924 года в Петрограде.

КИК

Роман-комплекс

ОТ АВТОРА

Роман «Кик» писался исподволь и для себя, как иногда пишут письмо «никому», потому что хочется написать это необходимое для собственной души письмо.

Критики говорили о нем по-разному, хотя все они сходились на утвержденье, что это роман сюжетно-приключенческий.

Но «сюжетно-приключенческое» было лишь внешней его оболочкой. На самом же деле «Кик» был тем, что англичане называют «essay», а мы очень неточно переводим словом «опыт». Я сводила в нем концы с концами своего тогдашнего профессионального опыта, накопленного за десять лет строительства социализма,— стараясь нащупать и развить те зародыши новой эстетики, нового отношенья к творчеству, какие стали уже ощутимыми для нас за эти первые десять советских лет. Писался «Кик» урывками, между делом, не отнимая ни дня, ни часа, ни сил у непрерывной очередной работы, какой была переполнена тогдашняя наша жизнь.

Что же представляет собой «Кик»?

Прежде всего в нем был момент профессионально-дидактический. Как раз в те годы (1926—28) наблюдалось у нас яркое стремление молодых писателей к специализации по жанрам и к замыканию в одном определенном жанре. Начиналось и жесткое организационное выражение этого процесса в размещении писа-

телей по кружкам, секциям и разделам — романистов, критиков, поэтов, детских писателей, молодежных писателей. А ведь если представить себе кого-нибудь из больших учителей литературы, то никак не сможешь разместить их по секциям. Куда, например, поместить Тургенева? Он и рассказчик, и очеркист, и романист, и драматург, и поэт. Гончаров — и романист, и критик, и пленительный очеркист-географ. Да и Горький — поэт, критик, рассказчик, романист, очеркист, драматург — учил нас уметь проявлять себя в каждом жанре. Быть писателем для них совсем не значило уметь делать только одну вещь в литературе,— они гранили свое мастерство, свою власть над словом работой во многих жанрах. И чтоб как-то выразить свое отрицательное отношенье к узкой литературной специализации, чтоб призвать молодежь хорошо овладеть каждым жанром, хотя бы один из них и был для тебя главным,— я поставила в «Кике» задачей себе: сдать экзамен грамотности на все литературные жанры. Там есть все виды газетной работы: фельетон, очерк, статья, передовица; есть все виды литературной работы: поэма, новелла, драма, киносценарий; и, наконец, есть критика. Но замысел «сдать экзамен по жанрам» неизбежно подсказал мне и форму «Кика»: как бы объективную сшивку различных материалов, как они сшиваются, скажем, в архивном деле. Получилась своеобразная «папка», и ассоциация с папкой, сшивкой, канцелярией напомнила мне манеру наших работников давать название вещам, соединяя первые их слоги и таким образом сокращая целое. Один из моих «материалов», где я сдавала экзамен на драму, назывался «Колдунья и коммунист», что в сокращении дало «Кик»,— и это стало названием для всего целого. Но какой сюжет мог облегчить читателю чтение разнохарактерной сшивки и помочь держать ее связно в уме? Конечно, детектив, приключение. И я выбрала своеобразный острый сюжет, какими в те годы была полна советская действительность, особенно в наших окраинных республиках, где еще жили отголоски яростной классовой борьбы.

И однако все перечисленное было лишь ступеньками к основному, скрытому содержанию «Кика». Для

меня самой это скрытое содержание становилось ясным по мере развития романа, и я изложила его в конце концов как добытый мною самой опыт этой работы — устами моего героя Львова в его критическом докладе. Каково же главное содержание «Кика»? Оно — теоретическое и представляет собою опыт советской эстетики, в своем роде эстетический манифест тех первых десяти лет нашей творческой работы. Вот его главные мысли, выяснившиеся мне по мере писания «Кика»:

Большая советская вещь, как костер, требует непрерывной подкладки топлива — живых глубоких, ежедневных впечатлений нашей созидающейся жизни. В этот фантастический роман вошло ежедневное чтение газет, вопрос о концессиях, стоявший остро в те годы; интереснейшие воплощения и в быту и в психологии у народов наших национальных республик тезиса о «социалистическом по содержанию и национальном по форме»; споры о различных типах геологов и о характере наших геологических работ; начавшееся широкое партийное обучение кадров; политические события на международном фронте,— и еще много всего, что захватывало нас изо дня в день, из месяца в месяц. И если б в роман все упомянутое не вошло как топливо, то костер не только не разгорелся бы, но и не мог бы быть зажжен. Итак, первая основная мысль, наметившаяся в ходе работы,— была о необходимости овладения нами, писателями, советским жизненным материалом и важности постоянного пребывания в курсе современных событий.

Вторая мысль тоже была нащупана в самом процессе работы. Воплощать и отражать получаемый материал можно по-разному, и я по-разному это и делала. Разность художественных воплощений темы определялась, как это выяснилось в работе, разностью социально-политических позиций тех лиц, которым я по очереди поручала в романе выступать. Невозможно было, например, любознательному советскому журналисту воплощать свои впечатления в виде ненависти и искаженья советской действительности, так же как невозможно было реакционному поэту, умиравшему от чахотки и связывавшему все свои личные несчастья с

победой нового строя в России, изображать современность с умной, зрячей, благожелательной объективностью. Но свое отношенье к воплощаемому реакционный поэт облек — с некоторой неизбежностью — в эклектическую форму, пользуясь системой условных образов прошлого и стилизуя свои впечатления под старину; а передовой журналист необходимо избрал реалистический метод в форме, чтоб более жизненно и наивозможно более точными образами, подсмотренными у самой природы, воплотить новое. Так, формы художественного воплощения становились в романе социально-политически обусловленными.

Но для меня самой, для советского писателя,— эти разные формы вовсе не были сплошь объективно близкими и интересными. Я, правда, не дала себе авторского места в этой объективной «сшнвке». Но на самом деле авторское место было все же сохранено за мной — в неизбежном отборе и акцентировке, во-первых, каждого материала в отдельности, а во-вторых, разных мест и страниц в каждом из этих материалов. Мне становилось ясно, что мне самой лучше всего удавались именно те реалистические места у каждого из моих многочисленных авторов, которые были связаны как раз с новой советской жизнью и ею навеяны. Мне самой эти места были наиболее интересны, ведь в них я шла по целине, и, поскольку они больше захватывали меня, они и лучше удались мне. И вот возникали — в живом процессе писания этой вещн (которую несколько критиков восприняли, как формалистический трюк) — ясные очертания нашей социалистической эстетики, представления о социалистическом реализме. О них я и рассказала в критической речи-докладе Львова в конце романа.

Работа над «Киком» не прошла для меня даром. После «Кика» мне уже просто тяжело было возвращаться к условным вещам типа Джима Доллара, становилось скучно их писать, и великим наслаждением сделалась огромная, напряженная работа над «Гидроцентралью».

1956

ПОСВЯЩЕНИЕ

Страна, в которой нет дорог,
Где конь стальной ступить бы мог;
Где роют русла водопады,
А горы давят ездока,
Как с знойным грузом винограда
Хурджин ослиные бока;
Где борозду метут бешметом,
По крутосклону сея злак,—
Над саклей, ныне сельсоветом,
Советский выбросила флаг.

*

И в той стране — блаженной лени
Послушный пленник — ты внимал,
Как пели песней поколений
Вам, детям стали, дети скал.
Как, исходя в истомной пляске,
Прикрыв плывущие глаза,
Танцор, кружась, кинжалом лязгал
Иль в небо выстрелы вонзал...
Вот так, полусмежив ресницы,
Глазами сонными слегка,—
Прими, мой друг, мои страницы,
Как эту пляску сына скал!

Кисловодск
Осень 1924 года.

Эпизод первый

ГАЗЕТА «АМАНАУССКАЯ ПРАВДА»

ИЗДАНИЕ БУ-УЛЬГЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
ЛЕДНИКИ АМАНАУСА

Редактор — Степан Геннадиевич Карпов, автор передовиц.
Политический фельетон — тов. Гельц, секретарь райкома.
Маленький фельетон — Валентин Сюсюкин; псевдоним «Горский» — местный поэт и музыкант.
Краевая информация — тов. Асланбеков, следователь местного ГПУ.
Хроника и библиография — тов. Жданов, комсомолец.
Протоколы, отчеты, суд — Валентина Ивановна Головлева, комсомолка, — стенографистка и секретарь редакции.
Селькор — Егис Муруджи.
Сторож — Илья Миронович Клименко.
Объявления.
Редакционная корзина, куда попадает забракованный материал.
Переписка.
Телефон.

Санаторий «Красные Скалы».

тов. Куниусу.

Уважаемый тов. Куниус.

Редакция бывшей стенной газеты «Аманаусская правда» просит Вас не отказать дать статью в первый номер той же газеты, становящейся печатным органом всего Бу-Ульгенского района.

С ком. приветом,

С. Карпов.

Санаторий «Красные Скалы».

Проф. Казанкову.

Редакция «Аманаусской правды», переходящей из стенного существования в массовый печатный орган, была бы Вам крайне признательна за статью информационного характера о богатствах нашего Края. Аудитория по преимуществу туземная. Газета издается на двух языках. Просим быть доступней.

Отв. ред. С. Карпов.

Санаторий «Красные Скалы».

Поэту Эль.

Глубокочтимый Поэт!

Обращаюсь к Вам по просьбе нашей редакции. Знаю, что Вы больны и, по всей вероятности, не расположены беспокоить свою музу, но прошу снисхожденья к моей собственной судьбе: музыкант, поэт, когда-то участник знаменитых симпозионов Вячеслава Иванова, собутыльник Балиева в «Летучей мыши», а сейчас присяжный писака местных листков и газет. Недуг, занесший Вас на «Красные Скалы», загнал сюда и меня. Сейчас тут ожидается пикантное событие: выход собственной печатной газеты! Строго между нами — аллах ведает, кому это нужно, но во всяком случае это общественность и построчные. Так вот, редакция уполномочила меня ходатайствовать перед Вами о том, нельзя ли заполучить у Вас для первого номера золотые строки за бумажные деньги. Сделайте это ради всего святого, хотя бы для того, чтоб повысить шансы Вашего несчастного коллеги по перу и туберкулезу у местных акул.

Пламенный поклонник Ваш

Валентин Сюсюкин («Горский»).

АМАНАУССКАЯ
ПРАВДА

АВГУСТ 192*

№ 1

СО СТЕНЫ НА СТАНОК

па ий ям ам уе ое де не ко хо от уч бе су ей гм ое ме ту см ни на он пе ре ва ти ха на гм су пе

При исключительных обстоятельствах наша газета сходит со стены на печатный станок. В результате беззастенчивой белогвардейской авантюры наша страна была снова вброшена в гражданскую войну. Английские фунты, перешедшие в карманы белогвардейцев и окрылившие местных кулаков и тайных феодалов, принесли нам неисчислимые бедствия: разрушили дороги, и без того недостаточные для обслуживанья горных районов, сожгли мосты, уничтожили огородные земли, истребили виноградники, погубили скот, сожгли деревни, залили кровью города, обезлюдили и опустошили целые районы. Но банды врагов народа разгромлены. С беспримерным терпением советская власть принимает вторично разоренную страну, потерявшую все, что с таким трудом было восстановлено за истекшее пятилетие. Снова с величайшей заботой она отпускает средства и лучших людей для залечивания наших ран, для поднятия разрушенного хозяйства. В такую минуту, когда еще в ушах не перестал звенеть треск неприятельских пропеллеров и гул канонады, газета наша, как радуга, встает над омытыми грозою бу-ульгенскими аулами, чтоб возвестить измученному населению переход к мирному строительству. За работу, граждане! Все за работу по возрождению нашей прекрасной страны с ее неисчислимыми промышленными возможностями и сказочными минеральными богатствами!

ев ве сд сд ад да не ен ке ен ти ит ти бе пс си ис пе еб бе еб вр зи из ти не хе ех ит ли ен на

КРАЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бандиты удирают за ледники

В течение недели были ликвидированы последние бандитские шайки, грабившие по дороге от аула Токчи к Целибашу. Остатки бандитов, по последним известиям, были загнаны в Кузунлакское ущелье и, чтоб не сдаться, перебрались через ледники по ту сторону Аманауса. Между аулами всего этого района снова начала правильно функционировать почта.

Приезд товарища Львова

Объехавший всю очищенную от бандитов и белогвардейцев Бу-Ульгенскую область, тов. Львов прибыл вчера на нашу Аманаусскую ледниковую станцию. Сегодня он выступает на митинге в исполкоме, после чего намеревается выехать в Токчи для принятия участия в охоте на зубров, организуемой для него местным спортивным кружком в Аллалвардской заповедной пуще.

Монастырь под фабрику!

Покинутый монахинями Аллалвардский монастырь св. Ольги найден в жилом состоянии, не требующем ремонта. Комиссия признала возможным удовлетворить ходатайство местного союза кустарей об открытии в его стенах первой бу-ульгенской суконновальной фабрики. В монастырских пристройках предположено оборудование шерстомойни и прядильни. Фабрика будет электрифицирована.

Еще победа

Объявленный субботник в ауле Токчи собрал толпу молодежи. С помощью местных красноармейцев она в течение суток совершенно восстановила знаменитый мост через Токчи-Суйскую пропасть, вследствие чего стало возможным очистить от бандитов Аллалвардские заповедные пущи и принять меры к восстановленью питомника зубров.

Музейная находка

В монастыре найден женский портрет кисти современного мастера, представляющий, по свидетельству знатоков, большую ценность. Портрет изображает молодую женщину необычайной красоты с веревкой, накинутой на голую шею. Женщина стягивает концы веревки, как если б собиралась себя задушить, и смотрит прямо на

зрителя. Местная художественная школа, только что открывшая выставку своих работ, получила разрешенье на демонстрацию этой картины впредь до отправки ее в бульгенский городской музей.

Асланбеков

НЕОБХОДИМО БОРОТЬСЯ С СУЕВЕРИЯМИ

(Заметка селькора)

В ауле Токчи молодежь до сих пор не может получить помещение под клуб. Подходящий для этой цели покинутый караван-сарай отвергнут по причине местных суеверий, распространяемых старухами, что будто бы в него по ночам слетаются шайтаны. Вообще суеверие свило себе у нас прочное гнездо. Не только темный элемент, старухи,— но, к стыду должен сознаться, многие грамотные верят в разных шайтанов и колдунов. Не так давно здешний пастух, напившись свыше меры айрану, уверял, будто видел проходившую по скалам колдунью с распущенными волосами, голыми ногами и зажженною свечой в руке, и после этого рассказа желающие могли наблюдать, как наши бабы доили коров и несли молоко целыми ведрами в жертву колдунье, причем шли по дороге задом наперед в силу суеверия, что будто бы кто увидел лицо колдуньи, должен умереть, и многие благодаря тому повывихнули себе ступни и ноги. Смешно и досадно, что активный элемент не прилагает нужные меры в борьбах с местною темнотой и несознательностью.

Селькор Егис Муруджи

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

НЕЧТО О ЗУБРАХ

Под какие подвести вас рубрики,
Дорогие, редкостные зубрики?
Берегли вас, орхидеи пуще,
В Аллалвардской заповедной пуще.
Но внезапно в сень лесных угодий
Забежали звери в вашем роде:
Не хорьки, не львы, не леопарды,
Забрели под кущи Аллалварды,
Под кинжал и меткий выстрел дробный,—
Зубро-яростны, зубро-подобны,
Вымирающие бело-гварды.

Горский

О БОГАТСТВАХ БУ-УЛЬГЕНСКОГО ГОРНОГО ХРЕБТА

(Статья проф. Казанкова)

Впервые на богатейшие залежи свинца, охры и бора, сделавшие Бу-Ульген почти исключительным местом добычи означенных минералов, было обращено внимание при Александре III профессором фон Юссом. Снаряженная им экспедиция была, впрочем, взята в плен и пропала без вести. О месторождении свинца была подана вторичная докладная записка инженером-геологом Саламатовым, но царское правительство положило ее под сукно. Постоянная угроза бандитских шаек, с одной стороны, полное отсутствие путей сообщения — с другой, сделали этот район надолго мертвым для русской промышленности. Так, вероятно, оставалось бы и по сю пору, если б не маленькое, весьма загадочное событие, к сожалению, так и оставшееся неразъясненным. Не могу отказать себе в удовольствии передать читателю все,

что известно об этой небольшой, но странной истории.

В восьмидесятых годах прошлого столетия, некоторое время спустя после перехода к нам Батума, в приморской харчевне был арестован русскими властями контрабандист, затеявший драку со своим соседом. Случай не выходил из ряда обыкновенных, когда арестовывались и через несколько дней выпускались слишком темпераментные туземцы. Так кончился бы, вероятно, и данный арест, если б не исключительный испуг, проявленный контрабандистом. Безграмотный, оборванный турок внезапно обнаружил панический ужас перед полицией, давал столь бессвязные показания, так изысканно и красноречиво уверял, что он тут ни при чем, наконец так неожиданно забормотал на допросе по-французски, что полиция подвергла его обыску. Когда сунули руку ему за пазуху, там оказался вчетверо сложенный лист бумаги. Турок, при виде листа, вырвался из рук полиции, успел схватить и оторвать кусок этого листа, сунул его в рот и проглотил. Оставшийся в руках полиции клочок оказался превосходным планом Бу-Ульгенского кряжа, как раз той его части, где мы с вами находимся. Месторождение свинца было указано на нем совершенно точно и обозначено латинскими буквами. Русским властям стало ясно, что они имеют дело со шпионом, и турок был заключен в Батумскую тюрьму. Но самое любопытное случилось позже.

Когда в камеру арестованного пришли, чтоб вести его на допрос, лицо и грудь его оказались в крови: у турка был откушен язык. Узнать что-нибудь от него стало совершенно невозможно, и дело о шпионаже на Бу-Ульгене пришлось прекратить. Но свинцовое месторождение привлекло, наконец, внимание нашего правительства, и раз-

работка была начата. В будущем она обещает стать одною из доходнейших отраслей нашего горного хозяйства.

Очерк мой был бы далеко не полон, если б я не перечислил вам другие богатства нашего края. В первую очередь следует упомянуть о дубильных веществах, нужных кожевенным заводам и в изобилии имеющихся в здешних лесах. Затем следует самшитовое дерево, могущее стать предметом вывоза. Наконец, немалое значение имеют граниты, прорезанные пегматитовыми жилами, в которых, весьма вероятно, водятся драгоценные камни, что и собирается выяснить возглавляемая мною научная экспедиция. Если принять во внимание, что часть местных лесов по своей дикости и непроходимости не без основания может быть названа девственной, так как в ней ни разу не была нога культурного человека (за исключением погибшей экспедиции фон Юсса), то мы можем серьезно надеяться на новые богатейшие и неожиданные открытия в будущем.

Проф. *Казанков*

> В следующем номере «Аманаусской правды» будет напечатана статья тов. Кунауса «Капитализм и народы Востока»

БИБЛИОГРАФИЯ

Альманах «Легкие». Составлен легочными больными санатория «Красные Скалы». Отпечатан в количестве 500 экземпляров. Стр 87. Цена 40 коп.

Авторы выбрали самое подходящее название легковесной книжонке, написанной неизвестно для чего и кого! Несколько десятков стихотворений и рассказов, воспевающих природу и ушибленные чувства людей, занятых только своими особами. Можно приписать их какой угодно эпохе, кроме нашей. Что

говорят, например, здоровому современнику такие вирши:

...И вдруг — орлиный клекот
В ломающейся синеве,
Как тысячи стеклянных сколков,
Рассыпался по голове...
Не ты ли вдребезги распадясь,
Мысль, возносившая умы?
История — какая малость!
Тупых чиновников кумир.

Интересно, кого подразумевает автор под «тупыми чиновниками»? В этом же духе составлен весь сборник, на который истрачено драгоценное для нас количество бумаги и типографского труда. Плохая рифма, подражание Блоку, бессмыслица в прозе, неврастения в стихах, и, вдобавок ко всему, далеко не благополучно в политическом отношении,— вот что представляет собою данный сборник.

Комсомолец *Жданов*

ее
тс
са
са
ас
се
та
те
те
та
ес

Ответств. редактор *С. Карпов*

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА БОЛЬШУЮ КРАЕВУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ
«АМАНАУССКАЯ ПРАВДА»

1 мес. . . . . —р. 70 к.
3 „ . . . . 1 р. 90 к.

МОССЕЛЬПРОМ
новые ларьки в аулах
ТОКЧИ, КУЗУНЛАК И ЦЕЛИБАШ
Цены снижены.

Универсальный магазин
«АМАНЕПО»
Рабочим и служащим верхняя одежда, седла и бурки в рассрочку

ЛЕНГИЗ

ДАГЕСТАНСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ШКОЛАХ II СТУПЕНИ

СЕНСАЦИОННАЯ
НАШУМЕВШАЯ
ТРЮКОВАЯ КАРТИНА

«ДЕЛО СДЕЛАНО»

ПОЛУЧЕНА И СЕГОДНЯ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ТЕМНОТЫ, БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ В КИНО «СВЕТОЗАРЕ»

РЕДАКЦИОННАЯ КОРЗИНА

Не пойдет.
С. Карпов

ПОДРАЖАНИЕ ВОСТОЧНОМУ

1

Ненависть гонит меня на получение пощечин.
Радуюсь каждой, твердя: здравствуй, богатство мое!
Всякий союз с врагом злобною памятью прочен.
Тот, кто получит удар, точит себя, как копье.

2

В тысячу первый раз сердце зажав рукой,
Губы кривлю смешком наедине с собой,
Бормочу вполголоса (оно облегчает): «Так что ж?
Смерть, так смерть. Нож, так нож».

3

Счастлив художник, кто услыхал крик человека сквозь зубы: «а-а».
Он станет скуп на слова.

А. Эль

ПРОТОКОЛ ТОРЖЕСТВЕННОГО МИТИНГА В ЗАЛЕ ИСПОЛКОМА С УЧАСТИЕМ ТОВАРИЩА ЛЬВОВА

На эстраде в полном составе исполком Наробраза. Внизу столики с печатью.

Где сидит Валя, сильно напудренная...

— Жданов, прошу не портить бумагу, положи карандаш!

На трибуну всходит товарищ Гельц.

— Сегодняшний день, товарищи, мы собрались при исключительных обстоятельствах. Нет надобности напоминать вам, чем наша область обязана товарищу Львову и нашей родной Красной Армии. Если мы сидим в этом зале, а не болтаемся на виселице, если наши горы опять свободны, виноградники перекапываются, промышленность восстанавливается — этим всем мы обязаны его неутомимости, находчивости, уменью бить наверняка. Говорить комплименты не к лицу коммунисту, но — сами понимаете, товарищи, — я только выражаю за нас всех, за сотни аулов и кошей, за собравшихся тут, в зале, те естественные чувства и настроения, которые заставляют нас сказать выдающемуся работнику революции:

«Спасибо тебе, товарищ! Не забудем!»

(Бурные аплодисменты. Все встают.) Тов. Львов, весь красный...

— Он, кажется, рассердился на Гельца!

Тов. Львов поднимается на трибуну:

— Я буду преступником, товарищи, если начну с этой эстрады говорить вам о наших победах и достиженьях. Дело обстоит так: мы выкурили противника. Но если мы сложим руки и начнем болтать...

(Здесь пропуск.)

— А ты рада вынюхать склоку. Не ожидал, что Львов такой невзрачный.

— Он только ростом мал, а вовсе не невзрачный, ничего ты не понимаешь. Посмотри на его губы и затылок. А глаза-то. И курносенький...

— Поздравляю! Влю...

— Дур...

— Валя, тебя зовут на эстраду!

— Кто?

— Карпов. К нему сейчас подошел Асланбеков. Вот опять... иди!

. . . .

— Ну? Зачем тебя вызывали?

— Ничего не понимаю. Спросил, кто принимал объявленье о новой кинопрограмме. Точно это мое дело!

— Странно. Мне кажется, что-то случилось. О чем они там шепчутся?

— Дай новый карандаш, я буду продолжать. Ничего не случилось, просто полная бесхозность...

Тов. Гельц поднимается на трибуну:

— Товарищи, по весьма важным причинам объявляю митинг закрытым.

— Вот тебе бесхозность!

ТЕЛЕФОН

— Ноль-один. Алло! Кто в редакции?

— Сторож.

— Мироныч, кто принимал объявления?

— Я принимал.

— Припомните, кто вам дал объявленье о новой картине в «Светозаре»?

— О новой картине в «Светозаре»? Дайте сообразить. Как будто барышня в шляпке с птицей.

— Вы ее раньше видели?

— Нет. Не могу, впрочем, поручиться, Степан Геннадиевич, ихнего лица я не приметил.

— Где бумажка с объявленьем? Сохранена?

— Поищу в типографии.

— Как найдете, доставьте ее тотчас же товарищу Асланбекову.

— Алло. Кино «Светозар»?

— Я слушаю.

— Кто у телефона?

— Бибик.

— Товарищ Бибик, я звоню из редакции. Сейчас у меня был Асланбеков с представлением от вашей администрации. Почему вы так поздно спохватились?

— Мы и газету развернули только час назад.

— Вы уверены, что объявление сдано не вами?

— Совершенно уверен. Никогда никаких таких картин не было и в помине. Ее нет среди прокатных фильмов. Вообще это сплошной пуф.

— У вас нет оснований подозревать кого-нибудь в шутке или хулиганстве?

— Никаких. Может, среди ваших кто-нибудь?

— Мы тут ни при чем. Сторож принял объявление от неизвестной девицы в шляпке.

— Глупейшая история. Напечатайте опроверженье.

— Сделаем.

Кино «Светозар»

Тов. БИБИКУ.

Аманаусское отделение ГПУ вызывает Вас сегодня между 8—$8^1/_4$ часами в комнату № 4.

Подписи.

«Аманаусская правда»

Тов. КЛИМЕНКО.

Аманаусское отделение ГПУ вызывает Вас сегодня между $8^1/_4$—$8^1/_2$ часами в комнату № 4.

Подписи.

Санаторий «Красные Скалы»

Тт. КАЗАНКОВУ, ИРИНЕ ГЕЛЛЕРС,
С. ИВАНИЦКОМУ, А. ЭЛЬ.

Аманаусское отделение ГПУ вызывает Вас сегодня между $8^1/_2$—9 часами в комнату № 4.

Подписи.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СТОРОЖА «АМАНАУССКОЙ ПРАВДЫ» ТОВ. ИЛЬИ МИРОНОВИЧА КЛИМЕНКО

Утром, между 9—11 часами, мною получены были для напечатанья в газете: 1) объявление от Моссельпрома, принесенное мальчиком-рассыльным, 2) от Ленгиза по почте через секретаршу Валентину Ивановну Головлеву и 3) от Аманаусского единого потребительского общества казенным пакетом через письмоношу. Когда я зарегистрировал эти объявления, к моему столу подошла молоденькая барышня с незнакомым лицом, без всякого особенного выраженья, и протянула бумажку с объявлением. Получив деньги (трехрублевку), я дал сдачи и увидел, что барышня в шляпке с птицей никого из местных жительниц не напоминает. Больше ничего не могу припомнить.

Илья Миронов Клименков

Следователь *Асланбеков*

СПРАВКА ИЗ ТИПОГРАФИИ ЗА № 17

Бумажка с объявлением о новой программе «Светозара», несмотря на принятые меры, нигде не разыскана.

Зав. тип. *Хельсин.*

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЗАВЕДУЮЩЕГО РЕПЕРТУАРНОЙ ЧАСТЬЮ КИНО «СВЕТОЗАР», ТОВ. БИБИКА.

Спрошенный следователем тов. Бибик показал, что, будучи заняты устройством концерта для митинга, он и его товарищи не имели времени развернуть полученный ими № 1 газеты «Аманаусская правда», когда же сделали это, то были удивлены помещенным там объявлением от имени «Светозара» по поводу демон-

страции картины «Дело сделано», каковая картина никогда не была закуплена администрацией и вообще вряд ли имеется в прокате, вследствие чего возмущенная администрация немедленно послала письменное опровержение с перечисленьем обстоятельств в ГПУ. Какие-либо подробности тов. Бибик дать отказался, не имея на то никаких данных, кроме твердой уверенности, что шутка не могла быть сыграна кем-либо из администрации кино.

Зав. реперт. *Бибик*
Следователь *Асланбеков*

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПРОФЕССОРА КАЗАНКОВА

Ко мне с письмом обратился редактор «Аманаусской правды», прося дать статью в газету. Я дал. Очень рад, что статья пригодилась и напечатана. От гонорара отказался в пользу местного этнографического музея. Что касается объявления в «Светозаре», не могу пролить света. Сам не бываю и другим не советую посещать кинематограф, являющийся в настоящее время рассадником пошлости, вместо того чтоб всеми техническими средствами служить науке. Обращаю вниманье властей на то, что Бу-Ульгенский район изобилует пещерами, тайниками и подземными пустотами, ранее служившими бассейнами подземных озер. Местность эта вулканического происхожденья и может служить отличным приютом для любой группы преступников, политических и уголовных. Больше прибавить ничего не имею.

Подписи.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ИРИНЫ ГЕЛЛЕРС

Сославшись на плохой слух, тов. Ирина Геллерс на вопрос о том, не явились ли авторами шутки какие-либо скучающие пациенты санатория, ответила, что

почти ни с кем не общается и за общим табльдотом разговоров не слышит. По поводу означенного дела сообщить что-либо затрудняется, тем более что всего лишь три дня как приехала на Аманаус.

Подписи.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПОЭТА ЭЛЬ

Товарищ Эль, спрошенный относительно пациентов санатория, не является ли кто-либо из них автором шутки с объявлением, в резких выражениях отказался дать какие-либо объяснения, протестуя против самого факта вызова его со стороны ГПУ для дачи показаний, ввиду состояния своего здоровья и пребыванья в санатории для леченья. Дальнейший допрос был приостановлен ввиду вызывающего тона поэта Эль.

Подписи отсутствуют.

СПРАВКА

Главврач санатория «Красные Скалы» дал заключение о поэте Эль, как о чахоточном во второй стадии и остром неврастенике.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЖУРНАЛИСТА С. ИВАНИЦКОГО

Считаю своим долгом помочь следствию всеми сведениями, какими располагаю. К сожалению, этих сведений немного. Прежде всего поиски среди публики санатория — ошибочны. Трудно предположить, что объявление было простою шуткой и что этой шуткой занялись люди больные и отдыхающие. Советую искать этих юмористов в Москве в Главконцесскоме. Перед своим отъездом я узнал, в порядке частной беседы, что бельгийская фирма Дитмар несколько раз возбуждала

вопрос о сдаче ей в концессию Бу-Ульгенского месторожденья. На мой взгляд — собака зарыта где-нибудь в этом направлении.

Сотрудник и спецкор «Экономической жизни», «Путей индустриализации», «Гудка» и пр.

Сергей Иваницкий.
Следователь *Асланбеков.*

ЧАСТНОЕ ПИСЬМО ВАЛИ ГОЛОВЛЕВОЙ К ЗОЕ РЫШКО НА СТАНЦИЮ БАТАЛПАШИНСК, С ОКАЗИЕЙ

Дорогая Зойка!

Прости, что не отвечала. С утра до вечера поглощена работой. Скажи маме, что пошлю ей на днях два червонца и посылочку. Пусть свяжет мне из козьего пуха на зиму перчатки. Надеюсь, ты уже видела первый номер «Аманаусской правды». Я — секретарь, стенографистка, машинистка — словом, совмещаю в этой газете что можно, кроме того по уши в комсомольской работе и помогаю Жданову по клубу. Здешняя молодежь одна прелесть: мужчины и женщины почти одного роста, хороши, как картинка, очень легко втягиваются в работу.

Я теперь отлично понимаю, почему ты ни слова не написала про Львова. Знай, смешная бузиха, что Львов был у нас целые сутки. Если б он пробыл дольше, я, кажется, наделала бы глупостей вроде тебя. Во-первых, он выступал на митинге. Во-вторых, успел обойти все наши уголки и клубы, всюду докопавшись до дела и насобачив нас, где и что выправить. Этот человек (между нами) похож на ребенка или котенка, маленький, курносый, грациозный, я несколько раз видела его с такой жалобной улыбочкой на лице, точно он заблудился и не знает, где папамама, и ужасно хотелось взять его за руку, обдернуть кушачок и повести с собой. И этот странный человечек, говорят, редкий храбрец в бою. Красноармейцы его обожают. Правда ли, что он во время

деникинщины спасся из донской станицы в стоге сена и его на околице казаки прокололи штыками чуть не насквозь, пробуя, есть ли кто в сене, и он не издал ни шороха, а когда его привезли и вынули из сена, был исколот и окровавлен с головы до ног? Я верю, что это все так и есть, потому что, Зоя, в этом человеке нельзя ничему удивляться. Сегодня он едет на охоту в Аллалвардскую пущу, так как страстно любит охоту. Ну пока! Пиши!

Валя.

P. S. О странном приключении в нашем отделе объявлений напишу после.

Эпизод второй

СРОЧНО

КРЕМЛЬ. АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЛУНАЧАРСКОМУ

Сегодня арестован местными властями явному недоразумению непрерывно служил победе советского дела кровью стихами прозой автор двадцати книжек наиболее известны Роза Содома Летающий Голландец умоляю оказать помощь

Поэт *Валентин Сюсюкин (Горский)*

ТОВ. СТ. ГЕН. КАРПОВУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ

Уважаемый и глубокочтимый тов. Карпов, вот уже три дня, как я тщетно пытаюсь вызвать Вас на свидание и узнать, наконец, за что, за какие непостижимые для меня прогрешенья я лишен свободы и заточен в тюрьму? Сегодня у меня сильно скакнула температура и начались боли в сердце. Пищу тут дают ужасную, хотя два блюда, но при моем колите есть баранину — значит, обрекать себя на язву желудка. И это за то, что пять лет работал, не щадя ни здоровья, ни сил, рискуя ежеминутно быть убитым белогвардейцами или же затравленным заграничною эмигрантской прессой. Несмотря на ряд предложений, крайне для себя выгодных, ни разу не покинул Россию — и вот результат! Что же это такое, Степан Геннадиевич? За что? Спасите меня!

Ваш *Горский-Сюсюкин*

Секретно

СЛЕДОВАТЕЛЮ ГПУ ТОВ. АСЛАНБЕКОВУ

Уважаемый тов. следователь!

Вот уже 4 дня, как я по роковому недоразумению арестован и переведен, без суда и следствия, из ГПУ в тюрьму. Меня еще ни разу не вызвали на допрос, что могло бы сразу установить мою полную непричастность к гнусным проискам белогвардейцев. Это пребывание в полной неизвестности сильно действует на мое здоровье и нервную систему. Ввиду того, что тюрьма — бывшая больница и стены между камерами очень тонки, слышал весь разговор от начала и до конца в соседней от меня общей камере, где сидят арестованные из «Красных Скал». Разговор мог бы сообщить Вам на допросе, если б Вы меня вызвали. В нем есть интересные моменты. Убедительно прошу дать мне возможность посильно помочь делу советского правосудия.

Бывш. письмов. военной канцелярии Н-ского полка Красной Армии, рабкор центральных и местных газет

В. Сюсюкин-Горский.

Секретно

СЛЕДОВАТЕЛЮ ГПУ
ТОВ. АСЛАНБЕКОВУ

Несмотря на мое обращение к Вам, тов. следователь, от Вас до сих пор не последовало ни ответа, ни какого-либо распоряжения о смягчении моей участи. Я близок к нервному помешательству и могу при случае наложить на себя руки, будучи сыном алкоголика и нервной матери, лечившейся почти половину своей жизни гипнозом. Если в факте моего ареста играет какую-нибудь роль случайная встреча

моя с Жозефиной Эдмундовной Пшанской, которую знал с детства в городе Волочиске, то категорически протестую против всех оговоров, какие может сделать на меня под влиянием страха или истерии (она с детства истеричка!) означенная женщина. Увидя ее перед собой так неожиданно, я не успел сообразить, каким образом она могла появиться у нас, будучи эмиганткой и женой белого активиста. Если тем не менее я на нее не донес, то в силу своей неуверенности, была это она или не она, и не желая очутиться в смешном положении. Что Жозефина Эдмундовна Пшанская и есть та самая девица в «шляпе с перьями», которая сдала объвление в нашу газету, об этом догадываюсь лишь теперь. Полагаю, что во всем вышеизложенном нет по кодексу законов никакого состава преступления. Свою преданность советскому Октябрю я неоднократно доказывал пером и подтверждаю ее еще раз. Прилагаемое к письму добавление на отдельном листе есть точная копия разговора, о котором я намеревался довести до Вашего сведения лично. Не получив ответа, все же считаю долгом совести и гражданина помочь советской власти в ориентировке этого дела и послужить своим наблюденьем к правильной характеристике арестованных.

Преданный Вам

В. Сюсюкин-Горский.

Приложение

*РАЗГОВОР В ОБЩЕЙ КАМЕРЕ * АВГУСТА 192* ГОДА*

Разговаривают: старческий тенорок, самоуверенный бас, хриплый баритон и женщина. О чем говорилось вначале, не слышал. Повидимому, речь шла о Главнауке, к которой намеревался обратиться старческий тенорок за защитой. Тема: невыносимые условия для научной работы в Советской России. В виде примера: рассказ о каком-то приятеле тенорка, который изобрел новый дешевый способ изготовления горючего для автомобиля. Его изобретение больше полутора лет держали под сукном и отписывались, а когда он продал его во Францию, все вдруг зашевелились и нашли время и силы, чтоб травить его. Вывод: «Всегда находят время на травлю, а на все другое — заняты». Хриплый баритон в разговоре ведет свою линию: тон вызывающий, выражения резки, контрреволюционны.

Хриплый баритон. За последние пять лет первый раз засну спокойно. Тюрьма — единственное место для честного человека у большевиков. Вернее, для меня это единственное место, где я себя могу чувствовать свободным.

Женщина. Что вы называете «свободным»?

Хриплый баритон. Имею в виду свободу от впечатлений. На пресловутой «свободе» меня побеждает однообразие советских впечатлений. Я все-таки при крайнем индивидуализме животное социальное — уши, нос, глаза, рот у меня, как у прочих. Я не могу не слышать, не видеть, и в результате — это однообразие долбит меня: например, я новую орфографию принци-

ниально не признаю и не пишу по ней, но когда вас с утра до ночи допекают газеты, книги, адреса на конвертах, афиши, вывески, вы невольно, наперекор себе, привыкаете. Мне все трудней и трудней бороться против воздействий. В тюрьме я по крайней мере избавлюсь от необходимости воспринимать.

Самоуверенный бас. Ничего подобного, напротив, напротив. Разве вы не читали на вывеске? У нас не тюрьма,— «исправдом», здесь стенгазета, кружки, выборы, местком, культком, физкультура, лекции по политграмоте!

Женщина. Вы, значит, считаете «свободой»— чувство сопротивления себе самому?

Хриплый баритон. Не себе, а среде. Если что было в истории стоящего, так оно родилось из сопротивленья среде. Сам Ленин родился из антитезы среде. А марксизм для меня величайшее уродство, безобразие, чушь,— именно потому, что учит солидаризироваться со своей средой. Возьмите новое слово «социальный заказ». Разве не ересь? Когда, где, при каких условиях искусство отвечало на рыночный спрос? Искусство отталкивается от рынка, растет наперекор. Всех творцов считали разрушителями. Бетховена даже Гёте в свое время не мог выносить, а сейчас его играют на Октябрьских торжествах. Работать на заказчика все равно, что плевать на свою голову. Это nonsens.

Женщина. Вы не так понимаете.

Самоуверенный бас. Наконец, кто вам сейчас и вообще мешает? Работайте по-своему, умирайте с голоду, Бетховен умер на клопиной постели. Вас через сто лет читать будут.

Хриплый баритон. Я и намереваюсь здесь работать.

Женщина. Над чем?

Хриплый баритон. Я хочу написать «нецензурную вещь».

Женщина. А я убеждена, что мы не сможем написать «нецензурную вещь». Помните Павлова с его «рефлексом свободы»?

Старческий тенорок. Вы, кажется, хотите, чтоб наше положенье окончательно ухудшилось?

Хриплый баритон. Я предлагаю каждому попробовать повести следствие... в литературной форме. Куда-нибудь да исчез этот их пролетарский генерал. У нас есть материал — два номера «Аманаусской правды». Есть собственные предположенья. Есть опыт — сидим в исправдоме, чего лучше. Пусть каждый попробует по-своему рассказать, куда исчез Львов.

Старческий тенорок. Знаете, вы соблазнили меня. Главнаука, конечно, не сегодня-завтра положит этому конец, но маленькая историйка или научный фильм, это не плохо.

Женщина. А я убеждена — ничего у нас не выйдет.

Хриплый баритон. А я убежден — выйдет и немедленно начинаю. Это будет посмертная вещь.

На этом разговор прерван. Добавлю, что все четверо допускали очень резкие выражения по адресу ГПУ, высказывали возможные опасенья и даже ругались. Но эту часть разговора, как совершенно бессвязную, я не зафиксировал. В настоящее время арестованных, повидимому, рассадили.

Всегда на посту
известный вам *X.Y.Z.*

РАПОРТ

При сем, согласно Вашего отношения за № 48, препровождается Вам четыре рукописи, отобранные у арестованных, под названием 1) Рди, 2) 13-13, 3) Кик, 4) Зио.

Комендант аманаусского исправдома
Биберт Хайсаров

А. ЭЛЬ

Рукопись № 1
Рди
Б. Хайсаров

РОГ ДИАНЫ

ПОЭМА

...Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.

Пушкин

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Открой заветный том. Вдохни
Струистый холод речи русской
В ее младенческие дни,
Когда на неокрепший мускул
Младого синтаксиса лег
Кнута поэта мощный взлет
И гений Пушкина погнал
Российского ихтиозавра...

Друзья! Мы пили суп из лавра,
Жевали кашу из пшена
И не винтовкой долгоствольной
Спаслись от яростных погонь,—
Мы жалкой трусости огонь
Поддерживали богомольно.
То отсыревшим переплетом,
Крича, он корчился в огне,
То исходившей синим потом
Поэмой невозвратных дней.
Прияв конец скоропостижный,
Дымился остов полки книжной,
С ним заодно чадил кивот.
А мы, потомки славной рати,
Лодыжки свесили с кровати
И, честь проев, спасли живот.

Не с вами я, пустое племя
Борзописателей! Мне темя
Засеребрила седина.
Продажных перьев не точу я
У опереточных станков.
Отдать без жалости готов
За резву «Делию драгую»,
За лепет пушкинской зари,
За «ручейки», за «сени сонны»,
За эту скрипку Гварнери́,
За лексикон, навек влюбленный
В румянец полотна Ватто́,—
Все визги музы вашей пленной,
Затеявшей перед вселенной
Воспеть Нью-Йорком Конотоп.

Прохладен сумрак Аллалварды.
Шуршит сосновых игл струя,
Стекая на́ землю. Бурьян,
Расчесанный, как бакенбарды,
Вдоль ручейка, по самый брег,
Прорезан узкою тропою.
Олени тут, замедля бег,
Гуськом проходят к водопою.
Их уши чуткие дрожат,
Натянутые, как антенны,
Ловя сопенье медвежат,
Покашливание гиены,
Сторожкий топот кабана,
Скрип дерева и в отдаленье
Тяжело-дышащее мленье:
То крепко чешется спина
Лесного зубра; врыв копыта
В бурьян, он трет ее сердито
О придорожную скалу
И сводит мощную скулу
В неторопливую зево́ту.
Но вот олень-вожак рванул,
Рога развеся: слышит, кто-то
Тропу в бурьяне обогнул.

Проснулись кущи Аллалварды,
И, как костяшки с ловких рук
У игрока в шумливы нарды,
Скакнув, стада взметнулись вдруг.
Миг — нет их. В картузе потертом,
Жуя сосновую иглу,
Сквозь тихий лес проходит фертом —
Не дровосек,— его пилу
Уже воспели! Весь — суровость,
Чуб белобрысый — ниже лба,
Две точки скул. Мой homo novus,
Чей голос, зычен, как труба,
Тропарь в минувшем веке плел бы,
А в наши дни засел за колбы,
И, как птенец по скорлупе,
Клюет по богу — в ВКП...
Короче, без ненужной брани,
Мой лесовик — ученый ранний.
Зимою гложет фолиант,
А летом — вольный практикант,
Враг хозрасчета, недруг траты,
У мирных горцев не в чести...
Он шел, и таксусы баккáта [1]
Считал усердно по пути.
Вдруг — загражденье. Ежевика —
Не ежевика. Терн — не терн.
Мой Домоклетов смотрит дико
На длинный прут, что, гол и черн,
Через дорогу протянулся.
«Ба, проволока! — чертыхнулся
Студент. — Граница далека;
Ужли для шишек и береста
Казенной глупости рука
Огородила это место?»

Бежит, плечо косым углом,
К щеке подняв ремень винтовки,
Дремучей чащи напролом
Сын Красной Армии неловкий,

---

[1] *Taxus baccata* — красное дерево, тисс.

Мужиковат и сероват,
Волоча ноги, как халат.
Кричит: «Назад, проходу нету!»
«Что так?» — «Да, слышь, еще до свету
С охотниками комиссар
На зубра выехал в леса!»
Поворотил студент покорный
И вспять пошел месить траву...
Эй, други ахровцы, ау!
Палитры где у вас, проворны?
Куда как тема хороша!
Не царь, не бог, не падишах,
Не древних мифов порожденье,
Марс иль какой-нибудь Немврод,—
Сам комиссар за загражденье
Загнал державный свой народ!
Но вы, засевшие за брашна,
На полотне мазнув врага,
Вам ваши бельма вскинуть страшно
С отеческого пирога.
Вы даже дым трубы фабричной
Прикрыли дымкою приличной
И не рисуете наряд
Милиции, что, как и прежде,
Рабочих шарит по одежде,
Когда домой они спешат...
Старатели казенной кисти!
Но точка. Други, не хочу
В Соловках жечь свою свечу,
Лишен последних евхаристий:
Вина, сверкнувшего в стакан,
И пули, вогнанной в наган.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Любимцы муз еще в купе́ли,
Вступая жизни на порог,
Диана-девственница, пели
Тебя и твой зазывный рог!
Пред кем, в сиянье звонкой славы,

Старинной сказкой не вставал,
Стремглав несясь через дубравы,
Твоих видений карнавал?
Пьянея запахом добычи,
На бледной утренней заре
Псы рыли воздух лапой, тыча
Нос пó ветру, и от псарей
Рвались, дрожа,— чтоб, словно брызги,
Рассыпаться по сторонам...
И сладострастные их визги
Так долго после снились нам!
Забуду ль вкус дробинки терпкий,
Взлет перебитого крыла?..
В резьбе старинной табакерки
Эпоха памятью легла.

Страстей не тех взыскуют нынче.
Сменились боги и пейзаж.
Ему расчетливого Винчи
Пристал бы старый карандаш.
Там, где, в воде закрякав, утка
Зазывно селезня звала,—
Вздымает серый остов будка,
Рычит насос, пищит пила,
Таскают люди камни, доски,
Волна ломается о щит,
С концом потухшей папироски
В зубах десятник матерщит...
Что ж, не для барышни кисейной
Здесь место. «Влево, мать твою!»
Бегут, напорного бассейна
Взрывая в камне колею.
Настанет срок. Вода помчится,
Куда прикажет человек.
И вихрем света излучится
Ее насильственный пробег.

А ты, кому наш век упрямый
В ущельях, на гребнях горы,
По всей вселенной строит храмы
От Ниагары до Куры,

Кому на Темзе бритт развязный,
На Ганге медленный индус,
Душой враги, одеждой разны,
Алтарь единый возведут,
В геометрической оправе
Замкнув слепую силу рек,—
Бог электричества, да славит
Тебя строитель-человек!

. . . .

Меж тем из мрака встали горы,
Залиты золотом зари.
Поджарых псов лихие своры
Ведут на привязи псари.
Осла погонщик гонит палкой,
Хурджин щемит ему бока,
И трусит он походкой валкой,
Свисая профилем задка.
Над бурдюком народ гогочет,
С котлами кашевар хлопочет,
Баран несвязанный дрожит,
Его никто не сторожит.
И бьется мальчик с самоваром...
Охотники въезжают в лес.
За молчаливым комиссаром
Поодаль следует черкес —
Телохранитель. После страды
Несчетных дел, речей и встреч
Дианы дикие услады
Большевика должны развлечь.
Треск западни у частоколья,
И ты, зазывной пули свист,—
Быть может, памятью подполья
Еще вас любит коммунист!
Иль, чтоб лукавым сибаритом
К ручному зверю не привык,
Тобою кровь свою пьянит он,
Охоты яростный язык?
Уж мой герой летит оврагом,
Швырнувши повод у луки,
Навстречу с треском бьют по крагам
Его сухие тростники.

За ним спешит черкес дозорный,
И вьется конь под седоком,
В изгибы троп папахи черной
Туда-сюда бросая ком.
Но что за странные повадки?
Наш комиссар в бесплодной схватке
С ольхой и с сонным роем ив
Свой держит путь то вкось, то вкривь,
То, рыща взглядом вдоль дороги,
На всем скаку нежданно став,
Вдруг бледной ленты клок убогий
Сорвет с прибрежного куста,
То шарит в дуплах, то подскоком,
Подняв над пропастью коня,
Высматривает странным оком
Листок бумажки в зеленя́х,
То, блеском мысли обожженный,
Глядит в упор, обвороженный,
На высеченный вдоль скалы
Фигурный знак, носящий сходство
С чалмой на голове муллы,—
И — тайной мысли сумасбродство —
Покуда конь галопом нес,
Сей знак в блокнот себе занес.

Затравлен зубр. Пусты бутылки.
Шашлычным жиром смазав рот
И вдоволь поломавши вилки
В зубах и в банках из-под шпрот,
Охотники отдались неге.
Стоял полудня сонный час,
Когда, как скрип степной телеги,
Воркует чей-нибудь рассказ —
Бессмертного барона[1] эхо.
Но встал усталый комиссар...
Средь взрывов зевоты и смеха,
Безмолвно трубку он сосал.
— Сидите! — Жест полубрезгливый
Псарям не дал подняться с мест.

[1] Охотничьи рассказы барона Мюнхгаузена.

(Поверьте,— Рим, Москва иль Фивы,
А тот же у владыки жест!)
Телохранителю черкесу,
С ружьем сидевшему на пне,
Он крикнул: «Я пройдусь по лесу,
Чтоб не надоедали мне!»
И скрылся. Сосен колоннада,
Подобно армии солдат,
Теснясь за ним в багряный ряд,
Укрыла путника от взгляда
И чада дымного костра,
Где в камнях жарился с утра,
На прутья длинные нанизан,
Шашлык и где, водой облизан,
Шипел прощальный тленья вздох,
Окрест себя курчавя мох.
О чем, меж чащи пробираясь,
Он думал? Память ли плыла
Над ним, как птицы два крыла,
В недвижности перемещаясь,
Иль мысль,— песочные часы,—
Достигнув памяти предела,
Над прошлым вновь взнесла весы
Еще невзвешенного дела?
Он помнил вечер: пели пули...
Знамена рвались на ветру.
Он был забыт на карауле
И, коченея, знал: «Умру,—
Но достою!» А нынче — где вы,
Орлы, бойцы любви и гнева?!
. . . .
Хрустит в ногах сосновый шелк.
Слезясь, смола струит куренье.
Кто жизнь по кругу обошел,
Тот обречен на повторенье.
Он мог бы криком роковым
Предостеречь: мне все знакомо!
Мы начинали, как и вы!
Но глух и слеп его потомок,
Как на заре был слеп и он,—
Таков живущего закон.

Не долго шел он по безлюдью.
Остановился. Глянул вспять
И вдруг, вперед рванувши грудью,
Как заяц, бросился бежать.
Бежать, к бокам прижавши локти,
Бежать, как если б хищник когти
Свои вонзить в него грозил.
Бежать, минуя в полумраке
Овраги, кочки, буераки,
Ручьи, колючки и кизил...
Красноармеец, где дозором,
В каких местах гуляешь ты?
Кого, слепым от лени взором,
Высматриваешь сквозь кусты!
Иль ты внимаешь осовело
Стук дятла, дальний лай собак,
Мякиной пальца порыжелой
В бумажке вороша табак?
И, закрутя и послюнявя
Широкоротою губой,
О бабьей думаешь поняве,
Как дым махорки, голубой?
Взгляни сюда...
У загражденья
Стеснилось сердце в беглеце.
Лежит печать изнеможденья
На испитом его лице.
Он ногу медленно подъемлет.
Занес,— в лесу раздался звук.
То втиснул проволоку в землю
Его презрительный каблук.

ЭПИЛОГ

Есть в Турции деревня. Сети
Рыбачьи кинуты в траву.
Там днем и ночью нижут дети
Сребристых рыб на бечеву.
Их пальцы смуглые кровавы,
Глаза черны, как чернослив,

И безмятежны их забавы,
И труд их нищенский счастлив.
Урус в деревне их прижился.
Сперва угрюмо сторонился
Краснопоясых рыбаков,
Пугался глаз контрабандиста,
Бледнел от русских парусов,
От пограничников и свиста
Сирен дозорных с маяка.
Потом привык. Удил слегка,
Над синим морем свеся ноги,
Купался, пел, солил миноги
И счастлив был. На берегу
Дышали водоросли йодом.
Как звезды, год кружил за годом,
В горах веков катился гул.
Он пил забвенье порой каждой
И стал, как дети. Но однажды,
Воспоминаньем озарен,
Глядит: белеет парус свежий.
Бегут под пламенем знамен
На зелень мирных побережий
С победным криком: «Будь готов!
Мы к вам, товарищи, мы — гости!»
И, побросавши рыбьи кости,
Турчата кинулись на зов...

ТРИНАДЦАТЬ-ТРИНАДЦАТЬ

НОВЕЛЛА

Рукопись № 2
13-13
Б. Хайсаров

С. ИВАНИЦКИЙ

Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!

Ф. Тютчев

Глава первая

Расписаний никаких не было. Вокзальные часы стояли на без четверти три, и это могло быть одинаково день и ночь, потому что с утра и до вечера и от вечера до утра в оплеванном, грязном, страшном, ничьем вокзальном помещении горело электричество, тоже ничье, за него никто не отвечал и никто не платил. Люди, которые ходили на вокзале взад и вперед, могли быть взятыми напрокат из чужого сна. Они едва ли в точности знали, кто они и что им нужно. Без сомнения, они снились.

Поезд мог не прийти. Никто не знал заранее, что это за поезд и должен ли он прийти. Но в темноте зловещим кошачьим пламенем, возникая из небытия, определились два глаза, въелись по двум прямым, словно две бусинки на ниточке, перпендикулярно к каждой человеческой паре глаз, смотревших вдоль полотна, стали расти, круглиться, подкатываться, доски перрона затряслись мелкой дрожью. Стало ясно, что поезд все-таки пришел и остановится.

Новая горсть людей выброшена в электрическое безвременье. Люди семенят тяжелыми ногами, подбрасывая на плечи мешки, волоча за собою мешки, подталкивая коленками и животами мешки, несомые перед собой по-женски, обеими руками,— так нести можно только с отчаяния, зная, что недалеко, или не зная — куда... Вокзальные люди бесшумно, прыжками тигров, бросились на приехавших.

— Дай донесу... Хлеб есть?

Но каждый молча волок свою ношу, а когда останавливался, теряя силы или для того, чтобы достать из-за пазухи странный, двусторонний, похожий на вексель, документ, старался держать мешок не дальше, чем между коленками. Худой, деликатный голос напоминал: «Бойтесь воров, гражданин», тут же, цепкими, но нетвердыми руками, очень на виду, в полусознанье, совсем как во сне, так же открыто и так же не мотивированно, шаря по чужому мешку, где расползались веревки, и силясь вытащить что-то, похожее на краюху хлеба. Следовали странные восклицанья, где обкрадываемый не верил, что может защитить свое добро, а крадущий не верил, что может украсть.

Быть может, потому, что во сне лучше делать самое неосторожное, небольшой человечек в военной шинели, в башлыке, синий от холода, согласился отдать свой мешок другому такому же человеку в женской кацавейке, толстой, как ватное одеяло. Из кацавейки во многих местах лезли хлопья ваты, напоминавшие весеннее цветение тополей. Но этот второй человечек был, повидимому, крепче первого. Он подкинул мешок на спину, раскорячился под ним и пошел крепкой развалистой походкой к выходу, где под мертвыми часами неподвижный красноармеец принимал и просматривал документы, похожие на векселя. А по векселям выбрасывались на улицу новые и новые люди, остановившиеся, как часы, полусознательные, сонные, синие, и на лицах у них было точь-в-точь как на циферблате, без четверти три — неизвестно чего, дня или ночи.

— Куда пойдешь? — хрипло спросил человек в кацавейке у человека в шинели.

— В том-то и дело...— виновато ответил человек в шинели. Голос был женский. Из-под башлыка, из-за воротника шинели взглянули два живых женских глаза. Сизое от холода и ветра лицо приняло резкие очертанья, и под электрическим светом тот, кто был в кацавейке, увидел ту, что была в мужской шинели — худую, даже тощую женщину с острым подбородком.

— Адресов-то у меня много, да я не совсем уверена...

Стоявший с мешком молчал.

— Как вы думаете, куда ближе? У меня есть адрес на Волхонку и на (красные пальцы развернули смятую бумажку)... на Сретенку, на... около Волкова кладбища... нет, это не то, Кабанихин переулок...

Человек с мешком оглядел улицу. Было совершенно темно и очень мокро. Три фонаря плавали желтыми пятнами в лужах. Не было слышно колес. Шаги проходивших звучали так тихо, словно вся улица приподнялась на цыпочки. Впереди — провал виадука, чернота, пустота, мертвые дома, полное уничтоженье. Он мог бы легко удрать на все четыре стороны. Но он не удрал, а только сдвинул мешок пониже, и тут женщина в шинели увидела его лицо,— это было сопливое, белобрысое лицо мужичонки с косыми глазами и редкими зубешками в таких опавших губах, что они уже не складывались вплотную, а так и тянулись резиночками вдоль десен.

— Дело-то к ночи,— ответил он дружелюбно,— иттить надо, куда вернее.

Но женщина не знала, куда вернее. Все адреса были одинаковы, все вели к незнакомым людям. Уверенность, с какой она собирала эти адреса, внезапно оставила ее. И тотчас же на спину, на ноги, на плечи навалилась ноющая усталость, а холод стал ей сводить кости и челюсти.

Они зашагали рядом, в темноту, и через несколько минут ей уже казалось, что мужичонка знает лучше нее, куда нужно идти и где будет вернее. Мужичонка стал ее будущим. Ослабевая, поднимая подошвы с такой неохотой, словно на каждой из них было наклеено по листу мушиного мора, упираясь от ветра подбородком в грудь, зевая, зевая, зевая — до дурноты, до головокруженья,— она чувствовала, что с каждым шагом веки ее слипаются и делается все равно, кроме одной всемогущей силы засыпанья. Тогда она слюнила пальцы и мочила себе веки, судорожно удерживаясь от сна.

Первое странствие закончено. Скудный фонарь струится у огромного каменного дома. Подъезд черен. Ни огонька внутри, и, ощупью пробираясь по лестнице, она влипла грудью в чью-то меховую грудь.

— Простите, вы не знаете, где номер...

Но простить некому,— мех побежал вниз, не оставив даже пыльного оленьего запаха. Квартиры по обе стороны. Двери можно нащупать рукой. Номера нельзя нащупать ни рукой, ни глазом. Внизу ждет мужичонка. Непостижимо, что заставляет его делить это странствие. Но он положил мешок на самое сухое место, сел рядом и терпеливо ждет.

Через десять минут женщина в шинели спустилась вниз и стала перед мужичонкой.

— Ну как, подымать?

Женщина сконфуженно глотает слова, и на скулах два кирпичных пятнышка.

— Я дала им письмо... От прежних хозяев квартиры, их родственников. Они говорят, что не понимают, как можно посылать в такое время чужого человека. Уверяют, будто каждую минуту обыск... Удивительно трусливые и странные люди.

Мужичонка, ни слова не говоря, встал и опять накинул мешок на плечи.

— Теперь куды?

Женщина смущена, дрожит от стыда и неловкости. Ей хочется рассказать кому-нибудь все очень подробно, и, шагая рядом, она описывает мужичонке, как ее разглядывали через дверную цепочку, как пожимали плечами, как грубо отвечали на вопросы. Перед вторым домом, на этот раз деревянным, в глубине тупичка, она мнется с минуту, потом решается.

На стук никто не отворяет. Из противоположной двери высовывается голова. Крикливый голос: «Куда вы ломитесь! Их нет никого. Выселены!»

Опять ночь, мокрота, темнота, покорная спина мелкозубого мужичонки с качающимся мешком,— но усталость перебита, ноги идут сами собой, сонливость прошла, в висках стучит лихорадка.

Славная, светлая передняя первого этажа, куда они оба вступили вдвоем. Перед ними девочка в бумазейном переднике, с платком на плечах. Глаза у девочки открытые и честные. Она изо всех сил убеждает женщину остаться.

— Мама вот сейчас, вот сию минуту! У нас эта комната не отапливается, но папа привез четыре пуда га-

…ты, я могу вам нагреть... Мама как обрадуется, раздевайтесь, раздевайтесь!

Девочка стягивает с нее шинель. Мужичонка нерешительно кладет мешок в угол.

— А то в случа́е чего,— шепчет он, делая ударение на ча,— есть тоже эвакционный пункт, там переночевать можно.

Женщина, выйдя из шинели, оказывается худой, слабой, жидковолосой и неопределенных лет. Она быстро кидается к мешку, оттягивает веревку и сует мужичку большой круглый хлеб.

— Погодите, я вам отрежу сала.

— У вас есть сало! Счастливица! — вскрикивает девочка.

Женщина отрезывает кусок мужичонке, потом девочке. Ломтик кладет себе за щеку. Начинает согреваться Но когда за носильщиком захлопнулась дверь, она невольно пугливо оглянулась. Передняя в этой квартире нарядна и велика. Обои под дуб. Вешалка дубовая, на стене какие-то рога и охотничьи трофеи, возле трюмо на столике шляпы, в углу — калоши. Все это еще существует и стоит на месте.

— Мама! — вскрикивает девочка и несется во внутренние комнаты, где хлопнула дверь. Проходит минута, другая, пять минут, никто не показывается. И наконец, очень медленной походкой в комнату входит плотная, рыжая женщина с грязным цветом лица. Бровки у нее мышиного цвета и кажутся обкусанными, губы поджаты. Подойдя к приезжей, она молча осматривает ее с ног до головы.

— Я удивляюсь... (голос сквозь зубы).

— Мария Афанасьевна просила вам передать это письмо...

— Я удивляюсь (письмо остается в руке приезжей, потому что хозяйка отказывается его принять), как вы могли, в мое отсутствие, воспользовавшись наивностью ребенка... Я удивляюсь, если вы интеллигентная женщина...

— Но куда же мне деться? Ваша дочь так настаивала, что я отпустила носильщика...

— Странно! Как она могла настаивать, если ей запрещено даже отворять дверь в мое отсутствие!

— Но Марья Афанасьевна...

— Я не знакома ни с какой Марьей Афанасьевной. А если б даже была... Я вас убедительно прошу очистить мою квартиру.

Вместо того чтоб оскорбиться, ответить презреньем, уйти, приезжая делает жалкие попытки остаться как-нибудь, под каким-нибудь предлогом, хоть одну ночь. Начинается длинный торг: приезжая уверяет, что у нее есть все документы, что она завтра утром найдет комнату, что ей бы переночевать хоть в передней, топить не надо, у нее есть мех. Но с другой стороны твердые возражения принципиального свойства. Ссылка на Алексея Ивановича, жильца. Алексей Иванович является в конце разговора. Он — толстый, бритый, хмурый, с привычкой чесать поясницу.

— Вы утверждаете, что вы музыкантша? Но, товарищ, когда так, вы обязательно можете устроиться на полном пансионе. Идите немедля на Сухую улицу, дом номер пятьдесят два. Там специальное общежитие. Можете сослаться на меня, что послал журналист Санин. Торопитесь!

— А где эта Сухая улица?

Вопрос действует успокаивающе. Санин снизошел до того, что чертит на бумажке план. Хозяйка вдруг вытаскивает за веревочку из коридора доску, набитую на полозья.

— Мадам, я готова чем могу... Вот возьмите санки, чтоб довезти свои вещи. Но убедительно прошу, завтра завезите обратно.

Где-то теперь тихий и рассудительный мужичонка! Он говорил об «эвакционном» пункте, но искать его сейчас нечего и думать. Ночь перешла во вторую стадию, когда воздух наполняется темным шепотом рос, на стенах и камнях выступает испарина сырости, вокруг незримое движенье, похожее на таинственную перемену декораций за занавесом. В эти минуты сон человеческий прерывается кошмарами. И в эти минуты она идет, как лунатик, передвигая бесчувственные ноги, неизвестно куда, волоча за собою на веревке громоздкие санки с

мешком. А в мыслях только одно: сало. Она впопыхах оставила весь кусок своего сала у них на стуле. Вернуться обратно? Взять завтра? А если не отдадут? Тогда она не вернет им санки...

Сухая улица неожиданно из поворота блеснула на нее целым снопом света. Ясно и отчетливо горел номер пятьдесят два в освещенном фонаре. Качался фонарь над подъездом, светились стекла в подъездной двери, и окна первого и второго этажа были освещены. На стенах виднелись афиши, извещавшие о диспуте... Поднявшись на ступени, обрадованная светом, она принялась стучать изо всей силы. Но и это оказалось ненужно: дверь была лишь притворена и тотчас же поддалась, открывая светлый путь наверх, по красной ковровой дорожке. Дом был старомодный. Вверх шла лестница, а по обе ее стороны отходили в глубину большие прихожие, с белыми голландскими печами во всю стену, справа и слева. Обе печи, щедро упитанные березой, трещали сейчас, как целый хор сверчков. На скамейке сидел швейцар или нечто вроде швейцара. Он поднял голову.

— Будьте добры,— начала она и запнулась. Уже давно она приготовила карандаш и бумажку, где сейчас, прислонясь к нагревшейся печи, нацарапала несколько слов,— будьте добры, снесите это кому-нибудь, кто еще не спит. Я приезжая, музыкантша... Меня направили к вам в общежитие.

Сторож посмотрел на бумажку, потом на нее. У него был сытый и сонный вид. Уже хотел он сказать что-то безразличное и безнадежное, но вдруг — нечаянно — увидел, как стояла перед ним женщина. Она стояла не прямо. Колени ее гнулись, гнулись под прямым углом, гнулись, как у старой извозчичьей лошади с перебитыми ногами. Лошадей он перевидал на своем веку, и что-то похожее на испуг мелькнуло в стеклянных глазах.

— Положь, положь бумажку,— зашептал он, сразу перейдя на «ты» — Уж я понесу кому надо. А ты иди покеда за мной,— идти-то не трудно ли? Недалечко тут, по лестнице, на мягкую небель посажу тебя, да и выспишься ты за милую душу. Давай мешок. Эх, и жизнь ваша!

Он шел по бархату лестницы, она за ним. Перед дверью остановился, из обшлага достал ключ, отпер

угловую и впустил ее куда-то, где было темно, душно и затхло, но зато тепло.

— До завтра записку твою читать некому. Спи с богом. Чего надо, в коридоре за углом. Да смотри, виду не кажи, что ты здесь, не то нагорит мне за тебя.

Он торопился сделать доброе дело, тем более что дом этот, комнаты, мягкая мебель, ковры, даже ключи за обшлагом — все было сейчас бесхозяйское, потерянное, дешевое, вроде приснившегося во сне магазина с товаром, за который никто ничего не платит. «Дать человеку попользоваться-то, хушь на ночь»,— думал он про себя, спускаясь по лестнице не прямо, а чуть набок,— привычка, усвоенная еще в ту пору, когда он носил длинную с галунами ливрею.

Женщина, оставшись одна и в темноте обвыкнув, увидела себя в очень тесной и густо заставленной комнате, в давнее время носившей название «штофной». Каждый звук, возникавший в ней, умирал в первую же секунду, капнув и поглотившись — как влага песком — жирными, губчатыми, плюшевыми обоями, ковром, портьерами и мебельной обшивкой. Вся комната казалась насыщенной этими провалившимися звуками. Женщина начала стаскивать ботинки, бросила их,— звук умер, не родившись. Чувство безопасности овладело ею. Она поверила, наконец, в прочность этого жилья, в прочность отдыха, но тотчас же, как поверила, вскочила с места: к ней шел поток чужой, яркой и громкой жизни, шел из щели в стене, образованной от неплотно натянутого плюшевого щита портьеры над неплотно притворенною секретною — под обивку стены — дверцей. Подойдя к щели и заглянув в нее, женщина увидела перед собою длинный большой зал строгого классического стиля с лепными карнизами и нишами в кариатидах. Зал, уставленный столиками, шумел сейчас, подобно морю. Сотня разодетых и веселых людей перекликалась, рассаживалась, прогуливалась, здоровалась, чокалась, ела что-то с тарелок, дымившихся на столиках. Это было так странно и так необычайно для того мертвого города, в котором она еще полчаса назад бродила, что женщина забыла усталость, села на пуф возле двери и принялась смотреть в щель.

Глава вторая

Когда советская власть начала свой эксперимент над человеческим желудком, некие ловкачи сумели отстоять, опираясь на высокое покровительство, красивый княжеский особняк для нужд неизвестно какого и кем узаконенного художественного общества. Дом, получивший еще два слова в виде прибавки и затем сокращенный в сакраментальный «ДИСК», остался тем, чем был, т. е. княжеским особняком и нимало не пострадал от своего диковинного прозванья. Картины, мебель, бронза, ковры, фарфор, даже столовое белье были налицо. Тридцать два человека прислуги, начиная с повара и кончая судомойками, остались при доме вместе с мебелью и были переведены на советский оклад по существующим тарифным ставкам, с прикреплением к распределителю и всем прелестям великой карточной системы. Эта «челядь», как ее называли до революции гости старой княгини, ничуть не гордилась установлением пролетарского порядка и считала слово «пролетарий», применительно к себе, обидным и оскорбительным, а старший конюх говаривал в людской, когда не было чужих ушей, что-де «это, который пьет — пролетарий, так он от невежества, от серости, может прямо от сохи взят. Который фабричный, матом ругается, на селе за такого приличную девку не отдадут, этот тоже, может, пролетарий. А мы свое дело знаем, у нас на книжке до революции двадцать две тысячи было с хвостиком, мы всю жизнь с господами и с чистой публикой; нашего брата барышня антиресует, чтобы ручки, ножки и в грудях не жирно было, потому мы тоже вкус понимаем. А вы скажете «пролетарий»!»

И хоть назначен был дому комендантом товарищ Подтеркин, из бывших местных обойщиков, и ходил он в телячьей дохе с портфелем, усы и бороду брил, сморкался в носовые платки, а бумаги писал не иначе, как диктованьем на машинку,— но этого коменданта тридцать два человека прислуги, или по-новому «низшие служащие», нимало не признавали и ориентировались не на него, а на старуху княгиню, оставленную жить в антресолях в качестве надзирательницы за столовым

бельем. Кроме княгини и челяди, в доме был заведующий «музеем ценностей религиозного культа», а проще — домашней часовней с иконами старого византийского письма в богатых ризах,— не кто другой, как молодой и благообразный, впрочем, на советском пайке похудевший, собственный ее сиятельства поп, Андрей Десятизванный. Поп Андрей часто и без ведома высшей власти устраивал в своем музее моленья, после которых сама княгиня и кое-кто из тридцати двух человек низших служащих и присутствовавших в доме людей искусства и науки благоговейно прикладывались к белым и отменно пахнувшим ручкам отца Андрея.

Буфетом заведовали две барышни очень высоких родителей, и хорошую кровь можно было тотчас отметить по горбинкам на носу, выпуклым базедовым глазам и маленьким бородавчатым ушкам без мочек. Барышни продавали собственного изделия пирожные, качеством не лучше тех благотворительных вышивок, что делают жены статских генералов в климактерическом возрасте. Но зато всякому лестно было есть княжескую стряпню. «Не кто-нибудь»,— хвалили обыкновенно посетители, поднося к губам нечистого цвета безе или трубочку с кремом. «Не кто-нибудь,— соглашались и низшие служащие,— наш персонал натуральный, русский, а которые со стороны, те из жидов».

В чем же была деятельность ДИСКа? Ежедневно бумажками, отстуканными на машинках, летали настоятельные просьбы и просто резолюции об отпуске всевозможных первой необходимости предметов, начиная с наконечников для карандашей и кончая байковыми одеялами. Ежедневно, в порядке компенсации за отпущенное, для рабоче-крестьянского человечества устраивались в ДИСКе танцевальные, дискуссионные, научно-исторические, литературные и всякие другие вечера. В буфет неизвестно откуда доставлялся спирт.

Старые приват-доценты, оплешивевшие за революцию, водили ладонью по плеши, сконфуженно донашивая свое мировоззренье, проповедуемое еще только из самолюбия; с ним, с этим мировоззрением, вышло у них, как со знакомым, которого стали стыдиться в обществе и чья фамильярность была в конце концов мало обосно-

вина; но именно поэтому следовало взять его за руку и заговорить с ним на «ты» И сконфуженные приват-доценты все еще неутомимо воздвигали словесные башни из антитез «культуры и цивилизации», «Мадонны и Афродиты», «общественности и соборности».

Вокруг них набирались московские женщины с мягким московским выговором и особенно домашней осанкой,— их дорастили в революцию старенькие особнячки по тупичкам и закоулочкам переулков Зачатьевских, Успенских, Крестовоздвиженских, со стариннейшими музыкальными половицами, певшими под башмаками, и пылью мебельных чехлов; а до того они наводняли курсистками тротуары Мерзляковского переулка, перед узким клином здания Высших курсов. Женщины приобрели округлость форм, и утиную походку, и ту невыносимую печать «интеллигентности» — высокомерие, дающее право на некрасивость, отпугивающее критиканов,— что особенно поражает вас именно в москвичках. Старики ходили в этой толпе одинокими анахронизмами, шевеля губами.

В тот вечер, о котором я рассказываю, ДИСК устроил «кабаре» со вступительной лекцией о «морфологической структуре шансонетных песенок и связи их с эпохой французской революции». Зал был уставлен столиками, люди сидели за ними и теснились в проходах; пышноволосый докладчик в клетчатых брюках, стоя на эстраде, качался в такт речам своим, держа обе руки в карманах и заменяя жесты выразительнейшими гримасами.

Пробираясь через толпу к единственному незанятому столику, шла группа из трех лиц: переводчица с испанского, Камилла Матвеевна фон Юсс, и двое мужчин. Переводчица была хороша собой, ослепительно бела, и на каждый ее плавный широкий шаг приходилось бы два-три такта мелкой рысцы низкорослых брюнеток, с их выпираемым, подобно заквашенному тесту, розовым мясом в шелку,— из лакированных туфель-лодочек и выгнутыми от каблуков коленками.

Именно эта минута, во всей ее едкой выразительности, и привиделась усталой женщине из-за портьеры. Она никогда не видела рисунков Жоржа Гросса. Но

сейчас — глазами Жоржа Гросса — глядела она в залу, охваченная смутным ужасом. Ее потрясла тусклая выразительность лиц, похожих на мертвые маски. Казалось, глаза лежали на лицах отдельно, сами по себе, взятыми на прокат. Эти глаза глядели в небытие или в стену,— их способность пронизыванья, дивное свойство человеческих глаз, как бы входящих лучами своими в пространство,— исчезла. Белый налет незрячести,— так глядит уже не первой свежести рыба с прилавка. Изношенная синь под глазами, щеки, натертые кармином, жгутики намалеванных губ, словно нашитые из тряпочек,— страшные пятна разлагающегося трупа. Мнимый «цвет нации», собранный тут, был в сущности срезанным цветом, поставленным в стакан с водой. Будь женщина социологом, она подумала бы об этой трагедии беспочвенности; но ей только пришло в голову сравнение голодных улиц, прохожих в подворотнях с ослабшими мускулами — не державшими мочи — и этого блестящего зала с запахом кушаний.

Около портьеры шевельнулись стулья. Группа из трех лиц рассаживалась. Рыжеволосая красавица села первой. Двое мужчин перед нею были: один — толстый, с бычьим затылком — геолог фон Штакельберг; другой — тоже геолог — бельгиец фон Дитмар. Бельгиец был очень тонок, с длинной шеей и маленьким личиком, с повисшим носом и таким крохотным подбородком, словно его и вовсе не было, а прямо под губами начиналась шея. В первую минуту он казался молодым, даже юным, но, приглядевшись к тусклым волосам и бровям, вы вдруг замечали, что они совершенно седы и что гладкое розовое лицо покрыто сетью мельчайших морщинок. Он только что познакомился с переводчицей. Толстяк доканчивал представленье:

— Мсье Дитмар ликвидирует тут, с разрешенья большевиков, старые концессии. А вы, Дитмар, имеете удовольствие ужинать с внучкой фон Юсса, помните?

— Юсс, знаменитый исследователь Бу-Ульгена?

Толстяк несколько раз кивнул:

— Хороша, а? Достойна деда, а? Сама на хлеб зарабатывает. Языки знает.

— Как, вы работаете?

У бельгийца был почти женский, даже бабий голос; он поднял брови. Близко посаженные острые глаза взглянули прямо на Камиллу. Эти глаза дотронулись чересчур материально до всего, что было в ней небрежного и заношенного, до всего, что они в эту эпоху, по молчаливому сговору, не видели и не замечали друг на друге,— до поределого от стирки шелкового платьица, до тонкого шнурка пояса, с которого сошли шелковинки, обнажив белый налет хлопка, до башмаков, отсыревших от грязи, каемки белья из-под ворота. Она вдруг ярко покраснела.

Бельгиец тотчас же учтиво наклонил свой пробор.

— Три отбивных котлеты! — Штакельберг поднял три пальца и взглянул на «низшего служащего»: — Три, братец мой, отбивных с картофелем, три стакана вина, хлеба не жалей, больше клади. И потом... Ну дамское что-нибудь, пирожное,— одну штуку, понял? — Геолог выпятил один палец и погрозил им. — Стой, куда ты? И две рюмочки очищенной, с грибочком или капусткой, что у вас там имеется.

Он шумно вздохнул и потер ладони. Ужин был шикарен. Десятки тысяч,— месячный заработок счетовода! Камилла глядела на него с циническим любопытством. Она знала, что толстяк скуп и никого никогда не потчевал. Войдя сегодня в залу, веселая и голодная, она рассчитывала разве что на стакан чаю за столиком издателя и на карамель, которую можно унести в кармане, чтоб долго потом сосать в одиночестве. Но в воздухе было что-то исключительное. Оно шло от запаха шевиота и тонких сигар, от круглого личика Дитмара, даже от толстяка, который — не было ни малейшего сомненья — искал ее сегодня и подошел сам, даже подбежал.

— Я скоро покину эту страну... вы не должны нам отказывать!

Камилла и не собиралась отказывать. Она жадно глядела на стакан с вином, поставленный перед ее прибором, не вытерпела и вдруг выпила все сразу, блаженно чувствуя, как течет по горлу вино, заливая ей пересохший пищевод.

Штакельберг, напряженно улыбаясь, глядел на пу-

стой стакан. Дитмар кивнул ему — и геолог опять подозвал низшего служащего.

«Неужели он закажет второй?» — думала Камилла, опьянев. В воздухе забились, как тысячи волн в стеклянном бассейне, теплые струи музыки. Вышла певица, сложила на животе руки, палец к пальцу.

— Кажется, ваш дед,— начал Дитмар, медленно ворочая на тарелке котлету,— оставил знаменитую рукопись?

— Что это вы, батенька, весь мир знает, одни вы не знаете! Наследник, отец ее,— он никому не давал и в завещанье потребовал, чтобы распечатать при французском посланнике, Дюдье-Дюрвилле. А тут подоспела революция, мсье Дюдье умер месяца полтора спустя после смерти ее отца, не до рукописи было. Кажется, Камилла Матвеевна, она еще у вас?

— Или, может быть, вы передали?

— О, что вы!

Оба, Штакельберг и Дитмар, бровями повели на соседний столик,— Дитмар вопросительно, Штакельберг возмущенно. За соседним столиком сидел, напряженно выпрямив спину, человек во френче, и его спина с худою ключицей, острый зуб над прикушенным концом папиросы, барабанивший по столу палец, нога в краге, закинутая на другую, небритый кончик щеки — все было символом затесавшегося сюда, но дозволенного здесь, как пастеровская прививка в стеклянной трубочке, небольшого количества «большевизма». Небольшое количество большевизма, до революции — неудавшийся музыкантик из модного кабачка,— если глядеть в корень, ничего так не желало, как перестать казаться большевизмом, и в прищуренном оке выражало все свое критическое понимание происходящего на эстраде, давая понять и глазом и пальцами, что оно — «большевизм» в трубочке — отнюдь не меньше других разбирается в структуре французских шансонеток. Камилла повернулась в ту же сторону. Два ее спутника великодушно продолжали делить ее, один — говоря к ней, другой — за нее отвечая:

— Камилла-то? Ручаюсь. На папильотки — возможно. А сволочам, убийцам, разрушителям...

— Тише!

— Ни клочка, факт! На папильотки — да.

— Но зачем же на папильотки! Я могу предложить... Бельгийский королевский музей с удовольствием, за некоторую сумму...

— Сумму? Десять процентов комиссионных!

— Угодно ли вам, мадемуазель Камилла...— Дитмар наклонился к ней, одною рукой придвигая второй стакан вина, а другую, как бы просительно,— интимным жестом подбородка, вскинутого ей навстречу, натянутыми сухожильями шеи, умильным блеском глаз сопровождая эту совершеннейшую вольность,— другую он сжатым кулачком положил ей внезапно на колени.

Сжав веки, она боролась с судорожным приступом пьяного смеха. Он грозил вырваться фырканьем. Ха-ха, рукопись! Ей все представлялось нестерпимо лукавым, двоящимся,— рукопись была лишь предлогом, чтоб эта слабая рука с маленьким волосатым пальцем легла, сжатая в кулачок, не сильным, но жарким комочком ей на колено. Внезапно разжав веки, она во всю ширину глаз посмотрела на Дитмара. Она подмигнула ему, черт возьми. Это было уж слишком. Рука тотчас убралась на место.

Геолог обсасывал косточку отбивной котлеты. Дитмар отодвинул свою, не доев. Теперь он старательно, на два вершка, подчеркнуто отдалял свой элегантный рукав, свою тощую ногу, носок лакированного ботинка, бледное выхоленное ухо и тщательно выбритую щеку от неосторожного взлета ее тусклых шелков, от ее маленькой ножки, от молочно-белой руки, от пышных прядей ее рыжеватых волос, взлетавших тучей, когда она качала в такт музыке головой. А музыка яростно выбрасывалась с эстрады, присасывалась к сердцу, выедая его, как кислота. Музыка напоминала что-то из прошлого. Потерю? Мечту? Глупости,— Камилла допила второй стакан, сморгнув в него прошлое. Розовое личико Дитмара, с сетью мельчайших морщин на блестящей, гладкой коже, это круглое лицо без подбородка представилось ей кулачком — маленьким кулачком с волосатым пальцем.

— Рукопись, если хотите знать...— торжественно

произнес геолог, принимая у «низшего служащего» тарелочку с пирожным и критически оглядев ее: — ты бы, милейший, дал что-нибудь с кремом, а не бисквит,— рукопись, доложу я вам...

— Рукопись у меня дома! — заливаясь хохотом, пробормотала Камилла.— Ру... ру... если только черт...

— О, черт!

— Черт, если только не спер ее,— это мы сейчас узнаем. Нет, ос... оставьте меня, я не позволю! Вы нах... хал! Где телефонная трубка?

Немая телефонная трубка висела на стене, над нею. В ту странную пору оглохшие провода, онемевшие звонки, мертвые раковины говорили громче, чем напуганный обыватель, они говорили о разорванной сети общества, дырах, темнотах, фигурах умолчания,— они висели судорогой разрезанного червя.

— Не трогайте телефон! — прошипел геолог. По его мнению, каждый провод вел в Чека.

Но Камилла оттолкнула его ногой. Опьянев, она стала вульгарной. Она прижимала трубку не к уху, а к пылающей щеке, губы ее, красные от вина, бормотали пьяно и бессвязно:

— Тринадцать-тринадцать... Готово. Сатану. Моя рукопись, сатана, рукопись в красном сафьяне, в сундунче, в сунчукде... в сундун...

Маленькая женщина за портьерой, в комнате, которую мы назвали штофной, вдруг перестала слушать. Ужас потряс ее, напомнив о действительности: кто-то с шумом раскрыл дверь в ее убежище. Пьяный шепот донесся до нее уже не со стороны залы. Видения, достойные Жоржа Гросса, исчезли. Отупевшие, блаженные зрачки пьяниц проплыли и потухли. Шумное дыханье вползло в темную комнату, кто-то тащил сюда другого человека, в темноте были борьба, упрашиванья, икота, тяжелый голос мужчины твердил «я готтóв» (икота перекатывала ударенье и выходило «я гóттов»),— другой человек, женщина, отвечал лицемерным визгом; но вот мужчина нашарил выключатель, и свет залил комнату, а в ней — маленькую, худую фигурку в чулках и мокрые сапоги на ковре, шинель на диване, мешок в углу.

— Вы кто такая? — отрезвев, икнул человек, страшно вращая выпученными глазами. Он был огромный, рыжебородый, в пылающей красным и желтым тюбетейке. Его масленые губы были мокры и вздуты, как после трапезы людоеда. Теряя голос, она отвечала ему, и ее руки, опущенные вниз, тряслись.

— Вон! — крикнул человек.— Ил-лья! Сукин сын, мерзавец, сколько я тебе раз! Мы не ночлежный дом. Нам наделают неприятностей. С юга?· Приезжая? Ты голову потерял, собака, ты мне в Чеку попадешь, завтра же попадешь в Чеку! Что́,— до утра? Будьте добры, я вас не знаю... Никакого Санина, никаких Саниных не знаю, не слышал. Помоги ей, тебе говорят.

Через пять минут она опять стояла на улице. Она стояла на улице, куда за ней вышвырнули мешок и санки,— но уже вместо страха и униженной покорности в ней родилась ненависть. Руки ее продолжали дрожать, только это была другая дрожь. Она шла откуда-то из самых глубин сознанья. Поставив мешок на санки, женщина, все продолжая крупно дрожать, взяла веревку и пошла по улице. Уже не горели фонари и не светились огоньки в домах; над крышами, где фоном для черных труб стояло небо, стало мокреть и светлеть.

Женщина шла, разговаривая сама с собой. Она бормотала себе под нос странные и несвязные слова, из них можно было понять только бесчисленную цепь обращений: «Подумайте только», «Слушайте, пожалуйста...» Наскочив на тумбу, санки застряли, веревка туго лопнула, и женщина упала лицом на мокрые камни.

В ту же минуту ее приподняла с земли чужая рука. Настолько просветлело небо, что оба они, женщина и человек, ее поднявший, могли разглядеть друг друга. Он был тоже в военной шинели и ростом немного повыше. Утомленное молодое лицо с мясистым, вздернутым носом; проницательный, не слишком задерживающийся взгляд; фуражка, чересчур узкая для большого, выпуклого лба, сползающая на затылок. Она — мы теперь можем разглядеть ее пристально. В том высшем состоянии возбуждения, почти экзальтации, в каком находилась она,— весь ее скрытый источник жизни,

подобно нефтяному хранилищу, охваченному пожаром, высветил вдруг исключительной яркостью, цельною вспышкой, полным светом каждую черту ее мелкого и обыкновенного лица, сделав его лицом необыкновенным и потрясающим. Дрожь перешла на губы, на ресницы. Дрожь посыпалась дождем неожиданного рыданья:

— Послушайте, подумайте только! Где же у вас, где же у вас! Когда к нам на юг красные пришли, мы молились, молились на вас, мы этому всему верили... А здесь люди на улицах с голоду валятся, а вы мазаную толпу кормите,— гориллы, обезьяны, музыка, вино, какие-то иностранцы... Дитмар этот, наверное, шпион... Послушайте, ведь это же была оргия, я вам сейчас расскажу, как я туда попала. Я приняла за сон, дико мне показалось...

— Говорите последовательно,— произнес незнакомец и достал из бумажного мятого пакетика папиросу.— На Сухой? Так. Имя ее вы тоже расслышали? Неужели фон Юсс? Что́, по телефону тринадцать-тринадцать? Забавляются они. Вы наверное помните, дело шло именно о рукописи? Точно, точно,— собственные ее слова. Хорошо. А теперь...

Она уже перестала протягивать к нему, жестикулируя и рассказывая, свои трясущиеся руки. Ненависть перешла в озноб. Потемневшее, исплаканное, немолодое лицо глядело в простовато-решительное лицо курносого человека, и его «так-так», словно замок в ключе, доставило ей внезапно глубокое удовлетворенье, чувство пережитой связи, чувство — будто положила она кусочек себя в хорошее и сохранное место.

— А теперь, гражданка, я вас сведу в эвакпункт, недалеко. Там примут, поживете сколько надо. Спросили бы на вокзале, вас сразу и направили бы куда следует.

Он ее уверенно вел два-три квартала, таща за собой на обрывке веревки сани; полы его длинной шинели по-военному мотались, отскакивая от сапог. Узкоплечая спина была стройная, крепкая, и шел он четко и не сутулясь. Сдал сонному заведующему двумя, тоже четкими, словами, кивнул ей, задержавшись на минуту

хорошим взглядом на лице ее, и повернул обратно, а женщина осталась и навеки ушла из нашего рассказа,— досыпать свою усталость и определяться в том сложном социальном комплексе, каким ее встретила жизнь столицы.

Глава третья

События между тем продолжали разыгрываться, нисколько не считаясь с обычным размером зимней ночи. Было уже вовсе под утро, когда Камилла Матвеевна, сопровождаемая Дитмаром, остановилась на темной площадке, перед дверью своей квартиры. Ключ долго бегал у нее в руках, нащупывая отверстие замочной скважины, и его скользкий бег доставлял ей тонкое удовольствие. Но когда они оба очутились в маленькой темной комнате, где крылатым призраком распластался огромный, с приподнятой крышкой рояль, на грустных струнах которого лежали за неимением шкафа или ящика мешки с крупою, лавровым листом и макаронами, и тихое перезваниванье задетых струн пугало мышей, когда они покушались на паек; и где неживые портреты, казалось, падали со стен, подобные августовским метеорам, отражая случайный свет бронзовой поверхностью своих витых рам и озерами стекол,— Камилла почувствовала вдруг поспешный и тяжелый стыд женщины, которой хочется оправданья. Она скинула пальто на пол и осталась стоять посреди комнаты, говоря себе «ах» и оплакивая себя — от того, что нет в мире человека, способного разбудить в ней сейчас моральный рефлекс осуждением или упреком.

Дитмар же, сделав вид, что ищет ее,— протянутыми руками шарил по комнате, ища сундучок и борясь с чрезвычайной, ломившей его, как медведь, усталостью. Клеточки, не заграничного костюма, нет,— клеточки его тела, впрочем те же, что и таинственная изысканность материи, сделанной там, на таинственно доброкачественных станках, в таинственно поспешающем мире цивилизации,— взывали к покою. Столько тысяч и сотен раз погребаемые вместе с панцырями, кафтанами, жилетками его предков, становясь первородной материей,

снова и снова грубо будимой от сна и покоя, они прогонялись злорадным усилием человека из тихого протяжения небытия — в расчисленное количество работы, высасывались насосами из азота воздуха, ловились в течении воды турбинами, крутились, плавились, становились силой, работающей на человека и заменяющей ему фосфор мозга и мускульную энергию тела. Не мудрено ли, что клеточки изношенной материи этой, отдавшей свою энергию машине, дослуживали человеку и живому механизму его последнюю, спотыкающуюся службу? Могучее динамо сердца было подмочено, трансмиссии артериальных сосудов хрипели и срывались со шкивов, маховики челюстей дробились от хрупкости, турбины нервной системы отказывались служить, и электрический ток не рождался, не рождался, потому что якорь не двигался, магнитное поле истощилось, проволока не пересекала его больше. Так случается и так будет,— ничто не дается даром, кроме советов родственника.

Дитмар разоблачался, сидя на краю кровати, от восхитительных, триумфальных образчиков победы материи, победы европейской цивилизации, ее фабричного станка и дешевого киловаттчаса: фиолетовой дымкой, пронзенной серебром шелка, слетели носки вслед за блеском штиблета; тончайший шелк белья проструился вниз, увлекаемый тяжестью подтяжек, отделанных искусством ювелира,— Дитмар был сноб, вдвойне сноб в поединке с женщиной варваров. Но выхоленность раздетого Дитмара мертвенно засинела при свете утра дряблостью кожи, бугорчатой от гусиного озноба, острой палочкой до неприличия тонкой ноги с рахитичной коленкой, впалостью груди, черным провалом подмышек, мясистою, жидкой брюшинкой европейца, привыкшего к медленной возне трех завтраков и обязательной салфетки. Закрыв глаза в приливе разочарованья, Камилла ловила себя на мысли о мальчишке, съедающем первый раз в жизни фрикассе из лягушек. Неизжитый инстинкт славянки, разбуженный и взвинченный голодом, перешел в бешеную злость, когда Дитмар, скошенный усталостью, прислонил к подушке щеку. Он был все еще учтив в этом жесте, подходящем для бархатной подуш-

ки салон-вагона. Обманчивые движенья вялых губ, весь его костлявый корпус с набухшей по-женски грудью, противные ребра, гуляющие в бессильной коже,— так пробует на ощупь практичная хозяйка ощипанного петуха и так его пробовала мысленно на ощупь Камилла, представляя себе, как она колотит, кулаками колотит насыпающего, бормоча извиненья, бельгийца. Ненависть слегка насытила ее. Но дремота, овладевшая ею, длилась не больше часа. Кошмары часового сна,— шорох ног допотопных животных в комнате, неумолчный стук в дверь, громкий голос деда, фон Юсса, длинный нос кузнечика, обеими лапками очищаемый под горластый треск «ру-ру-ру».

«Рукопись!» — мысленно вскрикнула Камилла и проснулась тотчас.

Утро стояло посреди комнаты. Все было отчетливо видно, хаос белья, стульев, продуктов в раскрытом рояле. Хаос чего-то, развороченного под столом. Прищурившись, она увидела: «сундучок». Не вскочила, а минут десять продолжала лежать, с холодным вниманием глядя на раскрытый и выпотрошенный сундучок. Среди вороха вещей, разбросанных по полу, не было рукописи в красном сафьяне. Медленно, все с тем же холодным вниманьем, она перевела прищуренный взгляд на Дитмара. Он спал, подвернув руки под себя, на животе, словно пряча что-то. Красный кулачок с волосатым пальцем, положенный слабо и несытой тяжестью взволновавший ее, вспомнился ей тотчас же, как если бы он все еще лежал у нее на коленке. Но теперь этот подвернутый и бессильный кулачок слился в ней с образом всего Дитмара. Она поняла: ее обокрали.

Трудно обокрасть женщину! В сумасшедшей способности взвинчивать, путать, приплетать лишних людей, Камилла тотчас же, из всех выходов выбрав сложнейший и наиболее шумный, вскочила и начала бесстыдно одеваться, кидая спине бельгийца гримасы бешенства. Свернув наскоро волосы и еще держа шпильку в зубах, она выбежала в коридор, повернула налево, воротилась, постояла, трепеща на месте, как мотор, а потом решительно пошла направо и остановилась перед большой, двустворчатой дверью матового стекла.

Стучать к товарищу Львову и говорить с товарищем Львовым в этом доме никто не решался с того самого часа, как товарища Львова водворили в комнате, откуда за неделю до него, ночью, вывели мирного гражданина Видемана. Вместе с мирным гражданином Видеманом из комнаты, что напротив, был уведен молодой князь Гагин, служивший письмоводителем,— чье имущество заключалось в почерке, и даже не в почерке, а, как он сам выражался устно и письменно, в «подчерке», ибо роду Гагиных не сплошь суждено было владеть грамотой. «В Рязанской губернии,— рассказывал Гагин, упирая на букву я и становясь похожим на бабу,— в Рязанской губернии Гагиными хоть мостовую мости. А предок наш изошел от татарина по имени Великая Гага, и были мы прежде, пока не растеряли наделов, князьями Великогагиными. Если же угодно, я могу переписывать казенную бумагу, отчетность и ведомость или же литературную рукопись для печати дешевле машинки и намного скорее».

Что касается гражданина Видемана, то Видеман жил с женой, и первоначально богатая квартира в переднем корпусе целиком принадлежала ему. По профессии Видеман был юрист и любитель фарфора. За месяц перед тем как увели его, ездил Видеман в город Подольск запастись яйцами и мукой. Но вернулся задумчив, без муки и яиц, хотя стал с того дня часто менять золотую десятку, и соседи видели на подносе, выносившемся в кухню, ломтики лимона в стаканах видемановых гостей, даже не отсосанные и не отжатые. Лимоны для членов коммунальной квартиры давно уже перестали существовать иначе, как в иносказательном виде бумажки с миллионною на ней цифрой. Беспримерная щедрость Видемана удивила их. И когда ночью метнулась в коридоре на стену тень человека в галифе с оттопыренной сзади кобурой, по всей квартире прошелестело: «Чека».

Спустя неделю автомобиль подвез к переднему корпусу маленького, курносого, в военной шинели, товарища Львова. Водворился он быстро и незаметно, и его водворенье отозвалось на жильцах даже некоторым

тайным облегченьем и чувством гордости: дескать, свой коммунист.

Вот к этому товарищу Львову, в неясном стремлении напутать, нажаловаться и противопоставить мужчине другого мужчину, вздумала войти Камилла фон Юсс, на ходу всаживая в прическу шпильку. Она постучала и стремительно открыла дверь. Она переступила порог, не сообразив еще, что именно скажет. Но тут глаза ее широко раскрылись. За письменным столом, вполоборота к ней, сидел товарищ Львов, с фуражкой, слишком узкой для круглого, выпуклого шара его головы. Он сунул пальцы под козырек, съехавший на макушку. Его беглый голубой взгляд, не задерживаясь слишком, прошел по Камилле и снова уперся в раскрытую на столе, отчетливо видимую, желтовато-серую рукопись в красном сафьяне. Она успела еще только поднять руку судорожным движеньем к горлу, где на цепочке хранилось у нее нечто,— и попятиться, попятиться назад, в коридор, чувствуя на себе боковой взгляд сидящего человека. Он хотел было сострить насчет телефона: вы звонили мне, гражданка... Но острота не далась ему.

Инстинкт,— большевики сказали бы, классовый,— мгновенно сделал из Камиллы практического игрока. Она чуяла неминуемую опасность, опасность для себя и для Дитмара. Она знала, что Дитмар лучше, Дитмар свой,— и она метнулась обратно, к Дитмару, сохраняя на этот раз здравую логику действия.

Дитмар стоял посреди комнаты уже одетый, с опухлыми мешочками под глазами, с длинным, красным от холода — потому что у Камиллы не топлено было с осени — носом, который он учтиво вытирал сейчас, чаще надобности, туго свернутым белым голландским платочком. Бельгиец ждал, повидимому, какого-нибудь законного продолженья в виде чая или какао, убедившись своевременно, что ни под тюфяком, ни в развороченном сундуке рукописи не было.

— Она украдена! — задыхаясь, прошипела Камилла, хватая его за плечо.— Убирайтесь отсюда через черную дверь на кухне. В шесть часов вечера, если не арестуют меня, ждите в церкви Успенья, в Успенском пере-

улке, вы и ваш друг геолог. Я дам главное, главное не в рукописи,— у меня. Скорей, скорей!..

Она тащила его горячей рукой к кухне. Вернувшись, она заметалась по комнате, собирая бумаги в папку, еще раз проверила цепочку и ладанку возле горла — и одетая, холодея, вышла в переднюю. Никто не сторожил ее. За дверью у Львова была необъяснимая и неестественная тишина. Другой призадумался бы над этим, но женщина — как перед шахматной доской — зажмуривает глаза на возможные ходы противника, уповая всем своим сердцем на счастливую случайность, забывчивость, ошибку, недоглядку. И сейчас, видя в закрытой двери Львова спасенье, она опрометью, через парадное, кинулась вниз, на улицу.

На Мясницкой, неподалеку от ворот, с левой, если подходить с Лубянской площади, стороны было (да и теперь есть) белое здание с разлетами обеих корпусов к полукружию подъезда казенного типа. Днем и вечером здесь толпилось множество людей в одеждах самых разнообразных, от кожаных курток и дох до красноармейских длиннейших шинелей, в шапках с наушниками,— держа чемоданы, портфели, а то и просто мешки на кусочке веревки за плечами и отирая морозную каплю с носа заиндевевшей собачьей шкуркой на рукаве или же снятой с пальцев дырявой рукавицей. Люди текли в двери, разглаживая вынутые из-за пазухи желтые, зеленые и розовые бумажки, летуче окрещенные «путевками»,— имя, которому суждено было перепорхнуть все станции Октябрьской революции, покуда, знаменуя собою последнюю законную станцию всякого пути — утомленье,— не укрепилось оно на санаторных листках кочующего по комиссиям гражданина. А вытекали люди уже с другой ношей, озабоченные и повеселевшие. Через рукав, колечком, свисал круг темной и нежирной колбасы из конины, сдобренной чесноком. Две восьмерки табаку или махры оттопыривали один карман, бумажный пакетик с невиданной роскошью — карамелями — торчал из другого. А на руках несли люди большие, белые, пухлые, круглые хлеба. Это был распределительный пункт для командировочных.

Камилла Матвеевна, получив от знакомого ей инженера, на сытой провинциальной пище еще не утратившего брезгливости, дорогой подарок — путевку, стала в очередь и медленно потекла с вливавшимися в ворота распределителя.

Ей надо было исчезнуть, раствориться в городе, замести следы, и, казалось, не было для этого лучше эпохи, чем придуманная большевиками. Как снежные хлопья, сыпались на город целыми пригоршнями новые люди. Они походили друг на друга одеждой, озабоченностью, краснотой лица, походкой, и среди них Камилла, в ободранной шубке и валенках, теряла себя и свое прошлое. Люди сыпались с вагонных приступок, куда-то спешили, запорашивали дороги и тротуары, сотни баб неутомимо, неся в мешках и корзинках «скоропортящийся продукт», антоновку или морковку, распяливались вдоль тротуаров у тумбы, обмотанные в платки по самые ноздри, и не торопясь продавали за миллионы и сотни тысяч свой товар, распространяя вокруг еще свежий запах деревни. Камилла получила командировочный паек и несколько обеденных билетиков. До шести ей оставалось кочевать по портикам закрытых музеев, съесть в низкой подвальной столовой, где потные женщины в белых фартуках, облепленные липкими каплями каши, распаренными руками выдавали каждому на билетик наскоро вытертую оловянную ложку и миску, в которую повар плескал жидкого овсяного навару с кусочком мяса,— съесть свой обед и опять ходить по темнеющим, жутким улицам, не чувствуя под собой ног.

Мужчина заметил бы при этих скитаньях (или мнительно вообразил бы), что за ним следит человек, на первый взгляд простоватый и подвыпивший, в мятом пальтишке и с ворохом волос, выпущенным низко на лоб из-под старой барашковой шапки. Но хотя губы его, вышлепанные наизнанку, и синяя окраска носа делали его ничуть не подозрительным для окружающих, взгляд его прищуренных глаз был неожиданно внимателен и остер. Мельком увидя его за собой, Камилла, однокоже, опять отогнала от себя тревогу и беспокойство, прячась за всяческие приметы, предве-

щавшие удачу. Между тем простоватый человек шел за ней исправно, сворачивая туда, куда сворачивала она. Скрип крепкого снега, облако от дыханья ползли за ней, заставив ее пройти по Успенскому переулку, не заходя в церковь. В эту минуту, будто не от церкви, а совсем с другой стороны, к ней донесло обманчивый удар церковного колокола. Она хотела уже повернуть, как назойливый преследователь, ускорив шаги, вдруг поскользнулся, налетел ей прямо на спину и, стараясь удержаться, схватил ее обеими руками за шею.

— Гражданка, звиняюсь. Не подумайте чего прочего.

Голос преследователя, веселый и простоватый, звучал добродушно. Он вызывал мысль о раскаянье. Камилла простила даже лапищи, несколько задержавшиеся у нее на шее, потому что они успокоительно пахли махоркой, спичками, салом,— и под ласковый смех незнакомца, теперь обогнавшего ее, вернулась в церковную подворотню.

Маленькая церковь Успения никогда не отличалась многолюдностью. Под старинными сводами ее было темно и сыро. У ворот за стеклом раньше горела перед образом итальянского письма бледнорозовая лампада. Эта большая икона, где три краски сочетались в бледный букет — голубой цвет плаща богородицы, ее розовое платье с открытым вырезом шеи и круглыми, твердыми складками вокруг маленьких грудей и густое золото венчика над головами ее и младенца,— была почитаема жителями переулка. Не раз и не два прикладывались к ней губы прохожих, оставляя на мерзлом стекле пятнышко таянья. Лампада потухла со дня Октябрьского переворота. Но одинокий фонарь бросал сиянье на мерзлое стекло иконы и, преломляясь сквозь тысячи льдинок, забрызгивал склоненный лик. Черные фигуры, торопливо крестясь, проходили в подворотню и исчезали в церкви. До странности много было сегодня черных фигур. Два церковных придела, оба едва мерцающие, жили как будто разной жизнью. В одном среди шепота и вздоха различались обычные суетливые бабы-торговки, степенные жители флигельков с бородами лопатой, старики и старухи — квартиранты

церковного дома. Однакоже с ними сегодня занимался не старый благообразный поп, а дьякон, ходивший туда и сюда, машинально выполняя службу. Глаза дьякона и вся его повадка были сегодня обращены к другому приделу, куда он нет-нет и вскидывался оком, тотчас же, наперекор себе, взмахивая кадилом и продолжая гнусавить прерванное. А во второй придел проходила особая, никому не знакомая публика. Нищие, обо всем наслышанные, услужливо раскрывали перед ней дверь. Черные люди, закутанные по уши, шли молча. При скупом свете видно было, что черный их цвет не случайность, у многих на рукаве был кусочек старого крепа, креп свисал длинной вуалью с женских шляп. Когда тени собрались в приделе и священник в парадной рясе торжественно задвигался в алтаре, вдруг из-под крепа раздался приглушенный вопль, и на него тотчас отозвался высокий седовласый мужчина коротким рыданьем. Мужчина выступил, разведя руки, как бы раскрывая свою скорбь без стыда и утайки перед чернотою придела, и в руки его втиснулась пухлая, мягкотелая женщина, сотрясающаяся от тихих воплей. Тогда весь придел задышал сочувственными слезами и сквозь них пробился монотонный рокот священного служения, которое справлял успенский батюшка с необычайной для него торжественностью.

Камилла, стоя сзади, часто крестилась и тоже всхлипывала. Круглый хлеб она положила перед собой на пол и, кланяясь, щупала, цел ли. Вдова уведенного Видемана и старый полковник, до этого вечера друг друга не знавшие, плакали, мешая слезы. Это была панихида, особенная панихида, казавшаяся героизмом священнику и молящимся,— справлялась она на сороковой день «по умученным и убиенным». Совсем в темноте, из предосторожности высоко подняв воротник, сутулился толстый геолог, в высшей степени недовольный, что его сюда завели. Профиль сатира, червячком подвернутая губа были полны страха а позади него, больше инстинктом, чувствовала Камилла присутствие Дитмара. Когда панихида кончилась и плачущие удалились, унося в своей нетвердой походке, опухших глазах и жалких обмотках крепа на рукавах и

шляпах все мрачное величие эпохи,— Дитмар приблизился тихонько к Камилле. С глухой враждебностью она ощутила новый запас элегантности, сытости, тепла и холи, исходивший от заграничного шевиота.

— Выслушайте меня, Дитмар!

— О да.

— Дурак (по-русски)! Нет, нет, это не к вам (по-французски). Рукопись украл большевик, товарищ Львов (геолог подошел к ним и прислушивался тоже), но это ничего, рукопись,— наплевать на нее. Если только — дайте честное слово, клянитесь, на кресте клянитесь, вот сейчас, перед батюшкой,— если вы только обещаете мне визу и взять в Бельгию,— понимаете, как? Жениться на мне обещайте, вот что!

— Дитмар женат,— прошептал геолог.

— Ну пусть фиктивно, все равно, я должна отсюда выбраться!

— И тогда, мадемуазель?..

— И тогда, мьсе...— Камилла остановилась, глядя на него торжествующе.— Тогда я вам дам, в руки дам, только не здесь, а за границей,— план, карту, анализы месторождения, о котором рассказывает дед в рукописи. Я могу за миллион продать, об этом в рукописи ни слова, я ни днем, ни ночью не снимаю, вот, на мне, если б об этом пронюхали...

Она ударила себя возле шеи и вдруг, забеспокоившись, стала шарить дрожащими пальцами между пуговиц ворота. Геолог и Дитмар, не замечая, глядели друг на друга.

— Покажите! — вырвалось у геолога.

— Сейчас, ах... что же это, сейчас, секундочку... Боже мой, боже мой, боже мой!

Дико вскрикнув, Камилла рванула с шеи обрывок цепочки.

— Господа, помогите мне! Этот мерзавец, он, он, боже мой, бегите, бегите за ним! Я шла по улице, он налетел сзади, схватил за шею, это он вид сделал, будто поскользнулся. Ах, дура я, дура я...

Переглядываясь, в безмолвии, бочком и спиной, Дитмар с геологом медленно, медленно отступили от потерявшей голову женщины. На крик бежал церков-

ный сторож. И уже, упав вниз, возле хлеба своего, понимала несчастная Камилла фон Юсс, что в одну минуту она лишилась будущего — заграницы, покоя, свободы, денег,— даже дома, где остались под крышкой рояля крупа и макароны и куда страшно было сейчас вернуться. Истерически плача, она уходит из церкви и со страниц рассказа, подобно первой женщине,— определяться в сложном житейском столичном комплексе. Это для нее бегут переулки вниз, к грязному снегу Замоскворечья, для нее чернеют дворы Долгоруковской, для нее лежит Сухаревка ворохом тряпья и сухим кашлем ночлежек,— и это она позднее, годы спустя, подойдет к вам в чулочках «виктория», с опухшим ртом и глазами, держа карту съестного и горячительного, между залитыми пивом столиками грязного «бара». Напившись, она расскажет, присев возле вас, историю прошлого, и Дитмару достанется в нем не по заслугам видное место.

Глава четвертая

Покуда на снежных и неосвещенных кладбищах городов и в нетопленых кладбищах домов разыгрывались все эти тусклые происшествия, как бы взятые эпохой, как модным оператором, не в фокусе съемки и о них начинали петь поэты; пока выплескивалась в литературу истерическая струя снегопада, метелей, ветров и создавались памятники всеобщего умосмятения, всеобщей сдвинутости и сброшенности с места, вьюгой проносясь перед обезумевшими обывателями,— в главном фокусе съемки, освещенный прямым лучом прожектора, стоял небольшой человек, рубя ладонью по воздуху в такт своей речи, щурясь из-под крутого лба, и пиджак танцевал, поднимаясь подмышками вместе с поднятой рукой, а жилетка морщилась у него на животе,— таким он восстал в тысячах гипсов и крашеных полотен, бесконечно везде любимых народом. И в этом небольшом человеке эпоха сосредоточила то, что латиняне называют ratio, свой интеллект, здоровую прямизну духа, направленного на самосознанье.

Десятки и сотни раз маленький товарищ Львов, сидя, как и сейчас, на мягком стуле, среди взволнованных своих товарищей, с обкусанным карандашиком в верхнем кармане рубашки, слышал знакомый голос. Они съехались сюда со всех концов истощенной голодом страны. Их маленький оркестр, поддаваясь вьюге, проносившейся за окнами, которую поэты назвали музыкой революции, заврался тоже. Обыватель слышал, стоя в очередях за пайками, что будто Троцкий пошел против Ленина,— и усмехался в собачью шкурку на рукаве. Но в квадратиках, организованных, как шахматная доска, фигуры стояли друг против друга, и на них лился сейчас ослепительный свет прожектора. «Цектран» возмущенно вставал против напавших на него «водников». Конфликт водников и Цектрана,— а кто из обывателей слышал о водниках и Цектране? Кто останавливался, идя с пайком на плечах, чтоб прочесть мокрую от клея, распяленную на стене московскую «Правду»? — конфликт водников и Цектрана был конфликтом организованной людской массы с организующей головкой учрежденья, конфликтом начавшего бродить теста с брошенной в него закваской, и уже над этим конфликтом реяли сотни надстроек, теоретические мечи скрещивались в брошюрах и листовках, создавались комментарии, буфера,— и только одна лопаткой воздетая ладонь с подушечками под ногтями рубила перед собой сгущенный воздух, пересекая его ослепительной ясностью здравого смысла. Вместе с другими, смущенный и взволнованный, товарищ Львов слышал высокие нотки без конца повторяющихся слов:

«...сочинить принципиальное разногласие и при этом сделать ошибку, на это мы мастера, а изучить наш собственный опыт и проводить его,— на это нас нет».

«...хорошо или плохо учрежденье, пока не знаем. Испытаем на деле, тогда и скажем. Давайте изучать и спрашивать».

«...нужно изучать, что из этого вышло. Практически изучать... требуя точнейших документов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот безнадежный идиот... Если нет документов,

нужен допрос свидетелей обеих сторон или нескольких сторон и обязательно «допрос с пристрастием» и допрос при свидетелях...»

Снова и снова требовал голос «проверки практического опыта». Перед Львовым, как и перед десятком его соседей, рука оратора, держа за вожжи понесшую тройку, как бы опять с усилием возвращала ее из иллюзорных пространств на колею проезжей дороги. Так закладывались первые камни «учета» и клалась на пюпитры маленького оркестра одна и та же партитура: «организуйте свой опыт», «изучайте свой опыт», «разбирайтесь в том, что из этого вышло».

Львов пришел на это собранье, дискуссионное собранье фракции РКП VIII Съезда Советов,— рассеянный, со своими мыслями, чтоб повидать нужного ему горного инженера-партийца. Но сразу же, как и другие, был охвачен тягой напорных слов, бивших все по одному и тому же, заряжен ими и готов к действию.

Когда у сидевшего позади него вырвался шумный вздох одобренья и Львов невольно, приняв этот вздох себе на затылок, обернулся,— оказалось, что сзади сидит как раз нужный ему человек. Подобно вздохнувшему, Львов испытывал странное облегченье. Словно на тяжелый груз, который он держал в воздухе обеими руками, легко наплыл кран элеватора и поднял его на лету, как слон поднимает хоботом копеечку. Проверять, опираясь на массы, быть проницаемым, быть выразителем того, что чувствуют массы,— Львов пережил знакомое чувство «социального настегиванья» — так он звал про себя исключительное мастерство Ленина возвращать оторвавшегося от реальной действительности члена партии к прямым задачам дня

— Ты мне нужен, выйдем вместе.

— Обожди,— инженер застегивался, роняя рукавицы,— всякий раз, друг, как слушаю Ильича, я понимаю, что́ есть в сущности гений,— это есть векторная величина. Мы в математике зовем (он говорил книжно и по-интеллигентски, Львов туго понимал его)... зовем векторными величинами такие, что указывают не степень только, а направленье. Мы с тобой, другой, третий — мыслим скалами, степенями; Ильич мыслит век-

тором, он дает что — и прибавляет к нему куда... черт, куда ты меня тащишь?

— Интеллигент! — смеялся Львов.— Ты бы по существу! А то сидел, слушал и вместо дела методику обсуждаешь. Собственного крыльца, Вектор Иваныч, не узнаешь. Иди, садись, читай это вот

Он аккуратно вынул из портфеля и разложил перед инженером рукопись в красном сафьяне и смятый, тщательно сейчас разглаженный, листок желтоватого пергамента, на котором тонкою краской был начерчен мельчайший план, сопровождаемый мушиными точками цифр. Инженер развернул рукопись и поправил очки на носу; не довольствуясь этим, он достал из ящика лупу и стал глядеть сквозь нее на пергамент. Читая, он левой рукой держал пригоршней бородку, почесывая себя большим пальцем под нею, как чешут за ухом кошку. Глаза его заблестели и расширились. Спустя полчаса он встал, полез на полки книжного шкафа, цепляясь за них руками, выудил откуда-то на ощупь толстый том справочника и порылся в нем.

— Этот фон Юсс,— инженер рыскал очками в справочнике,— Юсс этот был тип. Шаркал при дворе, гнался за орденами, был с тогдашними французскими дипломатами в родстве и, всего верней, на жалованье,— экономический шпионаж начала прошлого века. Я этим делом не интересовался, но есть куча материалов, есть архивы, можно восстановить историческую обстановку, если ты найдешь нужным, до самых последних мелочей. Что не он первый выдумал про свинец на Бу-Ульгене, это факт. Об этом еще у Павзания имеется... Но этому вот бреду,— извини, пожалуйста,— я не могу поверить!

Он ударил ладонью по рукописи.

— Здесь говорится, будто неправильно считать найденный на Бу-Ульгене металл свинцом. Будто геологи ошиблись. Будто показания, собранные у пленных турок, и образцы, полученные через контрабандистов и аскеров,— они говорят вовсе не о свинце, а о чем-то, лишь наружно похожем на свинец. Ты в минералах толк понимаешь?

— Не особенно.

— Свинец, видишь ли, металл-дурак. Он силен, прости за выраженье, задницей,—это один из металлов, не обладающий свойством намагничиванья, замечательный только по удельному весу, тяжелый металл. И вот фон Юсс утверждает, что металл, найденный в Бу-Ульгене, невежественные чиновники спутали со свинцом, приняли его блеск и его особое свойство за тяжесть,— произошла оптическая и мускульная иллюзия,— они приняли за тяжесть... знаешь что? Исключительную степень намагниченности. Не знаю, какой дурак мог принять намагниченность за тяжесть. Но фон Юсс утверждает это. Он утверждает еще больше: будто это совершенно новый металл и его соседство с бором очень знаменательно! Ну при чем тут бор, скажи на милость? И что будто бы этот самый необыкновенный металл есть магнит в чистом виде, магнит, какого мы в природе не знаем, потому что мы магнетизм знаем как свойство железистых руд! Этот магнит... нет, я отказываюсь говорить серьезно. Убери свою средневековую чепуху. Единственное в ней серьезное обстоятельство, что фон Юсс не получил за это ордена, не болтал вслух, не сделал сенсации, а почему-то припрятал рукопись в виде завещанья французскому посланнику и что его экспедиция на Бу-Ульген бесследно сгинула и (он опять поискал и прочел в справочнике)... «несмотря на все предпринятые розыски, следы ее так и не были обнаружены».

Выговорив все это залпом, инженер вдруг повернул озабоченное лицо к товарищу, и его растерянные близорукие глаза, с которых падали искры очков, его взлохмаченная пригоршней бородка, бледные, обмякшие губы говорили в десять раз больше, чем слова.

— Штука-то, видно, задела тебя, товарищ,— шепотом сказал Львов, сам не зная, зачем он понижает голос.— Прими во вниманье: делом этим интересуется Бельгия. Шпион фон Дитмар,— мы достоверно знаем, что он шпион,— охаживает Совнарком, добивается концессии на Бу-Ульгене, ловит внучку этого самого фон Юсса, и если б не случайность, и рукопись и план были бы не у нас, а у него.

Инженер беспокойно расправил листок пергамента и принялся его изучать.

— Предположи, что Юсс прав,— шептал Львов,— предположи, у нас на Бу-Ульгене найден металл, по силе подобный радию, чистый магнит или вроде того. Какая практическая польза?

— Польза? Если фон Юсс только на одну пятую, слышишь, на одну пятую прав и у нас есть на Бу-Ульгене нечто подобное, мы сможем покрыть всю страну электростанциями, стоящими не дороже, чем песочные часы!

Львов принялся молча укладывать в портфель рукопись и листок пергамента.

— Куда ты?

— В Кремль,— ответил Львов,— если поездка понадобится, готов ли ты?

— Стой, садись. Я должен досказать тебе. Вспомни Ильича: «Кто верит на слово, тот безнадежный идиот». Что ты понимаешь в технике, куда ты сунешься? Чем ты объяснишь? Кто тебе поверит? Десятки, сотни, тысячи ученых сидели над проблемой «перпетуума мобиле» — безостановочной машины. Знаешь ты, из каких морей фантастики выужен «якорь» динамо? Знаешь, сколько надежд было связано с магнитом? Естественный магнит колоссальной силы даст возможность чудовищных комбинаций, устройства ну хоть двух полей, перпендикулярных нашим полюсам, регулированья погоды, климата, вращенья земли...

Он схватил лист бумаги, карандаш и стал набрасывать перед Львовым кружева фантастических чертежей, когда-то забавлявших его в безвыходном одиночестве Шлиссельбурга.

Город был голоден, беден, ободран, люди измучены, издерганы, заняты, дел было много неотложных, прямых, требовательных, и все же, вспыхнув в зрачках мечтателя и чекиста, странная мысль об экспедиции на Бу-Ульген встретила сочувствие более практичных людей. Заворошились листы бумаги. Полетел тайный приказ. Сквозь штыки белых необходимо было пробраться смельчакам, рискуя жизнью,— и об этом, повидимому, отлично знали в шикарнейшем доме, подъезд

которого, и швейцар которого, и флаг которого ограждали от ареста Дитмара, поднимавшегося сейчас наверх по ковровой лестнице. В этом доме чиновники-иностранцы отлично говорили по-русски. Этот дом, давший приют бельгийцу, был миссией одного из иностранных государств. Чиновник с петушиной головкой, в манерах и повадке пропитанный казенщиной старого Петербурга, сидел в канцелярии, принимая прошенья и заявленья. Перед ним были новоиспеченные бланки, толстое желтоватое верже говорило о солидности. Посетители подходили в порядке живой череди. Они восстанавливали или устанавливали гражданство, получали пособия или визы, посылали или спрашивали письма. Родина их дышала здесь тонким воздухом контрабанды. В соседней комнате высокий молодой человек в визитке, стоя, попыхивал сигареткой. Его белокурая голова прилизана, голос еще не окреп, он был исполнен особого, исключительного уваженья к самому себе. В лихорадке больших возможностей, молодой человек стоял, мысленно переживая действия, как музыкант иной раз на губах, неслышно пузыря их, переживает сложнейшие оркестровые мелодии. В ящиках стола, связанные бечевками, небрежно лежали тяжелые кирпичи советских миллиардов, отпечатанных на заграничных станках. В стенных шкафах, окутанные и спеленутые, готовые переплыть желтые волны Рижского залива или трястись в новоиспеченных, лакированных вагончиках лимитрофных государств, берeглись высокие ценности — добро Эрмитажа и Румянцевки, таинственная закупка из рук в руки, с глазу на глаз. Каждый человек — вор,— так хотел бы оправдать себя прилизанный молодой человек,— и воровство в сущности — да, воровство в сущности — разве не романтика это рыцарственных Крестовых походов? Где плохо лежит... плохо лежит,— какое меткое, движущееся, обязывающее выраженье! Хорошо, действенно построен русский язык. Как закричал бы, как оскорбился бы молодой человек в визитке, как взволновались бы мелкие лимитрофные государства, как хищно оскалились бы пасти акул покрупнее, если б легкий озноб молодого человека, его легкие, быстрые мысли, его легкое,

радостное мироощущение стали бы на мгновенье ясными как для него самого, так и для всего хоровода их! Охраняя священнейший принцип собственности, переживали они в эти годы высокой температуры, ставя вне закона шестую часть света,— необузданную, сокровеннейшую, пьянящую и дурманящую — страсть из страстей, охоту из охот — клептоманию, страсть к воровству, стихию воровской безнаказанности. Одни рыскали там, где плохо лежали моря, суши и реки, леса и недра, границы и народности, сырье и рынки. Другие рылись рыльцами барсуков в обесцененных, плохо лежащих акциях, скупая и просто сгребая их пачками. Третьи, помельче, попроще, пьянели от старинных полотен, фарфора, персидских ковров, музейных картин, тайно вырезанных из столетних рамок и странными, грибными, плесенными людишками продаваемых среди грибов и плесени захолустных притонов,— о, воры платили ворам, платили настоящими и фальшивыми деньгами, пачками, связанными веревочкой.

Очнувшись, романтический молодой человек в визитке увидел, что он не один в комнате. К нему учтиво, хотя несколько снисходительно, с видом старшего брата, подходил высокий европеец в несомненном заграничном шевиоте, держа котелок в левой руке, а правую протягивая ему. Круглое личико прибывшего, розовое и гладкое на первый взгляд, с шеей, начинавшейся прямо оттуда, где следует быть подбородку, с длинным щербатым носом — бросалось навстречу улыбкой.

— Необходимо поговорить,— начал Дитмар, усаживаясь, стягивая с левой руки перчатку и бросая ее на дно опрокинутой шляпы,— совершенно конфиденциально, без свидетелей поговорить с вами!

На этом месте рукопись обрывается.

ИРИНА ГЕЛЛЕРС

КОЛДУНЬЯ И КОММУНИСТ

МЕЛОДРАМА

...and every thing is in
contrary with me...
Ch. Dickens, David Copperfield.

Рукопись № 3
Кик
Б. Хайсаров

ПРОЛОГ

Лес, из глубины показывается погребальная процессия, впереди две монахини со свечами, за ними несколько монахинь несут носилки с трупом игуменьи.

Монахини (*воют*)

Ой, плачьте, плачьте, выплачьте глаза!
Оплакивайте, сестры, мать честную,
Оларию-игуменью! Нет боле
Заступницы, советницы святой,
Нет матери Оларии меж нами!
По келиям насыпали овес,
Коней поставили храпеть и топать,
На паперти огонь проклятый вздули
И корм в котлах варят для супостата...
О, горе, горе, горе православным!

Старая монахиня

Где выроем, Олария, могилу?
Где старые твои положим кости?
Глядите, сестры, точно восковые
И рученьки и ноженьки ее.
Не трогают ни тлен, ни хлад, ни сырость
Ее костей. Наплаканные веки,
Как полотно изношенное, белы,
И светится сквозь них живой как будто
Горящий зрак... О матерь, матерь, матерь
Олария. Восстань с одра, спаси нас!

Монахини кладут носилки на землю, достают заступы и роют могилу.

Старая монахиня (*уронив заступ*).

Осиротели божьи храмы наши,
Укрыли нашу нищету леса.
Не мы ль не женскую несли работу,
Пахали, сеяли, взрывая камень,
К монастырю себе мостили путь?
Дивился нам, сестер не обижая,
Язычник-горец. А когда обитель
Меж зелени садов главой восстала,
Как утица всплывает из воды,
И разлила окрест благоуханье
Своих колоколов,— на зов умильный
К нам разве не сворачивал прохожий
И странник-пешеход не забредал?
Равно гостей монахини встречали,
По облику не делали различья,
Для каждого уху и хлеб душистый
Черница домовитая несла.

Молодая монахиня

Молчи! Довольно! Сеяли, пахали!
Зато теперь, безумная старуха,
Курятница, хозяйка, скопидомка,
Зато теперь и грянул божий гром
Над головами! Сеяли, пахали!
Подсчитывали выручку под вечер,
Гостей кормили! Нагребали кружку!
Не сеять, не пахать, а глохнуть, слепнуть,
Язык свой вырвать, руки отрубить
Нам надо было... О, куда бежать,
Куда бежать от мира!

Старая монахиня

Воздержись!
Скора ты старость языком порочить.
Труп матери Оларии не предан
Еще земле. Игуменьей тебя
Пока никто над нами не нарек.

Молодая монахиня

Игуменьей! Ты, старица, в лесу
Пред соснами да сусликом ужели
О выборах душою помышляешь?
Да что тебя — ни гнев, ни гром, ни враг,
Ни кони в алтаре не проучили?

Старая монахиня

Дондеже не прислал митрополит...

Молодая монахиня

О! *(Срывая клобук, топчет ногами, рыжие волосы рассыпаются по плечам.)*
Вот вам, вот вам, вот!

Монахини

Сестрица
Рипсимия!

Молодая монахиня

Нет, не сестрица я!
Княгиня я,— опять княгиня Ольга
Собесская!

Монахини

От страха помешалась.

Молодая монахиня

Уж двадцать лет, как умер князь Игнат
Собесский — муж мой, Пензы губернатор.
Ни крепкие затворы на дверях,
Ни когти императорского герба,
Ни синие жандармские мундиры,
Ни золото в отцовских сундуках
Его спасти от смерти не сумели!
...Я замуж вышла. Светлый брачный пир
Был бомбой разнесен. Мы схоронились
Меж четырех, напуганные, стен,
Балы, собранья, зрелища покинув.
Но адская разорвалась машина

Под нашей спальней. Сыном тяжела,
Дрожала я за каждый шаг супруга,
Любимого хотела я собой
Укрыть: не ел, не пил, не спал он,
Покуда я не съем, не выпью, прежде
Чем он, не лягу на кровать. Однажды
От свекра мы в карете возвращались,
Ребенок был у груди. Князь Игнат
Шинель свою на плечи мне накинул...
Вдруг просвистела сквозь окошко пуля,
И вздрогнул сын, и челюсти его
В предсмертной судороге грудь мне сжали...
Вскричал тогда непозабытый голос:
— Вон из кареты! Вот он, губернатор! —
Треск выстрела — и умер князь Игнат...

Старая монахиня

Оставь воспоминанья. Ночь идет.
Игуменьи Оларии останки
Пора предать святому погребенью.

Молодая монахиня *(не слушая)*

Царю небесный, разве твой чертог,
Прибежище измученных,— надежней,
Чем крепкие земных царей замки?
Укрылась я от мук в монастыре,—
Но тот же враг, захлебываясь кровью,
Мальчишка, сын убийцы князь Игната,
Клыком изрыл смиренную обитель
И скотским в ней навозом наследил.
Ужели прав был старый ловчий деда,
Что крепостные помнил времена?
Мне, девочке, твердил он: «От медведя
Коль хошь уйти, так надо на медведя
Идти, дружок».

Монахини опускают труп в могилу.

Старая монахиня

Так, господи, помилуй!
Воззрят на тя, которого пронзили...
Евангелья за упокой читайте!

Монахини (*читают*)

«...Убить его искали иудеи
За то, что он не только нарушал
Субботу...»

Старая монахиня (*читает*)

«...Истинно вам говорю,
Аз воскрешу его в последний день...»
Сестра Рипсимия, молись!

Молодая монахиня

«Огонь,
Огонь пришел я низвести на землю!»

Монахини (*меж собой*)

Воистину сестра ума лишилась!
Читает «в запаление огня»
Взамен «за упокой».

Отшельник (*незаметно вышел из-за деревьев*)

Эй, бог вам в помощь!
Кого хороните, святые жены?

Старая монахиня

Оларию-игуменью. Не ты ли,
Честно́й отец, отшельник здешних мест?
Есть у меня покойницы письмо
К отшельнику, отцу Нафунаилу,—
К нему и шли мы всем монастырем.

Отшельник

Давно ли мать Олария скончалась?

Старая монахиня

Тому три ночи.

Отшельник

Царствие тебе
Небесное, святая матерь!

Старая монахиня

Вот
Письмо, отец.

Отшельник *(читает)*

«Антихрист ныне близко.
Врагами осквернен наш монастырь.
Мой час настал. Но ты, Нафунаил,
Спаси от поруганья и приют дай
Одиннадцати сестрам. А потом
Их тайно отошли в Константинополь».
Легко сказать! Константинополь! Тайно!
Дать им приют, когда большевики
Опять отвоевали побережье
И красными полным-полны леса.
Одиннадцать сестер! Ну, удружила
Покойница! Вертайте-ка назад.
Вам отведут в монастыре по келье,
Земли дадут. Советских дураков
Задобрите советскими речами,
Объявите коммуну трудовую,—
Прокормитесь.

Старая монахиня

Отец Нафунаил!

Отшельник

Ну что еще — «отец Нафунаил»!
Куда вас деть? Вы ладаном пропахли.
Неровен час — погубите меня.

Старая монахиня

Отец Нафунаил!

Отшельник *(раздумывая)*

Вот разве это?
Мне девку надобно в притон портовый,
Одну иль две.

Монахини шарахаются.

Старая монахиня *(поднимая крест)*

Так будь же трижды проклят,
Волк в шкуре овна! Шелудивый пес,
Болячками смердящими покрытый,
Скребись, не наскребаясь! Сестры, полно
Надеяться на помощь сатаны.
Один господь своих детей печальник.
Он нам укажет путь. Вперед! Идемте!

Уходят. Молодая монахиня возвращается.

Молодая монахиня *(отшельнику)*

Кто б ни был ты,— мошенник или черт,
Бери меня, старик, в притон портовый!

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ночь. Порт. Слева слышен свист.

1-й голос

Эй, кто идет?

2-й голос

Свои.

1-й голос

Пароль?

2-й голос

«Победа».

1-й голос

Документы, товарищ.

2-й голос

Получай.

1-й голос

Их здесь не ждут. Они на Бу-Ульгене.
Миронов, свету! *(Освещает фонарем лица двух прибывших.)*

2-й голос

Мы — на Бу-Ульгене.
Молчок, товарищи. Понятно?

1-й голос

Да.
Где заночуете?

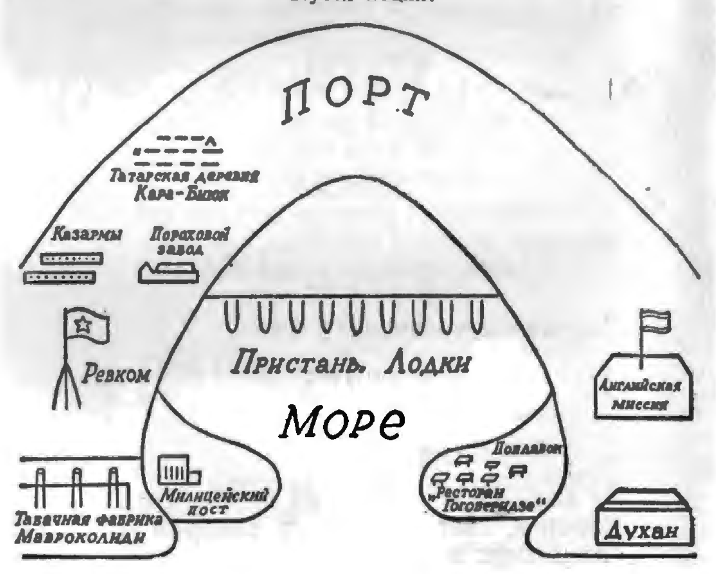
2-й голос

У предревкома.

1-й голос

Миронов, проводи их к предревкому!

Фонарь тухнет. Ночь медленно переходит в рассвет. Становится видеи порт. Он образует глубокое полукружие. С правой стороны: 1) здание английской миссии под английским флагом; 2) поплавок и на нем «Ресторан Гогоберндзе»; 3) низкий, грязный духан. Слева: 1) наверху — татарская деревня Кара-Биюк на горе; 2) пороховой завод и казармы; 3) ревком под советским флагом; 4) милицейский пост; 5) табачная фабрика Мавроколиди. Посередине — пристань, оркестр превращен в бухту, и в нем колышутся лодки.



КАРТИНА 1-Я. ДУХАН

Осторожно, один за другим, пробираются заговорщики, у дверей один становится на часах, садятся вокруг стола. Входит отшельник, отец Нафунаил, сбрасывает клобук и рясу, под нею — мундир царского полковника.

1-й заговорщик

Добро пожаловать! Каким известьем
Вы нас утешите сейчас, полковник?

Полковник

Приятным, господа, весьма приятным!
Приблизилась желанная расплата.
Не долго уж над старой комендантской
Болтаться окровавленному флагу,—
Минует день — трехцветное взовьется,
Трехцветное взовьется, господа!

2-й заговорщик

Ну-ну, не сглазьте!

Полковник

Радио имею
От сэра Блэкстоуна. Сегодня ночью,
Примерно от двенадцати до часу,
Когда я жду урочную фелюгу,—
На пушечный он выстрел подведет
Свое судно.

3-й заговорщик

Темны до черта ночи!
Не зажигают свет на маяке.

Полковник

Все предусмотрено. Взовьем ракету.
Мы выстрелу укажем направленье...
Но, вижу я, не все знакомы с планом?

3-й заговорщик

Не все, полковник.

Полковник

Можно рассказать
В подробностях. Кха-кха! Такого плана
Большевикам не снилось и в подполье!
Итак, я начинаю, господа.

Подходит к карте и водит по ней тростью.

Вот это — порт; он славной русской кровью
При доблестном российском самодержце
Был нашею державой завоеван.
Вот левый берег. Что мы видим здесь?
Большевики,— их, кстати, очень мало,—
В ничтожнейшем количестве засели
На левом побережье. Перечтем
По пунктам: милицейский пост, казармы,
Ревком, пороховой... прошу вниманья!
Пороховой завод. Рассадник бунта,
Убежище татарской бедноты
И большевицкой мерзостной заразы —
Кара-Биюк, татарское село.
Вы видите, горючее собралось
Как бы в одну заманчивую кучу.
Ее взорвать — совсем пустое дело,
Взяв левый берег с моря на прицел.

4-й заговорщик

Но там и фабрика Мавроколиди!

Полковник

Что делать, господа! Лес рубят — щепки
Летят. Предупрежден Мавроколиди,
Он вывезет сегодня к ночи деньги
И ценное имущество. Мы всех,
Кого есть смысл спасти,— предупредили.
Все в миссии попрячутся!

1-й заговорщик

Позвольте!
Я Блэкстоуна не первый знаю день.
Без повода он вам стрелять не станет.

Он англичанин, хитрый пес, законник.
Ему подайте повод — casus belli.

Полковник

А я, по-вашему, грудной младенец?
По-вашему, на английские фунты
Кефаль жую да пью напареули?
Обдумано до винтика-с! А повод
Нам подадут большевики. Ребята
Натасканы до полного сродства!

2-й заговорщик

Большевики?

Полковник

Вот именно! Жваченко,
Введи товарищей!

Заговорщики (*вскакивают*)

Как? Что? Товвв-аррр-ри!..

Из-за занавеси выступают два лупорожих и низколобых парня. Типы охотнорядца и урядника. Одеты под большевиков в кожаные куртки и краги, с наганами у пояса.

С ними рябой писарь Жваченко, перо за ухом, книга в руках.

Полковник

Рекомендую — теплые ребята,
Идейные. Один, товарищ Савва,
У Иверской работал в черной сотне.
Другой, Аполлинарий,— бывший пристав,
Донской казак станицы Шептуновской.
А ныне, милостью Интернационала,
Побыв в учебе писаря Жваченки,
Одумались, покаялися оба
И подают прошенье в Еркапе.

Савва и Аполлинарий (*рявкают*)

Рррадастарась, вашблаароды!

П о л к о в н и к

Жваченко!
Экзаменуй, да чтоб души побольше!
Души, собачий сын, без формализму!
Готовности,— нутра, нутра!

Ж в а ч е н к о

Живот,
Когда потребуют, они положат.

Заговорщики рассаживаются. Жваченко выступает вперед, откашливается.

Ж в а ч е н к о

Под сумерки пойдут товарищ Савва
С товарищем Аполлинарьем вместе
Походкою рабоче-пролетарской

Оба изображают рабоче-пролетарскую походку.

К англицкому парадному крыльцу.

П о л к о в н и к *(подмигивая)*

Их к миссии потянет прогуляться.

Ж в а ч е н к о (набирает воздуху)

Глядючи на акул капитализма,
Покеда их отсюда не погнали,—
Разъярятся товарищи...

Савва и Аполлинарий ярятся.

и Савва...
А ну, начни!

С а в в а *(хрипло)*

Докеле Чемберленам
Сосать нам кровь! Довольно подло, братцы,
Терпеть их нацию. Долой! По шапке!
Да здравствует наш вожжь, их благородье
Владимир Улиянов!

Ж в а ч е н к о

Тю, дурак!
Не Улиянов, а Ульянов-Ленин.

1-й заговорщик *(брезгливо)*

Так стряпают нам письма Коминтерна,
Медвежья помощь! Говори «товарищ»,
Их благородьем он не может быть!

Савва

Да здравствует наш вожжь, товарищ Ленин!

Полковник

Тут в миссии поднимется скандал.
Потребуют ареста демонстранта,
Тот выпалит в окно из револьвера,—
И вот вам casus belli.

Жваченко

А чего,
Когда тебя милиция захватит,
Ты языком, кацап, забарахолишь?

Савва

Уж быдто мы, Пал Палыч, не похожи
На сволочь красную, когда напьемся
Да лозунгами, что твоим орехом,
Па-айдем мостить!

Аполлинарий *(увлекаясь, лезет вперед)*

Прролетарьят всех стран!
Живва! Объединяйсь!

Савва *(наступая еще ближе)*

Не хошь работать
В поте лица,— так и не жри, собака!

Аполлинарий *(окончательно в восторге)*

Бей социял-жи... тьфу, ошибся малость,—
Бей социял-предателей под жабры!

Заговорщики хохочут.

1-й заговорщик

Да, друг мой, крепок добрый русский дух наш!

Полковник

Отменно крепок. Вот вам по пятерке.
Идите пить. А, впрочем, стой, Жваченко.
Ты помнишь твердо собственную роль?

Жваченко

Ракету должен я пустить в двенадцать
На пустыре, где склад пороховой.

Уходят.

Полковник

Ну-с, господа, по радио узнавши
О большевицком миссии обстреле,
О миссии, где леди, мисс и мистрис,—
Что сделает, по-вашему, сэр Блэкстоун?
Увидит он зеленую ракету,
Нацелит он свою многодюймовку,
Запалит он, таррахнет он — и порох
Взорвется на проклятом берегу!

Заговорщики

Так в добрый час! Обдумано не плохо!
До вечера!

Из люка в полу высовывается грек-матрос.

Грек-матрос

Пст! Эй, хозяин! Дело!

Полковник

Ну? Что там?

Грек-матрос

Львов с помощником секретно
Из Бу-Ульгена ночью прибыл в порт!

Полковник

А! (*Задумывается.*)

Заговорщики спешно расходятся.

КАРТИНА 2-Я

Крыша над духаном; грязная ночлежка. Старуха армянка обряжает монахиню.

Монахиня

Кончай скорей!

Старуха

Народ ученый в книжке
И то глядит страницу за страницей!
А женскою красой купец играет,
Как денежкой в закрытом кошельке.
Из-под ресниц не сразу вскинь очами,
Зубок держи припрятан за губой,
И грудью ты мужчину, как нацевкой,
Туда-сюда ершом заставь ходить.
Что есть у женщины сильнее грудей?
Матросов видела, последних пьяниц,—
И те у груди ласковей теляток.
Возьмут одну, сосут, лелеют, нежат,
И о другой никак не позабудут,
Чтоб не было обиды. Голубка́ми,
Детишками своими назовут.

Монахиня

Молчи!

Старуха

А ты запоминай покрепче:
Мужчина, что дитя: откуда вышел,
Туда назад без памяти спешит,
А женщина, что мать: откуда выдаст,
Туда назад стремится получить.

(Уходит.)

Монахиня *(рвет на груди платье)*

Рубец проклятый! Судорожный рот
Невинного сосущего младенца,
Простреленного пулей,— ты опять
В кошмарах мне щипцами грудь сжимаешь.
Без памяти упав тогда на снег,
Я слышала — ребенка отдирали
От матери, как с дерева кору...

И где ты похоронен, мой сыночек,
И кем ты был от матери оторван —
Не знаю и не ведаю: рассудок
Мой долго был с той ночи помрачен.

Старуха *(возвращается с ожерельем)*

Вот, курочка, красе твоей оправа.
Да быть мне жертвой солнцу твоему,
Коль ты теперь невестою не смотришь.
Развеселись — мы к ночи ждем фелюгу.
Припрятан парус у фелюги той...
Фелюга та с товаром будет красным —
Тебе и мне добра перепадет.
Фелюгу ту ведут контрабандисты —
Грек, да румын, да армянин, мой сын!

Монахиня

Счастливица!

Старуха

Да, будь ты помоложе...
Красив мой сын. Э, кажется, хозяин.

(Поднимает повязку на рот.)

Полковник *(входя по лестнице наверх)*

Где Ольга? Ольга, ты хотела мстить...
Что, черт возьми, за тряпки нацепила
Тебе майрик? Сними, пустая дура!
Без фокусов! Одежду проститутки,
Попроще, победней... Следы побоев,
Охрипший голос, пьяные глаза,
Тоска в глазах затравленного зверя,—
Так, кажется, расписывают в книгах,—
Побитая подружка кочегара,
В два счета большевичка, поняла?

Старуха раздевает монахиню.

Ходи, шатаясь, по дырам портовым,
Горланя песню, трись перед дверями;
Где двое или трое, там и ты,—
Так, кажется, вас иноки у́чили?
Подслушивай, высматривай, найди мне,—

Да вот тебе подробные приметы:
Молокосос, безусый, безбородый,
Глазами светел, волосами светел,
Родимое пятно за левым ухом,
Рост девочки... ну, словом,— здесь секретно
Находится...

Монахиня

Товарищ Львов!

Полковник

Товарищ!
Какой он нам товарищ! Этот Львов —
Сын террориста, мужа твоего
Прикончившего в Пензе,— предводитель
Кровавых шаек, что разбили белых.
Найди его... своим составом женским
И ненавистью женской ты почуешь
Верней, чем агенты из контрразведки.
Он должен быть опознан и — убит.

Монахиня

А! Значит, прав был старый ловчий деда?

Полковник

Поторопись!

Монахиня

Иди, иди медведем
На грозную рогатину ловца!
(Убегает.)

КАРТИНА 8-я

Поплавок. Ресторан Гогоберидзе. Столики занимаются посетителями. Входят двое с чемоданчиками, один маленький, другой большой.

Маленький

Гарсон!

Высокий

Но, Пьер, какие тут гарсоны!

Маленький

Кофе!

Официант (*проходя*)

Нэ дэржим.

Маленький

Черт тебя возьми,
Ну чай, какао, яйца всмятку!

Официант

Нэту.

Маленький

Да чем у вас питают по утрам?

Официант

Шишлык, стаканчик водка, помидоры.

Маленький

Чурбан, дай содовой... И слушай, слушай!
Куда ты?! К содовой... шашлык и водку!

За соседним столиком две дамы и человек в котелке хохочут.

Высокий (*кивая*)

Вон там стоит хозяин!

Маленький

Эй, хозяин!

Хозяин (*медленно подходя*)

Чиго тыбэ?

Маленький (*понижая голос*)

Скажите нам, хозяин,
Неужто черт принес на побережье?..
Все говорят...

Хозяин

Ны знаем.

Маленький

Но, однако,
Сегодня нас не пропустили в порт!

Хозяин

Мы знаем.

Маленький (*хорохорясь*)

Но, однако,
Ведь ждут сюда английский пароход.
Я должен был уехать...

Хозяин отходит.

Высокий

Петя, Петя!
Смотри, как ты неосторожен, друг!

Соседний столик.

Дама

Ну, эти не из робких.

Другая

Подведут
Себя и нас.

Человек в котелке

Я вижу их впервые.

Первый столик.

Высокий

Кричал вчера весь день о кокаине!

Маленький

О кокаине?

Высокий (*сердясь*)

Да, о кокаине.

Человек в котелке (*шепотом дамам*)

О кокаине...

Высокий

Здесь товарищ Львов,
Не позабудь! И значит — усиленье
Всей левобережной охраны.

Маленький

Здесь ли?
Он был еще вчера на Бу-Ульгене,
Охотился. С чего ему взбрело
Попасть сюда? А говорят — мальчишка,
И ростом мне до носу, Валентин.

Высокий

До носу, нет ли,— крупным полководцем
Себя повел на побережье Львов!
Ведь не секрет: у красных нет десанта.
И армию сюда не перебросишь
Автомобилем!

Маленький

Очень, очень мало
В порту красноармейцев!

Высокий

Очень мало.

Человек в котелке *(громко, дамам)*

Два с половиной!..

Маленький

Менее, чем надо
Для поимки фелюги с контрабандой.

Высокий

Потише ты!

Маленький

Чудак, чего бояться?
Кругом свои.

Человек в котелке (*поднимаясь*)

Позвольте прикурить!
Вы правильно изволили заметить
Насчет красноармейцев. Выбить их
Из порта можно бы одною пушкой,
Взяв левый берег с моря на прицел.

Маленький (*подмигивая*)

Но, кажется, отплыл в Константинополь
Сэр Ричард Блэкстоун?

Человек в котелке

«Кажется»,— ха-ха!
Отлично сказано. Вы, господин,— пардон,
Я извиняюсь — гражданин,— шутник!

Маленький (*шепотом*)

Скажите — эээ — не будет ли нескромно
Узнать насчет... эээ...

Человек в котелке (*шепотом*)

Кокаина?

Маленький

Да.

Человек в котелке (*оглядываясь*)

Я жду, как вы. Сегодня — безнадежно.
Полковник ставит ставку покрупнее.
Вы поняли?

Маленький

А где сейчас полковник?

Человек в котелке (*еще тише*)

Внизу, в духане.

Маленький (*расплачивается*)

Валентин, идем!

Гудок на левом берегу на фабрике Мавроколиди. Действие переносится туда.

КАРТИНА 4-Я

Фабрика Мавроколиди. На двор высыпает толпа рабочих. Толстый табачный фабрикант Мавроколиди влезает на ящик, рабочие его стаскивают.

Рабочие

Слезай! Довольно! Слышали! По горло!
Сегодня власть советов,— не твоя.
К нам сам товарищ Львов сюда приехал!

Мавроколиди

Товарищи!

Рабочий

Какой тебе товарищ!
Слазь с ящика, покуда пузо цело.

(Обстоятельно к толпе.)

Ребята, сорок дён мы работáем
На борова. Не платит ни копейки,
Все обещал к пятнадцатому сразу,
А нынче — вижу — в кассе паутина,
Мавроколиди вещи укладáет,
Коленкою брюхастый чемоданчик
Припер,— не иначе, как с нашей кассой.
А за углом, ребята, ждет линейка,
Извозчичья, не заводская!

Старый рабочий

Кобель!
Шушукался с английским офицером,
Удрать задумал,— при советской власти,
Мол, все равно не выжить фабриканту.

Третий

Веди его, ребята, к предревкому,—
Товарищ Львов там потолкует с ним.

Мавроколиди

Я заплачý!

Рабочие

Плати.

Мавроколиди

Заплáчу, право!
Откуда взять? На завтра отложите,
На завтра, ровно в десять, а сегодня
Пойду по должникам.

Старый рабочий

Да, как же, знаем!
На завтра от тебя и след простынет.

Мавроколиди

Ай-вай, пусти! Не трогать, прочь, бандиты!
Пусть пятеро идут со мной в контору,
Я расплачусь, я расплачусь!

Рабочие

Ну, то-то!

Уводят Мавроколиди. Из-за ящика выползает старший мастер.

Старший мастер *(вслед рабочим)*

Шумите вы, покуда флаг советский
Болтается над старой комендантской
Да дюжина красноармейцев бродит
По улице, пугая индюков.
А ежели б приспело подкрепленье,
Да красные на годы укрепились,
Отведали б вы райского житья!
Работали б весь день на производстве,
А вечером в комиссиях и клубах,
А в праздники — ногами и руками,
По улицам знамена волоча.
Да брали б с вас на ясли и газеты,
В союзы, мопры, химы, в пользу дурней,
Кто на земле бунтует и бастует,—
По кровному рублишке да полтишке,—
Оставив вам советскую копейку
На сладкое советское житье.

(Уходит.)

КАРТИНА 5-я

Милицейский пост. **Восемь милиционеров**, маршируя, выстраиваются. **Мальчишки** глазеют на ученье. Расталкивая их, подходят **горцы** в бешметах и бараньих шапках. Толпа их все гуще.

Начотряда милиции

Во́льно, товарищи!

Милиционеры кончают ученье.

Эй, Уздимбей, напрасно
Вы тут собрались. Митинга не будет

Горцы

Якши, якши,— где старший?

Начотряда

Что такое?
С чего вы взяли? Сам я, начотряда,
О старшем ничего пока не слышал!

Горцы

Врешь, Биберт, врешь!

Начотряда

Миронов, каково?

Горец *(выступая из толпы)*

Бараньей шапки, Биберт, ты не носишь,
На летний кош не гонишь баранту.
У очага осиротелой сакли
Давно без мужа спит твоя жена.
Но разве, променяв Бибертиану
На красную звезду большевиков,
Ты стал не наш?

Начотряда

Айда, старик, что дальше?

Горец (*медленно и важно*)

Со старшим мы хотим поговорить.

Начотряда

Чудак, у вас же есть предсельсовета!

Горец

Предсельсовета тоже тут — со старшим
Пришел поговорить.

Начотряда

О чем, скажи мне!

Горец

Все старшему подробно мы расскажем.

Начотряда

Заладил «старший, старший»! Говорю вам,
Нет никого в порту. Хотите — ждите,
Хотите — нет.

Горец (*выразительно*)

А долго будем ждать?

Начотряда (*тише*)

Коль очень надо — ждите!

Горцы

Чох сагол!

Снимают бурки, кладут на землю хурджины, располагаются лагерем вокруг поста.

Русский милиционер

Постой, ты это зря, товарищ Биберт!

Начотряда

Не зря, Миронов! Ваш ли, наш мужик,—
Уж он всегда своей мужицкой хваткой
Ведет дела. Ребята, заниматься!

Милиционеры рассаживаются вокруг стола, Миронов и начотряда заннмаются с ними.

Миронов

Итак, товарищи, остановились
Мы прошлый раз на речи Ильича...

Милиционер

Страница семьдесят три! *(Читает)* «Продержавшись
Два месяца и десять дней, Коммуна...»

Миронов

Стой! Ибрагим Багир, а ну, скажи нам,
Чем мы с тобой, по мненью Ильича,
Отличны от французских коммунаров?

Багир *(чешет под фуражкой)*

Чэм ми с тобой?

Начотряда

Иначе говоря,
Какое преимущество пред ними
Октябрьская имеет революцья?

Арсэн Мурадян *(подсказывает)*

Советы!

Миронов

Встань и объясни Багиру.

Арсэн Мурадян

Широкий масса не помог Коммуна.
А мы имеем за себя Советы,—
Так говорится у товарищ Ленин.

Начотряда

Ты прав, Арсэн! Создали государство,
Имеют аппарат большевики.
А коммунары в городе держались,
Как в крепости, отдельно от страны.

Горцы, подходя, мало-помалу вслушиваются.

Миронов

Какой же, братцы, надо сделать вывод
Из замечанья Ильича?

Другой милиционер

Тот вывод,
Что, ежели погибнуть не хотим мы,—
Крепи, ребята, шибче с массой смычку
И от врагов Советы береги!

Миронов

Еще какой кто может сделать вывод?

Пожилой милиционер

Я так скажу: к примеру, если овощ
До времени созрел,— наступит холод,
И овощ тот повымерзнет. У нас же
Посеяли большевики под вёдро,
И революция приспела в срок.

(Указывает на горцев.)

Смотри,— ведь слушает баранья шапка.
Коль не было б ему чего понятно,
Коль не было б ему чего приятно,—
Уж так и стал бы слушать он тебя!

Горцы пересмеиваются и надвигаются гуще. Милиционеры смеются тоже. Сквозь толпу быстро и резко проталкивается монахиня в одежде портовой проститутки и кидается перед начальником отряда.

Начотряда *(вставая)*

Чего ты, гражданка?..

На этом рукопись обрывается.

Профессор КАЗАНКОВ

ЗЕМЛЯ И ОКО

НАУЧНЫЙ ФИЛЬМ

Рукопись № 4
Зио
Б. Хайсаров

УЧАСТНИКИ:

Земля в виде ландшафта.
Земля в виде геологического разреза.
Лагерь № 1 геолога-ученого.
Лагерь № 2 геолога-инженера.
Лагерь № 3 геолога-практика.
Заблудившийся вождь.
Виды, речи и схемы.

«Vous avez fait de la prose sans le savoir...»

Balzac, Le deputé d'Arçis[1].

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стояло прекрасное солнечное утро. По небу стлались легкие перистые облака, вытянутые с востока на запад, что предвещало небольшое их сгущение к полудню и основательный туман к четырнадцати часам. Барометрическое давление, обычно довольно низкое для этой части гористой возвышенности, крайне близко расположенной к морю, сегодня еще более понизилось ввиду несомненно надвигающегося ненастья. Деревья стояли неподвижно, что объяснялось полным отсутствием ветров и даже каких-либо перемещений воздуха вдоль по всему ущелью реки. Сильно поределый буковый лес уходил высоко в небо своими мощными стволами. Несколько малорослых рододендронов наблюдалось между буками, а пониже, к воде, тихо стояли разновидности липового дерева и pintus caucasus. Десять человек местных жителей с плетеными из ивовых ветвей корзинами расположились под буками с целью сбора небольших буковых орешков, имевших применение в местных деревнях в качестве маслобойного растения, масло которого употребляется в еду, а жмыхи на прокорм свиньям. Для любознательного читателя замечу, что данное масло из буковых орешков не новость в Германии, где оно уже давно приобрело

[1] «Вы сделали хорошую прозу, сами того не зная...» Бальзак, «Депутат из Арси».

промышленное значение в качестве суррогата прованского масла, а также идя на выработку маргарина. Но вот один из сборщиков, статный крестьянин в башлыке, завязанном по-абхазски, глубоко вздохнул от усталости и вытер потный лоб. В эту самую минуту из лесу показался небольшого роста человек, с тревогой оглядывавшийся по сторонам в поисках какого-либо указания на дорогу. Этот человек заблудился и, чтоб вывести себя из досадного положения, принужден был затрачивать целый ряд усилий на блуждание с одного места на другое, тогда как при знании дороги ему, вероятно, удалось бы сделать в десять раз меньшее число шагов. Так всякое знание, читатель, укорачивает кривую человеческого усилия, что гениально сформулировал Александр Пушкин в двустишии:

> Учись, мой сын, наука сокращает
> Нам опыты быстротекущей жизни.

Завидя туземцев, занятых сбором буковых орешков, незнакомец быстро подошел к ним и обратился с вопросом на русском языке, каким образом пройти в заповедник зубров, расположенный возле ледников Аманауса. Не получив ответа, он счел необходимым уточнить свой вопрос и указал правильно широту и долготу искомого места. Однако ответа не последовало. Зная природную вежливость абхазцев, незнакомец догадался, что они не понимают русского языка, и, припомнив знакомую абхазскую поговорку, приветливо произнес:

— Адàгуа ізvн фу̀нт̆ адаv̀л адvpḣòм (для глухого второй раз в барабан не бьют).— После чего повернулся и пошел дальше. Он испытывал очень сильную усталость, голод и жажду, и только разнообразие окружающей природы помогало ему до некоторой степени заглушать в себе неприятные ощущенья. А природа щедро расстилала вокруг свои дары, и мимо путника проходили, в последовательном порядке, различные в и д ы.

(Прохождение видов целиком на усмотрение режиссера, но с оговоркой: он должен помнить, что данную местность образуют преимущественно осадочные поро-

ды, с обнажениями юрской системы. Там, где растительный покров исчезает и земля образует открытый сброс, можно глазами определить особенности почвенного покрова и характер следующих за ними слоев песчаника и сланца.)

В заключение этой части этнограф может добавить свой момент: путник видит под липой, согласно древнему обычаю абхазцев, до сих пор еще не исчезнувшему, приготовленные для путешественников в глухой местности стол, стул и разложенные на столе съестные припасы, а именно мамалыгу и крепкое вино. Обрадовавшись, он ест и пьет, но умеренно, чем и заканчивается первая часть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Солнце значительно поднялось к зениту. Перед путником внезапно появился столбик с небольшою дощечкой, на которой в виде стрелы указана тропа и русскими буквами написано, что данное направление приводит в лагерь № 1 Геологического комитета. Путник вступает на эту тропу, а читатель, точнее зритель, переносится между тем в самый лагерь, где идет повседневная научная работа. Геолог, принадлежащий к старой школе ученых, сидя в кругу своих помощников, трудолюбиво работает над тщательным составлением десятиверстного масштаба карты, занося на нее все указанные в природе горные возвышенности и точки и различною окраской обозначая геологию данного района. Здесь я должен отослать неосведомленного читателя к чрезвычайно острой полемике, разыгравшейся недавно на страницах научных журналов и газет в отношении эволюции типа геолога, происходившей на протяжении последнего десятка лет. Читатель, быть может, думает, что геолог — существо, так сказать, говоря словами немецкого философа Канта, an und für sich — «в себе и для себя»? К сожалению, должен заметить, что как объем и сфера занятий геолога, так и его методика, а следовательно и психологический тип, очень резко меняются под напором чисто внешних причин и воздействий. Было время, оно еще очень недалеко

ушло от нас, когда все функции геолога заключались в составлении десятиверстки, причем сосредоточивалась эта кропотливая, но мало прогрессивная работа при отделе Региональных съемок. Представителя именно такой старой, дореволюционной геологии мы видим в вышеупомянутом лагере. Его тип — это тип несколько облагороженного чистою наукой формалиста и бюрократа. Нанеся известную точку на карту, такой геолог, очень часто не покидавший четырех стен своего кабинета и пользовавшийся многочисленными картами съемщиков, был гораздо более заинтересован в неоспоримости своей точки, нежели в открытии каких-либо новых, других точек. Война сразу покончила с этим мертвым застоем в геологии. Будучи вынуждено искать у себя в России многие минералы и вещества, до того времени получавшиеся из-за границы, царское правительство во время войны расшевелило спячку Геологического отдела и сорганизовало несколько небольших экспедиций, целью которых была разведочная работа. Мы видим, таким образом, что во время войны тип геолога-формалиста переживает некоторое изменение в сторону геолога-разведчика, и чистая наука впервые вступает в стык с промышленностью. Октябрьская революция еще сильнее подчеркивает промышленный уклон геологии,— на мой лично взгляд, нежелательно перегибая палку в противоположную сторону.

Здесь я имею в виду мнение моего уважаемого противника, профессора Пузанкова, неоднократно выражавшееся им на страницах «Экономической газеты»,— по вопросу о «районировании работы геологов и специализации по ископаемым». Нет, уважаемый проф. Пузанков, нет, трижды нет,— чистая наука не должна и не может быть целиком отождествлена с промышленною разведкой! Что сказали бы в Военной академии, если б учителям стратегии было предложено стать рекогносцировщиками или разведчиками? Я считаю подобный уклон безусловно недопустимым! Я хотел бы, чтоб проф. Пузанков выразился яснее, кого именно подразумевал он в одной из своих статей под «земским врачом от геологии»? Прочь метафоры, ува-

жаемый противник! Бросьте оскорбленье в лицо! Не прячьтесь за расшаркиваньем перед Советской властью,— подхалимство вместе с доносительством плохая-с, плохая-с, опасная-с тактика для бывшего статского советника и члена церковного попечительства, наиуважаимейший профессор Пузанков!

Я, однако, увлекся полемикой и отступил от изложения сюжета. Путник входит в лагерь № 1. Его встречают приветливо, хотя и с удивлением. Когда же он задает вопрос о том, где находится Аманаусская область, ученый геолог рассеянно нагибается к десятиверстной карте, но в пределах начертанного им десятиверстного отрезка не значится этой области, ни дороги к ней. Пожав плечами, ученый рекомендует путнику зайти в отстоящий от него в десяти километрах следующий геологический лагерь № 2. Путник с неудовольствием отворачивается от этого гнезда формализма, и здесь обрывается вторая часть.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Лес между тем становится все реже, являя собою безусловно нездоровые картины бессмысленной порубки, порчи молодняка и поджога стволов, употребляемого местными крестьянами в целях легчайшего овладения деревом. Иногда через дорогу протягивается поваленный ствол белого бука (граба), каковой путник обходит, сильно прихрамывая от усталости. Наконец, вынув записную книжку и явно выйдя из себя, он начинает делать пометки и этим выдает свою принадлежность к кругу лиц, стоящих у власти. Ноги его несколько раз топают перед картинами варварства. Губы его нетерпеливо поджимаются, плечи раздраженно вздергиваются. Между тем ущелье понемногу переходит в каньон, растительный покров редеет, и режиссеру представляется богатая возможность показать на этот раз вулканические образования,— известняки, туф, мергель, в изобилии проступающие перед нашим путешественником. Лагерь № 2, в противоположность лагерю № 1, расположен в местности безлесной и мрачной.

Навстречу путнику кидается сторожевая собака. Вслед за ней выходит фанатичного вида человек, односторонне образованный. Я обращаю внимание режиссера на данный тип: это крайний продукт системы районирования и специализации геологов по ископаемым. Он знает только один свой район и только одну свою область — цветные металлы. Он работает исключительно на меди, добавлю — на меди абхазской. Если вы спросите его о меди азербайджанской, он представит собой фигуру умолчания. О таковой меди он знает не более, чем о залежах на луне. Зато в отношении абхазской он тотчас начинает просвещать путешественника, взяв его предварительно за пуговицу и говоря ему прямо в лицо. Путешественник делает несколько шагов назад, будучи совершенно не заинтересован в меди, но геолог-инженер, следуя за ним по пятам, все же продолжает говорить на излюбленную тему, пока оба они не проваливаются в небольшой шурф, где, впрочем, геолог, оправдывая поговорку о медных лбах, нисколько не будучи ушиблен, начинает доказывать ошеломленному путнику последовательное залеганье пород и толщину медной руды. Минуя тягостную сцену вылезания из шурфа, режиссер может прямо развернуть паническое бегство путешественника из лагеря № 2, в продолжение которого, в виде уступки дешевым вкусам публики, беглец даже может потерять несколько предметов из носильной одежды, в том числе один сапог.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Лагерь № 3 в лице своего выдающегося руководителя, геолога-практика,— не сидит на месте, а разъезжает по всем имеющимся в природе месторожденьям, готовя правительству подробнейший доклад о богатствах целого края. Мы застаем его за этой плодотворной работой на временной стоянке, где все напоминает заботливую руку человека в его вековечном стремлении к цивилизации. Над небольшим горным ручьем сидит завхоз с удочкой, ловя к обеду форель. Молодой член культкомиссии доканчивает составление минералогиче-

ской и геологической коллекций, укладывая в ящик последние образцы. Два техника упаковывают теодолит, а сам геолог-практик, журя одних, подбодряя других, проницательно осматривает в последний раз местность, чтобы сделать конечные выводы. Острый взгляд его задерживается на выступах скалы, и вполуоборот к молодому помощнику он бросает ценное замечание:

— А также водится гипс, охра, пемза, инфузорная земля и минерал флоридин, имеющие некоторое промышленное значение для индустриализации страны.

Тут из лесу показывается крайне утомленный путник, растерзанный вид которого мог бы внушить подозрение в месте менее диком, нежели описуемое. Не прерывая, однако, своей речи, геолог-практик жестом руки указывает помощнику на ручей и продолжает:

— Ручей этот имеет большие данные, о которых пока следует высказаться лишь предположительно. Он течет. В его течении намечается момент уноса выветрившихся пород, и, если глаза мои не обманывают меня, среди блестков слюды и горного хрусталя данный ручей доносит к нам, в виде некоторого процента черной пыли, наличие магнитного шлиха, что в свою очередь говорит о...

— Продолжайте!— нетерпеливо произнес путник, присев на обломок туфогенной породы возле замолкшего геолога-практика.— Если вас пугает мой вид — вы можете оставить опасенье. Я вождь пролетариата, заблудившийся во время охоты в лесу. Мне нравится широта вашего анализа. Не можете ли вы указать мне, где и в каком направлении лежит граница Аманаусской области?

Геолог-практик, вдумчиво взглянув на гостя, достал из кармана небольшой компас и протянул его измученному человеку: «Идите на северо-восток до ближайшей деревни Псоу-Цсу. Там вас ждут лошадь и два милиционера. Вас ищут уже две недели по всей местности».

Обрадованный путник успокоился и, не имея сил тотчас продолжать путь, охотно принял предложение

лагеря отобедать с ним форелью. Во время обеда, показавшегося ему вкусным и отлично приготовленным, путник слушал речи геолога, каковые, будучи представлены в образах, развертывают широкую картину ископаемых данного района. Когда, наконец, настал час прощанья, путник нехотя и с сожаленьем простился с гостеприимным лагерем и произнес, улыбаясь в знак того, что приобрел в дороге неожиданно новый запас знаний,— подходящую к случаю абхазскую поговорку:

— Aqуй̦àл mбv̀лгоз ахфà ахащèiт (глиняный горшок покатился, да по дороге крышкою накрылся).

Конец второго эпизода.

Эпизод третий

СТЕНОГРАММА РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ ** АВГУСТА 192* Г. В КОМЕНДАТУРЕ АМАНАУССКОГО ИСПРАВДОМА

Садитесь, товарищи. Прежде всего я начну с извиненья. Правда, без моего на то согласия, но отчасти, разумеется, по моей вине, вы пережили весьма неприятные семь дней, неприятные не столько физически, сколько морально. Вас, я надеюсь, устроили в обстановке, не нанесшей никакого ущерба вашему здоровью, и, по возможности, приблизили ваш режим к санаторному. Первым и последним орудием пытки, которое вы увидели,— я, товарищи, был в соседней комнате и не мог не заметить некоторого замешательства, проявленного вами при виде этого орудия, и нерешительности, с какой вы согласились испытать его действие,— единственным, повторяю, орудием пытки были обыкновенные докторские весы, на которых вас сейчас взвесили,— каюсь, по моей вине. Из любви к точности и ради личного спокойствия я хотел убедиться, что никто из вас не потерял в весе. Надеюсь, вы не станете сердиться на это маленькое проявление внимания к вам. Вот цифры — данные санатория «Красные Скалы» за среду, то есть за два дня до ареста: профессор Казанков 62 килограмма — не совсем много для мужчины ваших лет. Товарищ Геллерс, у вас вес подростка — 51,1. Поэт перегнал вас обоих. Его вес 68,8. О товарище Иваниц-

ком данных нет. Теперь потрудитесь взглянуть на эту таблицу: девять дней спустя, после ареста и заключения в исправдоме, цифры говорят следующее: вес профессора — 61,4 — убыль, которую я объясняю напряжением от несвойственной ему работы, вызвавшей значительную затрату фосфора. Ирина Геллерс — 51,9 и поэт Эль 68,9. Мы имеем, таким образом, значительную прибавку в весе у товарищ Геллерс и маленькую у поэта.

Статистика, товарищи, очень молодая наука, способная в будущем заменить музыку,— не улыбайтесь! Уверяю вас, что язык ее, подобно музыкальному, умеет ставить проблемы, не прибегая к понятиям,— исключительно «точками разной высоты». Так вот, статистика показывает, что пребывание в исправдоме в общем и целом не принесло вам вреда,— и это говорит о множестве вещей, начиная с деликатной материи и кончая самым практическим: от «чистой совести», в значительной мере облегчившей для вас пребывание под арестом, вплоть до качества вашего исправдомского стола.

Но некоторая разница цифр могла бы указать физиологу и еще на одно немаловажное обстоятельство: процесс стихотворчества, повидимому, дает несколько иную биологическую разрядку, нежели писание прозой. Элемент бóльшей закономерности ритма (говорю бóльшей, потому что новейшие исследователи считают художественную прозу ритмизированной речью, вы знаете это) создает, повидимому, более благоприятную «инерцию творчества», и поэт получает более сильное наслаждение от творческого акта, теряя при этом меньше фосфора, нежели прозаик. Это, конечно, чистейшее предположенье, потому что я никогда не писал ни стихами, ни прозой и только говорил, да и то суконным языком — как вы это уже заметили — на собраньях и митингах. Я, товарищи, по преимуществу докладчик, и, если вы согласитесь внести немножко юмора в эту нашу встречу, вы отнесетесь и к тому, что я сейчас вам скажу, как к небольшому докладу.

Итак, что же я вам сейчас собираюсь сказать? Прежде всего — вот ваши рукописи. Возвращаю их вам

в совершенной сохранности. Позволяю себе надеяться, что товарищ Геллерс кончит свою мелодраму, а новелла тов. Иваницкого будет дописана. В центре ваших вещей вы поставили «комиссара Львова». Канвой, по которой вышит у вас сюжет, служили события, изложенные в двух номерах «Аманаусской правды». И темою, или, как моднее выразиться, заданием, которое вы себе поставили, было, если не ошибаюсь, «написать не для цензуры».

Огорчу вас: положительно ничего нецензурного сделать вам не удалось. Даже та степень горячности, которая у поэта вылилась в неприятие советского строя, не идет дальше наивнейшей, я бы сказал, чисто профессиональной бравады, направленной на пустячки. Неужели стоит поднимать меч, чтобы обрушить его на АХР или на проволочное загражденье, которого, кстати сказать, никто никогда не протягивал и не мог в Аллалвардской пуще протягивать? У вас получилась детская вариация на тему о «перерождении власти», подправленная характерными для вашей среды симпатиями к оппозиции.

Но я заскочил вперед. Позвольте мне изложить свои впечатления в порядке последовательности: 1) герой, 2) материал, 3) задание. Товарищ Львов у поэта Эль берется в байроновском разрезе. Он очень мало русский — не в национальном, а в социально-типовом смысле, а это как раз очень характерно не для нашей эпохи, а для начала девятнадцатого века, когда отступающий перед ростом капиталистических отношений российский феодализм стал заворачиваться в тогу заимствованной у Европы романтики индивидуализма. Герой теряет живую социальную опору и становится несколько брюзгой, надклассовым холостяком,— одиночество, вызванное утратой будущего и отходом прошлого. В плане этой романтики и разрешается тайна героя. Исчезновение тов. Львова оказывается вариантом школьной темы «бегства». Львов попросту «бежит». Новейший бегун, родом из оппозиционного лагеря,— родной брат Мцыри, Чайльд-Гарольду и даже Печорину. Он, впрочем, модернизирован в силу необходимости — имеет, повидимому, сообщников, которые облег-

чают ему бегство разными условными приметами, указывающими путь к турецкой границе. Эти приметы:

То... «бледной ленты клок убогий»,
То «фигурный знак, таящий сходство
С чалмой на голове муллы»,—

должны провести романтического оппозиционера, минуя бдительное око ГПУ, сквозь чащу аллалвардских лесов к турецкому побережью — не так ли? Но чем поэт Эль мотивирует столь анархический и чудаковатый для марксиста образ действий, как бегство и последующее опрощение героя? Мотивировка, разумеется, есть и даже до крайности обобщенная. Это, видите ли, «разочарование», но разочарование особого порядка:

Кто жизнь по кругу обошел,
Тот обречен на повторенье...

Достаточно знакома нам, товарищ Эль, эта мотивировка, если не в стихах, так в прозе! Если бы отвращенье к новой орфографии не помешало вам читать газеты, вы нашли бы ее в нашей суконной прозе, выдвинувшей в качестве жупела небольшое словечко «термидор».

Он мог бы криком роковым
Предостеречь: нам все знакомо.
Мы начинали, как и вы...

Разочарованный тем, что революция — Октябрьская революция — привела его лишь к проволочному загражденью и выпивке под защитой «телохранителя-черкеса»,— сей товарищ Львов разочаровывается уже, собственно говоря, в мировом масштабе, разочаровывается вообще, впадает, ни мало ни много, в простое дикарство:

Купался, пел, солил миноги
И счастлив был...

И все эти райские занятия рифмуют, вдобавок, с красноречивой позой «свесив ноги»!

Выводы я пока отложу и перейду к разбору «Львова номер два», данного Иваницким в его замечательной, отнюдь не по-газетному написанной новелле. Львов предстает перед нами на этот раз в высшей степени

конкретным, лишенным всяческого байронизма и вполне русским. Он — курносый, большеголовый, настолько, что форменная фуражка не налезает ему на череп. Глаза у него внимательные, но не пристальные, не слишком задерживающиеся. Это очень хорошо отмечено. Пристально глядящие люди обычно плохо глядят, они «оставляют глаза» на объекте гляденья больше, чем следует, оставляют невидящими, переводят их на «холостой шкив», в то время как вышеотмеченный взгляд забирает впечатленье и передает его головному мозгу без задержки. Львов у Иваницкого как бы даже мало интеллигентен. Работает он в Чека. Несмотря, однако, на конкретность и явные черты трезвости, чекист Львов большой фантазер. Он увлекается рукописью сомнительного происхожденья и организует рискованнейшую экспедицию на Бу-Ульген.

Надо думать, если б Иваницкий закончил свою новеллу, тайна исчезновенья Львова расшифровалась бы следующим образом: вслед за советской экспедицией тайком продвигается вражеская, организованная шпионом Дитмаром вкупе с каким-то иностранным государством. Уже у самой цели Львов попадает в плен, но потом спасается, и таинственный металл, обладающий исключительной степенью намагниченности, достается в конце концов нам. Попутно обнаруживаются следы некогда пропавшей без вести экспедиции фон Юсса,— правильно я угадываю?

Вы дали в своей маленькой вещице нечто вроде сборного букета из прослоек эпохи военного коммунизма,— не дали только рабочего класса. Но знаете, что доказывает ваш рассказ? Он доказывает, насколько интеллигенции полезно читать Ленина, которого она не читает вовсе; он доказывает, насколько велика «обращаемость» прочитанного! Разрешите мне, товарищи, аналогию. Не все усваивается с одинаковой быстротой. Неудобоваримость обычной, как и духовной пищи, как известно, не есть положительный признак. Я бы сказал, что легкость усвоения и быстрота, с какою духовная пища вступает в кровь и становится «обращаемым» началом, есть большое качество, похвальное качество. Удивительно, до чего Ленин легко усваивается,— вы

доказали это, товарищ Геллерс и товарищ Иваницкий! Повидимому, вы нашли в исправдоме томики Ильича, пятнадцатый и семнадцатый [1],— не ошибся? Перелистали их,— и посмотрите, что произошло: даже прочитанная малая частица Ленина,— уже вошла в вас, уже «обратилась» настолько полно, что дала больше калорий вашим произведеньям, нежели усвоенная вами предыдущая духовная пища.

Ответьте мне честно, ну разве не оживляется сразу язык, разве не вспыхивает экран,— и с ним вместе вниманье читателя,— когда вы, Иваницкий, совершенно для себя непривычно и неожиданно, живописуете (очень непохоже в смысле историческом) сцену из партийной конференции и выступленье Ильича? Вы находите правильные слова, живые слова: «векторная величина»,— это хорошо. Сразу тут у вас становится интересно читать, и, уверяю вас, не только для меня, но и для всякого другого. Хотели вы этого? Не думаю. Просто — противодействие равно действию, здесь сказалось количество выработанных от полученной духовной пищи калорий. Вам самому, признайтесь, было интересно писать про это. И я не ошибусь, если в мелодраме товарищ Геллерс отмечу наиболее приятную сценку и, прошу прощенья, единственную сценку не условную и не мелодраматичную,— это сценку с учебой милиционеров и разговором «бараньей шапки»; очень хорошо взята у вас здесь проблема дружбы народов в советском освещении, просто, человечно, трогательно.

Позвольте мне и мелодраму закончить за вас: вымуштрованные под большевика черносотенцы, конечно, оскандалятся перед английской миссией; маленький, утрированный нэпман Пьер, конечно, окажется вездесущим Львовым, похожим у товарищ Геллерс на героя приключенческого фильма; монахиня, она же колдунья, окажется его родною матерью, и непременно он ее узнает по «рубцу на груди», а кончится все это чем-нибудь очень эффектным,— Львов, например, узнав о заговоре, пустит ракету на правом берегу, чтоб спасти левый, и сам погибнет, или же выстрела не после-

[1] Речь идет о первом издании.

дует, а «баранья шапка», дождавшись с азиатским терпеньем «старшего», выйдет на авансцену и попросит у товарища Львова что-нибудь вроде оросительной канавы,— верно я говорю? Вы улыбаетесь, значит, действительно так.

Хотел бы дружески посоветовать вам и даже поэту, именно поэту, продолжать все же чтение Ленина и вне стен исправдома. Я даю в данном случае совет исключительно литературного порядка. Такого языка вы не найдете ни у кого больше. Такой насыщенности содержаньем,— я бы больше сказал,— такого перехода формы в содержанье вы тоже ни у кого не найдете.

Речь Ленина — это искусство будущего. Некоторые очень хорошие слова, рожденные нашим временем, могут вам ближе пояснить мою мысль. Например, выраженье «рабочий жест»,— слышали вы его? Есть жест, который только «выражает», и есть жест, который несет работу. В обществе людей, ничего не делающих, вы можете наблюсти первый, на производстве — второй. Если, например, человек поднимает обе руки к небу, сидя при этом на кушетке, запрокинув одну ногу на другую и пожевывая кончиком губ папиросу, то можно с уверенностью сказать, что он «призывает в свидетели небеса», чтоб указать своему собеседнику или на правдивость рассказываемого, или на степень возмутительности, илн, наконец, укорить его в недоверии или жестокосердии, если этот собеседник — женщина. Но когда рабочий на производстве поднимает обе руки кверху и когда при этом он стоит под люком, можно опять-таки с уверенностью сказать, что сейчас он поймает на руки какую-нибудь тяжесть и передаст ее по назначенью.

Вы чувствуете разницу? Вот, товарищи, в этом различии кроется, пожалуй, некоторая схема «истории искусства» с точки зрения формы и техники. Надо думать, в начале всяческого подлинного искусства форма бывает содержаньем, художественный жест — исключительно рабочим жестом. Но когда класс, выносивший данное искусство, вырождается, когда он утрачивает свою роль гегемона, теряет почву, когда верхушка, уже отойдя от исторически поставленной и разрешенной своим классом задачи, становится только

паразитарной,— тогда искусство этой верхушки, рафинированное искусство, искусство модерн (в прошлом есть много примеров!) — это искусство начинает рождать форму отдельно от содержания, рождать жест, лишь «выражающий» нечто, но не несущий работы.

Возьмите хотя бы историю архитектуры по старым учебникам, без всякого марксистского подхода написанным. Там вы воочию убедитесь в справедливости моих слов. Архитектура имеет свою жестикуляцию, чрезвычайно показательную. Вот один ее жест — колонна. Что такое колонна? Вначале это вполне рабочий жест, колонна должна нести тяжесть, она служит подпоркой — иначе сказать, строительным элементом формы. Такова прямая роль дивных колонн Парфенона с их жизненными пропорциями, с их необыкновенной красотой, родившейся из целесообразного назначенья. Но что мы видим в дальнейшем? Колонна входит в постройку просто так, для красоты; ее начинают ставить там, где она вовсе не нужна,— эта колонна уже не несет тяжести, она только украшает. Она становится, таким образом, из строительного элемента формы декоративным элементом формы. Она, что называется, выражает мысль, «призывает небо в свидетели», но отнюдь не несет тяжесть, отнюдь не проделывает работы. Закат буржуазного класса, товарищи, повсеместно в Европе и даже у нас, поскольку мы имеем буржуазную прослойку, характерен этим стремленьем к сплошной декоративности, этим цепляньем за пустой жест, как бы его ни называли — орнаментом, символом, чистой формой, не знаю как,— отсюда родятся две таких крайности, как яростный «академизм» и вычурное «декадентство». Так вот, товарищи, круто возвращаясь к прозе Ленина, я именно хочу сказать, что она воспитывает хороший вкус «рабочего жеста» и, обладая в высокой степени инерцией большого движения мысли, входит в наше сознанье легко и, будучи легко обращаема, дает максимум зарядки художнику. Попробуйте — и вы убедитесь, что я прав.

«Героя» как будто мы разобрали, хотя и с большими отступлениями, за которые, надеюсь, вы простите меня. Сделаю еще только одно отступленье и,

пожалуй, самое важное. Вы вообще по старинке преувеличиваете роль и значение «героя», сила которого у нас в том, что он опирается на массы и представляет собою массы. Поэтому все вы даете вашего Львова более или менее изолированным, а потому и более или менее одиноким. А это грубо, неверно, не отражает ни в какой мере нашей действительности. Здесь, как это ни странно, наибольшим реалистом оказался именно поэт. У вас, товарищ Эль, Львов — враг, человек, оторвавшийся от партии и от народа, и он, естественно, остается в изоляции, выпадает из истории, потому что у противника своего народа иной судьбы не бывает.

Перехожу к материалу ваших произведений, взятому вами из двух газетных номеров. Здесь вот что любопытно: секрет художественного выбора. Ведь каждый из вас имел под рукой не больше и не меньше, нежели его коллега. Но результат получился далеко не однородный. Вы дали четырех разных Львовых и четыре разных обстановочных комплекса. Поэта привлекла охота в Аллалвардской пуще. Кроме нее и факта исчезновенья Львова, он ничего не взял из газет. Но даже он черпал из современности, густо черпал, при всей своей преданности девятнадцатому веку, «Делии драгой» и полотнам Ватто, от которых, к слову сказать, у него самого мало что и осталось. Позвольте обратить ваше вниманье, товарищ Эль, на измены девятнадцатому и еще более ранним векам:

Их уши чуткие дрожат,
Натянутые, как антенны,
Ловя сопенье медвежат,
Покашливание гиены...

Покашливание — это очень хорошо, богатое ритмически слово, но а н т е н н ы — откуда вы их получили? И неожиданный агроном, считающий в лесу экземпляры тисса,— откуда вы его получили? И даже высмеянный вами красноармеец, настоящий кровный крестьянин, не вымуштрованный царским фельдфебелем, не получивший налета казенщины, когда под околышем лица не видно, откуда вы его получили?

И этот гимн электричеству, с описанием, весьма далеким от Ватто, рытья котлована? Советская действительность вам дала все это, товарищ Эль. Хотя бы только формально, вы уже открыли свои поры, вы становитесь губчатым, вас уже пропитывает. Вас пропитывает даже больше, чем вы сами можете заметить, и мы, марксисты, чистосердечно вам благодарны за вашу поэму, потому что мы извлекаем из нее некоторое, неясное, правда, и даже как бы только «предположительное», поученье, подсказанное вам мудрым инстинктом искусства,— поученье о природе такого явления, как наша оппозиция.

Ведь несомненно одно: ваш оппозиционер Львов и те рассужденья, на фоне каких вы даете его, возвращают нам психологию внеклассового революционера, не большевика и не марксиста. Настолько это ясно звучит у вас, что тут вдруг становятся художественно-наглядными анархические корни нашего оппозиционерства и неизбежная симпатия к нему той части общества, которая всегда была социальной опорой для внеклассовых революционных настроений,— вы воскрешаете, товарищ Эль, уже забытую было общественную атмосферу русского либерализма, чрезвычайно худосочную от присущих ей «общих» установок и «общих» взглядов, атмосферу, проникнутую наивным идеализмом и наивным же скепсисом. Этот ваш новый вид «разочарования» оказывается в высокой степени похож на старые его виды, на самые разные его виды, вплоть даже до того чиновничьего разочарования в либеральных идеалах, о котором рассказывает «Обыкновенная история» Гончарова. Вы вскрыли классовую подоплеку такого разочарованья, и за это вас остается только поблагодарить!

Профессор Казанков сам был поставщиком того материала, который увлек его на работу. И это типичная черта буржуазного ученого, привычка пользоваться обособленным комплексом, ездить в поезде со своей провизией,— она не исчезла даже оттого, что вы — геолог!

Но вот товарищ Геллерс поступила еще более характерно, она поступила чисто по-дамски; в ее мело-

драме, которую наш товарищ комендант, Биберт, назвал «Киком»,— отныне я хотел бы, чтоб это слово «Кик» стало обозначеньем связуемости вещей несвязуемых, синонимом натяжки, если хотите, потому что, простите меня, товарищ Геллерс, даже для мелодрамы это нестерпимо натянуто «Колдунья и коммунист»,— так вот, я хочу сказать, что в этом самом «Кике» вы взяли все, что выставлено было на прилавке из «галантерейного товару». Вы взяли монастырь, монахинь, портрет задушенной красавицы, бредни старух о какой-то ведьме или шайтане, имя «Ольга», что еще? Так счастливо для вас подвернулся действенный томик Ленина, чтоб вдохновить на замечательную сценку в милиции. Если б не он, положительно это была бы галантерея и ничего больше.

Итак, товарищи, каждый из вас выбрал для себя из материала совершенно различные, на потребу его художественной индивидуальности, вещи. Но вот что замечательно. Хотя выбранные вещи ничуть не схожи, хотя между ними пропасть, хотя это своего рода «в огороде бузина, а в Киеве дядька»,— но вот подите ж! Они, эти разные вещи, обобщаются, они имеют нечто, присущее им всем, а именно: если мы будем исходить из подсчета тех величин, перед которыми поставлен минус, то есть из подсчета всего того, что никто из вас, товарищи, не взял из двух газетных номеров, то окажется, что вы четверо объединились в вопросе о выталкиваемом, об отстраняемом от себя материале.

Никто из вас не увлекся и не заинтересовался текстильной фабрикой, которую аманаусский горком организует в стенах монастыря; никто не заинтересовался вопросом, почему именно текстильная а не табачная или консервная; не проявили вы знания особенностей местного овцеводства и, в частности, тонкорунного овцеводства,— потому что в этом районе у нас, даже и после гражданской войны, сохранился меринос. Не прошлись вы и по тому мосту, который так скоро построили через Токчи-Суйскую пропасть. Сам профессор, обращая внимание на промышленные богатства края, весьма изолированно представил себе эти

богатства, отнюдь не коснувшись основных наших проблем, с разработкой этих богатств связанных,— а именно: проблем транспорта и местной рабсилы. Коснувшись первой проблемы, он несомненно уперся бы в вопрос об электрификации, потому что весь данный участок, по своему тяжелому профилю, экономически может быть выгоден лишь при условии электротяги,— разумеется, если обеспечена будет достаточная нагрузка. А коснувшись второй проблемы, он уперся бы в особенности местного земледелия: в дореволюционные процессы обеднения, пауперизации крестьянства, сильнейшей тяги к портам, обезземеливания аулов, обезлесения гор, и в наш социалистический расцвет артельного хозяйства, мелиорацию, начатки механизации в здешних местах. Все это — огромные вопросы, замечательные тем, как и вся наша экономика, что все они тесно связаны меж собою. Вот та область, которою вы, товарищи, совершенно не заинтересовались, которую вы изъяли из своего вниманья. И она дает мне первую ступень к обобщенью того материала, что лег в основу всех четырех ваших произведений.

Но я вижу протестующее выражение лиц. Вы хотите, повидимому, возразить мне, что «отстраненный» вами материал вообще не является и не может явиться предметом искусства, что «экономические проблемы» не воспеваются и не живописуются? Ошибаетесь, зверски ошибаетесь, банальная это ошибка, непростительная ошибка. Скажите, пожалуйста, по каким источникам пишется история материальной культуры? Скажите, о чем говорят изумительные египетские горельефы, бесчисленные надгробные памятники? Разве они не воскрешают перед нами ткачей, гончаров, оружейников, мукомолов древности? Разве мы могли бы иметь представление о том, что такое натуральное хозяйство, если б у нас не было бессмертных страниц Гомера? И разве мы отчетливо представляли бы себе цеховой ремесленный мир Германии, если б не искусство разных Гансов Саксов? История искусства марксистами еще не написана. Но она будет написана, и тогда, товарищи, наше обостренное сознание с именем

Дюрера, Леонардо, Рембрандта и т. д. свяжет эпохи определенных экономических отношений, и эта связь будет не натяжкой, а вспышкой молнии, при которой как бы видны станут растущие под землей корни деревьев.

Я хочу всем этим сказать, что наши писатели еще живут вчерашним днем, они еще не приобрели высокой конкретности. И в этом отношении они, на мой взгляд, значительно уступают писателям Запада. При всей возмутительной ерунде переводных романов, наводняющих наш рынок, в них, в этих романах, есть положительное качество совершенно точного, органически им присущего, отражения капиталистического общества во всех особенностях его хозяйства. Если же мы возьмем для примера не макулатуру, а крупное произведенье, то здесь придется только дивиться, до чего наши писатели уступают в конкретности, в умении поставить конкретную проблему писателям западным.

Вот американский писатель Вудсворт. Его роман «Вздор» переведен и у нас, большой роман, хотя его тема могла бы улечься в три строки газетного петита. Эта тема — острый капиталистический анекдот об одном «умном ходе» миллиардера. Остроумие, блеск, сотни страниц посвящены изложению этого анекдота. Дело в следующем: автомобильный король покупал для своих машин уж не помню что, части какие-то, у другой фирмы. Его инженер придумал проект — делать эти штуки на своем же производстве и сэкономить таким образом несколько центов на каждой. Капиталист принял для виду проект, пустил слух об организации фабрики. Но, когда испуганная потерей главного покупателя фирма предложила ему уступку, капиталист немедленно пошел на нее, а инженер, автор проекта, остался не у дел.

Вот вам тема романа, и какого романа, оторваться от него нельзя, учиться у каждой страницы хочется. Что в этом романе замечательного? Пройдут века, прочтут Вудсворта и ясно определят сущность и физиономию американского империализма данного периода,— то есть основную тенденцию его к максималь-

ному вышибанию прибыли при минимальной возне с производством, дух спекулятивной наживы и безразличия к созданию ценностей. Определят лишь по образам, лишь по высокохудожественной диалектике положений.

Где у нас художник, подобный Вудсворту? Разве мало в нашей переходной экономике увлекательных конфликтов? Разве борьба плана с анархией или разные способы выполнения плана, правильный и формальный, не способны воодушевить писателя, дать ему огромное подспорье для создания живых, реальных характеров? Хотелось бы обратить ваше внимание и на то, как писали свои романы наши классики, великий Гоголь, например. Каков сюжет «Мертвых душ»? Курьез экономики крепостного права, позволявший считать мертвых крепостных за живых до ближайшей ревизии. Каковы художественные приемы построения образов у Гоголя? Возьмите факт купли-продажи и посмотрите, как ярко и жизненно, с какою бессмертною силой Гоголь сумел в этом акте купли-продажи развернуть характеры: Коробочки — с ее осторожным: вот понаедут покупатели, узнаю верную цену; или Собакевича, не моргнув, задирающего бешеную цену за мертвецов, потому что ведь: вам же они нужны; или Манилова, соглашающегося на все ради слащаво-пустозвонной фразы о пользе отечества; или, наконец, самый характерный образ, Плюшкина, представляющего собой деградацию собственника, ту стадию одержимости скупостью и собственничеством, когда экономическая кривая идет вниз, а не наверх, хозяйство разрушается, и Плюшкин — самый скупой, самый жадный, самый большой собственник из всех прочих — продает души наиболее дешево, дает себя обмишурить предприимчивому Чичикову, стяжателю нового типа. А ведь именно на купле-продаже, занимающей почти все протяжение романа, и развертываются бессмертные характеры, созданные Гоголем. И Гоголь сознавал, что делал; он очень много и внимательно изучал русскую экономику, выписывал в Рим книги по русской статистике! Учиться этому надо.

Мне осталось еще только несколько слов досказать, и я надеюсь, что ваше вниманье вытерпит десять — двадцать минут. О задании. Вы собирались высказаться «нецензурно», но вы не смогли высказаться нецензурно, потому что в сущности у нас нет цензуры в том смысле, в каком вы ее понимаете. Точнее, мы обладаем величайшей остротой анализа всего того, что создается искусством, и этот анализ помогает нам извлекать доброкачественное и нейтрализовать вредное.

Я, правда, не уполномочен высказываться за отдел печати и за Главлит, но, между нами говоря, личное мое мнение таково, что контролирующие органы, вроде Главлитов, необходимы, во-первых, потому, что мы книгой воспитываем массу, книгой влияем на молодые, неискушенные души; во-вторых, потому, что дорожим бумагой, которой у нас пока маловато; в-третьих, потому, что у нас мало критиков, а у критиков мало времени. И если б каждую вышедшую вещь можно было выпустить с марксистским анализом, у нас, наверное, ни одна талантливая книга не залежалась бы в рукописи. Это звучит идиллически, но тем не менее это близко к правде.

А кроме того, знаком ли вам закон больших притяжений? Вы его можете наблюсти ну хотя бы на работе вентилятора или пылесоса; на известном расстоянии от них, расстоянии близком, в сферу их действия втягивается каждая частица воздуха. Здесь нет случайности; большой ток уносит с собою силы меньшие. Так вот, время, товарищи, историческое время работает на нас. У нашей действительности — большой ток, в ней действует закон больших притяжений. Вы хотели бы, но вы не можете противостоять ему, и в конце концов круговым или каким-нибудь верх-тормашкинским способом — вниз головой, ногами вверх,— но вас увлекает он, вас вовлекает жизнь, и это неизбежно отслаивается в вашем искусстве.

А теперь — позвольте закончить мой доклад некоторым автомоментом. Вы, разумеется, хотите знать, с какой стати я вам все это докладываю, да еще держа вас в комендантской исправдома после девяти дней ареста; кто такой я сам и как именно в действитель-

ности сложились обстоятельства, о которых вы дали поэтические свои версии.

В действительности обстоятельства сложились очень непохоже на то, что у вас написано. Правда, был заговор, один из белогвардейских заговоров, но благодаря работе ГПУ о нем стало известно еще задолго до выхода первого номера «Аманаусской правды». В целях лучшей его ликвидации, чтобы дать, так сказать, ему назреть, об этом заговоре никто не был осведомлен, даже из самых крупных местных ответработников. Было решено коллегией ГПУ,— я выдаю вам тайну, но вы имеете на нее право, будучи невольными нашими помощниками или, если хотите, жертвами,— было решено дать совершиться «первому действию» заговора, то есть допустить белых к помещению рекламы мнимого кинофильма, как если бы мы ничего об этом не знали. Объявление было задумано белыми, как наилучший способ сигнала для одновременного выступления разбросанных в нашей местности белогвардейских групп. Следовало далее показать, что мы переполошились. Следовало создать впечатление, что ГПУ пошло по ложному следу. Это удалось тем более, что, повторяю, никто из местных представителей власти не был осведомлен о настоящей подоплеке возникшего переполоха. По тому же плану необходимо было дать совершиться «второму действию», то есть исчезновению Львова. На самом деле, как вы, вероятно, уже догадываетесь, он был почти одновременно с вами приглашен ГПУ в «одиночное заключение исправдома» и просидел все девять дней обок с вами. А в это время заграничные инспираторы заговора, осмелев от мнимой удачи, выдали себя. И вместо Львова, представлявшегося их эмигрантскому воображению, вероятно, столь же романтически-отчаянным «вождем и стратегом», сколько и вам, товарищи,— эти главари предали в наши руки всех местных заговорщиков, которые и были захвачены почти одновременно.

Остается представить вам героя всех этих небольших письменных и устных приключений — Львова, который сидит в настоящую минуту перед вами. Что ж,

товарищи, познакомимся. Я именно таков, каков есть, не «кожаная куртка», не «вождь», не «стратег» и не «трансформатор», а слегка полнеющий мужчина небольшого роста в обыкновенном пенсне шесть диоптри, идущий работать туда, куда посылает партия, по существу же немножко любитель изящной литературы, немножко полемист и прежде всего, как вы сами могли убедиться,— злостный докладчик!

Конец третьего эпизода

1924—1928

ОЧЕРКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Скромный замысел дать показательную картину сельского хозяйства республики превратился в событие международного порядка. Все, кто попадает на выставку, от экскурсанта и до чопорного иностранца, ходят по ней очарованные и побежденные.

Не следует думать, что выставка безупречна,— в ней много и много недочетов. Не надо воображать, что мы закидали Европу шапками и организовали нечто доселе невиданное,— Россия видела много хороших выставок, а Европа и того больше.

Очарование проистекает не только от самой выставки, как таковой, но и от сопровождающих ее показателей, действительно новых и необычайно радостных.

Во-первых, вы воочию видите победу двух вещей, результат и правоту которых можно проверить только на деле: метода народного строительства и коллективизма, то есть соединенного усилия советских людей.

На берегу Москвы-реки, где были городские свалки, где воздух насыщен был заразой и вонью, где река была засорена, а непросыхающие лужи источали малярию,— в сказочный срок все высушено, залито керосином (для

уничтожения комаров), приподнято, очищено, утрамбовано, выравнено золотым песком, распланировано, засажено, засеяно и застроено. Здесь на деле показано, чего можно достичь методом, рожденным революционною практикой.

Со всех концов России, соревнуясь, радуясь, стараясь принарядить свой уголок на выставке, сошлись бесчисленные сельскохозяйственные работники, ячейки огромного целого, обществами, семьями, племенами, нациями. От деревенской избы с ее хозяйкой и до национального павильона с его этническим составом,— общий план местной, народной инициативы. И, надо сказать, ожидания руководителей выставки были далеко превзойдены тем, что было создано.

Вот отсюда и особое очарование выставки, которому не страшна никакая критика ее недочетов.

Но мы должны учесть еще одно обстоятельство: как бы в ответ на демонстрацию метода и массовой активности, невольно получившуюся из выставки, Главвыставком, уже сознательно и от себя, вводит чрезвычайное новшество, не знакомое никаким другим выставкам в мире,— и этим окончательно определяет ее оригинальное лицо. А именно:

Он ставит во главу угла выставки не экспонат, а человека.

До сих пор мы знали монументальные, статические выставки, стоявшие в гордом самодовлении. Народные массы охаживали их, оживляли, но суть дела была, разумеется, не в удельном весе этих масс, а в удельном весе экспонатов.

Не то совсем в пленительном городке на Москве-реке. Здесь центр тяжести не в экспонате, а в экскурсанте. Никогда ни одно государство не заботилось так о посетителе выставки, как у нас. Когда вы ходите по шахматному полю, оживленному нескончаемыми группами экскурсантов, пересекаемому руководителями с широкими красными лентами на рукаве, вы невольно вспоминаете античный педагогический идеал: академию, школу в саду, на вольном воздухе. Кажется, нет в России фабрики и деревни, не приславших сюда экскурсанта. Я ехала на выставку с финской крестьянкой из

Лемберова, глухой деревушки, затерянной на самой границе Финляндии,— даже оттуда слали своих представителей на выставку. Среди экскурсантов не малый процент женщин: выбирали тех, кто башковитей, кто лучше говорит, кто сумеет пересказать о виденном обществу. Для них приготовлено все: удобное передвижение по Москве, общежития, столовые Нарпита, лектора, зрелища, печать. И специальная выставочная газета «Смычка», выходящая ежедневно с планом выставочной территории и всеми местными злобами дня, является, строго говоря, газетою экскурсантов. Вы тщетно будете искать в ней дипломатических речей в сторону «иностранного отдела», хитроумных реклам промышленной и коммерческой политики — всего того, что оправдало бы мнение иностранца о выставке, как о хитром реверансе в сторону купеческого Запада. Вместо этого — популярные статьи по агрономии, справочники, письма самих экскурсантов, их критика, их указания на замеченные пробелы. Архангельцы, например, заметили несуразность в показательной избушке Архангельской губернии и доводят об этом до сведения Главвыставкома, а тот благодарит и просит побольше таких указаний.

Академия, школа на вольном воздухе: так чувствует себя посетитель. И еще одно чувствует он: не живая ли это радиостанция, от которой, невидимыми толчками сердца, понесутся по бесконечным радиусам русской земли энтузиазм, вера в свои силы и пробужденная творческая энергия народа.

Вот почему основное значение выставки — общественное, а не промышленно-производственное. И тогда как второе можно критиковать, находя тут и там недостатки и ошибки, первое неоспоримо покоряет и опрокидывает всяческий скептицизм, от доморощенного до зарубежного. Общественный стимул выставки так велик, что учитывать его нам придется в далеком будущем, на больших пространствах. Недаром приезжающие с выставки говорят о ней приподнятым языком — языком утопии и сказки, неожиданно замерцавшей для них в пестром выставочном городке осуществимою явью.

ПЕРВЫЙ ПРОБЕГ ПО ВЫСТАВКЕ

Вы садитесь на «Б» (трамвай Садового кольца в Москве) и получаете билет. Берегите его,— первою ласточкой с выставки лег вам на руки этот билетик, не похожий на обычные. На обратной стороне его напечатано зазыванье, каждый раз новое: то это привет из Нескучного сада, то приглашение в отдельный павильон или просто сельскохозяйственная памятка.

Вагон везет вас по далеким окраинам Москвы, куда раньше вы не попадали и в десять лет раз. А теперь, попав, невольно убеждаетесь в похорошении Москвы после войны[1],— чудесные яркие цветники и скверы разбиты там, где их никогда не было. Наконец, Крымский вал. И уже издалека навстречу вам возносится необычайное: частые сквозные ветрянки, крылья гигантских подсвечников, колбаса белого аэростата, неподвижно и тучно распростертая в голубом небе, подобно отъевшейся гусенице, и острые шпили, конусы, башенки диковинного деревянного городка, сразу охватывающего вас атмосферой выставки. Еще снаружи, с Крымского вала, виден великолепный фасад Главного павильона, выступающий справа и слева двумя большими скульптурами Жураковского, символами науки и труда. Массивные контуры мужской фигуры и мягко расплывчатые женской закрашены под старую бронзу. Вы миновали арку и вступаете на территорию выставки.

Распланирована она длинным прямоугольником по берегу Москвы-реки, от Крымского вала и вплоть до Нескучного сада, отделенного от нее сторожевой будкой. Позади нее за Крымским валом лежит другой прямоугольник—поменьше, занятый иностранным отделом. Между ним и русскою частью возносится воздушный деревянный мост. Первоначальная идея выставки в зародышевом виде принадлежала архитектору Алтаржевскому, построившему прелестный полукруг Текстильного павильона. Планировка и общая разработка были поручены Желтовскому, затем они подвергались кое-

[1] Имеется в виду первая империалистическая война 1914 года.

каким изменениям со стороны Щусева. Можно сказать, что цвет русской архитектуры отдал выставке свое время и силы. И не только архитектуры. По первоначальному плану, выставка должна была носить более художественный, а не промышленно-декоративный характер. Предполагалось украсить ее скульптурой, барельефами и стенною живописью, вырыть фонтаны, художественно разработать цветники. От этого плана остались на выставке кое-где статуи, резьба и раскраска. Коненков поработал немало: изумительные его кариатиды (особенно женская, исходящая в улыбке) надолго приковывают посетителя во дворе Главного павильона. Все же остальное было признано не подходящим к идее выставки, фонтаны засыпаны, центральная скульптурная фигура на цоколе заменена ветрянкой, показывающей свои крылья и сквозные пролеты на все четыре стороны Москвы. Эти сквозные пролеты, кружево деревянных балок,— конструктивное увлечение выставки, отчасти даже ее стиль. Так построен главный театр, весь сквозной, таковы гигантские фонари-подсвечники, таково перекрытие Главного павильона, несомое кариатидами, так как оно не дает впечатления тяжести и ложится на напруженные плечи кариатид вопиющим противоречием.

Еще одна архитектурная черта выставки: богатство фанер и филенок, остроумное и разнообразнейшее использование декоративных возможностей, даруемых деревом. Мне думается, здесь в намеке дан путь будущей архитектуры. Ведь характерный облик городов буржуазной Европы, то, чем мы жили до войны и что доживаем сейчас, весь мещанский, лживый, показной, фальсифицированный уклон нашего строительства, это — штукатурка, штукатурные фасады со своими лжевыпуклостями, лжеарками, лжеколоннами. Эпоха штукатурки была эпохою мнимых форм. И вот на выставке вам начинает казаться, что она миновала. Вас окружает только дерево и то, что оно может дать, всю прелесть своего органического рисунка в продольном, боковом, круглом разрезе, отполированное, выструганное, точное. Дерево поет вам со всех сторон, диктуя архитекторам простые и ясные формы, согласованные с его структур-

ной природой. Городок напоминает доки, где справа и слева колышутся очертания стройных кораблей, так легки и изящны выставочные павильоны. Ни один из них (почти ни один) не окрашен. Неприятна (хотя и неожиданно нарядна) раскраска национальных павильонов. И целая гамма настроений в дереве, от смеющегося до сосредоточенно-таинственного.

У самого входа, слева, за главным павильоном, тянется огромный отдел животноводства с манежем для лошадей. Справа идут павильоны по сельскому хозяйству: отдел старой и новой деревни, образцовый совхоз, Дом крестьянина, Дом коммуны, пожарный павильон. Аллеи выставки пролегают по великолепным цветникам, с ярчайшими красками. Между ними живые посевы, где стройно вытянулись на грядках и колышутся по ветру все виды вызревающих по России злаков. Тут же учит вас искусственному орошению отдел мелиорации. Детвора смотрит на полевых вредителей, расположенных в клетках вдоль аллеи. Сколько их. Вот выбежал из иорки суслик, присел на задние лапки, поднял передние к мордочке, точно захлопать в ладоши собрался, оглянулся вокруг и застыл.

Бежит в огромные чаны из многочисленных кранов кипяток гиганта-кипятильника: русское изобретение, дающее колоссальное количество кипяченой воды в час. А справа, с берега Москвы-реки, внезапное водяное фырканье: это бьет по воде побежавший с пассажирами гидроплан, спустя минуту взмыв кверху и поплыв по воздуху. Посетитель не знает, куда и на что ему смотреть.

А уже навстречу идут диковинные люди, в пестрых бухарских шапочках и чалмах, с монгольским разрезом глаз, желтыми лицами и черными, как кедровые орехи, мудрыми глазками. Там, дальше, павильоны союзных республик. Белым, немного пряным (и в переносном и в буквальном смысле: на пряник похожим) треугольником вознеслась нарядная украинская палатка, голубеет купол Туркестана, звонницей на четырех колонках летит ввысь павильон Армении, а за ним прячутся очертания грузинского павильона, сделанного в безупречном академическом духе.

Вы приближаетесь к бесчисленным восточным кофейням, ханэ. Впереди, на земле, пестрые ковры — персидские, текинские, кавказские, туркестанские, киргизские, с подушками. За ними жаровни, над ними бараньи туши. Жарят и подают с вертелов прямо на ковер куски шашлыка, снимают с чугунных листов бледные странные пирожки в форме трилистника. Гости ханэ — все больше экскурсанты — садятся на ковер, поджав ноги, и взволнованно, с опаскою принимаются за острые, незнакомые блюда...

А за ханэ, нескончаемой вереницей, вплоть до Нескучного сада, потянулись производственные павильоны, богатые и многоэтажные: Моссельпром, Текстильный трест, махорка, сахар, лесные богатства. Первый пробег по выставке только показывает толковому посетителю, с чего начать и как разобраться. Он заставляет его распределить свои дни и решиться на выбор, иначе говоря на пожертвование чем-нибудь, ибо всего охватить в краткий срок невозможно.

Но и первый пробег неплох, если продлить его до вечера. Чтоб выставка вошла вам в глаза, пропитала ваше восприятие, запомнилась, полюбилась, нужно видеть ее и в вечернем аспекте, когда сквозное тело павильона высвечивается множеством огней, краски меняются, контуры выступают вперед, свет и тень из живописных факторов становятся элементами тектоники, и перед вами встает кружевной каркас выставки, наливаясь новой, сияющей жизнью. Тогда утомленное зрение наслаждается блеском, и то, что днем было поучением, вечером сверкает, создавая отдых глазам.

СТАРАЯ И НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

Старая деревня — это прошлое и настоящее. Новая деревня — это будущее, то, что должно еще быть создано.

Старое покоится на индивидуальном хозяйстве, новое — на хозяйстве коллективном. Отсюда два различных типа деревни. На выставке они поставлены рядом, чтоб посетитель мог видеть и сравнить.

Образцы старых построек различных губерний: избы маленькие, хозяйство скудное, неимущее и в то же время не расчетливое. Холодные загоны для скотины, допотопные орудия, клочок земли, истощенный трехпольем. Входя в избушку, видишь голые стены, низкие потолки, жалкую утварь — все рассчитано на темную, тяжкую, слепую жизнь. Огромная русская печь, забирающая массу топлива, печь с полатями — в центре этого невеселого гнезда. И так, от избы к избе, от угла к углу, все рассчитано на одинокость, нелюдимость, разобщенность человеческую.

Рядом чудесная показательная площадка новой деревни. Экскурсанты вступают в нее, выходя из темных старых изб, и толчок перехода еще более ощутителен. Перед вами светлая, большая постройка. Жилое помещение в четыре комнаты напоминает хорошую североевропейскую дачную гостиницу: деревянные горницы чисты, светлы, смеются незакрашенным деревом, большими окнами с красивыми наличниками. Мебель тоже деревянная, изящной, хотя и простой формы. Предусмотрено все, от прялки до люльки. Та же русская печь здесь предстает измененной: переделанная русским инженером, она предложена на выставке, как модель, берущая топлива на 50 процентов меньше обычной печи. Но замечательней, чем жилые комнаты, другие хозяйственные пристройки. Вы видите здесь превосходное помещение для скотины, теплое, хорошо проветренное, светлое. Рядом свинарник с розовой свиньей, курятник. Орудия содержатся под навесом, не ржавеют, и все они лучших американских систем. Не может крестьянин завести все, что ему надо, на свои средства, покупает, соединившись с другими. Земля обрабатывается сообща, от трехполья здесь перешли к многополью, сеют кормовые травы, используют навоз, умеют брать максимум от скотины. В коровнике весело стоят великолепные красные ярославки с чисто вымытым выменем, с красивым глянцем на сытых боках. Они зимою не зябнут, едят вкусную кормовку, содержатся в чистоте, и умный хозяин берет от коровы до пятисот пудов молока в год. Несколько таких образцовых хозяйств было, между прочим, представлено на выставке и не только в

плане идеального будущего, а как единичные достижения настоящего, и первые награды по животноводству присуждены немногим крестьянам, владельцам подобных дворов.

Но центром новой деревни, душой ее, все же является не единичное хозяйство, а организованный общественный комплекс, как, например, совхоз. Показательный совхоз на выставке занимает обширное место и знакомит экскурсантов уже не только с примитивною выработкой продуктов потребления, но и с производством для рынка. Здесь мы наблюдаем ряд сельскохозяйственных производств и прекрасную молочную ферму.

В центре новой деревни возвышается Дом крестьянина. Здесь экскурсанты, приехавшие из деревень, толпятся гуще всего. Если хорошо поставленное хозяйство (новая изба) и даже синтез хозяйства (совхоз) им отчасти знакомы на практике, то Дом крестьянина кажется сказкой, совершенной новостью. Казенные, скучные здания волостных и сельских управлений с их оплеванными и обшарпанными полами, календарем на стене, зеленой бумагой в чернильных пятнах на жалком столике, однообразные здания, нынче переделанные в волисполкомы, не внесли в их жизнь никакой внешней общественно-бытовой перемены. Тут, правда, заезжий городской агитатор устраивает митинг, идут заседания исполкома, обсуждали разверстку, потом продналог, потом налог, завесили угол знаменами, оставшимися от первомайского праздника. Но кому из нас, кочевавшему по нынешней деревне и заходившему в волостные исполкомы, не бросалась в глаза печальная, затхлая казенщина, дореволюционная статика этих длинных и невеселых построек. «Дом крестьянина» не может быть создан в старом помещении, к нему не приспособишь ни школу, ни почту, ни богатую избу кулака. Он должен быть построен заново, сделан вчистую, чтоб новое сердце будущего могло в нем забиться. Именно таков «Дом крестьянина» на выставке. В нем все предусмотрено. С тыловой его стороны под открытым небом полукруглый амфитеатр для сходок, митингов, лекций, концертов. Внутри все, до последней мелочи, обдумано и

любовно устроено для крестьянина, чтоб он имел место, где мог бы найти совет, помощь, поучение, отдых. Мало того: здесь и приезжий новый человек может найти для себя нужные сведения о данной деревне, статистические, топографические, агрикультурные. Здесь есть музей местных производств, музей богатств данной местности, таблицы ее производительности, статистические исследования, библиотека, юридическая помощь...

В «Доме крестьянина» на выставке помещен сейчас исторический уголок, посещаемость которого так велика, что является единственным местом, куда группы проходят по очереди. Это «уголок Ленина». Устроители его позаботились о том, чтобы крестьянин-экскурсант мог у себя же, в своем отделе, поклониться Ильичу, в уголке которого он встречается с рабочим. Здесь «смычка» рабочих и крестьян происходит невольная, естественная: на общей их любви к Ленину. Как любят в России Ленина, можно понять и пережить полностью, лишь пересмотрев живую лавину экскурсий в этом уголке.

Собрано там все, что относится к Ленину: от ранней его фотографии и до картин с натуры (и по фантазии), рисующих различные моменты революционной борьбы, выступления Ленина перед народом, сцену покушения на него и т. д. Есть здесь и трогательные подношения крестьян «Ильичу»: например, одна деревня прислала ему модели своих лыковых изделий, от лаптя и до корзиночки. Предметы, имеющие отношение к революции вообще, также собраны в этом уголке. Детвора толпится перед очень поучительными моделями различных тюрем для политических преступников: германской, итальянской и американской. Сделаны камеры и куклы — фигурки заключенных; причем, если итальянская поражает своей грубой жестокостью (темные дыры с нарами, без света), а германская своей нарядной жестокостью (то же самое, но в необычайно аккуратном стиле), то американская политическая тюрьма оказывается впереди всех по изощренному бессердечию. Она похожа на сумасшедший дом. Узник в ней лишен последнего — одиночества. Он содержится в клетке, подобной зоологической, с трех сторон открытой надсмотрщику.

В отделе старой и новой деревни экскурсант учится важнейшему перелому в русской сельскохозяйственной культуре, перелому в сторону коллективного крупного хозяйства от мелкого индивидуального. Ежедневно на выставке читаются популярные лекции, вводящие его в курс сельскохозяйственных проблем. Устраиваются диспуты, где он слушает не только агрономов, но и ученых специалистов, а зачастую и кого-нибудь из наркомов, причем в прения вовлекают и его. Таким образом, выставка становится для него сельскохозяйственной школой в буквальном смысле слова.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В организацию отдела животноводства лег принцип: не по красоте, а по пользе. Иначе и не могло быть: в прошлом экспонаты на выставку слал помещик; выхолить животное, выставить красивый племенной экземпляр было для него спортом; разведение диковинного скота само по себе забавляло его, как «искусство для искусства», а выставочная медаль была предметом честолюбия. Сейчас нет помещиков, нет лишнего времени, лишнего скота, лишних денег. Экспонат приходится брать с места, от работы, и красота его неизбежно уступает былой выставочной красоте. В основу выставки, следовательно, должен лечь и лег иной принцип отбора.

Перед нами длинный ряд павильонов, где животные размещены по стойлам и обслуживаются самими хозяевами. Ярославская баба подбирает навоз, счищая его тотчас же, из-под животного. На столбах подробные карточки с именем, возрастом, весом, племенем, родословной, количеством удоя и т. д. Тут же статистические данные о характере каждого хозяйства, полный перечень приемов отдельных хозяев в образцовых крестьянских дворах. Почти сплошь хозяева экспонатов — крестьяне. Благообразный седой мужик водит кокетливую вороную лошадку по манежу и любовно гладит ее в ответ на ее заигрыванье. На наш вопрос он отвечает:

— Мой конь. Знаменитого Крепыша помните? Так вот от него происходит Годится и под седло и в упряжку.

Лошади представлены на выставке довольно полно. Даже Буденный похвалил конский отдел выставки, а похвала такого кавалериста много значит. Разумеется, в центре внимания рабочие лошади. Длинным рядом стоят огромные бельгийские брабансоны, кони-великаны с толстыми ногами, у копыта заросшими целым лесом волос. Тяжело косятся они на вас терпеливым глазом из-под мохнатых бровей. Золотистый брабансон, красавец, такой же тяжеловес, производит впечатление изящества благодаря своей окраске и выхоленности. Цвет не то что рыжий, а солнечный,— так и светится в клетке издалека. Вместо обычной гривы — роскошные женские локоны, мягкие, густые, длинные, распущенные по спине снопом солнца, а заплетенный хвост похож на косы Гретхен: весь он зачесан в длинные, блестящие косы с кое-где выбившимися локончиками. На клетке надпись: кличка «Прозит». Видно, что любят коня и любуются им.

Много рабочих лошадей из Смоленской, Владимирской, Симбирской, Тульской губерний. Закинув голову, протяжно ржет жеребец, вызывая ответное ржание, от которого содрогаются стены конюшни. Очень интересен отдел помесей, которому в России предстоит несомненно богатое будущее. Интересного метиса дает у нас орловский рысак с американской лошадью. Прежде чем подойти к этому метису, экскурсантов обычно знакомят с орловским рысаком, прославленной русской породы.

Вот перед нами павильон с образцами орловских рысаков, нет разве только традиционного — серого в яблоках (хотя сплошь серый имеется). Это довольно тяжелый конь,— пышная добрая красавица с крепкими, толстыми ногами, широкой грудью, массивной шеей, очень развитым крупом. Расчесанный хвост свисает донизу, усиливая впечатление приземистости и тяжести. У рысака чудесный ход и большая выдержка. Орловский рысак, скрещенный с тонконогим, эластичным, поджарым американцем, дает превосходного метиса для легковой и верховой езды, усвоившего положительные качества обеих пород. Этот метис, изящный конь с тонкой, горбоносой головкой, с лебединой нервной шеей и породистыми ушами, кажется в русских конюшнях диким

мустангом Майн-Рида и неотразимо пленяет экскурсантов своей горячностью. Агрономы, видимо, его не жалуют и быстро ведут экскурсию к более полезным для хозяйства экземплярам.

Коровники на выставке богаче конюшен. Показан отдел обыкновенных крестьянских коров с невысоким удоем; их не балуют ни помещеньем, ни уходом. Сильно чувствуется переход от них к племенным коровам, обставленным и внешне очень заметно: стойла чистые, светлые, уход как за больными в клинике, великолепные крупные образцы (рыжие с белым) ярославской породы из вятского племенного рассадника, красавицы коровы (черные с белым) из Давыдковского племенного рассадника, сплошные черные гиганты, карельские восточно-финские коровы. А рядом кроткие и ласковые головки, круглые и пушистые, с красивыми рогами — у небольших, но удойных сибирских коров. Издалека виден не то слон, не то бегемот,— что-то очень большое, неподвижное, серо-замшевого цвета; вокруг толпа народа. Подходим ближе,— привязанный крепкими цепями, с продетым в носу кольцом, стоит бык-великан, кличка «Зулус», стоит и свирепо смотрит в землю. Наверху длиннейшая родословная, сбоку таблица: «Зулус — племенной бык, из племенного хозяйства Токарево, порода «швиц», Смоленской губ., Гжатского уезда, 5½ лет». Неподалеку от него черный племенной бык «Румын», размером поменьше, из Московского племенного рассадника.

Свинарник показывает откорм свиней в образцовом хозяйстве с ежегодным взвешиваньем и таблицами привеса. Много иоркширов. Свиньи чисто выбриты, валяются, просвечивая розовым мясом, и телю их, как арбузными семечками, усеяно мухами. Надо оговориться здесь, что неумеренные хвалы, официально расточаемые в газетах отделу животноводства, до известной степени преувеличены. Конечно, мировая война, разруха и революция убавили наш скот в иных местах (например, на союзных окраинах) иной раз до 80 процентов, уничтожили многие рассадники, губили на убой племенных животных. И если все это учесть, выставка показывает изумительную жизнеспособность нашего хозяйства, уже

прочно встающего на ноги. Но ясно, что здесь достижение понимается только с точки зрения относительной. Многие наши старые сельскохозяйственные выставки показывали экземпляры племенного скота несравненно более высокие и по весу и по качеству. Это особенно следует запомнить в свинарнике, так как свиноводство в России за минувшие годы пострадало очень сильно.

Едва ли не более пострадало у нас овцеводство. Еще в 1915—1916 году на Кубани и Кавказе войска резали на еду чудесных мериносов, разведение которых потребовало у нас со времен Екатерины стольких жертв и усилий. Тем не менее овчарня, на мой взгляд, поставлена на выставке недурно. Хорошо показаны все породы овец, имеющихся в России, от вскармливаемых на жир и мясо (курдючные овцы и карачаевский баран) до культивируемых на шерсть (волошская, романовская мериносовая овца) и на шубу (решетиловская, романовская, каракуль). Меринос представлен хуже всего, овцы в невероятно грязном состоянии. Очень хорош отдел каракуля. Здесь даны овцы всех возрастов. Как известно, каракулевая шкурка, идущая на дамские шубы и воротники, берется у новорожденных ягнят; для получения «каракульчи», наилучшего меха, убиваются и вспарываются овцы-матери, и шкурка снимается с неродившихся еще экземпляров. Каракулевая овца обладает свойством по мере возрастания терять все очарование своего меха,— глянец, короткость, завитость шерсти. Цвет его из черного переходит в сизо-серый, цвет пролитых канцелярских чернил, шерсть отрастает, грубеет, перестает завиваться. На выставке мы воочью можем оценить жестокость, практикуемую для добычи каракульчи: там между крупными сизыми овцами, под маткой, лежит прелестнейший каракуленыш, весь в блестящих черных локонах, с тупой короткой мордочкой и влажными черными, нежно-детскими глазами; поднимаясь, он нетвердо держится на тонких, кудрявых ногах, снабженных блестящими копытцами. Что-то очаровательное и трагическое в облике этого овечьего детеныша, обреченного на неизбежную смерть в детском возрасте.

А вот объяснительный отдел по овчарне поставлен неважно. Овца не играет большой роли в крестьянском

быту средней полосы России, и опытных руководителей как будто у экскурсий нет. Это жаль. Ведь овчарни можно было бы использовать и для популярной лекции не только по овцеводству, но и по шерстоведению, чтоб перейти вслед за этим к текстильному павильону,— это был бы интересный опыт сельскохозяйственной и промышленно-производственной смычки.

«СМЫЧКА»

Каждый лозунг, данный Лениным, получает широкое практическое применение потому, что он идет навстречу назревшей жизненной необходимости. В этом смысле лозунги Ленина являются прогнозами. Таков лозунг «смычка».

Не буду тут упоминать о непосредственной встрече рабочего и крестьянина на территории выставки. Гораздо важнее то, что встретившиеся рабоче-крестьянские группы уносят с выставки образ цельного народного хозяйства.

Один и тот же продукт идет в прямое употребление и в переработку; одно и то же явление дает материал для потребителя и для производителя. Идя кратчайшим путем от первого ко второму (и обратно), явление это создает максимум экономии сил и средств, удешевляет производство и, наконец, заинтересовывает в своем существовании две, доселе разобщенные, группы, ставя их тем самым в непосредственную связь друг с другом.

Не менее показательны другие формы смычки, где одна группа производит продукт, необходимый для производства другого продукта, являющегося делом второй группы. Простейшее уравнение: «Мы вам — машины, а вы нам — хлеб».

Это уравнение замечательно тем, что оно круговое, чрезвычайно длинное, и, раз захватив вас в свою цепь, делает вас волей-неволей соучастником всей совокупности народного хозяйства. Посмотрим эту цепь на примере; мы вам — машины, а вы нам — хлеб; но, чтоб были машины, нужна сталь; чтоб была сталь, нужен железистый хромит; чтоб был хромит, нужен транспорт; чтоб был транспорт, нужен чугун и т. д., и т. д. с не-

избежным равнением каждого отдельного звена на хлеб. Умелый руководитель экскурсий может вести от звена к звену, знакомя экскурсантов не только с логической зависимостью производства, но и с экономическим лицом России, с ее возможностями, географией, статистикой. Нужен хромит на сталелитейные заводы, а в Закавказье, возле озера Гокча, лежит двадцативерстная полоса хромита, который можно руками собирать, лишь бы наладился транспорт. Вот пример экскурсионного «кругового кольца» по народному хозяйству.

Не знаю, в какой мере руководители экскурсий пользуются подобным методом. Думаю, что у нас просто мало подходящих людей, мало универсалов (в смысле общего образования). Мы сейчас в стадии борьбы за «специальность» и насаждаем спеца. Но, строго говоря, эпоху Возрождения всегда осуществляют лишь универсальные умы, люди с организационным талантом, умеющие охватить всю полноту явлений общим взглядом и наметить нормативную их связь. Выставка заставляет задуматься о необходимости восстановления прежней «широты образования», о необходимости академического университета, лишь бы только он не отрывался от практики.

Зато печать и кадры журнальных и других работников, сплотившихся на выставке, проводят идею смычки неожиданно блестящим образом. Хозяйство и хозяйственные проблемы по-своему воспитывают человека, стоит только подойти поближе и приглядеться к ним. Такое перевоспитание происходит сейчас со многими журналистами и поэтами. Агитационные стихи Шершеневича, Городецкого и других в газете «Смычка» изо дня в день делают большое культурное дело. Беру на себя смелость высказать убеждение, что и на петербургского режиссера Радлова система уравнений народного хозяйства имела свое влияние. Это сказывается в его статьях, помещенных в «Смычке», и главным образом в его сельскохозяйственных спектаклях на территории выставки, имеющих большое агитационно-культурное значение. Главвыстком можно поздравить с приобретением режиссера, усвоившего основной дух ленинского хозяйственного лозунга.

Но здесь перед нами явление еще одной, побочной смычки, которой мы обязаны уже целиком самой выставке. Я имею в виду смычку между работником искусства и литературы, с одной стороны, и сельскохозяйственными проблемами нашей родины — с другой. Исполняя обычное задание, работники искусства несомненно поддались очарованию могучей логики производства; и здесь произошла замечательная смычка между ними и поставленной им агитационной задачей, смычка, оплодотворяющее значение которой скажется на всей их последующей работе. Нет сомнения, что она их научит великой вещи, почерпаемой только в практике: чудесной конкретности.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

По-настоящему на этой выставке, в противоположность всем предыдущим, не должно быть ни одного неподвижного экспоната,— ведь предмет постигается только в действии. Так, вероятно, и задумали устроители. Но все же это не удалось или, точнее, удалось не вполне. Подходишь, например, к огромному круглому павильону машиностроения. Читаешь на дверях объявление, что от такого-то до такого-то часа будет демонстрироваться такая-то машина. Ждешь условного часа, бродя между мертвых гигантов с разинутыми металлическими зевами; на каждой — надписи, но для экскурсантов это лишь кладбище с эпитафиями: по эпитафии можно представить себе ранг, возраст, значение усопшего, но никак не самого покойника. Условленный час приходит (как всегда с опозданием). Торопясь, кто-то в сотый раз дает беглые и неопределенные объяснения сухими словами. Спящая машина подкармливается вязанкой дров или нефтью, чихает, кашляет, сворачивает себе скулы от зевоты, дрыгнет несколько раз: все это совсем не показательно. Мучить судорогой машину все равно, что дразнить в клетке зверя; машина любит целесообразное действие. Вот если б эту машину да пустить в соответствующем производстве, как поучительны были бы веселые щелканья ее зубов, бег ремня,

перекидное, с зубца на зубец, лазанье вверх махового колеса.

И выходит так, что в отделе машиностроения публики гораздо меньше, чем могло бы быть. Техник не приходит сюда,— ему нечему тут учиться, крестьянин не приходит сюда,— ему трудно тут учиться (нет предварительных знаний). Гораздо поучительней для экскурсанта смотреть на показательные производства в павильонах наших трестов, где машина работает с определенным результатом. Толпа стоит перед холодильником, где икусственно вырабатывается лед. Здесь все понятно до мелочей, а где изменяет наглядность, обучают надписи. Серо-хрустальные массы льда нарастают, облепляя трубу, и ползут по ней все дальше и дальше, покуда не попадают в холодильники. Великолепно поставлены здесь агитационные плакаты, призывающие крестьян строить холодильники и в цифрах показывающие выгоду от сохранения продукта с помощью льда. Далее, в павильоне Моссельпрома, можно видеть табачное и конфетное производство, пивное и лимонадное. Собственно говоря, видеть приходится больше сортировку, упаковку, промывку, нежели производство, но и это занятно и поучительно.

Не лучше обстоит дело в павильоне сахаротреста, где продукт выставлен в готовом виде, а производство представлено лишь частично, в отдельных звеньях процесса, что делает его не совсем понятным для экскурсанта. Разумеется, задачею производственных павильонов отнюдь не было, да и не могло быть, перенесение на территорию выставки оборудованной фабрики и производства всерьез. Но все же, раз выставка с самого начала приняла учебно-показательный характер, надо было суметь ясно и точно разделить выставляемые образцы по двум категориям, причем первая должна была бы учить нас в свете отчетливых статистических данных тому, что делается сейчас у нас в представляемой области, каковы достижения и обороты, процент улучшения за последнее время, сравнительные цифры дореволюционного и послереволюционного времени. Вторая же категория должна была бы показать последовательное изготовление продукта. Как это сделать? Есть многие

пути, кроме громоздкого фабричного оборудования. Самый простой путь, это — наличие при каждом павильоне своего знающего лектора, который мог бы при помощи картин, схем и образчиков наглядно рассказать слушателю, из чего и каким образом делается продукт. Более сложный путь, принятый сейчас в Европе и лучше всего отвечающий идее выставки, это — изготовление производственных моделей. Здесь весь процесс можно было бы показать как игрушку, с вполне понятной для зрителя последовательной техникой производства. Как бы дорого ни стоила такая «игрушка», она свела бы общий план выставки к необходимому единообразию, укоротила бы время, потребное для обзора, и, главное, дала бы экскурсанту целую картину хозяйства, еще и еще раз раздвинув границы его узкого личного опыта.

Пока же при всей огромной работе, проделанной отдельными организаторами павильонов, мы можем констатировать лишь отдельные достижения при длинном ряде недочетов и досадную несистематичность в сопроводительных спутниках экспонатов (цифры, карты, схемы, таблицы).

Чтоб не быть голословной, укажу на один из лучших павильонов союзных республик, Туркестанский. Здесь экскурсант попадает в необычайную для него обстановку. Он видит злаки, совершенно незнакомые, продукты, употребление которых ему непонятно, яркие невиданные ткани; ему хочется рассмотреть это глазами хозяина, узнать — откуда оно, из чего, как. Важнейший продукт Туркестана, соперничающий со своим американским собратом, это — х л о п о к. Устроители павильона отлично знают, чем является хлопок для нашего внутреннего рынка и какие надежды связываются с ним в будущем, недаром они декорировали хлопком залу павильона совсем так, как на севере сделали бы с ельником. Но что получает экскурсант от знакомства с туркестанским хлопком? Почти ничего. Ему показывают различные массы хлопка с обозначением их качества, очищенный хлопок, растение в кадушке, чашечки с мягким волокном, еще полным семян. Это ничуть не более понятно, нежели различные куски бумажной ткани. Нет систематически расположенных указателей о посеве,

поливке, сборе хлопка, об истории его культуры у нас в России, о болезнях и лечении хлопка, о районах наилучшего его распространения. Нет показательных хлопкоочистительных машин (джин, линтер), нет хлопкопрядильни. Если крестьянин из средней полосы России мало получает сведений о культуре туркестанского хлопка, то еще меньше узнает об этом деловой человек, приехавший на выставку с коммерческими целями. Или представьте себе такую комбинацию: Азербайджан и Армения, до сих пор питающиеся исключительно туркестанскими хлопковыми семенами, захотят перейти дорогу между своими павильонами и туркестанским, чтоб на деле, в непосредственном общении, узнать о культуре туркестанского хлопка и использовать это знание для себя: такое неожиданно близкое, выгодное соседство! А между тем ни тот, ни другая от посещения Туркестанского павильона не узнают больше того, что им известно из их географического далека.

Думаю, что для основных, крупнейших богатств России — для Азнефти, Туркхлопка, Грузмарганца, Арменспирта и т. д. — следовало бы создать отдельные показательные павильоны, не пожалев средств на их оборудование. А сейчас наши богатства теряются на выставке, и притом двояко: нет достаточного представления о том, что они представляют собой сейчас, и не родится достаточного воодушевления к тому, чтобы сделать их максимально мощными в будущем.

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ

Надо видеть цепь народных «союзных» павильонов, чтобы понять разницу между двумя формами «центростремительности»,— насильственной, как это было до революции, и добровольной, как сейчас. Отдаваясь тяге к центру, союзные республики ищут в ней сейчас условий для самоусиления, для культурного роста, в то время как раньше, притягиваясь к центру насильственно, наши окраины чем ближе подходили к нам, тем более теряли свое национальное и принимали официальный, безличный, бледный облик.

Каждая республика прислала сюда образцы своей культуры, кусочек своего быта. И любопытная подробность, должно быть бросившаяся в глаза каждому посетителю выставки: как эти гости Москвы, смуглые, важные, чуждые нам люди в пестрых халатах, в бухарских шапочках, в грузинских красивых костюмах, в шароварах, с монгольскими, тюркскими, горскими профилями и глазами, как они любовно встречали и провожали посетителей. С какой охотой дается вам справка на ломаном русском языке. И для каждого внимание к его павильону словно праздник. Ласково соседствуют в непосредственной близости прежние недоброжелатели,— Азербайджан, Армения и Грузия.

Павильон Азербайджана мог бы быть богаче, если б использовал в полной мере все то, что дает своеобразнейший, интереснейший город Баку. К сожалению, павильон предпочел дать областную культуру, а город нефти, черный город с его исключительным и неподражаемым пейзажем оказался обойденным. Гораздо полнее грузинский павильон. Хозяева показывают вам великолепно распланированные залы, где собраны подробные показатели грузинского хозяйства, предметы национального быта, образцы кустарных изделий. Здесь в центре внимания теперешний конёк Грузии — марганец. Добыче его отведено в павильоне значительное место. Армения обязана своим павильоном заботам лучших деятелей армянского искусства, архитектору А. И. Таманяну (бывшему вице-президенту Петербургской Академии Художеств) и знатоку кустарной промышленности Хорену Тер-Авакьяну. Это повлияло, до известной степени, на характер павильона: он в большей мере культурно-художественный, нежели сельскохозяйственный. Правда, и в нем отлично представлены природные богатства Армении, но с уклоном в кустарное искусство: шелководство, например. Каждая хозяйственная отрасль в той или иной мере схвачена здесь отраженной в культурно-художественном творчестве народа. Не обращая внимания на посетителей павильона, седой как лунь, сгорбленный старик дошивает великолепный шелковый гобелен, портрет Ленина.

Любопытней других построен Дальневосточный павильон, легкий, затейливый, головоломный. Он открывает перед посетителем все богатства Сибири, ее пушнину, промыслы, металлы, рудники, горные сокровища, диковинных зверей, необычную флору.

Уединенно держится Еврейский павильон. Чувствуется, что он сконструирован на скорую руку, без достаточного количества экспонатов. Устроители его сделали ошибку: они хотели, видимо, сделать этот павильон узко-сельскохозяйственным, и все богатство еврейского западнорусского быта было поэтому оставлено в стороне. В павильоне приводятся лишь цифровые и схематические данные о деятельности еврейских совхозов. Впрочем, для многих эти данные окажутся неожиданными и интересными. Они говорят о том, что по раскрепощении, по уничтожении российского гетто в массовом еврействе пробудилась тяга к земле и работа еврейских крестьян оказалась очень продуктивной.

Переходя из павильона в павильон, внезапно чувствуешь тоску по чему-то, тоску по голосу, по языку. Чужая форма открывается перед вами в немоте. Правда, взволнованными линиями и кое-где окраской говорят перед вами архитектурные голоса павильонов, раскрывая вам свой национальный характер. Но это язык глаза; ухо остается не насыщенным. И чувствуешь, если уж нельзя заставить громко заговорить на родных языках этих смуглых людей в пестрых одеждах, если нельзя прислушаться к гортанным, носовым, шипящим звукам, связуя их в своем представлении с формами незнакомого быта, то по крайней мере уж заговорила бы за них музыка — самое общее и самое национальное из искусств...

В самом деле, в отношении музыки на выставке далеко не все благополучно. Обыкновенной музыки и той могло быть больше, чем четыре духовых оркестрика, довольно редко бодрящих публику незатейливыми мелодиями в разных углах выставки. Дело не в ней и не в симфонических концертах. Дело в преобладающем безмолвии выставки. Не использована петербургская симфоническая капелла Н. Н. Кедрова, могшая дать на выставке всю полноту великорусской песни. Нет

национальных хоров, нет зурначей, сазандарей, музыки шаманов, черкесской и грузинской песни, татарских мелодий. Правда, оповещалось об устройстве вечера «союзных республик», но на нем должно было быть приблизительно то же, что на обычных национальных благотворительных и студенческих вечерах наших обеих столиц. Жаль, что каждый павильон не привез свою музыку и не оживил ею неподвижные архитектурные формы.

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

Нельзя уйти с выставки, не побывав на том «берегу» Крымского вала, в Иностранном отделе. Войдите в Главный павильон, где собраны экспонаты по сельскохозяйственной культуре, и, минуя витрины Госбанка, поднимитесь по легкой лестнице к мосту — радуге между двумя мирами,— нашим и зарубежным. Внизу бегут веселые трамваи, разубранные красным. Позади вас остался выставочный городок с его башнями и шпицами, яркими цветниками, шумной толпой, стрекотаньем и гомоном; а впереди уже нечто совсем другое по духу, по форме, по окраске. Музыкант назвал бы мост между двумя этими мирами удачной хроматической модуляцией, а толчок в нашем впечатлении при переходе от одного к другому — переходом в иную тональность.

В самом деле, совсем другая тональность. Нет больше ярких красок, нет красного цвета. Архитектура сборная, беглая, на скорую руку, без тщательности и обдуманности, несколько общекоммерческого типа. План проще и симметричней: весь отдел расположен вокруг квадрата цветника и длинного тела «стадиона», где сейчас происходит олимпиада каких-то юношеских спортивных организаций. Вокруг них, в строгом порядке, павильоны отдельных наций (например, итальянский — самый видный), отдельных крупных торговых фирм. Под мостом, в Главном павильоне, длинный ряд иностранных заводов сельскохозяйственных машин — американских, английских, чехословацких.

Что приятно поражает при нашей бедности и привычке экономить решительно на всем, это — щедрость

иностранного отдела на печатную рекламу, на проспект и плакат. Посещают выставку почти сплошь рабочие и крестьяне. На вид это менее всего покупатели — застенчивые, держатся скопом, кашляют в руку, прежде чем спросить,— и вот им-то щедро перепадает элегантный иностранный плакат с картинками, на чудесной глянцевой бумаге. Любопытно экскурсанту поглядеть на американскую синтетическую машину, которая производит «единолично» чуть ли не все сельскохозяйственные работы. Он ходит вокруг нее, смотрит, дотрагивается до неподвижных винтиков, прикидывает в мозгу огромную экономию, достигаемую в хозяйстве при помощи такой машины, ан глядь — перед ним, откуда ни возьмись, американец, шустрый такой, улыбчивый, в кепке, вежливо подбирается сбоку и молчаливо сует бумажку с картинкой. Экскурсант разворачивает ее: это целая книжка на чужом языке. Но в ней он видит заинтересовавшего его гиганта, видит его в действии, в применении, как самую различную машину — сеялку, веялку, жатку, молотилку в одном лице, видит его название, фамилию и адрес фирмы. Кто-нибудь прочтет и переведет для него все это — и, глядь,— экскурсант и окажется настоящим покупателем. Ведь «мир» всегда богаче капиталиста, и, чего не купишь в одиночку, можно купить всем «миром».

Юркие рекламисты, сующие мужичку свою рекламу и этим очень забавляющие немногочисленных выставочных интеллигентов, окажутся дальновидными купцами.

Нам в иностранном отделе многое должно быть интересным. Здесь сказывается даже психология приехавшего к нам иностранца, сказывается очень явственно. Так, например, совсем просто, с уважением, по-товарищески, ударить по рукам приехала к нам Австрия. Ей, бедной, пришлось не лучше нашего: изголодавшаяся, объявившая банкротство, она перестала чиниться и радуется возможности поторговать с нами, как с равными; она не глядит на нас с высоты своей валюты. И эта встреча одинаково выгодна нам обоим, так как Австрия несет нам свой старый испробованный доброкачественный металлургический опыт. Далее, вслед за Австрией,

не менее честно, хотя, может быть, немного более высокомерно, подошли к нам немцы. Эти тоже пришли сюда всерьез, деловито, со множеством плакатов. Лучшие немецкие фирмы, от машиностроительных до посудных, представлены на выставке. Молодая (в промышленности) Чехословакия ищет рынка; ей выгодно идти к нам, и она засыпала нас своими металлическими экспонатами, не без оснований торопясь прийти первой туда, куда еще не въехали медленные и осмотрительные англичане, французы, американцы. Остальные представлены на выставке более или менее случайно. Видно, что тут действовала единственная заповедь, выработанная коммерческой религией Европы и гласящая «на всякий случай»...

1923

ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО

Mein Herz ist in Hochland,
Mein Herz ist nicht hier,
Mein Herz ist in Hochland,
In waldgem Revier...[1]

Тирольская песенка про лесничего.

Европа хорошо знает нагорные лиственные леса и поет о них. Да и мы знаем поэзию Тюрингии, Шварцвальда, Аргонны из переводной литературы, знаем лучше, чем собственные края. Лесничий — любимая фигура немецких романистов. Песенки о женихе-лесничем поются во всех уголках Европы — швейцарками, немками, тирольками, эльзасскими. Но если вдуматься; как непоучительна, обща и бессодержательна эта литература! Что знаем мы в конце концов из бесчисленных романов о лесе и лесничем? Единственное точное познание — о браконьерах и о том, как лесничий их ловит. Отсюда вывод: лес — собственность, браконьеры — воры, лесничий — сторож. Главным поучением, извлекаемым из множества европейских романов, и будет это упорное, на тысячу ладов, вколачиванье в читателя догмата собственности.

На самом же деле лес — это жизнь страны, ее **легкие**. Дыхательный процесс земли совершается

---

[1] Мое сердце в нагорье,
Мое сердце не здесь,
Мое сердце в нагорье,
В лесной стороне.

через леса. От них зависит климат, ими живут реки; они сберегают влагу, определяя собой урожайность земли. Вырубить лес — обречь страну на умирание. Но и оставить его на произвол времени тоже нельзя. И лес живет жизнью человечества — имеет мертвецов, стариков, молодняк. Поколение сменяется в нем поколением, мертвецы должны быть похоронены, молодняку очищено место. В необходимости периодической частичной вырубки и заключается промышленное значение леса.

Мы в России знаем главным образом хвойные леса. Но сейчас по всем углам нашего Союза происходит великая опись советского имущества. Куда, в какие бы дебри вы ни попали, вы обязательно наткнетесь на экспедицию, комиссию, экскурсию или еще что-нибудь в этом иностранно звучащем роде, наткнетесь на русскую рыжую бородку клинышком, очки над голубым глазом, измерительные палки, трубы, чертежи, бинокли, ящики, непременного ленинградца (всюду ленинградцы!) и узнаете новую подробность о земле советской, об ее червях, полевых злаках, рыбах, птицах, климате, ископаемых, во всех трех ее этажах от неба до недр. Именно сейчас открывается нам и новое богатство Союза — лиственный карабахский лес, занимающий около 155 тыс. га [1] и по своей красоте и промышленному значению не уступающий воспетым лесам Тюрингии и Бадена.

В четырех областях Карабаха — Хачене, Варанде, Джераберте, Дизаке — имеются три лесничества с десятью лесными дачами. Во время первой империалистической войны и безвластия крестьяне жестоко вырубали лес, пользуясь отсутствием всякой охраны, не только на топливо, а главным образом на пастбища для скота, опустошая при этом огромные участки. Так погибло за короткое время 15—20 процентов лесов. Сейчас расхищению положен предел. Восстановлена зеленая лесная армия: начальник лесов — «старший лесничий» — и объездчики, отчаянные люди на отчаянных карабахских лошадях, с револьверами за поясом. Но все же

[1] Около 153 тыс. га под лесом, из коих около 115 тыс. га удобной площади (данные 1925 года).

объездчиков мало (наполовину меньше, чем в довоенное время), и, разумеется, они не в силах уследить за крестьянами. Главная беда карабахских лесов — общая беда всего Закавказья: отсутствие колесных дорог. Трудно представить, по каким тропам пробирается путник сквозь гущу этих нагорий.

В течение нескольких часов мы мчались по луговым дорогам, мимо пастбищ, исходящих нагретой сладостью клевера, под солнцем не слишком жарким, зелеными бесконечными пространствами, в которых терялся звон коровьего колокольчика, да посвист объездчиков, скакавших по-тюркски, сидя вполоборота. Нетерпенью моему конца не было: где же лес?

И вот, совсем неожиданно, за двумя легкими поворотами, нас охватила тишина и густота черного леса. Тотчас же дорога сузилась в тропку, умная лошадь пошла шагом. Глаз стал глядеть, как сквозь водяные заросли, все погрузилось в прозрачные зеленые сумерки.

Особенность горного леса — фееричность и разнообразие открывающихся панорам. Тропа идет то вверх, то вниз, бесчисленными зигзагами; лошадь проваливается по колено в жидкую черную грязь. Шумя пролетают мимо вас невидимые горные потоки. Птица не поет, не свистит насекомое; дубы в три обхвата; клен, карагач, ясень; между ними,— как нечистая сила из «Вия»,— колючки, шиповник, ежевика, кизил сплошной чащей, и вы слепнете, продираясь впотьмах, прикрываете глаза, нагибаете голову, припадаете к лошадиной шее то справа, то слева, чтобы спастись от ветки,— как вдруг волна ослепительного света, солнце, стрекотання кузнечиков.

Вы выбрались на полянку. С обеих сторон кручи в кудрявых локонах леса. Над ними причудливые каменные выступы: горы увенчиваются скалистым гребнем. Внизу серебристая чешуя реки. Дальше луга, квадратики посевов, сенокос под самыми вашими ногами; терпеливый осел или мул, ожидающий себе на спину огромной клади из сена; загорелый, как бронза, крестьянин, собирающий охапки за двадцать километров от своей деревни, а где-нибудь, еще за двадцать, он

будет жать пшеницу. Но... две минуты — и виденье исчезает; разве успеете сорвать и отправить себе в рот черную крупную ягоду ежевики, приятную по кислоте и терпкости: две-три ягоды могут утолить лютую жажду.

Лошадь опять вступила в тишину и тень. На этот раз вы проезжаете буковой рощей.

У бука серебристый гладкий ствол, уходящий в небо. Под ним все становится серебристо-серым, повитым пухом. Трава, кустарники, земля сереют и затуманиваются. Вдалеке встают призраки — седобородые старцы, мертвецы в саванах, кивают, никнут... Гете думал о буковом лесе, когда писал «Лесного царя».

Но вот лошадь фыркает, сгоняя с ноздрей мух, и серебристый туман остается позади. Мы опять на полянке, тысячи прелых запахов, вытянутых солнцем, бросаются вам в ноздри, а вместе с ними встают тысячи живых звуков. Дятел выстукивает, мошки жужжат, ящерицы шуршат; а над вами, в открывшейся синеве неба, огромными плавными кругами, забирая высоту, кружит орел. Их здесь много, и повыше, в Лысогорске, я видела одного совсем близко: сидел на краю дороги, на скале, смотрел спокойным недобрым глазом, потом шевельнулся и нехотя отлетел с изумительным, почти прописным величием: царь-птица.

Объездчик рвет лист, трет его между пальцами, нюхает. Мясистый лист пахнет приятно: мы въезжаем в чащу грецких орехов. Эти берут своей кроной; раскидистая, ветвистая, тяжелая, с веероподобными лапками листьев, отяжеленных зеленым крепким яйцом — молодым орехом в своем панцыре. Грецкий орех в Карабахе высокого сорта. Он не так нежен и ломок, как крымский, который можно ломать руками, но зато гораздо сочнее и жирнее.

За мощным рядом орехов нам открывается живописная дикая груша, яблонька, алыча, кизил. Плодовых деревьев множество. Был сделан опыт прививки им хороших черенков, и результаты получились прекрасные: дерево дает садовые плоды, а привычки и вкусы сохранило прежние,— ни ходить за ним, ни поить его — живет, как жило раньше. В Закавказье таких дичков бесчисленное множество. Трудно представить

себе всю выгоду превращения их в культурные плодовые деревья, не нуждающиеся в искусственной поливке.

Лес тянется бесконечно от нагорья к нагорью. Можно ехать и день, и два, и три, и все же не выехать из него. Но мы держим путь на деревню Колотак, центр лесной Саксаганской дачи. Она расположена не хуже самого живописного курорта, над ущельем быстрой колотакской речушки, зеленой, как все лесные реки. А прямо перед ней зеленые зубцы гор, с высочайшей точкой — Саксаганской скалой, лежащей, как каменная корона или искусственно сделанный бастион. С этой скалой-крепостью связана легенда, а может, и быль, об армянах, спасавшихся в ней от персидской осады; они перемерли с голоду, и их поклевали вороны, отчего скала и называется «Вороньей» («Саксаган»).

Не успели слезть с лошадей, хрустнуть костями, потереть коленки, затекшие от десятичасового пути, а уже неожиданная встреча, и опять с ленинградцами: лесоустроительная комиссия в составе трех студентов Лесного института, с женами. В нищей деревушке, где едва можно достать молока, они кой-как устроились, обжились, работают, питаются изо дня в день козлятами, которых хозяин, по обычаю, приводит живыми, дает пощупать и тут же, перед покупателем, режет. А работа живая и важная — «устройство леса». Устроить лес — значит узнать его в целом, изучить как комплекс.

Лес — живой коллектив, в его массе наблюдается своя закономерность. Ведь и дерево, чтобы расти рядом с другим, должно, как человек, быть социально воспитанным: не утеснять другого, занимать свое место, не загораживать солнца. Из этой естественной «социабельности» вытекают законы так называемой «полноты леса», то есть густоты расположения деревьев друг от друга. Она исчисляется в долях; например, для Саксаганской дачи полнота равна 0,54—0,72 доли на гектар. Но это еще далеко не все. Нужно определить запас деревьев на десятину, процентное соотношение дровяного леса, строевого леса, поделочного леса (высокие сорта), потом определение возраста леса, соотношения стариков, взрослых, молодежи, изучение почвы, дорог,

наконец перечень лесных пород и количества каждой из них. Узнанный таким образом лес предстает перед нами как нечто, подобное человеческому обществу. Вы точно высчитываете, чем, когда и насколько он может быть вам полезен, успешно проводите «мобилизацию» части леса на вырубку, создаете «охрану младенчества», запрещая губить молодняк, которым крестьяне сплошь да рядом питают свой скот, выгоняя его в лес. Вы вычисляете оборот лесного хозяйства (восемьдесят лет) и можете стать мудрым правителем лесного коллектива, пользуясь всеми его дарами и в то же время давая ему постоянно восстанавливаться.

Разумеется, до такого полного изучения, полного использования и разумной охраны карабахскому лесу еще далеко. Но основное мы знаем: лес имеет будущее [1]. В нем высокие сорта поделочного материала: большой запас дуба, бука, ясеня, липы, граба, бадана (кустарника, из листьев которого добывается дубильное вещество); наконец, в нем имеется драгоценный тисс (taxus baccata), который крестьяне употребляют чуть ли не на колья и который мог бы стать экспортным товаром. Европейские леса оживлены, как детская книжка с картинками: через каждую просеку — лесопилка, фабрика, санаторий; на реках — мельницы, электростанции, сплавы. Такой книжкой с картинками раскроется в будущем и Карабахское нагорье. Пока же ему нужны:

дороги,
дороги,
еще раз дороги

и увеличение штата объездчиков, чтоб охрана леса сделалась не только реальностью, но и наукой для карабахских крестьян.

1925

---

[1] Годичная лесосека в Нагорном Карабахе дает 113 тыс. куб. м, из коих 45 тыс. куб. м строевого и поделочного и 68 тыс. куб. м дровяного леса. В Челдаринской лесной даче огромные участки чистого дуба и бука. Был сделан опыт посадки боржомской сосны, и она отлично привилась.

ЗОЛОТАЯ МАСТЬ

Не женися, молодец,
Слушайся меня!
На те деньги, молодец,
Ты купи коня.

Лермонтов

«Сколько интересных лошадей я узнал в путешествии!» — фраза эта вырвалась у одного кооператора, посланного в командировку. Она вызвала хохот. Хохотала, признаться, и я.

А сейчас, спустя много недель, сойдя с седла и с сожаленьем стянув с себя мужские рейтузы, я вдруг вспомнила эту фразу. Не все люди, встреченные в пути, запомнились. Не обо всех стоило помнить. Но лошади сохранились в памяти все — умные и глупые, хорошие и плохие. И прежде чем рассказать о жемчужине Карабаха — золотистой лошади, мне хочется помянуть здесь и этих безыменных моих спутников, верных товарищей по утомительным горным тропам, в тумане и холоде перевалов, под ядовитым солнцем Кафана, в непролазной грязи карабахских лесов.

Умейте перед дальним путем выбрать коня! Если вы едете ночью (как приходилось мне сплошь да рядом, чтоб избежать непереносной жары), возьмите иноходца. У него спокойный и не тряский ход, смена простого шага на беглый не резка и почти незаметна. Вы можете дремать на нем, не боясь свалиться и быть под-

брошенным Но настоящий ездок для дневного пути предпочитает рысистую лошадку.

Рысистый конь — провокатор. Шаг у него короток, отстает от иноходца, мелкая рысь часто несносна и не ритмична, поневоле гони его, сменяя галоп на карьер, карьер на галоп. И тут вы попадаете ему в такт, срастаетесь с седлом, подбрасываете собственное сердце с лошадиными копытами, мчитесь, мчитесь.

Иная лошадь сразу разберет, кто вы такой, и начинает относиться к вам, как нянька к ребёнку. Хочется тебе ехать первым, нарушая принятый порядок,— хорошо, умная лошадь снисходительно обгонит вожака отряда и для виду потрусит впереди, деликатно отставая и понемножку возвращаясь на свое место. Но чаще лошадь самолюбива и обидчива, идет наперекор, куснет вас за стремя, если чересчур надоедаете.

Быстрая серая полукровка, на которой я ездила в Карабахе, питала необыкновенную страсть к колючкам. Где увидит жирный репейник, так непременно покосится на меня: можно? и, чуть я ослаблю повод, не останавливаясь откусит его и держит в губе, у самого края, про запас. С чисто женской хозяйственностью, она никогда сразу не ела, а набирала себе в губу множество всякого репья и только потом, во время остановок, со вкусом жевала его, точно шоколад.

Иногда лошади начинают хвастать друг перед другом седоками. Милиционер, спешившись, мыл в воде жеребца. Моя кобылка настойчиво покосилась на меня, и, когда я соскочила, гордо подошла к речке, стала повыше (каждая лошадь норовит стать повыше против течения, особенно когда пьет) и хвастливо зафыркала. Пришлось набрать воды в пригоршню и обливать ее под брюхом, как делал милиционер. Она не устала и не вспотела, но ей захотелось из самолюбия — и зря захотелось, потому что жеребец был глуп и не обратил на это никакого внимания.

Большой рыжий конь на дальней кочевке сам учил меня стреножить его, сам раскрывал зубы для уздечки, мотал головой, влезая в поводья, и хохотал надо мной, поднимая десны над желтыми зубами, хохотал так, что и я начинала хохотать. Конь был по темпера-

менту учительского звания, и подо мной он шел превосходно, а под мужчинами бесился и нервничал: ему нравилось, что он знает больше меня и что я его за это ценю.

Но уважать вас и признавать вашу волю лошадь начинает лишь после того, как проверит, пустой вы человек или солидный. Пустой человек, сойдя с лошади, разомнет себе ноги, покряхтит и норовит прямо в дом, чай пить. Солидный человек слезает не спеша, перекинет лошади поводья через голову, оборотится вокруг: где стойло, и ведет лошадь к стойлу; там он ее привяжет, сбросит седло, исчезнет, а через минуту, глядь, несет в стойло охапку сена или ячменю в решете, и успокоенная лошадь, двигая ушами, начинает медленно работать челюстями: у такого хозяина не пропадешь!

Нежнее всего я запомнила бедную лошадь красного партизана Ивана Газарова. Иван Газаров красавец, с огромным маузером у пояса, все свои документы показал мне в виде доказательства. А познакомилась я с ним в караван-сарае, среди спящих ослов и верблюдов, у чайного стола, где сидело много погонщиков, кочевников, торговцев, мусульман-паломников, словом, странствующей публики. Мне надо было нанять лошадь до Нахичевани на Араксе, то есть из армянского уезда до персидской границы, два дня верхового пути. Иван Газаров привел почту и возвращался порожняком. Он сторговался со мной на пятнадцати целковых — дешевая цена за двое суток. Она казалась тем более дешевой, что маузерист Иван Газаров привел красивых лошадей и сдобрил путь необыкновенными рассказами. Расстелив на ладони благодарственную грамоту за то, что был «организатором мнимой разбойничьей банды для поимки белогвардейской банды в составе семи человек, что и выполнил удовлетворительно и успешно», он весело передал мне, как было дело.

— В горах у нас грабили семь человек бандитов. Вызывают меня и говорят: «Иван Газаров, надо ор-

ганизовать поимку». Я отвечаю: «Надо созвать собственную банду!» Разрешили. Набрал товарищей и ушел в горы. Нападали, людей морочили. Наконец, дошел слух до белых бандитов, присылают человека — идти к ним на соединенье. Пошли. Еще две недели вместе поработали. На третью — напились. Я говорю: «Давай поборемся, кто сильнее». Они говорят: «Давай». Я начал бороться да из пулемета четверых уложил, а троих после поймали. Вот эту самую лошадь я тогда у них отбил. Разбойничья лошадь — начальникова. Три года исполкому служила, а сейчас, как постарела, дешево продали, я у них купил.

Подо мной была именно эта лошадь. Я ее выбрала за красоту, а потом раскаялась: ход у нее был неровный, то и дело спотыкалась, а как спотыкнется,— вздрагивала и рвалась вперед, точно ее хлестнули в зубы. И только сидя я заметила подробность: грива у нее с проседью, длинная, расчесанная, как волосы у старой женщины; до этого дня я совсем не знала, что лошади седеют, подобно людям.

— Старуха, на один глаз слепа,— оттого и спотыкается. Ударишь, как споткнется, чтоб не падала, вот она и привыкла ждать удара. Поезжу на ней, а потом мусульманам на убой продам.

Лошадь точно поняла. Вытянула седеющую голову, споткнулась, судорожно дернулась,— и вдруг повернулась ко мне. Я увидела два глаза: один — прямой, спокойный, невидящий, другой — зрячий, полный ума, памяти, укора. Глаз говорил: «Запомни: и ты постареешь, и каждый постареет».

Но я чересчур отдалилась от моей темы...

Коневодство было всегда любимым делом Карабаха, и не только потому, что здесь были шесть главных феодальных армянских меликств, а и от близкого соседства мусульман и от беспрерывного потока кочевников. Путем долгой культуры коня Нагорному Карабаху удалось создать изумительного метиса, в котором была кровь белого арабского производителя, вывезенного из лучшей конюшни Багдада. Об этом метисе

ходила слава далеко за пределами Закавказья. Слово «Карабах» в России вызывало вовсе не географическое представление, а образ необыкновенно красивого и породистого скакуна. Но карабахские кони не вышли на большую арену, не стали добычей военных ведомств и не прославились на мировых скачках просто потому, что хозяева дорожили ими, как женами (восточное отношение к коням и женщинам!), и предпочитали, чтоб о них вовсе не говорили, чем говорили много. Кони их были наперечет, производство носило замкнутый характер. И все же драгоценная кровь просачивалась в деревенских лошадок, скакуны оплодотворяли чужих кобыл, начиналось облагорожение всей местной породы. Это можно наблюсти и сейчас по червонному блеску лошадиных крупов в какой-нибудь далекой деревеньке: хоть капля метисовой крови да брызнула в них.

Карабахского метиса нельзя смешать ни с каким другим благодаря его особенности: червонному блеску. Это не гнедая масть длинноногого англичанина, лошади, вытянутой под стать англосаксонской расе и так и созданной для лошадиного туберкулеза, поджарых мисс в амазонках и фланелевых ножных бантиках над копытами: слишком стильная лошадь, чтобы не быть скучной. Ни один настоящий горец не позарится на нее. Это и не гнедая русская масть военного ведомства. Разницу определить трудно, но попытаюсь.

Гнедые кони, английские и русские, имеют ту особенность масти, что у них коричневая окраска лежит на черном фоне, иначе сказать, кожа темная, а шерсть на ней светлая. Поэтому масть их имеет поверхностную, внешнюю окраску, и стоит такую лошадь облить водой или ввести в речку, как она тотчас же потемнеет. Она вообще легко темнеет — от пота, пыли, усталости.

Совершенно не то — золотистая карабахская масть. Если вы ее выкупаете, она засияет, как золотое кольцо, брошенное в воду. Золотом отливает не шерсть, а цвет ее кожи, и потому она кажется не поверхностно, а изнутри окрашенной блеском, она светится золотом, наливается им; и благодаря изумительной тонкости этой кожи, обтягивающей ее мускулы, как лайковая пер-

чатка, карабахская лошадь брызжет золотом, бегает в золоте, словно в чешуе.

Но где же теперь эта лошадь?

Коневодство в Карабахе было подорвано первой империалистической войной. Когда же пришла советская власть и о драгоценной золотой масти вспомнили,— оказалось, что масть исчезла.

Между тем хозяйство Нагорного Карабаха стало налаживаться и крепнуть. В Степанакерте открыт был показательный агропункт; в Лысогорске построена альпийская ферма; созданы три маслобойных и сыроваренных артели, сыроваренный завод, ветеринарные пункты для осмотра кочевого скота, лесные питомники и много другого. Дошло дело и до золотой масти. С великим трудом были отысканы три карабахских жеребца и четыре кобылы, открыт случной пункт. Но изменились времена, изменились и методы. Вместо «благородных дам» двести крестьянских кобылиц были покрыты карабахским производителем и получили охранные грамоты: освобождены от всех повинностей.

Ко времени моего приезда в Карабах маленький конный завод уже расширился и имел несколько чистокровок, он был послан на «дачу» — на летнее кочевье. А в агропункте была в это время новая жемчужина, случайно найденная у бывшего помещика и только что купленная за полторы тысячи: чистейшая карабахская лошадь.

Азербайджанец, огромного роста, мрачный, с изрытым оспой лицом и засученными рукавами, вышел нам навстречу. Узнав, что нам нужно, он улыбнулся, оспинки побежали во все стороны, и лицо стало детским. Через несколько минут он снова вышел, ведя за собой на узде... Но разглядеть мы не успели. В глаза нам сверкнуло яркое золото, словно кто-то вырвал из клинка золотой меч и взмахнул им в воздухе. Мощное молодое ржанье, всплеск копыт о камни, веером вставший, волосок от волоска, выхоленный длинный хвост,— животное скакнуло в воздух, вырывая узду, сперва задними ногами вверх, головой вниз, потом присев на задние ноги и передними вверх. Женщины вскрикнули и, подхватив детей, разбежались. У мужчин вырвался крик

восторга. Азербайджанец с налившимися на руках, твердыми, как веревки, мускулами, боролся с конем, натягивая узду, прыгая вслед за прыжками лошади. И вдруг, пробежав, как молния, по полукругу, лошадь играючи обнажила десны, сверкнула зубами, опять молодо заржала и остановилась,— как балерина, в опадающем веянии золотого хвоста и гривы. Она так и стоит передо мной в памяти. Маленькая узкая голова с надменным взглядом, прямая шея, выпуклые ноздри, легкие, пропорциональные стати с играющими под тонкой кожей мускулами. От ушей до кончика хвоста — арабская лошадь, но смягченная и более гибкая и вся налитая горящим золотом. Благо тому, кто на нее сядет!

Мы замерли на минуту от восхищения. А потом, как по уговору, переглянулись. И у каждого из нас мелькнула одна и та же мысль: почему бы нашей кавалерии — говорят, лучшей в мире — не получить и эту лошадь, лучшую в мире? Поработать над возрождением и разведением этой легкой, гибкой, быстрой и выносливой, благородной золотой породы — вот благодарнейшая задача не для одного только карабахского наркомзема!

1925

ЛЕС РОДОДЕНДРОНОВ

1

Разъездному корреспонденту в ткварчельском лесу до тошноты много материалу. Он может описать его, как кунсткамеру: избушки на курьих ножках (свайные хижинки вдоль реки Гализги, строиться на земле здесь нельзя из-за сырости); шалаши-невидимки в чаще леса, без единого живого существа, но с накрытым для путника столом, где приготовлены мамалыга и четверть вина (абхазский обычай, еще не исчезнувший); «дуб зеленый» с воткнутыми вдоль ствола восковыми огарками (абхазцы жгут на нем свечи неведомому богу); наконец, волшебный источник, в котором исцеляются тысячи ревматиков. Источник теплый, сернистый, вода в нем радиоактивна, древнейшие каменные ниши-купальни показывают, что им с незапамятных времен пользовались, а сейчас здесь плетеные сарайчики, несколько коек на земляном полу, чинные курортные больные, процедуры по расписанию и даже фельдшер.

О красоте и говорить нечего, красоты — как в Демьяновой ухе. Субтропический лес в три этажа: внизу подвал, черная грязь без травы, рыжие папоротники, гниющие на корню, запах тленья, сладковатый, тошнотворный «субтропический» запах, где трупы — это листья, древесная кора, сучки, напластанные, как навоз в неприбираемой конюшне. Солнце сюда не заходит,

лошадь ступает по земле, словно печать по горячему сургучу, регистрируя каждую пядь пути. Глядишь и наглядно учишься, как в доисторические времена образовывался каменный уголь. Второй этаж — подлесок, похожий на подпушину у мохнатого животного — лавровишня, остролист, азалия, понтийский рододендрон, диковинные по форме, грубоватые, глянцевитые деревья, опутанные тысячью паразитов, красиво называемых лианами, глициниями. Ранней весной они продергивают листву, как нарядную дамскую сорочку, гирляндами цветочных бантиков, а осенью подобны веревкам, напутанным вокруг покупки неопытным продавцом.

Еще выше — третий этаж: коренные жители леса, огромные строевые мачты, бук, каштан, дубы в два с половиной обхвата, грецкий орех, тисс, самшит — можно их описать поодиночке, потому что у каждого свое лицо и свой промышленный «патент».

Еще недавно каждый шаг в этом лесу приходилось прорубать топором. Сейчас от селения Квезани и до серного источника имеется грунтовая дорога, очень скверная и неровная; от источника идут вьючные тропы к месту промышленной разведки на уголь и к месту геологической разведки. Первую организовал трест Югосталь, вторую — ленинградский геолком. Расстояния между ними километров пять, но осилить их на вечно голодающей абхазской лошади не так-то легко. Бежит впереди вас абхазец, посланный навстречу вам из лагеря; волосы его вьются по ветру, как у хорошего дореволюционного попа. Это — знак траура: потеряв родственника, абхазец дает обет не стричься определенное число лет, и длина его волос говорит о сроке его скорби. Лошадь плетется за ним, то проваливаясь в грязь, то взлезая передними ногами на деревянный помост,— дороги и тропки здесь в трудных местах мощены деревом, совсем как в Ленинграде. Стуча копытами по деревянному настилу, несет вас лошадь над отвесными оврагами, в полумраке влажном и безветренном, похожем на блеск слез сквозь опущенные зеленые русалочьи волосы, к человечьей стоянке.

В Ткварчельской лесной даче, раскинутой по реке Гализге с притоками, в местности, изломанной и изре-

занной горами, ущельями, оврагами, множеством тектонических нарушений и неправильностей, густо заросшей девственным лесом; непроезжей, иногда непроходимой на десятки километров от ближайшего человеческого жилья; с климатом, убийственным для жизни — влажным, сырым, дождливым; с отчаянными трудностями доставки продовольствия и оборудования,— в этой местности суждено было прожить и проработать бок о бок двум совершенно различным группам людей. Каждая из этих групп имела свое задание. Целью одной,— геологической — было определить запас и залегания ткварчельского угля; целью второй — промышленной — было практически проверить буровыми скважинами основную наметку геологов и достать пробную партию угля, чтоб испытать качество угля в лабораторных и заводских печах Югостали. Хоть и разные задачи, но тесно друг с другом увязанные; хоть и разные группы людей, но поставленные в одинаковые условия существованья.

И как же обе эти группы, лагерь Жернова (промышленный) и лагерь Мокринского (геологический), использовали и осуществили свое многолетнее соседство?

Тогда еще не было пущено в печать ударное словечко «соревнование». Но логика вещей не родится с лозунгом, она работала до него и будет работать после. И когда в определенной среде возникают два явления — как два пешехода на одной дороге,— между ними тотчас устанавливается момент соревнования, хотя бы неосознанный ими самими. Посторонний человек, начинающий их сравнивать, неизбежно устанавливает, что, различая градации достигнутого, противопоставляешь одно явление другому. Но в нашей советской действительности есть и еще одно, совершенно своеобразное свойство, которое с такой резкостью и осмысленностью не наблюдается нигде больше. Дело в том, что соревнующиеся организмы вырабатывают у нас не только различие по степеням (хуже — лучше, меньше — больше, тише — скорее), но и качественное различие, которое мне хотелось бы назвать различием диалектическим. Наше хозяйство растет из общего корня, подобно нашей общественности, нашей печати. Но задумывался ли кто-

нибудь над тем, что десяток партийных органов (скажем, газет), основанных не разными хозяевами, а одним хозяином, вырастают в живые и диалектически разные, с качественно несхожими лицами, полемизирующие общественно-групповые силы? Начало нового общества похоже на биологическое начало жизни: разрежьте простейший организм на две части, оставив на одной голову, на другой хвост (выражаясь грубо для наглядности), тотчас отрезанная голова выработает себе хвост, а хвост — голову,— с такой же простейшей закономерностью вырабатывают в отношении друг к другу диалектическую «тезу» и «антитезу» и наши общественные организации.

Так вот, задолго до пущенных лозунгов, в глухом Ткварчельском лесу, словно по заказу, создалась удивительная диалектическая двоица, настоящие два магнитных полюса, образованные на двух концах пятикилометровой палки. Если б в задачу мою входило дать изобразительный очерк, я повезла бы на своем седле читателя сперва в промышленный лагерь Жернова, а потом в геологический лагерь Мокринского. Два разных мира раскрылись бы перед ним в порядке художественной последовательности, и какие яркие, типичные, остро очерченные, доделанные в своей неподражаемой остроте и конкретности одиночеством, глушью, ясностью обстановки, какие превосходно выраженные человеческие фигуры прошли бы перед читателем!

2

Слово, которым встретил лагерь Жернова приехавших, было местоимение «ты». Приехавшие, очемчирский исполком, то есть районная власть, получили это «ты» от стриженой девушки, вышедшей из барака, и звучало оно несколько укоризненно, положив начало небольшой добрососедской пикировке. Промышленный лагерь Жернова почти сплошь партийный: он возглавляется техником Жерновым, партийцем; рабочие, привезенные из Донбасса, в большинстве — партийцы; девушка, работающая в канцелярии, партийная. Эта донбассовская

публика, руссаки с цветущими лицами, светловолосые, крупноростые, своего рода «отборное зерно» (актив, набранный по единицам), крепко сколотила свой быт,— и первое ваше впечатление от лагеря Жернова именно бытовое. Есть две-три женщины-стряпухи; часть заработка идет в общий котел,— рабочие, технический персонал, канцелярия едят вместе, три раза в день, и хорошо едят. Летняя стоянка лагеря похожа на дачный поселок или деревенскую окраину; свинья бегает за людьми, как собака; уборная напоминает беседку — вся в виноградных листьях. Плана нет, особенного порядка нет, но люди живут вкусно, дружно и с удовольствием. «У нас коммуна!»

За короткое время существования коммун, у них выработался свой маленький грешок — высокомерие к неорганизованному соседу, гордость «своим домом». Эту гордость своим домом у Жернова почувствуешь с первой минуты, стоит только спросить о соседнем лагере, геологическом лагере Мокринского. Не осуждая прямо, намеками, умолчаньем или пожиманьем плеч жерновцы дадут вам понять о мокринцах, что это люди иного десятка. Женщин мокринцы из лагеря выставили и не пускают туда принципиально; рабочие и технический персонал общего стола не имеют; быт строго иерархический; общественной жизни — никакой: так вы поймете из намеков и рассказов жерновцев. И странной вам покажется нотка скрытой неприязни, с какой одна группа людей говорит о другой группе, закинутой с ней вместе в глушь и безлюдье. В гости друг к другу эти два лагеря не ходят. Знать друг друга не знают. Живут сплетнями, как где-нибудь на городской улице.

Но вот, поев вместе за столом, рабочие вскакивают на работу.

Их никто не сзывает, звонков нет, даже начальника нет (Жернов был в отъезде), но рабочие торопятся, как если б им грозил штраф. «У нас прогулов нет, мы на сдельщине»,— объясняет один. Коммуна имеет под собою очень крепкие и очень прозаические корни; здесь платят хорошо — за выработку. Сытые здоровые люди торопятся сделать побольше, чтоб накопить побольше. Весело и дружно разбегаются на работу, к буровым

скважинам, под смешливые речи толстых стряпух. От них идет жар, руки их распарены. Покормив рабочих, садятся есть и они, а свинюшка роется по-семейному возле их подолов.

Странное дело! Хозяйственное житье этой донбассовской шахтерской коммуны непреодолимо напоминает не промышленный лагерь, а колхоз, не рабочую семью, а крестьянскую. И, может быть, поэтому вы ее воспринимаете не в плане работы, а в плане быта. О работе же задумываетесь уже много времени спустя, побывав у антипода Жернова — у Мокринского. Едете вы туда с теплым чувством к жерновцам и с зароненным предубеждением к мокринцам. Но вот красивая, напоминающая плацдарм долина Кенса, где разбит последний лагерь Мокринского... и как он разбит! Военные ровные линии бараков, геометрический квадрат забора. Лагерь огорожен. Загорелые люди делают в трусиках гимнастику. Повар в колпаке — олицетворение мужского начала, потому что повара и портные дают особый стиль женской своей профессии,— повар выглядывает из окошка, как где-нибудь на пароходе или в окопах. А вот и сам Мокринский — один из талантливейших инженеров-геологов, крепкий и жесткий человек со смуглым и жестким лицом. Наклонив голову к стволу ружья, он методически сбивает мишень — дикие яблочки — одно за другим, короткими, быстрыми выстрелами. Так развлекается лагерь Мокринского в перерыве работы. Даже и развлечение военизировано.

Изучить этот новый для вас быт, неприязненно освещенный жерновцами, вы не успеваете, потому что вас встречают не как гостя, а как делового человека, которому тотчас облегчают его деловую цель. Слушайте, глядите, вникайте. Методически, точь-в-точь так, как раз за разом нажимают они курок, сухие пальцы Мокринского разворачивают перед вами стройную лестницу бумаг, чертежей, планов.

Хорошо работать у начальника, имеющего свой метод,— наверняка получишь у него знания. Хорошо слушать о работе, исполненной методически,— у вас наверняка создастся правильное впечатление о процессе работы. Инженер-геолог Мокринский, специалист по

углю, создал специальную методику геологической разведки, синтезировав существовавшие до него приемы, уточнив их, связав в строгой последовательности. И, в результате трехлетнего изучения Ткварчели, шаг за шагом, начиная с разрезов по каждой речке, двухсотметровой мензульной съемки, установки пикетов (количеством около девяти тысяч), прослеживания угля по выходам шурфами, канавами, буровыми скважинами, ручными и механическими, устройства штолен вдоль пластов и кончая зимней камеральной обработкой получаемого летом полевого материала,— вся эта логическая система работ вскрывает перед вами подземные недра с точностью хирурга, вскрывающего кишечник больного. Вы как бы видите под хаотическим букетом ущелий, под крупнолистными гроздьями рододендронов — сложение каменных пород, их слоистые ряды, их неправильности, их редкую начинку углем, идущую, как шоколадный крем под определенными слоями этого неровного, но по-своему однообразного пирога. Уголь прослежен так тщательно, что все буровые скважины, ставившиеся для проверки геологического чертежа, последовательно натыкались на те слои, которые уже были указаны в чертеже. Более тщательной и более точной работы в геологии, нежели трехлетняя разведка Мокринского, пожалуй, и указать нельзя, тем более что она велась с молодежью, кончавшей вуз и готовившей на этой практической работе свои дипломные сочинения. Не без хвастливости скажут они впоследствии, что прошли школу Мокринского, потому что получить метод — это значит побывать в настоящей школе...

Узнав, в чем задача лагеря Мокринского, и услышав, как эта задача выполнялась, поглядев на образцовые «полевые книжки» студентов, их аккуратное ведение своих работ (хорошее слово — ведение! канцелярия необходима для дела и столь же показательна для него, как цепочка для охотничьей собаки), вы вспоминаете симпатичных жерновцев.

В самом деле, что вы узнали о характере их работы? Две-три буровые скважины с лесом штанг, одна покинутая в сторонке, как пустой колодец. Ящики с колонками проходимых пород, кой-как уложенные. Неакку-

ратно и не совсем точно, на грязных листках, ведомые журналы бурового мастера. Канцелярия... ах, канцелярия! Охотничья собака бегает по лагерю Жернова без цепочки. Хорошо говорить: «У нас нет формализма и волокиты», если при этом дела в порядке. Но нельзя ссылаться на отсутствие формализма, если дела в хаосе. Милый лагерь жерновцев с его дружной семьей, пролетарским духом, партийным «ты», коммунистическим бытом и с его поспешной, но плохо осмысленной и едва ли хорошо поставленной работой, чего он добился в результате?

Возьмем сухую выписку из доклада:

«Ткварчельская партия Геолкома дала за три года работ более дешевый метраж против скважин Югостали».

Чисто научная партия сумела организовать производственную работу дешевле, чем чисто промышленная партия, на эту работу специально поставленная! Немудрено, что именно лагерь Мокринского, а не лагерь Жернова получил новое задание от Научно-технического совета каменноугольной промышленности пробурить в спешном порядке еще двенадцать скважин — десять из них сделаны уже за этот зимний период — общим метражем около 2000 метров. Невольно вспоминаешь, сколько труда ухлопали жерновцы на свои четыре скважины в шестьсот с чем-то метров.

Но странное дело,— чем нарядней и победительней разворачивается перед вами работа научного лагеря, тем грустнее и как-то обиднее становится у вас на душе.

Из всех видов собственности разве не самая невыносимая для нас — собственность на превосходство, на наилучший метод, на ту образцовость «первого ученика», от которой веет гордым и хитрым одиночеством? Десятки, сотни лишних усилий тратятся жерновцами только оттого, что нет у них навыка организационной работы. Не естественно ли было бы одинокому превосходству Мокринского стать заразительным, стать примером для соседнего лагеря? И теплому «ты» жерновцев не лучше ли было бы перекинуться сюда, через квадратный забор мокринцев, чтоб заразить в свою очередь «первых учеников» необходимой и радостной сти-

хией советской общественности? Почему, в самом деле, эта щетинка ежей, колючее высокомерие двух «собственников», как если б один взял патент на знание, а другой — на общественный быт?

Когда мы тихим, медленным шагом уезжали из леса рододендронов, навьюченные ворохом впечатлений, невесело давалась нам последняя, обобщающая мысль: не заключается ли всякая подлинная победа (в быту и технике!) именно в том, чтобы стать разделенной всеми и обязательной для множества людей? И нет ли в одиноком росте, в одиноком совершенстве признака болезни и поражения, как в неестественном росте единичной клеточки рака?

Соревнующимся нужно помнить об этом и никогда не строить свое превосходство на неуменье и недостатке своего соседа.

1929

ЧУВСТВО ФРОНТА

Письмо в «Правду»

11 августа в «Правде» было напечатано замечательное воззвание профессоров и слушателей Тимирязевского сельскохозяйственного института. Крупнейшие ученые отдают себя на лето в распоряжение политотделов МТС, идут помогать стране, становятся у «колхозного станка». Но не это самое главное в воззвании. Главное — это острое чувство фронта, правильный выбор точки приложения сил для тех, кто хочет в решающую минуту бороться за социализм на решающем участке.

Правильный выбор точки приложения сил полезен не только для фронта. Трудно заранее учесть, какое обогащение теории даст специалистам такая фронтовая практика. Нам, писателям, сейчас сильно недостает именно этого чувства фронта. Мы забыли, что лозунги, которые даются нам партией в области искусства, есть лозунги фронтовые, их смысл и необходимость открываются лишь тому, кто самое искусство включает во фронтовую полосу. А между тем уже целую зиму мы тщетно пытаемся насытить лозунг социалистического реализма, новой драматургии, бесклассового человека, что называется, «из головы» определить их с помощью книжных, учебных и всяких иных пособий,— и эти лозунги, по выразительному слову техники, попросту «про-

висают» у нас, обнаруживают порочное отсутствие опоры вовне. Между тем стоит только их перенести во фронт, как действенный смысл их окажется простой и несложной наметкой самой жизни, требованьем, таким же деловым и обоснованным, как фронтовое требование каучука, меди, угля. Поэтому искать верную расшифровку этих лозунгов лучше всего в обстановке того участка, где идут решающие бои за социализм.

Этим письмом я прошу включить меня в воззванье тимирязевцев. Я прошу политотделы Наркомзема дать мне возможность прикрепиться на все лето, вплоть до окончания уборочной кампании, к одной из МТС, чтобы быть свидетелем, участником и летописцем фронтового рождения новой культуры [1].

1933

---

[1] В результате участия в уборочной кампании 1933 года автором были написаны очерки «Опыт тимирязевцев» и «Тайна трех букв», печатающиеся в настоящем томе.

ОПЫТ ТИМИРЯЗЕВЦЕВ

1

Осень — любимая пора Пушкина — пришла к нам в этом году в неслыханном изобилии побед. Целый ряд блистательных финишей, побивка рекордов, отчеты кампаний, итоги экспедиций, рапорты с вершины Памира, с песков Кара-Кума, с обледенелых бортов «Челюскина», из «безвоздушных» высот, из земных недр — отовсюду, куда советский смельчак пробрался мирным завоевателем, вся эта жатва побед и открытий на время заслонила другую, обыкновенную жатву, приходящуюся на осень: уборочную кампанию. Среди прочих богатств осень надвинулась к нам, как известно, и урожаем. На местах говорили: «Хлеб прямо прёт на тебя». Задача — убрать этот хлеб, и не просто убрать, а так, чтоб обилие сегодняшнего дня не привело к небрежности, легкомыслию, поспешности в подготовке к завтрашнему,— эта задача предстояла стране, как огромной важности и трудности бой. И на всех полях, где растет хлеб, был этот бой дан.

Об одном из эпизодов боя за хлеб я и хочу здесь рассказать. Два с половиной месяца назад читатели «Правды» узнали, что сельскохозяйственный институт имени Тимирязева, от старой профессуры и до рядового слушателя, «отдал свой летний отпуск в распоряжение политотдела МТС на всю уборочную кампанию». К воз-

званию тимирязевцев стали присоединяться другие вузы и втузы, и вскоре число присоединившихся перевалило за тысячи. Чтоб снарядить поход,— а снаряжением для тимирязевцев должно было стать знание, потому что явиться в поле без знания значило явиться балластом,— чтоб снарядить поход, тимирязевцы провели в стенах института агротехническую конференцию.

«До сих пор всякие наши конференции собирались при наркоматах, сами же студенты, исполнители ее решений, были в стороне...»,— так начал академик В. Р. Вильямс свой доклад. Здесь мы видим любопытный факт: новая форма помощи студентов государству родила и новую форму помощи науки студентам. Научная конференция переходит в вуз, превращается в производственную, как бы посылая свои выводы не в папки архива «к сведению», а прямо на поле действия «к исполнению». Ряд речей и докладов на конференции настолько значительны, что досада берет, почему их не выпустили книжкой. Это «напутствие» еще долго будет и реальным путеводителем к действию, и образцом того, как «чистая наука» (теория мелкой и глубокой пахоты, вопросы севооборота, вопросы использования механизмов) оказывается сплошь политической грамотой, орудием острой классовой борьбы.

Это напутствие тимирязевцы получили на конференции в исчерпывающей полноте, и оно им дало ту направленность зрения, какая помогает видеть вещи, иной раз и ускользающие от неподготовленного взгляда. Так, в Одесщине они подметили задолго до работников Наркомзема тенденцию на местах ограничиться одною «лущевкой» (предварительной запашкой убранного жнивья) для озимого сева, без последующей глубокой вспашки. Это явление, опасность которого грозит в будущем году окончательным засореньем полей, надо было угадать заранее, чтоб по нему ударить, и, если б не закалка наших бойцов, они не ударили бы тревогу, не обратили бы внимания на факт, мимо которого многие проходят («все равно, мол, будут сеять под борозду»). Эта острота зрения заставила увидеть и причины, почему колхозы стремятся отделаться от зяби одной лущевкой: все, как один, тимирязевцы в своих

отчетах указывают на отсутствие рационального севооборота. Дайте севооборот, без этого нельзя говорить о плане — вот резкий, единодушный крик поля, подслушанный тимирязевцами и отраженный в их записных книжечках, в их отдельных, по колхозам, разработках местного севооборота, в их планах и графиках, составленных для мест.

Еще один замечательный документ привезли они с собой в сумках,— и опять подмеченного всеми одновременно явления,— рисунок «рваного поля». Тимирязевцы подобрали и донесут до вуза и усилят внимание к этому факту: небольшой колхоз сплошь из клочков, тут и пшеница, и ячмень, и кукуруза, и подсолнух, и технические культуры, и все, что нужно на потребу одному колхозу,— и в результате разорванное на квадраты поле, затрудняющее не только всякую работу, но и проведение севооборота... Тимирязевцы нанесли, как образчики, такие «рваные поля» на план. И глаз, вооруженный остро, глаз общественника-большевика (в числе тимирязевцев почти половину составляли партийцы) всмотрелся еще глубже в «рваное поле»,— где его скрытые причины? Конечно, привыкли так раньше сеять, наследие единоличного хозяйства, замкнутая потребность деревни, но только ли это?

И опять я от тимирязевцев слышала, в связи с этим «рваным полем» (хотя связь и не сразу раскрывается),— мало заботы о колхознике, мало гибкости в вопросе его питания, предколхоза жадничает, боится зарезать барана, не умеет создать колхозный котел в таборе.

Однообразная пища,— в одном таборе сплошь кабачки, в другом — сплошь картошка, в третьем — сплошь капуста,— воспитывает в колхознике стойкое цеплянье за «рваное поле», чтоб иметь у себя «помаленьку да на каждый вкус» разнообразие и зерновых и технических культур, а не только одно законное и необходимое разнообразие огорода. В результате за «рваным полем» по сути дела встает реакционнейшая психология «патриархального хозяйства». Вот куда приводят тонкие нити от такого незначительного, казалось бы,

факта, как колхозный котел и его неумелая организация.

Уже из этих беглых строк видно, как углубленно тимирязевцы подошли к своему делу. Их помощь стране вылилась не в форму кампании, не в форму буксира. Своеобразие и ценность тимирязевского опыта выражается уже в том, что он был бы полезен стране, даже если бы не принес прямого результата, то есть если бы тимирязевцы не помогли убрать урожай. Все, на что я указала выше, лежит в области «подхода», «метода», «оружия» тимирязевцев, и эти подход, метод, оружие оказались ценны сами по себе, потому что явились новым проводником агротехнической и, вдобавок, не мирной, а воинствующей культуры на наши колхозные поля. Воинствующей, потому что враги социализма прикрылись сейчас в колхозах не только грубыми формами вредительства, а теориями, на которых воспитано, кстати сказать, немалое число агрономов, работающих на полях. Даже если б тимирязевцы только встретились с такими агрономами, только провели на местах (как они это сделали) несколько пятидневных бесед-конференций, только бросили иное освещение на вопросы, усвоенные старыми агрономами по неверным учебникам,— и то польза была бы немалая.

Когда бригада тимирязевцев, работавшая на Каменномостовской МТС, запросила агронома, знает ли он последние указания центральных органов, оказалось, что он их не знает. А по поводу глубокой вспашки «агроном Новаковский говорит, что учебник Вильямса не дает таких указаний, и, когда мы сказали, что там это есть, он ответил, что не читал этого». Фраза прямо античная в своей простоте.

2

После конференции пятьсот тимирязевцев двинулись в поход. Не прямо в поле и не просто на практику. Особенностью их похода — напомню — была отдача себя «в распоряжение политотдела МТС».

Кто ездил поездами-тихоходами, на верхней лавке бесплацкартного, позволяющей с удобством и прохлад-

цей глядеть в окна на долгие, неторопливые стоянки, тот, наверное, уже заметил некоторое изменение станционного ландшафта. Почти нет у нас железнодорожной станции, за спиной которой и напротив, перейдя рельсы, не выросло бы нечто совершенно новое, до революции не бывшее, но так органически выросло, будто и нет в его появлении ничего «инородного». Элеватор — и раньше стоял элеватор — оброс складами, зданиями, жильем, флажком на жилье, он стал ссыпным пунктом, куда, как и во все, что строится и обособляется, проникла не только своя столовка, чайная, баня, контора, но и читальня с патефоном, эстрада, подобие клуба. А вот напротив, через рельсы, где раньше чернела проселочная дорога, закрытая шлагбаумом, и дышали в него, упарившись, лошадиные морды и где как будто не было и неоткуда было взяться постройкам,— теперь, как правило, незаметные и неказистые прямоугольники казарменного типа, далеко расставленные друг от друга, и каждый, кто к ним пригляделся, заранее вам скажет, что там есть. Вокруг невзрачного двухэтажного здания расположилось хозяйство, но не обычное хозяйство. Подальше открытый сарай, перед ним машинные части, гудение мотора из соседней коробки, кузни или механической, а перед самим двухэтажным домом, как правило, подобие цветника и неизбежный русский колодец с лебедкой, изредка покультурней — с краном. Лужа возле него, непременно белая, потому что у колодца моются и заливают мыльной пеной землю, по утрам сюда бегут, как к умывальнику, разные люди, не похожие ни на городских, ни на деревенских. Широта горизонта за коробками, их щедрая пространственная расстановка, посев за домом — все говорит, что место лишь начинает застраиваться, его только тронули,— и, действительно, среди достроенных коробок непременно одна или две не закончены. И еще одна особенность этого молодого хозяйства, раскрытого настежь: в нем нет ворот, потому что по большей части вокруг него нет никаких оград. Это и есть машинно-тракторная станция.

В сердце МТС, двухэтажном здании, два крыла. На одном крыле помещается директор МТС со своей канцелярией: замом, старшим агрономом, бухгалтерией,

двумя-тремя практикантками из города, гнущими головы над сводками. Это по большей части аппарат давно сколоченный, усидчивый, считающий себя здесь хозяином. Если вспомнить, что политотделы застали в МТС очень большую засоренность (туда шли люди, обычно нигде не рассчитывавшие устроиться), а весенний ремонт машин оказался, по первым донесениям начполитотделов, не только плохо выполненным, но коегде и вовсе не выполненным,— можно легко себе представить, какая тут была «чистка» и как пришлось пощипать это «крылышко»; а отсюда понятно, что и отношение между двумя крыльями МТС кое-где оставляют желать лучшего.

Второе крыло — политотдельское — тоже имеет аппарат, сколачивавшийся постепенно и функционально, то есть по мере выяснения нужды в том или другом человеке. Так, к начполитотдела и его заму по партмассработе прибавились женорг и редакция газеты. Странная канцелярия у политотдела. Здесь люди днем и ночью в движении, как на походе. Рожок автомобиля гудит под утро — привозит из ночного совещания в таборе. Свет можно видеть и в три и в четыре часа ночи. Нет посетителя, которого тут не приняли бы. Не в столах и папках центр тяжести работы, а там, куда эти люди уезжают, где стоят, куда присели,— иначе сказать, в них самих, и дела за ними ходят, к ним стягиваются. Это непрерывное движение от человека к человеку создает особый тип работы на ходу, а когда вы поймете, в чем работа, вы сможете определить и ее стиль.

О политотдельском стиле работы уже начинают говорить. Его пытаются художественно запечатлеть. Уже есть угроза, что начполитотдела, по двум-трем живым портретам, начнут шаблонизировать, подгонять под один образ, а с ним заштампуют и приемы его работы,— и это будет досадной неправдой, потому что сколько МТС, столько и разных видов этой работы, ибо ни условия, ни обстановка, ни задачи, ни обстоятельства не совпадают на МТС. Един лишь характер самой работы, и бесконечно разнообразны формы, в какие она облекается. В чем же единство?

Были сказаны и на всю страну прозвучали слова: «План — это мы с вами, это живые люди». Организация политотделов, впрыскивание свежей партийной сыворотки в нашу деревню есть не что иное, как дальнейшее развитие и воплощение этих слов. Не только потому, что лучшие люди, сливки партии, должны были показать и доказать, как надо работать, а потому, что на этих лучших людей должен был клюнуть и пойти лучший человек. В этом поиске человека, нахождении человека, мобилизации и установке его на правильном месте, в этой выуживающей, открывающей, воспитывающей, консолидирующей работе «центр притяжения» должен и сам все время находиться в той повышенной, полноценной стадии намагниченности, в том полном всеоружии и как бы заряженности своих качеств, когда «на ловца и зверь бежит». Это цветение личности для политотдельца необходимо потому, что стоит только ему сдать, как сдадут и другие вокруг него. Борьба за урожай для политотдела и явилась борьбой за человека, который соберет и вывезет хлеб.

«Людей нет»,— плачутся обычно те, кто потерял способность притяжения. Но люди есть. И находить людей очень часто значит откапывать их под мусором лентяя, лодыря, хулигана, саботажника. Значит, не только по радиусу, но и внутри, по четвертому измерению надо искать людей. Больше того, иногда человек лежит в том, что можно назвать «позицией» На шахматной доске не одно качество фигуры делает ее ценной, а и позиция, которую занимает эта фигура. Запертой королеве грош цена, и пешка перед последним полем противника — самая сильная фигура. Вот это чувство позиции, умение дать верный ход человеку тоже входит в задачу поисков.

Бесконечны и разнообразны средства, которыми орудует политотдел: разговорчивость и молчаливость, газетное слово, действие на самолюбие, действие на желудок, пример, обида, похвала, любовь, отвращение, каждый жест и каждый вещественный прием могут определить работу, смотря по мере надобности, по месту действия, по составу колхозников, по их национальной,

культурной, территориальной, хозяйственной особенности.

Вот теперь, когда мы разобрались, в чем работа политотдела, мы уже представляем себе составные части ее стиля: гибкость, маневренность, личную намагниченность, полную открытость среде, как бы держащую человека на ходу; остроту внимания, стратегическое чувство целого (где, кого, куда надо), очень большое терпение; педагогичность, твердая рука там, где требуют обстоятельства,— да мало ли еще признаков.

И к этому именно аппарату поехали приложить свою энергию тимирязевцы.

Я остановилась так пространно на политотделе потому, что итог работы тимирязевцев, блестящие характеристики, которые они получили от политсекторов, есть в то же время и показатель высокого качества той организации, в распоряжении которой тимирязевцы находились. Здесь мне приходится уже как бы свести обратный баланс — подытожить пользу, полученную самими тимирязевцами.

Помню ночь,— так начинались когда-то цыганские романсы,— почти цыганская ночь, где костер был особый: в канавку, прорытую под ногами, охапкой валили солому. Она загоралась, мгновенным жаром обдавала сидящих и потухала, и в темноте кто-то вновь и вновь безостановочно поддерживал этот огонь. За окружностью, собравшей людей, даже тени их не плясали, так густо легла ночь; в спину дул резкий ночной ветер: это в таборе на совещании засиделся с бригадой политотдел. Было очень важное совещание — перед косовицей, затянувшейся из-за отсутствия тягла.

Один из самых отсталых районов северной Одесщины обсуждал в своем штабе, как назавтра дать генеральное сражение. К каждому табору, валясь по ухабам, шмыгал всю ночь политотдельский автомобиль, чтобы повсюду — в крытой рогожею походной «канцелярии», в шалаше красного уголка, возле костра таборной кухни — еще раз проверить и зарядить людей, обсудить расстановку. Честно сказать, все устали,— устанешь на десятом совещании в третьем часу полевой ночи — полевой, не городской, где камни и дома, ворота

домов, окна витрин бодрствуют огнями; полевая ночь не бодрствует, а спит, и сон растения, птицы, сурка, сон земли под ногами давит на бодрствующего, усиливая усталость.

На подложенной охапке сена сурком заснула крупная веселая девушка, тимирязевка. При вспышках соломы озарялась ее щека, румяная и заспанная. И было видно, что руки, ноги девушки, ее глаза и губы натружены до последней степени, отдыхают в той последней раскидке, когда человек сваливается, выпустив всю творческую зарядку. Те из нас, кто был старше по возрасту, поймали себя на заботливом и одинаковом чувстве к молодости: «Пусть ее спит, умаялась».

Девушка только что приехала на МТС и, по обычаю политотдела, тотчас же взята была в дело. Но вот на четвертом выступлении веки спящей дернулись. В обсуждении отсутствовал винтик — голос агронома. Неожиданно для меня спящая села. И словно не было ночи и не было сна, даже без сипоты в горле, этот нужный голос агронома, доказывая, что и он тут, что вся машина в порядке и в действии, отчетливо, деловито занял свое место на совещании. Это — маленький штрих, но характерный. Попав в систему политотдела, тимирязевцы и сами усвоили ту высокую требовательность к себе, те напряжения неослабного бодрствования, какие необходимы на фронте.

«Вы много нам сделали, но важно, как много вы получили,— сказал на заключительном отчете тов. Боровский, замначальника политсектора Северного Кавказа.— Вы работали в политотделах под руководством лучших наших партийных товарищей ...и вы овладели методом политотдельской работы».

Вот почему рассказывать, как тимирязевцы помогли выявлять классового врага, как они становились у машин, давали примеры ударной работы, сколачивали актив, агитировали, учили,— значит сказать в сущности только одно: тимирязевцы достойно вошли в систему политотдела. Недаром сейчас связь закрепляется между институтом и политотделами не только морально, а и организационно, через шефство и взаимные обязательства. Надо еще отметить, что «зараза» политотдель-

ского стиля, партийная школа захватила даже и беспартийных преподавателей. Совершенно исключительную помощь оказал в поле преподаватель тов. Шереметьев, на шестом десятке превратившийся в юношу: он чинил и ставил в строй негодные машины, агитировал словом и действием и был весел — той поощрительной веселостью, какая для окружающих в работе нужнее, чем соль в еде.

Почин тимирязевцев удался на все сто,— он дал и хлеб и опыт.

1933

ТАЙНА ТРЕХ БУКВ

Главы из книги

ОТКРЫТИЕ ДОРОГИ

1

Представим себе, что мы смотрим вниз, на кустик, выросший из земли. Он к ней привязан. Его «ноги» не ходят, а лепятся. Его «руки» не действуют, а колышутся. Правда, мы знаем, что злаки умеют медленно перемещаться по земле, наподобие звезд в небе,— пшеница, например, п р и ш л а из Азии,— но это беспомощное движение сотен и десятков тысяч лет, сотен и десятков тысяч или, вернее, миллионов поколений злака. А вот перед сурком или белкой какими рабами своих стеблей и своей привязи кажутся цветы на садовых грядках. Но сделаем такой зрительный опыт: вообразим себя существами сверхчеловеческой породы и взглянем сверху вниз уже не на цветы, а на хозяина сада, самого человека,— так ли уж он свободен в движении? И тут станет ясно, что и люди, самопроизвольные существа, в своем передвижении не очень-то ушли от стебелькового. Правда, стебель не держит их на одном месте, как не держат рельсы на одном месте трамвайное колесо; но в то же время он именно д е р ж и т их, как держат рельсы трамвайное колесо. Этот стебелек, дер-

жащий человека,— дорога. Движения, не оставляющего следа, в мире нет; даже пространство над нами, пойманное радиоуловителями, полно несчетного количества материальных следов раз возникшего движения... Ясно, что человек обречен на дорогу: где бы он ни сдвинулся с места — в земле, на земле, над землей,— он или следует по проложенной до него дороге, или пролагает ее себе сам. Вот этот «стебель», что тянется за человеком, и может стать в некоторых случаях предметом самых интересных открытий.

Получив обыкновенным путем билет на самый обыкновенный поезд, я вошла в вагон почти с тем же трепетом, с каким ступил Христофор Колумб на свой корабль. Кроме названий станций в тетрадке, изученных мною очень тщательно, словно это были стихи или формулы, в портфеле у меня лежали карты. Надо сказать, что найти их было отчаянно трудно. Дней пять я шлялась по книжным магазинам, киоскам, библиотекам, забрела даже в статистическое бюро. Мне отвечали — нет. Тогда, с упорством человека одержимого, я шла в учрежденье, где эти карты висят на стене, и глядела на них так прожорливо, что ребенок, будь он обладателем этих карт, непременно почувствовал бы, как его обкрадывают, закрыл бы карты ладошками и закричал бы: «Уходи, не твоя карта, ты ее себе всю выглядюкаешь!» Наконец, усатый добряк украинец, торговавший на почте календарями, открытками и прочей бумажной продукцией, сжалился и достал мне откуда-то засиженный мухами экземпляр. Внизу справа было напечатано «Адміністративна карта Украіньскоі соціялістичноі радянськоі республікі». К этой драгоценности позднее у меня прибавилась еще «гидрогеологическая карта распространения артезианских водоносных горизонтов юго-запада Украины». Правда, артезианские колодцы интересовали меня не в первую очередь. Но на этой карте и на ее черно-белых извилинах сидели шарики станций, а возле шариков были их названия,— вот это самое и интересовало меня наижгучим образом.

Итак, я вошла в вагон. И в вагоне мне от нетерпения даже чаю не пилось, а сейчас же захотелось прове-

рить свои мысли. Соседи заразились любопытством. Они охотно отсели с лавки, где я во всю ширь развернула обе карты. Потом настало время вытянуть из портфеля последний номер газеты «Черноморская коммуна» от 3 серпеня (августа) 1933 року (года). На первой странице ее, под заголовком «Зведення про збирання», был однообразный столбик ста двух названий. Я читала про себя каждое из этих названий, потом начинала глядеть на карту, совершенно не интересуясь теми шариками, что лежат на белом пятнышке или даже на черном червячке, означавшем реку, а прослеживая глазами только линии железных дорог; вскрикивала легонько от радости, находя на ней шарик, и ставила пометку в тетради.

— Можно так полагать,— кашлянув, сказал мой сосед,— что они ищут выигрыш по займу пятилетки.

Он обращался собственно не ко мне, а к другому пассажиру, и другой пассажир сочувственно ответил:

— У них что ни нумер, то и выигрыш.

Это было справедливое замечание. За ничтожным исключением, почти все сто два названия сидели в счастливых номерах. Я «выигрывала по займу пятилетки». Сто два названия, приведенных в газете, означали список МТС Одесской области,— и выигрышем для меня было то, что все они (за ничтожным исключением) расположились по линии железных дорог и даже полностью приняли на себя названье железнодорожной станции, возле которой находились. Разница была только та, что эти названия стали как бы производными от имени станции — прилагательным женского рода. Так, Вознесенск дал Вознесенскую МТС, Кавуны — Кавуновскую МТС, Веселый Кут — Веселокутскую МТС и т. д.

Поезд шел очень медленно, как и надлежало товаропассажирскому. Длинный, однообразный состав из бесплацкартных вагонов был набит публикой короткого следования. На каждой остановке удавалось сходить и не спеша делать открытия. Это был самый глухой район Северной Одесщины, и сейчас тут, как и всюду в Союзе, шел исторический бой политотделов за убороч-

ную кампанию. Станция наплывала на вагонное стекло всем своим привычным стандартом — домиками «жіноча» и «чоловіча», торговками молоком и скатанным творогом, хоботом водокачки, треугольной крышей депо, а подальше группой цистерн, напоминающих гигантские обоймы, и силосом, вытянутым, как романская базилика. Все это было знакомо. Но вот дальше, за полотном, как раз против станционного здания, выросло что-то совсем новое. Обычно туда уходила черная от грязи дорога. Обычно эта дорога представала поездному пассажиру в ошейнике пестрого шлагбаума, а за шлагбаумом, тупо уткнув в него морды, ждали усталые лошади с телегами. Вела эта дорога вглубь, туда, где лежит страна в радиусе этой станции, как комната в радиусе настольной лампы. Но сейчас, с такой же стандартностью, с какой некогда возникали вокзалы и все их железнодорожные пристройки, невдалеке от этой дороги выросло скопище зданий. Достаточно увидеть две и три таких группы, чтоб дальше, вдоль всего вашего пути, вы уже инстинктивно, глазами, искали и находили их, как обязательную составную часть всего пейзажа. В центре — двухэтажный прямоугольный дом казарменного типа, перед ним недавно разбитый цветничок, обнесенный оградой; дальше — колодец с лебедкой или краном, куда поутру убегают полугородские на вид люди с полотенцем и мыльницей; лужа перед колодцем — белого цвета. Далеко от дома, расставленные с пространственной щедростью, другие домики, одноэтажные — столовая, кухня, баня; гуденье мотора за мастерской, и перед ней грузовик, машинные части, металлический лом. В этом свежезастроенном месте, неуловимо напоминающем что-то п е р е с е л е н ч е с к о е, пионерское, очень остро чувство н а ч а л а, первых форм существования. Все кажется «сварганенным наспех», вчерне и еще не обжитым. Поражает раздвинутость построек, как бы рассчитанных на будущие новые дома между ними; по большей части нет никакой ограды, кроме маленькой вокруг цветничка,— и большое свежезаведенное хозяйство раскрыто настежь. В нем как-то необычно сплетено городское с деревенским — дом, кухня, мастерская, службы напоминают

пригородное фабричное заведение, но за домом — большая площадь огорода, хлебов, кукурузы и даже каких-то странных виноградников: в этой части Одесщины они больше похожи на лес молодых дубков, потому что в листьях этих гибридов — ничего общего с классической лозой. Такова по большей части машинно-тракторная станция. Для начала запомним, что она, не в пример прочим людским поселениям, выросла на совершенно голом, до нее никем не обжитом месте. Но выбрала она это место — у станции железной дороги.

2

Если продолжить поездку к северу Украины, то начнутся гоголевские места. У нас сохранилась замечательная поэма о путешествии по этим местам, потому что «Мертвые души» можно с полным правом отнести к небольшому количеству самых интересных книг человечества о путешествиях.

Какую бы деревню ни хотел описать Гоголь, среднерусскую или украинскую, нет ни малейшего сомнения, что именно эти гоголевские места, по которым тянет нас товаро-пассажирский, места, знакомые ему с детства, служили пищей его творческому воображению. Именно эти места, где, по логике истории, впервые возникли машинно-тракторные станции, дали Гоголю образный материал для того, чтоб навеки сохранить для нас в искусстве усадебную, шоссейную, проселочную Русь. Предприимчивый путешественник Чичиков пустился в путь по-тогдашнему вполне современно, больше того — на высоте транспортной техники, показавшись даже уездному населению передовым, столичным человеком, до тонкости изучившим нрав своих коней, с лакеем, изучившим его собственный нрав. В бричке был своего рода сейф для деловой чичиковской шкатулки. Перед ним лежал предмет путешествия — усадебная страна. Лошади несли его по «столбовой дороге», с березкой и верстовым столбом. От этой дороги отходили ухабистые проселочные. Каждый раз

как приходилось сворачивать и бричка ныряла в ухаб, путешественник открывал новую и новую усадьбу с неповторимым образом ее хозяина. И все-таки, несмотря на разнообразие видов, характеров, качества, степени зажиточности, в этой помещичьей деревне мелькало и нечто типовое, и можно, с очень небольшим риском ошибиться, заранее предсказать, что за поворотом дороги открывался искусственный пруд, а в него опрокинулись выбеленная колокольня и александровский фасад барского дома с колоннами. Можно подсказать зеленые пятна парка, служебные постройки, новшества (если хозяин культурный человек), вроде кирпичного завода, или маслобойни, или заморской машины во дворе, перед сараем. Но уже безошибочно, неподалеку от усадьбы, расположились частые, оголенные, без садов и фокусов, справа и слева от проселочной дороги, хатенки неизбежной деревни, с целовальным заведеньем, кузней, затопленным в грязи и в бесчисленных следах водопоем.

Но по закону дороги проезжий и его бричка тяготели обычно не к ней, а к центральному, собирательному пункту дороги — к помещичьей усадьбе. Путешествие Чичикова в его чувственной конкретности открывает перед нами тайну старинной русской межусадебной дороги, заключающуюся в остановочном, узловом, центральном значении усадьбы того времени в системе проселочных дорог. Даже глубокий, подсказанный гениальным чутьем языка, смысл слова «проселочный» открывается читателю по-новому: именно проселочный — частица «про» означает проехать, миновать, проследовать через, а не связать две точки; проселочный — проходящей через села, ибо остановка делается не в селах.

Со времени путешествия Чичикова прошло много десятков лет. Помещики давно исчезли. Но усадьба осталась, со всем своим техническим инвентарем, проселочной дорогой, «заморской» машиной, сараями и службами. Когда развитие нашей деревни потребовало машинной техники, встал вопрос — где эту технику, то есть новейшие сельскохозяйственные машины, удоб-

нее собрать в одно место? И первым и естественным соблазном было — взять за исходную точку для концентрации старую чичиковскую усадьбу. Ранние колхозы, возникшие на месте старой деревеньки или села, и пошли на этот соблазн — иметь «свою собственную», для своего села, машинную, техническую базу, то есть превратить старую помещичью усадьбу в новую колхозную усадьбу. Так пошел в ход специальный термин «интегральная усадьба» (то есть собирательно-возрастающая усадьба). Новый путешественник, какой-нибудь командировочный или журналист, в автомобиле райкома ездил бы тогда по маршруту Чичикова, и ему открывался бы видоизмененный, но по существу дела такой же усадебный пейзаж, где дорога тяготела бы к усадьбе как к цели. И — спросим себя — куда делся бы тогда социалистический характер новой машинной базы, ее не узко-целевое (путь к себе), а руководящее (путь от себя), организующее и просветительное начало? Против чичиковского соблазна восстала логика развития самой послереволюционной деревни. Восстала против него дорога, та самая дорога, которая при царе послушно вела к помещику. Сейчас она закричала о сотне новых вещей — о необходимости быть ближе к горючему (к месту хранения горючего для дизелей), к элеватору (к месту разгрузки и погрузки), к ссыпному пункту (к месту приема, взвешивания, хранения зерна). Новая обязанность, возложенная на дорогу, как только умер ее старый хозяин — частный рынок, повела к тому, что дорога по необходимости должна была ориентироваться на ближайшее место, отправляющее зерно к новому хозяину, государству. Таким ближайшим местом, где есть цистерны для горючего, элеватор, склад, вагон, куда подхватывается зерно, и явилась станция железной дороги. Иными словами — старый самодовлеющий путь помещичьей усадебной Руси, почтовый тракт с березками и проселочными, характерная связь для частновладельческого этапа деревни,— он подчинился уже не только внешне, но и внутренне, в глубоком

организационном смысле, более прогрессивному виду сообщения — пути железнодорожному. Машинно-тракторная станция возникла, как правило (за малым исключением нескольких «глубинок», являющихся как бы заявками на ближайшую постройку железной дороги), возле станции рельсового пути. Иначе сказать, она преодолела интегральную усадьбу.

Вот мысли, к которым подводит — на первый взгляд, такой детский и произвольный — анализ дороги. Но открытие с ними не кончается. Оно лишь начинается.

ЧТЕНИЕ В ПУСТОЙ КОМНАТЕ

> «Лусы были некогда городом... при мне не осталось даже следа Лус».
>
> *Павзаний.* Описание Эллады, Книга 8-я, раздел 18-й.

1

Желающему сейчас изучить МТС, почти не на что и не на кого опереться. Идти за материалом в Трактороцентр — значило обрекать себя на прошлое, щупать притихший пульс учреждения, еще не знающего — а как завтра; идти за материалом в Политуправление — значило обрекать себя на будущее, на замерший пульс учреждения, как бы готовящегося к прыжку в завтра. «Сегодня» в одном месте отмерло, в другом еще не образовалось. И над этой пустотой резко кричала практика, вздрагивала, меняя колею, сама МТС; крик и дрожь в одну минуту обежали страну, просочились в газеты, дошли до обывателя в форме конфликтов, сперва отдельных и случайных, потом общих и типовых, между райкомами и начальниками политотделов. Был ли это обычный конфликт отдельных людей, по

старому правилу — «новая метла чище метет»? Можно ли было объяснить его только новизной и непривычкой? Или тем, что начальники политотделов, сливки партии, люди с большой теоретической подготовкой, не могли не столкнуться на местах с некоторыми райкомщиками, менее их подкованными по части теории и слегка уже «забюрократившимися» в привычной отсидке на одном месте? Разумеется, от каждой из приведенных выше причин было нечто и в действительности. Но даже во всей их совокупности эти причины бессильны объяснить до конца создавшуюся на практике остроту.

Так называемые «болезни роста» не есть просто болезни: в них, кроме больного и болезни, есть еще рост, а в нем-то и зарыт «корень вопроса». Несомненно, что именно рост МТС скрывался в основе большинства конфликтов. Но какой рост, «куда» рост и чего именно рост? С этой задачей, одной из самых интересных в «тайне трех букв», я прошла город до вокзального «майдана», вошла в дом, охраняемый красноармейцем, взяла пропуск, поднялась по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. И, когда открыла нужную мне дверь, очутилась в совершенно пустой комнате.

Политсектор одесского облзу[1] отсутствовал: он был почти всем составом на полях уборочной кампании. Но не только политсектор отсутствовал, всю комнату можно было с полным правом назвать «отсутственным местом». Здесь почти ничего не висело и не стояло. В разрозненных папках, добытых мною,— драгоценнейший материал эпохи, документы через сотню лет... Но тут я споткнулась на невозможность в одном причастии выразить такое будущее, которое немцы называют «Fútúrúm II», то есть будущее второе, более отдаленное.

Мы потеем и бегаем для «Истории фабрик и заводов» за каждым архивным документом; мы рыщем, как следопыты, чтобы вытянуть из старых бумажных катакомб или живых старческих ртов два-три, иногда малозначащих, слова о прошлом. И мы тут же допускаем

---

[1] Областное земельное управление.

утрату, невнимание, небрежность, самое легкомысленное отношение к архивному материалу, чье значение становится историческим почти на наших глазах. Речь идет о донесениях начальников политотделов. Когда новое учреждение — Политуправление — возникло, оно принесло с собой особую форму связи с периферией. Каждый начальник политотдела, уезжавший на свою машинно-тракторную станцию, должен был посылать периодические подробные отчеты в свой штаб.

Мы знаем, что всех МТС — около двух с половиной тысяч. Почти на каждой из них есть политотдел. И почти каждые две недели, иногда раз в неделю, свыше двух с половиной тысяч «докладов» неслось и несется через всю страну в политсектор и дальше — в Политуправление. Может быть, через год эти доклады улягутся в «форму», станут приглаженными, типовыми, отстуканными на машинках, начинающих «поступать» на МТС. Но представим себе боевую обстановку этого года. Машинок по большей части нет, а если есть, так замечательные — с выпрыгивающими внезапно нулями вместо буквы «б» и двойками вместо буквы «е», с таинственной большой буквой в середине слова, с орфографией чудовища, пишущего в насмешку, и этой орфографией скупые, резкие, больше чем серьезные, иногда решающие судьбу тысяч людей, слова отстукиваются и должны быть прочитаны без тени улыбки. Впрочем, и такие машинки — редкость.

Человек, занятый день и ночь, работающий в одном лице две и три смены подряд, пишет свое донесенье р у к о й. На чем попало — на серой, белой, желтой бумаге, на листиках из блокнота, в школьной тетради. Он пишет не по форме. Ни одна форма, даже четко продуманная, не может целиком размежевать его впечатлений. Что же получается? Исключительный, единственный в истории факт — явление массового эпоса. Искусство, поднявшееся, как зеленя, сплошным массивом, искусство своеобразной летописи, описание земли, разбитой на клетки, с сохранением лица, характера, почерка, особенностей стиля каждого летописца каждой

клетки. Иначе сказать, начальники политотделов в эту «кампанию 33-го года» вынуждены были не доклады писать в центр, а укладывать содержание доклада — волей-неволей, не с целью создать эпос, а просто подчиняясь дурным условиям походного быта — в форму личных писем. Когда читаешь донесения-письма начальников политотделов, то вместе с содержанием получаешь от них и неизбежную лирику, темперамент пишущего, вкусы его, степень искусности в письме, почерк, выдающий характер,— ту теплоту, что отличает человеческий документ от официальной бумажки. В каком государстве, при каких обстоятельствах, в какую эпоху, какие Навуходоносоры, Ксерксы, Наполеоны, Цезари могли бы расставить цвет своего народа по шахматным клеткам страны и заставить его быть Павзанием, Гомером и Геродотом в одном лице? Почти полжизни потратил Павзаний, чтоб описать Элладу, по размерам далеко уступающую Одесщине. А у нас эта жатва географии, социологии и истории явилась как бесплатное приложение к историческому подвигу начальников политотделов. И мы ее не только не умеем хранить, не воздвигли архива, не разобрали, не изучили и не исследовали, а просто теряем скомканной и смятой, в папках без номера, засунутых в шкафы без замка.

2

Разберемся, как возник политотдельский эпос.

Свежий человек приезжает на станцию, обслуживающую несколько десятков тысяч га, несколько десятков деревень; он приезжает хозяином, облеченный властью, какой до него здесь никто не имел. Что он должен сделать в первую очередь? Принять по описи все хозяйство. Это не в узком смысле. Не только тракторный парк, машины, инвентарь, постройки, вообще все материальное тело МТС, а и хозяйство, которое эта МТС должна обслужить, то есть весь земельный участок в сфере ее действия — количество га, живого тягла, размеры весеннего и осеннего сева, характер севообо-

рота, число трудоспособных, число единоличников, если они есть, состояние колхозных кадров, партийной работы. Говоря «принять по описи», я это понимаю не буквально, потому что начальник политотдела — совсем особый хозяин, отнюдь не «хозяйственник», и опись ему нужна, цифра ему нужна не как тому, кто имеет ключи от склада, то есть держит вещи в руках, а как тому, кто эти вещи держит в уме.

И вот, как если бы до него не имелось ни статистики, ни географии, ни экономики, ни докладов, он на свежую голову подробно отписывает в центр все то, с чем отныне предстоит ему иметь дело; все то, что сам только что «принял по описи». Такой мгновенный, но полный снимок с отдельной «шахматной клетки» Союза, сделанный не в одном месте единичным человеком, а единовременно свыше чем в двух тысячах мест, свыше чем двумя тысячами людей, отобранных, как зерно, по принципу добротности, дает материал, неминуемо вскрывающий, как всякий массовый опыт, не одни лишь факты, но и содержащиеся в фактах закономерности. И поверх них, как масляный круг на воде, всплывает основная особенность, присущая всем без исключения политдонесениям: центром для своего отчета, площадкой, с которой он делает наблюдения, каждый начальник политотдела берет не колхоз, не село, не район, а хозяйство машинно-тракторной станции, понимаемое как отдельный, самостоятельный, самодовлеющий организм.

Поскольку эта черта всеобщая, в ней тоже скрыта закономерность. Объяснить ее легко из самой практики: начальник политотдела, приехав на станцию, не снял ни одной функции ни с МТС, ни с райкома и никого собой не заместил, но в то же время он вынужден был совместить в себе функции каждого, чтобы каждую минуту, как боцман на корабле, держать под рукой всю тяжесть, весь объем, всю совокупность хозяйства МТС как целого. Маленький руль дает крен всему судну, и политотдел, чтобы дать крен своему судну, вынужден держать его под руками именно как целое, как собран-

ное единство. Так неизбежно возникает в донесениях яркий образ машинно-тракторных станций как самостоятельных территориально-экономических единиц, как живых и оригинальных (ни одна не похожа на другую) узловых клеток в стране. Такими мы их увидели впервые. Было ли это и раньше?

8

Представьте себе раствор с квасцами; он может долго стоять и оставаться раствором, но если вы его насытите, то есть введете предельно необходимое количество квасцов на стакан воды, то раствор начнет кристаллизоваться. Была ли машинно-тракторная станция до назначения политотделов? Была — в той же своей материальной сущности, в какой стоит и сейчас. Тот же был у нее радиус действия, те же машины, те же цифровые данные. Но эти цифровые данные входили в иную систему учета. В районном центре, в здании сельсовета вы всегда можете найти дверь с надписью «плановый отдел» и познакомиться с особой породой людей, выполняющих у нас в Союзе функцию бухгалтерских и счетоводных кадров. Их равнодушие воспитано «сводками», довольно безразличной операцией, где цифра, живая и показательная для статистика, заменена счетом, привычкой ценить как самое главное в деле процесс подсчета, а не лицо цифр.

Так вот именно районный плановый отдел вбирал в себя сводки МТС. Именно к району, к его системе учета и тяготела машинно-тракторная станция как часть районного целого. Когда есть районный центр и что-нибудь входит в его орбиту, то это означает очень многое, если не все,— это означает систему определенного административного и территориального деления, означает рисунок, вязь той клеточной ткани, какая лежит в основе организма всей страны. По ней вы учитываете и распределяете, влияете и познаете, собираете и действуете. А что такое нынешний районный центр? По большей части — крупное село, бывшее центром (рынком) еще задолго до революции. Сейчас производствен-

ные отношения изменились, тут же, у самого села, возникла совершенно новая форма обслуживания целой системы, целого «куста» деревень, а районный центр все еще помещается в этом селе, как будто точки притяжения старого и нового мира территориально совпадают. И вот произошла любопытная вещь: назначение политотделов как бы послужило «предельным насыщеньем раствора» Машинно-тракторная станция стала кристаллизоваться, то есть обнаружила присущие ей самой центрирующие, стягивающие, охватывающие качества,— такие, что свойственны явлению целостному. Иначе сказать, возле одного, старого, центра начал закручиваться другой центр.

Разве до назначения политотделов МТС не сбилась, не начала сбиваться на прокатный пункт? Разве отдельные работники станций не боролись с этим порочным взглядом на МТС именно только как на прокатный пункт? Ясно, что мера, выдвинутая партией, была подслушана у логики развития социализма. От нее зависели не только посев и сбор хлеба, но и будущее самой машинно-тракторной станции. И следующая мера — перенос ячеек из районного центра, где они стали «учрежденческими», в артель, бригаду, где они сделаются производственными,— как бы дополняет и развивает все ту же перестановку сил в стране, происшедшую с назначением политотдела.

Вот в этом, а вовсе не в персональной романтике двух личностей, из коих одна «лучше», а другая «хуже», и кроются глубокие причины неувязок и стычек между райкомом и политотделом. Они кроются в медленном, верном, безошибочно крепнущем росте МТС как нового фактора районирования, как нового узла системы, нового центра для учета, управления, влияния, и нет никакого сомнения, что в будущем — пусть даже далеком будущем — наша страна будет покрыта не старыми формальными клетками, вышедшими из дореволюционной разбивки на уезды, волости, села, а новыми, живыми клетками, родившимися из производственно-энергетического кустования колхозов.

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ ОЖИВАЕТ

«Немцы стали переселяться на юг России с половины XVIII века, когда Екатерина пригласила их селиться по вновь приобретенных Россиею владениях на особо льготных условиях, давших им возможность сразу сделаться состоятельнее всех прочих новоселов Новороссии...»

«...дома из жженого кирпича под общей крышей с хозяйственными пристройками, прусское расположение комнат с дверьми, делающими все комнаты проходными... Немцы ходят в городской одежде».

(Полное географическое описание России под редакцией Семенова-Тянь-Шаньского, т. XIV, стр. 212.)

1

Я сидела в номере гостиницы и ждала. Ждать пришлось с утра, уже пали сумерки, час между «собакой и волком», как говорят французы, или «двойной свет», по-английски,— а моего долгожданного гостя все еще не было. Об этом госте я знала все и ничего. В дневнике моем было про него записано: «Сочный, блестящий литературный язык, свободное изложение, непосредственное письмо, не связанное никакими анкетными вехами, писалось не сразу, а по частям, повидимому, очень талантливый, веселый и легкий человек, хороший организатор, умница. Отметил все новое для себя, подхватывает детали, делает выводы». Но если кто подумает, что человек этот — начинающий автор, а вышеприведенная оценка относится к литературному произведению,— он ошибется. Гость, которого я ждала и уже знала по характеру, почерку, внутреннему облику, но еще ни разу в жизни не видела,— был начальник политотдела Акржанской МТС т. М. Полянский.

За несколько дней в одесском политсекторе мне пришлось прочесть множество политдонесений; и они развернули передо мной — на выбор — и несколько десятков разнообразных МТС и несколько очень ярких индивидуальностей, по своему характеру не похожих друг

на друга, начальников политотдела. Самая важная вещь в жизни — выбор — и стала передо мной: надо было из множества выбрать два объекта, взять только две МТС во всей области, чтоб суметь их изучить. Этот «выбор невесты» был тем трудней, что на него влияли не один какой-нибудь, а очень много одновременных факторов. Надо было взять самую интересную и самую характерную МТС не только по личности начальника ее политотдела, но и по всему букету — особенностям населения, истории хозяйства, трудности положения, оригинальности работы.

Страна, о которой упоминает Гомер, куда был сослан древний предшественник Пушкина, Овидий Назон, где торговали финикияне, греки, генуэзцы, где, кажется, властвовали и проходили все полчища древних народов — готы, гунны, сарматы, печенеги, хазары, татары,— эта страна и в новую историю пришла с клеймом этнографической разношерстности, обреченности на очень пестрый национальный состав. Причиной тому — почти непрерывная колонизация начиная с восемнадцатого века. Если вы возьмете статистический справочник за последние годы, составленный даже без мелкой дроби, с общей графой «інші» (прочие), куда входят численно незначительные народности,— вам и то придется насчитать не менее десяти групп населения и среди них молдаване, болгары, немцы, шведы, цыгане, даже американцы. Каждая группа, как это бывает при колонизации, упорно и заботливо хранила все обычаи, навыки и повадки своей национальной—племенной или сектантской — обособленности. Немцы-меннониты, например, чурались не только иноплеменников, но и других немцев, католиков и лютеран. В монументальном труде, откуда мне пришлось взять эпиграф, написанном незадолго до войны, есть любопытные данные насчет обрядов, одежды, суеверий, быта колонистов, о которых мы на севере ничего или почти ничего не знаем. Там целые страницы посвящены странным суевериям даже наиболее культурных (в хозяйственном отношении) переселенцев, например, болгар, их вере в «смок» — гигантского удава, хвостом убивавшего людей; колдуний — «караконджул», вампиров, женщин, похожих на

древних парок[1] — «урисниц». Еще красочней молдаванские обычаи: например, привычка — прежде чем прикоснуться к напитку, дуть на него, чтоб отогнать мертвецов; полынь под подушкой, за поясом у женщины — от дурного глаза; вера в «противовампирическое» действие чеснока... Перечислять нет смысла, древняя греческая мифология и позднее Карпаты,— родина всей суеверной нечисти, какая только есть в мире,— вот откуда, из какой глубины веков, из каких горных далей занесены на Одесщину все эти своеобразные поверья. Они расползлись от молдаван, сербов, болгар к украинцам, они же встали под пером Гоголя в образе страшного колдуна, отчима с гор прикарпатских. Позднее, в самых интересных местах политдонесений, там, где говорится об ухищрениях классового врага, о необыкновенных и о неожиданных способах потравы коней, почти нигде не совпадающих, о странном падеже скота,— я вспоминала, и, как вспышкой молнии, озарялась действительность — характерные черты местных суеверий и обычаев. Нужно знать эти темные чуланы каждого быта, потому что именно в них прячется своеобразие вредительских актов. Они имеют свою культуру — знакомство с травами, ядами, действием укола на то или иное сухожилие; они имеют своих «жрецов» — людей, любящих старину больше и крепче, чем даже собственных детей и их будущее; и эти жрецы,— в переводе на наш язык,— не только несознательный, но по большей части классово-враждебный кулацкий элемент, они не прочь взять себе на службу все вооружение древних мифов, пугающие аксессуары деревенских ведьм и вампиров, знахарскую бутафорию старых местиых гадальщиц или бабок, чтоб пустить ее в ход освеженной и насыщенной новым социальным заданьем: навредить и напакостить большевистскому делу. Вот почему без глубокого знания местного населения, местных обычаев до многого можно докопаться не сразу и с большой потерей и времени и сил. Но еще больше, гораздо больше, чем эти отрыжки народных суеверий и обрядов, важно

---

[1] *Парки* — мифический образ трех прях, прядущих нить времени.

ознакомиться с теми свойствами местного национального крестьянства, какие можно назвать положительными. Есть такие ходячие характеристики, вызванные экономическими и другими причинами, о которых необходимо знать, чтобы правильно выбрать тактику, путь к человеку. Велика, к примеру, разница между немцем-меннонитом и немцем-католиком... Но я далеко зашла в сторону.

Передо мной лежал выбор. Жадность обуяла меня, когда я начала читать. Мне захотелось поехать сразу на все станции, перевидать весь этот переплет диковинных взаимоотношений, пестроту национальных групп, пронизанную единством социалистического строительства. Но все взять было нельзя, и я ограничила свой выбор двумя объектами. Первый из них:

— Стук-стук-стук!

— Войдите!

Дверь очень быстро, как бы на ходу, раскрыл невысокий человек во френче и сапогах. Он вошел упруго, поднимая на ходу черную бородку, с видом интеллигента, горожанина, случайно надевшего военный наряд,— мягкие круглые черные глаза очень тепло и деловито окинули меня, с почти чеховской задушевностью.

Это и был начальник политотдела Акржанской МТС.

2

Про Акржанскую МТС писали в этом году очень много, потому что ее район,— Спартаковский, населенный немцами,— первый в эту уборочную кампанию сдал полностью государству хлеб. Акржанская МТС получила премию — десять тысяч рублей — за образцовую работу. В Одессе этому делу не удивлялись, не потому, что верили в политотдел. Одесские обыватели иронизировали: эка невидаль, победить у спартаковцев, да ведь там немец, он всегда впереди шел, у него хозяйство на большой палец, огородное хозяйство, а самый район, неподалеку от Одессы, богатейший, издавна поставщик и кормилец, да и культурно там более или

менее... Но одесский обыватель был по всем пунктам не прав, и если б в этом году спартаковцы не получили политотдела, Одесса не увидела бы у «культурного немца» ни хозяйства, ни хлеба. Живым историческим доказательством тому явился соседний с ним, тоже немецкий, богатый и культурный район, Зельцский. Зельцы, так же, как и спартаковцы, шли у города на хорошем счету как поставщики. Но бывают такие исторические казусы. При организации при МТС политотделов в Москве вдруг запамятовали: забыли Зельцы. И, несмотря на важное стратегическое значение Зельцского района (лежит на границе Румынии), несмотря на богатство его,— сады и огороды,— Зельцская МТС не получила своего политотдела. Результаты оказались такие, что на них можно отныне ссылаться для характеристики роли и значения политотдела: при всех прочих равных условиях Акржанская МТС пришла первой в уборочную, а Зельцская—одной из последних.

От Одессы тянется ветка на древний городок Овидиополь. Эти места, связанные с памятью Назона, плоски и скучны. Близость моря и сушит и обеспложивает, почва тут не очень плодородна, растительности мало, пыльная, пустая равнина с горизонтом, прячущим от вас море, и среди равнины — станция Акржа, с ссыпным пунктом, а неподалеку от нее — Акржанская МТС. Еще дальше, в двух километрах от станции, районный центр, село Гросс-Либенталь. Мы с Полянским поехали не поездом, а машиной — маленьким проворным фордиком с неизменным красным флажком, по которому колхозники узнают политотдельский автомобиль. Были последние дни перед сдачей хлеба. Колхозники шли первыми в сводках — выигрывали поездку на съезд в Татарию. Нам встречались непрерывные возы с хлебом; пыль на дороге стояла столбом, и едва можно было разглядеть в упряжке корову. Позднее я привыкла к этой корове, работающей на «мужском», воловьем деле, а первое время зрелище пашущей, впряженной «коровьей силы» удивляло и местных и приезжих людей— примерно так, как еще дивят на наших парадах женщины-красноармейцы, и невольно глядишь им на грудь под серым сукном. Я поймала себя на созерцанье то-

щего коровьего вымени, ходуном ходившего от необычного для нее движенья. Но корова шла деловито, хотя взгляд ее, косивший на дорогу, был сердит и злобен.

— Когда я увидел в первый раз стадо,— знаете, пейзажем этаким — стоит раскорякой, ползет по земле со скоростью солнечных часов, философствует и жует,—я сказал себе: да ведь это целая электростанция погибает. С какой стати им философствовать, когда весь мир работает?

Мобилизация, или, как иронизируют иные на местах, «эмансипация», коровы в этом году спасла хлеб. Нельзя было бы справиться с уборочной при недостатке тягла, огромном падеже коней, если б не пришло на мысль — многим в одно и то же время—впрячь корову в оглобли. Но нигде и ни от кого не услышала я такого резону, какой привел Полянский:

— Каждая тварь должна скучать по труду. Надо их только на это дело поставить. А труд, работа мускулов, упражнение — оно никакому молоку, никакой бабьей функции не помешает, только дайте им срок попривыкнуть.

В словах, тоне, вскинутой вверх бороденке было именно то, что поразило меня при чтении: несмотря на крайнюю, как бы умышленную, простецкость выражения,— высокая интеллигентность начальника политотдела. Пришло время, когда это слово — интеллигентность,— обиженное эпохой, начинает сызнова оправдывать себя и наполняться большим положительным смыслом. У нас уже намечаются стандарты работников политотдела, их кроят по большей части под один размер, приписывают им всем, вопреки действительности, одинаковые качества и приемы, как будто в бесчисленном, пестром, лоскутном многообразии нашей страны можно найти два уголка, где имело бы смысл работать одним и тем же приемом. Экзамен начальника политотдела, качество, какое от него требовалось на новом месте, заключалось именно в том, чтоб суметь очень быстро, толково и правильно найти один из миллиона способов, отличающихся от всех остальных девятисот девяносто девяти тысяч,

которым легче и лучше всего надлежало бы руководить в данном месте и при данных условиях, отличных от других мест и условий. А эта гибкость и способность ориентации, целью которой в первую голову была очень простая и реальная задача: суметь полностью сдать государству хлеб,— она и зависит в очень большой мере от степени интеллигентности начальника политотдела. Когда я спросила о Полянском в политсекторе, мне ответили с растяжкой в голосе, какая бывает при устном подчеркиванье, устном курсиве: «О, это ведь очень интеллигентный работник». И растяжка, тон, необычные в отношении этого многострадального слова, тут же заставили меня призадуматься. Много лет прошло. Много вещей произошло. У Плеханова есть странички о замечательных питерских рабочих, большевиках-подпольщиках, и о том, как эти рабочие-большевики давали кличку «интеллигента»: она звучала у них насмешкой, обидой, отчуждающим, отдаляющим, разделяющим чувством. Что и как вызвало, какие обстоятельства вырешили новую интонацию этого слова? Очень большие обстоятельства, и сейчас не место перечислять их, а надо подчеркнуть только одно, самое важное: если на работе политотдела, на первой, хотя и не единственной, стало отчетливо ясно, заметно, чувствительно, что именно интеллигентность необходима для успешного проведения работы, необходима как непреложное условие,— то это означает огромную отстоявшуюся монолитность нашего общества, спрессованную шестнадцатью годами пролетарской диктатуры, означает первый вешний побег бесклассовости, означает, во-первых, заявку у нас на свою, советскую интеллигенцию и, во-вторых, полное удовлетворение ею уже не как спецовской, «наемной силой ума», а собственной, выросшей на родном корню. В начальниках политотделов сдала перед нами экзамен школа Красной Армии, Комакадемии, Военной академии, школы партийные, технические, высшие и специальные, потому что очень большой, решающий процент начальников политотдела вербовался не только из числа слушателей и закончивших эти школы, но даже из чнсла преподавателей. Если не так

еще давно считалось достаточным для важных постов и выдвижений обладание одним классовым чутьем и были такие «загибы», когда «классовое чутье» грозило превратиться в своего рода «шапками закидаем», то в организации политотделов партия взяла курс на высокую партийную интеллигенцию, на классовое чутье плюс знание.

Выбирая Акржанскую МТС, я имела в виду как раз эту особенность. Мне захотелось проверить, как высокая и умная сметка человека, несомненно талантливого, делает партийное дело среди консервативных, крепких собственников, послушных седьмому дню недели, любящих ходить в кирку и не только коров, но и собственных жен не представляющих себе в иных «оглоблях», кроме оглоблей домашнего быта, кухни и картофельного салата. Шофер несколько раз нажал сирену, мы медленно пересекли главную улицу Гросс-Либенталя, почти городскую по типу, с двухэтажным техникумом, тротуарами и городского вида публикой — барышень на каблуках и в джемперах, мужчин в пиджачной паре или в белых летних брюках: это и были немцы-колхозники.

8

Вокруг Акржанской МТС девять сельсоветов, девять немецких деревень с названиями, менявшимися четыре раза: первым, по имени святого патрона, вторым — «православным», во время войны, третьим, опять немецким, возрожденным после февральской революции, и, наконец, четвертым, октябрьским. Девять сельсоветов на одну МТС — это немного, если вспомнить, что иная обслуживает и сорок девять. Спартаковцы — народ зажиточный, с культурным хозяйством, и машины, ремонтные мастерские, механики, навык к управлению механизмом у них был и раньше. Казалось бы, это — одна из самых счастливых МТС. Но, чтоб представить себе огромную трудность работы политотдела, не лишнее познакомиться с тем, что застал Полянский на этой лучшей станции. Пятьдесят пять тракторов стояли в парке и считались отремонтированными; но два не

годились вовсе, у семи не хватало шатунов и подшипников, остальные были плохи,— так плохи, что пришлось в первую голову взяться за самих «ремонтеров». Старший механик оказался местным кулаком. Двадцать трактористов (из ста двадцати) — классово-чуждые, из них восемнадцать — прямые враги. Иначе сказать, головка механизации, культурные силы этого района были вражескими. Мастерская, общежитие для рабочих — в ужасном состоянии. Никаких точных станков и измерительных приборов, никаких чертежей на тракторные детали, отсутствие самих этих деталей и зависимость в получении их от какого-то учреждения за тридевять земель, от Укровощтрактороцентра, не имеющего отделения в Одессе,— хотя по главному своему профилю район этот преобладающе зерновой, а не овощной и мог бы входить в Зернотрест. Сиди и жди недостающих деталей от хозяина, чье имя состоит из двадцати букв, а местожительство — недосягаемо. На молочной ферме не лучше: у чистоплотных немцев коровы завшивели. Сельскохозяйственный инвентарь валялся без счета, без описи. Завхоз сидел в допре. С конями как раз в это время по всей стране было плохо, и коней надо было спасать в первую голову, а цельное кукурузное зерно, оставшееся на прокорм коню, наверняка сгубило бы его, как губил жесткий, грубый, неудобоваримый корм лошадиные кишки в других местах. Нужно было перемолоть кукурузу, чтоб не потравить коня, а по неведомым соображениям какого-то декрета «для удобства учета» все местные мельницы, за исключением одной, были закрыты,— и молоть негде. И самое главное — люди вокруг изголодались. Рабочие в мастерской работали по двадцать часов в сутки пятнадцать дней подряд, получая только раз в день суп из мамалыги (кукурузный) и кашу из мамалыги. Я застала еще бледную синюшную отечность на лицах этих людей. В одном из таборов Полянский показал мне жующего парня: парень жевал день и ночь, жевал пятый день, все никак не мог отъесться, успокоиться, привыкнуть к чувству сытости,— так изголодались люди. Было бы глупо и фальшиво замолчать самую главную тяжесть политотдельской работы: она приуро-

чена была к концу очень тяжелой для нас зимы, когда в деревнях почти не осталось хлеба, когда людей — тех самых, с кем, среди кого, при помощи кого надо было работать,— этих людей терзал голод. Тут все зависело не от дня, не от часа, а буквально от минут, надо было э к с т р е н н о, срочно выправлять положение, найтись в нем, найти верный жест, точную линию действия. Высокая интеллигентность Полянского в этом положении проявилась двояко: во-первых, он перешел в наступленье, схватился с фактом, с эмпирикой безо всякой боязни сделать что-нибудь не так или «ответить» за самочинство. Так, он тотчас распорядился открыть мельницы, перемолол кукурузу и спас коня, а тем самым и урожай,— хотя «открыть мельницы», закрытые специальным декретом, и было дело «противозаконное». А во-вторых, он сумел за фактом, за отдельным явленьем увидеть обобщающие, проблемные, общехозяйственные задачи и правильно высказаться об этом в центре, то есть повести не мелкую политику своей печки, а большую политику настоящего хозяина, который знает, что «будет у всех, будет и у него, а не будет у всех — грош цена тому, что только у него будет». Эту длинную фразу я расшифрую примером: к числу вещей, загодя обдуманных, принадлежало у нас горючее для тракторов. Именно потому, что в стране его было мало, заготовительные органы своевременно спохватились, забили тревогу, сократили расход в стране (помните, мы с вами поругивались без керосину в пригородных местечках) и сумели так дело поставить, что наше сельское хозяйство было своевременно обеспечено горючим гораздо больше, чем запасными частями. Правда, с ним иной раз выходили курьезы; вот как подвела одну МТС запятая,— вместо 21,2 тонны какой-то шутничок сделал — 2,12, и МТС, получив две с чем-то тонны вместо двадцати, только ахнула. Но в основном жаловаться этим летом на горючее не пришлось. Однако Полянский пожаловался в центр именно на горючее. Он пожаловался на то, что его заслали ч е р е с ч у р, просчитались в плановом порядке, не сообразив, что хранить горючее свыше меры, что называется «про запас», вещь опасная (нужна круглосуточная охрана, чтоб не случилось под-

жога), невыгодная (могут быть утечки, воровство), неудобная (могут загрязнить, подмешать всякую дрянь) и в конечном счете удорожающая работу трактора. Эта черта — умение психически преодолеть жажду запаса, обеспеченья про черный день дефицитным товаром, умение хозяйственно учесть общую невыгодность такого перераспределения и необходимость выработки планово-экономных норм — есть черта опять же высокоинтеллигентная, по большей части присущая человеку не одной практики, а и теории,— человеку думающему и читающему. Донесения и деятельность Полянского тем и замечательны, что вы все время, читая и наблюдая за ним, как бы видите неизменную, сопутствующую ему в каждом деле работу мысли, то хладнокровие ума, которое помогает человеку не сбиться на психологию «своей лавочки». Возьмите прополку. Была в НКЗ назначена общая расценка, в результате которой могла появиться чудовищная норма: прополоть 5 га на человека. На местах есть черта, она сохранилась от давних, крепостных времен, когда складывалась репутация мужичка-хитрячка,— черта особой мужицкой иронии по отношению к городскому человеку: дескать, что́ городской в нашей деревенской работе понимает? Эта черта сейчас переросла в известную уверенность в чепуховости иных распоряжений, приходящих из Наркомзема в деревню. Чем эта черта вредна? Вовсе не тем, что подрывает уважение к Наркомзему, а тем, что втихомолку внедряет глубокое убеждение, что Наркомзем иначе и не может, иначе и быть с ним не должно, как спохватываться не во-время, засылать не то, декретировать невозможное. Отсюда и другая местная черта: управимся как-нибудь сами тишком, елико возможно обойдя чепуховый декрет. Это опять же психология темная и совсем не наша. Почему? Потому что она не дает возникнуть новой общественности, не дает снизу ни критики, ни плана, а решает проблему декрета местным обходным порядком, как если б дело шло только о данном поле.

Посмотрим, как решил вопрос о прополке Полянский.

Получив норму из расценок Наркомзема, он составил комиссию политотдела в числе пяти человек (сам

начальник политотдела, два агронома, заврайзу[1] и полевод), и эта комиссия — заметьте, квалифицированная и сплошь из мужчин достаточно физически сильных — пошла в поле и взялась со всей энергией за прополку. В результате за десять минут пятью людьми не было прополото даже и двадцати саженей. Убедившись своими руками в нелепости, невыполнимости прополочной нормы, Полянский поднял голос к Наркомзему, и вот его громкая, авторитетная, поучительная критика: «На прополку мало обратили вниманья в центре. Наркомзем не проработал детали прополочной кампании, не сигнализировал своевременно, не дал принципа для норм выработки; в результате расценки — в колхозе «Спартак» дневная выработка назначена 5 га на человека, что абсолютно невозможно». Это уже не тихая усмешка в усы: да нешто они чего в нашем деле разбирают? Не своеобразный аристократизм деревенского труда, спокойно предполагающий городских жителей дурнями и бездельниками, а властное и убежденное требование снизу, чтоб наверху глядели в оба, управляли правильно и руководили хорошо. Иначе сказать,— это *рождение новой, здоровой общественности* на деревне, и, как всегда бывает, эту новую общественность породило не иное что, как высокоинтеллигентное отношение к труду.

Но самую блестящую страницу Акржанской МТС нам предстоит прочесть не в этих сухих примерах, а в колхозных таборах, там, где Полянский сумел понять и разрешить наиболее трудную проблему — проблему «колхозного немца».

4

Табор, то есть оседлая стоянка в поле для тех колхозников, чьи деревни очень удалены от места работ, у нас не новость. Они практиковались в крупных поместьях, в больших совхозах. Но для деревень с их старым, мелким, лоскутным участком, с одиноким трудом на Сивке-Бурке, где-нибудь в трех квадратных аршин-

---

[1] Заведующий районным земельным управлением.

чиках, вместо табора существовало лукошко и бутылка. Чуть рассветет, на деревне начиналась своя жизнь. Шел пастух, наигрывая на дуде. Влажный воздух глушил эти звуки, соперничавшие с петушиным кукареку. Кряхтели теплые тела коров о плетень, звякали бубенцы — это скот выходил из каждого двора на дорогу; хозяйка собирала мужу еду, вязала ее в лукошко, закупоривала пробкой бутылку с водой, и, как на пикник, на привычный, радостный, бездумный, веками отстоявшийся в своей первобытной форме, периодичный, как рассвет, как весенняя распутица, как рожденье месяца в небе, почти звериный труд выезжал крестьянин на своем Сивке в поле. Он был там один, сам себе хозяин. Он впитывал, как всякая живая тварь, запах земли, пробужденье жизни, теплое солнышко, ветерок, бормотал или подпевал себе, идя за плугом, потом садился полдничать, и ему было вкусно жевать и глотать из бутылки воду. Уничтожая мелкое, раздробленное поле в деревне, коллективизируя хозяйство, надо иметь в виду и эту, веками въевшуюся, психологию «весеннего выгона», нечто вроде нервной роздышки крестьянина после скученного зимовья в избе, набитой до отказа. К ней он привык, и чем можно было заменить ему прелесть этого полдника на вольной воле? А вот чем. Спросим себя, так ли, как он, мелкий собственник, мужик в летах, может быть даже за пятый десяток,— так ли, как он, переживали этот первый весенний выезд в поле его дети, племяши, младшие братья,— словом, тот возраст, когда еще нет двух десятков. В молодежи неистребимая тяга к общенью, к говору, к тому, чтоб быть вместе, быть на людях. Чем опьяненней дышит земля, теплей ветер, нежней перья травы на лугу, тем острее и возбужденнее воспринимается праздник земли как фон, как призыв для того, чтоб встретиться. Иначе сказать— то же «чувство выгона», у зрелого человека ведущее к обособлению, у молодежи ведет к совместности, сообщности, и сам труд становится праздником, если он служит поводом для встречи. Табор и должен был *сохранить эту радость выезда в поле, преобразовав и использовав ее для максимального раскрытия перед колхозни-*

ками общественного характера труда. Табор надо было организовать так, чтоб каждому человеку — и вам и мне — захотелось в нем жить и работать.

Был уже вечер, когда мы с Полянским, объезжая колхозы, остановили машину в поле. На облаках висел тонкий, острый месяц, но еще было в сумерках видно, что в поле делалось, как двигались люди возле комбайна, как девушки равномерно, одна за другой, подкидывали в пасть машины снопы, поворачивая к нам смеющиеся лица в больших защитных очках от хлебной пыли. Наверху два человека уминали снопы в барабане. Дальше, на железную сетку граблями накидывали скошенный хлеб, и длинная цепь волокла ее на вершину огромной копны. Расстановка, порядок, одновременность работ сразу открывалась, как на картинке, и сперва казалось, что это идет само собой, без руководства. Но вот к политотдельскому автомобилю стал набираться актив — полеводы, бригадиры, весь низший командный состав этого табора. Очень много уже писалось о том, как начальники политотдела сумели притянуть к себе колхозную массу. Больше, чем быть любимыми, люди любят любить. Очень важно, чтоб было, кого любить человеку, и каждый начальник политотдела, за малым исключеньем, сумел эту жажду насытить, сделаться батькой, отцом, советчиком, головой колхозной массы,— отчасти потому, что он — диалектически — стал как бы защитой от прежнего начальства, в чем-нибудь загнувшего или пересолившего, но главным образом потому, что люди за эти годы выросли, люди требовали, иной раз бессознательно, начальника себе по плечу, который сумел бы развязать и организовать скрытые и созревшие в них возможности,— иначе сказать, колхозников нужно было перевести в высший класс, и для этого сам воспитатель понадобился высшего класса. Я стояла в стороне, слушать мне было трудно, но пришлось больше наблюдать, чем слушать, потому что метод работы Полянского, быстрый, находчивый, жестикулирующий, состоял не в разговоре, как у некоторых начальников политотдела, а в непосредственном вмешательстве и конкретном показе.

Машина испортилась, механик подошел объяснить, но Полянский уже на верхушке, свесился вниз, поправляет очки, шевелит бородкой,— он сам смотрит, что испортилось, с обезоруживающей, заразительной простотой человека, отнюдь не играющего во всезнайку, а знающего машину, потому что ему интересно и новая деятельность его захватила: так опытный и сердечный человек, не будучи врачом, смотрит больного. Поломка найдена, два-три быстрых жеста, как ее лучше выправить,— в форме предложенья, совета или даже вопроса к механику, а не сделать ли этак,— и Полянский снова на земле, в атмосфере деятельного возбуждения. Этот человек попал сюда как будто не для других, а для себя, настолько он намагничен интересом к делу. И много позже, когда мне пришлось видеть другие МТС и другие политотделы, я поняла, что именно это и служит критерием для начальника политотдела: если ему самому неинтересно, если он сам не втянулся, а делает дело напряженно и с «нагрузкой», по-городскому, когда надо что-нибудь сделать, а не то чтобы хотелось,— так это плохой начальник, и такого лучше убрать.

Мы прошли смотреть табор. Дети, белобрысые, немецкие, с красными бантиками в косицах, шли за нами и объясняли, как объясняют игру: вот тут «майштубе», гордость Полянского — красный уголок, премированный патефоном. Он убран зеленью, портретами, последним номером полевой газеты на немецком языке, каждый день аккуратно составляемой местным рисовальщиком и селькором Зауэром. А здесь два больших крытых шалаша с утоптанной землей, где спят друг возле друга, упарившись от работы. А эта странная избушка на курьих ножках — сруб с большой бочкой на крыше — это душ. Колховник, отработав, бежит его принять. В кабинке наверху кран, он открывает его, вода вытекает из бочки в приспособленье для душа, и прохладный дождик падает на него. Хотят ли колхозники принимать душ? Ну, не сразу захотели. Но Полянский, в числе привилегий для ударников, назначил эту самую: вне очереди принимать душ. И с тех пор — очередь на него. А вот, пожалуйста, посмотрите, вот тут мы пьем

сельтерскую, покупаем табак, набиваем трубочки после работы... В ларьке были для продажи не только прохладительные напитки и папиросы, но и мануфактура. И кухню мы посмотрели, где толстая повариха готовила ужин, чистила картошку в котел. Это была деревенская жизнь, целиком перенесенная в поле, но изменившаяся. Там, в деревне, она шла по домам, по отдельным клеткам, здесь она превратилась в нечто общее. У стены висели две огромные доски — красная и черная. Вот эти доски с фамилиями, доски почета и позора, и открыли нам пружину превращенья деревенской жизни. Дело в том, что коллективизация, как обобщенье полей и инвентаря,— это еще не социализм; а начинается социализм с того момента, когда не только поле и инвентарь складываются одно возле другого, а человек с человеком складываются один возле другого так, что начинают составлять *коллектив*. Соединение, основанное на точных, архитектурно связанных, как кирпичи, взаимоотношениях, где каждый знает не только свое место, но и какую точку в целом занимает его маленькое место, а потому ощущает свой собственный рост как рост *всего целого*, и свое паденье как паденье всего целого,— это и есть настоящий коллектив. Я говорю отвлеченно, но каждый читатель может представить это себе в виде плоти и крови: вот немец Пфейль на листе почета; но он — член бригады, и немец Пфейль тянет к почету всю бригаду. А вот лентяйка Берта Буш, она позорит свою бригаду: она не желает работать, и лентяйку Буш не *могут* оставить в покое,— и стенгазета, и печатная газета политотдела, и громкое радио возвещают в таборе об этой лентяйке, кроют ее так и сяк, покуда Берта Буш не поддастся и подтянется. Почему это неизбежно, чтоб Берту Буш не оставляли в покое? Потому что она зарабатывает не только свой трудодень, но и трудодень артели, бригады, колхоза, снижая процент общей выработки. Люди в колхозе перестали быть «самими по себе» — они взаимосвязаны, и табор эту связь выявляет и фиксирует на каждом шагу. Значит ли это, что стало «скучнее жить», особенно для того пожилого мужичка, что выгонял одиноко Сивку в поле? Самые веселые существа на

земле — дети — никогда не скучают вместе, но если мы разберем, с чего начинается их веселье, то увидим: в обусловленности; иначе сказать, всякую игру они начинают со «счета», с некоторых взаимных условий, кому быть тем-то, а кому тем-то, с некоторых обязательных правил, вне коих нельзя играть. Посадите детей в кучу без этой расстановки сил, без этой обусловленности, и нечего им будет делать вместе, разве что драться.

Полянский сумел использовать природную любовь немца к упорядоченному труду, к тому, чтоб «все соблюдали условия», и никакое усилие не прошло бесследно. Он разработал на МТС целую систему отличий, премирований, воздействий. Его маленькие паспорта лентяя и ударника, с черепахой на первом, — служат настоящими стыдом и гордостью для того, у кого они в кармане. Это маленькое общество, как дети в игре, как бы управляется своими внутренними правилами, и вас зависть берет смотреть на них со стороны, а хочется тоже вмешаться в игру. И родилось это общество, хотя колхозы насчитывают не первый год жизни, нынешним летом в таборе — подлинном плацдарме и опытном месте действия для политотдела. Значение табора выросло за этот год неизмеримо именно потому, что политотдел дал толчок организации общественного труда, политотдел крепко ухватил вожжи учета, правильного комплектования бригад, точного знанья числа трудодней, заботы о котле, то есть общественном питании колхозника, — иначе сказать, политотдел стал вести политическую работу именно на производственном участке деревни, там, где колхозник работает, а не на задворках колхоза, в местах деревенского местожительства, в районных центрах. И в этом опять же сказалась разница не только между начальником политотдела и работником районного центра, но и между МТС и районом: по самой функциональной природе своей «району» на полях делать нечего, тогда как именно по этой же природе МТС не может не работать в поле, не может не выйти в поле не только с машиной, но и со всем своим политико-воспитательным багажом.

Чувствую, что не оправдала названья главы. Но т. Полянский не обидится на меня. Быть может, именно то, что из его деятельности, из практики Акржанской МТС мне пришлось все время — вместо картин и красок — выводить обобщенья и наблюдения общего порядка,— быть может, оно и характеризует наиболее точно основные черты его «политотдельского портрета».

ВТОРОЙ ПОРТРЕТ ОЖИВАЕТ

1

Деревня, как никакое другое место в Союзе, служит сейчас школой классовой борьбы. И Кавуны вышли, пожалуй, в этом смысле на самое первое место. Лежат они в двухстах километрах к северу от Одесщины. Веселое название (кавун — по-украински арбуз) никак не соответствует этому месту и потому, что в нем нет арбузов, и потому, что здесь невесело. Свежий человек по доброй воле сюда не заедет. Вечером в станционный буфет выходит бледная, в пуховом платке буфетчица и лезет на стул, чтобы зажечь керосиновую лампу. Фитильковое пламя бросает вниз смуглое и ограниченное световое пятно, ему в помощь искрами осыпается самовар, куда хозяйка подбрасывает лучину. А за окнами станции — темнота, страшный мрак плоского, степного места, где всякое случалось и еще может случиться.

Полгода назад, зимой, сюда приехал хрупкий и небольшой человек с лицом девочки. Его светлоголубой взгляд в «белобрысых», холмиками поднятых на лоб бровях, пух на лице и веснушки, яркая белизна, вспыхивающая легко и молодо, его окающий простонародный говорок сразу выдавали русачка, уроженца средних губерний. Это и был начальник политотдела, Алексей Ильич Кирпичов. Сын ткача из Иваново-Вознесенска, выросший в каморке (он произносит «кóмóрке»), прошедший через все фронты, кончивший Военную академию, был аспирантом-историком, когда партия

оторвала его от мирных копаний в прошлом и послала в Кавуны,— самого делать историю.

Мы видели, что даже и на Акржанской МТС работа была не из легких. Теперь представим себе разницу между Акржанской и Кавуновской. На первой, при сравнительно очень небольшой территории с девятью маленькими сельсоветами, густо заселенной немцами, с культурной посевной и огородной площадью,— пятьдесят пять тракторов. На второй, захватывающей бо́льшую часть (свыше 50 000 га посевной площади) крупного зернового района Украины, с девятнадцатью большими сельсоветами, с населением в полтора раза меньшим, нежели в Акржанской, с землей почти одичалой от систематической недообработки,— всего пятьдесят четыре трактора, да и те в состоянии жалком. На Акржанской в таборе мы видели души; на Кавуновской для самой станции нет бани. На Акржанской начальник политотдела пожаловался, что у него нет точных измерительных приборов в мастерской. А на Кавуновской... и мастерской не было! Чтобы исправить трактор, его приходилось отправлять в соседнюю МТС. Начальник акржанского политотдела, пока не получил автомобиля, юмористически писал в Одессу, что мочи нет — бока болят,— отколотил их на шарабане. Начальник Кавуновской МТС не жаловался, у него не хватало юмора: ему и его помощникам приходилось по тридцать — сорок километров в сутки отмахивать пешком. Так было в начале 33-го года. Арбузинский район (один из крупнейших зерновых на Одесщине) почти на 90 процентов населен украинцами, но есть в нем и русские, евреи, немцы, а самое прорывное село, бельмо на глазу,— Константиновка,— населено молдаванами. Когда Кирпичов впервые пришел в Константиновку — нищее овражье село, с горными разработками «бутоломачем», потому что единственная промышленность района местный гранит,— он не нашел ни одного человека, с кем удалось бы перекинуться словом. Люди убегали от него, как дикие. Он вступал на крыльцо — а уже дверь на замке, а хозяин дерет от него задами, чтобы сгинуть, словно и нет хозяина в доме. Начинать приходилось, как Робинзону с Пятни-

цей, чтоб «дикие» перестали убегать. А за людьми лежали поля. Нигде, ни до, ни после, не приходилось мне видеть такого поля. Я слышала про засоренность. Но здесь вы не в силах были отличить нескошенный луг от хлебного поля. Между желтым колосом вилась зеленая гуща сорняка, а и колос был не просто колос,— ощупав ладонью его верхушку, вы видите, что он пуст, зерна выбраны из него, как яйца из птичьих гнезд, руками новых вредителей, выбирателей или срезывателей колосков. И почти каждый колос десятком спиралей перекручен смертельным объятием зеленой лианы — плюща. Плющ на колосьях! А после покоса — словно и не покос был, словно нарочно танками проехали по полю, чтобы п о л е г х л е б. Он лежал раскиданными волосами утопленницы, всплеснутыми руками покойника, желтый, несжатый, помятый, придавленный к земле, недоступный больше для машины — собирай его сейчас разве серпом. И так на каждом шагу — неубранное жнитво, неподнятые, заросшие пары, одичалая, ощетинившаяся, сбившаяся, безобразно искромсанная земля. Это мог сделать только враг, но пойди, учуй его! Каждое сведенье, собиравшееся политотделом, добывалось ценою продвижения в колхозную массу, ценой медленного, шаг за шагом, завоеванья д о в е р и я, медленного, со дня на день, роста а в т о р и т е т а.

Колхозники — один, другой, третий, а потом целые колхозы — вдруг заметили, что политотдел не шутит, не угомонится, как обычное начальство, не перестает узнавать и действовать и карает за проступки своих. Те, кто перегибал и насиловал закон, кто прятал за партийный билет темное прошлое,— разоблачались, прослеживались, выхватывались, карались политотделом без пощады и промедления. Это произвело на колхозников огромное освежающее действие, начальник политотдела стал б а т ь к о й.

2

На этом месте, по обычному трафарету, следовало бы показать Алексея Ильича Кирпичова победителем,— показать, как он сколачивал актив, развернуть

вереницы колхозников вокруг него. Но опыт Кирпичова-историка, сумевшего ясно, аналитически подойти к действительности, интересен вовсе не тем, что он делал, а тем, что он заметил, вывел и обобщил. На практике же, если по шпаргалке судить, он как раз и не предстает победителем. Я застала моего Алексея Ильича, «героя книги», в той стадии страшной внутренней издерганности, душевного перенапряжения, когда не только каюк человеку, но и начинает человек «делать длинноты», то есть в работе своей так растягивает любой прием, что уж это может повести не к пользе, а ко вреду для дела. Он надламывался, этот небольшой худенький человек во френче, сам, как хлебный ломоть. Его улыбка, которую он, как валюту, берег для колхозников, становилась насильственной, и глаза были такие, что их невольно избегал собеседник. Знаменитая политотдельская ночь, вынужденное бодрствование, не раз не два, а, как правило, чуть ли не целый месяц, клала круги под глаза, притупляла самоконтроль. Мы с ним носились на фордике с поля на поле, из колхоза в колхоз, и всюду он останавливал людей, чтобы начать с ними разговор «по душе». Еще в ту пору, когда ему пришлось быть Робинзоном, он этот разговор начал и, обладая прекрасной памятью, не только помнил каждого колхозника по имени, но и на чем остановился в разговоре с ним. Должно быть, в начале его работы этот прием и приручил людей, стянув к нему колхозников, но сейчас мне иной раз мерещилась в этом утрировка, та трата времени, которую обычно заканчиваешь бесполезной усталостью.

Люди варили пищу и полдничали, или работали, или спали, если шло дело к ночи, а мы всякий раз на полчаса-час отрывали их,— для убеждения.

Не слыша разговора, я со стороны воспринимала только материальное течение времени и пейзаж остановленного действия, то есть стынущий котел, стоящую работу, прерванный отдых. Когда, собравшись в ночное, на бесконечном по счету заседании возле таборного костра, я под утро увидела сломленных до усталости бригадиров, прикорнувших кто куда,— они на заре должны были встать на работу,— сломленную от уста-

лости тимирязевку-агронома, сломленного и хрупкого, с лицом, почти ставшим маской, самого товарища Кирпичова,— трезвое чувство взбунтовалось во мне против этой поэзии табора, против этого нелепого городского заседания, перенесенного под звездную ночь деревни. Хороший командир должен перед сражением беречь людей. И если начальник политотдела, человек городской, с сильными нервами, привыкший бодрствовать, не знающий, как крестьянин, естественной природной тяги вставать с солнцем и ложиться с солнцем, подобно зверю и злаку,— если начальник политотдела может обрекать себя на бденье, не всегда необходимое, а иной раз прямо бессмысленное,— то обрекать на такое бденье своих бойцов, работников полей, бригадиров, он попросту не смеет. Поэзию политотдельской ночи поэтому я и не воспеваю в этой книжечке. Там, где она необходима, в ней было, на мой взгляд, мало поэзии; а где и необходимости в ней не было, она просто заедала день,— тот замечательный колхозный день, который мы произносим с приставкой «трудо...». Но если я не выставляю моего Алексея Ильича героем в этом ночном совещании, он все же мог бы войти героем в книгу, весь как он есть, с его верным и замечательным чутьем истории, верным и замечательным пониманием классовой борьбы. Дело в том, что Кавуновская МТС, как, может быть, никакая другая в Союзе, с предельной остротой вскрыла, именно через личность начальника политотдела, бывшего историком и сумевшего дать в своих донесениях образец исторического анализа — какою решающей силой в классовой борьбе на деревне может и должна стать сама МТС. Больше того, она показала, что назначение политотделов вызвано отчасти и тем обстоятельством, что в районах,— месте, где население и власть более или менее обжились,— проблема классовой борьбы иной раз воспринимается притупленно. Как она это показала?

Особенность деревенской жизни в том, что она вся связана и приурочена к определенной периодической работе. Наладить эту работу, чтоб результат был виден, и разладить эту работу, чтоб развал был гибелен,— вот

два самых главных и самых сильных способа агитации в деревне: первый для нас, а второй для врага. Если в других областях нашего хозяйства и культуры вредительство может некоторое время быть незамеченным, а вредитель давать как будто даже чистую работу по своей специальности,— то в деревне это абсолютно нельзя: там производство теснее слито с политикой, там один год правильной, хорошо организованной работы в колхозе, с правильным, хорошо собранным урожаем и правильным, хорошо сосчитанным и оплаченным трудоднем сагитирует больше, чем десять тысяч митингов или демонстраций. И это отлично понимает враг потому что все его усилия направлены либо на *прямой срыв работы*, либо на *притупление воли колхозника к работе путем внушения ему недоверия в смысл и пользу его труда, в правительственный декрет*. Машинно-тракторная станция понимает это еще острее, потому что она есть носитель организации труда в деревне; районный же центр, в силу своего «поселочного», административного, учрежденского характера неизбежно склонен чувствовать «дело политики» оторванно от «дела производства» и потому допускает иной раз такие факты, какие играют прямо на руку врагу, а политотделом неизбежно расцениваются как вредительство. Вот пример, один из сотен и тысяч за это лето: начальник политотдела жалуется, что «во время уборочной арбузинский райисполком вздумал отрывать лошадей по 40 из колхоза, чтоб подвозить песок для дорог, строительство которых было упущено в свое время, также и людей отрывает по 40—60 человек, тогда как бродящий и бездельничающий народ к этой работе не привлекается». В этой жалобе сразу вскрывается разница между отношением к колхозному полю района и отношением к этому полю МТС; но также и разница в ощущении того, что такое классовая борьба в колхозе.

Чутье и умение ориентироваться в фактах подсказало Кирпичову правильный путь для победы — не тот, что он практиковал на полях издерганными нервами, а тот, что диктовал и красной нитью проводил его ясный

партийный разум в политдонесениях. За несколько недель работы Кирпичов из пятидесяти колхозов сделал только сорок шесть. Это значит, что он пошел по линии укрепления мелких колхозов или отказа от лишних и уменьшения радиуса действия станции. Это было началом. За ним последовал неумолчный призыв поднять Кавуновскую МТС на техническую высоту, сделать ее тем, чем она должна быть. Это значит, что он пошел по пути подыскания правильных территориальных норм для МТС и по пути укрепления ее как машинной базы, как форпоста новой культуры в деревне. Никакой политотдел, никакая личная героика «голых рук» (в известной мере даже преступная по неэкономному расходованию человека) не могут надолго победить в деревне, если МТС не будет материально и технически вооружена настолько, чтобы стать настоящим организатором труда на поле. Вот основной вывод из политдонесений историка-аспиранта, ставшего политотдельцем.

Но эти донесения дают материал и для целого ряда других выводов. Вот один из них.

В том, что на деревне политика теснейшим образом связана с производством, можно убедиться на простом замечательном примере того, как в деревне так называемое «политическое преступление» неизбежно превращается в «уголовное преступление». Набрести на эту мысль помогают опять-таки донесения Алексея Ильича Кирпичова. Он сам не делает вывода, но он очень близко подходит к нему. Когда он дает перечень «политических» выступлений классового врага, то эти преступленья оказываются в то же время и типично уголовными. Вредители — неизбежно и казнокрады, воришки, убийцы, спекулянты.

«Бывший заведующий арбузинскими огородами, сын священника, продал колхозам и прочим организациям на 100 000 руб. семян капусты и, получив деньги, скрылся, а семена оказались не капустные». «Наблюдается рост воровства. Воруют коров, птиц, причем воры — исключительно кулаки». Евфросиния

Извэртий, убившая своего ребенка, на вопрос суда, почему она не обратилась за помощью в сельсовет, ответила: «Не сочла нужным». Эта Извэртий в прошлом году раскулачивалась. Люди, враждебные советской власти, ненавидящие ее, мало-помалу вырождаются в уголовных преступников. И таких примеров не десятки, а сотни.

Процесс перерожденья «политических» в «уголовных» в деревне пока только начался, но он замечателен, он богат для нас выводами, и он же говорит всем скрытым руководителям контрреволюции, тайно орудующим в деревне через эти последние темные силы ее, что идеологический их порох исчерпан, расстрелян и, когда они будут пойманы, им перед судом придется ответить уже не в старом ореоле «политических», а в обыкновенном жалком ошейнике уголовных преступников.

ОТКРЫТИЕ ТАЙНЫ

> «Г-н Прудон так далек от понимания вопроса о разделении труда, что даже не упоминает об отделении города от деревни, которое в Германии, например, происходило в IX—XII столетиях. Для г. Прудона это отделение есть вечный, неизменный закон, потому что он не знает ни его происхождения, ни его развития. На протяжении всей своей книги он рассуждает так, будто бы этот продукт определенного способа производства будет продолжать существовать до скончания века».
>
> *Карл Маркс,* Письмо к Анненкову

1

Я подхожу к сердцу моей работы. И, как бывает перед последним подъемом, запыхавшись, оглядываюсь назад, на пройденное. Что мы узнали о тайне трех букв?

Осторожно и со вниманьем, как собранные улики или — чтоб было немножко поэзии в розыске — как цветы для гербария, разложим на столе один за другим сорванные с тайны листочки. Мы узнали прежде всего, что машинно-тракторная станция возникла по большей части на путях железнодорожного следования, как бы с самого начала исключив для себя возможность развития на шоссейной или проселочной дороге, где раньше, в помещичье время, органически росла усадьба. Тем самым обнаружилось, что она не может совпасть территориально ни с отдельным селом, ни с отдельным колхозом, а является новой формой их пространственного объединения, рассчитанной (в данной стадии своего развития) на определенный — ни больше, ни меньше — радиус своего действия. Этот начальный вывод был очень большим выводом, потому что сразу показал нам, что в МТС мы имеем сейчас абсолютно новую форму человеческого поселения, не имевшую в прошлом никаких предшественниц. Как известно, людские «урочища», места, где человеческие общества селятся, будь это в форме древних родов, или патриархальных усадеб, или больших городов,— в истории человечества более или менее совпадают, о чем говорит хотя бы археология. Почти каждый наш центр, если снять его пластами глубоко вниз, оказывается новой надстройкой древнейших, погибших городов, умиравших, словно кораллы, для того чтоб жили те, верхние, их продолженье в веках. Чем объяснить такую склонность человека обживать веками одно и то же место? Среди всех прочих причин, главным образом — условиями природными, удобством места, естественных путей сообщения, близостью воды. Природный фактор был до сих пор одним из важнейших не только для заселенья, но и для районирования целых областей. И вот наша машинно-тракторная станция, своеобразный поселок, состоящий из жилья, мастерских, складов, хозяйств, группирующихся вокруг энергетической базы (сейчас это только отдельные моторчики, в будущем это крупные электростанции),— она возникла ясно и неприкрыто, с чарующей для историка наглядностью, как результат

новых производственных отношений в деревне. Иными словами, в МТС мы имеем уже налицо первое людское поселение чисто социалистического типа.

Что узнали мы далее об МТС? Когда новый производственный узел пришел в движение, он стал своеобразно влиять на старые местожительства людей, до известной степени предопределяя собою и судьбу городов. В истории этот процесс влияния отделившегося от деревни города на старую деревню прослежен очень хорошо, хотя и под другим углом зрения; он мог бы нам дать много интересных примеров, но я их сознательно не хочу приводить, потому что аналогии завели бы нас слишком далеко, для аналогий еще не пришло время. Мы в самом еще начале, в зародышевой стадии зарождения этого начинающегося влияния. Можно указать на него, но не говорить о нем. Я и указала на качественно изменяющуюся, в результате практики этого решающего в истории МТС 1933 года, судьбу двух таких крупных центров, как Ростов-на-Дону и Одесса [1].

В-третьих, мы узнали об МТС, что неувязки между райкомом и политотделом были вовсе не персональной стычкой личностей, а взаимоотношением двух центров, запретендовавших на одну и ту же сферу действия, из коих один центр, территориально-административный, взятый целиком из прошлого, обречен смерти, хотя и не так скоро; другой центр, территориально-производственный, целиком родившийся из новых производственных отношений, займет в будущем неизбежное место новой узловой клетки учета, управления и распределенья.

В чем же сказывается эта новая роль МТС? Деятельность политотделов, раскрыв сущность и природу машинно-тракторной станции, на каждом шагу поставляет нам примеры этой новой роли. Именно потому, что МТС возникла как результат новых производственных отношений, она и, естественно, немного «узурпировала», самым фактом прямой своей деятельности, власть у района. Чем? Да

[1] Речь об этом шла в опущенных главах книги.

тем, что перенесла партийную, агрономо-научную, культурно-воспитательную и даже бытовую работу деревни в табор, в артель, в колхоз, в прямое место производства, и не сделать этого в силу самой природы своей она не могла. Но деятельность политотделов позволила вскрыть и еще большее. Когда я отметила выше, что всякое *политическое* преступление на деревне в наших условиях неизбежно принимает характер *уголовного*, я не все сказала, *почему* оно так случается. Не только потому, что в деревне в чистейшем виде мы имеем перед собой производство, то есть людская деятельность как бы целиком растворяется в производственной; а потому, что новые производственные отношения суть в то же время и новые *правовые* отношения. Это не только в деревне, это, конечно, и на заводе, на фабрике, но в деревне круговорот производства яснее, короче, ближе, и потому яснее, короче, ближе колхознику, нежели рабочему, новые правовые отношения, вытекающие из производственных. Я это объясню примером: рабочий, как и колхозник, тоже работает на себя, но колхозник непосредственнее воспринимает это *в трудодне*. От того, сколько скосится, уберется и получится хлеба во всем колхозе, зависит и то количество его собственного хлеба, которое упадет на его трудодень. Отсюда невольное и неизбежное остро-непосредственное вчувствование, вживанье в новый правовой закон — закон *общественной собственности*. Это доказывается тысячами, сотнями тысяч примеров глубокой ярости колхозников на нарушителей закона общественной собственности, часто кончавшейся этим летом покушением на самосуд, требованием смертной казни за воровство и срезывание колосков. Но отсюда вытекает и еще одно: если каждое политическое преступленье сейчас в деревне задевает в первую очередь новые правовые нормы и потому принимает окраску уголовного, то — неизбежно и всякое нарушение правовых норм, ведущее к их подкапыванью,— лодырничанье, небрежность, расхлябанность, недобросовестность, расхищенье колхозного добра,— сейчас, когда эти нормы еще очень молоды и незрелы и должны оберегаться, как зеница ока,— самою дерев-

ней приурочивается к политическим, рассматривается как покушение на строй.

Вот мы и выехали на большую дорогу познания исторической природы и функций МТС. Она есть один из ярких и наглядных форпостов бесклассового общества в нашей стране, а позднее и во всем мире. И в ней мы должны хранить и растить этот форпост. Между тем,— тут я перевалила последний подъем и гляжу перед собой в пустые пространства,— между тем, признаемся искренно, до сих пор мы не уделяли МТС и тысячной доли того внимания, какое она заслуживает.

2

Чем должна стать МТС — это тема для целой новой книги. Здесь же я укажу только на предварительные черты, без которых нельзя ее проектировать. Пишу «проектировать» потому, что самое замечательное в МТС это то, что она еще не построена. Ощупью и начерно сделана только заявка на будущую МТС, ибо нельзя назвать социалистическим поселеньем убогие сараи, воздвигнутые наспех и с той добродетельной некрасивостью, какую у нас считают обязательной гарантией дешевизны. В первую ночь, ворочаясь на выбеленной русской печке, я томилась от этой невзрачности, этого ужасного неправдоподобия МТС, представлявшейся мне совсем по-другому. В окна глядели нечистоты, сброшенные прямо за дом и дышавшие аммиаком. Стены осыпались сотнями тараканов в этой обязательной маленькой комнате завхоза, почти всегда и на всех МТС предоставляемой приезжему человеку, потому что, как правило, завхоз «сидит» или отстранен от работы и комната временно пустует. Неужели,— стучала в висках бессонница,— нельзя лучше ее построить, ее — первенца, гордость, которой мы победим пространства, всосем и переработаем последнего сопротивленца, векового, лоскутного собственника? Но потом, чем дальше и глубже вдвигалась я в материал, тем радостней делалось мне от этого временного и не-

складного обличья МТС. Позднее, встречая и на других МТС единство этого «временного» типа, то есть все тот же казенный двухэтажиый барак с колодцем и маленькую поодаль столовую, похожую на старинный балаган, и сарай, сделанный прямо на снос, и бездорожье степных кочек,— я даже руками потирала от удовольствия. Опять, как в далекий 1927 год, когда впервые я обживалась в рабочем бараке на стройке, мне было ясно, что *и тут стройка*; и жилье, как всегда на стройке, сделано на живую нитку, временно. Разница, однако, была та, что здесь еще *не было самого предмета стройки* — не началось то, что на языке строительной техники называется *капитальным строительством*. И прекрасно, что не началось.

Почему? *Потому что капитально воздвигать МТС на авось, без единого строительного принципа, подсказанного ее производственной сущностью, было бы ошибкой и несчастьем.* Действуя из четырех стен своего временного и условного жилища, МТС с каждым часом, с каждым шагом обрастает реальностью, раскрывает свое производственное лицо и уже *сама* понемногу намечает и подсказывает те «условия и принципы», которые неизбежно лягут позднее в ее капитальное строительство.

Каковы же эти принципы? Я намечу здесь только два, представляющихся мне наиболее существенными. Первый заложен в экономической, второй — в производственной области, и как первый, так и второй не могут не стать решающими при проектировке.

Когда вы сейчас читаете плановые и ведомственные выкладки насчет прямой функции МТС, то есть работы ее машин на поле, то вам непременно бросится в глаза очень назойливый, сильно влияющий на всякие расчеты, в том числе и на расчеты стоимостей по обработке одного га, так называемый внутритранспортный расход. Если вы представите себе производственное поле действия одной МТС, в среднем пространстве в 50 000 га, то вас поразит величина этого поля, во много, несравнимо много раз превышающая величину

производственной площадки любого завода или фабрики. И на этом большом поле действия надо правильно расставить людей и машины, правильно снабжать фуражом, едой, водой, горючим, правильно перебрасывать ремонтные инструменты и детали. На этом большом поле надо убирать, молотить, свозить зерно, сено, солому, его надо унавоживать, его надо охранять, его надо уметь держать на виду. Мало того, все будущее подобного плацдарма именно и зависит от умения равномерно насыщать, распределять и очищать его от продукта. А такая равномерность может быть достигнута лишь разрешением — не вообще, а именно в этом данном случае — проблемы внутреннего транспорта. Вот почему запроектировать МТС, не разрешив, как, при посредстве чего, чем она будет вязать, расчленять, насыщать это пространство—электричкой ли, системой ли особых конвейеров,— совершенно невозможно. И даже если вопрос этот решить сейчас нам не по плечу, мы должны помнить, что в будущем он станет перед МТС во весь рост.

Когда я пишу эти строки, передо мною лежит интересная статья об инженере Марсакове, авторе замечательного советского изобретения, так называемого кольцевого конвейера, где не тележки катятся по рельсам, а рельсы бегут на движущихся роликах, укрепленных на земле и сообщающих рельсам движенье. Этот простой и чудовищно-экономный конвейер, если б какнибудь на плоскости можно было разрешить проблему не кольцевого, а спирального его замыканья, быть может, когда-нибудь ляжет в основу всего радиуса действия МТС и превратит полевую работу в такую же расчисленную музыку движений, какой стала работа на самых совершенных заводах. Марсакову стоит подумать над этим. Первый из двух упомянутых мною факторов, необходимых для проектировки МТС, и есть проблема внутреннего транспорта. Если Марсаков считает его решающим для завода, то еще более он решающ для МТС.

Каков же второй фактор?

Кто следил за недолгой деятельностью МТС, тот знает, что основной момент, вносимый ею в веками

установившуюся производственную практику деревни, резко отличившую ее от городского, заводского типа работы,— есть преодоление сезонности. Если раньше деревенский труд отличался от городского тем, что он был сезонным, то на МТС цикл деревенских работ из сезонного превращается в наполненный круглогодичный труд. Разобрать, в чем эта круглогодичность, какую роль в ней играют учеба, ремонт, подготовка, специализация и пр. и пр.,— значит полностью представить себе и объем того нового поселения, во всей комбинации нужных зданий и подсобных предприятий, какое мы скромно зовем сейчас тремя буквами МТС. Это и есть второй фактор. Но тут ни с того ни с сего, уже на самом конце моей работы, в форточку вдруг пахнул ветер, сзади хлопнула дверь, лист белым крылом самолета сделал петлю и лег на пол, обнаружился под пепельницей лоскут газеты с круглыми, черными, воспринимаемыми врозь буквами,— каждая, как памятник архитектуры. И ни с того ни с сего в голове, вместе с холодком, приподнявшим душу, завертелись строчки Верлена, давным-давно забытые. Восстановить их, кроме последнего куплета, я никак не могла. Вспомнились, щелканьем кастаньет, отдельные образы. Там были «leurs longsrobes» [1] и «leurs cours vestes» [2],— какая-то сумасшедшая компания танцевала при луне под мандолину.

Leur elegance, leur joi...
Tourbillons dans l'extase
D'une lune rose et grise,
Et la mandoline jase
Parmi les frissons de brise... [3]

Быть может, Верлен в нем предвосхитил современный джаз, но, как ни объясняй, это было бессмысленно,

---

[1] Их длинные юбки.
[2] Их короткие куртки.
[3] Их элегантность, их радость...
Кружатся в экстазе
Луны розовой и пьяной,
И мандолина стрекочет
Среди содроганий бриза...

и, казалось бы, никакого моста, никакого отношенья к моей работе. Ничего, кроме огромной бессознательной внутренней радости, наслажденья повторять эти строки, петь их вполголоса, ускорять последний стих и даже взвизгнуть на нем от удовольствия. Ничего, кроме желанья взять и протанцевать этот стих. И так как работа была уже прервана, я встала, чтоб ощутить ритм Верлена оторванно от моей рукописи, оторванно от стула и рабочего стола. Но тут произошло нечто странное: вместо усиления радости Верлен вдруг потух, танец заглох, словно партнер бросил меня на середине, и бессмысленная лирика этой минуты: ветер в фортке, движенье в бумаге, верленовский ритм,— все оказалось неотъемлемой частью той же работы, родившейся от нее, как родится запах цветов от дождя.

Как это могло случиться? Как могла лирическая бессмыслица связаться с моей рациональной прозой? Дело в том, что в звуковой и образной магии, в щедрости, с какой на крохотном пространстве дан неиссякаемый источник людской радости, скрепленный и связанный так, что он не стареет и не изнашивается от тысячи повторений,— во всем этом лежит у Верлена точнейший рефлекс, вывод из состояния, когда-то пережитого поэтом, и он передается и вам с закономерностью действия химической формулы. В стихотворении Верлена, если память не изменяет мне, была закреплена минута превращения обыкновенных людей в необыкновенных. Был праздник, луна, была полянка и были актеры или замаскированные — Дамис, Аминта, «вечный Клитандр» — может быть, деревенский бал, может быть, дурачились студенты на Монмартре,— но от розовой пьяной луны и от «содроганий бриза» их тени, их куртки, их длинные шлейфы преобразились чудесным образом. Хотел или не хотел Верлен, он дал фантастику изменения людей. И его поэтическая формула дает каждому пережить в чтении это вспархиванье человека над самим собой, радость от снятия границ, чувство, что человек, говоря языком математики,— есть величина переменная.

В том мире, где мы с вами живем, читатель, это чудо совершается на каждом шагу. Оно совершается в том, что мы, обыкновенные люди, видим вдруг перед собой не кисть и краску, не полотно двух измерений и черные клавиши рояля, не жалкие аксессуары, какими лучшие из нас — художники, поэты, музыканты — творят смутные образы и фрагменты нового мира,— а видим весь этот широкий человеческий мир, раскрытый настежь, видим далекие горизонты будущего, и мы вступаем в них, бродим в них, начинаем творить уже не бледные слепки и образы, а самую жизнь...

Кому еще на пяти шестых света дано пережить такую радость? Товарищи, не позабудем, что она у нас есть!

1933

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА МОССОВЕТА

Глава из книги

ЗНАКОМСТВО С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

1

Не знаю, будут ли по новой Конституции выбирать депутатов «со стороны», без всякого их отношения к данной избирательной группе (учреждению или обществу).

Среди писателей несколько человек прошли в Моссовет именно так: Демьяна Бедного избрал трамвайный парк, Гладкова, если не ошибаюсь, МОГЭС, а меня — Московский центральный телеграф.

У такого избрания есть свои скверные и хорошие стороны, причем связь тех и других примерно такая, как в пословице «не быть бы счастью, да несчастье помогло».

Именно потому, что избираемый захвачен большей частью врасплох и до конфуза ничего не знает о своих избирателях, именно потому, что его незнание так глубоко и явно,— он уже не смеет не постараться наверстать упущенное, и в новом знакомстве для него окажется гораздо больше свежести и интереса, а для его избирателя гораздо больше пользы, чем если бы они уже знали друг друга десяток лет.

У английской писательницы Джордж Эллиот есть роман «Феликс Гольт, радикал». В этом романе дается

прекрасное описание избирательной кампании в Англии. Вспоминая через дымок десятилетий, видишь, словно камышки сквозь прозрачную воду, каждую черту избирательного быта «доброй старой Англии», классической страны парламентаризма. Там главный и заключительный момент — сами в ы б о р ы, как будто все дело только в том, чтоб сделать вас депутатом, дать вам звание депутата, а дальше — это уже ваше дело, это естественный придаток к главному, то есть к факту вашего избрания.

Есть еще один роман, американский — «Питер Стерлинг» Форда. У нас, кстати сказать, непростительно забывают хорошие книги, и хотя бы во дни новой Конституции эти два романа, дающие ясное представление о двух крупнейших выборных системах буржуазии, не мешало бы издать для советского читателя.

Так вот, в «Питере Стерлинге», при некоторой разнице выборных систем, та же картина. Рассказывается о молодом безработном адвокате, как он пробил себе дорогу в жизни: не погнушался бедняком-клиентом, рабочим, у которого ребенок отравился недоброкачественным молоком, повел его дело, стал доискиваться причин недоброкачественности молока, уперся в пивоваренный завод, продававший свои отбросы молочному тресту, поднял борьбу против двух могучих противников, устоял от подкупов и завоевал себе доброе имя среди рабочих Нью-Йорка. Уже п о с л е этого, заключительным апофеозом, дается избрание Питера Стерлинга в президенты, причем это избрание, по доброй старой традиции романа, и венчает всю книгу, как и счастливая свадьба. Но что же дальше? Как будет действовать Питер Стерлинг уже и з б р а н н ы й? Для нас это самое интересное, но именно это и остается за пределами книги. Для американцев главное — выборы; венец жизни, цель политической борьбы, общественная биография — в самом факте избрания.

Теперь представим себе советского писателя, пишущего роман о депутате Моссовета. Может ли он закончить роман фактом его избрания? Нет, нельзя это даже себе представить, как нельзя представить оканчанье обеда тем, что налил себе в тарелку горячего супу. На-

шего романиста заинтересует во всей ее новизне и неизведанности сама советская депутатская работа. Он наверняка захочет н а ч а т ь свою книгу с избрания, как шахматист начинает игру с выдвиженья фигуры. У этой фигуры есть своя «номинальная ценность», но какова эта ценность реально — на практике вскроется не первым ее выдвиженьем, а всем шахматным полем и всем кругом ее ходов в игре. Совершенно так же качественная апробация нашего депутата, какую бы номинальную ценность он ни имел при избрании, должна закончиться не фактом выбора, а длительным фактом всей его последующей работы. И происходит это потому, что буржуазный парламентаризм уже только формален, почти ничего не в силах дать населению, и население почти ничего не ждет от него, кроме «представительства». Советская же система — реальна, каждый депутат может создавать и творить, каждый избиратель может требовать от него настоящего дела, а не только почетного представительства. И «номинальная ценность» теряет иногда свое значенье в нашей депутатской практике, так же как запертая тура бесценнее, нежели проходная пешка.

Таковы уже сложившиеся за неполных двадцать лет черты нашей советской демократии, и народы Союза настолько хорошо сознают их, что при обсуждении проекта Конституции настаивают на их зафиксировании и упрочении, требуют специальных пунктов об отчетности депутата, права его отзыва в любую минуту, права запроса у него по любому поводу и права его запроса у правительственных органов, требуют уточненья и определенья сроков периодической отчитки депутата.

И никакая торжественность выборов не заставит наших избирателей забыть, что это лишь н а ч а л о биографии или деятельности депутата, а не ее конец. Да и сам депутат, вместо торжественного ощущенья: «Наконец-то! кончено! избран!», пронизывающего буржуазных парламентариев, невольно испытывает тот тревожный холодок в позвоночнике, который сочетается совсем с другим словом: «Началось!»

Вас избрали — началось, а вовсе не кончено, началось, а что началось, это вы еще и сами как следует не знаете, как никогда не знаете и меры своих сил в стране, беспрерывно помножающей эти силы на икс своего собственного творчества. Острое чувство ответственности, желанье не осрамиться, дать работу, дать качество, чувство новой связи с незнакомыми до этого людьми, вот что укладывается депутатом в коротенькое словечко «началось».

2

До своего избранья в Моссовет я о телеграфе и телеграфистах знала не больше, чем фонвизинский Митрофанушка о географии. Телеграф — это окошко, куда сдают телеграммы, телеграфист — это в кого нельзя влюбиться, чеховский лишний человек, а вообще «почта» — гоголевский почтмейстер Шпекин, место действия сплошных газетных анекдотов.

Вместе с миллионами других москвичей я хохотала над веселой пищей для фельетонистов, незлобиво, не в пример всем другим неполадкам, кусающих ошибки телеграфа чуть ли не каждый день в газете.

И вдруг это самое учрежденье, такое осмеянное и несерьезное, такое незнакомое, хоть и рукой подать — живу через улицу,— это учрежденье выбрало меня в Моссовет.

Какой-нибудь английский сквайр, выбранный в парламент после долгого заигрыванья с избирателями и угощенья их элем, на другой день после избранья, проснувшись в постели, должно быть, в доску забывает о них и не адресует им ни единой мысли,— умственное его око устремляется вперед, на скамью в палате, на соседа в палате, на спикера в палате. Но, проснувшись на следующий день после избранья, советский депутат невольно первую свою мысль отдает тем, кто сейчас и сам на него смотрит. Надев на нос очки и уткнувшись в «Известия», я вдруг подскочила от прилива самого неожиданного негодованья. Там опять стояла,— horribile dictu, как выражались древние латиняне,— статья о Московском телеграфе братьев Тур.

Братья Тур именовали телеграф «стойкой старухой»!

В другое время я хохотала бы над фельетоном, но сейчас было не до хохоту. У меня за телеграф горело лицо, я приняла «стойкую старуху» прямехонько на свой счет. Я смертельно возненавидела братьев Тур. Ну, подожди ж ты, думала я, а вот мы покажем, какая мы стойкая старуха! Ты сперва разбери, проанализируй, почему телеграф отстает, ты помоги, если ты большевик-журналист.

Суть этих размышлений не в том, конечно, что мне захотелось «скидки для своих», а в том, что вы совершенно чужое и незнакомое вам учрежденье внезапно ощутили своим. Такова была первая простая человеческая реакция, во всей ее неразборчивости и слабости. Вторая, более высокая реакция пришла позже. Узнать избирателя, узнать настолько глубоко, чтоб всерьез проанализировать причины его плохой работы, а узнав причины, помочь ему в борьбе за хорошую работу; помочь хотя бы тем, чтоб написать о нем, как у нас еще не писали о телеграфе, с добротой и вниманием,— вот оно, ближнее депутатское дело. И первый свой визит я отдала Владимиру Ильичу, подкрепив себя против братьев Тур очень солидной помощью.

Ильич никогда не смеялся над телеграфом, он придавал ему огромное значение. Ильич не смеялся и над почтовыми чиновниками.

В «Государстве и революции» есть такое место: «Один остроумный немецкий социал-демократ семидесятых годов прошлого века назвал почту (разрядка, как и везде, Ленина) образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-капиталистической монополии... Но механизм общественного хозяйничанья уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства — и перед нами освобожденный от «паразита» высоко-технически оборудованный механизм...» И дальше: «Все народное хозяйство, организованное как почта...»

Что привлекает Ильича в почте?

Какие черты этого «высоко-технически оборудованного механизма» он считает присущими общественному социалистическому хозяйничанью?

Ильич их несколько раз называет в статье «Удержат ли большевики государственную власть». Эти черты — работа «учетно-регистрационная», работа «счетоводства, контроля, регистрации, учета и счета», «общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов», «нечто вроде скелета социалистического общества». Эти знаменитые Ильичевы определенья, сказанные о банке, относятся не только к нему, но и к почте. «Капитализм создал аппараты учета вроде банков, синдикатов, почты, потребительных обществ, союзов служащих». И дальше: этот аппарат, который нельзя и не надо разбивать, «мы можем «взять» и «привести в движенье» одним ударом, одним указом, ибо фактическую работу счетоводства, контроля, регистрации, учета и счета выполняют здесь служащие, большинство которых сами находятся в пролетарском или полупролетарском положении».

Здесь Ильич от аппарата уже переходит к его двигательному нерву, к служащим.

И оказывается, что Ильич уже за пятнадцать лет до Октябрьской революции думал о них, понял их, и в то время как художественная литература создавала из них образ «лишнего человека», выключенного человека, тоскующего меланхолика, мимо которого бежит по проводу недоступная прекрасная чужая жизнь,— Ленин несколькими потрясающими строками набросал в статье «Из экономической жизни России» совсем другой портрет: «...нельзя обойти молчанием и того, что казна все сильнее эксплуатирует труд почтово-телеграфных чиновников: прежде они ведали только почту, потом прибавили телеграф, теперь взвалили на них же и операции по приему и выдаче сбережений (вспомним, что из 4781 кассы — 3718 почтово-телеграфных). Страшное усиление напряженности работы, удлинение рабочего дня,— вот что означает это для массы мелких

почтово-телеграфных служащих. А насчет платы им казна скредничает, как самый прижимистый кулак: самым низшим начинающим служащим платятся буквально голодные платы, и затем установлена бесконечная градация степеней с надбавкой по четвертачку или полтинничку, причем перспектива грошевой пенсии после сорока — пятидесяти лет лямки должна еще покрепче закабалить этот настоящий «чиновнический пролетариат». Тут «не до жиру» отвлеченных мечтаний, «не до жиру» интереса к чужим письмам и чувствам, тут попросту «быть бы живу». Замученный, полуголодный почтовый пролетариат царского времени глубоко равнодушен к той самой «прекрасной чужой жизни», которая выстукивается у него под пальцами. Он ведет счет стуку или букве, минуя их смысл и связь, он не помнит и не вникает,— слишком это дорогой перерасход и без того истощенной нервной энергии.

Недавно, на обсуждении проекта Конституции, вставали и вспоминали свое прошлое наши сегодняшние знатные люди, старики телеграфисты. Они вспоминали время, когда десятилетиями не имели ни одного дня отпуска, а в воскресенье работали до полудня. Съездить похоронить на три дня отца или мать было целым событием, странной непривычкой проснуться, без необходимости идти на службу, словно чужую шинель надел. Учиться, узнавать больше, чем ты знаешь, было так же немыслимо, как волне вырваться из прибоя и побежать одиночкой на сушу. Море темноты и бесправия крепко держало низшего служащего крестьянского или рабочего происхождения; он поступал по так называемому «вольному найму», без права получения «классного чина», в то время как недоучка-дворянчик обретал при поступлении на службу тотчас же чиновничью физиономию, ставил ногу на первую ступеньку того «эскалатора», который медленно, но верно выводил его хоть и в маленькие, но все же «чины». У каждого из мелких почтовиков и телеграфистов имелся послужной список (так называемый формуляр), и вы, читая этот объемистый том, узнаете иногда замечательные вещи. Вот образец стандартной, сохранившейся чуть ли не с петровских времен, присяги:

КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, перед святым его евангелием, в том, что хощу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю императору Николаю Александровичу самодержцу всероссийскому... верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять, и при том по крайней мере старатися споспешествовать все, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может; о ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благонамеренно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне чин как по сей (генеральной), так и по особливой, и от времени до времени его императорского величества именем от предуставленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и таким образом себя весть и поступать, как верному его императорского величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я перед богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне господь бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего. Аминь.

По сему присягу принимал почтово-телеграфный чиновник V разряда (подпись).

К присяге приводил священник (подпись).

Депутат от ведомства находился Поч. Чин. *Козьмин.*

Я привожу ее почти целиком в ее громоздкости не только для того, чтоб дать читателю понятие о стиле, имевшем спокойное хождение в России до семнадцатого года двадцатого столетия, а и для того, чтоб молодежь наша, не знающая или смутно представляющая себе страшную дореволюционную действительность, уви-

дела, как унижала человеческое достоинство эта форма рабского послушания самодержавию.

Но, кроме этой общей присяги, давались еще самые разнообразные обязательства. Телеграфистки давали обязательства не выходить замуж иначе как за сослуживца (надо при этом помнить, что женщины принимались на телеграф обязательно с законченным средним образованием, а мужчины с четырехклассным, и телеграфистка была культурно выше своего коллеги). Давались подписки и такого рода:

ПОДПИСКА

1914 года августа 5 дня, я, нижеподписавшаяся, дала сию подписку в том, что ни к каким масонским ложам и тайным обществам, думам, управам, союзам и прочим, под каким бы оне названием ни существовали, я не принадлежала и впредь принадлежать не буду и что ни только членом оных обществ по обязательству через клятву или честное слово не была да и не посещала и даже не знала об них и через подговоры вне лож, дум, управ, как об обществах, так и членах тоже ничего не знала и обязательство без форм и клятв никаких не давала.

(Подпись)

Опутанный присягами и подписками, полуголодный, не могший завести семью, одурелый от непрерывной служебной лямки, мелкий почтово-телеграфный служащий причислен Лениным не к классу чиновников, а к «чиновничьему пролетариату». Это не было у Ленина ни случайным словом, ни простой метафорой. Ленин сокрушающе обрушился на тех, кто перед октябрьским выступлением ссылался на отсутствие связей с почтовыми служащими: «Дело вовсе не в том, чтобы обязательно запастись заранее «связями» с тем или другим союзом, дело в том, что только победа пролетарского и крестьянского восстания может удовлетворить массы в армиях железнодорожников и почтово-телеграфных служащих».

«Как раз выделением пролетарских элементов массы от мелкобуржуазных и буржуазных верхов характеризуется политическая и экономическая жизнь союзов почтово-телеграфного и железнодорожного».

Ленин, посвятивший самую раннюю свою работу — реферат на книгу В. Е. Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство» — разбору расслоения (дифференциации) в среде крестьянства[1], увидел и тут вместо сплошного «служилого чиновничества» разные слои, верхушечный и низший. Он знал, что первый будет сопротивляться и его надо сломить, но безошибочно знал также, что на второй революция может опереться.

8

Посмотрим теперь, какова была та самая «прекрасная чужая жизнь», предмет мечтаний мнимого литературного телеграфиста, что пролетала над его головой в проводах и скользила у него между пальцами.

Прежде всего, эта распрекрасная жизнь, как самый обыкновенный трамвай, могла ходить только там, где были проложены для нее рельсы, иначе сказать, она имела строгое, созданное российской государственностью направление, или, еще точнее, маршрут. Для телеграфа, охватывающего системой связи все углы страны, маршрут означает не что иное, как построение телеграфной сети.

Если б я могла нарисовать перед читателем дореволюционное построение телеграфной сети, он увидел бы такую картину: прямыми проводами (то есть непосредственной связью пункта с центром, без промежуточных станций) были связаны, во-первых, крупные губернские города, причем далеко не между всеми ими был прямой провод. А от городов прямые провода шли непосредственно к крупным помещичьим усадьбам. Вот на карте кружочек: Пенза, губернский город. В нем сидел губернатор. Вокруг Пензы было очень много крупных поме-

---

[1] «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни».

щичьих усадеб. И прямой провод связывал губернатора с его зубрами, матерыми пензенскими помещиками.

Но и такая телеграфная сеть, недостаточная даже для дореволюционной России, начавшей свое капиталистическое развитие,— сеть, говорившая о патриархально-феодальном укладе страны, была вдобавок очень бедна.

Если взять большое лукошко, на языке учета именуемое статистикой больших чисел, и хорошенько потрясти его, чтоб вытряхнуть все исключения, частные случаи, нехарактерное и необычное, то на дне останутся крупные стандарты: правительственные распоряжения, пачками изготовлявшиеся канцеляриями министров, безмятежно не ведавших о том, что делается в соседнем министерстве; поток биржевых цифр; «Маня поздравляю тебя драгоценным днем твоего Ангела целую ручки ножки безумно люблю Жоржик»; обязательные поздравления по начальству, от действительных до тайных советников, с их чином-званием, просто превосходительством, высокопревосходительством, светлостью, преосвященством и т. д.; поздравления со днем рождества Христова, праздником светлой пасхи, святою троицей, с широкой масленицей, с Новым годом, «новым счастьем, новым здоровьем» и тому подобное.

Читатель вправе спросить,— да неужели вся жизнь исчерпывалась этим? Нет, не вся жизнь. Но я опять напомню читателю о статистике больших чисел. Жизнь не исчерпывалась, но телеграф засорялся этой бытовой и правительственной макулатурой, потому что в процентном отношении именно она представляла собою подавляющее количество пересылаемых депеш. Эта макулатура засоряла телеграф неизбежно, потому что она была выраженьем неотъемлемых черт старого российского строя, без которых жизнь большинства русских подданных не могла формально течь.

А если мы теперь, имея в уравнении две определенных величины, захотим определить и последний икс, то есть какие именно группы населения разговаривали по телеграфу в стране, то уж одно бытовое оформленье этих групп поможет нам без труда их узнать. Разгова-

ривали имущие классы. Разговаривали купцы, чиновники, помещики, правительство. Рабочие и крестьяне, солдаты, «кухаркины дети» по телеграфам не беседовали, разве что раз в год. Огромный трудящийся массив страны с полуторастамиллионным населением — по телеграфу молчал.

Для сравнения взглянем теперь на нашу телеграфную сеть. Москва связана прямою связью со всеми краевыми республиками и областными центрами; но, кроме них, она связана прямою связью и с центрами новостроек, с крупнейшими промышленными предприятиями. Областные, краевые и республиканские центры связаны прямою связью с районами. Возьмите Московскую область,— в ней прямой связью связаны не только все районные центры, но и почти все совхозы и колхозы.

Первая пятилетка резко рванула вперед все цифры по телеграфу, но даже если мы будем сравнивать 1913 год не с послепятилетними, а более ранними годами, например с 1932 годом, то и тогда разница получится внушительная: [1]

1913	1932
Один телеграф — на 33 457 человек населения.	Один телеграф — на 10 000 человек населения.
Всех проводов — 569 245 км.	Всех проводов — 1 400 000 км.
Обменено — 224 000 000 телеграмм.	Обменено — 433 000 000 телеграмм.

Уже само построение связи и рост обмена показывают, что́ такое советская власть. Заговорила вся страна. О чем? 90 процентов телеграмм — государственные и общественные и только 10 процентов — личные. Вместо сделок и поздравлений во все концы передаются сводки с хозяйственных фронтов, информации о жизни колхозов и совхозов, директивы правительства, новости мира, события всесоюзной жизни, героические поступки советских людей, информации для сотен тысяч газет.

[1] Данные взяты из книги Новожилова «Основы эксплуатации телеграфа».

Наш телеграф насыщен голосом и разговором страны, приведенной в движение и творчески заработавшей.

Но захлопнем окошко в сегодняшний день, открытое нами для сравнения с прошлым. Поток света, пролившийся к нам, поток шума, ворвавшийся к нам, музыка Морзе, Бодо, Шорина, Тремля, сквозь которую жужжит, как улей, разбуженная страна, пусть на минуту оборвется, и в наступившей тишине и темноте дадим зазвучать хихиканью братьев Тур.

В самом деле,— откуда «стойкая старуха»? Почему телеграф работает плохо? Как можно работать плохо в наркомате, ведающем «образцом социалистического хозяйствования», по слову Ильича?

4

Бухгалтерия, наука во всех отношениях великая, имеет один простой технический прием, которым полезно пользоваться при анализе. Она перегибает бумагу на две половины по вертикали и пишет сверху над одной колонкой актив, а над другой колонкой пассив. Возьмем и мы лист бумаги, согнем его пополам и напишем слева: За какие качества считал Ленин телеграф (почту) образцом социалистического хозяйствованья. И напишем справа: Какие именно качества истребляло руководство Наркомпочтеля на телеграфе и почте начиная с 1925 года.

И тогда, по мере заполнения колонок, увидим любопытнейшую вещь. Ленин считал почту образцом социалистического хозяйствованья, потому что она создала «аппарат учета», который наладил ясную и четкую работу «контроля, учета, счета, регистрации». Именно потому, что на почте можно учиться, как контролировать, как учитывать, и иметь под рукой благодаря регистрации любую точную цифру; именно потому, что контроль этот не случаен, а заложен в самой системе аппарата,— и мог назвать Ленин почту, наряду с банком, «высоко-технически оборудованным механизмом».

Казалось бы, руководство почтой и телеграфом, выписав себе на память эти золотые ленинские слова, с самого начала должно было стремиться укреплять и отстаивать именно эти качества, то есть не просто бороться за ускорение прохожденья писем и депеш, за повышение темпа, за возможность справиться с бесконечно растущим потоком почтовой и телеграфной корреспонденции, а бороться в рамках строгого соблюдения именно этого учета, чтоб не утратить социалистического характера своего аппарата, не перестать быть почтой и телеграфом. Именно в этом, то есть в необходимости укладывать развитие и расширение связи в ее строгую контрольно-учетную форму, и заключалась, во-первых, основная задача Наркомпочтеля и, во-вторых, основная трудность этой задачи. Я все время употребляю старый термин «Наркомпочтель» потому, что говорю сейчас о прошлом времени.

Избрало ли старое руководство этот единственно правильный путь?

В истории советского хозяйства есть один замечательный урок: всякий раз, как мы пытались в прошлом обойти встречную трудность, забежав через нее вперед (на языке политики это зовется левацким заскоком), мы напутывали для себя огромную гору гораздо больших трудностей в будущем. Любой конкретный случай из этой области поучителен почти для каждого наркомата, потому что у каждого непременно имеется на совести что-нибудь в этом роде.

Техника развития телефонной связи (шаг вперед!) была скоропалительно переведена на язык теории «об отмирании телеграфа». Развивается симпатичный, удобный, быстрый, легкий телефон, раз-два — и говорит Москва — Чикаго, Москва — Пекин, а не то что Москва — Пенза или Москва — Тверь; разве это не огромный плюс перед тяжелым, громоздким старым телеграфом, шагающим по земле своими столбами-сапожищами да таскающим за собой шлейф дорогих проводов на фарфоровых пуговицах; и еще он чуть ли не портится каждые два часа, и еще следи за любителями поживиться им (где-нибудь на болоте или в лесу), да еще жди, пока он там стучит себе в усы, а сонный теле-

графист смекает под его бурчанье, и возись с доставкой, с проверкой, с путаницей, с опозданием! Не проще ли заменить телеграф телефоном? Теория о том, что телефон должен окончательно вытеснить у нас телеграф, была с командных вышек Наркомпочтеля «спущена в массы» в 1925 году на радость вредителям. На практике она довела до того, что были перерезаны магистральные провода, распущены за ненадобностью кадры честных беспартийных специалистов, разогнаны пролетарские низовые массы, стали тормозить, а кое-где и прямо запрещать (например, на свердловском телеграфе) подготовку новых рабочих кадров для телеграфа, и длнлось это не день, не два, а годы.

Между тем телеграфная связь имеет ту особенность, что оставляет вещный след передаваемого слова, она его фиксирует в аппарате, и всегда можно проверить и проконтролировать передачу. А телефонная связь в современном ее техническом виде — это именно, согласно пословице: «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь»,— совершенно лишенная всякой фиксации, а потому и недоступная ни учету, ни контролю, ни проверке передача. Такое практическое несовершенство, вносимое в деловую жизнь нашего хозяйства, когда строишь передачу декретов, распоряжений, цифр, информаций по телефону, где вас могут обмануть, где вы даже установить не можете, кто с вами говорил, и где недослышка ведет к путанице, которую никак, ни по какой «копии» потом не проверишь; и удобное оружие, какое дает такая замена телеграфа телефоном просто хулиганам, особенно на селе, в глухих уголках Союза,— порождаются прежде всего от удара по контролю и учету, то есть от уничтоженья тех основных качеств, которые и делали почту и телеграф социалистическим по типу аппаратом.

Можно ли не представить себе с полной ясностью, что последствием этого удара явилось ущемление материального хозяйства телеграфной связи (провода), ущемленье людского хозяйства телеграфной связи (кадры) и, наконец, замедление подготовки новых рабочих кадров?

Наш молодой телеграфист еще не шибко грамотен,

но бить его непрестанно за то, что он не Афина-Паллада, за то, что он не выскочил из головы отца готовым и в полном техническом вооружении — вряд ли это правильно и полезно.

5

Вергилием моим в пяти кругах кружевной стеклянной коробки, какую построил для телеграфа на бывшей Тверской улице архитектор Ф. Рерберг, был спокойный человек с тихим и медленным голосом, старший инспектор по качеству на телеграфе, а в прошлом телеграфист, Илья Дмитриевич Глухов, носящий на тужурке пятиугольный значок (старший состав служащих).

Каждая группа носит свой значок, и фигурный и по количеству повторенья тех же фигур в пределах одной категории, например: полукруг — низший состав, круг — средний состав, а несколько кругов — бригадир или начальник того же среднего состава служащих.

Эта мелкая на первый взгляд деталь имеет большое значение. Она вас сразу вводит в систему — очень упорядоченное и четкое построение телеграфной «иерархии» не столько по чину-званию, сколько по распорядку работы и ответственности. Вступая на телеграф, вы тотчас же забываете старое представление о чиновнике и конторе. Перед вами настоящий, но как бы военизированный з а в о д. Телеграфист — военизированный рабочий у станка. Дело связи — сложная, кропотливая производственная операция, в которой принимают участие все элементы заводской промышленности: электроэнергия, рубильник, измерительный прибор, станки, конвейер. Как на любой фабрике, тут есть и своя «сырьевая» и своя «упаковочная». Как на любой фабрике, тут и бригадиры, и дежурные помощники директора, и механики, и стахановцы... Тут бросается вам навстречу своя, несмолкаемая, жужжащая, характерная музыка приведенных в движение главных работающих механизмов. И человек за этим механизмом — особенный человек. Когда-нибудь литература отдаст должное телеграфисту, как она уже это сделала для инженера.

Представим себе страну в виде оркестровой раковины. На каждом пюпитре лежит своя партитура, и взмах руки дирижера тотчас отдается в мускульном нерве каждого музыканта. Но дирижер в обычном оркестре слышит своих музыкантов, но музыканты в обычном оркестре видят своего дирижера, потому что расстояние от них до него, по древнейшей измерительной мере,— на «локоть». А если сидят музыканты на одной шестой части мира, и число их около двухсот миллионов, и надо, чтоб каждая партитура влилась в общую симфонию во-время, чтоб гармония не разрывалась, никто не делал звуковых клякс, не отставал, не пропадал, не выскакивал, и надо, чтоб все мелодии и звуки доходили до уха дирижера во-время и безошибочно, то как быть с таким оркестром? Тогда десятки тысяч километров и миллионы музыкантов пронизываются электрической нитью связи. Тогда вступают в силу и телеграф, и телефон, и радио, пожирая пространства, приближая людей, помогая видеть и слышать на расстоянии. Но если до революции связь еще могла походить на нестройные звуки настраиваемых в оркестре инструментов, врывающихся в эфир «кто в лес, кто по дрова», то наша социалистическая связь в стране, где решает п л а н, должна быть предельно слитной и точной, как симфония № 1 в музыке построения социализма.

Именно это обнажение роли и сущности связи меняет в нашем представленье не только облик телеграфа из «конторы» в «завод», но и облик телеграфиста из неромантического, в прошлом, мелкого чиновника — в советского героя романа: артиста, музыканта, творца, мужественного и сдержанного человека.

Телеграфирование — искусство, так же требовательное к человеческим органам чувств, как и всякое другое искусство. Первое качество, необходимое для телеграфиста,— это прирожденное ч у в с т в о р и т м а. Без чувства ритма телеграфирование человеку недоступно. Второе качество — слух. Нужны идеальный слух, точность, ритмическое чутье, быстрое схватывание, слуховая память и огромное самообладание. Среди телеграфистов попадаются настоящие таланты, люди большого дара, например стахановка тов. Рогалева, по-

ставившая рекорд выработки на Бодо (1734 слова в час).

И, наконец, в наших условиях, условиях постоянного фронта — борьбы нового мира против всех остатков и корешков старого,— телеграфист на своем посту — это воин; и телеграф, так же как и радио, это земной капитанский мостик над воздухом и эфиром, который, как капитану корабль, нельзя покидать до последнего мига. Радист Кренкель — вот образ нашего героя связи.

Я все время говорю о «телеграфисте», хотя надо бы говорить о «телеграфистке», потому что большой завод, телеграф, на 80 процентов обслуживается женщинами.

На Московском центральном телеграфе одновременно в одну смену работает две тысячи человек.. Преобладание женщины чувствуется уже с первого «круга» — первого этажа, больше всего знакомого москвичу,— тех самых окошечек, где принимают телеграммы. Этот отдел называется кассой. Здесь, в кассу, подвозят сырье, и кассир, принимая телеграмму, «правит» ее — верно ли указан пункт на телеграфе, нет ли ругани в тексте, чего-либо недопустимого. Снабженная порядковым номером (например, № 7204, где 72 — порядковый, а 04 — номер окошка принимающей кассирши), телеграмма, вписанная в ведомость, получившая последнее «напутствие», указание на час, бежит к пневматической почте. Несколько телеграмм, свернутых в трубку, всовываются в патроны, а этими патронами «выстреливает» дуло трубы наверх, на центральную сортировку.

Производственная часть телеграфа — сортировка, городская аппаратная и междугородная аппаратная расположены на третьем и четвертом этажах. Между ними вклинилось на втором этаже все управление наркомата. Это ведет к большим техническим неудобствам, например к удлинению всех операций прохождения телеграммы туда и обратно, и отчасти вызывает и усложнение механизации передвижения, которое вас прямо поражает на телеграфе: тут и пневматика (снизу вверх), и конвейер, и грейфер. Такое вклинивание «конторы» в производство, разделяющее этажи, часто видишь у нас

на старых фабриках, и невольно думается: неужели нельзя было построить телеграф более рационально?

В аппаратной встречает вас вторая особенность Московского телеграфа: если много разных видов механизации, то прямо чудовищно много разных видов аппаратов в работе! Тут от старика Морзе, печатающего точку и черточку, вы можете пройти по рядам как бы живой иллюстрации к «истории развития телеграфного станка»:

Клопфер — тот же Морзе, но слуховой, где телеграфист ловит тайну тире и точки и расшифровывает ее прямо на слух.

Бодо — с пишущей клавиатурой, как на машинке, дает и получает телеграмму уже буквами, отпечатывающими содержание телеграммы прямо на ленте.

Симменс — тоже буквопечатающий.

Юз — более быстрый, чем Бодо, но менее мощный.

Уипстон — прокалывающий ленту точками (автоматическая дуплексная передача).

Крид — по тому же принципу, но уже усовершенствованный, сам себя автоматически тут же и расшифровывающий.

И, наконец, наши собственные советские аппараты Тремль и Шорин, имеющие мужественную историю своего изобретения, вытесняющие сейчас Бодо и победно завоевывающие аппаратную.

Каждая из этих систем требует своей долгой тренировки. Есть опытные бодисты, есть юзисты, есть патриотки Клопфера, есть молоденькие «тремлисточки» и «шоринисточки», как ласково говорит тов. Глухов, проходя мимо двух стахановок, четко и грациозно работающих пальцами с красным мельканьем пятнышек лака на ногтях,— и переход от одного аппарата к другому требует почти новой школы и новой практики.

Необходимость такой разношерстности, конечно, временная, пока нужно дорожить тем, что имеешь, считаться с разными условиями в нашем Союзе, где не всюду, например, есть электричество, а только Морзе да Уипстон работают без мотора, и в этом причина долгой живучести у нас старого Морзе. Но все же линию направления на стандартизацию или хотя бы на мини-

мальное количество типов аппарата телеграфу следует взять уже и теперь.

И еще одна «неувязка» встречает вас в хозяйстве телеграфа — неравномерность его нагрузки. Так называемый пик нагрузки (высшая точка наибольшей работы) приходится на часы от 4 до 10 вечера. А ночью — от 2 до 12 утра — на телеграфе почти полное затишье, аппаратура стоит вхолостую. Нерациональность этого скачка бросается в глаза. Почему при трехсменности работы не использовать эту пустую ночь для разгрузки чудовищно напряженного дня? Какая огромная выгода времени, сил, какое условие для сниженья брака! Но все попытки наркомата сделать это, ввести ночную подачу телеграмм — уперлись в полное равнодушие других наркоматов и учреждений, от которых зависит разгрузка дня. На заседанья, назначавшиеся Наркоматом связи совместно с другими учреждениями, эти последние посылали или курьеров или никого не посылали. Между тем правильной раскладкой дел между днем и ночью, переносом части телеграмм на отправку ночью и распоряженьем курьеру или сторожу (в любом учрежденье имеющемуся на ночном дежурстве!) принимать телеграммы — могла бы быть оказана огромная помощь телеграфу в его борьбе с браком.

Но все это еще придет в будущем, когда все работники Наркомпочтеля неминуемо втянутся в процесс рационализации.

Три главных обстоятельства:

1) Плохое распределение этажей.

2) Пестрота аппаратов.

3) Неравномерность загрузки,

с прибавлением к ним еще:

4) Недостаточной подготовленности кадров, вытекающей из упомянутых выше грехов руководства в прошлом,— и составляют, на наш взгляд, основные «статические» причины плохой работы телеграфа.

Мне остается сейчас спуститься с четвертого этажа, где мы беседуем с Америкой, где автоматические часы-штемпель сами штемпелюют на ленту поминутно перемену времени, где кружок телеграфисток изучает несколько иностранных языков,— вниз, в глубину под-

вального помещенья, «экспедицию», откуда рассыльные нашего района, тоже по преимуществу женщины, пачками разносят по адресу телеграммы.

В экспедиции своя забавная «неувязка». Многие молоденькие экспедиторши стесняются на улице своих почтовых сумок. Они их прячут, а телеграммы разносят в обычных дамских сумочках, что создает опасность утери телеграммы. Этот «конфуз своей профессии» юмористически пытается выветрить из молодых голов заведующая экспедицией; и мне самой захотелось напроситься — походить три дня по Москве с сумкой экспедиторши для «пропаганды». Надо сказать, что это занятие у нас тоже имеет своих стахановцев и очень хороший заработок. Быстрая и точная экспедиторша может заработать до четырехсот рублей в месяц.

6

В очень трудные дни, выпавшие мне на долю в начале 1936 года, я как-то, проходя мимо телеграфа, увидела большие портреты моих избирателей, ленты, плакаты.

Газету нашего наркомата «Социалистическая связь», а также собственную газету телеграфа «За большевистскую связь» я, конечно, никогда читать не переставала и знала, что на телеграфе идет крепкое наступление. Но первую победу его, за собственными делами, как-то упустила. И, помню, известие о ней охватило меня почти как своя семейная радость: телеграф победил — выполнил план! В ночь этой первой победы, рассказывали мне потом, люди на телеграфе обнимались, как настоящие бойцы после сраженья.

Чтоб укрепить это настроенье и начать кампанию за прочное улучшение работы, Связьтехиздат выпустил маленькую книжку В. Зверева «В борьбе за стахановский телеграф». В ней просто и непритязательно перечислены усилия отдельных стахановцев и этапы «вытягиванья» телеграфа. И тут, как почти всюду в нашем хозяйстве, победа пришла снизу, причем зачинщиками ее были молодые кадровики, послеоктябрьские работники.

Ясно, что сверху, от руководства, должна была подготовить победу ставка именно на этого нового, молодого кадровика, ставка на его технический рост, воспитанье и обученье, расход на его общественное обслуживанье, отдых и культурные нужды.

Но это — общие черты любого стахановского движенья на любом предприятии. Между тем техника телеграфа имеет свои особенности, и притом настолько характерные, что их следовало бы изучить и узнать руководителям нашего хозяйства.

П е р в а я о с о б е н н о с т ь: на телеграфе очень интересно выявились свойства отдельных аппаратов. Стахановцы, больше чем любой инженер-консультант, могут заставить в полный голос р а з г о в о р и т ь с я м а ш и н у и показать ее п о т е н ц и а л ь н ы е достоинства.

У нас первой стахановкой была шоринистка Шура Корнеева, за нею целый ряд блестящих шоринисток во главе с Эллой Периной. Оказалось, что именно на советском аппарате конструкции Шорина легче всего было начать перевыполнение нормы. Вместо положенных 1100 слов в час, он стал давать 1400, 1537, а вместо 200 оборотов в минуту — 220 оборотов.

То, что первой подняла стахановское движение на телеграфе именно ш о р и н и с т к а, для нас очень большой факт. Это — экзамен не только человека, но и машины, ее практической гибкости и заложенных в ней возможностей. Но это и кусочек советской психологии, нечто вроде «с земляком легче дело иметь». Со своей машиной как-то легче и бесстрашнее оказалось рискнуть перейти пределы. Когда пробег через Кара-Кумы принес победу водителям, у нас много говорили и о победе советской марки машин. Нелишне будет проанализировать каждую победу стахановцев на заводе также и с этой точки зрения своеобразного п р а к т и ч е с к о г о э к з а м е н а т о й и л и и н о й м а ш и н ы. Телеграф, например, отчетливо вскрыл — на работе хотя бы терпеливого бодиста Павла Назарова — консервативные и тугие (950 слов при 180 оборотах), но способные победно расшириться (1386 слов при 210 оборотах) технические свойства Бодо; на примере блестя-

щей организаторши, тремлистки Фени Лапировой,— что сложные свойства аппарата Тремля требуют прежде всего правильной организации труда не только в смысле подготовки рабочего места, но и в смысле уничтоженья обезлички, подсчета заработка и т. д.,— и тогда эти свойства оказываются легко преодолимыми, и сложный Тремль вместо нормы 1500 слов начинает давать 2109 слов в час.

И так со всеми остальными аппаратами: стахановцы, пересматривая их паспорт, перевыполняя нормы, вместе с цифрами неизбежно дали в своей практике и качественный анализ каждой индивидуальной системы машины.

Вторая особенность: на телеграфе выявился имеющий очень большое практическое значенье фактор неодинакового отношения того или иного работника к той или иной машине, хотя и одной и той же марки. Двух совершенно одинаковых машин нет, в работе каждой есть неуловимая для новичка, но хорошо знакомая для постоянного работника своя плавность хода, свои капризы, и поэтому освоение данным работником данной машины участвует в очень большой степени в показателе качества его работы.

Вот что говорит техник связи, стахановка Л. П. Евграфова: «Каждая телеграфистка имеет свой стиль работы, свои особенности. Техник должен знать в совершенстве не только аппаратуру, но и людей. Был такой случай: стахановку Сафронову посадили работать за аппарат. Работа у ней не ладится. В чем дело? Проверяю аппарат, как будто все в порядке. Но тут же я вспомнила, что Сафронова привыкла работать на легкой клавиатуре, а эта несколько тяжеловата. Меняю аппарат, и Сафронова начинает работать нормально»

Эти слова подводят нас к третьей особенности: на телеграфе исключительно четко выявилась творческая связь техника и механика с рабочим-производственником. Стахановцы-телеграфисты ввели в поле зрения техника не только тот аппарат, который он должен чистить и поправлять, но и все живые свойства своей личности, цель работы (перевыполнение плана), стиль своей работы, как выразилась Евграфова. И в ре-

зультате прений равнодушный техник, который раньше подходил «чинить» аппарат при аварии и забывал о нем после починки, он сейчас душой и мыслями в работе машины, он сейчас участвует в ее борьбе за победу, он начинает изучать машину в ее действии, а значит, в ее тесной связи с работником, а значит, и самого работника,— и техник начинает становиться организатором-изобретателем. Так, на телеграфе простые слесаря выросли на стахановском движении в техников, а из техников — в организаторы и усовершенствователи труда, в изобретатели. И так родилась на телеграфе особая форма «спаренности», когда телеграфистка и техник как бы срастаются в одну производственную единицу, когда родится новая форма дружбы, вроде дружбы Маруси Гузеевой, бодистки, с замечательным техником И П. Прошкиным.

И, наконец, четвертая особенность: на телеграфе исключительно ярко выявился социалистический характер стахановского движения, заключающийся в том, что перевыполненье нормы одного вида труда неизбежно начинает тянуть и другой, связанный с ним вид труда, и потому единственным и одиноким стахановцем в природе социализма быть нельзя, а стахановец тем самым означает и вызов соседу, вызов соседу соседа и всему хозяйству страны: тянитесь за мной! — как ячейка огромной миллионноклеточной рыбацкой сети.

Почему это особенно ярко выявилось на телеграфе? Понятно! Если непрочность резиновых сапог на рабочем, роющем в воде котлован под электростанцию, которая должна будет дать энергию заводу искусственного каучука, не сразу почувствуется во всех своих минусах рабочими резинового завода «Треугольник» и им об этом сразу и знать не дашь, то хорошая работа московского телеграфиста, посылающего, скажем, депешу казанскому, не может не быть тотчас же замеченной этим последним, как не может и его не потянуть к улучшению.

Назаров, бодист-стахановец, поставил у нас рекорд, он 26 ноября всю смену давал 1386 слов в час на связи Москва — Казань. На следующий день, 27 ноября, у нас

же и на той же связи работала Голубева, догоняя Назарова, и дала 1356 слов в час. И вот, по окончании смены, из глубины эфира, далеко-далеко, из красочной столицы Татарии, из города Казани, где Ильич начал когда-то свою университетскую учебу,— доносится вдруг до нее голос неведомого казанского телеграфиста. Он передает на этот раз не чужие слова. Он передает свои: «Справок нет. Работа замечательная».

А сейчас, заканчивая краткий отчет о первой победе моих избирателей, я вспоминаю, что ведь и мне надо дать телеграмму.

Мысленно я сажусь за Бодо... нет, за Шорина... нет, лучше за трудный Тремль и выстукиваю на клавиатуре по буквам:

«Известная братьям Тур Стойкая-то старуха постояла за себя братцы привет точка».

1936

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДАМЫ ИЗ ОБЩЕСТВА

Маленький роман

Был начат писательницей летом 1923 года в период работы над романом «Перемена». Под датой «30 июня — 1 июля, воскресенье, 2-е, понедельник» М. Шагинян записывает в дневниках: «...начала новый забавный роман «Приключение дамы из общества» и пишу его с большим удовольствием. Сюжетно он задуман не плохо... и есть место для юмора... Будет 10 глав на 6 печатных листах. Надеюсь сидеть над ним очень усердно и до первого августа закончить. От 8 до 10 августа писать «Перемену». План этот почти точно был выдержан. 15 августа 1923 года М. Шагинян пишет: «Роман кончила... Написала маленькую статью о Блоке (к годовщине смерти), села за «Перемену». Роман «Приключение дамы из общества» впервые был опубликован в журнале «Красная нива» с № 48 по № 51 за 1923 год. Отдельной книжкой вышел в издательстве А. Д. Френкеля (1924), а также в издательстве «Земля и фабрика» (1925), где вместе с ним были опубликованы два рассказа — «Агитвагон» и «Волшебный дом». Роман входил в собрания сочинений 1929 и 1935 годов. Вскоре после выхода в Советском Союзе отдельной книжкой был переведен в Германии и опубликован в Malik — Verlag, Berlin 1924.

МЕСС-МЕНД, ИЛИ ЯНКИ В ПЕТРОГРАДЕ

Роман-сказка

Написан в период с 6 октября по 22 декабря 1923 года и открывает трилогию «Месс-менд», куда, кроме него, входят еще два произведения: «Лори Лен, металлист», над которым писательница работала с 17 марта по 8 декабря 1924 года, и «Международный вагон», начатый в феврале и законченный в декабре 1925 года.

Весь цикл «Месс-менд» Мариэтта Шагинян печатала под сатирико-пародийным псевдонимом «Джим Доллар». В своем дневнике 6 октября 1923 года она пишет: «Я изобрела американского писателя Джима Доллара и серию его романов (агитационно-авантюрных)».

«Месс-менд, или янки в Петрограде», а позднее и «Лори Лен, металлист» были выпущены Госиздатом соответственно в 1924 и 1925 годах. Завершающее произведение трилогии — «Международный вагон» (с 1935 года «Дорога в Багдад») публиковала ленинградская «Вечерняя Красная газета» с октября по декабрь 1925 года. Первые два романа выходили отдельными выпусками. Пародируя дешевую приключенческую литературу предоктябрьского периода, каждый выпуск носил подчеркнуто броские, интригующие заголовки. Так, роман «Месс-менд, или янки в Петрограде» состоял из следующих выпусков: 1) Маска смерти, 2) Тайна знака, 3) Вызов брошен, 4) Труп в тюрьме, 5) Радиогород, 6) За и против, 7) Черная рука, 8) Гений сыска, 9) Янки едут.

Шагинян позднее писала, что своей серией «Месс-менд» она стремилась создать «красную приключенческую литературу для нашего читателя, для нашего молодняка» и «агитку для международного пролетариата».

«Я считаю «Месс-менд» моей самой счастливой книгой,— писала Мариэтта Шагинян в своей автобиографии.— Я люблю первую книгу «Месс-менд» — «Янки в Петрограде» — больше всех других моих книг...»

Роман «Месс-менд, или янки в Петрограде» был переведен на немецкий язык и печатался в газете «Роте фане», центральном органе коммунистической партии Германии с № 146 по № 195, 1924 года. Там же печатался и «Лори Лен, металлист» — с № 1 по № 42, 1925 года. Целый ряд газет зарубежных компартий переводил и печатал его в 1924—1926 годах. В 1924 году роман «Месс-менд, или янки в Петрограде» вышел отдельной книгой в Австрии, в Moderner Verlag, Wien.

КИК

Роман-комплекс

Задуман был в конце 1924 года во время работы над второй частью трилогии «Месс-менд». 25 сентября работе было положено начало — написано стихотворное посвящение к роману. В ок-

тябре 1924 года писательница вновь продумывает композицию романа: «Решила писать «Колдунью и коммуниста» в форме газеты. Будет совершенно новая форма». Но затем надолго оставляет работу над «Киком»: в 1925 году пишет «Текстильные рассказы», в 1926 — цикл очерков, выросших на основе поездок по Армении, собирает материал для «Гидроцентрали». К роману «Кик» Шагинян возвращается лишь в январе 1928 года. Основную работу над «Киком» нужно датировать с января по октябрь 1928 года.

16 декабря 1928 года писательница публикует одну из глав романа — новеллу «Тринадцать-тринадцать» в газете «Заря Востока». В 1928 году эта глава вышла отдельной книжкой в издательстве «Огонек». В основу ее легли действительные события; об этом говорит Шагинян и в автобиографии: «Первую ночь по приезде в Москву (описанную очень точно в новелле «Тринадцать-тринадцать» в «Кике») провожу на Поварской в «Доме искусств»... Ужас, пережитый от странного, вырванного из эпохи, аляповатого, убого подкрашенного, фальсифицированного существования «людей искусства», забравшихся в отдельный дом, как в Ноев ковчег, и отсиживающихся там, как если бы искусство надо было «спасать» от борьбы и работы, несомых всею страной, так ярко запал тогда в душу, что восемь лет спустя, в работе над «Киком», совсем не трудно было воспроизвести каждую деталь пережитого...»

Полностью «Кик» был опубликован в журнале «Звезда», № 2—3, 1929. В том же году вышел отдельной книгой в издательстве «Прибой». Входил во все собрания сочинений Мариэтты Шагинян.

ОЧЕРКИ

Сельскохозяйственная выставка.— Написан осенью 1923 года, во время командировки из Ленинграда в Москву. 25 сентября Шагинян заносит в дневник: «Самое сильное впечатление в Москве — Сельскохозяйственная выставка. На бывшем свалочном месте, возле Нескучного сада — великолепно распланированный городок. Я провела там, наслаждаясь, каждую свободную минуту московской суматохи, собрала материал, написала брошюру о Сельскохозяйственной выставке для журнала «Звезда».

Под названием «На Всесоюзной выставке» очерк был опубликован в журнале «Звезда», № 1, 1924.

Лесное богатство.— Относится к циклу очерков о Нагорном Карабахе, который состоит из трех произведений: 1) «Страна, которую не открыли» («Известия ВЦИК», 1926, 10 сентября); 2) «Главные промысла» («Известия ВЦИК», 1926, 23 сентября) и 3) «Лесное богатство» («Известия ВЦИК», 1926, 30 сентября). Отдельным изданием эти очерки под названием «Нагорный Карабах» вышли в 1930 году в издательстве «Огонек». Затем они были включены в состав сборника «Советское Закавказье», ГИХЛ, 1931.

Золотая масть.— Впервые был опубликован в газете «Известия ВЦИК», 1926, 25 декабря.

Лес рододендронов.— Принадлежит к циклу очерков «Ткварчельский уголь». Собирая материалы по вопросу об Ткварчельском угольном месторождении, писательница отмечала в своих конспектах: «Проблема Ткварчели замечательна тем, что... это социалистическая проблема (показательная для социалистического хозяйства) в полном смысле слова». Изучая «ткварчельскую проблему», Шагинян совершила длительное путешествие верхом по горному району. Впечатления от этой поездки легли в основу одного из очерков ткварчельского цикла. В состав цикла входят: «Роман угля и железа» — «Известия ВЦИК», 1929, 28 августа; «Ведомственные тайны, или колумбизм и робинзонство» — «Известия ВЦИК», 1929, 1 сентября; «Три соперника» — «Известия ВЦИК», 1929, 16 сентября; «Лес рододендронов» — «Известия ВЦИК», 1929, 25 октября. Очерки эти вышли отдельной книжкой в 1930 году в издательстве «Молодая гвардия» под общим заголовком «Роман угля и железа», а также были включены в сборник «Советское Закавказье», ГИХЛ, 1931.

Чувство фронта.— Письмо в редакцию «Правды». «Правда», 11 июня 1933 года.

Опыт тимирязевцев.— Впервые опубликован в «Правде» 5 октября 1933 года. Позднее вошел в сб. «Литература и план», «Московское товарищество писателей», 1934.

Тайна трех букв.— Серия очерков. Появление ее, как и очерка «Опыт тимирязевцев», связано с участием писательницы в 1933 году в работе политотделов МТС. В июне 1933 года в «Правде» было напечатано письмо слушателей и профессоров Тимирязевского сельскохозяйственного института, которые предоставляли свой летний отпуск в распоряжение политотделов МТС на всю уборочную кампанию. Мариэтта Шагинян откликнулась на их призыв статьей «Чувство фронта» и активно

включилась в начавшуюся кампанию. В своей автобиографии писательница рассказывает: «Осень — в Одесщине на двух МТС, где вместе с тимирязевцами пережита историческая уборочная кампания. В результате полученного опыта — статьи о новой роли МТС... участие в «Дискуссионном листке» к XVII съезду партии; книга об МТС — «Тайна трех букв».

В конце года была опубликована глава из новой книги: «Чтение в пустой комнате» («Правда», 1933, 4 декабря). Полностью «Тайна трех букв» напечатана в журнале «Красная новь», № 1, 1934, и в том же году вышла отдельной книжкой в издательстве «Советская литература».

Дневник депутата Моссовета.— Публиковался в № 6, 7, 8 и 10 журнала «Красная новь» за 1936 год, а также в ведомственной газете Московского телеграфа.

Л. Скорино

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Э. Бабаян.*
Оформление художника *Н. Кравченко.*
Художественный редактор *Ю. Боярский.*
Технический редактор *Ф. Артемьева.*
Корректор *Е. Мезис*

Сдано в набор 6/IV 1956 г. Подписано к печати 15/VIII 1956 г. А09958. Бумага 84×108[1]/[32]—21,63 печ. л.=35,47 усл.-печ. л. 31,33 уч.-изд. л. + 1 вкл.=31,38 л. Тираж 75 000. Заказ № 1624. Цена 11 р. 50 к.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.



